



Алексей



ТОЛСТОЙ

Князь Серебряный



Князь Серебряный // Эксмо, М., 2007

ISBN: 978-5-699-13907-1

FB2: "shum29" <au.shum@gmail.com>, 20.11.2008, version 1.01

UUID: d8e35a4f-0893-102c-8d0d-93418d0056af

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Алексей Константинович Толстой

Князь Серебряный (сборник)

Граф Алексей Константинович Толстой (1817–1875) остался бы в истории русской поэзии и литературы благодаря одному только лирическому шедевру «Средь шумного бала...». А ведь им создано могучее историческое полотно «Князь Серебряный», знаменитая драматургическая трилогия о русских царях, неувядаемая сатира «История государства Российского...», злободневная и по сей день. Бесценен его вклад в сочинения небезызвестного Козьмы Пруткова. Благородный талант А.К.Толстого, его творчество до сих пор остаются живым литературным явлением.

Содержание

Николай Гумилев. Гр. А. К. Толстой	0008
Литературная исповедь	0013
И ничего в природе нет, что бы любовью не дышало	0026
Средь шумного бала	0051
И зовут друг друга журавли	0070
Душистые ветки акации белой	0079
Против течения	0164
Благословляю я свободу	0195
ГРЕШНИЦА	0195
ИОАНН ДАМАСКИН	0205
Упырь	0241
Семья вурдалака	0389
Зачинается песня от древних затей	0445
Земля наша богата, порядка в ней лишь нет	0522
БЛАГОРАЗУМИЕ	0522
А. М. ЖЕМЧУЖНИКОВУ	0524
ВЕСЕННИЕ ЧУВСТВА НЕОБУЗДАННОГО ДРЕВНЕГО	0525
БУНТ В ВАТИКАНЕ	0526
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО ОТ ГОСТОМЫСЛА ДО ТИМАШЕВА	0532
СОН ПОПОВА	0551
ВЕЛИКОДУШИЕ СМЯГЧАЕТ СЕРДЦА	0574

Из Козьмы Пруткова	0578
#1	0578
ЭПИГРАММА № 1	0584
ПИСЬМО ИЗ КОРИНФА	0585
ИЗ ГЕЙНЕ	0586
ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ ИСПАНЦЕМ	0586
ОСАДА ПАМБЫ	0590
ПЛАСТИЧЕСКИЙ ГРЕК	0592
ИЗ ГЕЙНЕ	0593
ЗВЕЗДА И БРЮХО	0594
К МОЕМУ ПОРТРЕТУ	0597
ПАМЯТЬ ПРОШЛОГО	0598
Князь Серебряный	0603
#1	0603
Предисловие	0605
ГЛАВА 1. Опричники	0608
ГЛАВА 2. Новые товарищи	0627
ГЛАВА 3. Колдовство	0636
ГЛАВА 4. Дружина Андреевич и его жена	0646
ГЛАВА 5. Встреча	0662
ГЛАВА 6. Прием	0674
ГЛАВА 7. Александрова слобода	0696
ГЛАВА 8. Пир	0710
ГЛАВА 9. Суд	0734
ГЛАВА 10. Отец и сын	0754
ГЛАВА 11. Ночное шествие	0764
ГЛАВА 12. Клевета	0778
ГЛАВА 13. Ванюха Перстень и его товарищи	

ГЛАВА 14. Оплеуха	0806
ГЛАВА 15. Поцелуйный обряд	0829
ГЛАВА 16. Похищение	0848
ГЛАВА 17. Заговор на кровь	0859
ГЛАВА 18. Старый знакомый	0877
ГЛАВА 19. Русский человек добро помнит	0886
ГЛАВА 20. Веселые люди	0899
ГЛАВА 21. Сказка	0929
ГЛАВА 22. Монастырь	0958
ГЛАВА 23. Дорога	0969
ГЛАВА 24. Бунт станичников	0982
ГЛАВА 25. Приготовление к битве	1004
ГЛАВА 26. Побратимство	1014
ГЛАВА 27. Басманов	1028
ГЛАВА 28. Расставание	1045
ГЛАВА 29. Очная ставка	1053
ГЛАВА 30. Заговор на железо	1067
ГЛАВА 31. Божий суд	1079
ГЛАВА 32. Ладанка Вяземского	1104
ГЛАВА 33. Ладанка Басманова	1108
ГЛАВА 34. Шутовской кафтан	1117
ГЛАВА 35. Казнь	1132
ГЛАВА 36. Возвращение в Слободу	1148
ГЛАВА 37. Прощение	1163
ГЛАВА 38. Выезд из Слободы	1179
ГЛАВА 39. Последнее свидание	1192
ГЛАВА 40. Посольство Ермака	1209

Афанасий Фет. Графу А. К. Толстому в деревне Пустыньке	1239
Иван Тургенев. Письмо к редактору по поводу смерти гр. А. К. Толстого	1240

**Алексей Константинович
Толстой**

Князь Серебряный (Сборник)

Николай Гумилев. Гр. А. К. Толстой

1

Алексей Толстой сам описал свою жизнь в письме к итальянскому профессору де Губернатису, которое мы приводим ниже. Нам остается только добавить несколько подробностей.

Родителями Алексея Толстого были гр. Константин Петрович Толстой и Анна Алексеевна Перовская, побочная дочь известного вельможи, гр. Алексея Кирилловича Разумовского. Их брак был несчастлив, и, спустя несколько недель после рождения ребенка, супруги разошлись навсегда.

Поэт был широкоплеч, несколько грузен, отличался богатырским здоровьем и большой физической силой: гнул пальцами медные пятаки и сплетал зубцы вилки, как женскую косу. В молодости чертами лица он напоминал Льва Толстого, с которым находится только в весьма отдаленном родстве. Характера он был мягкого, легко поддающегося женско-

му влиянию, сперва влиянию матери, умной и властолюбивой, потом жены Софьи Андреевны Миллер, рожденной Бахметевой, одной из образованнейших женщин своего времени. В нем своеобразно сплеталась любовь к философии и постижению тайн бытия с беззлобным, но метким и изящным юмором.

Около половины своей жизни он провел за границей, большей частью в Германии, которую, подобно многим русским половины прошлого века, готов был счесть своей второй родиной.

Умер он 28 сентября 1875 г. вследствие отравления морфином, к которому, страдая астмой, вынужден был прибегать.

2

В сороковых годах, когда Алексей Толстой выступил на литературное поприще, героический период русской поэзии, характеризуемый именами Пушкина и Лермонтова, закончился. Новое поколение поэтов, Толстой, Майков, Полонский, Фет, не обладало ни гением своих предшественников, ни широтой их поэтического кругозора. Современная им западная поэзия не оказала на них сколько-нибудь

заметного влияния, ясность пушкинского стиха у них стала гладкостью, лермонтовский жар души – простой теплотой чувства.

Творчество Алексея Толстого отличается повышенной жизнерадостностью. В его лирике мы видим не только переживания, но и их рамку, обстоятельства, породившие их; в исторических балладах – не только описание событий, но и оценку их, часто своеобразную, выясняющую их значение для нас. Убежденный поборник свободы, ценитель европейской культуры, Толстой любит вспоминать киевский период русской истории, гражданственность и внутреннюю независимость Киевской Руси, ее постоянную и прочную связь с Западом. Московский период вызывает в нем ужас и негодование, а отголосок его в современности – острую и смелую насмешку. Из-за этого его пьесы запрещались к постановке, стихи – к печатанию. Но это не привлекало к нему симпатий передовой молодежи, мнением которой поэт искренне гордился, хотя не мог и не хотел подделываться под ее вкус. Напротив, в ряде стихотворений он боролся с царившим в его время материалистическим

отношением к жизни, провозглашая себя жрецом чистой красоты и сторонником искусства, что не нравилось тогдашней передовой критике и вызывало с ее стороны немало нападок. Он сам очень верно определяет свое положение между двумя полюсами русской общественной мысли:

*Двух станом не боец, но только
гость случайный,
За правду я был рад поднять мой
добрый меч,
Но спор с обоими досель мой жре-
бий тайный,
И к клятве ни один не мог меня
привлечь;
Союза полного не будет между
нами —
Не купленный никем, под чье б ни
стал я знамя,
Пристрастной ревности друзей
не в силах снести,
Я знамени врага отстаивал бы
честь!*

3

Впервые в печати Алексей Толстой выступил с повестью «Упырь», изданной под псев-

донимом Красногорского, в 1841 году. Тогда же он начинает работать над большим романом из эпохи Иоанна Грозного «Князь Серебряный», которому суждено появиться в печати только в шестидесятых годах. С 1854 года поэт печатается постоянно. В продолжение десяти лет появляются почти все его лирические стихотворения и большая часть поэм. К этому же периоду относятся его шутки и пародии под псевдонимом Кузьмы Пруткова, написанные совместно с его двоюродными братьями – Алексеем и Владимиром Жемчужниковыми. Затем следует многолетняя работа над драматической трилогией «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис», прерываемая писанием исторических баллад. Драма из новгородской жизни «Посадник» не была окончена, так как начало ее не было одобрено женой поэта, – и появилась только после его смерти.

Наибольшим распространением пользовался роман «Князь Серебряный», вышедший в десятках изданий и переведенный на все европейские языки. Стихотворения и трилогия тоже переиздавались много раз.

Литературная исповедь

Ментона, 4 марта 1874.

Вилла Parc Tranquille

Любезнейший де Губернатис [1],

Постоянно страдая невралгией головы и удушьями, которые лишь изредка дают мне передышку, я до сих пор не имел возможности поблагодарить Вас за присылку Вашей драмы и за Ваше дружеское намерение говорить обо мне в публичной лекции[2]. Мы с женой вместе прочли «Romolo» и пришли в восторг от оригинальности, с которой Вы обработали этот сюжет, от добросовестной эрудиции, которую Вы проявили в этом произведении, и от поэтической формы, в которую Вы его облекли. Добавлю от себя лично, что, не являясь вообще приверженцем символизма в поэзии, я делаю исключение для Вашего «Romolo», вследствие глубокой искренности высказанных Вами мыслей и оригинальности колорита, который Вам удалось им придать[3]. В письме к моей жене Вы просите у нее биографических подробностей, касающихся моей литературной деятельности. Она

уже кое-что сообщила Вам, но и я сам, со своей стороны, постараюсь представить Вам возможно более полную исповедь, ибо это единственный способ, которым я могу показать, насколько я признателен Вам за Ваше внимание ко мне и как ценно для меня, чтобы обо мне знал такой человек, как Вы. Не будьте же в претензии, если это желание делает меня многословным. Вы выберете подходящее для Вас из всего, что я Вам сообщу, и простите мне остальное ради моего величайшего к Вам доверия. Итак, я начинаю:

Я родился в С.-Петербурге в 1817 году, но уже шести недель от роду был увезен в Малороссию своей матерью и дядей с материнской стороны г-ном Алексеем Перовским, впоследствии попечителем Харьковского университета, известным в русской литературе под псевдонимом Антоний Погорельский. Он воспитал меня, первые годы мои прошли в его имении, поэтому я и считаю Малороссию своей настоящей родиной. Мое детство было очень счастливо и оставило во мне одни только светлые воспоминания. Единственный сын, не имевший никаких товарищей

для игр и наделенный весьма живым воображением, я очень рано привык к мечтательности, вскоре превратившейся в ярко выраженную склонность к поэзии. Много содействовала этому природа, среди которой я жил; воздух и вид наших больших лесов, страстно любимых мною, произвели на меня глубокое впечатление, наложившее отпечаток на мой характер и на всю мою жизнь и оставшееся во мне и поныне. Воспитание мое по-прежнему продолжалось дома. В возрасте 8 или 9 лет я отправился вместе со своими родными в Петербург, где был представлен цесаревичу, ныне императору всероссийскому, и допущен в круг детей, с которыми он проводил воскресные дни. С этого времени благосклонность его ко мне никогда не покидала меня. В следующем году мать и дядя взяли меня с собою в Германию. Во время нашего пребывания в Веймаре дядя повел меня к Гёте, к которому я инстинктивно был проникнут глубочайшим уважением, ибо слышал, как о нем говорили все окружающие. От этого посещения в памяти моей остались величественные черты лица Гёте и то, что я сидел у него на коленях. С

тех пор и до семнадцатилетнего возраста, когда я выдержал выпускной экзамен в Московском университете[4], я беспрестанно путешествовал с родными как по России, так и за границей, но постоянно возвращался в имение, где протекли мои первые годы, и всегда испытывал особое волнение при виде этих мест. После смерти дяди, сделавшего меня своим наследником, я в 1836 году[5] был, по желанию матери, причислен к русской миссии при Германском сейме во Франкфурте-на-Майне; затем я поступил на службу во II Отделение собственной е. и. в. канцелярии, редактирующее законы. В 1855 году я пошел добровольцем в новообразованный стрелковый полк императорской фамилии, чтобы принять участие в Крымской кампании; но нашему полку не пришлось быть в деле, он дошел только до Одессы, где мы потеряли более тысячи человек от тифа, которым заболел и я. Во время коронации в Москве император Александр II изволил назначить меня флигель-адъютантом. Но так как я никогда не готовился быть военным и намеревался оставить службу тотчас же после окончания вой-

ны, я вскоре представил мои сомнения на усмотрение е. в., и государь император, приняв мою отставку с обычной для него благосклонностью, назначил меня егермейстером своего двора; это звание я сохраняю до настоящего времени. Вот летопись внешних событий моей жизни. Что же касается до жизни внутренней, то постараюсь поведать Вам о ней, как сумею.

С шестилетнего возраста я начал мараить бумагу и писать стихи – настолько поразили мое воображение некоторые произведения наших лучших поэтов, найденные мною в каком-то толстом, плохо отпечатанном и плохо сброшюрованном сборнике в обложке грязно-красного цвета. Внешний вид этой книги врезался мне в память, и мое сердце забилося бы сильнее, если бы я увидел ее вновь. Я таскал ее за собою повсюду, прятался в саду или в роще, лежа под деревьями, и изучал ее часами. Вскоре я уже знал ее наизусть, я упивался музыкой разнообразных ритмов и старался усвоить их технику. Мои первые опыты были, без сомнения, нелепы, но в метрическом отношении они отличались безупречностью. Я

продолжал упражняться в течение многих лет, совершенствуясь насколько мог, но печататься начал лишь в 1842 году[6], причем дебютировал не стихами, а несколькими рассказами в прозе. В 1855 году я напечатал впервые в разных журналах несколько лирических и эпических стихотворений[7], позднее же помещал свои стихи ежегодно в «Вестнике Европы» и в «Русском вестнике».

Так как Вы желали иметь характеристику моей духовной жизни, то скажу Вам, что, кроме поэзии, я всегда испытывал неодолимое влечение к искусству вообще, во всех его проявлениях. Та или иная картина или статуя, равно как и хорошая музыка, производили на меня такое сильное впечатление, что волосы мои буквально поднимались на голове. Тринадцати лет от роду[8] я совершил с родными первое путешествие в Италию. Невозможно было бы передать всю силу моих впечатлений и тот переворот, который произошел во мне, когда сокровища искусства открылись моей душе, предчувствовавшей их еще до того, как я их увидел воочию. Мы начали с Венеции, где дядя мой сделал значительные

приобретения в старинном дворце Гримани. В их числе был приписываемый Микеланджело бюст молодого фавна, одна из великолепнейших вещей, какие я только знаю; в настоящее время он находится в С.-Петербурге и принадлежит графу Павлу Строганову. Когда его перенесли в отель, где мы жили, я не отходил от него. Ночью я вставал посмотреть на него, и нелепейшие страхи терзали мое воображение. Я задавал себе вопрос, что я смогу сделать для спасения этого бюста, если в отеле вспыхнет пожар, и пробовал поднять его, чтобы убедиться, смогу ли я унести его на руках. Из Венеции мы отправились в Милан, во Флоренцию, в Рим и в Неаполь, и в каждом из этих городов увеличивались во мне энтузиазм и любовь к искусству, так что по возвращении в Россию я впал в настоящую *тоску по родине*— по Италии, в какое-то отчаянье, отказываясь от пищи и рыдая по ночам, когда сны уносили меня в мой потерянный рай. К этой страсти к Италии вскоре присоединилась другая, составлявшая с нею странный контраст, на первый взгляд могущий показаться противоречием: это была страсть к охоте. С

двадцатого года моей жизни она стала во мне так сильна и я предавался ей с таким жаром, что отдавал ей все время, которым мог располагать. В ту пору я состоял при дворе императора Николая[9] и вел весьма светскую жизнь, имевшую для меня известное обаяние; тем не менее я часто убегал от нее и целые недели проводил в лесу, часто с товарищами, но обычно один. Среди наших записных охотников на медведей и лосей я с головой погрузился в стихию, так же мало согласовавшуюся с моими артистическими наклонностями, как и с моим официальным положением; это увлечение не осталось без влияния на колорит моих стихотворений. Мне кажется, что ему я обязан тем, что почти все они написаны в мажорном тоне, тогда как мои соотечественники творили большею частью в минорном. В старости я намерен описать многие захватывающие эпизоды из этой жизни в лесу, которую я вел в лучшие свои годы и от которой теперешняя моя болезнь оторвала меня, быть может, навсегда. Теперь же могу только сказать, что любовь моя к нашей дикой природе проявлялась в моих сти-

хотворениях так же, по-видимому, часто, как и свойственное мне чувство пластической красоты.

Что касается нравственного направления моих произведений, то могу охарактеризовать его, с одной стороны, как отвращение к произволу, с другой – как ненависть к ложному либерализму, стремящемуся не возвысить то, что низко, но унизить высокое. Впрочем, я полагаю, что оба эти отвращения сводятся к одному: ненависти к деспотизму, в какой бы форме он ни проявлялся. Могу прибавить еще к этому ненависть к педантической пошлости наших так называемых прогрессистов с их проповедью утилитаризма в поэзии. Я один из двух или трех писателей, которые держат у нас знамя искусства для искусства, ибо убеждение мое состоит в том, что назначение поэта – не приносить людям какую-нибудь непосредственную выгоду или пользу, но возвышать их моральный уровень, внушая им любовь к прекрасному, которая сама найдет себе применение безо всякой пропаганды.

Эта точка зрения прямо противоречит док-

трине, царящей в наших журналах, и потому, делая мне честь считать меня главным представителем враждебных им идей, они осыпают меня бранью с пылом, достойным лучшего применения. Наша печать почти целиком находится в руках террористов-социалистов, поэтому я являюсь мишенью для грубых нападков со стороны многочисленной клики, у которой свои лозунги и свой заранее составленный проскрипционный список. Читающая же публика, наоборот, высказывает мне несомненное расположение.

Моим первым крупным произведением был исторический роман, озаглавленный «Князь Серебряный». Он выдержал три издания, его очень любят в России, особенно представители низших классов. Имеются переводы его на французский, немецкий, английский, польский и итальянский языки. Последний, сделанный три года назад веронским профессором Патуцци в сотрудничестве с одним русским, г-ном Задлером, появился в миланской газете «La perseveranza». Он очень хорош и выполнен весьма добросовестно. Затем мною была написана трилогия «Борис Го-

дунов» в трех самостоятельных драмах, первая из которых, «Смерть Иоанна Грозного», часто шла на сцене в С.-Петербурге, а также в провинции, где она, впрочем, запрещена в настоящее время циркуляром министра внутренних дел. Шла она с большим успехом и в Веймаре в прекрасном немецком переводе г-жи Павловой. Существуют ее переводы на французский, английский и польский языки. Вторая часть трилогии, «Царь Федор» (переведенная на немецкий и на польский), была запрещена для постановки, как только появилась в печати. Это – самое лучшее из моих стихотворных и прозаических произведений, и в то же время оно вызвало больше всего нападков в печати. В связи с этим я должен упомянуть выпущенную мною брошюру, где даны указания к ее постановке и где, между прочим, опровергнуты доводы, на основании которых она была запрещена для сцены. Третья часть трилогии называется «Царь Борис»; на сцену она тоже не была принята[10].

Есть также собрание моих лирических и эпических стихотворений, к которым присоединена драматическая поэма «Дон Жуан»,

переведенная на немецкий язык г-жою Павловой. Со времени издания этого сборника я написал много баллад и лирических стихотворений, рассеянных, главным образом, в «Вестнике Европы» и в «Русском вестнике»; из них я намерен в скором времени составить новый сборник. Лучшею из своих баллад считаю я ту, которая называется «Легенда»: она напечатана в «Вестнике Европы» за 1869 год [11]. Среди стихотворений, не вошедших в сборник, есть одно под заглавием «Поток-богатырь», в котором в сатирической форме изложены мои социально-политические взгляды. Оно имело огромный успех по всей России и навлекло на меня целую лавину оскорблений со стороны журналов. Три года назад оно было упомянуто в Вашей «Rivista Europea».

Резюмируя свое положение в нашей литературе, могу сказать не без удовольствия, что представляю собою пугало для наших демократов-социалистов и в то же время являюсь любимцем народа, покровителями которого они себя считают. Любопытен, кроме всего прочего, тот факт, что, в то время как журна-

лы клеймят меня именем ретрограда, власти считают меня революционером.

Вот, любезнейший мой де Губернатис, моя история, как внешняя, так и внутренняя. Боюсь, что она показалась Вам чересчур длинной, но, во всяком случае, я избавил Вас от своих сердечных дел, которые, принимая во внимание, как напряженно переживаются мною и страдания и радости, сыграли немаловажную роль в моей жизни и не могли не отразиться в произведениях. Впрочем, думаю, что в этом я разделяю судьбу всех вообще поэтов. Итак, я заканчиваю свое бесконечное письмо, крепко пожимая Вам руку, с просьбой напомнить обо мне Вашей супруге и поцеловать от меня Корделию и нового спутника, которого Вы ей дали. Господь да хранит всех вас!

Всем сердцем Ваш
Алексей Толстой

И ничего в природе нет, что бы любовью не дышало

Совершенно удивительный был человек (и поэт, конечно)!

И. А. Бунин (письмо к М. В. Карамзиной, 1939 г.)

* * *

*Бор сосновый в стране одинокой
стоит:
В нем ручей меж деревьев бежит
и журчит.
Я люблю тот ручей, я люблю ту
страну,
Я люблю в том лесу вспоминать
старину.
«Приходи вечерком в бор дрему-
чий тайком,
На зеленом садись берегу ты мо-
ем!
Много лет я бегу, рассказать я
могу,
Что случилось когда на моем бе-
регу.
Из сокрытой страны я сюда при-
бежал,*

Я чудесного много дорогой узнал!
Когда солнце зайдет, когда месяц
взойдет
И звезда средь моих закачается
вод,
Приходи ты тайком, ты узнаешь
о том,
Что бывает порой здесь в тумане
ночном!»
Так шептал, и журчал, и бежал
ручеек;
На ружье опершись, я стоял оди-
нок,
И лишь говор струи тишину пре-
рывал,
И о прежних я грустно годах вспо-
минал.

ПОЭТ

В жизни светской, в жизни душ-
ной
Песнопевца не узнать!
В нем личиной равнодушной
Скрыта божия печать.

В нем таится гордый гений,
Душу в нем скрывает прах,
Дремлет уря вдохновений

В отдыхающих струнах.

*Жизни ток его спокоен,
Как река среди равнин,
Меж людей он добрый воин
Или мирный гражданин.*

*Но порой мечтою странной
Он томится одинок;
В час великий, в час нежданный
Пробуждается пророк.*

*Свет чела его коснется,
Дрожь по жилам пробежит,
Сердце чутко встрепенется —
И исчезнет прежний вид.*

*Ангел, Богом вдохновенный,
С ним беседовать слетел,
Он умчался дерзновенно
За вещественный предел...*

*Уже, вихрями несомый,
Позабыл он здешний мир,
В облаках под голос грома
Он настроил свой псалтырь,*

Мир далекий, мир незримый

*Зрит его орлиный взгляд,
И от крыльев херувима
Струны мощные звучат!*

Начало 1840-х годов

** * **

*Колокольчики мои,
Цветики степные
Что смотрите на меня,
Темно-голубые?*

*И о чем звените вы
В день веселый мая,
Средь некошенной травы
Головой качая?*

*Конь несет меня стрелой
На поле открытом;
Он вас топчет под собой,
Бьет своим копытом.*

*Колокольчики мои,
Цветики степные!
Не кляните вы меня,
Темно-голубые!*

*Я бы рад вас не топтать,
Рад промчаться мимо,*

Но уздой не удержишь
Бег неукротимый!

Я лечу, лечу стрелой,
Только пыль взметаю;
Конь несет меня лихой, —
А куда? не знаю!

Он ученым ездоком
Не воспитан в холе,
Он с буранами знаком,
Вырос в чистом поле;

И не блещет как огонь
Твой чепрак узорный,
Конь мой, конь, славянский конь,
Дикий, непокорный!

Есть нам, конь, с тобой простор
Мир забывши тесный,
Мы летим во весь опор
К цели неизвестной.

Чем окончится наш бег?
Радостью ль? кручиной?
Знать не может человек —
Знает Бог единый!

Упаду ль на солончак
Умирать от зною?
Или злой киргиз-кайсак,
С бритой головою,

Молча свой натянет лук,
Лежа под травною,
И меня догонит вдруг
Медною стрелою?

Иль влетим мы в светлый град
Со кремлем престольным?
Чудно улицы гудят
Гулом колокольным,

И на площади народ,
В шумном ожиданье,
Видит: с запада идет
Светлое посланье.

В кунтушах и в чекменях,
С чубами, с усами,
Гости едут на конях,
Машут булавами,

Подбочась, за строем строй
Чинно выступает,
Рукава их за спиной

Ветер раздувает.

*И хозяин на крыльцо
Вышел величавый;
Его светлое лицо
Блещет новой славой;*

*Всех его исполнил вид
И любви и страха,
На челе его горит
Шапка Мономаха.*

*«Хлеб да соль! И в добрый час! —
Говорит державный, —
Долго, дети, ждал я вас
В город православный!»*

*И они ему в ответ:
«Наша кровь едина,
И в тебе мы с давних лет
Чаем господина!»*

*Громче звон колоколов,
Гусли раздаются,
Гости сели вокруг столов,
Мед и брага льются,*

Шум летит на дальний юг

*К турке и к венгерцу —
И ковшей славянских звук
Немцам не по сердцу!*

*Гой вы, цветики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Темно-голубые?*

*И о чем грустите вы
В день веселый мая,
Средь некошеной травы
Головой качая?*

1840-е годы

* * *

*Ты знаешь край, где все обильем
дышит,
Где реки льются чище серебра,
Где ветерок степной ковыль ко-
лышет,
В вишневых рощах тонут хутора,
Среди садов деревья гнутся долу
И до земли висит их плод тяже-
лый?*

*Шумя, тростник над озером тре-
пещет,*

И чист, и тих, и ясен свод небес,
Косарь поет, коса звенит и блестя,
Вдоль берега стоит кудрявый лес,
И к облакам, клубясь над водою,
Бежит дымок синеющей струею?

Туда, туда всем сердцем я стремлюсь,
Туда, где сердцу было так легко,
Где из цветов венок плетет Маруся,
О старине поет слепой Грицко,
И парубки, кружась на пожне
гладкой,
Взрывают пыль веселою присядкой!

Ты знаешь край, где нивы золотые
Испещрены лазурью васильков,
Среди степей курган времен Баття,
Вдали стада пасущихся волов,
Обозов скрип, ковры цветущей
гречи
И вы, чубы – остатки славной Сечи?

Ты знаешь край, где утром в вос-
кресенье,
Когда росой подсолнечник бле-
стит,
Так звонко льется жаворонка пе-
нье,
Стада блеят, а колокол гудит,
И в божий храм, увенчаны цвета-
ми,
Идут казачки пестрыми толпа-
ми?

Ты помнишь ночь над спящею
Украиной
Когда седой вставал с болота пар,
Одет был мир и сумраком и тай-
ной,
Блистал над степью искрами
стожар,
И мнилось нам: через туман про-
зрачный
Несутся вновь Палей и Сагайдач-
ный?

Ты знаешь край, где с Русью би-
лись ляхи
Где столько тел лежало средь по-
лей?

Ты знаешь край, где некогда у пла-
хи
Мазепу клял упрямый Кочубей
И много где пролито крови слав-
ной
В честь древних прав и веры право-
славной?

Ты знаешь край, где Сейм печаль-
но воды
Меж берегов осиротелых льет,
Над ним дворца разрушенные сво-
ды,
Густой травой давно заросший
вход,
Над дверью щит с гетманской бу-
лавою?...
Туда, туда стремлюся я душою!

1840-е годы

ЦЫГАНСКИЕ ПЕСНИ

Из Индии дальней
На Русь прилетев,
Со степью печальной
Их свыкся напев,

Свободные звуки,
Журча, потекли,

И дышат разлукой
От лучшей земли.

Не знаю, оттуда ль
Их нега звучит,
Но русская удаль
В них бьет и кипит;

В них голос природы,
В них гнева язык,
В них детские годы,
В них радости крик;

Желаний в них знойный
Я вихрь узнаю,
И отдых спокойный
В счастливом краю,

Бенгальские розы,
Свет южных лучей,
Степные обозы,
Полет журавлей,

И грозный шум сечи,
И шепот струи,
И тихие речи,
Маруся, твои!

Ты помнишь ли, Мария,
Один старинный дом
И липы вековые
Над дремлющим прудом?

Безмолвные аллеи,
Заглохший, старый сад,
В высокой галерее
Портретов длинный ряд?

Ты помнишь ли, Мария,
Вечерний небосклон,
Равнины полевые,
Села далекий звон?

За садом берег чистый,
Спокойный бег реки,
На ниве золотистой
Степные васильки?

И рошу, где впервые
Бродили мы одни?
Ты помнишь ли, Мария,
Утраченные дни?

1840-е годы

БЛАГОВЕСТ

Среди дубравы
Блестит крестами
Храм пятиглавый
С колоколами.

Их звон призывный
Через могилы
Гудит так дивно
И так уныло!

К себе он тянет
Неодолимо,
Зовет и манит
Он в край родимый,

В край благодатный,
Забывший мною, —
И, непонятной
Томим тоскою,

Молюсь и каюсь я,
И плачу снова,
И отрекаюсь я
От дела злого;

Далеко странствуя
Мечтой чудесною,
Через пространства я

Лечу небесные,

*И сердце радостно
Дрожит и тает,
Пока звон благостный
Не замирает...*

1840-е годы

* * *

*Шумит на дворе непогода,
А в доме давно уже спят;
К окошку, вздохнув, подхожу я —
Чуть виден чернеющий сад:*

*На небе так тёмно, так тёмно,
И звездочки нет ни одной,
А в доме старинном так грустно
Среди непогоды ночной!*

*Дождь бьет, барабаня, по крыше,
Хрустальные люстры дрожат;
За шкапом проворные мыши
В бумажных обоях шумят;*

*Они себе чуют раздолье:
Как скоро хозяин умрет,
Наследник покинет поместье,
Где жил его доблестный род —*

*И дом навсегда запустеет,
Заглохнут ступени травой...
И думать об этом так грустно
Среди непогоды ночной!..*

1840-е годы

* * *

*Дождя отшумевшего капли
Тихонько по листьям текли,
Тихонько шептались деревья,
Кукушка кричала вдали.*

*Луна на меня из-за тучи
Смотрела, как будто в слезах;
Сидел я под кленом и думал,
И думал о прежних годах.*

*Не знаю, была ли в те годы
Душа непорочна моя?
Но многому б я не поверил,
Не сделал бы многого я.*

*Теперь же мне стали понятны
Обман, и коварство, и зло,
И многие светлые мысли
Одну за другой унесло.*

Так думал о днях я минувших,

О днях, когда был я добрей;
А в листьях высокого клена
Сидел надо мной соловей,

И пел он так нежно и страстно,
Как будто хотел он сказать:
«Утешься, не сетуй напрасно —
То время вернется опять!»

1840-е годы

* * *

Ой стоги, стоги,
На лугу широком!
Вас не перечесть,
Не окинуть оком!

Ой стоги, стоги,
В зеленом болоте,
Стоя на часах,
Что вы стережете?

«Добрый человек,
Были мы цветами, —
Покосили нас
Острыми косами!

Раскидали нас
Посредине луга,

Раскидали врозь,
Дале друг от друга!

От лихих гостей
Нет нам обороны,
На главах у нас
Черные вороны!

На главах у нас,
Затмевая звезды,
Галок стая вьет
Поганые гнезда!

Ой орел, орел,
Наш отец далекий,
Опустися к нам,
Грозный, светлоокий!

Ой орел, орел,
Внемли нашим стонам,
Доле нас срамитъ
Не давай воронам!

Накажи скорей
Их высокомерье,
С неба в них ударь,
Чтоб летели перья,

Чтоб летели врозь,
Чтоб в степи широкой
Ветер их разнес
Далеко, далёко!»

1840-е годы

* * *

По гребле неровной и тряской,
Вдоль мокрых рыбацких сетей,
Дорожная едет коляска,
Сижу я задумчиво в ней, —

Сижу и смотрю я дорогой
На серый и пасмурный день,
На озера берег отлогий,
На дальний дымок деревень.

По гребле, со взглядом угрюмым,
Проходит оборванный жид,
Из озера с пеной и шумом
Вода через греблю бежит.

Там мальчик играет на дудке,
Забравшись в зеленый тростник;
В испуге взлетевшие утки
Над озером подняли крик.

Близ мельницы старой и шаткой

*Сидят на траве мужики;
Телега с разбитой лошадкой
Лениво подвозит мешки...*

*Мне кажется все так знакомо,
Хоть не был я здесь никогда:
И крыша далекого дома,
И мальчик, и лес, и вода,*

*И мельницы говор унылый,
И ветхое в поле гумно...
Все это когда-то уж было,
Но мною забыто давно.*

*Так точно ступала лошадка,
Такие ж тащила мешки,
Такие ж у мельницы шаткой
Сидели в траве мужики,*

*И так же шел жид бородатый,
И так же шумела вода...
Все это уж было когда-то,
Но только не помню когда!*

1840-е годы

* * *

*Милый друг, тебе не спится,
Душен комнат жар,*

*Неотвязчивый кружится
Над тобой комар.*

*Подойди сюда, к окошку,
Все кругом молчит,
За оградю дорожку
Месяц серебрит.*

*Не скрипят в сенях ступени,
И в саду темно,
Чуть заметно в полутени
Дальнее гумно.*

*Встань, приют тебя со мною
Там спокойный ждет;
Сторож там, звеня доскою,
Мимо не пройдет.*

1840-е годы

ПУСТОЙ ДОМ

*Стоит опустелый над сонным
прудом,
Где ивы поникли главой,
На славу Растреллием строенный
дом,
И герб на щите вековой.*

Окрестность молчит среди

мертвого сна,
На окнах разбитых играет луна.
Сокрытый кустами, в забытом саду
Тот дом одиноко стоит;

Печально глядится в зацветшем пруду
С короною дедовский щит...
Никто поклониться ему не придет, —
Забыли потомки свой доблестный род!

В блестящей столице иные из них
С ничтожной смешались толпой;
Поветрие моды умчало других
Из родины в мир им чужой.

Там русский от русского края отвык,
Забыл свою веру, забыл свой язык!
Крестьян его бедных наемник гнетет,
Он властвует ими один;

Его не пугают роптанья сирот...
Услышит ли их господин?

*А если услышит – рукою мах-
нет...*

*Забыли потомки свой доблест-
ный род!*

*Лишь старый служитель, тоской
удручен,*

*Младого владельца ждет,
И ловит вдали колокольчика
звон,*

И ночью с одра привстает...

*Напрасно! все тихо средь мертво-
го сна,*

*Сквозь окна разбитые смотрит
луна,*

*Сквозь окна разбитые мирно гля-
дит*

На древние стены палат;

*Там в рамах узорчатых чинно ви-
сит*

Напудренных прадедов ряд.

*Их пыль покрывает, и червь их
грызет.*

*Забыли потомки свой доблест-
ный род!*

Пусто в покое моем. Один я сижу
у камина,
Свечи давно погасил, но не могу я
заснуть.
Бледные тени дрожат на стене,
на ковре, на картинах,
Книги лежат на полу, письма я
вижу кругом.

Книги и письма! Давно ль вас каса-
лася ручка молодая?
Серые очи давно ль вас пробежали,
шутя?
Медленно катится ночь надо
мною тяжелою тканью,
Грустно сидеть одному. Пусто в
покое моем!

Думаю я про себя, на цветок взи-
рая увядший:
«Утро настанет, и грусть с тем-
ною ночью пройдет!»
Ночь прокатилась, и весело солн-
це на окнах играет,
Утро настало, но грусть с тенью
ночной не прошла!

15 январа 1851

Средь шумного бала

* * *

1⁸⁵¹

...У меня столько противоречивых особенностей, которые приходят в столкновение, столько желаний, столько потребностей сердца, которые я силюсь примирить, но стоит только слегка прикоснуться, как все это приходит в движение, вступает в борьбу; от тебя я жду гармонии и примирения всех этих потребностей. Чувствую, что никто, кроме тебя, не может меня исцелить, ибо все мое существо растерзано. Я, как мог, зашивал и подправлял все это, но много еще надо переделывать, менять, заживлять. Я живу не в своей среде, не следую своему призванию, не делаю то, что хочу, во мне – полный разлад, и в этом, может быть, секрет моей лени, потому что я, в сущности, деятелен по природе... Те элементы, из которых составилось мое существо, сами хороши, но взяты они были наудачу и пропорции – не соблюдены. Ни в моей душе, ни в моем уме нет балласта. Ты должна вернуть мне равновесие... В твоём дневнике я нашёл

такие строки: «Для достижения истины надо раз в жизни освободиться от всех усвоенных взглядов и заново построить всю систему своих знаний». С какою бы радостью я при твоей помощи потрудился над этой перестройкой. Я – словно какой-нибудь сарай или обширная комната, полная всяких вещей, весьма полезных, порой – весьма драгоценных, но наваленных кое-как одна на другую; с тобой я и хотел бы разобраться и навести порядок.

Из письма А. К. Толстого С. А. Миллер [12]

* * *

1851

...Я стараюсь интересоваться оперой и другими вещами, но стоит мне на мгновение забытья, как я тотчас же погружаюсь в небытие. Клянусь тебе, как я поклялся бы перед судилищем Господним, что люблю тебя всеми способностями, всеми мыслями, всеми движениями, всеми страданиями и радостями моей души. Прими эту любовь, какая она есть, не ищи ей причины, не ищи ей названия, как врач ищет названия для болезни, не определяй ей места, не анализируй ее. Бери ее, какая она есть, бери не вникая, я не могу

дать тебе ничего лучшего, я дал тебе все, что у меня было самого драгоценного, ничего лучшего у меня нет... Ты мне говоришь, что я не смогу любить тебя так всегда. Я это знаю и сам; это не новость, это в порядке вещей, что такое восторженное возбуждение проходит: так оно есть и так должно быть. Цветок исчезает, но остается плод, остается растение; поверь мне, то, что останется, будет еще достаточно прекрасно... Мы знаем, что любовь не есть вечное чувство. Но должно ли нас это пугать? Пойдем же смело навстречу, не заглядывая вперед и не оглядываясь назад, или лучше будем смотреть вперед, встретим лицом к лицу кроткую братскую дружбу, протягивающую к нам руки, и благословим Бога за то что он посылает ее нам... Я в гораздо большей мере – ты, чем – я сам.

...Есть такие муки и такие желания, которые нельзя выразить словами; всякое слово кажется мне мертвым, все, что я мог бы сказать, кажется мне слишком слабым. Друг мой, на душе у меня тяжело, я приехал с бала-маскарада, где был не по своей охоте, а только из приличия – ради великого князя, которого ви-

дел нынче утром. Отправился я к половине двенадцатого. Чтобы вернуться, как только увидаю великого князя. А он только что пригласил меня отужинать у него в половине второго; я второпях заехал домой, чтобы побеседовать с тобою в этом промежутке.

Как мне было там грустно! Не ездил никогда на эти противные балы-маскарады!

Мне так бы хотелось освежить твое бедное сердце, так бы хотелось дать отдохнуть тебе от всей твоей жизни! Бедное дитя, с тех пор, как ты брошена в жизнь, ты знала только бури и грозы [13]. Даже и в самые лучшие минуты, те, когда мы находились вместе, тебя волновали какая-нибудь неотвязная забота, какое-нибудь предчувствие, какое-нибудь опасение.

Когда я об этом думаю, мне видится домик, полускрытый деревьями. Видится деревня, слышатся звуки твоего рояля и этот голос, от которого я сразу же встрепенулся. И все, что противостоит этой жизни, спокойной и благой, *вся сутолока света, честолюбие, тщеславие* и т. д., все искусственные средства, нужные для того, чтобы поддерживать в

ущерб совести это неестественное существование, все это возникает передо мной вдалеке, как бы в недобром тумане. И я словно слышу твой голос, проникающий мне прямо в душу: «Я навсегда отказываюсь от этого ради любви к тебе». И тогда мной овладевает чувство безраздельного счастья, и слова, сказанные тобой, звучат и отдаются в моей душе, как уверение, что отныне ничто не может причинить тебе зла, и я понимаю тогда, что все это счастье, созданное мечтой, этот домик, эта благодатная и спокойная жизнь, все это – в нас самих. *Это твое сердце поет от счастья, а мое его слушает*, а так как все это – в нас самих, то его у нас и нельзя отнять, и даже среди мирской суеты мы можем быть одни и быть счастливыми. Характер у меня – с надрывом, он чувствителен к малейшему прикосновению, но мелочности в нем нет – даю тебе слово...

Из письма А. К. Толстого С. А. Миллер

* * *

6 января 1853 г.

...Подумай, что до 36 лет мне было некому поверять мои огорчения. Некому излить мою

душу. Все то, что печалило меня, – а бывало это часто, хотя и незаметно для посторонних взглядов, – все то, чему я хотел бы найти отклик в уме, в сердце друга, я подавлял в самом себе, а пока мой дядя [14] был жив, то доверие, которое я питал к нему, сковывалось опасением его огорчить, порой – раздражить и уверенностью, что он будет со всем пылом восставать против некоторых идей и некоторых устремлений, составлявших существо моей умственной и душевной жизни. Помню, как я скрывал от него чтение некоторых книг, из которых черпал тогда свои *пуританские* принципы, ибо в том же источнике заключены были и те принципы свободолюбия и протестантского духа, с которыми бы он никогда не примирился и от которых я не хотел и не мог отказаться. От этого происходила постоянная неловкость, несмотря на то огромное доверие, которое у меня было к нему.

Из письма А. К. Толстого С. А. Миллер

* * *

...Еще он (И. С. Тургенев) рассказывал, как на маскараде, вместе с поэтом А. К. Толстым, он встретил грациозную и интересную маску,

которая с ними умно разговаривала. Они настаивали на том, чтобы она тогда же сняла маску, но она открылась им лишь через несколько дней, пригласив их к себе.

– Что же я тогда увидел? – говорил Тургенев. – Лицо чухонского солдата в юбке.

Эта маска потом вышла замуж за А. К. Толстого. Его стихотворение «Средь шумного бала» навеяно этим первым знакомством с его будущей женой. Думаю, что Тургенев преувеличил ее некрасивость. Я встречал впоследствии графиню Софью Андреевну, вдову А. К. Толстого, она вовсе не была безобразна и, кроме того, она была, несомненно, умной женщиной.

С. Л. Толстой [15]

* * *

...Толстой и Софа (именем «Софа» называли супругу А. К. Толстого Софью Андреевну) были для меня недостижимым идеалом доброты, от них исходило все для меня, они мне давали ответы на все мои сомнения и стремления; я признавала, что не только люблю, но и боюсь их, и вместе с тем я вложила в них все мое доверие, все мое сердце, все мои идеалы,

помимо них ничего не могло существовать для меня. Иногда характер Толстого, нервный и вспыльчивый, пугал меня, но уверенность в его дружбе и любви ко мне была непоколебима. Софу я всегда жалела, она всегда несла ношу слишком тяжелую... Но стоило Софе словом отмахнуть от него наплыв ежедневных дрязг и осветить своим всепонимающим умом его растревоженную душу, и он возвращался с молодыми, чистыми силами. Страдание, зло, боли, печали не имели власти над бодростью и чистотой его духа...

С. П. Хитрово [16]

* * *

...По всем рассказам видно, что с ранних лет Софа была не по годам умна и развита и всегда выделялась от других умом и обаятельностью. – Когда ей было пять лет, бабушка возила всех своих детей в Саровскую пустынь на благословение к отцу Серафиму, и когда он их всех перекрестил и благословил, то перед младенцем Софией он опустился на колени и поцеловал ей ножки, предсказывая ей удивительную будущность. – Мы, дети, видели и понимали, что все в доме обожают Софу и что

она всегда, везде и для всех первый человек, и мы слепо верили, что лучше ее на свете нет, и так, всю жизнь, она стояла для нас лучезарнее и выше всех. Наша любовь к ней была совсем особенная, и что бы она ни сказала, все было хорошо и непоколебимо. – Мой отец, как и другие, относился к ней с некоторым благоговением, почти что восторженно, а во имя своих чувств к ней назвал меня и сестру Софьями и говорил, что если у него будет двенадцать дочерей, все будут Софьями.

С. П. Хитрово

* * *

...Граф Толстой был одарен исключительной памятью. Мы часто для шутки испытывали друг у друга память, причем Алексей Толстой нас поражал тем, что по беглом прочтении целой большой страницы любой прозы, закрыв книгу, мог дословно все им прочитанное передать без одной ошибки; никто из нас, разумеется, не мог этого сделать.

Глаза у графа лазурного цвета, юношески свежее лицо, продолговатый овал лица, легкий пушок бороды и усов, вьющиеся на висках белокурые волосы – благородство и арти-

СТИЗМ.

По ширине плеч и по мускулатуре нельзя было не заметить, что модель не принадлежала к числу изнеженных и слабых молодых людей. Действительно, Алексей Толстой был необыкновенной силы: он гнул подковы, и у меня между прочим долго сохранялась серебряная вилка, из которой не только ручку, но и отдельно каждый зуб он скрутил винтом своими пальцами.

А. В. Мещерский [17]

* * *

*Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твоя покрывала черты.*

*Лишь очи печально глядели,
А голос так дивно звучал,
Как звон отдаленной свирели,
Как моря играющий вал.*

*Мне стан твой понравился тонкий
И весь твой задумчивый вид,
А смех твой, и грустный и звон-*

кий,
С тех пор в моем сердце звучит.

В часы одинокие ночи
Люблю я, усталый, прилечь —
Я вижу печальные очи,
Я слышу веселую речь;

И грустно я так засыпаю,
И в грезах неведомых сплю...
Люблю ли тебя – я не знаю,
Но кажется мне, что люблю!

1851

* * *

...Граф Толстой был в то время (1843 г.) красивый молодой человек, с прекрасными белокурыми волосами и румянцем во всю щеку. Он еще более, чем князь Барятинский, походил на красную девицу; до такой степени нежность и деликатность проникали всю его фигуру. Можно представить мое изумление, когда князь однажды сказал мне: «Вы знаете – это величайший силач!» При этом известии я не мог не улыбнуться самым недоверчивым, чтобы не сказать презрительным образом; сам, принадлежа к породе сильных людей,

видавший на своем веку много действительных силачей, я тотчас подумал, что граф Толстой, этот румяный и нежный юноша, – силач аристократический и дивит свой кружок какими-нибудь гимнастическими штуками. Заметив мое недоверие, князь стал рассказывать многие действительные опыты силы Толстого: как он свертывал в трубку серебряные ложки, вгонял пальцем в стену гвозди, разгибал подковы. Я не знал, что и думать. Впоследствии отзывы многих других лиц положительно подтвердили, что эта нежная оболочка скрывает действительного Геркулеса. В то же время князь говорил мне, что Толстой домашний человек у наследника и входит к нему без доклада.

В. А. Инсарский [18]

* * *

...Любопытен рассказ его (Д. В. Григоровича) о графине Толстой, жене графа Алексея Константиновича Толстого (поэта). Она – урожденная Бахметьева. С Григоровичем соседи. Прожились. Мать ее старалась не только сбывать ее, но продать. Не выходило. Познакомилась с князем Вяземским, он сделал ей

ребенка. Брат ее вызвал князя на дуэль. Но дуэль благодаря Вяземскому не состоялась: он устроил при помощи связей так, что Бахметьева сослали на Кавказ. Возвратившись оттуда, он написал князю Вяземскому письмо: если он не приедет с ним драться, то он публично оскорбит его. Князь Вяземский приехал и убил его на дуэли, за что сидел в крепости. Сестра его вышла замуж за Миллера, который был влюблен в нее страстно, но она его терпеть не могла и скоро бросила. Она путешествовала с Григоровичем и сошлась с ним. Когда Григорович возвратился к Бахметьевым, то застал г-жу Миллер лежащею, слабою. У ног ее сидел граф Алексей Константинович Толстой, страстно в нее влюбленный. Он приехал с Ал. Ал. Татищевым. «Я не хотел мешать, – говорит Дмитрий Васильевич, – и мы расстались».

А. Суворин. «Дневник» [19]

* * *

*С ружьем за плечами, один, при
луне,
Я по полю еду на добром коне.
Я бросил поводья, я мыслю о ней,*

Ступай же, мой конь, по траве ве-
селей!

Я мыслю так тихо, так сладко,
но вот
Неведомый спутник ко мне при-
стает,
Одет он, как я, на таком же коне,
Ружье за плечами блестит при
луне.

«Ты, спутник, скажи мне, скажи
мне, кто ты?
Твои мне как будто знакомы чер-
ты.
Скажи, что тебя в этот час при-
вело?
Чему ты смеешься так горько и
зло?»

«Смеюсь я, товарищ, мечтаньям
твоим,
Смеюсь, что ты будущность гу-
бишь;
Ты мыслишь, что вправду ты ею
любим?
Что вправду ты сам ее любишь?»

Смешно мне, смешно, что так
пылко любя,
Ее ты не любишь, а любишь себя.
Опомнись, порывы твои уж не те!
Она для тебя уж не тайна,

Случайно сошлись вы в мирской
суете,
Вы с ней разойдетесь случайно.
Смеюся я горько, смеюся я зло
Тому, что вздыхаешь ты так тя-
жело».

Все тихо, объято молчаньем и
сном,
Исчез мой товарищ в тумане ноч-
ном,
В тяжелом раздумье, один, при
луне,
Я по полю еду на добром коне...

1851

* * *

Слушая повесть твою, полюбил я
тебя, моя радость!
Жизнью твоею я жил и слезами
твоими я плакал;
Мысленно вместе с тобой про-

страдал я минувшие годы,
Все перечувствовал вместе с то-
бой, и печаль и надежды,
Многое больно мне было, во мно-
гом тебя упрекнул я;
Но позабыть не хочу ни ошибок
твоих, ни страданий;
Дороги мне твои слезы и дорого
каждое слово!
Бедное вижу в тебе я дитя, без
отца, без опоры;
Рано познала ты горе, обман и
людское злословье,
Рано под тяжестью бед твои пре-
ломилась силы!
Бедное ты деревцо, поникшее долу
головкой!
Ты прислонися ко мне, деревцо, к
зеленому вязу:
Ты прислонися ко мне, я стою на-
дежно и прочно!

21 октября 1851

* * *

Ты не спрашивай, не распытывай,
Умом-разумом не раскидывай:
Как люблю тебя, почему люблю,
И за что люблю, и надолго ли?

Ты не спрашивай, не распытывай:
Что сестра ль ты мне, молода ль
жена
Или детище ты мне малое?
И не знаю я и не ведаю,

Как назвать тебя, как приклика-
ти.
Много цветиков во чистом поле,
Много звезд горит по поднебесью,
А назвать-то их нет умения,

Распознать-то их нету силушки.
Полюбив тебя, я не спрашивал,
Не разгадывал, не распытывал;
Очертил свою буйну голову!

30 октября 1851

* * *

Мне в душу, полную ничтожной
суеты,
Как бурный вихорь, страсть во-
рвалась нежданно,
С налета смяла в ней нарядные
цветы
И разметала сад, тщеславием
убранный.

Условий мелкий сор крутящимся
столбом
Из мысли унесла живительная си-
ла
И током теплых слез, как бла-
гостным дождем,
Опустошенную мне душу оросила.

И над обломками безмолвен я
стою,
И, трепетом еще неведомым объ-
ятый,
Воскреснувшего дня пью свежую
струю
И грома дальнего внимаю перека-
ты...

1851 или 1852

* * *

Не ветер, вея с высоты,
Листов коснулся ночью лунной;
Моей души коснулась ты —
Она тревожна, как листья,
Она, как гусли, многострунна.
Житейский вихрь ее терзал
И сокрушительным набегом,
Свистя и воя, струны рвал
И заносил холодным снегом.

*Твоя же речь ласкает слух,
Твое легко прикосновение,
Как от цветов летящий пух,
Как майской ночи дуновение...*

1851 или 1852

* * *

*Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!*

*Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!*

1854

И зовут друг друга журавли

КОЛОДНИКИ

*Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль, —
Колодников звонкие цепи
Взметают дорожную пыль.*

*Идут они с бритыми лбами,
Шагают вперед тяжело,
Угрюмые сдвинули брови,
На сердце раздумье легло.*

*Идут с ними длинные тени,
Две клячи телегу везут,
Лениво сгибая колени,
Конвойные с ними идут.*

*«Что, братцы, затянемте песню,
Забудем лихую беду!
Уж, видно, такая невзгода
Написана нам на роду!»*

*И вот повели, затянули,
Поют, заливаясь, они
Про Волги широкой раздолье,
Про даром минувшие дни,*

*Поют про свободные степи,
Про дикую волю поют,
День меркнет все боле, – а цепи
Дорогу метут да метут...*

Первая половина 1850-х годов

СТРЕЛКОВЫЕ ПЕСНИ

1

*Слава на небе солнцу высокому!
Слава!*

*На земле государю великому,
Слава!*

*Слава на небе светлым звездам,
Слава!*

*На земле государевым стрелкам,
Слава!*

*Чтобы рука их была всегда твер-
да,*

Слава!

*Око быстрее, светлей соколиного,
Слава!*

*Чтобы привел Бог за матуш-
ку-Русь постоять,*

Слава!

*Наших врагов за рубеж прово-
жать,*

Слава!

Чтобы нам дума была лишь о ро-

дине,
Слава!
Ину ж печаль мы закинем за си-
нюю даль,
Слава!
Чтобы не было, oprичь Руси, цар-
ства сильней,
Слава!
Нашего ласкова государя добрей,
Слава!
Чтобы не было русского слова
крепчей,
Слава!
Чтобы не было русской славы гро-
мчей,
Слава!
Чтобы не было русской песни
звучней,
Слава!
Да чтоб не было царских стрел-
ков удалей,
Слава!

Май или июнь 1855

2

Уж как молодцы пируют
Вкруг дубового стола;
Их кафтаны нараспашку,

Их беседа весела.
По столу-то ходят чарки,
Золоченые звенят;
Что же чарки говорят?
Вот что чарки говорят:
Нет! нет!
Не бывать,
Не бывать тому,
Чтобы мог француз
Нашу Русь завоевать!
Нет!

1855

* * *

Уж ты мать-тоска, горе-гореваньщице!
Ты скажи, скажи, ты поведай мне:
На добычу-то как выходишь ты?
Как сживаешь люд божий со свету?
Ты змеей ли ползешь подколодную?
Ты ли бьешь с неба бурым коршунном?
Серым волком ли рыщешь по полю?
Аль ты, горе, богатырь могуч,

Выезжаешь со многой силою,
Выезжаешь со гридни и с отроки?
Уж вскочу в седло, захвачу тугой
лук,
Уж доеду тебя, горе горячее,
Подстрелю тебя, тоску лютую!
«Полно, полно, добрый молодец,
Бранью на ветер кидатися,
Неразумны слова выговаривать!
Я не волком бегу, не змеей ползу,
Я не коршуном бью из поднебесья,
Не с дружиною выезжаю я!
Выступаю-то я красной девицей,
Подхожу-то я молодницею,
Подношу чару, в пояс кланяюсь;
И ты сам слезешь с коня долой,
Красной девице отдашь поклон,
Выпьешь чару, отуманишься,
Отуманишься, сердцем вспла-
чешься,
Ноги скорые-то подкосятся,
И тугой лук из рук выпадет!..»

1856

* * *

Вот уж снег последний в поле та-
ет,
Теплый пар восходит от земли,

*И кувшинчик синий расцветает,
И зовут друг друга журавли.*

*Юный лес, в зеленый дым одетый,
Теплых гроз нетерпеливо ждет;
Все весны дыханием согрето,
Все кругом и любит и поет;*

*Утром небо ясно и прозрачно,
Ночью звезды светят так светло;
Отчего ж в душе твоей так мрачно
И зачем на сердце тяжело?*

*Грустно жить тебе, о друг, я
знаю,
И понятна мне твоя печаль:
Отлетела б ты к родному краю
И земной весны тебе не жаль...*

1856

* * *

*Уж ты нива моя, нивушка,
Не скосить тебя с маху единого,
Не связать тебя всю во единый
сноп!
Уж вы думы мои, думушки,
Не стряхнуть вас разом с плеч до-*

лой,
Одной речью-то вас не высказать!
По тебе ль, нива, ветер разгули-
вал,
Гнул колосья твои до земли,
Зрелы зерна все разметывал!
Широко вы, думы, порассыпа-
лись...
Куда пала какая думушка,
Там всходила люта печаль-трава,
Вырастало горе горячее!

1856

* * *

...Круг наш сходится чаще, чем когда-либо, т. е. почти что всякий день. Центральные персоны – Боткин, Толстой, Анненков, сверх того Ермил, Гончаров, Жемчужников, Толстой Алексей. Он действительно флигель-адъютант, – но красен и прекрасен как прежде, очень стыдлив, и, сочинивши стихотворение в 8 строк, непременно сам держит корректуру.

А. В. Дружинин [20]

* * *

Край ты мой, родимый край,
Конский бег на воле,

*В небе крик орлиных стай,
Волчий голос в поле!*

*Гой ты, родина моя!
Гой ты, бор дремучий!
Свист полночный соловья,
Ветер, степь да тучи!*

1856

* * *

*Грядой клубится белою
Над озером туман;
Тоскою добрый молодец
И горем обуян.*

*Не до веку белеется
Туманная гряда,
Рассеется, развеется,
А горе никогда!*

1856

* * *

*Колышется море; волна за волной
Бегут и шумят торопливо...
О друг ты мой бедный, боюсь, со
мною
Не быть тебе долго счастливой:
Во мне и надежд и отчаяний рой,*

*Кочующей мысли прибой и отбой,
Приливы любви и отливы!*

1856

* * *

*О, не пытайся дух унять тревож-
ный,
Твою тоску я знаю с давних пор,
Твоей душе покорность невоз-
можна,
Она болит и рвется на простор.*

*Но все ее невидимые муки,
Нестройный гул сомнений и за-
бот,
Все меж собой враждующие звуки
Последний час в созвучие сольет,*

*В один порыв смешает в сердце
гордом
Все чувства, врозь которые зву-
чат,
И разрешит торжественным ак-
кордом
Их голосов мучительный разлад.*

1856

Душистые ветки акации белой

* * *

6 октября 1856 г., Петербург.

...Знаешь, – хотя это приятно и хорошо, но мне часто мешает легкость, с которой мне дается стихотворство; когда я что-нибудь пишу, у меня всегда складываются 3–4 редакции той же мысли, той же картины, и мне нужно было бы *свежее* ухо, чтобы выбрать одну из редакций той же самой вещи, – и чем больше мне нравится мысль или картина, тем более я ее меняю и исправляю, так что иногда *теряю чутье суждения*.

Сегодня с утра я уже переменял и изменял «Ветку акации» так много, что я уже не знаю, что надо оставить и что надо выбросить из разных вариаций, которые я написал; когда лист бумаги исписан и весь перечеркнут, я переписываю заново, начисто, и через несколько времени новый лист так же перемаран и перечеркнут, как первый...

...У меня есть еще несколько вещей, отно-

сящихся к Крыму, которые я начал во время нашего путешествия. Одни хорошие, другие слабые, но они все добавляют цельность картины, и оттого я не решаюсь их уничтожить...

Из письма А. К. Толстого С. А. Миллер

КРЫМСКИЕ ОЧЕРКИ

1

*Над неприступной крутизною
Повис туманный небосклон;
Там гор зубчатою стеною
От юга север отделен.*

*Там ночь и снег; там, враг веселья,
Седой зимы сердитый бог
Играет вьюгой и метелью,
Ярсь, уста примкнул к ущелью*

*И воеет в их гранитный рог.
Но здесь благоухают розы,
Бессильно вихрем снеговым
Сюда он шлет свои угрозы,
Цветущий берег невредим.*

*Над ним весна младая веет,
И лавр, Дианою храним,
В лучах полудня зеленеет*

Над морем вечно голубым.

2

Клонит к лени полдень жгучий.
Замер в листьях каждый звук,
В розе пышной и пахучей,
Нежась, спит блестящий жук;

А из камней вытекая,
Однозвучен и гремуч,
Говорит, не умолкая,
И поет нагорный ключ.

3

Всесильной волею Аллаха,
Дающего нам зной и снег,
Мы возвратились с Чатырдаха
Благополучно на ночлег.

Все налицо, все без увечья:
Что значит ловкость человечья!
А признаюсь, когда мы там
Ползли, как мухи, по скалам,

То мне немного было жутко:
Сорваться вниз плохая шутка!
Гуссейн, послушай, помоги
Стащить мне эти сапоги,

Они потрескались от жара;
Да что ж не видно самовара?
Сходи за ним; а ты, Али,
Костер скорее запали.

Постелим скатерти у моря,
Достанем ром, заварим чай,
И все возляжем на просторе
Смотреть, как пламя, с ночью
споря,
Померкнет, вспыхнет невзначай

И озарит до половины
Дубов зеленые вершины,
Песчаный берег, водопад,
Крутых утесов грозный ряд,

От пены белый и ревущий
Из мрака выбежавший вал
И перепутанного плюща
Концы, висящие со скал.

4

Ты помнишь ли вечер, как море
шумело,
В шиповнике пел соловей,
Душистые ветки акации белой
Качались на шляпе твоей?

Меж камней, обросших густым
виноградом,
Дорога была так узка;
В молчанье над морем мы ехали
рядом,
С рукою сходилась рука.

Ты так на седле нагибалась краси-
во,
Ты алый шиповник рвала,
Буланой лошадки косматую гриву
С любовью ты им убрала;

Одежды твоей непослушные
складки
Цеплялись за ветви, а ты
Беспечно смеялась – цветы на ло-
шадке,
В руках и на шляпе цветы!

Ты помнишь ли рев дождевого по-
тока
И пену и брызги кругом;
И как наше горе казалось далёко,
И как мы забыли о нём!

5

Вы всё любуетесь на скалы,

*Одна природа вас манит,
И возмущает вас немало
Мой деревенский аппетит.*

*Но взгляд мой здесь иного рода,
Во мне лицепрятья нет;
Ужели вишни не природа
И тот, кто ест их, не поэт?*

*Нет, нет, названия вандала
От вас никак я не приму:
И Ифигения едала,
Когда она была в Крыму!*

6

*Туман встает на дне стремнин,
Среди полуночной прохлады
Сильнее пахнет дикий тмин,
Гремят слышнее водопады.*

*Как ослепительна луна!
Как гор очерчены вершины!
В серебристом сумраке видна
Внизу Байдарская долина.*

*Над нами светят небеса,
Чернеет бездна перед нами,
Дрожит блестящая роса*

На листьях крупными слезами...

Душе легко. Не слышу я
Оков земного бытия,
Нет места страху, ни надежде, —
Что будет впредь, что было
прежде

Мне все равно – и что меня
Всегда как цепь к земле тянуло,
Исчезло все с тревогой дня,
Все в лунном блеске потонуло...

Куда же мысль унесена?
Что ей так видится дремливо?
Не средь волшебного ли сна
Мы едем вместе вдоль обрыва?

Ты ль это, робости полна,
Ко мне склонилась молчаливо?
Ужель я вижу не во сне,
Как звезды блещут в вышине,

Как конь ступает осторожно,
Как дышит грудь твоя тревожно?

Иль при обманчивой луне

Меня лишь дразнит призрак лож-
ный
И это сон? О, если б мне
Проснуться было невозможно!

7

Как чудесно хороши вы,
Южной ночи красоты:
Моря синего заливы,
Лавры, скалы и цветы!

Но мешают мне немножко
Жизнью жить средь этих стран:
Скорпион, сороконожка
И фигуры англичан.

8

Обычной полная печали,
Ты входишь в этот бедный дом,
Который ядра осыпали
Недавно пламенным дождем;

Но юный плющ, вивясь вокруг зда-
нья,
Покрыл следы вражды и зла —
Ужель еще твои страданья
Моя любовь не обвила?

Приветствую тебя, опустошен-
ный дом,
Завядшие дубы, лежащие кругом,
И море синее, и вас, крутые скалы,
И пышный прежде сад – глухой и
одичалый!

Усталым путникам в палящий
летний день
Еще даешь ты, дом, свежитель-
ную тень,
Еще стоят твои поруганные сте-
ны,
Но сколько горестной я вижу пе-
ремены!

Едва лишь я вступил под твой
знакомый кров,
Бросаются в глаза мне надписи
врагов,
Рисунки грубые и шутки площад-
ные,
Где с наглым торжеством поно-
сится Россия;

Всё те же громкие, хвастливые
слова

*Нечестное врагов оправдывают
дело.*

*Вздыхнув, иду вперед; мохнатая
сова*

*Бесшумно с зеркала разбитого
слетела;*

*Вот в угол бросилась испуганная
мышь...*

*Везде обломки, прах; куда ни по-
глядишь,*

*Везде насилие, насмешки и угрозы;
А из сада в окно вползающие розы,*

*За мраморный карниз цепляясь
там и тут,*

*Беспечно в красоте раскидистой
цветут,*

*Как будто на дела враждебного
народа*

*Набросить свой покров старает-
ся природа,*

*Вот ящерица здесь меж зелени и
плит,*

*Блестя как изумруд, извилисто
скользит,*

И любо ей играть в молчании мо-

гильном,
Где на пол солнца луч столбом
ударил пыльным...

Но вот уж сумерки; вот посте-
пенно мгла
На берег, на залив, на скалы налег-
ла;
Все больше в небе звезд, в аллеях
все темнее,
Душистее цветы, и запах трав
сильнее;

На сломанном крыльце сижусь я,
полон дум;
Как тихо все кругом, как слышен
моря шум...

10

Тяжел наш путь, твой бедный
мул
Устал топтать терновник злоб-
ный;
Взгляни наверх: то не аул,
Гнезду орлиному подобный;

То целый город; смолкнул гул
Народных празднеств и торговли,

*И ветер тления подул
На Богом проклятые кровли.*

*Во дни глубокой старины
(Гласят народные скрижали),
Во дни неволи и печали,
Сюда Израиля сыны*

*От ига чуждого бежали,
И град возник на высях гор.
Забыв отцов своих позор
И горький плен Ерусалима,*

*Здесь мирно жили караимы;
Но ждал их давний приговор,
И пала тяжесть божья гнева
На ветвь караемого древа.*

*И город вымер. Здесь и там
Остатки башен по стенам,
Кривые улицы, кладбища,
Пещеры, рытые в скалах,*

*Давно безлюдные жилища,
Обломки, камни, пыль и прах,
Где взор отрады не находит;*

Две-три семьи как тени бродят

*Средь голых стен; но дороги
Для них родные очаги,
И храм отцов, от моха черный,
Над коим плавные круги,
Паря, чертит орел нагорный...*

11

*Где светлый ключ, спускаясь вниз,
По серым камням точит слезы,
Ползут на черный кипарис
Гроздами пурпурные розы.*

*Сюда когда-то, в жгучий зной,
Под темнолиственные лавры,
Бежали львы на водопой
И буро-пегие кентавры;*

*С козлом бодался здесь сатир;
Вакханки с криками и смехом
Свершали виноградный пир,
И хор тимпанов, флейт и лир*

*Сливался шумно с дальним эхом.
На той скале Дианы храм
Хранила девственная жрица,
А здесь над морем по ночам
Плыла богини колесница...*

*Но уж не та теперь пора;
Где был заветный лес Дианы,
Там слышны звуки топора,
Грохочут вражьи барабаны;*

*И все прошло; нигде следа
Не видно Греции счастливой,
Без тайны лес, без плясок нивы,
Без песней пестрые стада
Пасет татарин молчаливый...*

12

*Солнце жжет; перед грозой
Изменился моря вид:
Засверкал меж бирюзой
Изумруд и малахит.*

*Здесь на камне буду ждать я,
Как, вздымая корабли,
Море бросится в объятья
Изнывающей земли,*

*И, покрытый пеной белой,
Утомясь, влюбленный бог
Снова ляжет, онемелый,
У твоих, Таврида, ног.*

13

*Смотри, все ближе с двух сторон
Нас обнимает лес дремучий;
Глубоким мраком полон он,
Как будто набежали тучи,*

*Иль меж деревьев вековых
Нас ночь безвременно застигла,
Лишь солнце сыплет через них
Местами огненные иглы.*

*Зубчатый клен, и гладкий бук,
И твердый граб, и дуб корнистый
Вторят подков железный звук
Средь гама птичьего и свиста;*

*И ходит трепетная смесь
Полутеней в прохладе мглистой,
И чует грудь, как воздух весь
Пропитан сыростью душистой.*

*Вон там украдкой слабый луч
Скользит по липе, мхом одетой,
И дятла стук, и близко где-то
Журчит в траве незримый ключ...*

14

*Привал. Дымяся, огонек
Трещит под таганом дорожным,*

Пасутся кони, и далек
Весь мир с его волненьем лож-
ным.

Здесь долго б я с тобою мог
Мечтать о счастье возможном!
Но, очи грустно опустив
И наклонясь над крутизною,

Ты молча смотришь на залив,
Окружена зеленой мглою...
Скажи, о чем твоя печаль?
Не той ли думой ты томима,

Что счастье, как морская даль,
Бежит от нас неуловимо?
Нет, не догнать его уж нам,
Но в жизни есть еще отрады;

Не для тебя ли по скалам
Бегут и брызжут водопады?
Не для тебя ль в ночной тени
Вчера цветы благоухали?

Из синих волн не для тебя ли
Восходят солнечные дни?
А этот вечер? О, взгляни,
Какое мирное сиянье!

Не слышно в листьях трепета-
нья,
Недвижно море; корабли,
Как точки белые вдали,
Едва скользят, в пространстве
тая;

Какая тишина святая Царит кру-
гом!
Нисходит к нам
Как бы предчувствие чего-то;

В ущельях ночь; в тумане там
Дымится сизое болото,
И все обрывы по краям
Горят вечерней позолотой...

Лето 1856–1858

* * *

Как здесь хорошо и приятно,
Как запах дерев я люблю!
Орешника лист ароматный
Тебе я в тени настелю.

Я там, у подножья аула,
Тебе шелковицы нарву,
А лошадь и бурого мула
Мы пустим в густую траву.

Ты здесь у фонтана приляжешь,
Пока не минуется зной,
Ты мне улыбнешься и скажешь,
Что ты не устала со мной.

Лето 1856

* * *

Растянулся на просторе
И на сонных берегах,
Окунувши морду в море,
Косо смотрит Аюдаг [21].

Обогнуть его мне надо,
Но холмов волнистый рой,
Как разбросанное стадо,
Все толпится предо мной.

Добрый конь мой, долго шел ты,
Терпеливо ношу нес;
Видишь там лилово-желтый,
Солнцем тронутый утес?

Добрый конь мой, ободрися,
Ускори ленивый бег,
Там под сенью кипариса
Ждет нас ужин и ночлег!

Вот уж час, как в ожиданье

Конь удваивает шаг,
Но на прежнем расстоянье Косо
смотрит Аюдаг.

Тучи море затанули,
Звезды блещут в небесах,
Но не знаю, обогну ли
Я до утра Аюдаг?

Лето 1856

* * *

Войдем сюда; здесь меж руин
Живет знакомый мне раввин;
Во дни прошедшие, бывало,
Видал я часто старика;

Для поздних лет он бодр немало,
И перелистывать рука
Старинных хартий не устала.
Когда вдали режут валы

И дикий кот, мяуча, бродит,
Талмуда враг и Каббалы,
Всю ночь в молитве он проводит;
Душистей нет его вина,

Его улыбка добродушна,
И, слышал я, его жена

Тиха, прекрасна и послушна;
Но недоверчив и ревнив
Седой раввин...

Он примет странников радушно,
Но не покажет им супруг
Своей чудесной половины
Ни за янтарь, ни за жемчуг,
Ни за звенящие цехины!

Лето 1856

* * *

Если б я был богом океана,
Я б к ногам твоим принес, о друг,
Все богатства царственного са-
на,
Все мои кораллы и жемчуг!

Из морского сделал бы тюльпана
Я ладью тебе, моя краса;
Мачты были б розами убраны,
Из чудесной ткани паруса!

Если б я был богом океана,
Я б любил тебя, моя душа;
Я б любил без бури, без обмана,
Я б носил тебя, едва дыша!

Но беда тому, кто захотел бы
Разлучить меня с тобою, друг!
Всклокотал бы я и закипел бы!
Все валы свои погнал бы вдруг!

В реве бури, в свисте урагана
Враг узнал бы бога океана!
Всюду, всюду б я его сыскал!
Со степен сорвал бы я курганы!

Доплеснул волной до синих скал,
Чтоб добыть тебя, моя циана,
Если б я был богом океана!

Лето 1856

* * *

Что за грустная обитель
И какой знакомый вид!
За стеной храпит смотритель,
Сонно маятник стучит;

Стукнет вправо, стукнет влево,
Будит мыслей длинный ряд,
В нем рассказы и напевы
Затверженные звучат.

А в подсвечнике пылает
Догоревшая свеча;

*Где-то пес далеко лает,
Ходит маятник, стуча;*

*Стукнет влево, стукнет вправо,
Все твердит о старине;
Грустно так; не знаю, право,
Наяву я иль во сне?*

*Вот уж лошади готовы —
Сел в кибитку и скачу, —
Полно, так ли? Вижу снова
Ту же сальную свечу,*

*Ту же грустную обитель,
И кругом знакомый вид,
За стеной храпит смотритель,
Сонно маятник стучит...*

Лето 1856

** * **

*Не верь мне, друг, когда, в избыт-
ке горя,
Я говорю, что разлюбил тебя,
В отлива час не верь измене моря,
Оно к земле воротится, любя.*

*Уж я тоскую, прежней страсти
полный,*

Мою свободу вновь тебе отдам,
И уж бегут с обратным шумом
волны
Издалека к любимым берегам!

Лето 1856

* * *

Острою секирой ранена береза,
По коре серебристой покатались
слезы;

Ты не плачь, береза, бедная, не се-
туй!
Рана не смертельна, вылечится к
лету,
Будешь красоваться, листьями
убрана...

Лишь больное сердце не залечит
раны!

Лето 1856

* * *

Усни, печальный друг, уже с грядущей
тьмой
Вечерний алый свет сливается все
боле;
Блеящие стада вернулись домой,

И улеглася пыль на опустелом поле.

*Да снидет ангел сна, прекрасен и крылат,
И да перенесет тебя он в жизнь иную!
Издавна был он мне в печали друг и брат,
Усни, мое дитя, к нему я не ревную!*

*На раны сердца он забвение прольет,
Пытливую тоску от разума отымет
И с горестной души на ней лежащий гнет
До нового утра незримо приподымет.*

*Томимая весь день душевною борьбой,
От взоров и речей враждебных ты устала,
Усни, мое дитя, меж ними и тобой
Он благостной рукой опустит по-*

крывало!

Август 1856

** * **

*Да, братцы, это так, я не под па-
ру вам,
То я весь в солнце, то в тумане,
Веселость у меня с печалью попо-
лам,
Как золото на черной ткани.*

*Вам весело, друзья, пируйте ж в
добрый час,
Не враг я песням и потехам,
Но дайте погрустить, и, может
быть, я вас.
Еще опережу неудержимым сме-
хом!*

Август 1856

** * **

*Когда кругом безмолвен лес дре-
мучий
И вечер тих;
Когда невольно просится певучий
Из сердца стих;
Когда упрек мне шепчет шелест
нивы*

Иль шум дерев;
Когда кипит во мне нетерпеливо
Правдивый гнев;
Когда вся жизнь моя покрыта
тьмою
Тяжелых туч;
Когда вдали мелькнет передо
мною
Надежды луч;
Средь суеты мирского развлече-
нья,
Среди забот,
Моя душа в надежде и в сомненье
Тебя зовет;
И трудно мне умом понять раз-
луку,
Ты так близка,
И хочет сжать твою родную руку
Моя рука!

Август или сентябрь 1856

* * *

Сердце, сильней разгораясь от го-
ду до году,
Брошено в светскую жизнь, как в
студеную воду.
В ней, как железо в раскале, оно
закипело:

*Сделала, жизнь, ты со мною
недоброе дело!*

*Буду кипеть, негодуя, тоской и печалью,
Все же не стану блестящей холодной сталью!*

Август или сентябрь 1856

** * **

*В стране лучей, незримой нашим
взорам,
Вокруг миров вращаются миры;
Там сонмы душ возносят стройным хором
Своих молитв немолчные дары;*

*Блаженством там сияющие лики
Отвращены от мира суеты,
Не слышны им земной печали
клики,
Не видны им земные нищеты;*

*Все, что они желали и любили,
Все, что к земле привязывало их,
Все на земле осталось горстью
пыли,
А в небе нет ни близких, ни род-*

ных.

Но ты, о друг, лишь только звуки
рая
Как дальний зов в твою проник-
нут грудь,
Ты обо мне подумай, умирая,
И хоть на миг блаженство поза-
будь!

Прощальный взор бросая нашей
жизни,
Душою, друг, взглядишь в мои чер-
ты,
Чтобы узнать в заоблачной от-
чизне
Кого звала, кого любила ты,

Чтобы не мог моей молящей речи
Небесный хор навеки заглушить,
Чтобы тебе, до нашей новой
встречи,
В стране лучей и помнить и гру-
стить!

Август или сентябрь 1856

* * *

Лишь только один я останусь с

собою,
Меня голоса призывают толпою.
Которому ж голосу отповедь
дам?
В сомнении рвется душа пополам.

Советов, угроз, обещаний так
много,
Но где же прямая, святая дорога?
С мучительной думой стою на пу-
ти —
Не знаю, направо ль, налево ль ид-
ти?

Махни уж рукой да иди, не робея,
На голос, который всех манит
сильнее,
Который немолчно, вблизи, вда-
леке,
С тобой говорит на родном язы-
ке!

Август или сентябрь 1856

* * *

«...» Алексей Толстой верил в предсуще-
ствование искусства. Мир предстоял ему как
художественное произведение, которое чут-
кие поэты и музыканты выявляют, подобно

тому как «над пламенем грамоты тайной бесцветные строки вдруг выступают». Мир талантлив. Он звучит музыкой, переливается красками, в нем реют слова, и это он нашептывает темы для земных творцов. Когда Бетховен слагал свой марш похоронный, он не из себя брал «этот ряд раздирающих сердце аккордов, плач неутешной души над погибшей великою мыслью, рушение светлых миров в безнадежную бездну хаоса», -

*Нет, эти звуки рыдали всегда в
беспредельном пространстве,
Он же, глухой для земли, неземные
подслушал рыданья.
Много в пространстве невидимых
форм и неслышимых звуков,
Много чудесных в нем есть сочетаний
и слова и света.*

Если так, то в искусстве – истина, и красота не украшение, а сама сущность бытия, его имманентная природа; если так, икона, образ – это благодатная необходимость, которой всякий раз и поклоняется «наш мир удивленный». Толстой больше всего привлекателен той способностью удивления перед мировой

и человеческой иконой, в особенности если она – старинная, издавна чтимая, если она напоминает изысканные, выцветшие тона гобелена, как прекрасные терцины его «Дракона».

Ю. А. Айхенвальд [22]

* * *

*Тщетно, художник, ты мнишь,
что творений своих ты создатель!*

*Вечно носились они над землею,
незримые оку.*

Нет, то не Фидий воздвиг олимпийского славного Зевса!

*Фидий ли выдумал это чело, эту
львиную гриву,
Ласковый, царственный взор из-
под мрака бровей
громоносных?*

*Нет, то не Гёте великого Фауста
создал, который,
В древнегерманской одежде, но в
правде глубокой,
вселенской,
С образом сходен предвечным сво-
им от слова до слова.*

Или Бетховен, когда находил он
свой марш похоронный,
Брал из себя этот ряд раздираю-
щих сердце аккордов,
Плач неутешной души над погиб-
шей великою мыслью,
Рушенье светлых миров в безна-
дежную бездну хаоса?

Нет, эти звуки рыдали всегда в
беспредельном пространстве,
Он же, глухой для земли, незем-
ные подслушал рыданья.

Много в пространстве невидимых
форм и неслышимых звуков,
Много чудесных в нем есть соче-
таний и слова и света,
Но передаст их лишь тот, кто
умеет и видеть и слышать,
Кто, уловив лишь рисунка черту,
лишь созвучье, лишь слово,
Целое с ним вовлекает создание в
наш мир удивленный.

О, окружи себя мраком, поэт,
окружися молчаньем,
Будь одинок и слеп, как Гомер, и

глух, как Бетховен,
Слух же душевный сильнее напря-
гай и душевное зренье,
И как над пламенем грамоты
тайной бесцветные строки
Вдруг выступают, так выступят
вдруг пред тобою картины,
Выйдут из мрака всё ярче цвета,
осязательней формы,
Стройные слов сочетания в яс-
ном сплетутся значенье...

Ты ж в этот миг и внимай, и гля-
ди, притаивши дыханье,
И, созида я потом, мимолетное
помни виденье!

Октябрь 1856

* * *

Что ты голову склонила?
Ты полна ли тихой ленью?
Иль грустишь о том, что было?
Иль под виноградной сенью

Начертания сквозные
Разгадать хотела б ты,
Что на землю вырезные
Сверху бросили листы?

Но дрожащего узора
Нам значенье непонятно —
Что придет, узнаешь скоро,
Что прошло, то невозвратно!

Час полуденный палящий,
Полный жизни огневой,
Час веселый настоящий,
Этот час один лишь твой!

Не клони ж печально взора
На рисунок непонятный —
Что придет, узнаешь скоро,
Что прошло, то невозвратно!

Ноябрь 1856

Б. М. МАРКЕВИЧУ

Ты прав; мой своенравный гений
Слетал лишь изредка ко мне;
Таясь в душевной глубине,
Дремала буря песнопений;

Меня ласкали сон и лень,
Но, цепь житейскую почуя,
Воспрянул я; и, негодую,
Стихи текут. Так в бурный день,

Прорезав тучи, луч заката

Сугубит блеск своих огней,
И так река, скалами сжата,
Бежит сердитей и звучней!

Осень 1856

* * *

И у меня был край родной ко-
гда-то;
Со всех сторон
Синела степь; на ней белели ха-
ты —
Все это сон!
Я помню дом и пестрые узоры
Вокруг окон,
Под тенью лип душистых разго-
воры —
Все это сон!
Я там мечтою чистой, безмя-
тежной
Был озарен,
Я был любим так искренно, так
нежно —
Все это сон!
И думал я: на смерть за край ро-
димый
Я обречен!
Но гром умолк; гроза промчалась
мимо —

Все было сон!
Летучий ветер, неси ж родному
краю,
Неси поклон;
В чужбине век я праздню дожи-
ваю —
Все было сон!

1856

* * *

Господь, меня готовя к бою,
Любовь и гнев вложил мне в грудь,
И мне десницею святою
Он указал правдивый путь;

Одушевил могучим словом,
Вдохнул мне в сердце много сил,
Но непреклонным и суровым
Меня Господь не сотворил.

И гнев я свой истратил даром,
Любовь не выдержал свою,
Удар напрасно за ударом
Я отбивая устаю.

Навстречу их враждебной вьюги
Я вышел в поле без кольчуги
И гибну, раненный в бою.

Порой, среди забот и жизненного
шума,
Внезапно набежит мучительная
дума
И гонит образ твой из горестной
души.

Но только лишь один останусь я
в тиши
И суетного дня минует гул тре-
вожный,
Смирятся во мне волненье жиз-
ни ложной,
Душа, как озеро, прозрачна и
сквозна,
И взор я погрузить в нее могу до
дна;

Спокойно мыслю, ничем не воз-
мутимой,
Твой отражаю лик желанный и
любимый
И ясно вижу глубь, где, как бле-
стящий клад,
Любви моей к тебе сокровища ле-
жат.

Не Божиим громом горе ударило,
Не тяжелой скалой навалилося;
Собиралось оно малыми тучка-
ми,
Затянули тучки небо ясное,
Посеяло горе мелким дождичком,
Мелким дождичком осенним.

А и сеет оно давным-давно,
И сечет оно без умолку,
Без умолку, без устали,
Без конца сечет, без отдыха;

Проняло насквозь добра молодца,
Проняло дрожью холодною,
Лихорадкою, лихоманкою,
Сном-дремотою, зевотою.

– Уже полно, горе, дуб ломать по
пруткам,
Щипати по листикам!
А и бывало же другим счастьеще:
Налетало горе вихрем-бурею,
Ворочало горе дубы с корнем вон!

* * *

Ой, честь ли то молодцу лен прясти?

А и хвала ли боярину кичку носить?

Воеводе по воду ходить?

Гусляру-певуну во приказе сидеть?

Во приказе сидеть, потолок коптить?

Ой, коня б ему! гусли б звонкие!

Ой, в луга б ему, во зеленый бор!

Через реченьку да в темный сад,

Где соловушка на черемушке

Целу ноченьку напролет поет!

1857

* * *

Ты неведомое, незнамое,

Без виду, без образа,

Без имени-прозвища!

Полно гнуть меня ко сырой земле,

Донимать меня, добра молодца!

Как с утра-то встану здоровёшенек,

Здоровёшенек, кажись, гору сдвиги

нул бы,
А к полудню уже руки опускают-
ся,
Ноги словно ко земле приросли.

А подходит оно без оклика,
Меж хотенья и дела втирается,
Говорит: «Не спеши, добрый моло-
дец,
Еще много впереди времени!»

И субботу называет пятницей,
Фомину неделю светлым праздни-
ком.
Я пушусь ли в путь-дороженьку,
Ан оно повело проселками,
На полпути корчмой выросло;

Я за дело примусь, ан оно мухою
Перед носом снует, извивается;
А потом тебе же насмехается:
«Ой, удал, силен, добрый молодец!

Еще много ли на боку полёжано?
Силы-удали понакоплено?
Отговорок-то понахожено?

А и много ли богатырских дел,

*На печи сидючи, понадумано?
Вахлаками других поругано?
Себе спину почёсано?»*

1857

* * *

*Он водил по струнам; упадали
Волоса на безумные очи,
Звуки скрипки так дивно звучали,
Разливаясь в безмолвии ночи.*

*В них рассказ убедительно-лживый
Развивал невозможную повесть,
И змеиного цвета отливов
Соблазняли и мучили совесть;*

*Обвиняющий слышался голос,
И рыдали в ответ оправданья,
И бессильная воля боролась
С возрастающей бурей желанья,*

*И в туманных волнах рисовались
Берега позабытой отчизны,
Неземные слова раздавались
И манили назад с укоризной,*

И так билось сердце тревожно,

Так ему становилось понятно
Все блаженство, что было воз-
можно
И потеряно так невозвратно,

И к себе беспощадная бездна
Свою жертву, казалось, тянула,
А стезею лазурной и звездной
Уж полнеба луна обогнула;

Звуки пели, дрожали так звонко,
Замирали и пели сначала,
Беглым пламенем синяя жженка
Музыканта лицо освещала...

Начало 1857

* * *

Уж ласточки, кружась, над кры-
шей щебетали,
Красуясь, идет нарядная весна:
Порою входит так в дом скорби и
печали
В цветах красавица, надменна и
пышна.

Как праздничный мне лик весны
теперь несносен!
Как грустен без тебя дерев зеле-

ных вид!
И мыслю я: когда ж на них повеет
осень
И, сыпля желтый лист, нас вновь
соединит!

Весна 1857

* * *

Дерево мое миндальное
Все цветами убирается,
В сердце думушка печальная
Поневоле зарождается:

Деревоцм цветы обронятся,
И созреет плод непрошенный,
И зеленое наклонится
До земли под горькой ношею!

1857 или 1858

* * *

Мой строгий друг, имей терпенье
И не брани меня так зло;
Не вдруг приходит вдохновенье,
Земное бремя тяжело;

Простора нет орлиным взмахам;
Как Этны темное жерло,
Моя душа покрыта прахом.

Но в глубине уж смутный шум,
И кратер делается тесен.

Для раскалившихся в нем дум,
Для разгорающихся песен.

Пожди еще, и грянет гром,
И за клубится дым кудрявый,
И пламя, вырвавшись снопом,
Польется вниз звенящей лавой.

1857 или 1858

* * *

Двух станов не боец, но только
гость случайный,
За правду я бы рад поднять мой
добрый меч,
Но спор с обоими досель мой жре-
бий тайный,
И к клятве ни один не мог меня
привлечь;

Союза полного не будет между
нами —
Не купленный никем, под чье б ни
стал я знамя,
Пристрастной ревности друзей
не в силах снести,

Я знамени врага отстаивал бы
честь!

1858

* * *

Как селянин, когда грозят
Войны тяжелые удары,
В дремучий лес несет свой клад
От нападения и пожара,
И там во мрачной тишине
Глубоко в землю зарывает,
И на чешуйчатой сосне
Свой знак с заклятьем зарубает,
Так ты, певец, в лихие дни,
Во дни гоненья рокового,
Под темной речью хорони
Свое пророческое слово.

1858

* * *

Запад гаснет в дали бледно-розо-
вой,
Звезды небо усеяли чистое,
Соловей свищет в роще березовой,
И травую запахло душистою.

Знаю, что к тебе в думушку вкра-
лося,

Знаю сердца немолчные жалобы,
Не хочу я, чтоб ты притворялася
И к улыбке себя принуждала бы!

Твое сердце болит безотрадное,
В нем не светит звезда ни еди-
ная —
Плачь свободно, моя ненаглядная,
Пока песня звучит соловьиная,

Соловьиная песня унылая,
Что как жалоба катится слез-
ная,
Плачь, душа моя, плачь, моя ми-
лая,
Тебя небо лишь слушает звездное!

1858

* * *

Ты почто, злая кручинушка,
Не вконец извела меня, бедную,
Разорвала лишь душу надвое?
Не сойтися утру с вечером,
Не ужиться двум добрым молод-
цам;

Из-за меня они ссорятся,
А и оба меня корят, бранят.

Уж как станет меня брат корить:

«Ты почто пошла за боярина?
Напросилась в родню неровную?»

Отщепенница, переметчица,
От своей родни отступница!»

«Государь ты мой, милый братец мой,

Я в родню к ним не напрашивалась,

И ты сам меня уговаривал,
Снаряжал меня, выдавал меня!»

Уж как станет меня муж корить:

«Из какого ты роду-племени?
Еще много ли за тобой приданого?»

Еще чем меня опоила ты,
Приговорщица, приворотница,
Меня с нашими разлучница?»

«Государь ты мой, господин ты мой,

Я тебя не приворачивала,
И ты взял меня вольной волею,
А приданого за мной немного

есть,
И всего-то сердце покорное,
Голова тебе, сударь, поклонная!»

Перекинулся хмель через речень-
ку,
С одного дуба на другой дуб,
И качается меж обоими,
Над быстрой водой зеленеючи,
Злой кручинушки не знаячи,
Оба дерева обнимаючи.

1858

* * *

Рассеивается, расступается
Грусть под думами под могучи-
ми,
В душу темную пробивается
Словно солнышко между тучами!

Ой ли, молодец? Не расступится,
Не рассеется ночь осенняя,
Скоро сведаешь, чем искупится
Непоказанный миг веселия!

Прикачнулась, привалилася
К сердцу сызнова грусть обычная,
И головушка вновь склонилася,

Бесталанная, горемычная...

1858

* * *

Что ни день, как поломя со вла-
гой,
Так унынье борется с отвагой,
Жизнь бежит то круто, то отло-
го,
Вьется вдаль неровною дорогой,
От беспечной удали к заботам
Переходит пестрым переплетом,
Думы ткут то в солнце, то в ту-
мане
Золотой узор на темной ткани.

1858

* * *

Звонче жаворонка пенье,
Ярче вешние цветы,
Сердце полно вдохновенья,
Небо полно красоты.

Разорвав тоски оковы,
Цепи пошлые разбив,
Набегают жизни новой
Торжествующий прилив,

*И звучит свежо и юно
Новых сил могучий строй,
Как натянутые струны
Между небом и землей.*

1858

* * *

*Осень. Обсыпается весь наш бед-
ный сад,
Листья пожелтелые по ветру ле-
тят;
Лишь вдали красуются, там на
дне долин,
Кисти ярко-красные вянущих ря-
бин.*

*Весело и горестно сердцу моему,
Молча твои рученьки грею я и
жму
В очи тебе глядячи, молча слезы
лью,
Не умею высказать, как тебя
люблю.*

1858

* * *

*Источник за вишневым садом,
Следы голых девичьих ног.*

*И тут же оттиснулся рядом
Гвоздями подбитый сапог.*

*Все тихо на месте их встречи,
Но чует ревниво мой ум
И шепот, и страстные речи,
И ведер расплесканных шум...*

1858

* * *

*О друг, ты жизнь влачишь, без
пользы увядая,
Пригнутая к земле, как тополь
молодая;
Поблекла свежая ветвей твоих
краса,
И листья кроет пыль и дольная
роса.*

*О, долго ль быть тебе печальной
и согнутой?
Смотри, пришла весна, твои не
крепки путы,
Воспрянь и подымись трепещу-
щим столбом,
Вершиною шумя в эфире голубом!*

1858

В совести искал я долго обвине-
нья,
Горестное сердце вопрошал до-
волью —
Чисты мои мысли, чисты побуж-
дения,
А на свете жить мне тяжело и
больно.

Каждый звук случайный я ловлю
пытливо,
Песня ли раздастся на селе дале-
ком,
Ветер ли всколыхнет золотую ни-
ву —
Каждый звук неясным мне звучит
упреком.

Залегло глубоко смутное сомне-
нье,
И душа собою вечно недовольна:
Нет ей приговора, нет ей прими-
ренья,
И на свете жить мне тяжело и
больно!

Согласить я силюсь, что несогла-

*симо,
Но напрасно разум бьется и хлоп-
почет,
Горестная чаша не проходит ми-
мо,
Ни к устам зовущим низойти не
хочет!*

1858

* * *

*Минула страсть, и пыл ее тре-
вожный
Уже не мучит сердца моего,
Но разлюбить тебя мне невоз-
можно,
Все, что не ты, – так суетно и
ложно,
Все, что не ты, – бесцветно и
мертво.*

*Без повода и права негодую,
Уж не кипит бунтующая кровь,
Но с пошлой жизнью слиться не
могу я,
Моя любовь, о друг, и не ревную,
Осталась та же прежняя любовь.*

Так от высот нахмуренной приро-

ды,
С нависших скал сорвавшийся по-
ток
Из царства туч, грозы и непогоды
В простор степей выносит те же
воды
И вдаль течет, спокоен и глубок.

1858

* * *

Когда природа вся трепещет и си-
яет,
Когда ее цвета ярки и горячи,
Душа бездейственно в простран-
стве утопает
И в неге врозь ее расходятся лучи.

Но в скромный, тихий день, осен-
нею погодой,
Когда и воздух сер, и тесен круго-
зор,
Не развлекаюсь я смиренною при-
родой,
И немощен ее на жизнь мою на-
пор.

Мой трезвый ум открыт для
сильных вдохновений,

Сосредоточен я живу в себе са-
мом,
И сжатая мечта зовет толпы
видений,
Как зажигательным рождая их
стеклом.

Винтовку сняв с гвоздя, я остав-
ляю дом,
Иду меж озимей чернеющей доро-
гой;
Смотрю на кучу скирд, на сло-
маный забор,
На пруд и мельницу, на дикий ко-
согор,

На берег ручейка болотисто-от-
логий,
И в ближний лес вхожу. Там по-
красневший клен,
Еще зеленый дуб и желтые березы
Печально на меня свои стряхают
слезы;

Но дале я иду, в мечтанья погру-
жен,
И виснут надо мной полунагие су-
чья,

А мысли между тем слагаются в
созвучья,
Свободные слова теснятся в мер-
ный строй,
И на душе легко, и сладостно, и
странно,
И тихо все кругом, и под моей но-
гой
Так мягко мокрый лист шумит
благоуханный.

1858

* * *

Ты знаешь, я люблю там, за ла-
зурным сводом,
Ряд жизней мысленно отыски-
вать иных
И, путь свершая мой, с улыбкой
мимоходом
Смотрю на прах забот и горестей
земных.

Зачем же сердце так сжимается
неволью,
Когда твой встречу взор, и так
тебя мне жаль,
И каждая твоя мгновенная пе-
чаль

*В душе моей звучит так долго и
так больно?*

1858

* * *

*Замолкнул гром, шуметь гроза
устала,
Светлеют небеса;
Меж черных туч приветно засия-
ла
Лазури полоса.*

*Еще дрожат цветы, полны водою
И пылью золотой,
О не топчи их с новою враждою
Презрительной пятой.*

1858

* * *

*Змея, что по скалам влечешь свои
извивы
И между трав скользишь, обма-
нывая взор,
Помедли, дай списать чешуйча-
тый узор:
Хочу для девы я холодной и краси-
вой
Счеканить по тебе причудливый*

убор.

Пускай, когда она, скользя зарей
вечерней,
К сопернику тайком счастливому
пойдет,
Пускай блестит, как ты, и в золо-
те и в черни,
И пестрый твой в траве напоми-
нает ход!

1858

* * *

Ты жертва жизненных тревог,
И нет в тебе сопротивленья,
Ты, как оторванный листок,
Плывешь без воли по теченью;

Ты как на жниве сизый дым:
Откуда ветер ни повеет,
Он только стелется пред ним
И к облакам бежать не смеет;

Ты словно яблони цветы,
Когда их снег покрыл тяжелый:
Стряхнуть тоску не можешь ты,
И жизнь тебя погнула долу;

Ты как лощинка в вешний день:
Когда весь мир благоухает,
Соседних гор ложится тень
И ей одной цвести мешает;

И как с вершин бежит в нее
Снегов растаявшая гряда,
Так в сердце бедное твое
Стекает горе отовсюду!

1858

* * *

Бывают дни, когда злой дух меня
тревожит
И шепчет на ухо неясные слова,
И к небу вознестись душа моя не
может,
И отягченная склоняется глава.

И он, не ведая ни радости, ни ве-
ры,
В меня вдыхает злость – к кому,
не знаю сам —
И лживым зеркалом могучие раз-
меры
Лукаво придает ничтожным ме-
лочам.

*В кругу моих друзей со мной си-
дит он рядом,
Веселость им у нас надолго отня-
та,
И сердце он мое напитывает
ядом
И речи горькие влагает мне в
уста.*

*И все, что есть во мне порочного
и злого,
Клубится и растет все гуще и
мрачней
И застилает тьмой сиянье дня
родного,
И неба синеву, и золото полей,
В пустыню грустную и в ночь пре-
образуя
Все то, что я люблю, чем верю и
живу я.*

1858

* * *

*С тех пор как я один, с тех пор
как ты далёко,
В тревожном полусне когда забудь
дуть я,
Светлей моей души недремлющее*

око
И близость явственней духовная
твоя.

Сестра моей души! С улыбкою
участья
Твой тихий кроткий лик склоня-
ется ко мне,
И я, исполненный мучительного
счастья,
Любящий чую взор в тревожном
полусне.

О, если в этот час ты также им
объята,
Мы думою, скажи, проникнуты ль
одной?
И видится ль тебе туманный об-
раз брата,
С улыбкой грустною склоненный
над тобой?

1858

* * *

Слеза дрожит в твоём ревнивом
взоре,
О, не грусти, ты все мне дорога,
Но я любить могу лишь на про-

сторы,
Мою любовь, широкую как море,

Вместить не могут жизни берега.

Когда Глагола творческая сила
Толпы миров воззвала из ночи,
Любовь их все, как солнце, озарила,

И лишь на землю к нам ее светила

Нисходят порознь редкие лучи.
И порознь их отыскивая жадно,
Мы ловим отблеск вечной красоты;

Нам вестью лес о ней шумит от-
радной,

О ней поток гремит струею хлад-
ной

И говорят, качаяся, цветы.
И любим мы любовью раздроб-
ленной

И тихий шепот вербы над ручьем,
И милой девы взор, на нас скло-
ненный,

*И звездный блеск, и все красы все-
ленной,
И ничего мы вместе не сольем.*

*Но не грусти, земное минет горе,
Пожди еще, неволя недолга —
В одну любовь мы все сольемся
вскоре,
В одну любовь, широкую как море,
Что не вместят земные берега!*

1858

* * *

*Я вас узнал, святые убежденья,
Вы спутники моих минувших
дней,
Когда, за беглой не гоняясь те-
нью,
И думал я и чувствовал верней,
И юною душою ясно видел
Всё, что любил, и всё, что ненави-
дел!*

*Средь мира лжи, средь мира мне
чужого,
Не навсегда моя остыла кровь;
Пришла пора, и вы воскресли сно-
ва,*

Мой прежний гнев и прежняя любовь!
Рассеялся туман и, слава богу,
Я выхожу на старую дорогу!

По-прежнему сияет правды сила,
Ее сомненья боле не затмят;
Неровный круг планета совершила
И к солнцу снова катится назад,
Зима прошла, природа зеленеет,
Луга цветут, весной душистой веет!

1858

* * *

О, не спеши туда, где жизнь светлей и чище
Среди миров иных;
Помедли здесь со мной, на этом пепелище
Твоих надежд земных!
От праха отрешась, не удержатъ полета
В неведомую даль!
Кто будет в той стране, о друг,
твоя забота
И кто твоя печаль?

*В тревоге бытия, в безбрежном
колыханье
Без цели и следа,
Кто в жизни будет мне и ра-
дость, и дыханье,
И яркая звезда?
Слиясь в одну любовь, мы цепи
бесконечной
Единое звено,
И выше восходить в сиянье правды
вечной
Нам врозь не суждено!*

1858

МАДОННА РАФАЭЛЯ

*Склоняся к юному Христу,
Его Мария осенила;
Любовь небесная затмила
Ее земною красоту.*

*А он, в прозрении глубоком,
Уже вступая с миром в бой,
Глядит вперед – и ясным оком
Голгофу видит пред собой.*

1858

* * *

Дробится, и плещет, и брызжет

*волна
Мне в очи соленою влагой;
Недвижно на камне сижусь я – пол-
на
Душа безотчетной отвагой.*

*Валы за валами, прибой и отбой,
И пена их гребни покрыла;
О море, кого же мне вызвать на
бой,
Изведать воскресшие силы?*

*Почуяло сердце, что жизнь хоро-
ша,
Вы, волны, размыкали горе,
От грома и плеска проснулась ду-
ша,
Сродни ей шумящее море!*

1858

* * *

*Не пенится море, не плещет вол-
на,
Деревья листьями не двинут,
На глади прозрачной царит ти-
шина,
Как в зеркале мир опрокинут.*

Сижу я на камне, висят облака
Недвижные в синем просторе;
Душа безмятежна, душа глубока,
Сродни ей спокойное море.

1858

* * *

Не брани меня, мой друг,
Гнев твой выразится худо,
Он мне только нежит слух,
Я слова ловить лишь буду,
Как они польются вдруг,
Так посыпятся, что чудо, —
Точно падает жемчуг
На серебряное блюдо!

1858

* * *

Я задремал, главу понуря,
И прежних сил не узнаю:
Дохни, Господь, живящей бурей
На душу сонную мою.

Как глас упрека, надо мною
Свой гром призывный прокати,
И выжги ржавчину покоя,
И прах бездействия смети.

Да вспряну я, тобой подъятый,
И, вняв карающим словам,
Как камень от удара млата,
Огонь таившийся издам!

1858

* * *

Горними тихо летела душа небе-
сами,
Грустные долу она опускала рес-
ницы;
Слезы, в пространство от них
упадая звездами,
Светлой и длинной вилися за ней
вереницей.

Встречные тихо ее вопрошали
светила:
«Что ты грустна? и о чем эти
слезы во взоре?»
Им отвечала она: «Я земли не за-
была,
Много оставила там я страданья
и горя.

Здесь я лишь ликам блаженства
и радости внемлю,
Праведных души не знают ни

скорби, ни злобы —
О, отпусти меня снова, Создатель,
на землю,
Было б о ком пожалеть и утешить
кого бы!»

1858

* * *

Ты клонишь лик, о нем упоминая,
И до чела твоя восходит кровь, —
Не верь себе! Сама того не зная,
Ты любишь в нем лишь первую
любовь;

Ты не его в нем видишь совершенства
И не собой привлечь тебя он
мог —
Лишь тайных дум, мучений и блаженства
Он для тебя отысканный предлог;

То лишь обман неопытного взора,
То жизни луч из сердца ярко бьет
И золотит, лаская без разбора,
Все, что к нему случайно подойдет.

Вырастает дума, словно дерево.
Вроет в сердце корни глубокие,
По поднебесью ветвями раски-
нется,
Задрожит, зашумит тучей ли-
стиев.

Сердце знает ту думу крепкую,
Что оно взрастило, взлелеяло,
Разум сможет ту думу окинуть,
Сможет слово ту думу выска-
зать.

А какая то другая думушка,
Что ни высказать, ни вымерить,
Ни обнять умом, ни окинуть?
Промелькнет она без образа,

Вспыхнет дальнею зарницею,
Озарит на миг душу темную,
Много вспомнится забытого,
Много смутного, непонятного
В миг тот ясно сердцу скажется;

А рванешься за ней, погонишься —
Только очи ее и видели,

Только сердце ее и чуяло!

*Не поймать на лету ветра буйно-
го,
Тень от облака летучего
Не прибить гвоздем ко сырой зем-
ле.*

1858

* * *

*Тебя так любят все! Один твой
тихий вид
Всех делает добрей и с жизнью
мирит.
Но ты грустна; в тебе есть скры-
тое мученье.
В душе твоей звучит какой-то
приговор;
Зачем твой ласковый всегда так
робок взор
И очи грустные так молят о про-
щенье,
Как будто солнца свет, и вешние
цветы,
И тень в полдневный зной, и ше-
пот по дубравам,
И даже воздух тот, которым ды-
шишь ты,*

*Все кажется тебе стяжанием
неправым?*

** * **

*Хорошо, братцы, тому на свете
жить,
У кого в голове добра не много
есть,
А сидит там одно-одинешенько,
А и сидит оно крепко-накрепко,
Словно гвоздь обухом вколочен-
ный.*

*И глядит уж он на свое добро,
Все глядит на него, не спуская
глаз,
И не смотрит по сторонешкам,
А знай прет вперед, напролом
идет,
Давит встречного-поперечного.*

*А беда тому, братцы, на свете
жить,
Кому Бог дал очи зоркие,
Кому видеть дал во все стороны,
И те очи у него разбегаются;
И кажись, хорошо, а лучше есть,
А и худо, кажись, не без доброго!*

*И дойдет он до распутьица,
Не одну видит в поле дороженьку,
И он станет, призадумается,
И пойдет вперед, воротится,
Начинает идти сызнова,
А дорогою-то засмотрится
На луга, на леса зеленые,
Залюбуется на божьи цветики
И заслушается вольных пташе-
чек.*

*И все люди его корят, бранят:
«Ишь идет, мол, озирается!
Ишь стоит, мол, призадумался!
Ему б мерить всё да взвешивать,
На все боки бы поворачивать!*

*Не бывать ему воеводю.
Не бывать ему посадником,
Думным дьяком не бывать ему,
Ни торговым делом не правити!»*

1858

* * *

*Кабы знала я, кабы ведала,
Не смотрела бы из окошечка
Я на молодца разудалого,
Как он ехал по нашей улице,*

Набекрень заломивши мурмолку,
Как лихого коня буланого,
Звонконозого, долгогривого,
Супротив окон на дыбы вздымал!

Кабы знала я, кабы ведала,
Для него бы я не рядилася,
С золотой каймой ленту алую
В косу длинную не вплетала бы,
Рано до свету не вставала бы,
За околицу не спешила бы,
В росе ноженьки не мочила бы,
На проселок тот не глядела бы,
Не проедет ли тем проселком он,
На руке держа пестра сокола!

Кабы знала я, кабы ведала,
Не сидела бы поздно вечером,
Пригорюнившись, на завалине,
На завалине, близ колодезя,
Поджидаячи да гадаючи,
Не придет ли он, ненаглядный
мой,
Напоить коня студеной водой!

1858

* * *

К твоим, царица, я ногам,

Несу и радость и печали,
Мечты, что сердце волновали,
Веселье с грустью пополам.

Припомни день, когда ты, долу
Склонясь задумчивой главой,
Внимала русскому глаголу
Своею русскою душой;

Я мыслил, песни те слагая:
Они неведомо замрут —
Но ты дала им, о благая,
Свою защиту и приют.

Встречай же в солнце и в лазури,
Царица, радостные дни,
И нас, певцов, в годину бури
В своих молитвах помяни!

1858

* * *

Нет, уж не ведать мне, братцы,
ни сна, ни покою!
С жизнью бороться приходится, с
бабой-ягою.
Старая крепко меня за бока ухва-
тила,
Сломится, так и гляжу, молодец-

кая сила.

Пусть бы хоть молча, а то ведь
накинулась с бранью,
Слух утомляет мне, сплетница,
всякою дрянью.
Ох, насолили мне дразги и мелочи
эти!

Баба, постой, погоди, не одна ты
на свете:
Сила и воля нужны мне для боя
иного —
После, пожалуй, с тобою мы схва-
тимся снова!

1859

* * *

Сижу да гляжу я всё, братцы, вон
в эту сторонку,
Где катятся волны, одна за дру-
гой вперегонку.
Волна погоняет волну среди бур-
ного моря,
Что день, то за горем все новое
валится горе.

Сижу я и думаю: что мне ту-

жить за охота,
Коль завтра прогонит заботу
другая забота?
Ведь надобно ж место все новым
да новым кручинам,
Так что же тужить, коли клин
выбивается клином?

1859

* * *

Есть много звуков в сердца глуби-
не,
Неясных дум, непетых песней
много;
Но заглушает вечно их во мне
Забот немолчных скучная трево-
га.

Тяжел ее непрошенный напор,
Издавна сердце с жизнью боро-
лось —
Но жизнь шумит, как вихорь ло-
мит бор,
Как ропот струй, так шепчет
сердца голос!

1859

* * *

К страданиям чужим ты горе-
сти полна,
И скорбь ничья тебя не проходила
мимо;
К себе лишь ты одной всегда
неумолима,
Всегда безжалостна и вечно хо-
лодна!

Но если б видеть ты любящую ду-
шою
Могла со стороны хоть раз свою
печаль —
О, как самой себя тебе бы стало
жаль
И как бы плакала ты грустно над
собою!

1859

* * *

О, если б ты могла хоть на еди-
ный миг
Забить свою печаль, забыть свои
невзгоды!
О, если бы хоть раз я твой увидел
лик,
Каким я знал его в счастливей-
шие годы!

Когда в твоих глазах засветится
слеза,
О, если б эта грусть могла прой-
ти порывом,
Как в теплую весну пролётная
гроза,
Как тень от облаков, бегущая по
нивам!

1859

* * *

Нас не преследовала злоба,
Не от вражды иль клеветы —
От наших дум ушли мы оба,
Бежали вместе, я и ты.

Зачем же прежний глас упрека
Опять твердит тебе одно?
Опять пытающее око
Во глубь души устремлено?

Смотри: наш день восходит чи-
сто,
Ночной рассеялся туман,
Играя далью золотистой,
Нас манит жизни океан,

Уже надутое ветрило

Наш челн уносит в новый край...
Не сожалей о том, что было,
И взор обратно не кидай!

1859

* * *

Исполать тебе, жизнь – баба старая,
Привередница крикливая,
Что ты, лаючись, накликнулась,
Растолкала в бока добра молодца,
Растрепала его думы тяжкие!
Что ты сердца голос горестный
Заглушила бранью крупною!
Да не голос один заглушила ты —
Заглушила ты тот гуслирный
звон,
Заглушила песни многие,
Что в том голосе раздавались,
Затоптала все божьи цветики,
Что сквозь горести пробивались!
Пропадай же, жизнь – баба старая!
Дай разлиться мне по поднебесью,
Разлететься душой свободною,
Песней вольною, бесконечною!

И. С. АКСАКОВУ

Судя меня довольно строго,
В моих стихах находишь ты,
Что в них торжественности
много
И слишком мало простоты.

Так. В беспредельное влекома,
Душа незримый чует мир,
И я не раз под голос грома,
Быть может, строил мой псал-
тырь.

Но я не чужд и здешней жизни.
Служа таинственной отчизне,
Я и в пылу душевных сил
О том, что близко, не забыл.

Поверь, и мне мила природа,
И быт родного нам народа —
Его стремленья я делю,
И всё земное я люблю,

Все ежедневные картины:
Поля, и села, и равнины,
И шум колеблемых лесов,
И звон косы в лугу росистом,

*И пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков;
В степи чумацкие ночлеги,
И рек безбережный разлив,*

*И скрип кочующей телеги,
И вид волнующихся нив;
Люблю я тройку удалую,
И свист саней на всем бегу,*

*На славу кованную сбрую,
И золоченую дугу;
Люблю тот край, где зимы долги,
Но где весна так молода,*

*Где вниз по матушке по Волге
Идут бурлацкие суда;
И все мне дороги явленья,
Тобой описанные, друг,
Твои гражданские стремленья
И честной речи трезвый звук.*

*Но всё, что чисто и достойно,
Что на земле сложилось стройно,
Для человека то ужель,
В тревоге вечной мирозданья,
Есть грань высокого призванья*

И окончательная цель?

*Нет, в каждом шорохе растенья
И в каждом трепете листа
Иное слышится значенье,
Видна иная красота!*

*Я в них иному гласу внемлю
И, жизнью смертною дыша,
Гляжу с любовью на землю,
Но выше просится душа;*

*И что ее, всегда чаруя,
Зовет и манит вдалеке —
О том поведать не могу я
На ежедневном языке.*

Январь 1859

** * **

*Пусть тот, чья честь не без укора,
Страшится мнения людей;
Пусть ищет шаткой он опоры
В рукоплесканиях друзей!*

*Но кто в самом себе уверен,
Того хулы не потрясут —
Его глагол нелицемерен,*

Ему чужой не нужен суд.

*Ни пред какой земною властью
Своей он мысли не таит,
Не льстит неправому пристра-
стью,
Вражде неправой не кадит;*

*Ни пред венчанными царями,
Ни пред судилищем молвы
Он не торгуется словами,
Не клонит рабски головы.*

*Друзьям в угодность, боязливо
Он никому не шлет укор;
Когда ж толпа несправедливо
Свой постановит приговор,*

*Один, не следуя за нею,
Пред тем, что чисто и светло,
Дерзает он, благоговая,
Склонить свободное чело!*

Январь 1859

** * **

*На нивы желтые нисходит тиши-
на;
В остывшем воздухе от меркну-*

щих селений,
Дрожь, несетя звон. Душа моя
полна
Разлукою с тобой и горьких сожа-
лений.

И каждый мой упрек я вспоминаю
вновь,
И каждое твержу приветливое
слово,
Что мог бы я сказать тебе, моя
любовь,
Но что внутри себя я схоронил су-
рово!

1862

Против течения

А . К. Толстой – Александру II
Август или сентябрь 1861 г. [23]

Ваше величество, долго думал я о том, каким образом мне изложить Вам дело, глубоко затрагивающее меня, и пришел к убеждению, что прямой путь и здесь, как и во всех других обстоятельствах, является самым лучшим. Государь, служба, *какова бы она ни была*, глубоко противна моей натуре; знаю, что каждый должен в меру своих сил приносить пользу отечеству, но есть разные способы приносить пользу. Путь, указанный мне для этого провидением, – мое *литературное дарование*, и всякий иной путь для меня невозможен. Из меня всегда будет плохой военный и плохой чиновник, но, как мне кажется, я, не впадая в самомнение, могу сказать, что я хороший писатель. Это не новое для меня призвание; я бы уже давно отдался ему, если бы в течение известного времени (до сорока лет) не насиловал себя из чувства долга, считаясь с моими родными, у которых на это были другие взгляды. Итак, я сперва находился на граж-

данской службе, потом, когда вспыхнула война, я, как все, стал военным. После окончания войны я уже готов был оставить службу, чтобы всецело посвятить себя литературе, когда Вашему величеству угодно было сообщить мне через посредство моего дяди Перовского [24] о Вашем намерении, чтобы я состоял при Вашей особе. Мои сомнения и колебания я изложил моему дяде в письме, с которым он Вас знакомил, но так как он еще раз подтвердил мне принятое Вашим величеством решение, я подчинился ему и стал флигель-адъютантом Вашего величества. Я думал тогда, что мне удастся победить в себе натуру художника, но опыт показал, что я напрасно боролся с ней. *Служба и искусство несовместимы*, одно вредит другому, и надо делать выбор. Больше похвалы заслуживало бы, конечно, непосредственное деятельное участие в государственных делах, но призвания к этому у меня нет, в то время как другое призвание мне дано. Ваше величество, мое положение смущает меня: я ношу мундир, а связанные с этим обязанности не могу исполнять должным образом.

Благородное сердце Вашего величества простит мне, если я умоляю уволить меня окончательно в отставку, не для того чтобы удалиться от Вас, но чтобы идти ясно определенным путем и не быть больше птицей, щеголяющей в чужих перьях. Что же касается до Вас, государь, которого я никогда не перестану любить и уважать, то у меня есть средство служить Вашей особе, и я счастлив, что могу предложить Вам: это средство – *говорить во что бы то ни стало правду*, и это – единственная должность, возможная для меня и, к счастью, не требующая мундира. Я не был бы достоин ее, государь, если бы в настоящем моем прощении прибегал к каким-либо умолчаниям или искал мнимых предлогов.

Я всецело открыл Вам мое сердце и всегда готов буду открыть его Вам, ибо предпочитаю вызвать Ваше неудовольствие, чем лишиться Вашего уважения. Если бы, однако, Вашему величеству угодно было предоставить право приближаться к особе Вашего величества только лицам, облеченным официальным званием, позвольте мне, как и до войны, скромно стать камер-юнкером, ибо мое един-

ственное честолюбивое желание, государь, —
остаться Вашего величества самым верным
и преданным подданным.

Гр. А. Толстой [25]

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

1

*Други, вы слышите ль крик оглу-
шительный:*

«Сдайтесь, певцы и художники!

Кстати ли

*Вымыслы ваши в наш век положи-
тельный?*

*Много ли вас остается, мечтате-
ли?*

*Сдайтесь натиску нового време-
ни,*

*Мир отрезвился, прошли увлече-
ния —*

*Где ж устоять вам, отжившему
племени,*

Против течения?»

2

*Други, не верьте! Все та же еди-
ная*

Сила нас манит к себе неизвест-

ная,
Та же пленяет нас песнь соловьи-
ная,
Те же нас радуют звезды небес-
ные!

Правда все та же! Средь мрака
ненастного
Верьте чудесной звезде вдохнове-
ния,
Дружно гребите, во имя прекрас-
ного,
Против течения!

3

Вспомните: в дни Византии рас-
слабленной,
В приступах ярых на божьи оби-
тели,
Дерзко ругаясь святыне награв-
ленной,
Так же кричали икон истребите-
ли:

«Кто воспротивится нашему
множеству?
Мир обносили мы силой мышле-
ния —

*Где ж побежденному спорить ху-
дожеству
Против течения?»*

4

*В оные ж дни, после казни Спаси-
теля,
В дни, как апостолы шли вдохно-
венные,
Шли проповедовать слово учите-
ля,
Книжники так говорили надмен-
ные:*

*«Распят мятежник! Нет проку в
осмеянном,
Всем ненавистном, безумном уче-
нии!
Им ли убогим идти галилеянам
Против течения!»*

5

*Други, гребите! Напрасно хулите-
ли
Мнят оскорбить нас своею горды-
нею —
На берег вскоре мы, волн победи-
тели,*

Выйдем торжественно с нашей
святынею!

Верх над конечным возьмет бес-
конечное
Верю в наше святое значение,
Мы же возбудим течение встреч-
ное
Против течения!

1867

* * *

Эти бедные селенья.
Эта скудная природа!

Ф. Тютчев

Одарив весьма обильно
Нашу землю, царь небесный
Быть богатою и сильной
Повелел ей повсеместно.

Но чтоб падали селенья,
Чтобы нивы пустовали —
Нам на то благословенье
Царь небесный дал едва ли!

Мы беспечны, мы ленивы,
Все у нас из рук валится.

*И к тому ж мы терпеливы —
Этим нечего хвалиться!*

Февраль, 1869

И. А. ГОНЧАРОВУ

*Не прислушивайся к шуму
Толков, сплетен и хлопот,
Думай собственную думу
И иди себе вперед!*

*До других тебе нет дела,
Ветер пусть их носит лай!
Что в душе твоей созрело —
В ясный образ облакай!*

*Тучи черные нависли —
Пусть их виснут – черта с два!
Для своей живи лишь мысли,
Остальное трын-трава!*

1870

* * *

*Темнота и туман застилают
мне путь,
Ночь на землю все гуще ложится,
Но я верю, я знаю: живет где-ни-
будь,
Где-нибудь да живет царь-девица!*

Как достичь до нее – не ищи, не гадай,
Тут расчет никакой не поможет,
Ни догадка, ни ум, но безумье в
тот край,
Но удача принести тебя может!

Я не ждал, не гадал, в темноте
поскакал
В ту страну, куда нету дороги,
Я коня разнуздал, наудачу погнал
И в бока ему втиснул остроги!

Август 1870

* * *

В монастыре пустынном близ
Кордовы
Картина есть. Старательной ру-
кой
Изобразил художник в ней суро-
вый,
Как пред кумиром мученик свя-
той
Лежит в цепях и палачи с живого
Сдирают кожу... Вид картины
той,
Исполненный жестокого искус-
ства,

Сжимает грудь и возмущает чувство.
Но в дни тоски, мне все являясь
снова,
Упорно в мысль вторгается она,
И мука та казнимого святого
Сегодня мне понята и родна:
С моей души совлечены покровы,
Живая ткань ее обнажена,
И каждое к ней жизни прикасанье
Есть злая боль и жгучее терза-
нье.

Осень 1870

* * *

Вновь растворилась дверь на
влажное крыльцо,
В полуденных лучах следы недав-
ней стужи
Дымятся. Теплый ветер повеял
нам в лицо
И морщит на полях синеющие лу-
жи.

Еще трещит камин, отливами
огня
Минувший тесный мир зимы на-
поминая,

Но жаворонок там, над озимью
звения,
Сегодня возвестил, что жизнь
пришла иная.

И в воздухе звучат слова, не знаю
чьи,
Про счастье, и любовь, и юность,
и доверье,
И громко вторят им бегущие ру-
чьи,
Колебля тростника желтеющие
перья.

Пускай же, как они по глине и пес-
ку
Растаявших снегов, журча, уно-
сят воды,
Бесследно унесет души твоей тос-
ку
Врачующая власть воскреснувшей
природы!

25 декабря 1870

* * *

Про подвиг слышал я Кротонско-
го бойца,
Как, юного взвалив на плечи он

тельца,
Чтоб силу крепких мышц умно-
жить постепенно,
Вкруг городской стены ходил, под
ним согбенный,
И ежедневно труд свой повторял,
пока
Телец тот не дорос до тучного
быка.

В дни юности моей, с судьбой в
отважном споре,
Я, как Милон, взвалил себе на пле-
чи горе,
Не замечая сам, что бремя тяже-
ло;
Но с каждым днем оно невидимо
росло,
И голова моя под ним уж поседе-
ла,
Оно же все растет без меры и пре-
дела!

Май 1871

НА ТЯГЕ

Сквозит на зареве темнеющих
небес
И мелким предо мной рисуется

узором
В весенние листы едва одетый
лес,
На луг болотистый спускаясь ко-
согором.

И глушь и тишина. Лишь сонные
дрозды
Как нехотя свое доканчивают пе-
нье;
От луга всходит пар... мерцаю-
щей звезды
У ног моих в воде явилось отра-
жение;

Прохладой дунуло, и прошлогод-
ний лист
Зашелестел в дубах... Внезапно
легкий свист
Послышался; за ним, отчетисто
и внятно,
Стрелку знакомый хрип раздался
троекратно,

И вальдшнеп протянул – вне вы-
стрела. Другой
Летит из-за лесу, но длинную ду-
гой

Опушку обогнул и скрылся. Слух и зренье
Мои напряжены, и вот через мгновенье,

Свистя, еще один, в последнем свете дня,
Чертой трепещущей несется на меня.
Дыханье притаив, нагнувшись под осиной,
Я выждал верный миг – вперед на пол-аршина

Я вскинул – огонь блеснул, по лесу
грянул гром —
И вальдшнеп падает на землю колесом.
Удара тяжкого далекие раскаты,
Слабея, замерли. Спокойствием
объятый,

Вновь дремлет юный лес, и облаком седым
В недвижимом воздухе висит ружейный дым.
Вот донеслась еще из дальнего болота

*Весенних журавлей ликующая но-
та —*

*И стихло все опять – и в глубине
ветвей
Жемчужной дробию защелкал со-
ловей.
Но отчего же вдруг, мучительно
и странно,
Минувшим на меня повеяло
нежданно
И в этих сумерках, и в этой ти-
шине
Упреком горестным оно предста-
ло мне?*

*Былые радости! Забытые печали!
Зачем в моей душе вы снова про-
звучали
И снова предо мной, средь яв-
ственного сна,
Мелькнула дней моих погибшая
весна?*

Май 1871

** * **

«...» В самом течении и ритме стихов ды-
шит у него [26] радость жизни; часто внутрен-

ним зрением улавливаешь на его лице веселую, шутливую, порою – насмешливую улыбку. Иной раз даже льется через край страстное, взволнованное и волнующее чувство. Хочется вздохнуть всею грудью, хочется крикнуть, – нужны междометия, звуки без понятий, один припев:

*Гой, ты, родина моя!
Гой, ты, бор дремучий!
Свист полночный соловья!
Ветер, степь да тучи!
«Почуяло сердце, что жизнь хороша»,
и потому
Сердце скачет лихо:
Ой, ладо, лель-люли!*

У него есть, у Толстого, неудержимый восторг перед счастьем бытия, перед радостью дыхания, и прямо из души выливается один из прекраснейших звуков русской поэзии – эта светлая волна ранней весны, этот вечно свежий, полный восхищения и грусти клик человеческого сердца:

*То было в утро наших лет —
О счастье! о слезы!
О лес! о жизнь! о солнца свет!*

О свежий дух березы!

Он вообще – поэт весны; так сказать, несомненная, очевидная, всем нравящаяся, она, приспособленная к общечеловеческому вкусу, является и его любимым временем года, «зеленеет в его сердце». Правда, отдельными мотивами есть у него и песнь об осени, о которой он так прекрасно говорит, что она наступает, когда «землей пережита пора роскошных сил и мощных трепетаний, стремленья улеглись», – но не эта «последняя теплота» природы влечет его преимущественное внимание. Нет, майское, счастливое, ласковое – вот что ликующими ручейками звенит у него в стихах, и кого не возбудит эта божественная игра, которая разыгрывается в свежем, в зеленом, в лесу молодом, где синееет медуница, где черемуха гнет свои пушистые ветви?

*Теперь в ветвях березы
Поют и соловьи,
В лугах поют стрекозы,
В полях поют ручьи,
И много в небе рея
Поет пернатых стай —*

*Всех месяцев звончее
Веселый месяц май!*

От этой звонкости «сердце млеет и кружится голова», и недаром Канут, ослепленный природой, обманутый коварной, усыпляющей властью весны с ее шиповниками и соловьями, не чуял близкий гибели, беды неминуемой, – напрасно предостерегала его любящая супруга, напрасно взывала к нему: «Любимый, желанный, болезный»...

Но в земной весне с ее васильками и синими кувшинчиками поэт не остался, веселый месяц май не удовлетворяет его и ощущается им как некая часть, которой он не в силах слиться с целым. Подавленный своею дробностью и разрозненностью, Толстой всегда чувствует отдельно землю и отдельно небо; у него есть соседство двух миров, но не их тождество, на которое способна только душа внутренне претворяющая. Вселенная распадается для него на два полушария – не слито, не достигнуто великое Одно. И потому он часто в разных формах говорит о том, что душа его влекома в беспредельное, чует незримое, но что в то же время он не чужд и здешней

жизни – она лишь не кажется ему «окончательной целью». Ибо цель – в цельности.

*Гляжу с любовью на землю,
Но выше просится душа*

– вот искреннее признание Толстого. Он любит землю, но возносится над нею и в своей лирике запечатлел отрадную – быть может, от других унаследованную, отчасти на веру принятую – веру, что земное не есть начало и не есть завершение жизни. Его религиозное чувство, правда, сильно умерено его эстетизмом, но в самой эстетике его, в его поэзии таятся и воспоминания о сверхчувственном и надежды на него. Он смотрит на жизнь, и ему кажется:

*Все это было когда-то, —
Но только не помню когда.*

Юрий Айхенвальд

* * *

*То было раннею весной,
Трава едва всходила,
Ручьи текли, не парил зной,
И зелень рощ сквозила;*

*Труба пастушья поутру
Еще не пела звонко,
И в завитках еще в бору
Был папоротник тонкий.*

*То было раннею весной,
В тени берез то было,
Когда с улыбкой предо мной
Ты очи опустила.*

*То на любовь мою в ответ
Ты опустила вежды —
О жизнь! о лес! о солнца свет!
О юность! о надежды!*

*И плакал я перед тобой,
На лик твой глядя милый,
То было раннею весной,
В тени берез то было!*

*То было в утро наших лет —
О счастье! о слезы!
О лес! о жизнь! о солнца свет!
О свежий дух березы!*

Май 1871

** * **

Прозрачных облаков спокойное

движенье,
Как дымкой солнечный перени-
мая свет,
То бледным золотом, то мягкой
синей тенью
Окрашивает даль. Нам тихий
свой привет
Шлет осень мирная. Ни резких
очертаний,
Ни ярких красок нет. Землей пере-
жита
Пора роскошных сил и мощных
трепетаний;
Стремленья улеглись; иная красо-
та
Сменила прежнюю; ликующего
лета
Лучами сильными уж боле не со-
грета,
Природа вся полна последней теп-
лоты; —
Еще вдоль влажных меж красу-
ются цветы,
А на пустых полях засохшие были-
ны
Опутывает сеть дрожащей пау-
тины;
Кружася медленно в безветрии

лесном,
На землю желтый лист спадает
за листом;
Невольно я слежу за ними взором
думным,
И слышится мне в их падении бес-
шумном:
– Всему настал покой, прими ж
его и ты,
Певец, державший стяг во имя
красоты;
Проверь, усердно ли ее святое се-
мя
Ты в борозды бросал, оставленные
всеми,
По совести ль тобой задача свер-
шена
И жатва дней твоих обильна иль
скудна?

Сентябрь 1874

* * *

Земля цвела. В лугу, весной оде-
том,
Ручей меж трав катился, молча-
лив;
Был тихий час меж сумраком и
светом,

Был легкий сон лесов, полей и нив;

Не оглушал их соловей приветом;
Природу всю широко осеняв,
Царил покой; но под безмолвной
тенью
Могучих сил мне чужилось движе-
нье.

Не шелестя над головой моей,
В прозрачный мрак дерева уле-
тали;
Сквозной узор их молодых ветвей,
Как легкий дым, терялся в горней
дали;

Лесной чебёр и полевой шалфей,
Блестя росой, в траве благоухали,
И думал я, в померкший глядя
свод:
Куда меня так манит и влечет?

Проникнут весь блаженством
был я новым,
Исполнен весь неведомых мне сил:
Чего в житейском натиске суро-
вом
Не смел я ждать, чего я не про-

сил —

То свершено одним, казалось, словом,
И мнилось мне, что я лечу без крыл,
Перехожу, подъят природой всею,
В один порыв неудержимый с нею!

Но трезв был ум, и чужд ему вос-
торг,
Надежды я не знал, ни опасенья...
Кто ж мощно так от них меня
отторг?
Кто отрешил от тягости хоте-
нья?

Со злобой дня души постыдный
торг
Стал для меня без смысла и зна-
ченья,
Для всех тревог бесследно умер я
И ожил вновь в сознаныи бытия...

Тут пронеслось как в листьях ду-
новенье,
И как ответ послышалось мне:
Задачи то старинной разрешенье

*В таинственном ты видишь по-
лусне!*

*То творчества с покоем соглаше-
нье,
То мысли пыл в душевной тиши-
не...
Лови же миг, пока к нему ты чу-
ток, —
Меж сном и бдением краток про-
межуток!*

Май – сентябрь 1875

** * **

*Во дни минувшие бывало,
Когда являлася весна,
Когда природа воскресала
От продолжительного сна,
Когда ручьи текли обильно
И распускалися цветы,
Младое сердце билось сильно,
Кипели весело мечты;*

*С какою радостью чистой
Я вновь встречал в бору сыром
Кувшинчик синий и пушистый
С его мохнатым стебельком;
Какими чувствами родными*

Меня манил, как старый друг,
Звездами полный золотыми
Еще никем не смятый луг!

Потом пришла пора иная,
И с каждой новою весной,
Былое счастье вспоминая,
Грустней я делался; порой,
Когда темнели неба своды,
Едва шептались тростники,
Звучней ручья катились воды,
Жужжали поздние жуки,
Казалось мне, что мне недаром
Грустить весною суждено,
Что неожиданным ударом
Блаженство кончится должно.

...

...

* * *

Как часто ночью в тишине глубо-
кой
Меня тревожит тот же дивный
сон:
В туманной мгле стоит дворец
высокий
И длинный ряд дорических ко-
лонн,

Средь диких гор от них ложатся
тени,
К реке ведут широкие ступени.

И солнце там приветливо не блещет,
Порой сквозь тучи выглянет луна,
О влажный берег порой лениво плещет,
Катясь мимо, сонная волна,
И истуканов рой на плоской крыше
Стоит во тьме один другого выше.

Туда, туда неведомая сила
Вдоль по реке влечет мою ладью,
К высоким окнам взор мой пригвоздила,
Желаньем грудь наполнила мою
...
...

Я жду тебя. Я жду, чтоб ты склонилась
На темный дол свой животворный взгляд,

Тогда взойдет огнистое светило,
В алмазных искрах струи заблестят,
Проснется замок, позламятся горы
И загремят невидимые хоры.

Я жду, но тщетно грудь моя трепещет,
Лишь сквозь туман виднеется луна.
О влажный берег лишь лениво плещет,
Катясь мимо, сонная волна,
И истуканов рой на плоской крыше
Стоит во тьме один другого выше.

ГАРАЛЬД СВЕНГОЛЬМ

*His voice it was deep
like the wave of the sea.*
Его голос звучал как морская волна.
Мрачен взор был грозящих очей,
И была его длань как погибель
сильна,
Сердце зыблемой трости слабей.

Не в кровавом бою он врагами
убит,
Не грозой повержен он в прах,
Под могильным холмом он без
раны лежит,
Сам себе разрушитель и враг.
Струны мощные арфы певец на-
прягал,
Струны жизни порвались в нем,
И начатую песню Гаральд не
скончал,
И лежит под могильным хол-
мом.
И сосна там раскинула силу вет-
вей,
Словно облик его, хороша,
И тоскует на ней по ночам соло-
вей,
Словно песню кончает душа.

В АЛЬБОМ

Стрелок, на той поляне
Кто поздно так бежит?
Что там в ночном тумане
Клубится и кипит?

Что значит это пенье,
И струн в эфире звон,

*И хохот, и смятенье,
И блеск со всех сторон?*

*– Друзья, то вереница
Волшебниц и сильфид;
Пред ними их царица
Воздушная бежит;*

*Бежит глухой дорожкой,
Мелькает вдоль реки, —
Под маленькою ножкой
Не гнутся стебельки.*

*Ей нет красавиц равных,
Ее чудесен вид,
И много бардов славных
Любовью к ней горит;*

*Но бойся, путник смелый,
В ее попасться сеть
Иль кончик ножки белой
Нечаянно узреть.*

*Когда луна золотая
Глядит в зеркало вод,
В лучах ее играя,
Как сон она плывет;*

Наступит ли денница,
Она спешит уж прочь;
Пушок – ей колесница,
Ее отчизна – ночь.

Лишь в сумерках застанет
В лесу она стрелка,
Зовет его и манит
К себе издалика,

Скользит над влагой зыбкой
Среди глухих болот
И странника с улыбкой
Над пропастию ждет.

Сильфид она всех краше,
Волшебниц всех милей;
Седые барды наши
Горят любовью к ней;

Но бойся, путник смелый,
В ее попасться сеть
Иль кончик ножки белой
Нечаянно узреть.

Благословляю я свободу

ГРЕШНИЦА

1

*Народ кипит, веселье, хохот,
Звон лютней и кимвалов грохот,
Кругом и зелень, и цветы,
И меж столбов, у входа дома,
Парчи тяжелой переломы
Тесьмой узорной подняты;
Чертоги убраны богато,
Везде горит хрусталь и золото,
Возниц и коней полон двор;
Теснясь за трапезой великой,
Гостей пирует шумный хор,
Идет, сливаясь с музыкой,
Их перекрестный разговор.*

*Ничем беседа не стеснима,
Они свободно говорят
О ненавистном иге Рима,
О том, как властвует Пилат,
О их старшин собранье тайном,
Торговле, мире и войне,
И муже том необычайном,
Что появился в их стране.*

«Любовью к ближним пламенея,
Народ смиренью он учил,
Он все законы Моисея
Любви закону подчинил;
Не терпит гнева он, ни мщенья,
Велит за зло платить добром;
Есть неземная сила в нем,
Слепым он возвращает зренье,
Дарит и крепость и движенье
Тому, кто был и слаб и хром;
Ему признания не надо,
Сердце мышление отперто,
Его пытающего взгляда
Еще не выдержал никто.

Целя недуг, врачуя муку,
Везде спасителем он был,
И всем простер благоую руку,
И никого не осудил.
То, видно, Богом муж избранный!
Он там, по онпол Иордана,
Ходил как посланный небес,
Он много там свершил чудес,
Теперь пришел он, благодушный,
На эту сторону реки,
Толпой прилежной и послушной
За ним идут ученики».

Так гости, вместе рассуждая,
За длинной трапезой сидят;
Меж ними, чашу осушая,
Сидит блудница молодая;
Ее причудливый наряд
Невольно привлекает взоры,
Ее нескромные уборы
О грешной жизни говорят;
Но дева падшая прекрасна;
Взирая на нее, навряд
Пред силой прелести опасной
Мужи и старцы устоят:
Глаза насмешливы и смелы,
Как снег Ливана, зубы белы,
Как зной, улыбка горяча;
Вкруг стана падая широко,
Сквозные ткани дразнят око,
С нагого спущены плеча.

Ее и серьги, и запястья,
Звеня, к восторгам сладостра-
стья,
К утехам пламенным зовут,
Алмазы блещут там и тут,
И, тень бросая на ланиты,
Во всем обилии красы,
Жемчужной нитью перевиты,

*Падут роскошные власы;
В ней совесть сердца не тревожит,
Стыдливо не вспыхает кровь,
Купить за злато всякий может
Ее продажную любовь.*

*И внемлет дева разговорам,
И ей они звучат укором;
Гордыня пробудилась в ней,
И говорит с хвастливым взором:
«Я власти не страшусь ничьей;
Заклад со мной держать хотите
ль?
Пускай предстанет ваш учитель,
Он не смутит моих очей!»*

4

*Вино струится, шум и хохот,
Звон лютней и кимвалов грохот,
Куренье, солнце и цветы;
И вот к толпе, шумящей праздно,
Подходит муж благообразный;
Его чудесные черты,
Осанка, поступь и движенья,
Во блеске юной красоты,
Полны огня и вдохновенья;
Его величественный вид*

Неотразимой дышит властью,
К земным утехам нет участия,
И взор в грядущее глядит.

То муж на смертных непохожий,
Печать избранника на нем,
Он светел, как архангел божий,
Когда пылающим мечом
Врага в кроmeshные оковы
Он гнал по манию Иеговы.
Невольню грешная жена
Его величьем смущена
И смотрит робко, взор понизив,
Но, вспомя свой недавный вызов,
Она с седалища встает
И, стан свой выпрямивши гибкий
И смело выступив вперед,
Пришельцу с дерзкою улыбкой
Фиал шипящий подает.

«Ты тот, что учит отреченью —
Не верю твоему ученью,
Мое надежней и верней!
Меня смутить не мысли ныне,
Один скитавшийся в пустыне,
В посте прошедший сорок дней!
Лишь наслажденьем я влекома,
С постом, с молитвой незнакома,

*Я верю только красоте,
Служу вину и поцелуям,
Мой дух тобою не волнуем,
Твоей смеюсь я чистоте!»*

*И речь ее еще звучала,
Еще смеялася она,
И пена легкая вина
По кольцам рук ее бежала,
Как общий говор вокруг возник,
И слышит грешница в смущенье:
«Она ошиблась, в заблужденье
Ее привел пришельца лик —
То не учитель перед нею,
То Иоанн из Галилеи,
Его любимый ученик!»*

5

*Небрежно немощным обидам
Внимал он девы молодой,
И вслед за ним с спокойным ви-
дом
Подходит к храмину другой.
В его смиренном выраженьи
Восторга нет, ни вдохновенья,
Но мысль глубокая легла
На очерк дивного чела.*

То не пророка взгляд орлиный,
Не прелесть ангельской красы,
Делятся на две половины
Его волнистые власы;
Поверх хитона упадая,
Одела риза шерстяная
Простою тканью стройный рост,
В движеньях скромн он и прост,
Ложась вокруг уст его прекрасных,
Слегка раздвоена брада,
Таких очей благих и ясных
Никто не видел никогда.

И пронеслося над народом
Как дуновенье тишины,
И чудно благостным приходом
Сердца гостей потрясены.
Замолкнул говор. В ожиданье
Сидит недвижимое собранье,
Тревожно дух переводя.
И он, в молчании глубоком,
Обвел сидящих тихим оком
И, в дом веселья не входя,
На дерзкой деве самохвальной
Остановил свой взор печальный.

6

И был тот взор как луч денницы,

*И все открылось ему,
И в сердце сумрачном блудницы
Он разогнал ночную тьму;
И все, что было там таимо,
В грехе что было свершено,
В ее глазах неумолимо
До глубины озарено;
Внезапно стала ей понятна
Неправда жизни святотатной,
Вся ложь ее порочных дел,
И ужас ею овладел.*

*Уже на грани сокрушенья,
Она постигла в изумленье,
Как много благ, как много сил
Господь ей щедро подарил
И как она восход свой ясный
Грехом мрачила ежечасно;
И, в первый раз гнушаясь зла,
Она в том взоре благодатном
И кару дням своим развратным,
И милосердие прочла.*

*И, чуя новое начало,
Еще страшась земных препон,
Она, колеблясь, стояла...
И вдруг в тиши раздался звон
Из рук упавшего фиала...*

*Стесненной груди слышен стон.
Бледнеет грешница молодая,
Дрожат открытые уста,
И пала ниц она, рыдая,
Перед святынею Христа.*

1⁸⁵⁷

...Привязанный хозяйственными заботами и служебными обязанностями к Степановке и Мценску, я только в середине зимы мог на неделю или на две отрываться в Москву и, конечно, не имел времени и побуждений бывать в других городах. Не помню, почему именно осенью 1868 года я в бытность в Орле ночевал в тамошней почтовой гостинице. Проходя по коридору, я вдруг остановился в изумлении перед человеком, шедшим мне навстречу и, по-видимому, изумленным не менее меня. Промедлив секунду, мы, не говоря ни слова, бросились обнимать друг друга. Человек этот был граф Ал. Конст. Толстой.

– Вы не завтракаете? – спросил он меня. – Чем же вас угощать?

Я попросил кофею. «Кофею, – крикнул он вошедшему слуге, – самого лучшего кофею».

Не берусь передавать подробности нашей задушевной беседы. Тут мы узнали друг от друга, что, невзирая на различие путей жизни, мы ни на минуту не переставали носить в груди самые живейшие взаимные симпатии, которые должны были загораться от первого благосклонного соприкосновения.

А. А. Фет. «Воспоминания» [27]

* * *

А. К. Толстой, останавливаясь в Козельске, часто приходил в монастырь пешком. Для любителя природы и охотника три версты, конечно, не представляли собою серьезного расстояния. Кто знает, может быть, отсюда он взял некоторые картины для своего «Иоанна Дамаскина»:

*Благословляю вас, леса,
Благословляю горы, доли...*

Как мог взять отсюда же и прелестные тоны для изображения жизни, монашеской «установности» в этом его прелестном стихотворении.

В. В. Розанов [28]

ИОАНН ДАМАСКИН

1

*Любим калифом Иоанн;
Ему, что день, почет и ласка,
К делам правления призван
Лишь он один из христиан
Порабощенного Дамска.
Его поставил властелин
И суд рядить, и править градом,
Он с ним беседует один,
Он с ним сидит в совете рядом;
Окружены его дворцы
Благоуханными садами,
Лазурью блещут изразцы,
Убраны стены янтарями;
В полдневный зной приют и тень
Дают навесы, шелком ткани,
В узорных банях ночь и день
Шумят студеньные фонтаны.*

*Но от него бежит покой,
Он бродит сумрачен; не той
Он прежде мнил идти дорогой,
Он счастлив был бы и убогий,
Когда б он мог в тиши лесной,
В глухой степи, в уединенье,*

Двора волнение забыть
И жизнь смиренно посвятить
Труду, молитве, песнопенью.
И раздавался уж не раз
Его красноречивый глас
Противу ереси безумной,
Что на искусство поднялась
Грозой неистовой и шумной.

Упорно с ней боролся он,
И от Дамаска до Царьграда
Был, как боец за честь икон
И как художества ограда,
Давно известен и почтен.
Но шум и блеск его тревожит,
Ужиться с ними он не может,
И, тяжкой думой обуян,
Тоска в душе и скорбь на лице,
Вошел правитель Иоанн
В чертог дамасского владыки.

«О государь, внимли! Мой сан,
Величье, пышность, власть и си-
ла,
Все мне несносно, все постыло.
Иным призванием влеком,
Я не могу народом править:
Простым рожден я быть певцом,

Глаголом вольным Бога славить!
В толпе вельмож всегда один,
Мученья полон я и скуки;
Среди пиров, в главе дружин,
Иные слышатся мне звуки;
Неодолимый их призыв
К себе влечет меня все боле —
О, отпусти меня, калиф,
Дозволь дышать и петь на воле!»
И тот просящему в ответ:
«Возвеселись, мой раб любимый!
Печали вечной в мире нет
И нет тоски неизлечимой!

Твоею мудростью одной
Кругом Дамаск могуч и славен.
Кто ныне нам величьем равен?
И кто дерзнет на нас войной?
А я возвышу жребий твой —
Недаром я окрест державен —
Ты примешь чести торжество,
Ты будешь мне мой брат единый:
Возьми полцарства моего,
Лишь правь другою половиной!»
К нему певец: «Твой щедрый дар,
О государь, певцу не нужен;
С иною силою он дружен;
В его груди пылает жар,

Которым зиждется создание;
Служить творцу его призванье;
Его души незримый мир
Престолов выше и порфир.

Он не изменит, не обманет;
Все, что других влечет и манит:
Богатство, сила, слава, честь —
Все в мире том в избытке есть;
А все сокровища природы:
Степей безбережный простор,
Туманный очерк дальних гор
И моря пенистые воды,
Земля, и солнце, и луна,
И всех созвездий хороводы,
И синей тверди глубина —
То всё одно лишь отраженье,
Лишь тень таинственных красот,
Которых вечное виденье
В душе избранника живет!

О, верь, ничем тот не подкупен,
Кому сей чудный мир доступен,
Кому Господь дозволил взгляд
В то сокровенное горнило,
Где первообразы кипят,
Трепещут творческие силы!

То их торжественный прилив
Звучит певцу в его глаголе —
О, отпусти меня, калиф,
Дозволь дышать и петь на воле!»
И рек калиф: «В твоей груди
Не властен я сдержатъ желанье,
Певец, свободен ты, иди,
Куда влечет тебя призванье!»

И вот правителя дворцы
Добычей сделались забвенья;
Оделись пестрые зубцы
Травой и прахом запустенья;
Его несчетная казна
Давно уж нищим раздана,
Усердных слуг не видно боле,
Рабы отпущены на волю,
И не укажет ни один,
Куда их скрылся господин.
В хоромах стены и картины
Давно затканы паутиной,
И мхом фонтаны заросли;
Плющи, ползущие по хорам,
От самых сводов до земли
Зеленым падают узором,
И мак спокойно полевой
Растет кругом на звонких пли-
тах,

И ветер, шелестя травой,
В чертогах ходит позабытых.

2

Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды!
Благословляю я свободу
И голубые небеса!
И посох мой благословляю,
И эту бедную суму,
И степь от края и до края,
И солнца свет, и ночи тьму,
И одинокую тропинку,
По коей, нищий, я иду,
И в поле каждую былинку,
И в небе каждую звезду!
О, если б мог всю жизнь смешать
я,
Всю душу вместе с вами слить!
О, если б мог в свои объятья
Я вас, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить!
Как горней бури приближенье,
Как натиск пенящихся вод,
Теперь в груди моей растет
Святая сила вдохновенья.
Уж на устах дрожит хвала
Всему, что благо и достойно, —

Какие ж мне воспеть дела?
Какие битвы или войны?
Где я для дара моего
Найду высокую задачу?
Чье передам я торжество
Иль чье падение оплачу?
Блажен, кто рядом славных дел
Свой век украсил быстротечный;
Блажен, кто жизнь умел
Хоть раз коснуться правды веч-
ной,
Блажен, кто истину искал,
И тот, кто, побежденный, пал
В толпе ничтожной и холодной,
Как жертва мысли благородной!
Но не для них моя хвала,
Не им восторга излишня!
Мечта для песен избрала
Не их высокие деянья!
И не в венце сияет он,
К кому душа моя стремится;
Не блеском славы окружен,
Не на звенящей колеснице
Стоит он, гордый сын побед;
Не в торжестве величья – нет, —
Я зрю его передо мною
С толпою бедных рыбаков;
Он тихо, мирною стезею,

*Идет меж зреющих хлебов;
Благих речей своих отраду
В сердца простые он лиет,
Он правды алчущее стадо
К ее источнику ведет.*

*Зачем не в то рожден я время,
Когда меж нами, во плоти,
Неся мучительное бремя,
Он шел на жизненном пути!
Зачем я не могу нести,
О мой Господь, твои оковы,
Твоим страданием страдать,
И крест на плечи твой приять,
И на главу венец терновый!
О, если б мог я лобызатъ
Лишь край святой твоей одежды,
Лишь пыльный след твоих шагов,
О мой Господь, моя надежда,
Моя и сила и покров!
Тебе хочу я все мышленья,
Тебе всех песней благодать,
И думы дня, и ночи бденья,
И сердца каждое биенье,
И душу всю мою отдать!
Не отверзайтесь для другого
Отныне, вещи уста!
Греми лишь именем Христа,*

Мое восторженное слово!

3

Часы бегут. Ночная тень
Не раз сменяла зной палящий,
Не раз, всходя, лазурный день
Свивал покров с природы спящей;
И перед странником вдали
И волновались и росли
Разнообразные картины:
Белели снежные вершины
Над лесом кедровым густым,
Иордан сверкал в степном про-
сторе,
И Мертвое чернело море,
Сливаясь с небом голубым.
И вот, вясь в степи широкой,
Чертой изогнутой легло
Пред ним Кедронского потока
Давно безводное русло.

Смеркалось. Пар струился синий,
Кругом царила тишина;
Мерцали звезды над пустыней,
Всходила медленно луна.
Брегов сожженные стремнины
На дно сбегают крутизной,
Спирая узкую долину

Двойной отвесною стеной.

*Внизу кресты, символы веры,
Стоят в обрывах здесь и там,
И видны странника очам
В утесах рытые пещеры.
Сюда со всех концов земли
Бежав мирского треволненья,
Отцы святые притекли
Искать покоя и спасенья.*

*С краев до высохшего дна,
Где спуск крутой ведет в долину,
Руками их возведена
Из камней крепкая стена,
Отпор степному сарацину.
В стене ворота. Тесный вход
Над ними башня стережет.
Тропинка вьется над оврагом,
И вот, спускаясь по скалам,
При свете звезд, усталым шагом
Подходит странник к воротам.*

*«Тебя, безбурное жилище,
Тебя, познания купель,
Житейских помыслов кладбище
И новой жизни колыбель,
Тебя приветствую, пустыня,*

*К тебе стремился я всегда!
Будь мне убежищем отныне,
Приютом песен и труда!
Все попечения мирские
Сложив с себя у этих врат,
Приносит вам, отцы святые,
Свой дар и гусли новый брат!»*

4

*«Отшельники Кедронского пото-
ка,
Игумен вас сзывает на совет!
Собирайтесь все: пришедший изда-
лека
Вам новый брат приносит свой
привет!
Велики в нем и вера и призванье,
Но должен он пройти чрез испы-
танье.
Из вас его вручаю одному:
Он тот певец, меж всеми знаме-
нитый,
Что разогнал иконоборства
тьму,
Чьим словом ложь поправа и раз-
бита,
То Иоанн, святых икон защита —
Кто хочет быть наставником*

ему?»

И лишь назвал игумен это имя,
Заволновался весь монахов ряд,
И на певца дивятся и глядят,
И пробегает шепот между ними.

Главами все поникнувши седыми,
С смиренцем игумну говорят:

«Благословен сей славный Божий
воин,

Благословен меж нас его приход,
Но кто же здесь учить того до-
стоин,

Кто правды свет вокруг себя ли-
ёт?

Чье слово нам как колокол звуча-
ло,

Того ль приять дерзнем мы под
начало?»

Тут из толпы один выходит
брат;

То черноризец был на вид суровый,
И строг его пытающий был
взгляд,

И строгое певцу он молвил слово:
«Держать посты уставы нам ве-
лят,

Служенья ж мы не ведаем ино-

го! —
Коль под моим началом хочешь
быть,
Тебе согласен дать я наставленья,
Но должен ты отныне отло-
жить
Ненужных дум бесплодное броже-
нье;
Дух праздности и прелесть песно-
пенья
Постом, певец, ты должен побе-
дить!
Коль ты пришел отшельником в
пустыню,
Умей мечты житейские попрасть,
И на уста, смилив свою гордыню,
Ты наложи молчания печать!
Исполни дух молитвой и печа-
лью —
Вот мой устав тебе в новонача-
лье».

Замолк монах. Нежданный приго-
вор
Как гром упал средь мирного син-
клита.
Смутились все. Певца померкнул
взор,

Покрыла бледность впалые ланиты.

И неподвижен долго он стоял,
Безмолвно опустив на землю очи,
Как будто бы ответа он искал,
Но отвечать не доставало мочи.

И начал он: «Моих всю бодрость сил,

И мысли все, и все мои стремленья —

Одной я только цели посвятил:
Хвалить творца и славить в песнопенье.

Но ты велишь скорбеть мне и молчать —

Твоей, отец, я повинуюсь воле:
Весельем сердце не взыграет боле,
Уста сомкнет молчания печать.
Так вот где ты таилось, отреченье,

Что я не раз в молитвах обещал!
Моей отрадой было песнопенье,
И в жертву ты, Господь, его избрал!

Настаньте ж, дни молчания и муки!

Прости, мой дар! Ложись на гус-

ли, прах!
А вы, в груди взлелеянные звуки,
Замрите все на трепетных
устах!
Спустися, ночь, на горестного
брата
И тьмой его от солнца отлучи!
Померкните, затмитесь без воз-
врата,
Моих псалмов звенящие лучи!
Погибни, жизнь! Погасни, огонь ал-
тарный!
Уймись во мне, взволнованная
кровь!
Свети лишь ты, небесная любовь,
В моей ночи звездюю лучезарной!
О мой Господь! Прости последний
стон,
Последний сердца страждущего
ропот!
Единый миг – замрет и этот ше-
пот,
И встану я, тобою возрожден!
Свершилось. Мрака набегают вол-
ны.
Взор гаснет. Стынет кровь. Все-
му конец!
Из мира звуков ныне в мир без-

молвный
Нисходит к вам развенчанный пе-
вец!»

5

В глубоком ущелье,
Как гнезда стрижей,
По желтым обрывам темнеют
пустынные кельи,
Но речи не слышно ничьей;
Все тихо, пока не сберется к слу-
женью
Отшельников рой;
И вторит тогда их обрядному пе-
нью
Один отголосок глухой.

А там, над краями долины,
Безлюдной пустыни царит тор-
жество,
И пальмы не видно нигде ни еди-
ной,
Все пусто кругом и мертво.
Как жгучее время,
Так небо усталую землю гнетет,
И кажется, будто бы время
Свой медленный звучно свершает
над нею полет.

Порой отдаленное слышно рычанье
Голодного льва;
И снова наступит молчанье,
И снова шумит лишь сухая трава,
Когда из-под камней змея выползая
Блеснет чешуей;
Крылами треща, саранча полевая
Взлетит иногда. Иль случится
порой,
Пустыня проснется от дикого
клика,
Посыпятся камни, и там, в вышине,
Дрожа и колеблясь, мохнатая пика
Покажется в небе. На легком коне
Появится всадник; над самым
оврагом
Сдержав скакуна запененного
лёт,
Проедет он мимо обители шагом
Да инокам сверху проклятье пошлет.

И снова все стихнет. Лишь в пол-

день орлицы
На крыльях недвижимых парят,
Да вечером звезды горят,
И скучною тянутся длинные дни
вереницей.

6

Порою в тверди голубой
Проходят тучи над долиной;
Они картину за картиной,
Плывя, свивают меж собой.
Так, в нескончаемом движенье
Клубится предо мной всегда
Воспоминаний череда,
Погибшей жизни отраженья;
И льнут, и вьются без конца,
И вечно волю осаждают,
И онемевшего певца,
Ласкаясь, к песням призывают.

И казнью стал мне праздный дар,
Всегда готовый к пробуждению;
Так ждет лишь ветра дуновенья
Под пеплом тлеющий пожар —
Перед моим тревожным духом
Теснятся образы толпой,
И, в тишине, над чутким ухом
Дрожит созвучий мерный строй;

*И я, не смея святотатно
Их вызвать в жизнь из царства
тьмы,
В хаоса ночь гоню обратно
Мои непетые псалмы.*

*Но тщетно я, в бесплодной битве,
Твержу уставные слова
И заучённые молитвы —
Душа берет свои права!
Увы, под этой ризой черной,
Как в оны дни под багрецом,
Живым палимое огнем,
Мятеся сердце непокорно!
Юдоль, где я похоронил
Броженье деятельных сил,
Свободу творческого слова —
Юдоль молчанья рокового!
О, передай душе моей
Твоих стремнин покой угрюмый!
Пустынный ветер, о развеи
Мои недремлющие думы!*

7

*Тщетно он просит и ждет от без-
молвной юдоли покоя,
Ветер пустынный не может
недремлющей думы развеять.*

Годы проходят один за другим,
всё бесплодные годы!
Все тяжелее над ним тяготит
роковое молчанье.
Так он однажды сидел у входа в
пещеры, рукою
Грустные очи закрыв и внутрен-
ним звукам внимая.
К скорбному тут к нему подошел
один черноризец,
Пал на колени пред ним и сказал:
«Помоги, Иоанне!
Брат мой по плоти представился;
братом он был по душе мне!
Тяжкая горесть снедает меня;
я плакать хотел бы —
Слезы не льются из глаз, но ски-
паются в горестном сердце.
Ты же мне можешь помочь: напи-
ши лишь умильную песню,
Песнь погребальную милому бра-
ту, ее чтобы слыша,
Я мог рыдать, и тоска бы моя по-
лучила ослабу!»

Кротко взглянул Иоанн и печаль-
но в ответ ему молвил:
«Или не ведаешь ты, каким я свя-

зан уставом?

Строгое старец на песни мои на-
ложил запрещенье!»

Тот же стал паки его умолять,
говоря: «Не узнает

Старец о том никогда; он отсель
отлучился на три дня,

Брата ж мы завтра хороним; мо-
лю тебя всею душою,

Дай утешение мне в беспредельно
горькой печали!»

Паки ж отказ получив: «Иоанне! —
сказал черноризец, —

Если бы был ты телесным вра-
чом, а я б от недуга

Так умирал, как теперь умираю
от горя и скорби,

Ты ли бы в помощи мне отказал?
И не дашь ли ответа

Господу Богу о мне, если ныне
умру безутешен?»

Так говоря, колебал в Дамаскине
он мягкое сердце.

Собственной полон печали, певец
дал жалости место;

Черною тучей тогда на него низо-
шло вдохновенье,

Образы мрачной явились толпой,

и в воздухе звуки
Стали надгробное мерно гласить
над усопшим рыданье.
Слушал певец, наклонивши главу,
то незримое пенье,
Долго слушал, и встал, и, с мо-
литвой вошедши в пещеру,
Там послушной рукой начертал,
что ему прозвучало.
Так был нарушен устав, так пре-
рвано было молчанье.

Над вольной мыслью Богу неугод-
ны
Насилие и гнет:
Она, в душе рожденная свободно,
В оковах не умрет!
Ужели вправду мнил ты, близору-
кий,
Сковать свои мечты?
Ужель попрасть в себе живые зву-
ки
Насильно думал ты?
С Ливанских гор, где в высоте ла-
зурной
Белеет дальний снег,
В простор степей стремяся, ве-
тер бурный

Удержит ли свой бег?
И потекут ли вспять струи по-
тока,
Что между скал гремят?
И солнце там, поднявшись от во-
стока,
Вернется ли назад?

8

Колоколов унылый звон
С утра долину оглашает.
Покойник в церковь принесен;
Обряд печальный похорон
Собор отшельников свершает.
Свечами светится алтарь,
Стоит певец с поникшим взором,
Поет напутственный тропарь,
Ему монахи вторят хором:
ТРОПАРЬ

«Какая сладость в жизни сей
Земной печали непричастна?
Чье ожиданье не напрасно?
И где счастливый меж людей?
Все то превратно, все ничтожно,
Что мы с трудом приобрели, —
Какая слава на земли
Стоит тверда и непреложна?

Все пепел, призрак, тень и дым,
Исчезнет все, как вихорь пыльный,
И перед смертью мы стоим
И безоружны и бессильны.

Рука могучего слаба,
Ничтожны царские велья —
Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные селенья!
Как ярый витязь смерть нашла,
Меня как хищник низложила,
Свой зев разинула могила
И все житейское взяла.

Спасайтесь, сродники и чада,
Из гроба к вам взываю я,
Спасайтесь, братья и друзья,
Да не узрите пламень ада!
Вся жизнь есть царство суеты,
И, дуновенье смерти чуя,
Мы увядаем, как цветы, —
Почто же мы мятемся всуе?
Престолы наши суть гроба,
Чертоги наши – разрушенье, —
Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные селенья!
Средь груди тлеющих костей

Кто царь? кто раб? судья иль воин?

Кто царства божия достоин?

И кто отверженный злодей?

О братья, где серебро и золото?

Где сонмы многие рабов?

Среди неведомых гробов

Кто есть убогий, кто богатый?

Все пепел, дым, и пыль, и прах,

Все призрак, тень и привиденье —

Лишь у тебя на небесах,

Господь, и пристань, и спасенье!

Исчезнет все, что было плоть,

Величье наше будет тленье —

Прими усопшего, Господь,

В твои блаженные селенья!

И ты, предстательница всем!

И ты, заступница скорбящим!

К тебе о брате, здесь лежащем,

К тебе, святая, вопием!

Моли божественного сына,

Его, пречистая, моли,

Дабы отживший на земли

Оставил здесь свои кручины!

Все пепел, прах, и дым, и тень!

О други, призраку не верьте!

Когда дохнет в нежданный день
Дыханье тлительное смерти,
Мы все поляжем, как хлеба,
Серпом подрезанные в нивах, —
Прими усопшего раба,
Господь, в селениях счастливых!
Иду в незнаемый я путь,
Иду меж страха и надежды;
Мой взор угас, остыла грудь,
Не внемлет слух, сомкнуты веж-
ды;
Лежу безгласен, недвижим,
Не слышу братского рыданья,
И от кадила синий дым
Не мне струит благоуханье;
Но вечным сном пока я сплю,
Моя любовь не умирает,
И ею, братья, вас молю,
Да каждый к Господу взывает:
Господь! В тот день, когда труба
Вострубит мира преставленья, —
Прими усопшего раба
В твои блаженные селенья!»

9

Так он с монахами поет.
Но вот меж ними, гость неждан-
ный,

Нахмуря брови, предстает
Наставник старый Иоанна.
Суровы строгие черты,
Главу подъявля величаво:
«Певец, – он молвит, – так ли ты
Блюдешь и чтешь мои уставы?
Когда пред нами братний прах,
Не петь, но плакать нам при-
стойно!
Изыди, инок недостойный, —
Не в наших жить тебе стенах!»

И, гневной речью пораженный,
Виновный пал к его ногам:
«Прости, отец! Не знаю сам,
Как преступил твои законы!
Во мне звучал немолчный глас,
В неодолимой сердца муке
Невольню вырвалися звуки,
Невольню песня полилась!»
И ноги старца он объемлет:
«Прости вину мою, отец!»
Но тот раскаянью не внемлет,
Он говорит: «Беги, певец!
Досель житейская гордыня
Еще жива в твоей груди —
От наших келий отойди,
Не оскверняй собой пустыни!»

*Прошла по лавре роковая весть,
Отшельников смутилося собра-
нье:*

*«Наш Иоанн, Христовой церкви
честь,
Наставника навлек негодованье!
Ужель ему придется перенести,
Ему, певцу, позорное изгнанье?»
И жалостью исполнились сердца,
И все собором молят за певца.
Но, словно столб, наставник
непреклонен,
И так в ответ просящим молвит
он:*

*«Устав, что мной однажды узаконен,
Не будет даром ныне отменен.*

*Кто к гордости и к ослушанью
склонен,
Того как терн мы вырываем вон.
Но если в нем неложны сожаленья,
Эпитимьей он выкупит прощенье:
Пусть он обходит лавры черный двор,
С лопатою обходит и с метлою;*

Свой дух смирив, пусть всюду
грязь и сор
Он непокорной выметет рукою.
Дотоль над ним мой крепок при-
говор,
И нет ему прощенья предо мною!»
Замолк. И, вняв безжалостный
отказ,
Вся братия в печали разошлась.

Презренье, други, на певца,
Что дар священный унижает,
Что пред кумирами склоняет
Красу лаврового венца!
Что гласу истины и чести
Внушенье выгод предпочел,
Что угождению и лести
Бесстыдно продал свой глагол!
Из века в век звучать готово,
Ему на казнь и на позор,
Его бессовестное слово,
Как всенародный приговор.

Но ты, иной взалкавший пищи,
Ты, что молитвою влеком,
Высокий сердцем, духом нищий,
Живущий мыслью со Христом,
Ты, что пророческого взора

Пред блеском мира не склонял, —
Испить ты можешь без укора
Весь унижения фиал!
И старца речь дошла до Дамаски-
на.

Эпитимьи условия узнав,
Певец спешит свои загладить ви-
ны,
Спешит почтить неслыханный
устав.

Сменила радость горькую кручи-
ну:

Без ропота лопату в руки взяв,
Певец Христа не мыслит о поща-
де,

Но униженье терпит Бога ради.

Тот, кто с вечною любовью
Воздавал за зло добром —
Избиен, покрытый кровию,
Венчан терновым венцом —
Всех, с собой страданьем сбли-
женных,

В жизни долею обиженных,
Угнетенных и униженных,
Осенил своим крестом.
Вы, чьи лучшие стремления
Даром гибнут под ярмом,

*Верьте, други, в избавление —
К Божью свету мы грядем!
Вы, кручиною согбенные,
Вы, цепями удрученные,
Вы, Христу сопогребенные,
Совоскреснете с Христом!*

11

*Темнеет. Пар струится синий;
В ущелье мрак и тишина;
Мерцают звезды; и луна
Восходит тихо над пустыней.
В свою пещеру одинок
Ушел отшельник раздраженный.
Все спит. Луной посеребренный,
Иссякший видится поток.
Над ним скалистые вершины
Из мрака смотрят там и тут;
Но сердце старца не влекут
Природы мирные картины;
Оно для жизни умерло.*

*Согнувши строгое чело,
Он, чуждый миру, чуждый бра-
тъям,
Лежит, простерт перед распя-
тьем.
В пыли седая голова,*

И смерть к себе он призывает,
И шепчет мрачные слова,
И камнем в перси ударяет.
И долго он поклоны клал,
И долго смерть он призывал,
И наконец, в изнеможенье,
Безгласен, наземь он упал,
И старцу видится виденье:
Разверзся вдруг утесов свод,
И разлилось благоуханье,
И от невидимых высот
В пещеру падает сиянье.

И в трепетных его лучах,
Одеждой звездною блистая,
Явилась дева пресвятая,
С младенцем спящим на руках.
Из света чудного слиянный,
Ее небесно-кроток вид.
«Почто ты гонишь Иоанна? —
Она монаху говорит. —
Его молитвенные звуки,
Как голос неба на земли,
В сердца послушные текли,
Врачуя горести и муки.
Почто ж ты, старец, заградил
Нещадно тот источник сильный,
Который мир бы напоил

Водой целебной и обильной?

*На то ли жизни благодать
Господь послал своим созданьям,
Чтоб им бесплодным истязаньем
Себя казнить и убивать?
Он дал природе изобилье
И бег струящимся рекам,
Он дал движенье облакам,
Земле цветы и птицам крылья.
Почто ж певца живую речь
Сковал ты заповедью трудной?
Оставь его глаголу течь
Рекой певучей неоскудно!
Да оросят его мечты,
Как дождь, житейскую долину;
Оставь земле ее цветы,
Оставь созвучья Дамаскину!»
Виденье скрылось в облаках,
Заря восходит из тумана...*

*Встает встревоженный монах,
Зовет и ищет Иоанна —
И вот обнял его старик:
«О сын смирения Христова!
Тебя душою я постиг —
Отныне петь ты можешь снова!
Отверзи вещице уста,*

*Твои окончены гоненья!
Во имя Господа Христа,
Певец, святые вдохновенья
Из сердца звучного излей,
Меня ж, молю, прости, о чадо,
Что слову вольному преградой
Я был по грубости моей!»*

12

*Воспой же, страдалец, воскресную
песнь!
Возрадуйся жизнью новой,
Исчезла коснения долгая плеснь,
Воскресло свободное слово!
Того, кто оковы души сокрушил,
Да славит немолчно созданье!
Да хвалят торжественно Господа
сил
И солнце, и месяц, и хоры светил,
И всякое в мире дыханье!
Блажен, кому ныне, Господь, пред
тобой
И мыслить и молвить возможно!
С бестрепетным сердцем и с теп-
лой мольбой
Во имя твое он выходит на бой
Со всем, что неправо и ложно!
Раздайся ж, воскресная песня моя!*

Как солнце взойди над землю!
Расторгни убийственный сон бы-
тия
И, свет лучезарный повсюду лия,
Громи, что созиждено тьмою!

Не с диких падает высот,
Средь темных скал, поток нагор-
ный;
Не буря грозная идет;
Не ветер прах вздымает черный;
Не сотни гнущихся дубов
Шумят главами вековыми;
Не ряд морских бежит валов,
Качая гребнями седыми, —
То Иоанна льется речь,
И, сил исполненная новых,
Она громит, как Божий меч,
Во прах противников Христовых.

Не солнце красное встает;
Не утро светлое настало;
Не стая лебедей взыграла
Весной на лоне ясных вод;
Не соловьи, в стране привольной,
Зовут соседних соловьев;
Не гул несется колокольный
От многохрамных городов, —

*То слышен всюду плеск народный,
То ликование христиан,
То славит речию свободной
И хвалит в песнях Иоанн,
Кого хвалить в своем глаголе
Не перестанут никогда
Ни каждая былинка в поле,
Ни в небе каждая звезда.*

1⁸⁵⁸

Упырь

Сочинение Краснорогского [29]. Санкт-Петербург. 1841.

В привилегированной типографии Фишера.

Эта небольшая, со вкусом, даже изящно изданная книжка носит на себе все признаки еще слишком молодого, но тем не менее замечательного дарования, которое нечто обещает в будущем. Содержание ее многосложно и исполнено эффектов; но причина этого заключается не в недостатке фантазии, а скорее в ее пылкости, которая еще не успела умериться опытом жизни и уравновеситься с другими способностями души. В известную эпоху жизни нас пленяет одно резкое, преувеличенное: тогда мы ни в чем не знаем середины, и если смотрим на жизнь с веселой точки, так видим в ней рай, а если с печальной, то и самый ад кажется нам в сравнении с нею местом прохлады и неги. Это самое соблазнительное и самое неудобное время для авторства: тут нет конца деятельности; но зато все

произведения этой плодovитой эпохи в более зрелый период жизни предаются огню, как очистительная жертва грехов юности. И хорошо тому, кто в эту пору жизни брал себе за закон стихи Пушкина:

*Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья,
И от людей, как от могил,
Не ждал за подвиг воздаянья!*

...Вообще, густота и яркость красок, напряженность фантазии и чувства, односторонность идеи, избыток жара сердечного, тревога вдохновения, порыв и увлечение – признаки произведений юности. Однако ж все эти недостатки могут искупаться *идеєю*, если только идея, а не безотчетная страсть к авторству была вдохновительницею юного произведения.

«Упырь» – произведение фантастическое, но фантастическое внешним образом: незаметно, чтоб оно скрывало в себе какую-нибудь мысль, и потому не похоже на фантастические создания Гофмана; однако ж оно может насытить прелестью ужасного всякое молодое воображение, которое, любуясь фейерверком, не спрашивает: что в этом и к чему

это? Не будем излагать содержания «Упыря»: это было бы очень длинно, и притом читатели не много увидели бы из сухого изложения. Скажем только, что, несмотря на внешность изобретения, уже самая многосложность и запутанность его обнаруживают в авторе силу фантазии; а мастерское изложение, умение сделать из своих лиц что-то вроде характеров, способность схватить дух страны и времени, к которым относится событие, прекрасный язык, иногда похожий даже на «слог», словом – во всем отпечаток руки твердой, литературной, – все это заставляет надеяться в будущем многого от автора «Упыря». В ком есть талант, в том жизнь и наука сделают свое дело, а в авторе «Упыря» – повторяем – есть решительное дарование.

В. Г. Белинский

...Есть, однако, у него сфера, где сходятся обе грани его роковой двойственности, где действует сила еще не осуществленного, но близкого синтеза, – это область, в которой сливаются явь и сновидение, реальность и выдумка. «Меж сном и бдением краток промежуток», и в течение его мир перестраива-

ется, – и как отличить, что в нем – правда и что – видение? Это девять волков или девять ведьм идут ночью по деревне? Слышится ли в самом деле песня там, где гнутся над омутом лозы? Наступает ли просто вечер, обыкновенный вечер без тайны, или в ступе поехала баба-яга и в Днепре заплескались русалки? Вы можете принять то или другое; незаметно переходит действительность в грезу, и любит поэт играть с сверхъестественным, – например, показывать (в «Упыре») бессмертие человеческого жилища, вечную обитель души...

Ю. Айхенвальд

...Однажды, когда я вернулся домой, Василий Петрович (Боткин) встретил меня словами: «здесь был граф Алексей Константинович Толстой, желающий с тобою познакомиться. Он просил нас послезавтра по утреннему поезду в Саблино, где его лошади будут поджидать нас, чтобы доставить в его Пустыньку. Вот письмо, которое он тебе оставил».

В назначенный день коляска по специальному шоссе доставила нас из Саблина версты за три в Пустыньку. Надо сознаться, что в степной России нельзя встретить тех светлых

и шумных речек, бегущих среди каменных берегов, какие всюду встречаются на Ингерманландском побережье. Не стану распространяться о великолепной усадьбе Пустыньки, построенной на живописном правом берегу горной речки, как я слышал, знаменитым Растрелли. Дом был наполнен всем, что вкус и роскошь могли накопить в течение долгого времени, начиная с художественных шкапов Буля до мелкой мебели, которую можно было принять за металлическую литую. Я не говорю о давнишнем знакомом Василии Петровиче; но и меня граф и графиня, несказанной приветливостью и истинно высокой простотой, сумели с первого свидания поставить в самые дружеские к себе отношения. Невзирая на самое разнообразное и глубокое образование, в доме порой проявлялась та шуточная улыбка, которая потом так симпатически выразилась в сочинениях «Кузьмы Пруткова». Надо сказать, что мы как раз застали в Пустыньке единственного гостя Алексея Михайл. Жемчужникова, главного вдохновителя несравненного поэта Пруткова. Шутки порою проявлялись не в одних словах, но принима-

ли более осязательную, обрядную форму. Так гуляя с графиней по саду, я увидел в каменной нише огромную, величиною с собачонку, лягушку, мастерски вылепленную из зеленой глины. На вопрос мой – «что это такое?» графиня со смехом отвечала, что это целая мистерия, созданная Алексеем Михайловичем, который требует, чтобы другие, подобно ему, приносили цветов в дар его лягушке. Так я и по сей день не проник в тайный смысл высокой мистерии. Не удивительно, что в доме, посещаемом не профессиональными, а вполне свободными художниками, штукатурная стена вдоль лестницы во второй этаж была забросана большими мифологическими рисунками черным карандашом. Граф сам был тонкий гастронм, и я замечал, как Боткин преимущественно перед всеми наслаждался превосходными кушаньями на лондонских серебряных блюдах и под такими же художественными крышками.

...Не могу не сказать, что с первого дня знакомства я исполнился глубокого уважения к этому безукоризненному человеку. Если поэт и такой, что, по словам Пушкина:

*И среди детей ничтожных мира
Быть может всех ничтожней
он...*

– способен в минуту своего поэтического пробуждения привлекать и уносить нас за собою, то мы не сможем без умиления смотреть на поэта, который, подобно Алексею Констант., никогда по высокой природе своей не мог быть ничтожным.

То, о чем мне придется рассказать теперь, в сущности нимало не противоречит моим взглядам на вещи, так как я знаю, что если бы мне говорить только о том, что я совершенно ясно понимаю, то в сущности пришлось бы молчать.

Часу в девятом вечера мы все, в числе упомянутых пяти человек, сидели наверху в небольшой графининой приемной, примыкавшей к ее спальне. Я знал, что Боткин не позволял себе никогда рассказывать неправды, и что от него жестоко досталось бы всякому, заподозрившему его в искажении истины; и вдруг в разговоре, начало которого я не расслышал, Василий Петрович обратился к хозяйке дома:

– А помните, графиня, как в этой комнате при Юме стол со свечами поднялся на воздух и стал качаться, и я полез под него, чтобы удостовериться, нет ли там каких-нибудь ниток, струн или тому подобного, но ничего не нашел? А затем помните ли, как вон тот ваш столик из своего угла пошел, пошел и взлез на этот диван?

– А не попробовать ли нам сейчас спросить столик? – сказал граф. – У графини так много магнетизма.

Столоверчение было уже давно в ходу, и, конечно, мне шутя приходилось принимать в нем участие. Но никогда еще серьезные люди в моем присутствии не относились так серьезно к этому делу. Мы уселись за раскрытый ломберный стол в таком порядке: граф с одной стороны стола против меня, по левую его руку графиня и Жемчужников, а напротив них, по правую сторону графа, Боткин на диване. Возбужденный любопытством до крайности, я не выдержал и сказал: «пожалуйста, будемте при опыте этом сохранять полную серьезность». Говорил я это внутренне по адресу ближайшего соседа своего Жем-

чужникова, за которым я дал себе слово внимательно наблюдать.

– Кого же вы считаете способным к несерьезности? – спросила графиня и тем убедила меня в неосновательности моего подозрения.

Соприкасаясь мизинцами, мы составили на столе непрерывный круг из рук. Занавески на окнах были плотно задернуты, и комната совершенно ясно освещена. Минуты через две или три после начала сеанса я ясно услышал за занавесками окон легкий шорох, как будто производимый беготнею мышей по соломе. Конечно, я принял этот шум за галлюцинацию напряженного слуха, но затем почувствовал несомненное дуновение из-под стола в мои свесившиеся с краю ладони. Только что я хотел об этом заявить, как сидевший против меня граф тихо воскликнул: «господа, ветерок, ветерок. Попробуй ты спросить, обратился он к жене: они к тебе расположены». Графиня отрывисто ударила в зеленое сукно стола, и в ту же минуту послышался такой же удар навстречу из-под стола.

– Я их попрошу, – сказал граф, – пойти к Афан. Афан., и он сказал: *alles chez monsieur*, –

прибавя: они любят, чтобы их просили по-французски. Спросите их ямбом, – продолжал он.

Я постучал и получил в ответ усиленно звучные удары ямбом. То же повторилось с дактилем и другими размерами; но с каждым разом интервалы между ударами становились больше, а удары слабее, пока совсем не прекратились.

Я ничего не понимал из происходящего у меня под руками и, вероятно, умру, ничего не понявши...

А. А. Фет. «Воспоминания»

УПЫРЬ

Бал был очень многолюден. После шумного вальса Руневский отвел свою даму на ее место и стал прохаживаться по комнатам, поглядывая на различные группы гостей. Ему бросился в глаза человек, по-видимому, еще молодой, но бледный и почти совершенно седой. Он стоял, прислонясь к камину, и с таким вниманием смотрел в один угол залы, что не заметил, как пола его фрака дотронулась до огня и начала куриться. Руневский, возбужденный странным видом незнакомца,

воспользовался этим случаем, чтоб завести с ним разговор.

– Вы, верно, кого-нибудь ищите, – сказал он, – а между тем ваше платье скоро начнет гореть.

Незнакомец оглянулся, отошел от камина и, пристально посмотрев на Руневского, отвечал:

– Нет, я никого не ищу; мне только странно, что на сегодняшнем бале я вижу *упырей!*

– Упырей? – повторил Руневский, – как упырей?

– Упырей, – отвечал очень хладнокровно незнакомец. – Вы их, Бог знает почему, называете *вампирами*, но я могу вас уверить, что им настоящее русское название: *упырь*; а так как они происхождения чисто славянского, хотя встречаются во всей Европе и даже в Азии, то и неосновательно придерживаться имени, исковерканного венгерскими монахами, которые вздумали было все переворачивать на латинский лад и из упыря сделали *вампира*. *Вампир, вампир!* – повторил он с презрением, – это все равно, что если бы мы, русские, говорили вместо привидения – *фан-*

том или ревенант!

– Но однако, – спросил Руневский, – каким бы образом попали сюда вампиры или упыри?

Вместо ответа незнакомец протянул руку и указал на пожилую даму, которая разговаривала с другою дамою и приветливо поглядывала на молодую девушку, сидевшую возле нее. Разговор, очевидно, касался до девушки, ибо она время от времени улыбалась и слегка краснела.

– Знаете ли вы эту старуху? – спросил он Руневского.

– Это бригадирша Сугробина, – отвечал тот. – Я ее лично не знаю, но мне говорили, что она очень богата и что у нее недалеко от Москвы есть прекрасная дача совсем не в бригадирском вкусе.

– Да, она точно была Сугробина несколько лет тому назад, но теперь она не что иное, как самый гнусный упырь, который только ждет случая, чтобы насытиться человеческою кровью. Смотрите, как она глядит на эту бедную девушку; это ее родная внучка. Послушайте, что говорит старуха: она ее расхвали-

вает и уговаривает приехать недели на две к ней на дачу, на ту самую дачу, про которую вы говорите; но я вас уверяю, что не пройдет трех дней, как бедняжка умрет. Доктора скажут, что это горячка или воспаление в легких; но вы им не верьте!

Руневский слушал и не верил ушам своим.

– Вы сомневаетесь? – продолжал тот. – Никто, однако, лучше меня не может доказать, что Сугробина упырь, ибо я был на ее похоронах. Если бы меня тогда послушались, то ей бы вбили осиновый кол между плеч для предосторожности; ну, да что прикажете? Наследники были в отсутствии, а чужим какое дело?

В эту минуту подошел к старухе какой-то оригинал в коричневом фраке, в парике, с большим Владимирским крестом на шее и с знаком отличия за сорок пять лет беспорочной службы. Он держал обеими руками золотую табакерку и еще издали протягивал ее бригадирше.

– И это упырь? – спросил Руневский.

– Без сомнения, – отвечал незнакомец. – Это статский советник Теляев; он большой

приятель Сугробиной и умер двумя неделями прежде ее.

Приблизившись к бригадирше, Теляев улыбнулся и шаркнул ногой. Старуха также улыбнулась и опустила пальцы в табакерку статского советника.

– С донником, мой батюшка? – спросила она.

– С донником, сударыня, – отвечал сладким голосом Теляев.

– Слышите? – сказал незнакомец Руневскому. – Это слово в слово их ежедневный разговор, когда они еще были живы. Теляев всякий раз, встречаясь с Сугробиной, подносил ей табакерку, из которой она брала щепотку, спросив наперед, с донником ли табак? Тогда Теляев отвечал, что с донником, и садился возле нее.

– Скажите мне, – спросил Руневский, – каким образом вы узнаете, кто упырь и кто нет?

– Это совсем немудрено. Что касается до этих двух, то я не могу в них ошибаться, потому что знал их еще прежде смерти, и (мимоходом буди сказано) немало удивился, встретив их между людьми, которым они довольно

известны. Надобно признаться, что на это нужна удивительная дерзость. Но вы спрашиваете, каким образом узнавать упырей? Заметьте только, как они, встречаясь друг с другом, щелкают языком. Это по-настоящему не щелканье, а звук, похожий на тот, который производят губами, когда сосут апельсин. Это их условный знак, и так они друг друга узнают и приветствуют.

Тут к Руневскому подошел один щеголь и напомнил ему, что он его *vis-a-vis* [30]. Все пары уже стояли на месте, и так как у Руневского еще не было дамы, то он поспешил пригласить ту молодую девушку, которой незнакомец пророчил скорую смерть, ежели она согласится ехать к бабушке на дачу. Во время танца он имел случай рассмотреть ее с примечанием. Она была лет семнадцати; черты лица ее, уже сами по себе прекрасные, имели какое-то необыкновенно трогательное выражение. Можно было подумать, что тихая грусть составляет ее постоянный характер; но когда Руневский, разговаривая с нею, касался смешной стороны какого-нибудь предмета, выражение это исчезало, а наместо его появ-

лялась самая веселая улыбка. Все ответы ее были остроумны, все замечания разительны и оригинальны. Она смеялась и шутила без всякого злословия и так чистосердечно, что даже те, которые служили целью ее шуткам, не могли бы рассердиться, если б они их слышали. Видно было, что она не гоняется за мыслями и не изыскивает выражений, но что первые рождаются внезапно, а вторые приходят сами собою. Иногда она забывалась, и тогда опять облако грусти помрачало ее чело. Переход от веселого выраженья к печальному и от печального к веселому составлял странную противоположность. Когда стройный и легкий стан ее мелькал между танцующими, Руневскому казалось, что он видит не существо земное, но одно из тех воздушных созданий, которые, как уверяют поэты, в месячные ночи порхают по цветам, не сгибая их под своей тяжестью. Никогда никакая девушка не производила на Руневского такого сильного впечатления; он тотчас после танца попросил, чтоб его представили ее матери.

Вышло, что дама, разговаривавшая с Сугробиной, была не мать ее, а какая-то тетка,

которую звали Зориной и у которой она воспитывалась. Руневский узнал после, что девушка уже давно сирота. Сколько он мог заметить, тетка ее не любила; бабушка ее ласкала и называла своим сокровищем, но трудно было угадать, от чистого ли сердца происходили ее ласки? Сверх этих двух родственниц у нее никого не было на свете. Одинокое положение бедной девушки еще более возбудило участие Руневского, – но, к сожалению его, он не мог продолжать с ней разговора. Толстая тетка, после нескольких пошлых вопросов, представила его своей дочери, жеманной барышне, которая тотчас им завладела.

– Вы много смеялись с моей кузиной, – сказала она ему. – Кузина любит смеяться, когда бывает в духе. Я чаю, всем от нее досталось?

– Мы мало говорили о присутствующих, – отвечал Руневский. – Разговор наш более касался Французского театра.

– Право? Но признайтесь, что наш театр не заслуживает даже, чтоб его бранили. Я всегда страх как скучаю, когда туда езжу, но я это делаю для кузины; маменька по-французски не понимает, и для нее все равно, есть ли театр

или нет, а бабушка и слышать про него не хочет. Вы еще не знаете бабушки; это в полном смысле слова – бригадирша. Поверите ли, она сожалеет, что мы более не пудримся?

Софья Карповна (так называли барышню), посмеявшись насчет бабушки и желая ослепить Руневского своею колкостью, перешла и к прочим гостям. Более всех от нее доставалось одному маленькому офицеру с черными усами, который очень высоко прыгал, танцуя французскую кадрили.

– Посмотрите, пожалуйста, на эту фигуру, – говорила она Руневскому. – Можно ли видеть что-нибудь смешнее ее и можно ли для нее придумать фамилию приличнее той, которой она гордится: ее зовут Фрышкин! Это самый несносный человек в Москве, и, что всего досаднее, он себя считает красавцем и думает, что все в него влюблены. Смотрите, смотрите, как его эполеты хлопают о плечи! Мне кажется, он скоро проломает паркет!

Софья Карповна продолжала злословить всех и каждого, а Фрышкин между тем, приняв сердитый вид и закручивая усы, прыгал самым отчаянным образом. Руневский, глядя

на него, не мог удержаться от смеха. Софья Карповна, ободренная его веселостью, удвоила свое злословие насчет бедного Фрышкина. Наконец Руневскому удалось избавиться от докучливой собеседницы. Он подошел к ее толстой матери, попросил позволения ее навестить и завел разговор с бригадиршей.

– Смотри ж, мой батюшка, – сказала ему ласково старуха, – к Зориной-то ходи, к Федосье Акимовне, да и меня, грешную, не забывай. Ведь не все ж с молодежью-то балагурить! В наше время не то было, что теперь: тогда молодые люди меньше франтили да больше слушали стариков; куцых-то фраков не носили, а не хуже вашего одевались. Ну, не в укор тебе сказать, а на что ты похож, мой батюшка, с своими хвостиками-то? Птица не птица, человек не человек! Да и обхождение-то было другое; учтивее люди были, нечего сказать! А офицеры-то не ломались на балах, вот как этот Фрышкин, а дрались-то не хуже ваших. Вот как покойный мой Игнатий Савельич, бывало, начнет рассказывать, как они под турку-то ходили, так индо слушать страшно. Мы, говорит, стоим себе на Дунае,

говорит, с графом Петром Александровичем, а на той стороне турка стоит; наших-то немного, да и всё почти новички, а ихних-то тьма-тьмущая. Вот от матушки-государыни повеленье пришло к графу: перейди, дескать, через Дунай да разбей басурмана! Нечего делать, не хотелось графу, а послушался, перешел через Дунай, с ним и мой Игнатий Савельич. В наше время не рассуждали, мой батюшка: куда велят идти, туда и шли. Вот стали осаждать крепость-то басурманскую, что зовут Силистрией, да силы не хватило; начал отступать граф Петр Александрович, а они-то, некрести, и заслонили ему дорогу. Прищемили его между трех армий; тут бы ему и живот кончить, да и моему Игнатью Савельичу с ним, если б немец-то, Вейсман, не выручил. Напал он на тех, что переправу-то стерегли, да и разбил в пух супостата, даром что немец. Тут же и Игнатий Савельич был, и ногу ему прострелили басурманы, а Вейсмана-то убили совсем. Что ж, мой батюшка? Граф-то переправился на свою сторону, да тотчас и начал готовиться опять к бою с некрестями! Не уступлю, дескать; знай наших! Вот каковы, мой батюшка,

в старину люди-то были, не вашим чета, даром что куцых-то фраков не носили, не в укор тебе буди сказано!

Старуха еще много говорила про старину, про Игнатъя Савельича и про Румянцева.

– Вот приехал бы ты ко мне на дачу, – сказала она ему под конец, – я бы тебе показала портрет и графа Петра Александровича, и князя Григория Александровича, и моего Игнатъя Савельича. Живу я не так, как живали прежде, не то теперь время; а гостям всегда рада. Кто меня вспомнит, тот и завернет ко мне в Березовую Рощу, а мне-то оно и любо. Семен Семенович, – прибавила она, указывая на Теляева, – меня также не забывает и через несколько дней обещался ко мне приехать. Вот и моя Дашенька у меня погостит; она доброе дитя и не оставит своей старой бабушки; не правда ли, Даша?

Даша молча улыбнулась, а Семен Семенович поклонился Руневскому и, вынув из кармана золотую табакерку, обтер ее рукавом и поднес ему обеими руками, сделав притом шаг назад, вместо того чтоб сделать его вперед.

– Рад служить, рад служить, матушка Марфа Сергеевна, – сказал он сладким голосом бригадирше, – и даже... если бы... в случае... то есть... – Тут Семен Семенович щелкнул точно так, как описывал незнакомец, и Руневский невольно вздрогнул. Он вспомнил о странном человеке, с которым разговаривал в начале вечера, и, увидев его на том же месте, возле камина, обратился к Сугробиной и спросил ее: не знает ли она, кто он? Старуха вынула из мешка очки, протерла их платком, надела на нос и, поглядев на незнакомца, отвечала Руневскому:

– Знаю, мой батюшка, знаю; это господин Рыбаренко. Он родом малороссиянин и из хорошей фамилии, только он, бедняжка, уж три года, как помешался в уме. А все это от модного воспитания. Ведь кажется, еще молоко на губах не обсохло, а надо было поехать в чужие края! Пошатался там года с два, да и приехал с умом наизнанку. – Сказав это, она своротила разговор на кампании Игнатья Савельича.

Вся тайна обращения г. Рыбаренки объяснилась теперь в глазах Руневского. Он был су-

масшедший, бригадирша Сугробина добрая старушка, а Семен Семенович Теляев не что иное, как оригинал, который щелкал только потому, что заикался или что у него недоставало зубов.

Прошло несколько дней после бала, и Руневский короче познакомился с тетушкой Даши. Сколько Даша ему нравилась, столько же он чувствовал отвращения к Федосье Акимовне Зориной. Она была женщина лет сорока пяти, замечательно толстая, очень неприятной наружности и с большими притязаниями на щегольство и на светское обращение. Недоброжелательство ее к племяннице, которое, несмотря на свои старания, она часто не могла скрыть, Руневский приписал тому, что собственная ее дочь, Софья Карповна, не имела ни Дашиной красоты, ни молодости. Софья Карповна, казалось, сама это чувствовала и старалась всячески отмстить своей сопернице. Она была так хитра, что никогда открыто ее не злословила, но пользовалась всеми случаями, когда могла неприметно подать об ней невыгодное мнение; между тем Софья Карповна притворялась ее искреннею прия-

тельницею и с жаром извиняла ее мнимые недостатки.

Руневский заметил с самого начала, что ей очень хочется его пленить, и сколько это ни было ему неприятно, но он почел за нужное не показывать, до какой степени она ему противна, и старался обходиться с нею как можно учтивее.

Общество, посещавшее дом Зориной, состояло из людей, которых не встречали в высших кругах и из коих большая часть, по примеру хозяйки дома, проводила время в сплетнях и злословии. Среди всех этих лиц Даша являлась как светлая птичка, залетевшая из цветущей стороны в темный и неопрятный курятник. Но, хотя она не могла не чувствовать пред ними своего превосходства, ей и в мысль не приходило чуждаться или пренебрегать людьми, коих привычки и воспитание так мало согласовались с тем родом жизни, для которого она была рождена. Руневский удивлялся ее терпению, когда из снисхождения к старикам она слушала их длинные рассказы, не занимающие ее нисколько; он удивлялся ее постоянной приветливости к

этим барыням и барышням, из коих большая часть не могла ее терпеть. Не раз также он был свидетелем, как она, со всею приличною скромностию, иногда одним только взглядом, удерживала молодых франтов в границах должной почтительности, когда в разговорах с нею им хотелось забыться. Мало-помалу Даша привыкла к Руневскому. Она уже не старалась скрыть своей радости при его посещениях; казалось, внутреннее чувство говорило ей, что она может положиться на него, как на верного друга. Доверенность ее с каждым днем возрастала; она уже поверяла ему иногда свои маленькие печали и наконец однажды призналась, как она несчастлива в доме своей тетки.

– Я знаю, – говорила она, – что они меня не любят и что я в тягость; вы не поверите, как это меня мучит. Хотя я с другими смеюсь и бываю весела, но зато как часто, наедине, я горько плачу!

– А ваша бабушка? – спросил Руневский.

– О, бабушка совсем другое дело! Она меня любит, всегда меня ласкает и не иначе со мной обходится, когда мы одни, как при чу-

жих. Кроме бабушки и еще старой маменькиной гувернантки, я думаю, нет никого, кто бы меня любил! Эту гувернантку зовут Клеопатрой Платоновной; она меня знала еще ребенком, только с ней я и могу разговаривать про маменьку. Я так рада, что увижу ее у бабушки на даче; не правда ли, вы также туда заедете?

– Непременно приеду, если это вам не будет неприятно.

– О, напротив! Не знаю почему, хотя я с вами знакома только несколько дней, но мне кажется, будто бы я вас знаю уж так давно, так давно, что я и не припомню, когда мы в первый раз виделись. Может быть, это оттого, что вы мне напоминаете двоюродного брата, которого я люблю как родного и который теперь на Кавказе.

Однажды Руневский застал Дашу с заплаканными глазами. Боясь ее еще более расстроить, он притворился, будто ничего не замечает, и начал разговаривать об обыкновенных предметах. Даша хотела отвечать, но слезы брызнули из ее глаз, она не могла выговорить ни слова, закрыла лицо платком и вы-

бежала из комнаты.

Через несколько времени вошла Софья Карповна и стала извинять Дашу в странности ее поступка.

– Мне самой стыдно за сестрицу, – сказала она, – но это такой ребенок, что малейшая безделица может привести ее в слезы. Сегодня ей очень хотелось ехать в театр, но, к несчастью, никак не могли достать ложи, и это ее так расстроило, что она еще долго не утешится. Впрочем, ежели бы вы знали все ее хорошие качества, вы бы ей охотно простили эти маленькие слабости. Я думаю, нет на свете существа добрее ее. Кого она любит, тот хоть сделай преступление, она найдет средство его извинить и уверить всех, что он прав. Зато уж об ком она дурного мнения, того она не оставит в покое и всем расскажет, что она об нем думает.

Таким образом, Софья Карпова, расхваливая бедную Дашу, успела намекнуть Руневскому, что она малодушна, пристрастна и несправедлива. Но слова ее не сделали на него никакого впечатления. Он в них видел одну только зависть и вскоре удостоверился,

что не ошибся в своем предположении.

– Вам, вероятно, показалось странным, – сказала ему на другой день Даша, – что я от вас ушла, когда вы со мной говорили; но, право, я не могла сделать иначе. Я нечаянно нашла письмо от моей бедной маменьки. Теперь уж девять лет, как она скончалась; я была еще ребенком, когда его получила, и оно мне так живо напомнило время моего детства, что я не могла удержаться от слез, когда при вас об нем подумала. Ах, как я тогда была счастлива! Как я радовалась, когда получила это письмо! Мы тогда были в деревне, маменька писала из Москвы и обещалась скоро приехать. Она в самом деле приехала на другой день и застала меня в саду. Я помню, как я вырвалась из рук нянюшки и бросилась к маменьке на шею.

Даша остановилась и несколько времени молчала, как бы забывшись.

– Вскоре потом, – продолжала она, – маменька вдруг, без всякой причины, сделалась больна, стала худеть и чахнуть и через неделю скончалась. Добрая бабушка до самой последней минуты от нее не отходила. Она по

целым ночам сидела у ее кровати и за ней ухаживала. Я помню, как в последний день ее платье было покрыто маменькиной кровью. Это на меня сделало ужасное впечатление, но мне сказали, что маменька умерла от чахотки и кровохарканья. Вскоре я переехала к тетушке, и тогда все переменялось!

Руневский слушал Дашу с большим участием. Он старался превозмочь свое смущение; но слезы показались на его глазах, и, не будучи в состоянии удержать долее порыва своего сердца, он схватил ее руку и сжал ее крепко.

– Позвольте мне быть вашим другом, – вскричал он, – положитесь на меня! Я не могу вам заменить той, которую вы потеряли, но, клянусь честью, я буду вам верным защитником, доколе останусь жив!

Он прижал ее руку к горячим устам, она приклонила голову к его плечу и тихонько заплакала. Чьи-то шаги слышались в ближней комнате.

Даша легонько оттолкнула Руневского и сказала ему тихим, но твердым голосом:

– Оставьте меня; я, может быть, дурно сде-

лала, что предалась своему чувству, но я не могу себе представить, что вы чужой; внутренний голос мне говорит, что вы достойны моей доверенности.

– Даша, любезная Даша! – вскричал Руневский, – еще одно слово! Скажите мне, что вы меня любите, и я буду самый счастливый смертный!

– Можете ли вы в этом сомневаться? – отвечала она спокойно и вышла из комнаты, оставляя его пораженным этим ответом и в недоумении, поняла ли она точный смысл его слов?

В тридцати верстах от Москвы находится село Березовая Роща. Еще издали виден большой каменный дом, выстроенный по-старинному и осененный высокими липами, главным украшением просторного сада, который расположен на покатом пригорке, в регулярном французском вкусе.

Никто, видя этот дом и не зная его истории, не мог бы подумать, что он принадлежит той самой бригадирше, которая рассказывает про походы Игнатия Савельича и нюхает русский табак с донником. Здание было вместе

легко и величественно; можно было с первого взгляда угадать, что его строил архитектор италийанский, ибо оно во многом напоминало прекрасные виллы в Ломбардии или в окрестностях Рима. В России, к сожалению, мало таких домов; но они вообще отличаются своею красотою, как настоящие образцы хорошего вкуса прошедшего века, а дом Сугробиной можно бесспорно назвать первым в этом роде.

В один теплый июльский вечер окна казались освещенными ярче обыкновенного, и даже, что редко случалось, в третьем этаже видны были блуждающие огни, переходящие из одной комнаты в другую.

В это время на дороге показалась коляска, которая, поравнявшись с дачею, въехала через длинную аллею на господский двор и остановилась перед подъездом дома. К ней подбежал казачок в изорванном платье и по-мог выйти Руневскому.

Когда Руневский вошел в комнату, он увидел множество гостей, из которых иные играли в вист, а другие разговаривали между собою. К числу первых принадлежала сама хо-

зьяка, и против нее сидел Семен Семенович Теляев. В одном углу комнаты накрыт был стол с огромным самоваром, и за ним заседала пожилая дама, та самая Клеопатра Платоновна, о которой Руневскому говорила Даша. Она казалась одних лет с бригадиршей, но бледное лицо ее выражало глубокую горесть, как будто бы ее тяготила страшная тайна.

При входе Руневского бригадирша ласково его приветствовала.

– Спасибо тебе, мой батюшка, – сказала она, – что ты не забыл меня, старуху. А я уж начинала думать, что ты совсем не приедешь; садись-ка возле нас, да выпей-ка чайку, да расскажи нам, что у нас нового в городе?

Семен Семенович сделал Руневскому очень оригинальный поклон, коего характер невозможно выразить словами, и, вынув из кармана свою табакерку, сказал ему сладким голосом:

– Не прикажете ли? Настоящий русский, с донником. Я французского не употребляю; этот гораздо здоровее, да и к тому ж... в рассуждении насморка...

Громкий удар языком окончил эту фразу, и

щелканье старого чиновника обратилось в неопределенное сосанье.

– Покорно благодарю, – ответил Руневский, – я табаку не нюхаю.

Но бригадирша бросила недовольный взгляд на Теляева и, обратившись к соседке, сказала ей вполголоса:

– Что за неприятная привычка у Семена Семеновича вечно щелкать. Уж я бы на его месте вставила себе фальшивый зуб да говорила бы, как другие.

Руневский очень рассеянно слушал и бригадиршу и Семена Семеновича. Взоры его искали Даши, и он увидел ее в кругу других девушек возле чайного стола. Она приняла его с обыкновенной своей приветливостью и со спокойствием, которое могло бы показаться равнодушием. Что касается до Руневского, ему было трудно скрыть свое смущение, и неловкость, с которой он отвечал на ее слова, можно было принять за замешательство. Вскоре, однако, он оправился; его представили некоторым дамам, и он стал с ними разговаривать как будто ни в чем не бывало.

Все в доме бригадирши ему казалось

необычным. Богатое убранство высоких комнат, освещенных сальными свечами; картины италиянской школы, покрытые пылью и паутиной; столы из флорентинского мозаика, на которых валялись недовязанные чулки, ореховая скорлупа и грязные карты, – все это, вместе с простонародными приемами гостей, с старосветскими разговорами хозяйки и со щелканьем Семена Семеновича, составляло самую странную смесь.

Когда приняли самовар, девушки захотели во что-нибудь играть и предложили Руневскому сесть за их стол.

– Давайте гадать, – сказала Даша. – Вот какая-то книга; каждая из нас должна по очереди ее раскрыть наудачу, а другая назвать любую строчку с правой или с левой стороны. Содержание будет для нас пророчеством. Например, я начинаю; господин Руневский, назовите строчку.

– Седьмая на левой стороне, считая снизу.

Даша прочитала:

– *Пусть бабушка внучкину высосет кровь.*

– Ах, боже мой! – вскричали девушки, смеясь, – что это значит? Прочитайте это сначала.

ла, чтобы можно было понять!

Даша передала книгу Руневскому. Это был какой-то манускрипт, и он начал читать следующее:

*Как филин поймал летучую
мышь,
Когтями сжал ее кости,
Как рыцарь Амвросий с толпой
удальцов
К соседу собирается в гости.
Хоть много цепей и замков у во-
рот,
Ворота хозяйка гостям отперет.
«Что ж, Марфа, веди нас, где
спит твой старик?
Зачем ты так побледнела?
Под замком кипит и клубится
Дунай,
Ночь скроет кровавое дело.
Не бойся, из гроба мертвец не
встает,
Что будет, то будет, – веди нас
вперед!»
Под замком бежит и клубится
Дунай,
Бегут облака полосую;
Уж кончено дело, зарезан старик,*

Амвросий пирует с толпою.
В кровавые воды глядится луна,
С Амвросьем пирует злодейка-же-
на.

Под замком бежит и клубится
Дунай,

Над замком пламя пожара.

Амвросий своим удальцам гово-
рит:

«Всех резать от мала до стара!
Не сетуй, хозяйка, и будь веселей,
Сама ж ты впустила веселых го-
стей!»

Сверкая, клубясь, отражает Ду-
най

Весь замок, пожаром объятый;
Амвросий своим удальцам гово-
рит:

«Пора уж домой нам, ребята!
Не сетуй, хозяйка, и будь веселей,
Сама ж ты впустила веселых го-
стей!»

Над Марфой проклятие мужа гре-
мит,

Он проклял ее, умирая:

«Чтоб сгнула ты и чтоб сгинул
твой род,

Сто раз я тебя проклинаяю!

Пусть вечно иссякнет меж вами
любовь,
Пусть бабушка внучкину высосет
кровь!
И род твой проклятье мое да гнетет,
И места ему да не станет
Дотоль, пока замуж портрет не
пойдет,
Невеста из гроба не встанет,
И, череп разбивши, не ляжет в
крови
Последняя жертва преступной
любви!»
Как филин поймал летучую
мышь,
Когтями сжал ее кости,
Как рыцарь Амвросий с толпой
удальцов
К соседу нахлынули в гости.
Не сетуй, хозяйка, и будь веселей,
Сама ж ты впустила веселых го-
стей!

Руневский замолчал, и ему опять пришли в голову слова того человека, которого он видел несколько времени тому на бале и который в свете слыл сумасшедшим. Пока он чи-

тал, Сугробина, сидя за карточным столом, со вниманием слушала и сказала ему, когда он кончил:

– Что ты, мой батюшка, там за страсти читаешь? Уж не вздумал ли ты пугать нас, отец мой?

– Бабушка, – отвечала Даша, – я сама не знаю, что это за книга. Сегодня в моей комнате передвигали большой шкаф, и она упала с самого верху.

Семен Семенович Теляев мигнул бригадирше и, повернувшись на стуле, сказал:

– Это должна быть какая-нибудь аллегория, что-нибудь такое метафорическое, гм!.. фантазия!..

– То-то, фантазия! – проворчала старуха. – В наше время фантазий-то не писали, да никто бы их и читать не захотел! Вот что вздумали! – продолжала она с недовольным видом. – Придет же в голову писать стихи про летучих мышей! Я их смерть боюсь, да и филинов тоже. Нечего сказать, не трус был и мой Игнатий Савельич, как под турку-то ходил, а мышей и крыс терпеть не мог; такая у него уж натура была; а все это с тех пор, как им в Мол-

давии крысы житья не давали. И прови-
зию-то, мой батюшка, и амуницию – всё по-
ели. Бывало, заснешь, говорит, в палатке-то,
ан крысы придут да за самую косу теребят. То-
гда-то косы еще носили, мой батюшка, не то
что теперь, взъероша волосы, ходят.

Даша шутила над предсказанием, а Рунев-
ский старался прогнать странные мысли, тес-
нившиеся в его голове, и ему удалось себя
уверить, что ответственность читанных им
стихов с словами г. Рыбаренки не что иное,
как случай. Они продолжали гадать, а стари-
ки между тем кончили вист и встали из-за
столов.

К крайней досаде Руневского, ему ни разу
не удалось поговорить с Дашей так, чтобы их
не слышали другие. Его мучила неизвест-
ность; он знал, что Даша на него смотрит как
на друга, но не был уверен в ее любви и не хо-
тел просить руки ее, не получив на то позво-
ления от нее самой.

В продолжение вечера Теляев несколько
раз принимался щелкать, с значительным
видом посматривая на Руневского.

Около одиннадцати часов гости начали

расходиться. Руневский простился с хозяйкою, и Клеопатра Платоновна, позвав одного лакея, коего пунцовый нос ясно обнаруживал пристрастие к крепким напиткам, приказала отвести гостя в приготовленную для него квартиру.

– В зеленых комнатах? – спросил питомец Бахуса.

– Разумеется, в зеленых! – отвечала Клеопатра Платоновна. – Разве ты забыл, что в других нет места?

– Да, да, – проворчал лакей, – в других нет места. Однако с тех пор, как скончалась Прасковья Андреевна, в этих никто еще не жил!

Разговор этот напомнил Руневскому несколько сказок о старинных замках, обитаемых привидениями. В этих сказках обыкновенно путешественник, застигнутый ночью на дороге, останавливается у одинокой корчмы и требует ночлега; но хозяин ему объявляет, что корчма уже полна проезжими, но что в замке, коего башни торчат из-за густого леса, он найдет покойную квартиру, если только он человек нетрусливого десятка. Путешественник соглашается, и целую ночь приви-

дения не дают ему заснуть.

Вообще когда Руневский вступил в дом Су-гробинной, странное чувство им овладело, как будто что-то необыкновенное должно с ним случиться в этом доме. Он приписал это влиянию слов Рыбаренки и особенному расположению духа.

– Впрочем, мне все равно, – продолжал лакей, – в зеленых так в зеленых!

– Ну, ну, возьми свечку и не умничай!

Лакей взял свечку и повел Руневского во второй этаж. Прошедши несколько ступенек, он оглянулся и, увидев, что Клеопатра Платоновна ушла, стал громко сам с собой разговаривать:

– Не умничай! Да разве я умничаю? Какое мне дело до их комнат? Разве с меня мало передней? Гм, не умничай! Вот кабы я был генеральша, так я бы, разумеется, их не запирал, велел бы освятить, да и принимал бы в них гостей или сам жил. А то на что они? Какой от них прок?

– А что это за комнаты? – спросил Руневский.

– Что за комнаты? Позвольте, я вам сейчас

растолкую. Блаженной памяти Прасковья Андреевна, – сказал он набожным голосом, оставаясь среди лестницы и подымая глаза кверху, – дай господь ей царство небесное...

– После, после расскажешь! – сказал Руневский, – прежде проводи меня.

Он вошел в просторную комнату с высоким камином, в котором уже успели разложить огонь. Предосторожность эта, казалось, была взята не столько против холода, как для того, чтобы очистить спертый воздух и дать старинному покою более жилой вид. Руневского поразил женский портрет, висевший над диваном, близ небольшой затворенной двери. То была девушка лет семнадцати, в платье на фижмах с короткими рукавами, обшитыми кружевом, напудренная и с розовым букетом на груди. Если бы не старинное одеяние, он бы непременно принял этот портрет за Дашин. Тут были все ее черты, ее взгляд, ее выражение.

– Чей это портрет? – спросил он лакея.

– Это она-то и есть, покойница Прасковья Андреевна. Господа говорят, что они похожи на Дарью Васильевну-с; но, признательно ска-

зять, я тут сходства большого не вижу: у этой волосы напудренные-с, а у Дарьи Васильевны они темно-русого цвета. К тому же Дарья Васильевна так не одеваются, это старинный манер!

Руневский не считал за нужное опровергать логические рассуждения своего чичероне, но ему очень хотелось знать, кто была Прасковья Андреевна, и он спросил об ней у лакея.

– Прасковья Андреевна, – отвечал тот, – была сестрица бабушки теперешней генеральши-с. Они, извольте видеть, были еще невесты какого-то... как бишь его!.. ну, провал его возьми!.. Приехал он из чужих краев, скряга был такой престрашный!.. Я-то его не помню, а так понаслышке знаю, бог с ним! Он-то, извольте видеть, и дом этот выстроил, а наши господа уже после всю дачу купили. Вот для него да для Прасковьи Андреевны приготовили эти покои, что мы называем зелеными, отделали их получше, обили полы коврами, а стены обвешали картинами и зеркалами. Вот уже все было готово, как за день перед свадьбою жених вдруг пропал. Прасковья Андреевна тужили, тужили, да с горя и скончались.

А матушка, вишь, их, это выходит бабушка нашей генеральши, купили дом у наследников, да и оставили комнаты, приготовленные для их дочери, точь-в-точь как они были при их жизни. Прочие покои несколько раз переделывали да обновляли, а до этих никто не смел и дотронуться. Вот и наша генеральша их до сих пор запирали, да, вишь, много наехало гостей, так негде было бы вашей милости ночевать.

– Но ты, кажется, говорил, что на месте генеральши велел бы освятить эти комнаты?

– Да, оно бы, сударь, и не мешало; куда лет шестьдесят никто крещеный не входил, там мудрено ли другим хозяевам поселиться?

Руневский попросил красноного лакея, чтобы он теперь его оставил; но тот, казалось, был не очень расположен исполнить эту просьбу. Ему все хотелось рассказывать и рассуждать.

– Вот тут, – говорил он, указывая на затворенную дверь возле дивана, – есть еще целый ряд покоев, в которых никто никогда не жил. Если б их отделать по-нынешнему да вынести из них старую мебель, так они были бы еще

лучше тех, где живет барыня. Ну, да что прикажете, сами господа не догадаются, а у нашего брата совета не спросят!

Чтобы от него скорее избавиться, Руневский всунул ему в руку целковый и сказал, что ему теперь хочется спать и что он желает остаться один.

– Чувствительнейше благодарим, – отвечал лакей, – желаю вашей милости спокойной ночи. Ежели вам что-нибудь, сударь, понадобится, извольте только позвонить, и я сейчас явлюсь к вашей милости. Ваш камердинер не то, что здешний человек, им дом неизвестен, а мы, слава Богу, впотьмах не споткнемся.

Он удалился, и Руневский еще слышал, как он, уходя с его человеком, толковал ему, сколь бы выгодно было, если бы бригадирша не запирала зеленых комнат.

Оставшись один, он заметил углубление в стене и в нем богатую кровать с штофными занавесами и высоким балдахином; но либо из почтения к памяти той, для кого она была назначена, либо оттого, что ее считали беспокойною, ему приготовили постель на диване,

возле маленькой затворенной двери.

Сбираясь лечь, Руневский бросил еще взгляд на портрет, столь живо напоминавший ему черты, врезанные в его сердце.

«Вот, – подумал он, – картина, которая по всем законам фантастического мира должна ночью оживиться и повесть меня в какое-нибудь подземелье, чтобы показать мне неотпечтанные свои кости!» Но сходство с Дашей дало другое направление его мыслям. Потушив свечку, он старался заснуть, но никак не мог. Мысль о Даше не давала ему покою; он долго ворочался с боку на бок и наконец погрузился в какой-то полусон, где, как в тумане, вертелись перед ним старая бригадирша, г. Рыбаренко, рыцарь Амвросий и Семен Семенович Теляев.

Тяжелый стон, вырвавшийся как будто из стесненной сильным отчаяньем груди, его внезапно пробудил. Он открыл глаза и при свете огня, еще не погасшего в камине, увидел подле себя Дашу. Вид ее очень его удивил, но его еще более поразило ее одеяние. На ней было совершенно такое платье, как на портрете Прасковьи Андреевны; розовый букет

был приколот к ее груди, и в руке она держала старинное опахало.

– Вы ли это? – вскричал Руневский, – об эту пору, в этом наряде!

– Мой друг, – отвечала она, – если я вам мешаю, я уйду прочь.

– Оставайтесь, оставайтесь! – возразил он. – Скажите, что вас сюда привело и чем я могу вам служить?

Она опять застонала, и стон этот был так странен и выразителен, что он пронзил ему сердце.

– Ах, – сказала она, – мне немного времени остается с вами говорить; я скоро должна возвратиться туда, откуда пришла; а там так жарко!

Она опустилась на кресла подле дивана, где лежал Руневский, и стала обмахивать себя опахалом.

– Где жарко? откуда вы пришли? – спросил Руневский.

– Не спрашивайте меня, – отвечала она, вздрогнув при его вопросе, – не говорите со мной об этом! Я так рада, что вас вижу, – прибавила она с улыбкой. – Вы долго здесь пробу-

дете?

– Как можно дольше!

– И всегда будете здесь ночевать?

– Я думаю. Но зачем вы меня об этом спрашиваете?

– Для того, чтобы мне можно было говорить с вами наедине. Я всякую ночь сюда прихожу, но в первый раз вас здесь вижу.

– Это немудрено, я только сегодня приехал.

– Руневский, – сказала она, помолчав, – окажите мне услугу. В углу, возле дивана, на этажерке есть коробочка; в ней вы найдете золотое кольцо; возьмите его и завтра обручитесь с моим портретом.

– Боже мой! – воскликнул Руневский, – чего вы от меня требуете!

Она в третий раз застонала еще жалобнее, нежели прежде.

– Ради бога, – закричал он, не в силах удержаться от внутреннего содрогания, – ради бога, не шутите надо мной! Скажите мне, что вас сюда привело? Зачем вы так нарядились? Сделайте милость, поверьте мне свою тайну!

Он схватил ее руку, но сжал только холодные костяные пальцы и почувствовал, что

держит руку остова.

– Даша, Даша! – закричал он в иступлении, – что это значит?

– Я не Даша, – отвечало насмешливым голосом привидение, – отчего вы приняли меня за Дашу?

Руневский чуть не упал в обморок; но в эту минуту послышался сильный стук в дверь, и знакомый его лакей вошел со свечою в руках.

– Чего изволите, сударь? – спросил он.

– Я тебя не звал.

– Да вы изволили позвонить. Вот и снурок еще болтается!

Руневский в самом деле увидел снурок от колокольчика, которого прежде не заметил, и в то же время понял причину своего испуга. То, что он принял за Дашу, был портрет Прасковьи Андреевны; а когда он ее хотел взять за руку, он схватил жесткую кисть снурка, и ему показалось, что он держит костяные пальцы скелета.

Но он с нею разговаривал, она ему отвечала; он принужден был внутренне сознаться, что истолкование его не совсем естественно, и решил, что все виденное им – один из тех

снов, которым на русском языке нет, кажется, приличного слова, но которые французы называют *cauchemar*. Сны эти обыкновенно продолжаются и после пробуждения и часто, но не всегда, бывают сопряжены с давлением в груди. Отличительная их черта – ясность и совершенное сходство с действительностью.

Руневский отослал лакея и готовился уснуть, как вдруг лакей опять явился в дверях. Пионы на его носу уступили место смертельной бледности; он дрожал всем телом.

– Что с тобой случилось? – спросил Руневский.

– Воля ваша, – отвечал он, – я не могу ночевать в этом этаже и ни за что не войду опять в свою комнату!

– Да говори же, что в твоей комнате?

– Что в моей комнате? А то, что в ней сидит портрет Прасковьи Андреевны!

– Что ты говоришь! Это тебе показалось, оттого что ты пьян!

– Нет, нет, сударь, помилуйте! Я только что хотел войти, как увидел, что она там, сердечная; прости меня, боже! Она сидела ко мне спиной, и я бы умер со страха, если б она огля-

нулась, да, к счастью, я успел тихонько уйти, и она меня не заметила.

В эту минуту вошел слуга Руневского.

– Александр Андреевич, – сказал он дрожащим голосом, – здесь что-то нехорошо!

На вопрос Руневского он продолжал:

– Мы было поговорили с Яковом Антипычем, да и легли спать, как Яков Антипыч мне говорят: ваш барин звонит! Я, признаться, засыпал, да к тому ж Яков Антипыч не совсем были в пропорции, так я и думаю себе, что им так показалось; перевернулся на другой бок, да и захрапел. Чуть только захрапел, слышу – кто-то шарк, шарк, да как будто каблучками постукивает. Я открыл глаза, да уж не знаю, увидел ли что или нет, а так холодом и обдало; вскочил и пустился бежать по коридору; теперь уж как прикажете, а позвольте мне ночевать где-нибудь в другом месте, хоть на дворе!

Руневский решил исследовать эту загадку. Надев халат, он взял в руку свечу и отправился туда, где, по словам Якова, была Прасковья Андреевна. Яков и слуга Руневского следовали за ним и дрожали от страха. До-

шедши до полурастворенной двери, Руневский остановился. Всех его сил едва достало, чтобы выдержать зрелище, представившееся его глазам.

То самое привидение, которое он видел у себя в комнате, сидело тут на старинных креслах и казалось погружено в размышления. Черты лица его были бледны и прекрасны, ибо то были черты Даши, но оно подняло руку – и рука ее была костяная! Привидение долго на нее смотрело, горестно покачало головой и застонало.

Стон этот проник в самую глубину души Руневского.

Он, сам себя не помня, отворил дверь и увидел, что в комнате никого нет. То, что казалось ему привидением, было не что иное, как пестрая ливрея, повешенная через спинку кресел и которую издали можно было принять за сидящую женщину. Руневский не понимал, как он до такой степени мог обмануться. Но товарищи его все еще не решались войти в комнату.

– Позвольте мне ночевать поближе к вам, – сказал лакей, – оно все-таки лучше; да и к то-

му ж, если вы меня потребуете, буду у вас под рукою. Извольте только крикнуть: Яков!

– Позвольте уж и мне остаться с Яковым Антипычем, а то неравно...

Руневский воротился в свою спальню, а слуга его и лакей расположились за дверьми в коридоре. Остаток ночи Руневский провел спокойно; но когда проснулся, он не мог забыть своего приключения.

Сколько он ни заговаривал об зеленых комнатах, но всегда бригадирша или Клеопатра Платоновна находили средство своротить разговор на другой предмет. Все, что он мог узнать, было то же, что ему рассказывал Яков: тетушка Сугробиной, будучи еще очень молода, должна была выйти за богатого иностранца, но за день перед свадьбою жених исчез, а бедная невеста занемогла от горести и вскоре умерла. Многие даже в то время уверяли, что она отравила себя ядом. Комнаты, назначенные для нее, остались в том же виде, как были первоначально, и никто до приезда Руневского не смел в них входить. Когда он удивлялся сходству старинного портрета с Дашей, Сугробиная ему говорила:

– И немудрено, мой батюшка; ведь Прасковья-то Андреевна мне родная тетка, а я родная бабушка Даши. Так что ж тут необыкновенного, если они одна на другую похожи? А что с Прасковьей-то с Андреевной несчастье случилось, так и этому нечего удивляться. Вышла бы за нашего, за русского, так и теперь бы еще жива была, а то полюбился ей бродяга какой-то! Нечего сказать, и в наше время иногда затмение на людей находило; только не прогневайся, мой батюшка, а все-таки умнее люди были теперешних!

Семен Семенович Теляев ничего не говорил, а только потчевал Руневского табаком и щелкал и сосал попеременно.

В этот день Руневский нашел случай объясниться с Дашей и открыл свое сердце старой бригадирше. Она сначала очень удивилась, но нельзя было заметить, чтобы его предложение ей было неприятно. Напротив того, она поцеловала его в лоб и сказала ему, что, с ее стороны, она не желает для своей внучки жениха лучше Руневского.

– А что касается до Даши, – прибавила она, – то я давно заметила, что ты ей понра-

вился. Да, мой батюшка, даром что старуха, а довольно знаю вашу братью молодежь! Впрочем, в наше время дочерей-то не спрашивали; кого выберет отец или мать, за того они и выходили, а право, женитьбы-то счастливее были! Да и воспитание было другое, не хуже вашего. И в наше время, отец мой, науками-то не брезгали, да фанаберии-то глупой девкам в голову не вбивали; оттого и выходили они поскромнее ваших попрыгуний-то. Вот и я, мой батюшка, даром что сама по-французски не говорю, а взяла же гувернантку для Дашиной матери, и учителя-то к ней ходили, и танцмейстер был. Всему научилась, нечего сказать, а все-таки скромной и послушной девушкой осталась. Да и сама-то я за Игнатья Савельича по воле отцовской вышла, а уж любила-то его как! Не наплачусь, бывало, как в поход ему идти придется, да нечего делать, сам, бывало, рассердится, как плакать-то начну. Что ты, говорит, Марфа Сергеевна, расхныкалась-то? На то я и бригадир, чтоб верой и правдой матушке-государыне служить! Не за печкой же сидеть мне, пока его сиятельство граф Петр Александрович будет с турками во-

евать! Ворочусь – хорошо! Не ворочусь – так уж, по крайней мере, долг свой исполню по-солдатски! А мундир-то какой красивый на нем был! весь светло-зеленый, шитый золотом, воротник алый, сапоги как зеркало!.. Да что я, старуха, заболталась про старину-то! Не до того тебе, мой батюшка, не до того; поезжай-ка в Москву да попроси Дашиной руки у тетки ее, у Зориной, Федосьи Акимовны; от нее Даша зависит, она опекунша. А когда Зорина-то согласится, тогда уж приезжай сюда женихом да поживи с нами. Надобно ж тебе покороче познакомиться с твоей будущей бабушкой!

Старуха еще много говорила, но Руневский уж ее не слушал. Он бросился в коляску и поспекал в Москву.

Уже было поздно, когда Руневский приехал домой, и он почел за нужное отложить до другого утра свой визит к Дашиной тетушке. Между тем сон его убежал, и он, пользуясь лунной ночью, пошел ходить по городу без всякой цели, единственно чтоб успокоить волнение своего сердца.

Улицы были уже почти пусты, лишь из-

редка раздавались на тротуарах поспешные шаги или сонно стучали о мостовую дрожки извозчиков. Вскоре и эти звуки утихли, и Руневский остался один посреди огромного города и самой глубокой тишины. Прошед всю Моховую, он повернул в Кремлевский сад и хотел идти еще далее, как на одной скамье увидел человека, погруженного в размышления. Когда он поравнялся со скамьей, незнакомец поднял голову, месяц осветил его лицо, и Руневский узнал г. Рыбаренко. В другое время встреча с сумасшедшим не могла бы ему быть приятна, но в этот вечер, как будто нарочно, он все думал о Рыбаренке. Напрасно он сам себе повторял, что все слова этого человека не что иное, как бред расстроенного рассудка; что-то ему говорило, что Рыбаренко не совсем сумасшедший, что он, может быть, не без причины облекает здравый смысл своих речей в странные формы, которые для непосвященного должны казаться дикими и несвязными, но коими он, Руневский, не должен пренебрегать. Его даже мучила совесть за то, что он оставил Дашу одну в таком месте, где ей угрожала опасность.

Увидев его, Рыбаренко встал и протянул к нему руку.

– У нас, видно, одни вкусы, – сказал он, улыбаясь. – Тем лучше! Сядем вместе и поболтаем о чем-нибудь.

Руневский молча опустился на скамью, и несколько времени оба сидели, не говоря ни слова.

Наконец Рыбаренко прервал молчание.

– Признайтесь, – сказал он, – что, когда мы познакомились на бале, вы приняли меня за сумасшедшего?

– Не могу скрыть от вас, – отвечал Руневский, – что вы мне показались очень странным. Ваши слова, ваши замечания...

– Да, да; я думаю, что я вам показался странным. Меня рассердили проклятые упыри. Да, впрочем, и было за что сердиться, я никогда не видывал такого бесстыдства. Что, вы после никого из них не встречали?

– Я был на даче бригадирши Сугробиной и видел там тех, которых вы называли упырями.

– На даче у Сугробиной? – повторил Рыбаренко. – Скажите, поехала ли к ней ее внучка?

– Она теперь у нее, я видел ее недавно.

– Как, и она еще жива?

– Конечно, жива. Не прогневайтесь, почтенный друг, но мне кажется, что вы сильно наклепали на бедную бригадиршу. Она предобрая старушка и любит свою внучку от чистого сердца.

Рыбаренко, казалось, не слышал последних слов Руневского. Он приставил палец к губам с видом человека, ошибшегося в своем расчете.

– Странно, – сказал он наконец, – упыри обыкновенно так долго не мешкают. А Теляев там?

– Там.

– Это меня еще более удивляет. Теляев принадлежит к самой лютой породе упырей, и он еще гораздо кровожаднее Сугробиной. Но это так недолго продолжится, и если вы принимаете участие в бедной девушке, я вам советую взять свои меры как можно скорей.

– Воля ваша, – отвечал Руневский, – я никак не могу думать, чтоб вы говорили серьезно. Ни старая бригадирша, ни Теляев мне не кажутся упырями.

– Как, – возразил Рыбаренко, – вы в них ничего не заметили необыкновенного? Вы не слышали, как Семен Семенович щелкает?

– Слышал; но, по мне, это еще не есть достаточная причина, чтоб обвинять человека, почтенного летами, служащего уже более сорока пяти лет беспорочно и пользующегося общим уважением.

– О, как вы мало знаете Теляева! Но положим, что он щелкает без всякого намерения, неужели вас ничто не поразило во всем быту бригадирши? Неужели, проведши ночь у нее в доме, вы не почувствовали ни одного содрогания, ни одного из тех минутных недугов, которые напоминают нам, что мы находимся вблизи существ нам антипатических и принадлежащих другому миру?

– Что касается до такого рода ощущений, то я не могу сказать, чтобы их не имел; но я все приписал своему воображению и думаю, что почувствовал их у Сугробиной, как мог бы почувствовать и во всяком другом месте. К тому ж характер и приемы бригадирши, столь противоположные с архитектурой и убранством ее дома, без сомнения, много со-

действуют к особенному расположению духа тех, которые ее посещают.

Рыбаренко улыбнулся.

– Вы заметили архитектуру ее дома? – сказал он. – Прекрасный фасад! совершенно в италиянском вкусе! Только будьте уверены, что не одно устройство дома на вас подействовало. Послушайте, – продолжал он, схватив руку Руневского, – будьте откровенны, скажите мне как другу, не случилось ли с вами чего-нибудь особенного на даче у старой Сугробиной?

Руневский вспомнил о зеленых комнатах, и так как Рыбаренко внушал ему невольную доверенность, то он не почел за нужное что-либо от него скрывать и все ему рассказал так точно, как оно было. Рыбаренко слушал его со вниманием и сказал ему, когда он кончил:

– Напрасно вы приписываете воображению то, что действительно с вами случилось. История покойной Прасковьи Андреевны мне известна. Если хотите, я вам когда-нибудь ее расскажу; впрочем, самые любопытные подробности могла бы вам сообщить Клеопатра Платоновна, если б она только захотела. Но,

ради бога, не говорите легкомысленно о вашем приключении; оно имеет довольно сходства и более связи, нежели вы теперь можете подозревать, с одним обстоятельством моей жизни, которое я должен вам сообщить, чтобы вас предостеречь.

Рыбаренко несколько времени помолчал, как бы желая собраться с мыслями, и, прислонившись к липе, возле которой стояла скамья, начал следующим образом:

– Три года тому назад предпринял я путешествие в Италию для восстановления расстроенного здоровья, в особенности чтобы лечиться виноградным соком.

Прибыв в город Комо, на известном озере, куда обыкновенно посылают больных для этого рода лечения, услышал я, что на площади piazza Volta есть дом, уже около ста лет никем не обитаемый и известный под названием *чертова дома* (la cassa del diavolo). Почти всякий день, идучи из предместья borgo Vico, где была моя квартира, в albergo [31] del Angelo, чтобы навещать одного приятеля, я проходил мимо этого дома, но, не зная об нем ничего особенного, никогда не обращал на

него внимания. Теперь, услышав странное его название и несколько любопытных о нем преданий, вовсе одно на другое не похожих, я нарочно пошел на piazza Volta и с особенным примечанием начал его осматривать. Наружность не обещала ничего необыкновенного: окна нижнего этажа с толстыми железными решетками, ставни везде затворены, стены обклеены объявлениями о молитвах по умершим, а ворота заперты и ужасно запачканы.

В стороне была лавка цирюльника, и мне пришло в голову туда зайти, чтобы спросить, нельзя ли осмотреть внутренность *чертова дома*?

Входя, увидел я аббата, развалившегося в креслах и обвязанного грязным полотенцем. Толстый цирюльник, засучив рукава, тщательно и проворно мылил ему бороду и даже, в жару действия, нередко мазал его по носу и по ушам, что, однако, аббат сносил с большим терпением.

На вопрос мой цирюльник отвечал, что дом всегда заперт и что едва ли хозяин дозволит для кого-либо отпереть его. Не знаю почему, цирюльник принял меня за англичанина

и, делая руками пояснительные знаки, рассказал очень красноречиво, что уже несколько из моих соотечественников старались получить позволение войти в этот дом, но что попытки их оставались тщетными, ибо дон Пьетро д'Урджина им всегда отвечал наотрез, что дом его не трактир и не картинная галерея.

Пока цирюльник говорил, аббат слушал его со вниманием, и я не раз заметил, как под толстым слоем мыльной пены странная улыбка показывалась на его губах.

Когда цирюльник, окончив свою работу, обтер ему бороду полотенцем, он встал, и мы вместе вышли из лавки.

– Могу вас уверить, синьор, – сказал он, обращаясь ко мне, – что вы напрасно так беспокоитесь и что *чертов дом* нисколько не заслуживает вашего внимания. Это совершенно пустое строение, и все, что вы могли о нем слышать, не что иное, как выдумка самого дон Пьетро.

– Помилуйте, – возразил я, – зачем бы хозяину клепать на свой дом, когда он, при таком стечении иностранцев, мог бы отдавать его

внаймы и получать большой доход?

– На это есть более причин, чем вы думаете, – отвечал аббат.

– Как, – спросил я с удивлением, вспомнив известный анекдот про Тюренна, – неужели он делает фальшивую монету?

– Нет, – возразил аббат, – дон Пьетро – большой чудак, но честный человек. Говорят про него, что он торгует запрещенными товарами и что даже он в сношениях с известным контрабандистом Титта Каннелли; но я этому не верю.

– Кто такой Титта Каннелли? – спросил я.

– Титта Каннелли был лодочником на нашем озере, но раз на рынке он поспорил с товарищем и убил его на месте. Совершив преступление, он убежал в горы и сделался начальником контрабандистов. Говорят, будто ввозимые им из Швейцарии товары он складывает в одной вилле, принадлежащей дону Пьетро; еще говорят, что, кроме товаров, он в той же вилле сохраняет большие суммы денег, приобретенные им вовсе не торговлею; но, повторяю вам, я не верю этим слухам.

– Скажите же, ради бога, что за человек

ваш дон Пьетро и что значит вся эта история про *чертов дом*?

– Это значит, что дон Пьетро, чтобы скрыть одно событие, случившееся в его семействе, и отвлечь внимание от настоящего места, где случилось это событие, распустил о городском доме своем множество слухов, один нелепее другого. Народ с жадностью бросился на эти рассказы, возбуждающие его любопытство, и забыл о приключении, которое первоначально дало им повод.

Надобно вам знать, что хозяину *чертова дома* с лишком восемьдесят лет. Отец его, который также назывался дон Пьетро д'Урджина, не пользовался уважением своих сограждан. В неурожайные годы, когда половина жителей умирала с голоду, он, имея огромные запасы хлеба, продавал его по необыкновенно высокой цене, несмотря на несметные свои богатства. В один из таких годов, не знаю для чего, предпринял он путешествие в ваше отечество. Я давно заметил, – продолжал аббат, – что вы не англичанин, а русский, несмотря на то, что синьор Финарди, мой цирюльник, уверен в противном. Итак, в один

из самых несчастных годов старый дон Пьетро отправился в Россию, поручив все дела своему сыну, теперешнему дон Пьетро.

Между тем настала весна, новые урожаи обещали обильную жатву, и цена на хлеб значительно спала. Пришла осень, жатва кончилась, и хлеб стал нипочем. Сын дон Пьетро, которому отец, уезжая, оставил строгие наставления, сначала так дорожился, что немного сбывал своего товара; потом ему не стали уже давать цены, назначенной его отцом, и, наконец, перестали к нему приходить вовсе. В нашем краю, слава Богу, неурожаи очень редки, и потому весь барыш, на который надеялся старый Урджина, обратился в ничто. Сын его несколько раз к нему писал, но перемена в цене произошла так быстро, что он не успел получить от отца разрешения ее убавить.

Многие уверяют, что покойный дон Пьетро был скуп до невероятности, но я скорее думаю, что он был большой злодей и притом такой же чудаком, как и его сын. Письма сего последнего заставили его поспешно покинуть Россию и воротиться в Комо. Если бы дон

Пьетро был так скуп, как говорят, то он бы или продал свой хлеб по существующей цене, или оставил его в магазинах, но он распустил в городе слух, что раздаст его бедным, а вместо того приказал весь запас вывалить в озеро. Когда же в назначенный день бедный народ собрался перед его домом, то он, высунувшись из окошка, закричал толпе, что хлеб ее на дне озера и что, кто умеет нырять, может там достать его. Такой поступок еще более унижил его в глазах жителей Комо, и они дали ему прозвание злого, *il cattivo*.

В городе давно уже ходил слух, что он продал душу черту и что черт вручил ему каменную доску с каббалистическими знаками, которая до тех пор должна доставлять ему все наслаждения земные, пока не разобьется. С уничтожением ее магической силы черт, по договору, получил право взять душу дон Пьетро.

Тогда дон Пьетро жил в загородном доме, недалеко от *villa d'Este*. В одно утро приор монастыря св. Севастиана, стоя у окошка и смотря на дорогу, увидел человека на черной лошади, который остановился у окна и ему ска-

зал: «Знай, что я черт и еду за Пьетро д'Урджина, чтобы отвести его в ад. Расскажи это всей братии!» Через несколько времени приор увидел того же человека, возвращающегося с дон Пьетро, лежащим поперек седла. Он скакал во весь опор, покрыв жертву свою черным плащом. Сильный ветер раздувал этот плащ, и приор мог заметить, что старик был в халате и в ночном колпаке: черт, посетивший его неожиданно, застал его в постели и не дал ему времени одеться.

Вот что говорит предание. Дело в том, что дон Пьетро, вскоре по возвращении своем из России, пропал без вести. Сын его, чтоб прекратить неприятные толки, объявил, что он скоропостижно умер, и велел для формы похоронить пустой гроб. После погребения, пришедши в спальню отца, он увидел на стене картину *al fresco* [32], которой никогда прежде не знал. То была женщина, играющая на гитаре. Несмотря на красоту лица, в глазах ее было что-то столь неприятное и даже страшное, что он немедленно приказал ее закрасить. Через несколько времени увидели ту же фреску на другом месте; ее опять закраси-

ли; но не прошло двух дней, как она еще явилась там же, где была в первый раз. Молодой Урджина так был этим поражен, что навсегда покинул свою виллу, приказав сперва заколотить двери и окна. С тех пор лодочники, проезжавшие мимо нее ночью, несколько раз слышали в ней звук гитары и два поющие голоса, один старого дон Пьетро, другой неизвестно чей; но последний был так ужасен, что лодочники не долго останавливались под окнами.

– Вы видите, синьор, – продолжал аббат, – что хотя и есть нечто необыкновенное в истории дон Пьетро, но оно все относится к загородному дому, на берегу озера, недалеко от villa d'Este, по ту сторону Capriccio, а не к тому строению, которое вам так хотелось видеть.

– Скажите мне, – спросил я, – что, слышали еще в вилле дон Пьетро голоса и звук гитары?

– Не знаю, – отвечал аббат. – Но если это вас интересует, – прибавил он с улыбкой, – то кто вам мешает, когда сделается темно, пойти под окна виллы или, что еще лучше, провести в ней ночь?

Этого-то мне и хотелось.

– Но как туда войти? – спросил я. – Ведь вы говорите, что сын дон Пьетро велел заколотить двери и окна?

Аббат призадумался.

– Правда, – сказал он наконец. – Но если не ошибаюсь, то можно, влезши на утес, к которому прислонен дом, спустится в незаколотенное слуховое окно.

Разговаривая таким образом, мы, сами того не замечая, прошли весь borgo Vico и очутились на шоссе, ведущем вдоль озера к villa d'Este. Аббат остановился перед одним palazzo [33], которого фасад казался выстроен по рисункам славного Палладия. Величественная красота здания меня поразила, и я не мог понять, как, живучи столько времени в Комо, я ничего не слыхал о таком прекрасном дворце.

– Вот вилла дон Пьетро, – сказал аббат, – вот утес, а вот то окно, в которое вы можете влезть, если вам угодно.

В голосе аббата было что-то насмешливое, и мне показалось, что он сомневается в моей смелости. Но я твердо решил, во что бы то ни стало проникнуть тайну, сильно возбуждив-

шую мое любопытство.

В этот день мне не сиделось дома. Я рыскал по городу без цели, заходил в готический собор и без удовольствия смотрел на прекрасные картины Bernardino Luini. Я спотыкался на корзины с фигами и виноградом и раз даже опрокинул целый лоток горячих каштанов. Надобно вам знать, что в Комо каштаны жарят на улицах; обычай этот существует и в других итальянских городах, но нигде я не видел столько жаровен и сковород, как здесь. Добрые ломбардцы на меня не рассердились, но только смеялись от всего сердца и даже провожали благодарениями, когда за причиненный им убыток я им бросал несколько цванцигеров.

Вечером было собрание в villa Sallazar. Большая часть общества состояла из наших соотечественников, прочие почти все были австрийские офицеры или италиянцы, приехавшие из Милана посетить прелестные окрестности Комо.

Когда я рассказал свое намерение провести следующую ночь в villa Urgina, надо мной сначала начали смеяться, потом мысль моя

показалась оригинальной, а напоследок вызвалось множество охотников разделить со мной опасности моего предприятия. Замечательно, что не только я, но и никто из жителей Милана не знал о существовании этой виллы.

– Позвольте, господа, – сказал я, – если мы все пойдем туда ночевать, то экспедиция наша потеряет всю свою прелесть, и я уверен, что черт не захочет петь в присутствии такого общества знатоков; но я согласен взять с собой двух товарищей, которых назначит судьба.

Предложение было принято, и жребий пал на двух моих приятелей, из коих один был русский и назывался Владимиром, другой итальянец, по имени Антонио. Владимир был мой искренний друг и товарищ моего детства. Он, так же как и я, приехал в Комо лечиться виноградом и вместе со мной должен был, по окончании лечения, ехать во Флоренцию и провести там зиму. Антонио был наш общий приятель, и хотя мы познакомились с ним только в Комо, но образ наших мыслей и вообще нравы наши так были сходны, что мы

невольню сблизились. Мы поклялись вечно любить друг друга и не забывать до самой смерти. Антонио уже исполнил свою клятву.

Но я напрасно предаюсь печальным воспоминаниям и преждевременно намекаю на трагический оборот, который приняла наша необдуманная шалость.

– Любезный друг! Вы молоды и имеете пылкий характер. Послушайте человека, узнавшего на опыте, что значит пренебрегать вещами, коих мы не в состоянии понять и которые, слава Богу, отделены от нас темной, непроницаемой завесой. Горе тому, кто покусится ее поднять! Ужас, отчаянье, сумасшествие будут наградой его любопытства. Да, любезный друг, я тоже молод, но волосы мои седы, глаза мои впалы, я в цвете лет сделался стариком – я приподнял край покрывала, я заглянул в таинственный мир. Я так же, как и вы, тогда не верил ничему, что люди условились называть сверхъестественным; но, несмотря на то, нередко в груди моей раздавались странные отголоски, противоречившие моему убеждению. Я любил к ним прислушиваться, потому что мне нравилась противупо-

ложность мира, тогда передо мною открывавшегося, с холодной прозою мира настоящего; но я смотрел на картины, которые развивались передо мною, как зритель смотрит на интересную драму. Живая игра актеров его увлекает, но между тем он знает, что кулисы бумажные и что герой, покинув сцену, снимет шлем и наденет колпак. Поэтому, когда я затеял ночевать в villa Urgina, я не ожидал никаких приключений, но только хотел возбудить в себе то чувство чудесного, которого искал так жадно. О, сколь жестоко я обманулся! Но если мое несчастье послужит уроком для других, то это мне будет утешением и пребывание мое в доме дон Пьетро принесет хотя какую-нибудь пользу.

На другой день, едва лишь смерклось, Владимир, Антонио и я уже шли на ночлег в таинственный palazzo. Малейшие обстоятельства этого вечера врезались в моей памяти, и хотя с тех пор прошло три года, но я так живо помню все подробности нашего разговора и наших неосторожных шуток, в которых мы так скоро раскаялись, что мне кажется, будто все это происходило не далее, как вчера.

Проходя мимо villa Remondi, Антонио остановился. В правом флигеле слышно было несколько женских голосов, поющих какую-то веселую песнь. Мелодия ее до сих пор раздаётся в моих ушах!

– Подождем, – сказал Антонио, – теперь еще рано, мы успеем вовремя туда прийти.

Сказав это, он хотел подойти к окну, чтобы лучше слышать, но, нагнувшись вперед, споткнулся на камень и упал на землю, разбив окно головой. На шум его падения выбежала молодая девушка со свечою. То была дочь сторожа villa Remondi. Лицо Антонио было покрыто кровью. Девушка казалась очень испуганною; она бегала, суетилась, принесла ручнойник с водою и, восклицая беспрестанно: «O dio! poverino! Maladetta strada!» [34] – омыла ему лицо.

– Это дурной знак! – сказал, улыбаясь, Антонио, как скоро он оправился от своего падения.

– Да, – отвечал я, – не лучше ли нам воротиться и отложить до другого раза нашу шалость.

– О нет, нет! – возразил он, – это совершен-

но ничего, и я не хочу, чтобы вы после смеялись надо мной и думали, что мы, жители Юга, нежнее вас, русских!

Мы пошли далее. Минут через десять нас догнала та самая девушка, которая из villa Remondì вышла на помощь к Антонио. Она и теперь к нему обратилась и долго с ним говорила вполголоса. Я заметил, что она с трудом удерживалась от слез.

– Что она тебе сказала? – спросил его Владимир, когда девушка удалилась.

– Бедная Пенина, – отвечал Антонио, – просит меня, чтобы я через отца моего выхлопотал прощение ее брату. Она говорит, что уже несколько раз ко мне приходила, но никогда меня не заставала дома.

– А кто ее брат? – спросил я.

– Какой-то контрабандист, по имени Титта.

– А как фамилия этой девушки?

– Каннелли. Но что тебе до этого?

– Титта Каннелли! – воскликнул я и вспомнил аббата и рассказ его про старого Урджина. Воспоминание это очень неприятно на меня подействовало. Все, что я тогда считал выдумками, бреднями или плутовством ка-

ких-нибудь мошенников, теперь в воображении моем приняло характер страшной истины, и я бы непременно воротился, если б мне не было стыдно. Я сказал своим товарищам, что уже прежде слышал о Титта Каннелли, и мы продолжали идти. Вскоре в стороне показался свет лампы. Она освещала одну из тех часовен, которых так много в северной Италии и которые служат хранилищем человеческих костей. Я всегда имел отвращение от этого рода часовен, где в симметрическом порядке и как будто в насмешку расставлены и развешаны узорами печальные останки умерших. Но в этот вечер я почувствовал невольный страх, когда мимоходом заглянул за железную решетку. Я ничего, однако, не сказал, и мы молча дошли до виллы Urgina.

Нам было очень легко влезть на утес и оттуда посредством веревки спуститься в слуховое окно. Там мы зажгли одну из принесенных с собою свеч и, нашедши проход из-под крыши в верхний этаж, очутились в просторной зале, убранной по-старинному. Несколько картин, представлявших мифологические предметы, развешаны были на стенах, мебе-

ли обтянуты шелковой тканью, а пол составлен из разноцветного мрамора. Мы прошли пять или шесть подобных покоев; в одном из них мы увидели маленькую лестницу и спустились по ней в большую комнату с старинной кроватью под золоченым балдахином. На столе, возле кровати, была гитара, на полу лежали дребезги от каменной доски. Я поднял один из этих обломков и увидел на нем странные, непонятные знаки.

– Это должна быть спальня старого дон Пьетро, – сказал Антонио, приблизив свечу к стене. – Вот та фигура, о которой тебе говорил аббат!

В самом деле, между дверью, ведущей на узкую лестницу, и кроватью виден был фреск, представляющий женщину необыкновенной красоты, играющую на гитаре.

– Как она похожа на Пенину, – сказал Владимир, – я бы это принял за ее портрет!

– Да, – отвечал Антонио, – черты лица довольно схожи, но у Пенины совсем другое выражение. У этой в глазах что-то такое зверское, несмотря на ее красоту. Заметь, как она косится на пустую кровать; знаешь ли что,

мне, при взгляде на нее, делается страшно!

Я ничего не говорил, но вполне разделял чувство Антонио.

Комната возле спальни была большая круглая зала с колоннами, а примыкавшие к ней с разных сторон покои были все прекрасно убраны и обтянуты гобелинами, почти как на даче у Сугробиной, только еще богаче. Везде отсвечивали большие зеркала, мраморные столы, золоченые карнизы и дорогие материи. Гобелины представляли сюжеты из мифологии и из Ариостова «Orlando». Здесь Парис сидел в недоумении, которой из трех богинь вручить золотое яблоко, а там Ангелика с Медором обнимались под тенистым деревом, не замечая грозного рыцаря, выглядывающего на них из-за кустов.

Пока мы осматривали старинные ткани, оживленные красноватым отблеском свечи, остальные части комнаты терялись в неопределенном мраке, и когда я нечаянно поднял голову, мне показалось, что фигуры на потолке шевелятся и что фантастические формы их отделяются от потолка и, сливаясь с темнотою, исчезают в глубине залы.

– Я думаю, мы теперь можем лечь спать, – сказал Владимир, – но чтобы уже все сделать по порядку, то вот мой совет: ляжем в трех разных комнатах и завтра поутру расскажем друг другу, что с нами случится в продолжение ночи.

Мы согласились. Мне, как предводителю экспедиции, дали спальню дон Пьетро; Владимир и Антонио расположились в двух отдаленных комнатах, и вскоре во всем доме воцарилась глубокая тишина.

Здесь г. Рыбаренко остановился и, обращаясь к Руневскому, сказал:

– Я вас, может быть, утомляю, любезный друг, теперь уже поздно, не хочется ли вам спать?

– Нисколько, – отвечал Руневский, – вы меня обяжете, если будете продолжать.

Рыбаренко немного помолчал и продолжал следующим образом:

– Оставшись один, я разделся, осмотрел свои пистолеты, лег в старинную кровать, под богатый балдахин, накрыл себя штофным одеялом и готовился потушить свечу, как дверь медленно отворилась и вошел Влади-

мир. Он поставил свечу свою на маленький комод возле кровати и, подошедши ко мне, сказал:

– Я целый день не нашел случая поговорить с тобой о наших делах. Антонио уже спит; мы можем немного поболтать, и я опять уйду дожидаться приключений. Я тебе еще не сказывал, что получил письмо от матушки. Она пишет, что обстоятельства ее непременно требуют моего присутствия. Поэтому я не думаю, что проведу с тобою зиму во Флоренции.

Известие это меня крайне огорчило. Владимир тоже казался невесел. Он сел ко мне на постель, прочитал мне письмо, и мы долго разговаривали о его семейных делах и наших взаимных намерениях. Пока он говорил, меня несколько раз в нем поражало что-то странное, но я не мог дать себе отчета, в чем именно оно состояло. Наконец он встал и сказал мне растроганным голосом:

– Меня мучит какое-то предчувствие; кто знает, увидимся ли мы завтра? Обними меня, мой друг... может быть, в последний раз!

– Что с тобой! – сказал я, засмеявшись, – с

которых пор ты веришь предчувствиям?

– Обними меня! – продолжал Владимир, необыкновенным образом возвыся голос. Черты лица его переменились, глаза налились кровью и горели, как уголья. Он простер ко мне руки и хотел меня обнять.

– Поди, поди, Владимир, – сказал я, скрывая свое удивление, – дай бог тебе уснуть и забыть свои предчувствия!

Он что-то проворчал сквозь зубы и вышел. Мне показалось, что он странным образом смеется; но я не был уверен, его ли я слышу голос или чужой.

Между тем глаза мои мало-помалу сомкнулись, и я заснул. Не знаю, что я увидел во сне, но, вероятно, это было что-нибудь страшное, ибо я вскоре с испугом проснулся и начал протирать глаза. В ушах моих раздавались аккорды гитары, и я сначала думал, что звуки эти не что иное, как продолжение моего сновидения; но кто опишет мой ужас, когда между моею кроватью и стеною я увидел женщину-фреск, вперившую в меня какой-то страшный, нечеловеческий взгляд. В одной руке держала она гитару, другою трогала струны.

Ужас мною овладел, я схватил со стола пистолет и только что хотел в нее выстрелить, как она уронила гитару и упала на колени. Я узнал Пенину.

– Пощадите меня, синьор, – кричала бедная девушка, – я ничего не хотела у вас украсть; будьте милосерды, не убивайте меня!

Мне очень было стыдно, что я в глазах ее обнаружил свой страх, и я всячески старался ее успокоить, спросив ее, однако, зачем она ко мне пришла и чего от меня хочет?

– Ах, – отвечала Пенина, – после того как я догнала синьора Антонио и с ним говорила, я тихонько пошла за вами и видела, что вы влезли в окно. Но я знала другой вход, ибо этот дом служит иногда убежищем брату моему Титта, об котором вы, верно, слышали. Я из любопытства вошла за вами и когда хотела воротиться, то увидела, что в торопливости захлопнула за собою потаенную дверь и что мне невозможно выйти. Я пришла к вам в комнату и, не смея вас разбудить, стала играть на гитаре, чтобы вы проснулись. Ах, не сердитесь на меня; любовь к моему брату за-

ставила меня вас беспокоить. Я знаю, что вы друг синьора Антонио, так спасите, если можете, моего брата! Я вам клянусь всем, что дорого моему сердцу, он давно хочет сделаться честным человеком; но если его будут преследовать, как дикого зверя, он поневоле останется разбойником, убийствами отяготит свою душу и погубит себя навсегда! О, достаньте ему прощение, умоляю вас, на коленях умоляю вас, сжальтесь над его раскаяньем, сжальтесь над его бедною сестрою!

И, говоря это, она обнимала мои колена, и крупные слезы катились по ее щекам. Огненного цвета лента, опоясывавшая ее голову, развязалась, и волосы, извиваясь как змеи, упали на ее плечи. Она так была прекрасна, что в эту минуту я забыл о своем страхе, о вилле Urgina и об ее преданиях. Я вскочил с кровати, и уста наши соединились в долгий поцелуй. Знакомый голос в ближней зале нас пробудил.

– С кем ты там, Пенина? – сказал кто-то, отворяя дверь.

– Ах, это мой брат! – вскричала девушка и, вырвавшись из моих объятий, убежала

прочь.

В комнату вошел человек в плаще и в шляпе с черным пером. Увидя меня, он остановился, и каково было мое удивление, когда, взглядевшись в черты его лица, я в нем узнал моего аббата!

– А, это вы, *signor Russo*! [35] – сказал он, затыкая за пояс большой пистолет, которым готовился меня приветствовать. – Добро пожаловать! Не удивляйтесь перемене моего одеяния. Вы меня видели аббатом, в другой раз вы меня увидите ветурином или трубочистом. Увы, я до тех пор должен скрываться, пока не получу прощения от правительства!

Сказав это, Титта Каннелли глубоко вздохнул; потом, приняв веселый вид, подошел ко мне и ударил меня по плечу.

– Я вас нарочно, – сказал он, – зазвал в виллу друга моего дон Пьетро для небольшого дельца. Я нуждаюсь в деньгах, а у меня здесь спрятано множество дорогих вещей, между прочим целый ящик колец, ожерелий, серег и браслет. За всё я с вас возьму только семьдесят семь наполеонов. – Он нагнулся под мою кровать, вытащил оттуда большой ящик, и я

увидел кучу золотых уборов, один прекраснее другого. Несколько фермуаров были украшены самыми редкими камнями, и все работано с таким вкусом, как я никогда еще не видел. Цена, которую он требовал, мне показалась очень необыкновенною, и хотя она очевидно доказывала, что эти вещи достались ему даром, но теперь было не время входить в разбирательство; к тому ж Пенинин брат, стоя между моим оружием и мною, так красноречиво играл своим пистолетом, что я почел за нужное тотчас согласиться и, раскрыв свой кошелек, нашел в нем ровно семьдесят семь наполеонов, которые отдал разбойнику.

– Благодарю вас, – сказал он, – вы сделали доброе дело! Теперь мне только остается предупредить вас, что, если вы вздумаете открыть полиции, откуда вы получили эти вещи, я вам непременно размозжу голову. Желаю вам покойной ночи.

Он мне дружески пожал руку и исчез так скоро, что я не мог видеть, куда он скрылся. Я только слышал, как в стене повернулись потаенные петли, и потом все погрузилось в

молчание. Взоры мои нечаянно упали на изображение на стене, и я невольно вздрогнул. Мне опять показалось, что это была не Пенина, а нарисованная женщина, которая несколько минут тому назад выступила из стены и которую я целовал. Я стал сожалеть, что в то время не догадался посмотреть на стену, чтобы увидеть, там ли она или нет. Но я превозмог свою боязнь и принялся шарить в ящике. Между разными цепочками, флакончиками и прочими вещами нашел я одну склянку *рококо*, величиною с большое яблоко и оправленную в золото с необыкновенным вкусом. Работа была так нежна, что я, боясь, чтобы склянка не исцарапалась в ящике, тщательно завернул ее в платок и поставил подле себя на стол. Потом, закрыв ящик, я опять лег и вскоре заснул. Во сне я всю ночь видел Пенину и женщину-фреску, и часто, среди самых приятных картин моего воображения, я вскакивал в страхе и опять засыпал. Меня также беспокоило какое-то болезненное чувство в шее. Я думал, что простудился на сквозном ветру. Когда я проснулся, солнце уже было высоко, и я, наскоро одевшись, спе-

шил отыскать своих товарищей.

Антонио лежал в бреду. Он, как сумасшедший, махал руками и беспрестанно кричал:

– Оставьте меня! Разве я виноват, что Венера прекраснейшая из богинь? Парис человек со вкусом, и я его непременно сделаю совестным судьей в Пекине, как скоро въеду в свое Китайское государство на крылатом грифоне!

Я употреблял все силы, чтобы привести его в себя, как вдруг дверь отворилась, и Владимир, бледный, расстроенный, вбежал в комнату.

– Как, – вскричал он радостно, увидев Антонио, – он жив? я его не убил? Покажи, покажи, куда я его ранил?

Он бросился осматривать Антонио; но раны нигде не было видно.

– Вот видишь, – сказал Антонио, – я тебе говорил, что бог Пан так же искусно играет на свирели, как и стреляет из пистолета.

Владимир не переставал щупать Антонио и наконец, удостоверившись, что он жив и не ранен, вскричал с восторгом:

– Слава богу, я его не убил, это был только дурной сон!

– Друзья мои, – говорил я, – ради бога, объяснитесь, я ничего не могу понять!

Наконец мне и Владимиру удалось привести Антонио в память; но он так был слаб, что я ничего не хотел у него спрашивать, а попросил Владимира, чтобы он нам рассказал, что с ним случилось ночью.

– Вошедши в свою комнату, – сказал Владимир, – я воткнул свечу в один из ветвистых подсвечников, которые, как огромные пауки, держались на золотой раме зеркала, и тщательно осмотрел свои пистолеты. Мне удалось отворить заколоченную ставню, и с неизъяснимым удовольствием я стал дышать чистым воздухом ночи. Все вокруг меня было тихо. Луна была уже высоко, а воздух так прозрачен, что я мог различать все изгибы самых отдаленных гор, между которыми башня замка Baralello величественно подымала голову. Я погрузился в размышления и уже около полудня смотрел на озеро и на горы, как легкий шорох за моими плечами заставил меня оглянуться. Свеча очень нагорела, и я сначала ничего не мог различить, но, взглядевшись хорошенько в темноту, я увидел в дверях боль-

шую белую фигуру.

«Кто там?» – закричал я. Фигура испустила жалобный вопль и, как будто на невидимых колесах, приблизилась ко мне. Я никогда не видал лица страшнее этого. Привидение подняло обе руки, как бы желая завернуть меня в свое покрывало. Я не знаю, что я почувствовал в эту минуту, но в руке моей был пистолет, раздался выстрел, и призрак упал на землю, закричав: «Владимир! что ты делаешь? я Антонио!» Я бросился его поднимать, но пуля пролетела ему сквозь грудь, кровь била фонтаном из раны, он хрипел, как умирающий.

«Владимир, – сказал он слабым голосом, – я хотел испытать твою храбрость, ты меня убил; прости мне, как я тебе прощаю!»

Я начал кричать, ты прибежал на мой крик; мы оба перенесли Антонио в его комнату.

– Что ты говоришь? – прервал я Владимира, – я всю ночь не выходил из спальни. После того как ты мне прочитал письмо твоей матери и от меня ушел, я остался в постели и ничего не знаю про Антонио. К тому ж ты видишь, что он жив и здоров, стало быть, ты все

это видел во сне!

– Ты сам говоришь во сне! – отвечал с досадою Владимир, – никогда я к тебе не приходил и не читал тебе никакого письма от матушки!

Тут Антонио встал со стула и к нам подошел.

– О чем вы спорите? – сказал он. – Вы видите, что я жив. Клянусь честью, что я никогда и не думал страшить Владимира.

Впрочем, мне и не до того было. Когда я остался один, я, так же как Владимир, сначала осмотрел свои пистолеты. Потом я лег на диван, и глаза мои невольно устремились на расписанный потолок и высокие карнизы, украшенные золотыми арабесками. Звери и птицы странным образом сплетались с цветами, фруктами и разного рода узорами. Мне показалось, что узоры эти шевелятся, и, чтобы не дать воли своему воображению, я встал и начал прохаживаться по зале. Вдруг что-то сорвалось с карниза и упало на пол. Хотя в зале так было темно, что я ничего не увидел, но я рассудил по звуку, что упавшее тело было мягкое, ибо оно совсем не произвело стуку, а

только глухой шум. Через несколько времени я услышал за собою шаги, как будто животного. Я оглянулся и увидел золотого грифона величиною с годовалого теленка. Он смотрел на меня умными глазами и поворачивал своим орлиным носом. Крылья его были подняты, и концы их свернуты в кольца. Вид его меня удивил, но не испугал. Однако, чтобы от него избавиться, я на него закричал и притопнул ногою. Грифон поднял одну лапу, опустил голову и, пошевелив ушами, сказал мне человеческим голосом: «Напрасно вы беспокоитесь, синьор Антонио; я вам не сделаю никакого вреда. Меня нарочно прислал за вами хозяин, чтобы я вас отвез в Грецию. Наши богини опять поспорили за яблоко. Юнона уверяет, что Парис только потому отдал его Венере, что она обещала ему Елену. Минерва тоже говорит, что Парис покривил душой, и обе они обратились с жалобою к старику; а старик им сказал: пусть вас рассудит синьор Антонио. Теперь, если вам угодно, садитесь на меня верхом, я вас мигом привезу в Грецию».

Мысль эта мне так показалась забавна, что я уже подымал ногу, чтобы сесть на грифона,

но он меня остановил. «Каждая земля, – сказал он, – имеет свои обычаи. Все над вами будут смеяться, если вы приедете в Грецию в сюртуке». – «А как же мне ехать?» – спросил я. «Не иначе, как в национальном костюме: разденьтесь донага и обдрапируйтесь плащом. Все боги и даже богини точно так одеты». Я послушался грифона и сел к нему на спину. Он пустился бежать рысью, и мы долго ехали по разным коридорам, через длинные ряды комнат, спускались и подымались по лестницам и наконец прибыли в огромную залу, освещенную розовым светом. Потолок залы был расписан и представлял небо с летающими птицами и купидонами, а в конце ее возвышался золотой трон, и на нем сидел Юпитер. «Это наш хозяин, дон Пьетро д'Урджина!» – сказал мне грифон.

У ног трона протекала прозрачная река, и в ней купалось множество нимф и наяд, одна прекраснее другой. Реку эту, как я узнал после, называли Ладонем. На берегу ее росло очень много тростнику, у которого сидел аббат и играл на свирели. «Это кто такой?» – спросил я у грифона. «Это бог Пан», – отвечал

он. «Зачем же он в сюртуке?» – спросил я опять. «Затем, что он принадлежит к духовному сословию, и ему бы неприлично было ходить голым». – «Но как же он может сидеть на берегу реки, в которой купаются нимфы?» – «Это для того, чтобы умерщвлять свою плоть; вы видите, что он от них отворачивается». – «А для чего у него за поясом пистолеты?» – «Ох, – отвечал с досадою грифон, – вы слишком любопытны; почему я это знаю!»

Мне показалось странным видеть в комнате реку, и я заглянул за китайские ширмы, из-за которых она вытекала. За ширмами сидел старик в напудренном парике и, по-видимому, дремал. Подошед к нему на цыпочках, я увидел, что река бежала из урны, на которую он опирался. Я начал его рассматривать с большим любопытством; но грифон подбежал ко мне, дернул меня за плащ и сказал мне на ухо: «Что ты делаешь, безрассудный? Ты разбудишь Ладона, и тогда непременно сделается наводнение. Ступай прочь, или мы все погибнем!» Я отошел. Мало-помалу зала наполнилась народом. Нимфы, дриады, орeadы прогуливались между фавнами, сатира-

ми и пастухами. Наяды вышли из воды и, накинув на себя легкие покрывала, стали также с ними прохаживаться. Боги не ходили, а чинно сидели с богинями возле Юпитерова трона и смотрели на гуляющих. Между последними заметил я одного человека в домино и в маске, который ни на кого не обращал внимания, но которому все давали место. «Это кто?» – спросил я у грифона. Грифон очевидно смешался. «Это так, кто-нибудь! – отвечал он, поправляя носом свои перья, – не обращайтесь на него внимания!» Но в эту минуту к нам подлетел красивый попугай и, сев ко мне на плечо, проговорил гнусливым голосом: «Дуррак, дуррак! ты не знаешь, кто этот человек? Это наш настоящий хозяин, и мы его почитаем более, нежели дон Пьетро!» Грифон с сердцем посмотрел на попугая и значительно мигнул ему одним глазом, но тот уже слетел с моего плеча и исчез в потолке между купидонами и облаками.

Вскоре в собрании сделалась суматоха. Толпа расступилась, и я увидел молодого человека в фригийской шапке, с связанными руками, которого вели две нимфы. «Парис! –

сказал ему Юпитер или дон Пьетро д'Урджина (как называл его грифон), – Парис! говорят, что ты золотое яблоко несправедливо присудил Венере. Смотри, ведь я шутить не люблю. Ты у меня как раз полетишь вверх ногами!» – «О могущий громовержец! – отвечал Парис, – клянусь Стиксом, я судил по чистой совести. Впрочем, вот синьор Антонио; он, я знаю, человек со вкусом. Вели ему произвести следствие, и если он не точно так решит, как я, то я согласен полететь вверх ногами!» – «Хорошо! – сказал Юпитер, – быть по-твоему!»

Тут меня посадили под лавровое дерево и дали мне в руки золотое яблоко. Когда ко мне подошли три богини, свирель аббата зазвучала сладостнее прежнего, тростник реки Ладона тихонько закачался, множество блестящих птичек вылетели из его середины, и песни их были так жалобны, так приятны и странны, что я не знал, плакать ли мне или смеяться от удовольствия. Между тем старик за ширмами, вероятно пробужденный песнями птичек и гармоническим шумом тростника, начал кашлять и произнес слабым голосом и как будто впросонках: «О Сиринга! о дочь моя!»

Я совсем забылся, но грифон очень больно ущипнул меня за руку и сердито сказал мне: «Скорей за дело, синьор Антонио! Богини вас ждут; решайте, пока старик не проснулся!» Я превозмог сладостное волнение, увлекшее меня далеко от виллы Urgina в неведомый мир цветов и звуков, и, собравшись с мыслями, устремил глаза на трех богинь. Они сбросили с себя покрывала. О мои друзья! как вам описать, что я тогда почувствовал! Какими словами дать вам понятие об остром летучем огне, который в одно мгновение пробежал по всем моим жилам! Все мои чувства смутились, все понятия перемешались, я забыл о вас, о родных, о самом себе, обо всей своей прошедшей жизни; я был уверен, что я сам Парис и что мне предоставлено великое решение, от которого пала Троя. В Юноне я узнал Пенину, но она была сто раз прекраснее, нежели когда она вышла ко мне на помощь из виллы Remondi. Она держала в руках гитару и тихонько трогала струны. Она так была обворожительна, что я уже протягивал руку, чтобы вручить ей яблоко, но, бросив взгляд на Венеру, внезапно переменил наме-

рение. Венера, сложив небрежно руки и приклонив голову к плечу, смотрела на меня с упреком. Взоры наши встретились, она покраснела и хотела отвернуться, но в этом движении столько было прелести, что я, не колеблясь, подал ей яблоко.

Парис восторжествовал; но человек в domino и в маске подошел к Венере и, вынув из-под полы большой бич, начал немилосердно ее хлыстать, приговаривая при каждом ударе: «Вот тебе, вот тебе; вперед знай свою очередь и не кокетничай, когда тебя не спрашивают; сегодня не твой день, а Юнонин; не могла ты подождать? вот же тебе за то, вот тебе, вот тебе!» Венера плакала и рыдала, но незнакомец не переставал ее бить и, обратившись к Юпитеру, сказал: «Когда я с ней расправлюсь, то и до тебя дойдет очередь, проклятый старикашка!» Тогда Юпитер и все боги соскочили с своих мест и бросились незнакомцу в ноги, жалобно вопия: «Умилосердись, наш повелитель! В другой раз мы будем исправнее!» Между тем Юнона или Пенина (я до сих пор не знаю, кто она была) подошла ко мне и сказала мне с очаровательной улыбкой: «Не ду-

май, мой милый друг, чтобы я была на тебя сердита за то, что ты не мне присудил яблоко. Верно, так было написано в неисповедимой книге судьбы! Но чтобы ты видел, сколь я уважаю твое беспристрастие, позволь мне дать тебе поцелуй». Она обняла меня прелестными руками и жадно прижала свои розовые губы к моей шее. В ту же минуту я почувствовал в ней сильную боль, которая, однако, тотчас прошла. Пенина так ко мне ласкалась, так нежно меня обнимала, что я бы вторично забылся, если бы крики Венеры не отвлекли от нее моего внимания. Человек в домино, запус- тив руку в ее волосы, продолжал ее сечь самым бесчеловечным образом. Жестокость его меня взорвала. «Скоро ли ты перестанешь!» – закричал я в негодовании и бросился на него. Но из-под черной маски сверкнули на меня невыразимым блеском маленькие белые глаза, и взгляд этот меня пронзил как электриче- ский удар. В одну секунду все боги, богини и нимфы исчезли.

Я очутился в Китайской комнате, возле круглой залы. Меня окружила толпа фарфоро- вых кукол, фаянсовых мандаринов и глиня-

ных китаек, которые с криком: «Да здравствует наш император, великий Антонио-Фу-Цинг-Танг!» – бросились меня щекотать. Напрасно я старался от них отделаться. Маленькие их ручонки влезали мне в нос и в уши, я хохотал как сумасшедший. Не знаю, как я от них избавился, но когда я очнулся, то вы оба, друзья мои, стояли подле меня. Стократ вас благодарю за то, что вы меня спасли!

И Антонио начал нас обнимать и целовать, как ребенок. Когда прошел его восторг, то я, обратившись к нему и к Владимиру, сказал им очень серьезно:

– Я вижу, друзья мои, что вы оба бредили нынешнюю ночь. Что касается до меня, то я удостоверился, что все чудесные слухи про этот palazzo не что иное, как выдумка контрабандиста Титта Каннелли. Я сам его видел и с ним говорил. Пойдем со мною, я вам покажу, что я у него купил.

С сими словами я пошел в свою спальню, Антонио и Владимир за мною последовали. Я открыл ящик, всунул в него руку и вытащил человеческие кости! Я их с ужасом отбросил и побежал к столу, на который накануне по-

ставил склянку *рококо*. Развернув платок, я остолбенел. В нем был череп ребенка. Пустой кошелек мой лежал подле него.

– Это ты купил у твоего контрабандиста? – спросили меня в один голос Антонио и Владимир.

Я не знал, что отвечать. Владимир подошел к окну и воскликнул с удивлением:

– Ах, боже мой! где же озеро?

Я также подошел к окну. Передо мной была *piazza Volta*, и я увидел, что смотрю из окна *чертова дома*.

– Как мы сюда попали? – спросил я, обращаясь к Антонио.

Но Антонио не мог мне отвечать. Он был чрезвычайно бледен, силы его покинули, и он опустился в кресла. Тогда я только заметил, что у него на шее маленькая синяя ранка, как будто от пиявки, но немного более. Я тоже чувствовал слабость и, подошед к зеркалу, увидел у себя на шее такую же ранку, как у Антонио. Владимир ничего не чувствовал, и ранки у него не было. На вопросы мои Владимир признался, что когда он выстрелил в белый призрак и потом узнал своего друга, то

Антонио умолял его, чтобы он с ним в последний раз поцеловался; но Владимир никак не мог на это решиться, потому что его пугало что-то такое во взгляде Антонио.

Мы еще рассуждали о наших приключениях, как кто-то сильно стал стучаться в ворота. Мы увидели полицейского офицера с шестью солдатами.

– Господа! – кричал он снаружи, – отворите ворота; вы арестованы от имени правительства!

Но ворота были так крепко заколочены, что их принуждены были сломать. Когда офицер вошел в комнату, мы его спросили, за что мы арестованы?

– За то, – отвечал он, – что вы издеваетесь над покойниками и нынешнюю ночь перетаскали все кости из Комской часовни. Один аббат, проходивши мимо, видел, как вы ломали решетку, и сегодня утром на вас донес.

Мы тщетно протестовали, офицер непременно хотел, чтобы мы шли за ним. К счастью, я увидел комского подесту (известного археолога R...i), с которым был знаком, и призвал его на помощь. Узнав меня и Антонио,

он очень перед нами извинялся и велел привести аббата, сделавшего на нас донос; но его нигде не могли отыскать. Когда я рассказал подесте, что с нами случилось, он нисколько не удивился, но пригласил меня в городской архив. Антонио был так слаб, что не мог за нами следовать, а Владимир остался, чтобы проводить его домой. Когда мы вошли в архив, подеста раскрыл большой *in folio* [36] и прочитал следующее:

«Сего 1679 года сентября 20-го дня казнен публично на городской площади разбойник Giorambatista Cannelli, около двадцати лет с шайкою своею наполнявший ужасом окрестности Комо и Милана. Родом он из Комо, лет ему по собственному показанию 50. Пришед на место казни, он не хотел приобщиться святых тайн и умер не как христианин, а как язычник».

Сверх того, подеста (человек во всех отношениях заслуживающий уважение и который скорее бы дал себе отрезать руку, нежели бы согласился сказать неправду) открыл мне, что *чертов дом* построен на том самом месте, где некогда находился языческий храм, по-

священный Гекате и ламиям. Многие пещеры и подземельные ходы этого храма, как гласит молва, и поныне сохранились. Они ведут глубоко в недра земли, и древние думали, что они имеют сообщение с тартаром. В народе ходит слух, что ламии, или эмпузы, которые, как вам известно, имели много сходства с нашими *упырями*, и поныне еще бродят около посвященного им места, принимая всевозможные виды, чтобы заманивать к себе неопытных людей и высасывать из них кровь. Странно еще то, что Владимир через несколько дней в самом деле получил письмо от своей матери, в котором она его просила возвратиться в Россию.

Рыбаренко замолчал и опять погрузился в размышления.

– Что ж, – спросил его Руневский, – и вы не делали никаких розысканий о вашем приключении?

– Делал, – отвечал Рыбаренко. – Сколько я ни уважал подесту, но истолкование его мне не казалось вероятным.

– И что ж вы узнали?

– Пенина ничего не понимала, когда ее

спрашивали о брате ее Титта. Она говорила, что у нее никогда не бывало брата. На наши вопросы она отвечала, что она действительно вышла из виллы Remondi на помощь к Антонио, но что никогда она нас не догоняла и не просила Антонио, чтобы он выхлопотал прощение ее брату. Никто также ничего не знал о прекрасном дворце дон Пьетро между виллою Remondi и виллою d'Este, и когда я нарочно пошел его отыскивать, я ничего не нашел. Происшествие это сделало на меня сильное впечатление. Я выехал из Комо, оставив Антонио больным. Через месяц я узнал в Риме, что он умер от изнеможения. Я сам так был слаб, как будто после сильной и продолжительной болезни; но наконец старания искусных врачей возвратили мне, хотя не совсем, потерянное здоровье.

Прожив еще год в Италии, я возвратился в Россию и вступил в круг своих прежних занятий. Я работал с усердием, и труды мои меня развлекали; но каждое воспоминание о пребывании моем в Комо приводило меня в содрогание. Поверите ли вы мне, что я теперь часто не знаю, куда мне деваться от этого вос-

поминания! Оно повсюду меня преследует, как червь подтачивает мой рассудок, и бывают минуты, что я готов лишиться себя жизни, чтобы только избавиться от его присутствия! Я бы ни за что не решился об этом говорить, если бы не думал, что рассказ мой вам послужит предостережением. Вы видите, что похождения мои несколько похожи на то, что с вами случилось на даче у старой бригадирши. Ради бога, берегитесь, любезный друг, а особенно не вздумайте шутить над вашим приключением.

Пока Рыбаренко говорил, заря уже начала освещать горизонт.

Сотни башен, колоколен и позолоченных глав заиграли солнечными лучами. Свежий ветер повеял от востока, и громкий, полновзвучный удар в колокол раздался на Иване Великом. Ему отвечали, один после другого, все колокола соборов кремлевских, потом всех московских церквей. Пространство наполнилось звуком, который, как будто на незримых волнах, колебался, разливаясь по воздуху. Москва превратилась в необъятную гармонику.

В это время странное чувство происходило в груди Руневского. С благоговением внимал он священному звону колоколов, с любовью смотрел на блестящий мир, красующийся перед ним. Он видел в нем образ будущего счастья, и чем более увлекался этою мыслью, тем более страшные видения, вызванные из мрака рассказами Рыбаренки, бледнели и исчезали.

Рыбаренко также был погружен в размышления, но глубокая грусть омрачала его лицо. Он был смертельно бледен и не сводил глаз с Ивана Великого, как будто бы желал измерить его высоту.

– Пойдем, – сказал он наконец Руневскому, – вам нужно отдохнуть!

Они оба встали со скамьи, и Руневский, простившись с Рыбаренкой, отправился домой.

Когда он вошел в дом Дашиной тетушки, Федосьи Акимовны Зориной, то и она и дочь ее, Софья Карповна, приняли его с большою приветливостию. Но обхождение матери тотчас с ним переменилось, как скоро он объявил, зачем к ней приехал.

– Как, – вскричала она, – что это значит? а Софья-то? Разве вы для того так долго ездили в мой дом, чтобы над нею смеяться? Позвольте вам сказать: после ваших посещений, после всех слухов, которыми наполнен город о вашей женитьбе, поведение это мне кажется чрезвычайно странным! Как, милостивый государь? обнадежив мою дочь, когда уже все ее считают невестой, вы вдруг сватаетесь к другой и просите ее руки – у кого же? у меня, у матери Софьи!

Слова эти как гром поразили Руневского. Он только теперь догадался, что Зорина давно уже на него метила как на жениха для своей дочери, а вовсе не для племянницы, и в то же время понял ее тактику. Пока еще она питала надежду, все ее действия были рассчитаны, чтобы удержать Руневского в кругу ее общества, она старалась отгадывать и предупреждать все его желания; но теперь, при неожиданном требовании, она решилась прибегнуть к последнему средству и чрез трагическую сцену надеялась вынудить у него обещание. К несчастью своему, она ошиблась в расчете, ибо Руневский весьма почтительно и

холодно отвечал ей, что он никогда и не думал жениться на Софье Карповне, что он приехал просить руки Даши и надеется, что она не имеет причин ему отказать. Тогда Дашина тетушка позвала свою дочь и, задыхаясь от злости, рассказала ей, в чем дело. Софья Карповна не упала в обморок, но залилась слезами, и с ней сделалась истерика.

– Боже мой, боже мой, – кричала она, – что я ему сделала? За что хочет он убить меня? Нет, я не снесу этого удара, лучше тысячу раз умереть! Я не могу, я не хочу теперь жить на свете!

– Вот в какое положение вы привели бедную Софью, – сказала ему Зорина. – Но это не может так остаться!

Софья Карповна так искусно играла свою роль, что Руневскому стало ее жалко.

Он хотел отвечать, но ни матери, ни Софьи Карповны уже не было в комнате. Подождав несколько времени, он отправился домой с твердым намерением не прежде возвратиться на дачу к бригадирше, как попытавшись еще раз получить от Дашиной тетушки удовлетворительный ответ.

Он сидел у себя задумавшись, когда ему пришли доложить, что ротмистр Зорин желает с ним говорить. Он приказал просить и увидел молодого человека, коего открытое и благородное лицо предупреждало в его пользу. Зорин был родной брат Софьи Карповны; но так как он только что приехал из Тифлиса, то Руневский никогда его не видал и не имел о нем никакого понятия.

– Я пришел с вами говорить о деле, касающемся до нас обоих, – сказал Зорин, учтиво поклонившись.

– Прошу садиться, – сказал Руневский.

– Два месяца тому назад вы познакомились с моею сестрой, начали ездить в дом к матушке, и скоро распространились слухи, что вы просите руки Софьи.

– Не знаю, распространились ли эти слухи, – прервал его Руневский, – но могу вас уверить, что не я был тому причиной.

– Сестра была уверена в вашей любви, и с самого начала обхождение ваше с нею оправдывало ее предположения. Вам удалось внушить ей участие, и она вас полюбила. Вы даже с нею объяснились...

– Никогда! – воскликнул Руневский.

Глаза молодого Зорина засверкали от негодования.

– Послушайте, милостивый государь, – вскричал он, выходя из пределов холодной учтивости, в которых сначала хотел остаться, – вам, верно, неизвестно, что когда я еще был на Кавказе, то Софья мне о вас писала; от нее я знаю, что вы обещали просить ее руки, и вот ее письма!

– Если Софья Карповна в них это говорит, – отвечал Руневский, не дотрогиваясь до писем, которые Зорин бросил на стол, – то я сожалею, что должен опровергнуть ее слова. Я повторяю вам, что не только никогда не хотел просить ее руки, но и не давал ей малейшего повода думать, что я ее люблю!

– Итак, вы не намерены на ней жениться?

– Нет. И доказательством тому, что я нарочно приехал в Москву просить у вашей матушки руки ее племянницы.

– Довольно. Я надеюсь, что вы не откажете мне в удовлетворении за оскорбление, которое нанесли моему семейству.

– Я всегда к вашим услугам, но прежде про-

пу вас обдумать ваш поступок. Может быть, при хладнокровном размышлении, вы убедитесь, что я никогда и не помышлял наносить оскорблений вашему семейству.

Молодой ротмистр бросил гордый взгляд на Руневского.

– Завтра в пять часов я вас ожидаю на Владимирской дороге, на двадцатой версте от Москвы, – сказал он сухо.

Руневский поклонился в знак согласия. Оставшись один, он начал заниматься приготовлениями к следующему утру. У него мало было знакомых в Москве; к тому ж почти все были на дачах; так, не удивительно, что выбор его пал на Рыбаренку.

На другой день, в три часа утра, он и Рыбаренко уже ехали по Владимирской дороге и на условленном месте нашли Зорина с его секундantom.

Рыбаренко подошел к Зорину и взял его за руку.

– Владимир, – сказал он, сжав ее крепко, – ты не прав в этом деле: помирись с Руневским!

Зорин отвернулся.

– Владимир, – продолжал Рыбаренко, – не шути с судьбою, вспомни виллу Урджина!

– Полно, братец, – сказал Владимир, освобождая свою руку из рук Рыбаренки, – теперь не время говорить о пустяках!

Они углубились в кустарник.

Секундант Зорина был маленький офицер с длинными черными усами, которые он крутил непрерывно. С самого начала лицо его показалось Руневскому знакомым; но когда, размеряя шаги для барьера, маленький офицер начал особенным родом подпрыгивать, Руневский тотчас узнал в нем Фрышкина, того самого, над которым Софья Карповна так смеялась на бале, где Руневский с ней познакомился.

– Друзья мои, – сказал Рыбаренко, обращаясь к Владимиру и к Руневскому, – помиритесь, пока еще можно; я чувствую, что один из вас не воротится домой!

Но Фрышкин, приняв сердитый вид, подскочил к Рыбаренке.

– Позвольте объяснить, – сказал он, уставив на него большие красные глаза, – здесь оскорбление нестерпимое-с... примирение

невозможно-с... здесь обижено почтенное семейство-с, весьма почтенное-с... я до примирения не допущу-с... а если бы приятель мой Зорин и согласился, то я сам, Егор Фрышкин, буду стреляться вместо его-с!

Оба противника уже стояли один против другого. Вокруг их царствовала страшная тишина, прерванная на одну секунду щелканьем курков.

Фрышкин не переставал горячиться; он был красен как рак.

– Да, – кричал он, – я сам хочу стреляться с господином Руневским-с! Если приятель мой Зорин его не убьет, так я его убью-с!

Выстрел прервал его речь, и от головы Владимира отлетел клочок черных кудрей. Почти в ту же минуту раздался другой выстрел, и Руневский грянулся на землю с окровавленной грудью. Владимир и Рыбаренко бросились его поднимать и перевязали его рану. Пуля пробила ему грудь; он был лишен чувств.

– Это твое видение в вилле Урджина! – сказал Рыбаренко на ухо Владимиру. – Ты убил друга.

Руневского перенесли в коляску, и так как

дом бригадирши был самый ближний и хозяйка всем известна как добрая и человеколюбивая старушка, то его отвезли к ней, несмотря на сопротивление Рыбаренки.

Долго Руневский пролежал без памяти. Когда он начал приходить в себя, первое, что ему бросилось в глаза, был портрет Прасковьи Андреевны, висящий над диваном, на котором он лежал. В нише стояла старинная кровать с балдахином, а посреди стены виден был огромный камин.

Руневский узнал свою прежнюю квартиру, но он никак не мог понять, каким образом в нее попал и отчего он так слаб. Он захотел встать, но сильная боль в груди удержала его на диване, и он стал вспоминать свои похождения до поединка. Он также вспомнил, как дрался с Зориным, но не знал, когда это было и сколько времени продолжался его обморок. Пока он размышлял о своем положении, вошел незнакомый доктор, осмотрел его рану и, пощупав пульс, объявил, что у него лихорадка. Ночью несколько раз приходил Яков и давал ему лекарство.

Таким образом прошло несколько дней, в

продолжение коих он никого не видал, кроме доктора и Якова. С этим последним он иногда разговаривал о Дарье Александровне; но он мог от него только узнать, что Даша еще находилась у своей бабушки и что она совершенно здорова. Доктор, посещая Руневского, говорил, что ему нужно как можно более спокойствия, и на вопрос его, скоро ли ему можно будет встать, отвечал, что он еще должен пролежать, по крайней мере, неделю. Все это еще более усилило беспокойство и нетерпение Руневского, и лихорадка его, вместо того чтобы уменьшиться, значительно увеличилась.

В одну ночь, когда сильный жар никак не давал ему заснуть, странный шум раздался близ него. Он стал прислушиваться, и ему показалось, что шум этот происходит в покоях, смежных с его комнатою. Вскоре он начал различать голоса бригадирши и Клеопатры Платоновны.

– Подождите хоть один день, Марфа Сергеевна, – говорила Клеопатра Платоновна, – подождите хоть до утра!

– Не могу, мать моя, – отвечала Сугроби-

на. – Да и ожидать-то к чему? Немного раньше, немного позже, а все тем же кончится. А ты, сударыня, уж всегда расхныкаешься, как девчонка какая. И в тот раз та же была история, как до Дашиной-то матери дело дошло. Какая бы я и бригадирша-то была, если б крови-то видеть не могла?

– Вы не хотите? – вскричала Клеопатра Платоновна, – вы не хотите один раз отказаться от...

– Рыцарь Амвросий! – закричала Сугроби-на.

Руневский не мог удержаться, чтобы при этих словах не привстать и не приложить глаза к ключевой дыре.

Среди комнаты стоял Семен Семенович Теляев, одетый с ног до головы в железные латы. Перед ним на полу лежал какой-то предмет, закрытый красным сукном.

– Чего тебе надобно, Марфа? – спросил он грубым голосом.

– Пора, мой батюшка! – прошептала старуха.

Тут Руневский заметил, что на бригадирше было платье яркого красного цвета, с вы-

шитою на груди большою черною летучею мышью. На латах Теляева изображен был филин, и на шлеме его торчали филиновы крылья.

Клеопатра Платоновна, коей черты обнаруживали ужасное внутреннее борение, подошла к стене и, сорвав с нее небольшую доску с странными, непонятными знаками, бросила ее на пол и разбила вдребезги.

Внезапно обои раздвинулись, и из потаенной двери вошел в комнату высокий человек в черном домино и в маске, при виде коего Руневский тотчас догадался, что это тот самый, которого видел Антонио в вилле дон Пьетро д'Урджина.

Сугробина и Теляев обмерли от страха, когда он вошел.

– Ты уже здесь? – сказала, дрожа, бригадирша.

– Пора! – отвечал незнакомец.

– Подожди хоть один день, подожди хоть до утра! Отец ты мой, кормилец, голубчик мой, благодетель!

Старуха упала на колени; лицо ее стало страшным образом кривляться.

– Не хочу ждать! – отвечал незнакомец.

– Еще хоть часочек! – простонала бригадирша. Она уже не говорила ни слова, но губы еще судорожно шевелились.

– Три минуты! – отвечал тот. – Воспользуйся ими, если можешь, старая ведьма!

Он подал знак Теляеву. Семен Семенович нагнулся, поднял с полу красное сукно, и Руневский увидел Дашу, лежащую без чувств, с связанными руками. Он громко вскрикнул и рванулся соскочить с дивана, но на него сверкнули маленькие белые глаза черного домино и пригвоздили его на месте. Он ничего более не видал; в ушах его страшно шумело; он не мог сделать ни одного движения. Вдруг холодная рука провела по его лицу, и оцепенение исчезло. За ним стояло привидение Прасковьи Андреевны и обмахивало себя опахалом.

– Хотите жениться на моем портрете? – сказала оно. – Я вам дам свое кольцо, и вы завтра его наденете моему портрету на палец. Не правда ли, вы это сделаете для меня?

Прасковья Андреевна обхватила его костяными руками, и он упал на подушки, лишен-

ный чувств.

Долго был болен Руневский, и почти все время он не переставал бредить. Иногда он приходил в себя, но тогда мрачное отчаянье блистало в его глазах. Он был уверен в смерти Даши; и хотя он ни в чем не был виноват, но проклинал себя за то, что не мог ее спасти. Лекарства, которые ему подносили, он с бешенством кидал далеко от себя, срывал перевязи с своей раны и часто приходил в такое иступление, что Яков боялся к нему подойти.

Однажды, страшный пароксизм только что миновался, природа взяла верх над отчаяньем, и он неприметно погружался в благодетельный сон, как ему показалось, что он слышит голос Даши. Он раскрыл глаза, но в комнате не было никого, и он вскоре заснул крепким сном. Во сне он был перенесен в виллу Урджина. Рыбаренко водил его по длинным залам и показывал ему места, где с ним случились те необыкновенные происшествия, которые он ему рассказывал. «Сойдем вниз по этой лестнице, – говорил Рыбаренко, – я вам покажу ту залу, куда Антонио ездил на грифоне». Они начали спускаться, но лестнице не

было конца. Между тем воздух становился все жарче и жарче, и Руневский заметил, что сквозь щели стен по обеим сторонам лестницы время от времени мелькал красный огонь. «Я хочу воротиться», – говорил Руневский; но Рыбаренко дал ему заметить, что, по мере того как они подвигались вперед, лестница за ними заваливалась огромными утесами. «Нам нельзя воротиться, – говорил он, – надо идти далее!» И они продолжали сходиться вниз. Наконец ступени кончились, и они очутились перед большою медною дверью. Толстый швейцар молча ее отворил, и несколько слуг в блестящих ливреях проводили их через переднюю; один лакей спросил, как об них доложить, и Руневский увидел, что у него из рта выходит огонь. Они вошли в ярко освещенную комнату, в которой толпа народа кружилась под шумную музыку. Далее стояли карточные столы, и за одним из них сидела бригадирша и облизывала свои кровавые губы; но Теляева не было с нею; вместо его напротив старухи сидело черное домино. «Ох! – вздыхала она, – скучно стало с этой чучелой! Когда-то к нам будет Семен Се-

менович!» – и длинная огненная струя выбежала из ее рта. Руневский хотел обратиться к Рыбаренке, но его уже не было; он находился один посреди незнакомых лиц. Вдруг из той комнаты, где танцевали, вышла Даша и подошла к нему. «Руневский, – сказала она, – зачем вы сюда пришли? Если *они* узнают, кто вы, то вам будет беда!» Руневскому сделалось страшно, он сам не знал отчего. «Следуйте за мной, – продолжала Даша, – я вас выведу отсюда, только не говорите ни слова, а то мы пропали». Он поспешно пошел за нею, но она вдруг воротилась. «Постойте, – сказала она, – я вам покажу наш оркестр!» Даша подвела его к одной двери и, отворив ее, сказала: «Посмотрите, вот наши музыканты!» Руневский увидел множество несчастных, скованных цепями и объятых огнем. Черные дьяволы с козлиными лицами хлопотливо раздували огонь и барабанили по их головам раскаленными молотками. Вопли, проклятия и стук цепей сливались в один ужасный гул, который Руневский сначала принял за музыку. Увидев его, несчастные жертвы протянули к нему длинные руки и завывали: «К нам! ступай

к нам!» – «Прочь, прочь!» – закричала Даша и повлекла Руневского за собою в темный узкий коридор, в конце которого горела только одна лампа. Он слышал, как в зале все заколыхалось. «Где он? где он? – блеяли голоса, – ловите его, ловите его!» – «За мной, за мной!» – кричала Даша, и он, запыхаясь, бежал за нею, а позади их множество копыт стучало по коридору. Она отворила боковую дверь и, втащив в нее Руневского, захлопнула за собою. «Теперь мы спасены!» – сказала Даша и обняла его холодными костяными руками. Руневский увидел, что это не Даша, а Прасковья Андреевна. Он громко закричал и проснулся.

Возле его постели стояли Даша и Владимир.

– Я рад, – сказал Владимир, пожав ему руку, – что вы проснулись; вас тяготил неприятный сон, но мы боялись вас разбудить, чтоб вы не испугались. Доктор говорит, что ваша рана не опасна, и никто ему за это так не благодарен, как я. Я бы никогда себе не простил, если б вы умерли. Простите же меня; я признаюсь, что погорячился!

– Любезный друг! – сказала Даша, улыбаясь, – не сердись на Владимира; он предобрый человек, только немножко вспыльчив. Ты его непременно полюбишь, когда с ним короче познакомишься!

Руневский не знал, верить ли ему своим глазам или нет. Но Даша стояла перед ним, он слышал ее голос, и в первый раз она ему говорила *ты*. С тех пор как он был болен, воображение столько раз его морочило, что понятия его совершенно смешались, и он не мог различить обмана от истины. Владимир заметил его недоверчивость и продолжал:

– С тех пор как вы лежите в постели, много произошло перемен. Сестра моя вышла замуж за Фрышкина и уехала в Симбирск; старая бригадирша... но я вам слишком много рассказываю; когда вам будет лучше, вы всё узнаете!

– Нет, нет, – сказала Даша, – ему никогда не будет лучше, если он останется в недоумении. Ему надобно знать все. Бабушка, – продолжала она, обратившись со вздохом к Руневскому, – уже два месяца, как скончалась!

– Сама Даша, – прибавил Владимир, – была

опасно больна и поправилась только после смерти Сугробиной. Постарайтесь и вы поскорей выздороветь, чтобы нам можно было сыграть свадьбу!

Видя, что Руневский смотрит на них, ничего не понимая, Даша улыбнулась.

– Самое главное, – сказала она, – мы и забыли ему сказать: тетушка согласна на наш брак и меня благословляет!

Услыша эти слова, Руневский схватил Дашину руку, поцелуями, обнял Владимира и спросил его, точно ли они дрались?

– Я бы не думал, – отвечал, смеясь, Владимир, – что вы можете в этом сомневаться.

– Но за что ж мы дрались? – спросил Руневский.

– Признаюсь вам, я и сам не знаю, за что. Вы были совершенно правы, и сказать правду, я рад, что вы не женились на Софье. Скоро я сам увидел ее неоткровенность и дурной нрав, особенно когда узнал, что из мщения к вам она пересказала Фрышкину, как вы над ним смеялись; но тогда уже было поздно, и вы лежали в постели с простреленною грудью. Не люблю я Софьи; но, впрочем, бог с

нею! Желая, чтобы она была счастлива с Фрышкиным, а мне до нее нет дела!

– Как тебе не стыдно, Владимир, – сказала Даша, – ты забываешь, что она твоя сестра!

– Сестра, сестра! – прервал ее Владимир, – хороша сестра, по милости которой я чуть не убил даром человека и чуть не сделал несчастною тебя, которую люблю, уж верно, больше Софьи.

Еще месяца три протекли после этого утра. Руневский и Даша уже были обвенчаны. Они сидели вместе с Владимиром перед пылающим камином, и Даша, в красивом утреннем платье и в чепчике, разливала чай. Клеопатра Платоновна, уступившая ей эту должность, сидела молча у окошка и что-то работала. Взор Руневского нечаянно упал на портрет Прасковьи Андреевны.

– До какой степени, – сказал он, – воображение может овладеть человеческим рассудком! Если б я не был уверен, что во время моей болезни оно непростительным образом меня морочило, я бы поклялся в истине странных видений, связанных с этим портретом.

– История Прасковьи Андреевны в самом деле много имеет странного, – сказал Владимир. – Я никогда не мог добиться, как она умерла и кто был этот жених, пропавший так внезапно. Я уверен, что Клеопатра Платоновна знает все эти подробности, но не хочет нам их открыть!

Клеопатра Платоновна, до этих пор ни на кого не обращавшая внимания, подняла глаза, и лицо ее приняло выражение еще горестнее обыкновенного.

– Если бы, – сказала она, – смерть старой бригадирши не разрешала моей клятвы, а женитьба Руневского и Даши не разрушила страшной судьбы, обременявшей ее семейство, вы бы никогда не узнали этой ужасной тайны. Но теперь обстоятельства переменились, и я могу удовлетворить вашему любопытству. Я подозреваю, об каких видениях говорит господин Руневский, и могу его уверить, что в этом случае он не должен обвинять своего воображения.

Чтобы объяснить многие обстоятельства, для вас непонятные, я должна вам объявить, что Дашина бабушка, урожденная Островиче-

ва, происходит от древней венгерской фамилии, ныне уже угасшей, но известной в конце пятнадцатого столетия под именем Ostroviczy. Герб ее был: черная летучая мышь в красном поле. Говорят, что бароны Ostroviczy хотели этим означать быстроту своих ночных набегов и готовность проливать кровь своих врагов. Враги эти назывались Tellara и, чтоб показать свое преимущество над прадедами бригадирши, приняли в герб свой филина, величайшего врага летучей мыши. Другие утверждают, что филин этот намекает на происхождение фамилии Tellara от рода Тамерлана, который также имел в гербу своем филина.

Как бы то ни было, но обе фамилии вели беспрестанную войну одна с другою, и война эта долго бы не кончилась, если б измена и убийство не ускорили ее развязки. Марфа Ostroviczy, супруга последнего барона этого имени, женщина необыкновенной красоты, но жестокого сердца, пленилась наружностью и воинскою славой Амвросия Tellara, прозванного *Амвросием с широким мечом*. В одну ночь она впустила его в замок и с его по-

мощью задушила мужа. Злодеяние ее, однако, не осталось без наказания, ибо рыцарь Амвросий, видя замок Ostrovičzy в своей власти, последовал голосу врожденной ненависти и, потопив в Дунае всех приверженцев своего врага, предал его замок огню. Сама Марфа с трудом могла спастись. Все эти обстоятельства подробно рассказаны в древней хронике фамилии Ostrovičzy, которая находится здесь в библиотеке.

Сказать вам, как и когда эта фамилия очутилась в России, я, право, не могу; но уверяю вас, что преступление Марфы было наказано почти на всех ее потомках. Многие из них уже в России умерли насильственной смертью, другие сошли с ума, а наконец, тетушка бригадирши, та самая, коей вы видите перед собою портрет, будучи невестою ломбардского дворянина Пьетро д'Урджина...

– Пьетро д'Урджина? – прервали Клеопатру Платоновну в один голос Руневский и Владимир.

– Да, – отвечала она, – жених Прасковьи Андреевны назывался дон Пьетро д'Урджина. Хотя это было давно, но я его хорошо помню.

Он был человек уже немолодой и к тому же вдовец; но большие черные глаза его так горели, как будто бы ему было не более лет двадцати. Прасковья Андреевна была молодая девушка, и учтивые приемы ловкого иностранца легко ее обворожили. Она страстно в него влюбилась. Мать ее не имела той ненависти ко всему иностранному, которую покойная бригадирша, может быть, лишь для того так часто обнаруживала, чтобы тем лучше скрыть свое собственное происхождение. Она желала выдать дочь за дон Пьетро, ибо он был богат, приехал с большою свитой и жил как владетельный князь. К тому же он обещался навсегда поселиться в России и уступить ломбардские свои имения сыну, находившемуся тогда в городе Комо.

Дон Пьетро привез с собою множество отличных художников. Архитекторы его выстроили этот дом, живописцы и ваятели украсили его с истинно италиянским вкусом. Но, несмотря на необыкновенную роскошь дон Пьетро, многие замечали в нем черты самой отвратительной скупости. Когда он проигрывал в карты, лицо его видимо изменялось, он

бледнел и дрожал; когда же он был в выигрыше, жадная улыбка показывалась на его устах и он с судорожным движением пальцев загребал добытое золото. Низкий его нрав, казалось, должен бы переменить к нему расположение Прасковьи Андреевны и ее матери, но он так хорошо умел притворяться перед ними обеими, что ни та, ни другая ничего не заметили, и день свадьбы был торжественно объявлен.

Накануне он дал в своей новой даче блистательный ужин, и никогда его любезность не показывалась с таким блеском, как в этот вечер. Умный и живой разговор его занимал все собрание, и все были в самом веселом расположении духа, как хозяину дома подали письмо с иностранным клеймом. Прочитав содержание, он поспешно встал из-за стола и извинился перед обществом, говоря, что неожиданные дела непременно требуют его присутствия. В ту же ночь он уехал, и никто не знал, куда он скрылся.

Невеста была в отчаянии. Мать ее, употребив все средства, чтобы отыскать след жениха, начала приписывать поведение его одной

уловке, чтобы отделаться от брака с ее дочерью, тем более что дон Пьетро, несмотря на поспешность своего отъезда, успел оставить поверенному письменное наставление, как распорядиться с его домом и находящимися в нем вещами, из чего ясно можно было видеть, что дон Пьетро, если бы он только хотел, мог бы найти время уведомить Прасковью Андреевну о причине и назначении неожиданного своего путешествия.

Прошло несколько месяцев, а о женихе все еще не было известия. Бедная невеста не переставала плакать и так похудела, что золотое кольцо, которое подарил ей дон Пьетро, само собой спало с ее руки. Все уже потеряли надежду что-нибудь узнать о дон Пьетро, как мать Прасковьи Андреевны получила из Комо письмо, где ее уведомляли, что жених вскоре по приезде своем из России скоропостижно умер. Письмо было от сына умершего. Но один дальний родственник невесты, только что приехавший из Неаполя, рассказывал, что в тот самый день, когда, по словам молодого Урджина, отец его скончался в Комо, он, родственник, собираясь влезть на Везувий, ви-

дел в корчме местечка Torre del Greco двух путешественников, из коих один был в халате и в ночном колпаке, а другой в черном домино и маске. Оба путешественника спорили между собой: человеку в халате не хотелось идти далее, а человек в домино его торопил, говоря, что им еще много дороги осталось до кратера и что на другой день праздник св. Антония. Наконец человек в домино схватил человека в халате и с исполинской силой потащил его за собой. Когда они скрылись, родственник спросил, кто эти чудаки? и ему отвечали, что один из них дон Пьетро д'Урджина, а другой какой-то англичанин, приехавший с ним нарочно, чтобы видеть извержение Везувия, и из странности никогда не снимающий с себя маски. Встреча эта, заключал родственник, ясно доказывает, что дон Пьетро не умер, а только отлучился на время из Комо в Неаполь.

К несчастью, другие известия подтвердили справедливость письма молодого Урджина. Несколько очевидцев уверяли, что они присутствовали при погребении дон Пьетро, и божились, что сами видели, как гроб его опу-

цен был в землю. Итак, не осталось сомнения в участии жениха Прасковьи Андреевны.

Сын дон Пьетро, не желавший удалиться из Италии, поручил своему поверенному продать отцовскую дачу с публичного торга. Продажа состоялась довольно беспорядочно, и мать Прасковьи Андреевны купила Березовую Рощу за бесценок.

Сколько Прасковья Андреевна сначала горевала и плакала, столько она теперь казалась спокойною. Ее редко видали в покоях матери, но по целым дням она бродила в верхнем этаже из комнаты в комнату. Часто слуги, проходившие по коридору, слышали, как она сама с собой разговаривала. Любимое ее занятие было – припоминать малейшие подробности своего знакомства с дон Пьетро, малейшие обстоятельства последнего вечера, который она с ним провела. Иногда она без всякой причины смеялась, иногда так жалобно стонала, что нельзя было ее слышать без ужаса.

В один вечер с ней сделались конвульсии, и не прошло двух часов, как она умерла в страшных мучениях. Все полагали, что она се-

бя отравила, и, со всем почтением к памяти покойницы, нельзя не думать, что это предположение справедливо. Иначе что бы значили эти звуки, которые вскоре после ее смерти начали раздаваться в ее комнатах? Чему приписать эти шаги, вздохи и даже несвязные слова, которые я сама не раз слышала, когда в бурные осенние ночи беспрестанный стук окон не давал мне заснуть, а ветер свистел в трубы, как будто бы наигрывал какую-то жалобную песнь. Тогда волосы мои становились дыбом, зубы стучали один об другой, и я громко молилась за упокой бедной грешницы.

– Но, – сказал Руневский, слушавший с возрастающим любопытством рассказ Клеопатры Платоновны, – можете ли вы нам сказать, какие именно слова произносила покойница?

– Ах, – отвечала Клеопатра Платоновна, – в то время в словах ее мне многое казалось странным. Смысл их всегда состоял в том, что ей до тех пор не будет покою, пока кто-нибудь не обручится с ее портретом и не наденет ему на палец ее собственного кольца. Слава всевышнему, теперь желание ее исполнилось, и

ничто уже более не будет тревожить ее праха. Кольцо, которым обручалась Даша, есть то самое, которое дон Пьетро подарил своей невесте; а разве Даша не живой портрет Прасковьи Андреевны?

– Клеопатра Платоновна! – сказал Руневский после некоторого молчания, – вы не все мне открыли. В этой истории о фамилии Ostrovičzy, от которой, как вы говорите, происходит покойная бригадирша, есть какая-то непостижимая тайна, окружающая меня с самого того времени, как я вступил в этот дом. Что делала Сугробина вместе с Теляевым в одну ночь, когда они оба перерядились, одна в красную мантию, другой в старинные латы? Все это я считал сном или бредом моей горячки, но в вашем рассказе есть подробности, которые так хорошо соответствуют происшествиям той ужасной ночи, что их невозможно принять за игру воображения. Вы сами, Клеопатра Платоновна, присутствовали при каком-то страшном преступлении, от которого у меня осталось одно темное воспоминание, но коего главные участники были бригадирша и Семен Семенович Теляев. Мне само-

му стыдно, – продолжал Руневский, видя, что все на него смотрят с удивлением, – мне самому стыдно, что я еще думаю об этом. Рассудок мой говорит мне, что это бред, но это такой страшный бред, что я не могу не желать удостовериться в его ничтожности.

– Что ж вы видели? – спросила Клеопатра Платоновна с беспокойством.

– Я видел вас, видел Сугробину, Теляева и этого таинственного незнакомца в домино и в маске, который увлекал дон Пьетро д'Урджина в кратер Везувия и о котором мне уже рассказывал Рыбаренко.

– Рыбаренко! – вскричал, смеясь, Владимир, – твой секундант! Ну, любезный Руневский, если он тебе рассказывал похождения свои в Комо, то я не удивляюсь, что это тебе вскружило голову.

– Но ты сам и еще этот Антонио, вы вместе с Рыбаренкой ночевали в *чертовом доме*?

– Так точно, и все трое мы видели бог знает что во сне, с тою только разницею, что Антонио и я скоро обо всем забыли, а бедный Рыбаренко через несколько дней сошел с ума. Впрочем, ему, надобно отдать справедлив-

вость, было от чего помешаться. Я сам не понимаю, как уцелел. Если бы я только знал, кто подмешал нам опиума в этот пунш, который мы пили, прежде нежели пошли в *чертов дом*, он бы мне дорого заплатил за эту шутку.

– Но Рыбаренко мне ни слова не говорил про пунш.

– Оттого что он до сих пор не верит, что бред его был следствием пунша. Я ж в этом вполне уверен, ибо у меня от одного стакана закружилась голова, а Антонио начал шататься и даже упал на совершенно ровном месте.

– Но ведь Антонио умер от последствий вашей шалости?

– Правда, что он вскоре после нее умер, но правда и то, что он еще прежде страдал неизлечимой хронической болезнью.

– А кости, а череп ребенка, а казненный разбойник?

– Не прогневайся, любезный Руневский, – но в ответ на все это я тебе скажу только, что Рыбаренко, которого я, впрочем, очень люблю, помешался в Комо со страха. Все, что он

видел во сне и наяву, все это он смешал, перепутал и прикрасил по-своему. Потом он рассказал это тебе, а ты, будучи в горячке, всю его чепуху еще более спутал и, сверх того, уверил себя в ее истине.

Руневский не довольствовался этим истолкованием.

– Отчего же, – сказал он, – история этого дон Пьетро, в дом которого вы забрались ночью, смешана с историей Прасковьи Андреевны, в которой, однако, мне кажется, никто из вас не сомневается.

Владимир пожал плечами.

– Все, что я тут вижу, – сказал он, – заключается в том, что дон Пьетро был жених Прасковьи Андреевны. Но из этого нисколько не следует, что он был унесен чертом в Неаполь и что все, что об нем снилось Рыбаренке, есть правда.

– Но родственник Прасковьи Андреевны говорил о человеке в черном домино, Рыбаренко также говорил об этом человеке, и я сам готов побожиться, что видел его своими глазами. Неужели бы три лица, не согласившись друг с другом, захотели сами себя обма-

нывать?

– На это я тебе скажу, что черное домино вещь такая обыкновенная, что о ней могли бы говорить не три, а тридцать человек, вовсе между собою не согласившись. Это все равно, что плащ, карета, дерево или дом – предметы, которые несколько раз в день могут быть в устах каждого. Заметь, что согласие слов Рыбаренки с словами родственника состоит только в том, что они оба говорят о черном домино; но обстоятельства, в которых оно является у каждого из них, ничего не имеют между собою схожего. Что ж касается до твоего собственного видения, то воображение твое просто воссоздало лицо, уже знакомое тебе по рассказам Рыбаренки.

– Но я ничего не знал ни о фамилии Ostrovczy, ни о фамилии Tellara, а между тем ясно видел на Сугробиной красное платье с летучей мышью, а на латах Теляева изображение филина.

– А пророчество? – сказала Даша. – Ты разве забыл, что в первый день, когда ты сюда приехал, ты сам прочитал род баллады, в которой говорилось о Марфе и о рыцаре Амвро-

сии, о филине и о летучей мыши. Только я не знаю, что может быть общего у Теляева с филином или с рыцарем Амвросием!

– Эту балладу, – прибавила Клеопатра Платоновна, – извлек Рыбаренко из старинной хроники, о которой я вам уже говорила, но после того, как вы ее прочитали, Марфа Сергеевна мне приказала сжечь свою рукопись.

– И после этого вы полагаете, – продолжал Руневский, обращаясь к Владимиру и к Даше, – что она была не упырь?

– Как не упырь?

– Что она не вампир?

– Что ты, помилуй! – отчего бабушке быть вампиром?

– И Теляев не упырь?

– Да что с тобой? С какой стати ты хочешь, чтобы все были упырями или вампирами?

– Отчего ж он щелкает?

Даша и Владимир посмотрели друг на друга, и наконец Даша так чистосердечно захохотала, что она увлекла за собой и Владимира. Оба начали кататься со смеху, и когда одна переставала, другой начинал снова. Они смеялись так откровенно, что Руневский, сколь-

ко это ему ни казалось некстати, сам не мог удержаться от смеха. Одна Клеопатра Платоновна осталась по-прежнему печальной.

Веселье Владимира и Даши, вероятно, еще долго бы продолжалось, если б не вошел Яков и не произнес громогласно: «Семен Семенович Теляев!»

– Просить, просить! – сказала радостно Даша. – Упырь! – повторяла она, помирая со смеху, – Семен Семенович упырь! Рыцарь Амвросий! Ха-ха-ха!

В передней послышались шаги, и все замолчали. Дверь отворилась, и знакомая фигура старого чиновника представилась их очам. Коричневый парик, коричневый фрак, коричневые панталоны и никогда не изменяющаяся улыбка были отличительными чертами этой фигуры и тотчас бросались в глаза.

– Здравия желаю, сударыня Дарья Александровна, мое почтение, Александр Андреевич! – сказал он сладким голосом, подходя к Даше и к Руневскому. – Душевно сожалею, что не мог ранее поздравить молодых супругов, но отлучка... семейные обстоятельства...

Он начал неприятным образом щелкать,

всунул руку в карман и, вытащив из него золотую табакерку, поднес ее прежде Даше, а потом Руневскому, приговаривая:

– С донником... настоящий русский... покойница Марфа Сергеевна другого не употребляли...

– Посмотри, – шепнула Даша Руневскому, – вот откуда ты взял, что он рыцарь Амвросий!

Она указывала на табакерку Семена Семеновича, и Руневский увидел, что на ее крышке изображен ушастый филин.

Приметив, что он смотрит на это изображение, Семен Семенович странным образом на него взглянул и проговорил, повертывая голову:

– Гм! Это так-с, фантазия... аллегория... говорят, что филин означает мудрость...

Он опустился в кресла и продолжал с необыкновенно сладкой улыбкой:

– Много нового-с! Карлисты претерпели значительные поражения. Вчера некто известный вам бросился с колокольни Ивана Великого, коллежский асессор Рыбаренко...

– Как, Рыбаренко бросился с колокольни?

– Как изволите говорить... вчера в пять ча-

СОВ...

– И убился до смерти?

– Как изволите говорить...

– Но что его к этому побудило?

– Не могу доложить... причины неизвестны... Но смею сказать, что напрасно... коллежский асессор!.. далеко ли до коллежского советника... там статский советник... действительный...

Семен Семенович впал в щелканье, и во все остальное время его визита Руневский ничего более не слышал.

– Бедный, бедный Рыбаренко! – сказал он, когда ушел Теляев.

Клеопатра Платоновна глубоко вздохнула.

– Итак, – сказала она, – пророчество исполнилось вполне. Проклятие не будет более тяготить этот род!

– Что вы говорите? – спросили Руневский и Владимир.

– Рыбаренко, – отвечала она, – был незаконнорожденный сын бригадирши!

– Рыбаренко? сын бригадирши?

– Он сам этого не знал. В балладе, которую вы читали, он странным образом предсказал

свою смерть. Но это предсказание не есть его выдумка; оно в самом деле существовало в фамилии Ostrovičy.

Веселое выражение на лицах Даши и Владимира уступило место печальной задумчивости. Руневский погрузился также в размышления.

– О чем ты думаешь, мой друг? – сказала наконец Даша, прерывая общее молчание.

– Я думаю о Рыбаренке, – отвечал Руневский, – и еще думаю о том, что видел во время своей болезни. Оно не выходит у меня из головы, но ты здесь, со мною, и, стало быть, это был бред!

Сказав эти слова, он побледнел, ибо в то же время заметил на шее у Даши маленький шрам, как будто от недавно зажившей ранки.

– Откуда у тебя этот шрам? – спросил он.

– Не знаю, мой милый. Я была больна и, верно, обо что-нибудь укололась. Я сама удивилась, когда увидела свою подушку всю в крови.

– А когда это было? Не помнишь ли ты?

– В ту самую ночь, когда скончалась бабушка. Несколько минут перед ее смертью.

Это маленькое приключение было причиной, что я не могла с нею проститься: так я вдруг сделалась слаба!

Клеопатра Платоновна в продолжение этого разговора что-то про себя шептала, и Руневскому показалось, что она тихонько молится.

– Да, – сказал он, – теперь я все понимаю. Вы спасли Дашу... вы, Клеопатра Платоновна, разбили каменную доску... такую ж доску, какая была у дон Пьетро...

Клеопатра Платоновна смотрела на Руневского умоляющими глазами.

– Но нет, – сказал он, – я ошибаюсь, не будем более об этом говорить! Я уверен, что это был бред!

Даша не совсем поняла смысл его слов, но она охотно замолчала. Клеопатра Платоновна бросила благодарный взгляд на Руневского и стерла две крупные слезы с своих бледных ланит.

– Ну, что ж мы все четверо повесили головы? – сказал Владимир. – Жаль бедного Рыбаренки, но помочь ему нельзя. Постойте, я вас сейчас развеселю: не правда ли, Теляев слав-

ный упырь?

Никто не засмеялся, а Руневский дернул за снурок колокольчик и сказал вошедшему Якову:

– Когда бы ни приехал Семен Семенович, нас никогда для него нет дома. Слышишь ли? никогда!

– Слушаю-с! – отвечал Яков.

С этих пор Руневский не говорил более ни про старую бригадиршу, ни про Семена Семеновича.

1841

Семья вурдалака

Н*еизданный отрывок из записок неизвестного*

В 1815 году в Вене собрался цвет европейской образованности, дипломатических дарований, всего того, что блистало в тогдашнем обществе. Но вот – Конгресс окончился.

Роялисты-эмигранты намеревались уже окончательно водвориться в своих замках, русские воины – вернуться к покинутым очагам, а несколько недовольных поляков – искать приюта своей любви к свободе в Кракове под сомнительной тройственной эгидой независимости, уготованной для них князем Меттернихом, князем Гарденбергом и графом Нессельроде.

Как это бывает к концу шумного бала, от общества, в свое время столь многолюдного, остался теперь небольшой кружок лиц, которые, все не утратив вкуса к развлечениям и очарованные прелестью австрийских дам, еще не торопились домой и откладывали свой отъезд.

Это веселое общество, к которому принад-

лежал и я, собиралось два раза в неделю у вдовствующей княгини Шварценберг в нескольких милях от города за местечком Гитцинг. Истинная светскость хозяйки дома, еще более выигрывавшая от ее милой приветливости и тонкого остроумия, делала чрезвычайно приятным пребывание у нее в гостях.

Утро у нас бывало занято прогулкой; обедали мы все вместе либо в замке, либо где-нибудь в окрестностях, а вечером, усевшись у пылающего камина, беседовали и рассказывали всякие истории.

Говорить о политике было строго запрещено. Все от нее устали, и содержание наших рассказов мы черпали либо в преданиях родной старины, либо в собственных воспоминаниях.

Однажды вечером, когда каждый из нас успел что-то рассказать и мы находились в том несколько возбужденном состоянии, которое обычно еще усиливают сумерки и тишина, маркиз д'Юрфе, старик эмигрант, пользовавшийся всеобщей любовью за свою чисто юношескую веселость и ту особую остроту,

которую он придавал рассказам о былых своих любовных удачах, воспользовался минутой безмолвия и сказал:

– Ваши истории, господа, конечно, весьма необыкновенны, но я думаю, что им не достает одной существенной черты, а именно – подлинности, ибо – насколько я уловил – никто из вас своими глазами не видел те удивительные вещи, о которых повествовал, и не может словом дворянина подтвердить их истинность.

Нам пришлось с этим согласиться, и старик, поглаживая свое жабо, продолжал:

– Что до меня, господа, то мне известно лишь одно подобное приключение, но оно так странно и в то же время так страшно и так достоверно, что одно могло бы повергнуть в ужас людей даже самого скептического склада ума. К моему несчастью, я был и свидетелем и участником этого события, и хотя вообще не люблю о нем вспоминать, но сегодня готов был бы рассказать о случившемся со мною – если только дамы ничего не будут иметь против.

Слушать захотели все. Правда, несколько

человек с робостью во взгляде посмотрели на светящиеся квадраты, которые луна уже чертила по паркету, но тут же кружок наш сомкнулся теснее и все приумолкли, готовясь слушать историю маркиза. Господин д'Юрфе взял щепотку табаку, медленно потянул ее и начал:

– Прежде всего, милостивые государыни, попрошу у вас прощения, если в ходе моего рассказа мне придется говорить о моих сердечных увлечениях чаще, чем это подобает человеку в моих летах. Но ради полной ясности мне о них нельзя не упоминать. К тому же старости прощительно забываться, и право же, это ваша, милостивые государыни, вина, если, глядя на таких красивых дам, я чуть ли сам уже не кажусь себе молодым человеком. Итак, начну прямо с того, что в тысяча семьсот пятьдесят девятом году я был без памяти влюблен в прекрасную герцогиню де Грамон. Эта страсть, представлявшаяся мне тогда и глубокой и долговечной, не давала мне покоя ни днем, ни ночью, а герцогиня, как это часто нравится хорошеньким женщинам, еще усиливала это терзание своим ко-

кетством. И вот, в минуту крайнего отчаяния, я в конце концов решил просить о дипломатическом поручении к господарю молдавскому, ведшему тогда переговоры с версальским кабинетом о делах, излагать вам которые было бы столь же скучно, сколь и бесполезно, и назначение я получил. Накануне отъезда я явился к герцогине. Она отнеслась ко мне менее насмешливо, чем обычно, и в голосе ее чувствовалось некоторое волнение, когда она мне сказала:

– Д'Юрфе, вы делаете очень неразумный шаг. Но я вас знаю, и мне известно, что от принятого решения вы не откажетесь. Поэтому прошу вас только об одном – возьмите вот этот крестик как залог моей дружбы и носите его, пока не вернетесь. Это семейная реликвия, которой мы очень дорожим.

С учтивостью, неуместной, быть может, в подобную минуту, я поцеловал не реликвию, а ту очаровательную руку, которая мне ее протягивала, и надел на шею вот этот крестик, с которым с тех пор не расставался.

Не стану утомлять вас, милостивые государины, ни подробностями моего путешествия,

ни моими впечатлениями от венгерцев и от сербов – этого бедного и непросвещенного, но мужественного и честного народа, который, даже и под турецким ярмом, не забыл ни о своем достоинстве, ни о былой независимости. Скажу вам только, что, научившись немного по-польски еще в те времена, когда я жил в Варшаве, я быстро начал понимать и по-сербски, ибо эти два наречия, равно как русское и чешское, являются – и это вам, наверно, известно – не чем иным, как ветвями одного и того же языка, именуемого славянским.

Итак, я уже знал достаточно для того, чтобы быть в состоянии объяснить, когда мне однажды случилось попасть проездом в некую деревню, название которой не представило бы для вас никакого интереса. Обитателей дома, в котором я остановился, я нашел в состоянии подавленности, удивившей меня тем более, что дело было в воскресенье – день, когда сербы предаются обычно всяческому веселью, забавляясь пляской, стрельбой из пицали, борьбой и т. п. Расположение духа моих будущих хозяев я приписал ка-

кой-нибудь недавно случившейся беде и уже думал удалиться, но тут ко мне подошел и взял за руку мужчина лет тридцати, роста высокого и вида внушительного.

– Входи, – сказал он, – входи, чужеземец, и пусть не пугает тебя наша печаль; ты ее поймешь, когда узнаешь ее причину.

И он мне рассказал, что старик отец его, по имени Горча, человек нрава беспокойного и неуступчивого, поднялся однажды с постели, снял со стены длинную турецкую пицаль и обратился к двум своим сыновьям, одного из которых звали Георгием, а другого – Петром:

– Дети, – молвил он им, – я иду в горы, хочу с другими смельчаками поохотиться на поганого пса Алибека (так звали разбойника-турка, разорявшего последнее время весь тот край). Ждите меня десять дней, а коли на десятый день не вернусь, закажите вы обедню за упокой моей души – значит, убили меня. Но ежели, – прибавил тут старый Горча, приняв вид самый строгий, – ежели (да не попустит этого бог) я вернусь позднее, ради вашего спасения, не впускайте вы меня в дом. Ежели будет так, приказываю вам – забудьте, что

я вам был отец, и вбейте мне осиновый кол в спину, что бы я ни говорил, что бы ни делал, — значит, я теперь проклятый вурдалак и пришел сосать вашу кровь.

Здесь надо будет вам сказать, милостивые государины, что *вурдалаки*, как называются у славянских народов вампиры, не что иное в представлении местных жителей, как мертвецы, вышедшие из могил, чтобы сосать кровь живых людей. У них вообще те же повадки, что у всех прочих вампиров, но есть и особенность, делающая их еще более опасными. *Вурдалаки*, милостивые государины, сосут предпочтительно кровь у самых близких своих родственников и лучших своих друзей, а те, когда умрут, тоже становятся вампирами, так что со слов очевидцев даже говорят, будто в Боснии и Герцеговине население целых деревень превращалось в *вурдалаков*. В любопытном труде о привидениях аббат Огюстен Кальме приводит тому ужасающие примеры. Императоры германские не раз назначали комиссии для расследования случаев вампиризма. Производились допросы, извлекались из могил трупы, налитые кровью, и их

сжигали на площадях, но сперва пронзали им сердце. Судебные чиновники, присутствовавшие при этих казнях, уверяют, что сами слышали, как выли трупы в тот миг, когда палач вбивал им в грудь осиновый кол. Они дали об этом показания по всей форме и скрепили их присягой и подписью.

После всего этого вам легко будет вообразить себе, какое действие слова старого Горчи произвели на его сыновей. Оба они упали к его ногам и умоляли, чтобы он позволил им отправиться вместо него, но тот, ничего не ответив, только повернулся к ним спиной и пошел прочь, повторяя припев старинной песни. День, в который я приехал сюда, был тот самый, когда кончался срок, назначенный Горчей, и мне было нетрудно понять волнение его детей.

То была дружная и хорошая семья. Георгий, старший сын, с чертами лица мужественными и резкими, был, по-видимому, человек строгий и решительный. Был он женат и имел двух детей. У брата его Петра, красивого восемнадцатилетнего юноши, лицо носило выражение скорее мягкости, чем отваги, и

его, судя по всему, особенно любила младшая сестра, Зденка, в которой можно было признать тип славянской красоты. В ней, кроме этой красоты, во всех отношениях бесспорной, меня прежде всего поразило отдаленное сходство с герцогиней де Грамон. Главное – была у нее та особенная складочка над глазами, которую за всю мою жизнь я не встречал ни у кого, кроме как у этих двух женщин. Эта черточка могла и не понравиться с первого взгляда, но стоило увидеть ее несколько раз, как она с неодолимой силой привлекала вас к себе.

То ли потому, что был я тогда очень молод, то ли в самом деле неотразимое действие производило это сходство в сочетании с каким-то своеобразным и наивным складом ума Зденки, но стоило мне две минуты поговорить с нею – и я уже испытывал к ней симпатию настолько живую, что она неминуемо превратилась бы в чувство еще более нежное, если бы мне подольше пришлось остаться в той деревне.

Мы все сидели во дворе за столом, на котором для нас были поставлены творог и моло-

ко в кринках. Зденка прядла; ее невестка готовила ужин для детей, игравших тут же в песке; Петр с наигранной беззаботностью что-то насвистывал, занятый чисткой *ятагана* — длинного турецкого ножа; Георгий, облокотившись на стол, сжимал голову ладонями, был озабочен, глаз не сводил с дороги и все время молчал.

Я же, как и все остальные, поддавшись тоскливому настроению, меланхолично глядел на вечерние облака, обрамлявшие золотую полосу неба, и на очертания монастыря, поднимавшегося над сосновым лесом.

Этот монастырь, как я узнал позднее, славился некогда чудотворной иконой богоматери, которую, по преданию, принесли ангелы и оставили ее на ветвях дуба. Но в начале минувшего века в те края вторглись турки, они перерезали монахов и разорили монастырь. Оставались только стены и часовня, где службу совершал некий отшельник. Он водил посетителей по развалинам и давал приют богомольцам, которые по пути от одной святыни к другой охотно останавливались в монастыре «божьей матери дубравной». Все это, как я

уже упомянул, мне стало известно лишь впоследствии, а в тот вечер занимала меня уж никак не археология Сербии. Как это нередко бывает, если только дашь волю своему воображению, я стал вспоминать прошлое, светлые дни детства, мою прекрасную Францию, которую я покинул ради далекой и дикой страны. Я думал о герцогине де Грамон и – не буду этого скрывать – думал также о некоторых современницах наших бабушек, чьи образы невольно проскользнули в мое сердце вслед за образом прелестной герцогини.

Вскоре я позабыл и о моих хозяевах, и о предмете их тревоги.

Георгий вдруг нарушил молчание:

– Скажи-ка, жена, в котором часу ушел старик?

– В восемь часов, – ответила жена, – я слышала, как в монастыре ударили в колокол.

– Хорошо, – проговорил Георгий, – сейчас половина восьмого, не позднее.

И он замолчал, опять устремив глаза на большую дорогу, которая исчезала в лесу.

Я забыл вам сказать, милостивые государины, что когда сербы подозревают в ком-ни-

будь вампира, то избегают называть его по имени или упоминать о нем прямо, ибо думают, что так его можно вызвать из могилы. Вот почему Георгий, когда говорил об отце, уже некоторое время называл его не иначе, как «старик».

Молчание продолжалось еще несколько минут. Вдруг один из мальчиков, дернув Зденку за передник, спросил:

– Тетя, а когда дедушка придет домой?

В ответ на столь неуместный вопрос Георгий дал ребенку пощечину.

Мальчик заплакал, а его младший брат, и удивленный и испуганный, спросил:

– А почему нам нельзя говорить о дедушке?

Новая пощечина – и он тоже примолк. Оба мальчика заревели, а взрослые перекрестились.

Но вот часы в монастыре медленно пробили восемь. Едва отзвучал первый удар, как мы увидели человеческую фигуру, появившуюся из лесу и направившуюся в нашу сторону.

– Он! – воскликнули в один голос Зденка,

Петр и их невестка. – Слава тебе господи!

– Господи, сохрани и помилуй нас! – торжественно проговорил Георгий. – Как знать, прошло ли уже или не прошло десять дней?

Все в ужасе посмотрели на него. Человек между тем все приближался к нам. Это был высокий старик с белыми усами, с лицом бледным и строгим; двигался он с трудом, опираясь на палку. По мере того как он приближался, Георгий становился все мрачней. Подойдя к нам, старик остановился и обвел свою семью взглядом как будто не видящих глаз – до того они были у него тусклые и впалые.

– Что ж это, – сказал он, – никто не встает, никто не встречает меня? Что вы все молчите? Иль не видите, что я ранен?

Тут я заметил, что у старика левый бок весь в крови.

– Да поддержи отца, – сказал я Георгию, – а ты, Зденка, напоила бы его чем-нибудь, ведь он, того гляди, упадет.

– Отец, – промолвил Георгий, подойдя к Горче, – покажи свою рану, я в этом знаю толк, перевяжу тебя...

Он только взялся за его одежду, но старик грубо оттолкнул его и обеими руками схватился за бок:

– Оставь, коли не умеешь, больно мне!

– Так ты в сердце ранен! – вскричал Георгий и весь побледнел. – Скорей, скорей разделись, так надо – слышишь!

Старик вдруг выпрямился во весь рост.

– Берегись, – сказал он глухо, – дотронешься до меня – прокляну!

Петр встал между отцом и Георгием.

– Оставь его, – сказал он, – ты же видишь, больно ему.

– Не перечь, – проговорила жена, – знаешь ведь, он этого никогда не терпел.

В эту минуту мы увидели стадо, возвращающееся с пастбища в облаке пыли. То ли пес, сопровождавший стадо, не узнал старика хозяина, то ли другая была причина, но едва только он завидел Горчу, как остановился, ощетинился и начал выть, словно бы ему что-то показалось.

– Что с этим псом? – спросил старик, сердчая все более. – Что все это значит? За десять дней, что меня не было, неужто я так переме-

нился, что и собственный пес меня не узнаёт?

– Слышишь? – сказал своей жене Георгий.

– А что?

– Сам говорит, что десять дней прошло!

– Да нет же, ведь он в срок воротился!

– Ладно, ладно, я уж знаю, что делать.

Пес не переставая выл.

– Застрелить его! – крикнул Горча. – Это я приказываю – слышите!

Георгий не пошевелился, а Петр со слезами на глазах встал, взял отцовскую пицаль и выстрелил в пса – тот покатился в пыли.

– А был он мой любимец, – проговорил он совсем тихо. – С чего это отец велел его застрелить?

– Он того заслужил, – ответил Горча. – Ну, стало свежо, в дом пора!

Тем временем Зденка приготовила питье для старика, вскипятив водку с грушами, с медом и с изюмом, но он с отвращением его оттолкнул. Точно так же он отверг и блюдо с пловом, которое ему подал Георгий, и уселся около очага, бормоча сквозь зубы что-то невнятное.

Потрескивали сосновые дрова, и дрожа-

щие отблески огня падали на его лицо, такое бледное, такое изможденное, что, если бы не это освещение, его вполне можно было принять за лицо покойника. Зденка к нему подсе- ла и сказала:

– Ты, отец, ни есть не хочешь, ни спать не ложишься. Может, расскажешь, как ты охотился в горах.

Девушка знала, что эти слова затронут у старика самую чувствительную струну, так как он любил поговорить о боях и сражениях. И в самом деле, на его бескровных губах появилось что-то вроде улыбки, хотя глаза смотрели безучастно, и он ответил, глядя ее по чудесным белокурым волосам:

– Ладно, дочка, ладно, Зденка, я тебе расскажу, что со мной было в горах, только уж как-нибудь в другой раз, а то сегодня я устал. Одно скажу – нет в живых Алибека, и убил его я. А ежели кто сомневается, – прибавил старик, окидывая взглядом свою семью, – есть чем доказать!

И он развязал мешок, висевший у него за спиной, и вытащил окровавленную голову, с которой, впрочем, его собственное лицо мог-

ло поспорить мертвенно-бледным цветом кожи! Мы с ужасом отвернулись, а Горча отдал ее Петру и сказал:

– На, прицепи над нашей дверью – пусть знает всякий, кто пройдет мимо дома, что Алибек убит и никто больше не разбойничает на дороге, кроме разве султанских янычар!

Петр, подавляя отвращение, исполнил, что было приказано.

– Теперь понимаю, – сказал он, – бедный пес выл оттого, что почуял мертвечину!

– Да, почуял мертвечину, – мрачно повторил Георгий, который незадолго перед тем незаметно вышел, а теперь вернулся: в руке он держал какой-то предмет, который тут же поставил в угол – как мне показалось, это был кол.

– Георгий, – вполголоса сказала ему жена, – да неужто ты...

– Брат, что ты затеял? – заговорила и сестра. – Да нет, нет, ты этого не сделаешь, верно?

– Не мешайте, – ответил Георгий, – я знаю, что мне делать, и что надо – то сделаю.

Тем временем настала ночь, и семья ушла спать в ту часть дома, которую от моей ком-

наты отделяла лишь тонкая стенка. Признаюсь, что все, чему я вечером был свидетель, сильно на меня подействовало. Свеча уже не горела, а в маленькое низенькое окошко возле самой моей постели вовсю светила луна, так что на пол и на стены ложились белые пятна вроде тех, что падают сейчас здесь, в гостиной, где мы с вами сидим, милостивые государыни. Я хотел заснуть, но не мог. Свою бессонницу я приписал влиянию лунного света и стал искать, чем бы завесить окно, но ничего не нашел. Тут за перегородкой глухо слышались голоса, и я прислушался.

– Ложись, жена, – сказал Георгий, – и ты, Петр, ложись, и ты, Зденка. Ни о чем не беспокойтесь, я посижу за вас.

– Да нет, Георгий, – отвечала жена, – уж скорее мне сидеть, ты прошлую ночь работал, – наверно, устал. Да и так мне надо приглядеть за старшим мальчиком, – ты же знаешь, ему со вчерашнего нездоровится!

– Будь спокойна и ложись, – говорил Георгий, – я посижу и за тебя!

– Да послушай, брат, – промолвила теперь нежным, тихим голосом Зденка, – по мне, так

нечего и сидеть. Отец уже уснул, и смотри, как мирно и спокойно он спит.

– Ничего-то вы обе не понимаете, – возразил Георгий тоном, не допускающим противоречия. – Говорю вам – ложитесь, а я спать не буду.

Тут воцарилась полная тишина. Вскоре же я почувствовал, как отяжелели мои веки, и сон меня одолел.

Но вдруг дверь в комнату как будто медленно отворилась, и на пороге встал Горча. Я, впрочем, скорее догадывался об этом, чем видел его, потому что там, откуда он вышел, было совершенно темно. Его погасшие глаза, – так мне чудилось, – старались проникнуть в мои мысли и следили за тем, как подымается и опускается моя грудь. Потом он сделал шаг, еще – другой, затем, с чрезвычайной осторожностью, неслышно ступая, стал подходить ко мне. Вот одним прыжком он очутился у моей кровати. Я испытывал невыразимое чувство гнета, но неодолимая сила сковывала меня. Старик приблизил ко мне свое мертвенно-бледное лицо и так низко наклонился надо мною, что я словно ощущал его трупное

дыхание. Тогда я сделал сверхъестественное усилие и проснулся весь в поту. В комнате не было никого, но, бросив взгляд на окно, я ясно увидел старика Горчу, который снаружи прильнул лицом к стеклу и не сводил с меня своих страшных глаз. У меня хватило силы, чтобы не закричать, и самообладания, чтобы не подняться с постели, как если бы я ничего и не видел. Старик, однако, приходил, по-видимому, лишь удостовериться, что я сплю, по крайней мере, он и не пытался войти ко мне и, внимательно на меня поглядев, отошел от окна, но я слышал, как он ходит в соседней комнате. Георгий заснул и храпел так, что стены чуть не сотрясались. В эту минуту кашлянул ребенок, и я различил голос Горчи, он спрашивал:

– Ты, малый, не спишь?

– Нет, дедушка, – отвечал мальчик, – мне бы с тобой поговорить.

– А, поговорить со мной? А о чем поговорить?

– Ты бы мне рассказал, как ты воевал с турками – я бы тоже пошел воевать с турками!

– Я, милый, так и думал и принес тебе ма-

ленький ятаган – завтра дам.

– Ты, дедушка, лучше дай сейчас – ведь ты не спишь.

– А почему ты, малый, раньше не говорил, пока светло было?

– Отец не позволил.

– Бережет тебя отец. А тебе, значит, скорее хочется ятаганчик?

– Хочется, да только не здесь, а то вдруг отец проснется!

– Так где же?

– А давай выйдем, я буду умный, шуметь не стану.

Мне словно послышался отрывистый глухой смех старика, а ребенок начал, кажется, вставать. В вампиров я не верил, но после кошмара, только что посетившего меня, нервы у меня были напряжены, и я, чтобы ни в чем не упрекать себя позднее, поднялся и ударил кулаком в стену. Этим ударом можно было бы, кажется, разбудить всех семерых спящих, но хозяева, очевидно, и не услышали моего стука. С твердой решимостью спасти ребенка я бросился к двери, но она оказалась запертой снаружи, и замки не поддавались мо-

им усилиям. Пока я еще пытался высадить дверь, я увидел в окно старика, проходившего с ребенком на руках.

– Вставайте, вставайте! – кричал я что было мочи и бил кулаком в перегородку. Тут только проснулся Георгий.

– Где старик? – спросил он.

– Скорей беги, – крикнул я ему, – он унес мальчика!

Георгий ударом ноги выломал дверь, которая, так же как моя, была заперта снаружи, и побежал к лесу. Мне наконец удалось разбудить Петра, невестку его и Зденку. Мы все вышли из дому и немного погодя увидели Георгия, который возвращался уже с сыном на руках. Он нашел его в обмороке на большой дороге, но ребенок скоро пришел в себя, и хуже ему как будто не стало. На расспросы он отвечал, что дед ничего ему не сделал, что они вышли просто поговорить, но на воздухе у него закружилась голова, а как это было – он не помнит. Старик же исчез.

Остаток ночи, как нетрудно себе представить, мы провели уже без сна.

Утром мне сообщили, что по Дунаю, пере-

секавшему дорогу в четверти мили от деревни, начал идти лед, как это всегда бывает здесь в исходе осени и ранней весной. Переправа на несколько дней была закрыта, и мне было нечего думать об отъезде. Впрочем, если б я и мог ехать, меня удержало бы любопытство, к которому присоединялось и более могущественное чувство. Чем больше я видел Зденку, тем сильнее меня к ней влекло. Я, милостивые государыни, не из числа тех, кто верит в страсть внезапную и непобедимую, примеры которой нам рисуют романы, но я полагаю, что есть случаи, когда любовь развивается быстрее, чем обычно. Своеобразная прелесть Зденки, это странное сходство с герцогиней де Грамон, от которой я бежал из Парижа и которую вновь встретил здесь в таком живописном наряде, говорящую на чуждом и гармоничном наречии, эта удивительная складочка на лбу, ради которой я во Франции тридцать раз готов был поставить жизнь на карту, все это, вместе с необычностью моего положения и таинственностью всего, что происходило вокруг, повлияло, должно быть, на зреющее в моей душе чувство, которое при

других обстоятельствах проявилось бы, может быть, лишь смутно и мимолетно.

Днем я услышал, как Зденка разговаривала со своим младшим братом:

– Что же ты обо всем этом думаешь? – спрашивала она, – неужто и ты подозреваешь отца?

– Подозревать не решусь, – отвечал ей Петр, – да к тому же и мальчик говорит, что он ему плохого не сделал. А что нет его – так ты ведь знаешь, он всегда так уходил и отчета не давал.

– Да, знаю, – сказала Зденка, – а коли так, надо его спасти: ведь ты знаешь Георгия...

– Да, да, верно. Говорить с ним нечего, но мы спрячем кол, а другого он не найдет: в горах с нашей стороны ни одной осины нет!

– Ну да, спрячем кол, только детям об этом – ни слова, а то они еще начнут болтать при Георгии.

– Нет, ни слова им, – сказал Петр, и они расстались.

Пришла ночь, а о старике Горче ничего не было слышно. Я, как и накануне, лежал на кровати, а луна всю освещала мою комна-

ту. Уже когда сон начал туманить мне голову, я вдруг словно каким-то чутьем уловил, что старик приближается. Я открыл глаза и увидел его мертвенное лицо, прижавшееся к окну.

Теперь я хотел подняться, но это оказалось невозможным. Все мое тело было словно парализовано. Пристально оглядев меня, старик удалился, и я слышал, как он обходил дом и тихо постучал в окно той комнаты, где спали Георгий и его жена. Ребенок в постели заворочался и застонал во сне. Несколько минут стояла тишина, потом я снова услышал стук в окно. Ребенок опять застонал и проснулся.

– Это ты, дедушка? – спросил он.

– Я, – ответил глухой голос, – принес тебе ятаганчик.

– Только мне уйти нельзя, отец запретил!

– Тебе и не надо уходить, открой окошко да поцелуй меня!

Ребенок встал, и было слышно, как открывается окно. Тогда, призвав на помощь все мои силы, я вскочил с постели и начал стучать в стену. Мгновенье спустя Георгий уже был на ногах. Он выругался, жена его громко

вскрикнула, и вот уже вся семья собралась вокруг ребенка, лежавшего без сознания. Горча исчез, как и накануне. Мы общими стараниями привели мальчика в чувство, но он очень был слаб и дышал с трудом. Он, бедный, не знал, как случился с ним обморок. Мать его и Зденка объясняли это тем, что ребенок испугался, когда его застали вместе с дедом. Я молчал. Но мальчик успокоился, и все, кроме Георгия, опять улеглись.

Незадолго до рассвета я услышал, как Георгий будит жену, и они заговорили шепотом. К ним пришла и Зденка, и я услышал, как она и ее невестка плачут.

Ребенок лежал мертвый.

Не стану распространяться о горе семьи. Никто, однако, не обвинил в случившемся старика Горчу. По крайней мере, открыто об этом не говорили.

Георгий молчал, но в выражении его лица, всегда несколько мрачном, теперь было и что-то страшное. В течение двух дней старик не появлялся. В ночь на третьи сутки (после похорон ребенка) мне послышались шаги вокруг дома и старческий голос, который звал

меньшого мальчика. Мне также показалось на мгновение, что старик Горча прижался лицом к окну, но я не смог решить, было ли это в действительности или то была игра воображения, потому что в ту ночь луна скрывалась за облаками. Все же я счел своим долгом сказать об этом Георгию. Он расспросил мальчика, и тот ответил, что и вправду слышал, как его звал дед, и видел, как он глядел в окошко. Георгий строго приказал сыну разбудить его, если старик покажется еще.

Все эти обстоятельства не мешали мне чувствовать к Зденке нежность, которая все больше усиливалась.

Днем мне не привелось говорить с нею наедине. Когда же настала ночь, у меня при мысли о скором отъезде сжалось сердце. Комната Зденки была отделена от моей сенями, которые с одной стороны выходили на улицу, с другой – во двор.

Мои хозяева уже легли спать, когда мне пришло в голову – пойти побродить вокруг, чтобы немного рассеяться. Выйдя в сени, я заметил, что дверь в комнату Зденки приотворена.

Невольню я остановился. Шорох платья, такой знакомый, заставил биться мое сердце. Потом до меня донеслись слова песни, напеваемой вполголоса. То было прощание сербского короля со своей милой, от которой он уходил на войну:

«Молодой ты мой тополь, – говорил старый король, – я на войну уйду, а ты забудешь меня.

Стройны и гибки деревья, что растут у подножья горы, но стройнее и гибче юный твой стан!

Красны ягоды рябины, что раскачивает ветер, но ягод рябины краснее губы твои!

А я-то – что старый дуб без листьев, и пены Дуная моя борода белей!

И ты, сердце мое, меня забудешь, и умру я с тоски, потому что враг не посмеет убить старого короля!»

И промолвила ему красавица: «Клянусь – не забуду тебя и останусь верна тебе. А коли клятву нарушу, приди ко мне из могилы и высоси кровь моего сердца».

И сказал старый король: «Пусть будет так!» И ушел на войну. И скоро красавица его забы-

ла!..»

Тут Зденка остановилась, словно ей было боязно кончать песню. Я не в силах был сдержаться. Этот голос, такой нежный, такой задушевный, был голос самой герцогини де Грамон... Я, не раздумывая, толкнул дверь и вошел. Зденка только что сняла с себя нечто вроде казакина, какой в тех местах носят женщины. На ней оставалась теперь шитая золотом и красным шелком сорочка и стянутая у талии простая клетчатая юбка. Ее чудесные белокурые косы были расплетены, и вот так, полуодетая, она была еще краше, чем обычно. Не рассердившись на мое внезапное появление, она все же, казалось, была смущена и слегка покраснела.

– Ах, – сказала она мне, – зачем ты пришел, – ведь коли нас увидят – что обо мне подумают?

– Зденка, сердце мое, – отвечал я ей, – не бойся: лишь кузнечик в траве да жук на лету могут услышать, что я скажу тебе.

– Нет, милый, иди скорей, иди! Застанет нас мой брат – я тогда погибла.

– Нет, Зденка, я уйду только тогда, когда ты

мне пообещаешь, что будешь меня любить всегда, как красавица обещала королю в той песне. Я скоро уеду, Зденка, и как знать, когда мы опять увидимся? Зденка, ты дороже мне моей души, моего спасения... И жизнь моя и кровь – твои. Неужели ты за это не подаришь мне один час?

– Всякое может случиться за один час, – задумчиво ответила Зденка, но не отняла у меня своей руки. – Не знаешь ты моего брата, – прибавила она и вздрогнула, – уж я чувствую – придет он.

– Успокойся, моя Зденка, – сказал я в ответ, – брат твой устал от бессонных ночей, его убаюкал ветер, что играет листвой. Сон его глубок, ночь длинна, и я прошу тебя – побудь со мной час! А потом – прости... может быть, навсегда!

– Нет, нет, только не навсегда! – с жаром сказала Зденка и тут же отпрянула от меня, словно испугавшись своего же голоса.

– Ах, Зденка, – воскликнул я, – я вижу одну тебя, слышу одну тебя, я уже себе не господин, а покорен какой-то высшей силе – прости мне, Зденка!

И я, как безумный, прижал ее к сердцу.

– Ах нет, ты мне не друг, – проговорила она, вырвавшись из моих объятий, и заби- лась в дальний угол. Не знаю, что я ей отве- тил, так как и сам испугался своей смелости – не потому, чтобы иногда в подобных обстоя- тельствах она не приносила мне удачи, а по- тому, что мне даже и в пылу страсти чистота Зденки продолжала внушать глубокое уваже- ние.

Вначале я, правда, вставил было несколь- ко галантных фраз из числа тех, которые встречали невраждебный прием у красавиц минувшего времени, но, устыдившись тут же, отказался от них, видя, что девушка в просто- те своей не может понять тот смысл, который вы, милостивые государыни, судя по вашим улыбкам, угадали с полуслова.

Так я и стоял перед ней и не знал, что ска- зать, как вдруг заметил, что она вздрогнула и в ужасе глядит на окно. Я посмотрел в ту же сторону и ясно различил лицо Горчи, кото- рый, не двигаясь, следил за нами.

В тот же миг я почувствовал, как чья-то тя- желая рука опускается мне на плечо. Я обер-

нулся. Это был Георгий.

– Ты что тут делаешь? – спросил он меня. Озадаченный этим резким вопросом, я только показал рукой на его отца, который смотрел на нас в окно и скрылся, как только Георгий его увидал.

– Я услышал шаги старика, – сказал я, – и пошел предупредить твою сестру.

Георгий посмотрел на меня так, словно хотел прочесть мои сокровеннейшие мысли. Потом взял меня за руку, привел в мою комнату и, ни слова не сказав, ушел.

На следующий день семья сидела у дверей дома за столом, уставленным всякой молочной снедью.

– Где мальчик? – спросил Георгий.

– На дворе, – ответила мать, – играет себе один в свою любимую игру, будто воюет с турками.

Не успела она проговорить эти слова, как перед нами, к нашему величайшему удивлению, появилась высокая фигура Горчи; он, выйдя из лесу, медленно подошел к нам и сел к столу, как это уже было в день моего приезда.

– Добро пожаловать, батюшка, – еле слышно пролепетала невестка.

– Добро пожаловать, – тихо повторили Зденка и Петр.

– Отец, – голосом твердым, но меняясь в лице, произнес Георгий, – мы тебя ждем, чтоб ты прочел молитву!

Старик, нахмутив брови, отвернулся.

– Молитву, и тотчас же! – повторил Георгий, – перекрестись – не то, клянусь святым Георгием...

Зденка и невестка склонились к старику, умоляя прочитать молитву.

– Нет, нет, нет, – сказал старик, – не властен он мне приказывать, а коли потребует еще раз, прокляну!

Георгий вскочил и побежал в дом. Он сразу же и вернулся – взгляд его сверкал бешенством.

– Где кол? – крикнул он, – где вы спрятали кол?

Зденка и Петр переглянулись.

– Мертвец! – обратился тогда Георгий к старику, – что ты сделал с моим старшим? Отдай мне сына, мертвец!

И он, пока говорил, все более и более бледнел, а глаза его разгорались все ярче.

Старик смотрел на него злым взглядом и не двигался.

– Кол! где кол? – крикнул Георгий. – Кто его спрятал, тот и в ответе за все горе, что нас ждет!

В тот же миг мы услышали веселый звонкий смех меньшого мальчика, и он тут же появился верхом на огромном колу, который волочил за собой, слабеньким детским голоском испуская тот воинственный клич, с каким сербы бросаются на неприятеля.

Глаза у Георгия так и вспыхнули. Он вырвал у мальчика кол и ринулся на отца. Тот дико завыл и побежал в сторону леса с такой быстротой, которая для его возраста казалась сверхъестественной.

Георгий гнался за ним по полю, и мы скоро потеряли их из виду.

Уже зашло солнце, когда Георгий возвратился домой, бледный как смерть и с взъерошенными волосами. Он сел у очага, и зубы у него, кажется, стучали. Никто не решался спросить его. Но вот настал час, когда семья

обыкновенно расходилась; он теперь, по-видимому, вполне овладел собою и, отведя меня в сторону, сказал как ни в чем не бывало:

– Дорогой гость, был я на реке. Лед прошел, помехи в дороге нет, теперь ты можешь ехать. Прощаться с нашими нечего, – прибавил он, бросив взгляд на Зденку. – Дай тебе бог всякого счастья (так они велели тебе сказать), да и ты, даст бог, не помянешь нас лихом. Завтра чуть свет уж лошадь твоя будет стоять оседланная и проводник тебя будет ждать. Прощай, может, вспомнишь когда своих хозяев, и уж не сердись, коли жилось тут не так покойно, как бы надо было.

Жесткие черты лица Георгия в ту минуту выражали почти что дружелюбие. Он проводил меня в комнату и в последний раз пожал мне руку. Потом он снова вздрогнул, и зубы у него застучали, словно бы от холода.

Оставшись один, я, как вы легко можете себе представить, и не подумал ложиться спать. Меня одолевали мысли. В жизни я любил уже не раз. Знал я и порывы нежности, приступы досады и ревности, но никогда еще, даже расставаясь с герцогиней де Грамон, я

не испытывал такой скорби, какая сейчас терзала мне сердце. Не взошло и солнце, а я уже оделся по-дорожному и хотел было попытаться в последний раз увидеть Зденку. Но Георгий ждал меня в снях. Исчезла всякая возможность даже взглянуть на нее.

Я вскочил на лошадь и пустил ее во весь опор. Я давал себе обещание на обратном пути из Ясс заехать в эту деревню, и такая надежда, пусть самая отдаленная, мало-помалу рассеяла мои заботы. Я уже с удовольствием думал о том, как вернусь, и воображение рисовало мне всякие подробности, но вдруг резким движением лошадь чуть не выбила меня из седла. Тут она стала как вкопанная, вытянула передние ноги и тревожно фыркнула, как бы давая знать о близкой опасности. Я внимательно осмотрелся кругом и в сотне шагов увидел волка, который рылся в земле. Так как я его вспугнул, он побежал, а я вонзил шпоры в бока лошади и заставил ее тронуться с места. А там, где стоял волк, я теперь увидел свежерытую могилу. Мне также показалось, что из земли, разрытой волком, на несколько вершков выступал кол. Этого, од-

нако, я не утверждаю с уверенностью, так как быстро проскакал мимо того места.

Маркиз замолк и взял щепотку табаку.

– И это все? – спросили дамы.

– Увы, нет! – ответил г-н д'Юрфе. – То, что осталось досказать вам, – мое мучительнейшее воспоминание, и я дорого бы дал, чтобы расстаться с ним.

Дела, по которым я приехал в Яссы, задержали меня там дольше, чем я предполагал. Я завершил их лишь через полгода.

И что же? Печально сознавать, и все же нельзя не признать ту истину, что нет на свете долговечных чувств. Успех моих переговоров, одобрения, которые я получал от версальского кабинета, словом, политика, та противная политика, что так надоела нам за последнее время, в конце концов приглушила для меня воспоминание о Зденке. К тому же и супруга молдавского господаря, женщина очень красивая и в совершенстве владевшая нашим языком, с первых же дней моего приезда удостоила меня чести, оказывая мне особое предпочтение перед другими молодыми иностранцами, находившимися тогда в Яссах.

Меня, воспитанного в правилах французской галантности, с галльской кровью в жилах, просто возмутила бы самая мысль о том, чтобы ответить неблагодарностью на выражаемую мне благосклонность. И я со всей учтивостью принимал знаки внимания, проявляемого ко мне, а чтобы получить возможность лучше защищать права и интересы Франции, я и на все права, и на все интересы господаря начал смотреть как на свои собственные.

Когда меня отозвали в Париж, я избрал ту же дорогу, какой и прибыл в Яссы.

Я не думал уже ни о Зденке, ни о ее семье, как вдруг однажды вечером, проезжая полями, услышал звук колокола, ударившего восемь раз. Этот звон мне был как будто знаком, и проводник сообщил мне, что звонили неподалеку в монастыре. Я спросил, как он называется, и узнал, что это – монастырь «божьей матери дубравной». Я пришпорил коня, и немного спустя мы уже стучали в монастырские ворота. Монах впустил нас и повел в помещение, отведенное для путешественников. В нем оказалось столько паломников, что у меня пропала всякая охота ночевать здесь, и

я спросил, удастся ль мне найти пристанище в деревне.

– Пристанище-то найдется, – ответил с глубоким вздохом отшельник, – пустых домов там вдоволь – а все проклятый Горча!

– Как это понимать? – спросил я, – старик Горча все еще жив?

– Да нет, он-то похоронен взаправду, и в сердце – кол! Но он у Георгиева сына высосал кровь. Мальчик и вернулся ночью, плакал под дверью, ему, мол, холодно и домой хочется. У дуры-матери, хоть она сама его и хоронила, не хватило духа прогнать мальчика на кладбище, – она и впустила его. Тут он набросился на нее и высосал у нее всю кровь. Когда ее тоже похоронили, она вернулась и высосала кровь у меньшого мальчика, потом – у мужа, а потом у деверя. Всем – один конец.

– А Зденка? – спросил я. – Ах, она от горя с ума сошла, бедняжка, – уж лучше и не говорить!

В этом ответе была какая-то неопределенность, но переспросить я не решился.

– Вурдалаки – это как зараза, – продолжал отшельник и перекрестился, – сколько уж се-

мей в деревне пострадало, сколько их вымерло до последнего человека, и вы меня послушайте и переночуйте в монастыре, а не то, даже коли вас в деревне не съедят вурдалаки, вы от них все равно такого страху натерпитесь, что поседете прежде, чем я прозвоню к заутрене. Я, – продолжал он, – всего лишь бедный монах, но путешественники сами от щедрот своих дают столько, что и я могу позаботиться о них. Есть у меня отменный сыр, изюм такой, что посмотреть на него – слюнки потекут, да несколько бутылок токайского – не хуже того, что изволит пить сам святейший патриарх.

В эту минуту на моих глазах отшельник словно превращался в трактирщика. Он, как мне подумалось, нарочно порассказал мне небылиц, чтобы дать мне случай сделать нечто угодное небесам и уподобиться щедротами тем путешественникам, *которые святому мужу столько дают, что и он может позаботиться о них.*

Да и самое слово «страх» производило на меня то же действие, что звуки трубы на боевого коня. Мне себя было бы стыдно, если бы

я не отправился немедленно. Проводник мой, весь дрожа, просил позволения остаться здесь – это я охотно разрешил.

Мне потребовалось с полчаса, чтобы доехать до деревни. Она, как выяснилось, была безлюдна. Ни в одном окошке не блестел огонь, нигде не слышалась песня. В тишине проехал я мимо всех этих домов, по большей части знакомых мне, и остановился перед домом Георгия. То ли поддавшись чувствительным воспоминаниям, то ли движимый своей молодой смелостью, но я решил переночевать тут.

Я соскочил с лошади и постучал в ворота. Никто не отзывался. Я толкнул ворота, они под визг петель открылись, и я вошел во двор.

Не расседывая лошадь, я привязал ее под навесом, где оказался достаточный для ночи запас овса, и направился прямо в дом.

Ни одна дверь не была затворена, а между тем все комнаты казались нежилыми. Только комната Зденки имела такой вид, как будто ушли из нее лишь вчера. На постели были брошены платья. На столе в лунном свете

блестело несколько драгоценных вещей, подаренных мною, и среди них я заметил эмалевый крестик, который я купил в Пеште. Сердце у меня невольно сжалось, хотя любовь уже и прошла. Как бы то ни было, я закутался в плащ и улегся на постель. Скоро меня одолел сон. Того, что мне снилось, я не помню в подробностях, но знаю, что видел Зденку, прелестную, простодушную, любящую, как прежде. Глядя на нее, я упрекал себя в черствости и в непостоянстве. Как я мог, спрашивал я себя, как я мог бросить это милое дитя, которое меня любило, как мог я ее забыть? Вскоре мысль о ней слилась с мыслью о герцогине де Грамон, и в этих двух образах мне уже представлялась одна и та же женщина. Я пал к ногам Зденки и молил ее о прощении. Все мое существо, всю мою душу охватило невыразимое чувство грусти и любви.

Вот это мне и снилось, как вдруг меня наполовину пробудил некий гармоничный звук, подобный шелесту нивы, по которой пробегает ветерок. Мне будто слышался мелодичный звон колеблемых колосьев, и пение птиц сливалось с рокотом водопада и с шепотом

том листвы. Потом все эти неясные звуки мне представились не чем иным, как шорохом женского платья, и на этой догадке я остановился. Открыв глаза, я увидел Зденку около своего ложа. Луна сверкала так ярко, что теперь я до мельчайших подробностей мог во всей их прелести различить дорогие мне когда-то черты, а что они значили для меня – это впервые мне дал почувствовать мой сон. Зденка, оказывается, и похорошела и развилась. Она точно так же была полуодета, как и в прошлый раз, когда я видел ее одну, – в простой сорочке, вышитой золотом и шелком, и в юбке, туго стянутой у талии.

– Зденка! – сказал я, подымаясь с постели. – Зденка, ты ли это?

– Да, это я, – отвечала она голосом тихим и печальным, – это я, твоя Зденка, которую ты забыл. Ах, зачем ты не вернулся раньше? Теперь всему конец, тебе надо скорее уезжать; еще минута – и ты пропал! Прощай, милый, прощай навсегда!

– Зденка, – сказал я, – у тебя, мне говорили, много было горя. Иди ко мне, побеседуем – так тебе станет легче!

– Ах, милый, – промолвила она, – не всему надо верить, что про нас говорят, но только поезжай, поезжай скорей, а коли останешься – гибели не миновать.

– Да что это за беда мне угрожает, Зденка? И неужели нельзя мне побыть и часа, одного только часа, чтобы поговорить с тобой?

Зденка вздрогнула, и какая-то странная перемена совершилась в ней.

– Да, – произнесла она, – час, один только час – верно ведь? – как в тот раз, когда я пела песню про старого короля, а ты пришел вот в эту комнату? Ты про то говоришь? Хорошо же, пускай, пробудь со мной час! Нет, нет, – опомнилась она вдруг, – уходи, уходи! Уходи скорей, слышишь, беги!.. Да беги же, пока не поздно!

Черты ее одушевляла какая-то дикая энергия.

Я не мог объяснить себе причину, которая заставляла ее так говорить, но Зденка была так хороша, что я решил, не слушаясь ее, остаться. Она же, уступив наконец моим просьбам, уселась рядом со мной, заговорила о прошлом и, краснея, призналась, что люблю

била меня сразу, как увидела. Мне между тем становилась постепенно заметной огромная перемена, которая с ней произошла. Ее былая сдержанность сменилась какой-то странной вольностью в обращении. Во взгляде ее, когда-то таком застенчивом, появилось что-то дерзкое. И по тому, как она держалась со мной, я с изумлением понял, что в ней мало осталось от той скромности, которая отличала ее некогда.

«Неужели же, – думал я, – Зденка не была той чистой и невинной девушкой, какой она казалась два года тому назад? Неужели она только притворялась из страха перед братом? Неужели я так грубо был обманут добродетельной внешностью? Но тогда почему же она уговаривала меня уехать? Или это, чего доброго, какое-то утонченное кокетство? А я еще думал, что знаю ее! Но все равно! Если Зденка и не Диана, какую я воображал ее себе, то я могу сравнить ее с другой богиней, не менее очаровательной и, ей-богу же, роль Адониса я предпочту роли Актеона!»

Если эта классическая фраза, с которой я обратился к самому себе, покажется вам ста-

ромодной, милостивые государыни, то примите в соображение, что я рассказываю вам о делах, случившихся в лето господне тысяча семьсот пятьдесят девятое. Мифология занимала тогда все умы, а я не имел притязаний на то, чтобы опередить свой век. Все с тех пор изменилось, а в не столь давние времена революция, упразднив воспоминания язычества, равно как и христианскую веру, поставила на их место богиню Разума. Богиня эта, милостивые государыни, никогда не покровительствовала мне, если я находился в обществе, подобном вашему, а в то время, о котором я повествую, я был менее чем когда-либо склонен приносить ей жертвы. Я всецело отдался чувству, которое влекло меня к Зденке, а она заигрывала со мной, и я весело отвечал ей в том же духе. Прошло уже некоторое время, как мы находились в такой упоительной близости друг к другу, но вот, примерив Зденке забавы ради все ее драгоценности, я собрался надеть ей на шею эмалевый крестик, который я нашел на столе. Зденка вздрогнула и отшатнулась.

– Милый, довольно ребячиться, – сказала

она, – оставь эти побрякушки, поговорим лучше о тебе, о твоих делах!

Ее замешательство навело меня на всякие мысли. Внимательней приглядываясь к ней, я заметил, что на шее у нее не было, как раньше, всех тех образков, ладанок, которые сербы в великом множестве носят с детства до самой смерти.

– Зденка, – спросил я, – где образки, что ты носила на шее?

– Потеряла, – с раздражением в голосе ответила она и тотчас заговорила о другом.

Во мне заговорило какое-то темное предчувствие, я не сразу его и осознал. Я уже собрался уходить, но Зденка удерживала меня.

– Как же это, – сказала она, – ты просил меня побыть с тобой час, а уж хочешь ехать!

– Ты права была, Зденка, что уговаривала меня ехать; я как будто слышу шум, боюсь, как бы нас не застали!

– Не бойся, милый, все кругом спит, лишь кузнечик в траве да жук на лету могут услышать, что я скажу тебе!

– Нет, Зденка, нет, надо мне ехать!

– погоди, погоди, – сказала Зденка, – ты до-

роже мне души моей, спасения моего, а ты говорил мне, что жизнь твоя и кровь – мои!..

– Но брат твой, Зденка, брат – чувствую я, что он придет.

– Успокойся, сердце мое, брат мой спит, его убаюкал ветер, что играет листвой. Сон его глубок, ночь длинна, а я тебя прошу – побудь со мной час!..

Зденка, когда говорила эти слова, была так хороша, что безотчетный ужас, томивший меня, уже уступил желанью остаться с ней. Все мое существо наполнило чувство, которое невозможно изобразить, – какая-то смесь боязни и вожделения. По мере того как моя воля ослабевала, Зденка становилась все нежнее, и я наконец решился уступить, вместе с тем давая себе слово быть настороже. Однако же я, как говорил вам только что, бывал всегда благоразумен лишь наполовину, и когда Зденка, заметив мою сдержанность, предложила прогнать ночной холод несколькими стаканами благородного вина, которое, по ее словам, достала у доброго отшельника, я согласился с такой готовностью, что она даже улыбнулась. Вино произвело свое действие. Неприятное

впечатление, вызванное пропажей образков и ее нежеланием надеть крестик, совершенно рассеялось уже на втором стакане, Зденка в своем небрежном наряде, с чудесными полураспущенными волосами, с драгоценностями, блестящими при лунном свете, показалась мне неотразимой. Я уже не сдерживал себя и крепко ее обнял.

Тут, милостивые государыни, мне было одно из тех таинственных откровений, объяснить которые я не сумею, но в которые я поневоле уверовал – в силу жизненного опыта, хотя раньше я и не склонен был признавать их.

Зденку я обвил руками с такой силой, что от этого движения крестик, который я вам показывал и который перед моим отъездом мне дала герцогиня де Грамон, острием вонзился мне в грудь. Острая боль, которую я ощутил в этот миг, явилась для меня как бы лучом света, пронизавшего все вокруг. Я посмотрел на Зденку, и мне стало ясно, что черты ее, все еще, правда, прекрасные, искажены смертной мукой, что глаза ее не видят и что ее улыбка – лишь судорога агонии на лице тру-

па. В тот же миг я почувствовал в комнате тлетворный запах – как из непритворенного склепа. Страшная истина предстала мне теперь во всем своем безобразии, и я, хоть и слишком поздно, вспомнил о предостережениях монаха. Я понял всю опасность своего положения и осознал, что все будет зависеть от моей отваги и самообладания. Я отвернулся от Зденки, чтобы не дать ей заметить ужас, написанный, должно быть, на моем лице. Тут взгляд мой упал на окно, и я увидел страшного Горчу, который опирался на окровавленный кол и, не отрываясь, смотрел на меня глазами гиены. За другим окном вырисовывалось бескровное лицо Георгия, который в эту минуту до ужаса похож был на отца. Оба они, казалось, следили за каждым моим движением, и я не сомневался, что при первой же моей попытке бежать они набросятся на меня. Поэтому я не показал вида, что их заметил, и огромным усилием воли заставил себя, милостивые государыни, да, заставил себя расточать Зденке такие же ласки, как и до этого страшного открытия. В то же время я с тоской и тревогой думал о том, как вырваться отсю-

да. Я заметил, что Горча и Георгий переглядываются со Зденкой и что им уже надоедает ждать. За стеной мне послышался также и голос женщины и крик детей, но такой ужасный, что его скорее можно было принять за вой диких кошек.

«Пора убираться, – подумал я, – и чем быстрее, тем лучше».

Обратившись к Зденке, я сказал погромче – так, чтобы меня услышала ее страшная родня:

– Я, дитя мое, очень устал, хочется лечь и поспать несколько часов, но сперва надо мне сходить посмотреть, не съел ли мой конь свой овес. Ты, пожалуйста, не уходи и дождись меня.

Я коснулся губами ее холодных, безжизненных губ. Лошадь моя, вся в пене, так и рвалась со своей привязи. Она и не дотронулась до овса, а от ржания, которым она меня встретила, я весь похолодел: я боялся, как бы оно не выдало мои намерения. Однако вампиры, слышавшие, наверно, мой разговор со Зденкой, еще не встревожились. Я посмотрел, открыты ли ворота, вскочил в седло и дал коню

шпоры.

Выезжая из ворот, я успел заметить, что сборище вокруг дома было весьма многочисленно и что большинство пришельцев прижималось глазами к стеклам окон. Кажется, мое внезапное бегство озадачило их сперва, так как некоторое время я не различал в ночном безмолвии иных звуков, кроме мерного топота моего коня. Я уже почти поздравлял себя с удачей, к которой привела моя хитрость, как вдруг услышал позади некий шум – точно рев урагана, разбушевавшегося в горах. Кричали, выли и как будто спорили друг с другом тысячи голосов. Потом все они, точно по уговору, умолкли, и слышен стал только быстрый топот ног, как если бы отряд пехотинцев приближался беглым шагом.

Я погонял своего коня, немилосердно вонзая ему в бока шпоры. В крови моей разливался лихорадочный огонь, я напрягался, делал над собой невероятные усилия, чтобы сохранить присутствие духа, и вдруг услышал позади себя голос:

– Погоди, погоди, милый! Ты дороже мне души моей, спасения моего! Погоди, погоди!

Твоя кровь – моя!

И меня сразу же коснулось холодное дыхание, и Зденка сзади меня прыгнула на лошадь.

– Сердце мое, милый мой! – говорила она, – вижу одного тебя, одного тебя хочу, я уже себе не госпожа, надо мной – высшая сила, – прости мне, милый, прости!

И, обвивая руками, она пыталась опрокинуть меня назад и укусить за горло. Между нами завязалась страшная и долгая борьба. Защищался я с трудом, но в конце концов мне удалось схватить Зденку одной рукой за пояс, другую – за косы, и, приподнявшись на стремени, я бросил ее на землю.

Тут силы оставили меня, и начался бред. Тысячи безумных и ужасных образов, кривляющихся личин преследовали меня. Сперва Георгий и брат его Петр неслись по краям дороги и пытались перерезать мне путь. Это им не удавалось, и я уже готов был возрадоваться, как вдруг, обернувшись, увидел старика Горчу, который, опираясь на свой кол, делал прыжки, подобно тирольцам, что у себя в горах таким путем переносятся через пропасти.

Горча тоже остался позади. Тогда его невестка, тащившая за собой своих детей, швырнула ему одного из мальчиков, а он поймал его на острие кола. Действуя колом, как пращой, он изо всех сил кинул ребенка мне вслед. Я уклонился от удара, но гаденыш вцепился – не хуже настоящего бульдога – в шею моего коня, и я с трудом оторвал его. Другого ребенка мне таким же образом кинули вслед, но он упал прямо под копыта лошади и был раздавлен. Не помню, что произошло еще, но когда я пришел в себя, было уже вполне светло, я лежал на дороге, а рядом издыхал мой конь.

Так кончилось, милостивые государыни, любовное увлечение, которое должно было бы навсегда отбить у меня охоту продолжать в том же духе. А стал ли я впоследствии более благоразумным – об этом вам могли бы рассказать некоторые из ровесниц ваших бабушек.

Как бы то ни было, я и сейчас содрогаюсь при мысли, что если бы враги одолели меня, то и я тоже сделался бы вампиром, но небо того не допустило, и вот, милостивые государыни, я не только ничуть не жажду вашей кро-

ви, но и сам, хоть старик, всегда буду счастлив пролить свою кровь за вас!

Конец 1830-х или начало 1840-х гг.

Зачинается песня от древних затей

ВОЛКИ

*Когда в селах пустеет,
Смолкнут песни селян
И седой забелеет
Над болотом туман,
Из лесов тихомолком
По полям волк за волком
Отправляются все на добычу.*

*Семь волков идут смело.
Впереди их идет
Волк осьмой, шерсти белой;
А таинственный ход
Заключает девятый.
С окровавленной пятой
Он за ними идет и хромает.*

*Их ничто не пугает.
На село ли им путь,
Пес на них и не лает;
А мужик идохнуть,
Видя их, не посмеет:
Он от страху бледнеет
И читает тихонько молитву.*

Волки церковь обходят
Осторожно кругом,
В двор поповский заходят
И шевелят хвостом,
Близ корчмы водят ухом
И внимают всем слухом,
Не ведутся ль там грешные речи?
Их глаза словно свечи,
Зубы шила острей.

Ты тринадцать карточей
Козьей шерстью забей
И стреляй по ним смело,
Прежде рухнет волк белый,
А за ним упадут и другие.
На селе ж, когда спящих
Всех разбудит петух,
Ты увидишь лежащих
Девять мертвых старух.

Впереди их седая,
Позади их хромая,
Все в крови... с нами сила Господ-
ня!

1840^{-е годы}

* * *

Где гнутся над омутом лозы,

*Где летнее солнце печет,
Летают и пляшут стрекозы,
Веселый ведут хоровод.*

*«Дитя, подойди к нам поближе,
Тебя мы научим летать,
Дитя, подойди, подойди же,
Пока не проснулася мать!*

*Под нами трепещут былинки,
Нам так хорошо и тепло,
У нас бирюзовые спинки,
А крылышки точно стекло!*

*Мы песенку знаем так много,
Мы так тебя любим давно —
Смотри, какой берег отлогий,
Какое песчаное дно!»*

1840-е годы

КУРГАН

*В степи, на равнине открытой,
Курган одинокий стоит:
Под ним богатырь знаменитый
В минувшие веки зарыт.*

*В честь витязя тризну свершали,
Дружина дралася три дня,*

Жрецы ему разом заклали
Всех жен и любимца коня.

Когда же его схоронили
И шум на могиле затих,
Певцы ему славу сулили,
На гусях гремя золотых:

«О витязь! делами твоими
Гордится великий народ,
Твое громоносное имя
Столетия все перейдет!

И если курган твой высокий
Сровнялся бы с полем пустым,
То слава, разлившись далеко,
Была бы курганом твоим!»

И вот миновались годы,
Столетия вслед протекли,
Народы сменили народы,
Лицо изменилось земли.

Курган же с высокой главою,
Где витязь могучий зарыт,
Еще не сровнялся с землею,
По-прежнему гордо стоит.

А витязя славное имя
До наших времен не дошло...
Кто был он? венцами какими
Свое он украсил чело?

Чью кровь проливал он рекою?
Какие он жег города?
И смертью погиб он какую?
И в землю опущен когда?

Безмолвен курган одинокий...
Наездник державный забыт,
И тризны в пустыне широкой
Никто уж ему не свершит!

Лишь мимо кургана мелькает
Сайгак, через поле скача,
Иль вдруг на него налетает,
Крылами треща, саранча.

Порой журавлиная стая,
Окончив подоблачный путь,
К кургану шумит подлетая,
Садится на нем отдохнуть.

Тушканчик порою проскачет
По нем при мерцании дня,
Иль всадник высоко маячит

На нем удалого коня,

*А слезы прольют разве тучи,
Над степью плывя в небесах,
Да ветер лишь свет летучий
С кургана забытого прах...*

1840-е годы

КНЯЗЬ РОСТИСЛАВ

*Уношу князю Ростиславу
затвори Днепр темне березе.
«Слово о полку Игореве»
Князь Ростислав в земле чужой
Лежит на дне речном,
Лежит в кольчуге боевой,
С изломанным мечом.*

*Днепра подводные красы
Лобзаться любят с ним
И гребнем витязя власы
Расчесывать златым.
Его напрасно день и ночь
Княгиня дома ждет...*

*Ладья его умчала прочь —
Назад не принесет!
В глухом лесу, в земле чужой,
В реке его приют,*

Ему попы за упокой
Молитвы не поют;

Но с ним подводные красы,
С ним дев веселых рой,
И чешет витязя власы
Их гребень золотой.

Когда же на берег Посвист
Седые волны мчит,
В лесу кружится желтый лист,
Ярясь, Перун гремит,
Тогда, от сна на дне речном
Внезапно пробудясь,
Очами мутными кругом
Взирает бедный князь.

Жену младую он зовет —
Увы! его жена,
Прождав напрасно целый год,
С другим обручена.

Зовет к себе и брата он,
Его обнять бы рад —
Но, сонмом грядней окружен,
Пирует дома брат.

Зовет он киевских попов,

*Велит себя отпеть —
Но до отчизны слабый зов
Не может долететь.*

*И он, склонясь на ржавый щит,
Опять тяжелым сном
В кругу русалок юных спит
Один на дне речном...*

1840-е годы

ВАСИЛИЙ ШИБАНОВ

*Князь Курбский от царского гнева
бежал,
С ним Васька Шибанов, стремян-
ный.*

*Дороден был князь. Конь измучен-
ный пал.*

Как быть среди ночи туманной?

*Но рабскую верность Шибанов
храня,*

*Своего отдает воеводе коня:
«Скачи, князь, до вражьего стану,
Авось я пешой не отстану».*

*И князь доскакал. Под литовским
шатром*

Опальный сидит воевода,

Стоят в изумленье литовцы кру-
гом,
Без шапок толпятся у входа,
Всяк русскому витязю честь воз-
дает;

Недаром дивится литовский на-
род,
И ходят их головы кругом:
«Князь Курбский нам сделался
другом».
Но князя не радует новая честь,
Исполнен он желчи и злобы;

Готовится Курбский царю пере-
честь
Души оскорбленной зазнобы:
«Что долго в себе я таю и ношу,
То все я пространно к царю напи-
шу,
Скажу напрямик, без изгиба,
За все его ласки спасибо».

И пишет боярин всю ночь напро-
лет,
Перо его местию дышит,
Прочтет, улыбнется, и снова про-
чтет,

*И снова без отдыха пишет,
И злыми словами язвит он царя,
И вот уж, когда занялася заря,
Поспело ему на отраду
Послание, полное яду.*

*Но кто ж дерзновенные князя слова
Отвезть Иоанну возьметсся?
Кому не любя на плечах голова,
Чье сердце в груди не сожметсся?
Невольню сомненья на князя на-
шли...*

*Вдруг входит Шибанов в поту и в
пыли:
«Князь, служба моя не нужна ли?
Вишь, наши меня не догнали!»
И в радости князь посылает раба,
Торопит его в нетерпенье:
«Ты телом здоров, и душа не сла-
ба,
А вот и рубли в награжденье!»*

*Шибанов в ответ господину: «Доб-
ро!
Тебе здесь нужнее твое серебро,
А я передам и за муки*

Письмо твое в царские руки».

*Звон медный несется, гудит над
Москвой;
Царь в смирной одежде трезво-
нит;
Зовет ли обратно он прежний по-
кой
Иль совесть навеки хоронит?
Но часто и мерно он в колокол
бьет,
И звону внимает московский на-
род,
И молится, полный боязни,
Чтоб день миновался без казни.*

*В ответ властелину гудят тере-
ма,
Звонит с ним и Вяземский лю-
тый,
Звонит всей опрични кромешная
тьма,
И Васька Грязной, и Малюта,
И тут же, гордяся своею красой,
С девичьей улыбкой, с змеиной ду-
шой,
Любимец звонит Иоаннов,
Отверженный Богом Басманов.*

Царь кончил; на жезл опираясь,
идет,
И с ним всех окольных собрание.
Вдруг едет гонец, раздвигает на-
род,
Над шапкою держит посланье.

И спрянул с коня он поспешно до-
лой,
К царю Иоанну подходит пешой
И молвит ему, не бледнея:
«От Курбского князя Андрея!»

И очи царя загорелися вдруг:
«Ко мне? От злодея лихого?
Читайте же, дьяки, читайте мне
вслух
Посланье от слова до слова!
Поддай сюда грамоту, дерзкий го-
нец!»

И в ногу Шибанова острый конец
Жезла своего он вонзает,
Налег на костыль – и внимает:
«Царю, прославляемому древле от
всех,
Но тонушу в сквернах обильных!»

Ответствуй, безумный, каких ради грех
Побил еси добрых и сильных?
Ответствуй, не ими ль, средь
тяжкой войны,
Без счета твердыни врагов сражены?
Не их ли ты мужеством славен?
И кто им бысть верностью равен?

Безумный! Иль мнишишь бессмертнее нас,
В небытную ересь прельщенный?
Внимай же! Придет возмездия час,
Писанием нам предреченный,
И аз, иже кровь в непрестанных боях
За тя, аки воду, лях и лях,
С тобой пред судьбою предстану!»
Так Курбский писал к Иоанну.

Шибанов молчал. Из пронзенной ноги
Кровь алым струилася током,
И царь на спокойное око слуги
Взирал испытующим оком.

Стоял неподвижно опричников
ряд;
Был мрачен владыки загадочный
взгляд,
Как будто исполнен печали;
И все в ожиданье молчали.

И молвил так царь: «Да, боярин
твой прав,
И нет уж мне жизни отрадной,
Кровь добрых и сильных ногами
поправ,
Я пес недостойный и смрадный!
Гонец, ты не раб, но товарищ и
друг,
И много, знать, верных у Курбско-
го слуг,
Что выдал тебя за бесценок!
Ступай же с Малютой в засте-
нок!»

Пытают и мучат гонца палачи,
Друг к другу приходят на смену:
«Товарищей Курбского ты уличи,
Открой их собачью измену!»
И царь вопрошает: «Ну что же го-
нец?
Назвал ли он вора друзей нако-

нец?»

«Царь, слово его все едино:
Он славит своего господина!»

День меркнет, приходит ночная
пора,

Скряпят у застенка ворота,
Заплечные входят опять масте-
ра,

Опять зачалася работа.

«Ну, что же, назвал ли злодеев го-
нец?»

«Царь, близок ему уж приходит
конец,

Но слово его все едино,

Он славит своего господина:

«О князь, ты, который предать
меня мог

За сладостный миг укоризны,

О князь, я молю, да простит тебе
Бог

Измену твою пред отчизной!

Услышь меня, Боже, в предсмерт-
ный мой час,

Язык мой немеет, и взор мой угас,
Но в сердце любовь и прощенье,

Помилуй мои прегрешенья!

Услышь меня, Боже, в предсмерт-
ный мой час,
Прости моего господина!
Язык мой немеет, и взор мой угас,
Но слово мое все едино:
За грозного, Боже, царя я молюсь,
За нашу святую, великую Русь,
И твердо жду смерти желан-
ной!»
Так умер Шибанов, стремянный.

1840-е годы

КНЯЗЬ МИХАЙЛО РЕПНИН

Без отдыха пирует с дружиной
удалой
Иван Васильич Грозный под ма-
тушкой-Москвой.
Ковшами золотыми столов бли-
стает ряд,
Разгульные за ними опричники си-
дят.

Вечерни льются вины на царские
ковры,
Поют ему с полночи лихие гуся-
ры,
Поют потехи брани, дела былых
времен,

*И взятие Казани, и Астрахани
плен.*

*Но голос прежней славы царя не
веселит,
Подать себе личину он кравчему
велит:*

*«Да здравствуют тиуны, оприч-
ники мои!*

*Вы ж громче бейте в струны, бая-
ны-соловьи!*

*ебе личину, други, пусть каждый
изберет,*

*Я первый открываю веселый хоро-
вод,*

*За мной, мои тиуны, опричники
мои!*

*Вы ж громче бейте в струны, бая-
ны-соловьи!»*

*И все подъяли кубки. Не поднял
лишь один;*

*Один не поднял кубка, Михайло
князь Репнин.*

*«О царь! Забыл ты Бога, свой сан
ты, царь, забыл!*

*Опричниной на горе престол свой
окружил!*

Рассыпъ державным словом де-
тей бесовских рать!
Тебе ли, властелину, здесь в маш-
каре плясать!»

Но царь, нахмуря брови: «В уме
ты, знать, ослаб
Или хмелен не в меру? Молчи,
строптивый раб!
Не возражай ни слова и машкару
надень —
Или клянусь, что прожил ты свой
последний день!»
Тут встал и поднял кубок Репнин,
правдивый князь:
«Опричина да сгинет! – он рек,
перекрестясь. —
Да здравствует во веки наш пра-
вославный царь!
Да правит человеки, как правил
ими встарь!
Да презрит, как измену, бесстыд-
ной лести глас!
Личины ж не надену я в мой по-
следний час!»
Он молвил и ногами личину рас-
топтал;

Из рук его на землю звенящий кубок пал...

*«Умри же, дерзновенный!» – царь
вскрикнул, разъярясь,
И пал, жезлом пронзенный, Репнин,
правдивый князь.*

*И вновь подъяты кубки, ковши
опять звучат,
За длинными столами опричники
шумят,
И смех их раздаётся, и пир опять
кипит,
Но звон ковшей и кубков царя не
веселит:
«Убил, убил напрасно я верного
слугу,
Вкушать веселье ныне я боле не
могу!»*

*Напрасно льются вины на царские
ковры,
Поют царю напрасно лихие гусли-
ры,
Поют потехи брани, дела былых
времен,
И взятие Казани, и Астрахани
плен.*

1840-е годы

* * *

В колокол, мирно дремавший, с
налета тяжелая бомба
Грянула; с треском кругом от нее
разлетелись осколки;
Он же вздрогнул, и к народу могучие
медные звуки
Вдаль потекли, негодуюя, гудя и на
бой созывая.

5 декабря 1855

* * *

Ходит Спесь, надувающихся,
С боку на бок переваливаясь.
Ростом-то Спесь аршин с четвертью,
Шапка-то на нем во целу сажень,
Пузо-то его все в жемчуге,
Сзади-то у него раззолочено.

А и зашел бы Спесь к отцу, к матери,
Да ворота некрашены!
А и помолился б Спесь во церкви
божией,
Да пол не метён!

Идет Спесь, видит: на небе раду-
га;
Повернул Спесь во другую сторо-
ну:
Не пригоже-де мне нагибатися!

1856

* * *

Ой, каб Волга-матушка да вспять
побежала!
Кабы можно, братцы, начать
жить сначала!
Ой, кабы зимою цветы расцвета-
ли!
Кабы мы любили да не разлюбля-
ли!
Кабы дно морское достать да из-
мерить!
Кабы можно, братцы, красным
девкам верить!
Ой, кабы все бабы были б молоди-
цы!
Кабы в полугаре поменьше води-
цы!
Кабы всегда чарка доходила до
рту!
Да кабы приказных побоку, да к
черту!

Да кабы звенели завсегда карма-
ны!
Да кабы нам, братцы, да свои
кафтаны!
Да кабы голодный всякий день обе-
дал!
Да батюшка б царь наш всю прав-
ду бы ведал!

1856

* * *

У приказных ворот собирался на-
род
Густо;
Говорит в простоте, что в его
животе
Пусто!
«Дурачье! – сказал дьяк, – из вас
должен быть всяк
В теле:
Еще в Думе вчера мы с трудом
осетра
Съели!»
На базар мужик вез через реку
обоз
Пакли;
Мужичок-то, вишь, прост, знай
везет через мост,

Так ли?

«Вишь, дурак! – сказал дьяк, – тебе мост, чай, пустяк, Дудки?

Ты б его поберег, ведь плыли ж поперек Утки!»

Как у Васьки Волчка вор стянул гусака, Вишь ты!

В полотенце свернул, да поймал караул, Ништо!

Дьяк сказал: «Дурачье! Полотенце-то чье?

Васьки?

Стало, Васька и тать, стало, Ваське и дать

Таску!»

Пришел к дьяку больной, говорит:

«Ой, ой, ой,

Дьяче!

Очень больно нутру, а уж вот поутру

Паче!

И не лечь, и не сесть, и не можно мне съесть

Столько!»

«Вишь, дурак! – сказал дьяк, – ну
не ешь натошак;
Только!»
Пришел к дьяку истец, говорит:
«Ты отец
Бедных,
Кабы ты мне помог – видишь де-
нег мешок
Медных, —
Я б те всыпал, ей-ей, в шапку де-
сять рублей,
Шутка!»
«Сыпь сейчас, – сказал дьяк, под-
ставляя колпак, —
Ну-тка!»

1857

ПРАВДА

Ах ты гой еси, правда-матушка!
Велика ты, правда, широка сто-
ишь!
Ты горами поднялась до поднебе-
сья,
Ты степями, государыня, раскину-
лась,
Ты морями разлилася синими,
Городами изукрасилась людными,
Разрослася лесами дремучими!

Не объехать кругом тебя во сто
лет,
Посмотреть на тебя – шапка ва-
лится!
Выезжало семеро братиев,
Семеро выезжало добрых молод-
цев,
Посмотреть выезжали молодцы,
Какова она, правда, на свете жи-
вет?

А и много про нее говорено,
А и много про нее писано,
А и много про нее лыгано.
Поскакали добры молодцы,
Все семеро братьев удалых,
И подъехали к правде со семи кон-
цов,
И увидели правду со семи сторон.

Посмотрели добры молодцы,
Покачали головами удалыми
И вернулись на свою родину,
А вернувшись на свою родину,
Всяк рассказывал правду по-свое-
му:
Кто горой называл ее высокою,
Кто городом людным торговы-

им,
Кто морем, кто лесом, кто степью.

И поспорили братья промеж собой,
И вымали мечи булатные,
И рубили друг друга до смерти,
И, рубясь, корились, ругались,
И брат брата звал обманщиком.

Наконец полегли до единого
Все семеро братьев удалих:
Умирая ж, каждый сыну наказывал,
Рубитися наказывал до смерти,
Полегли за правду за истину;
То ж и сын сыну наказывал,
И доселе их внуки рубятся,
Все рубятся за правду за истину,
На великое себе разорение.

А сказана притча не в осуждение,
Не в укор сказана – в поучение,
Людям добрым в уразумение.

1858

СТАРИЦКИЙ ВОЕВОДА

Когда был обвинен старицкий воевода,
Что, гордый знатностью и древностью рода,
Присвоить он себе мечтает царский сан,
Предстать ему велел пред очи
Иоанн.

И осужденному поднес венец богатый,
И ризою облек из жемчуга и злата,
И бармы возложил, и сам на свой престол
По шелковым коврам виновного возвел.

И, взор пред ним склонив, он пал среди палаты,
И, в землю кланяясь с покорностью трикраты,
Сказал: «Доволен будь в величии своем,
Се аз, твой раб, тебе на царстве бью челом!»

И, вспрянув тот же час со злобой

беспощадной,
Он в сердце нож ему вонзил рукою
жадной.

И, лик свой наклоня над свержен-
ным врагом,
Он наступил на труп узорным са-
погом
И в очи мертвые глядел, и с дро-
жью зыбкою
Державные уста змеилися улыб-
кой.

1858

* * *

1

– Государь ты наш батюшка,
Государь Петр Алексеевич,
Что ты изволишь в котле ва-
рить?

– Кашицу, матушка, кашицу,
Кашицу, сударыня, кашицу!

2

– Государь ты наш батюшка,
Государь Петр Алексеевич,
А где ты изволил крупы достать?
– За морем, матушка, за морем,

За морем, сударыня, за морем!

3

*– Государь ты наш батюшка,
Государь Петр Алексеевич,
Нешто своей крупы не было?
– Сорная, матушка, сорная,
Сорная, сударыня, сорная!*

4

*– Государь ты наш батюшка,
Государь Петр Алексеевич,
А чем ты изволишь мешать ее?
– Палкою, матушка, палкою,
Палкою, сударыня, пылкою!*

5

*– Государь ты наш батюшка,
Государь Петр Алексеевич,
А ведь каша-то выйдет крутень-
ка?
– Крутенька, матушка, крутень-
ка,
Крутенька, сударыня, крутенька!*

6

*– Государь ты наш батюшка,
Государь Петр Алексеевич,*

*А ведь каша-то выйдет солона?
– Солона, матушка, солона,
Солона, сударыня, солона!*

7

*– Государь ты наш батюшка,
Государь Петр Алексеевич,
А кто ж будет ее расхлебывать?
– Детушки, матушка, детушки,
Детушки, сударыня, детушки!*

1861

ЧУЖОЕ ГОРЕ

*В лесную чащу богатырь при луне
Въезжает в блестящем уборе;
Он в остром шеломе, в кольчатой
бронне
И свистнул беспечно, бочась на
коне:
«Какое мне деется горе!»
И едет он рысью, гремя и звеня,
Стучат лишь о корни копыты;
Вдруг с дуба к нему кто-то прыг
на коня!*

*«Эй, кто за плечами там сел у
меня?
Со мной, берегись, не шути ты!»*

И щупает он у себя за спиной,
И шарит, с досадой во взоре;
Но вземлет ответ: «Я тебе не чужой,
Ты, чай, об усобице слышал княжой,
Везешь Ярослава ты горе!»

«Ну, ври себе! – думает витязь,
смеясь, —
Вот, подлинно, было бы диво!
Какая твоя с Ярославом-то связь?
В Софийском соборе спит киевский князь,
А горе небось его живо?»

Но дале он едет, гремя и звеня,
С товарищем боле не споря:
Вдруг снова к нему кто-то прыг
на коня
И на ухо шепчет: «Вези ж и меня,
Я, витязь, татарское горе!»

«Ну, видно, не в добрый я выехал час!
Вишь, притча какая бывает!
Что шишек еловых здесь падает
вас!»

Так думает витязь, главою скло-
нясь,
А конь уже шагом шагает.

Но вот и ступать уж ему тяже-
ло,
И стал спотыкаться он вскоре,
А тут кто-то сызнова прыг за
седло!

«Какого там черта еще принес-
ло?»

«Ивана Васильича горе!»

«Долой вас! И места уж нет за
седлом!

Плеча мне совсем отдавило!»

«Нет, витязь, уж сели, долой не
сойдем!»

И едут они на коне вчетвером,
И ломится конская сила.

«Эх, – думает витязь, – мне б из
лесу вон

Да в поле скакать на просторе!

И как я без боя попался в полон?

Чужое, вишь, горе тащить осуж-
ден,

Чужое, прошедшее горе!»

ПАНТЕЛЕЙ-ЦЕЛИТЕЛЬ

*Пантелей-государь ходит по полю,
И цветов и травы ему по пояс,
И все травы пред ним расступаются,
И цветы все ему поклоняются.*

*И он знает их силы сокрытые,
Все благие и все ядовитые,
И всем добрым он травам,
невредным,
Отвечает поклоном приветным,
А которы растут виноватые,
Тем он палкой грозит суковатою.*

*По листочку с благих собирает он,
И мешок ими свой наполняет он,
И на хворую братию бедную
Из них зелие варит целебное.*

*Государь Пантелей!
Ты и нас пожалей,
Свой чудесный елей
В наши раны излей,
В наши многие раны сердечные;*

*Есть меж нами душою увечные,
Есть и разумом тяжко болящие,
Есть глухие, немые, незрящие,
Опоенные злыми отравами, —
Помоги им своими ты травами!*

*А еще, государь, —
Чего не было встарь —
И такие меж нас попадаются,
Что лечением всяким гнушаются.
Они звона не терпят гуслирного,
Подавай им товара базарного!*

*Всё, чего им не взвесить, не смерят
ти,
Всё, кричат они, надо похерити;
Только то, говорят, и действительно,
Что для нашего тела чувствитель-
тельно;
И приемы у них дубоватые,
И ученье-то их грязноватое,
И на этих людей,
Государь Пантелей,
Палки ты не жалей,
Суковатья!*

Февраль 1866

УШКУЙНИК

Одолела сила-удаль меня, молодца,
Не чужая, своя удаль богатырская!
А и в сердце тая удаль-то не вместится,
А и сердце-то от удали разорвется!

Пойду к батюшке на удаль горько плакаться,
Пойду к матушке на силу в ноги кланяться,
Отпустите свое детище дробное,
Новгородским-то порядкам неученое,

Отпустите поиграти игры детские:
Те ль обозы бить низовые, купецкие,
Багрить на море кораблики урманские,
Да на Волге жечь остроги басурманские!

Осень 1870

...Прочел новое, еще нигде не напечатанное стихотворение графа А. К. Толстого «Песня о Потоке-богатыре»; рукопись его принес Николай от автора и списал себе; по форме оно напоминает древнерусские былины и представляет аллегорически народ русский, в нем много ума и язвительности, несколько напоминающей его «Целителя Пантелея».

Н. С. Лесков [37]

(6 апреля 1871 года)

ПОТОК-БОГАТЫРЬ

1

*Зачинается песня от древних за-
тей,
От веселых пиров и обедов.
И от русых от кос, и от черных
кудрей,
И от тех ли от ласковых дедов,
Что с потехой охотно мешали
дела;
От их времени песня теперь пове-
ла,
От того ль старорусского краю,
А чем кончится песня – не знаю.*

2

У Владимира Солнышка праздник
идет,
Пированье идет, ликование,
С молодницами грядни ведут хоро-
вод,
Гуслей звон и кимвалов бряцанье.
Молодницы что светлые звезды го-
рят,
И под топот подошв, и под песен-
ный лад,
Изгибаясь, ходят красиво,
Молодцы выступают на диво.

3

Но Поток-богатырь всех других
превозмог:
Взглянет – искрами словно обме-
чет:
Повернется направо – что сизый
орел,
Повернется налево – что кречет;
Подвигается мерно и назад и вне-
ред,
То притопнет ногою, то шапкой
махнет,
То вдруг станет, потрянувши куд-
рями,

Пожимают на месте плечами.

4

*И дивится Владимир на стройную статью,
И дивится на светлое око:
«Никому, – говорит, – на Руси не плясать
Супротив молодого Потока!»
Но уж поздно, встает со княгиню князь,
На три стороны в пояс гостям поклонясь,
Всем желает довольным остаться —
Это значит: пора расставаться.*

5

*И с поклонами гости уходят домой,
И Владимир княгиню уводит,
Лишь один остается Поток молодой,
Подбочася, по-прежнему ходит,
То притопнет ногою, то шапкой махнет,
Не заметил он, как отошел хоро-
вод,*

Не слышал он Владимира ласку,
Продолжает по-прежнему пляс-
ку.

6

Вот уж месяц из-за лесу кажет
рога,
И туманом подернулись балки,
Вот и в ступе поехала баба-яга,
И в Днепре заплескались русалки,
В Заднепровье слышался лешего
вой,
По конюшням дозором пошел до-
мовой,
На трубе ведьма пологом машет,
А Поток себе пляшет да пляшет.

7

Сквозь царьградские окна в хором-
ную сень
Смотрят светлые звезды, дивясь,
Как по белым стенам богатыр-
ская тень
Ходит взад и вперед, подбочася.
Перед самой зарей утомился По-
ток,
Под собой уже резвых не чувству-
ет ног,

*На мостницы как сноп упадает,
На полтысячи лет засыпает.*

8

*Много снов ему снится в полты-
сячи лет:
Видит славные схватки и сечи,
Красных девиц внимает радуш-
ный привет
И с боярами судит на вече;
Или видит Владимира вежливый
двор,
За ковшами веселый ведет разго-
вор,
Иль на ловле со князем гуторит,
Иль в совете настойчиво спорит.*

9

*Пробудился Поток на Москве на
реке,
Пред собой видит терем дубовый;
Под узорным окном, в закутном
цветнике,
Распускается розан махровый;
Полюбился Поток красивому цве-
ток,
И понюхать его норовится По-
ток,*

Как в окне показалась царевна,
На Потока накинута гневно:

10

«Шеромыжник, болван, неученый
холоп!

Чтоб тебя в турий рог искриви-
ло!

Поросенок, теленок, свинья, эфи-
оп,

Чертов сын, неумытое рыло!

Кабы только не этот мой деви-
чий стыд,

Что инога словца мне сказать не
велит,

Я тебя, прощельгу, нахала,

И не так бы еще обругала!»

11

Испугался Поток, не на шутку
струхнул:

«Поскорей унести бы мне ноги!»

Вдруг гремят тулумбасы; идет
караул,

Гонит палками встречных с доро-
ги;

Едет царь на коне, в зипуне из пар-
чи,

*А кругом с топорами идут пала-
чи, —
Его милость собираются тешить,
Там кого-то рубить или вешать.*

12

*И во гневе за меч ухватился По-
ток:
«Что за хан на Руси своеволит?»
Но вдруг слышит слова: «То зем-
ной едет бог,
То отец наш казнить нас изво-
лит!»
И на улице, сколько там было
толпы,
Воеводы, бояре, монахи, попы,
Мужики, старики и старухи —
Все пред ним повалились на брю-
хи.*

13

*Удивляется притче Поток моло-
дой:
«Если князь он, иль царь напоследок,
Что ж метут они землю пред
ним бородой?
Мы честили князей, но не эдак!*

Да и полно, уж вправду ли я на Руси?

От земного нас бога господь упаси!

*Нам Писанием велено строго
Признавать лишь небесного бога!»*

14

И пытается у встречного он молодца:

«Где здесь, дядя, собирается вече?»

Но на том от испугу не видно лица:

«Чур меня, – говорит, – человек!»

И пустился бежать от Потока бегом;

У того ж голова заходила кругом,

Он на землю как сноп упадает,

Лет на триста еще засыпает.

15

Пробудился Поток на другой на реке,

На какой? не припомнит преданье.

Погуляв себе взад и вперед в холодке,

*Входит он во просторное зданье,
Видит: судьи сидят, и торже-
ственно тут
Над преступником гласный свер-
шается суд.
Несомненны и тяжки улики,
Преступленья ж довольно велики:*

16

*Он отца отравил, пару теток
убил,
Взял подлогом чужое именье
Да двух братьев и трех дочерей
задушил —
Ожидают присяжных решенья.
И присяжные входят с довольным
лицом:
«Хоть убил, – говорят, – не вино-
вен ни в чем!»
Тут платками им слева и справа
Машут барыни с криками: bravo!*

17

*И промолвил Поток: «Со присяж-
ными суд
Был обычен и нашему миру,
Но когда бы такой подвернулся
нам шут,*

*В триста кун заплатил бы он ви-
ру!»*

*А соседи, косясь на него, говорят:
«Вишь, какой затесался сюда ре-
троград!*

*Отсталой он, то видно по пла-
тью,
Притеснять хочет меньшую бра-
тью!»*

18

*Но Поток из их слов ничего не
поймет,
И в другое он здание входит;
Там какой-то аптекарь, не то
патриот,
Пред толпою ученье проводит:
Что, мол, нету души, а одна
только плоть
И что если и впрямь существует
Господь,
То он только есть вид кислорода,
Вся же суть в безначалье народа.*

19

*И, увидя Потока, к нему свысока
Патриот обратился сурово:
«Говори, уважаешь ли ты мужи-*

ка?»

Но Поток вопрошает: «Какого?»
«Мужика вообще, что смиреньем
велик!»

Но Поток говорит: «Есть мужик
и мужик:

Если он не пропьет урожаю,
Я тогда мужика уважаю!»

20

«Феодал! – закричал на него патриот, —
Знай, что только в народе спасенье!»

Но Поток говорит: «Я ведь тоже народ,
Так за что ж для меня исключенье?»

Но к нему патриот: «Ты народ, да не тот!

Править Русью призван только
черный народ!

То по старой системе всяк равен,
А по нашей лишь он полноправен!»

21

Тут все подняли крик, словно дернул их бес,

Угрожают Потокую бедою.
Слышно: почва, гуманность, ком-
муна, прогресс.
И что кто-то заеден средою.
Меж собой вперерыв, наподобье
галчат
Все об общем каком-то о деле
кричат
И Потока с язвительным тоном
Называют остзейским бароном.

22

И подумал Поток: «Уж, Господь
борони,
Не проснулся ли слишком я рано?
Ведь вчера еще, лежа на брюхе,
они
Обожали московского хана,
А сегодня велят мужика обо-
жать!
Мне сдается, такая потребность
лежать
То пред тем, то пред этим на
брюхе
На вчерашнем основана духе?»

23

В третий входит он дом, и объял

его страх:
Видит, в длинной палате вонючей,
Все острижены вокруг, в сюртуках
и в очках,
Собрались красавицы кучей.
Про какие-то женские споря права,
Совершают они, засуча рукава,
Пресловутое общее дело:
Потрошат чье-то мертвое тело.

24

Ужаснулся Поток, от красавиц бежит,
А они восклицают ехидно:
«Ах, какой он пошляк! как он неразвит!
Современности вовсе не видно!»
Но Поток говорит, очутясь на дворе:
«То ж бывало у нас и на Лысой Горе,
Только ведьмы хоть голы и босы,
Но, по крайности, есть у них косы!»

25

*И что видеть и слышать ему до-
велось:*

*И тот суд, и о боге ученье,
И в сиянье мужик, и девицы без
кос —*

*Всё приводит его к заключенью:
«Много разных бывает на свете
чудес!*

*Я не знаю, что значит какой-то
прогресс,*

*Но до здравого русского веча
Вам еще, государи, далече!»*

26

*И так сделалось гадко и тошно
ему,*

*Что он наземь как сноп упадает
И под слово прогресс, как в чаду и
дыму,*

Лет на двести еще засыпает.

*Пробужденья его мы теперь подо-
ждем;*

*Что, проснувшись, увидит, о том
и споем,*

*А покудова он не проспится,
Наудачу нам петь не годится.*

...Федор Михайлович (Достоевский) прочел «Власа» Некрасова – и как прочел! Зала дрожала от рукоплесканий, когда он кончил чтение. Но публика не хотела еще расстаться с знаменитым чтецом и просила его еще что-нибудь прочесть. Федор Михайлович и на этот раз не заставил себя долго просить; он сам, видимо, был сильно наэлектризован энтузиазмом публики и не ощущал еще усталости. Он прочел маленькую поэму графа А. К. Толстого «Илья Муромец» и при этом очаровал своих слушателей художественною передачею полной эпической простоты воркотни старого, заслуженного киевского богатыря-вельможи, обидевшегося на князя Владимира Красное Солнышко за то, что тот как-то обнес его чарою вина на пиру, покинувшего чрез это его блестящий двор и уезжавшего теперь верхом на своем «чубаром» в свое родное захолустье, чрез дремучий лес. Когда Федор Михайлович читал финальные стихи поэмы:

*И старик лицом суровым
Просветлел опять,
По нутру ему здоровым*

*Воздухом дышать;
Снова веет воли дикой
На него простор,
И смолой и земляникой
Пахнет темный бор...*

одушевление его, казалось, достигло высшей степени, потому что заключительные слова «и смолой и земляникой пахнет темный бор...» были произнесены им с такою удивительною силою выражения в голосе, что иллюзия от истинно художественного чтения произошла полная: всем показалось, что в зале «Благородки» действительно запахло смолою и земляникою... Публика остолбенела, и, благодаря этому обстоятельству, оглушительный гром рукоплесканий раздался лишь тогда, когда Федор Михайлович сложил книгу и встал со стула.

М. А. Александров

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

1

*Под броней с простым набором,
Хлеба кус жуя,
В жаркий полдень едет бором
Дедушка Илья;*

2

*Едет бором, только слышно,
Как бряцает бронь,
Топчет папоротник пышный
Богатырский конь.*

3

*И ворчит Илья сердито:
«Ну, Владимир, что ж?
Посмотрю я, без Ильи-то
Как ты проживешь?»*

4

*Двор мне, княже, твой не диво!
Не пиров держусь!
Я мужик неприхотливый,
Был бы хлеба кус!*

5

*Но обнес меня ты чарой
В очередь мою —
Так шагай же, мой чубарый,
Уноси Илью!*

6

*Без меня других довольно:
Сядут – полон стол!*

*Только лакомы уж больно,
Любят женский пол!*

7

*Все твои богатыри-то,
Значит, молодежь;
Вот без старого Ильи-то
Как ты проживешь!*

8

*Тем-то я их боле стою,
Что забыл уж баб,
А как тресну булавою,
Так еще не слаб!*

9

*Правду молвить, для княжого
Не гожусь двора;
Погулять по свету снова
Без того пора!*

10

*Не терплю богатых сеней,
Мраморных тех плит;
От царьградских от курений
Голова болит!*

11

*Душно в Киве, что в скрине,
Только киснет кровь!
Государыне-пустыне
Поклонюся вновь!*

12

*Вновь изведаю я, старьй,
Волюшку мою —
Ну же, ну, шагай, чубарьй,
Уноси Илью!»*

13

*И старик лицом суровьм
Просветлел опять,
По нутру ему здоровьм
Воздухом дышать;*

14

*Снова веет воли дикой
На него простор,
И смолой и земляником
Пахнет темный бор.*

Май 1871

*** * ***

1

Порой веселой мая

*По лугу вертограда,
Среди цветов гуляя,
Сам-друг идут два лада.*

2

*Он в мурмолке червленной,
Каменьем корзно шито,
Тесьмою золоченой
Вкрест голени обвиты;*

3

*Она же, молодая,
Вся в ткани серебристой;
Звонят на ней, сверкая,
Граненые мониста,*

4

*Блестит венец наборный,
А хвост ее понявы,
Шурша фатой узорной,
Метет за нею травы.*

5

*Ей весело, невесте,
«О милый! – молвит другу, —
Не лепо ли нам вместе
В цветах идти по лугу?»*

6

*И взор ее он встретил,
И стан ей обнял гибкий.
«О милая! – ответил
Со страстною улыбкой, —*

7

*Здесь рай с тобою сущий!
Воистину все лепо!
Но этот сад цветущий
Засеют скоро репой!»*

8

*«Как быть такой невзгоде! —
Воскликнула невеста, —
Ужели в огороде
Для репы нету места?»*

9

*А он: «Моя ты лада!
Есть место репе, точно,
Но сад испортить надо
Затем, что он цветочный!»*

10

*Она ж к нему: «Что ж будет
С кустами медвежины,*

*Где каждым утром будит
Нас рокот соловьиный?»*

11

*«Кусты те вырвать надо
Со всеми их корнями,
Индеек здесь, о лада,
Хотят кормить червями!»*

12

*Подняв свои ресницы,
Спросила тут невеста:
«Ужель для этой птицы
В курятнике нет места?»*

13

*«Как месту-то не быти!
Но соловьев, о лада,
Скорее истребити
За бесполезность надо!»*

14

*«А роща, где в тени мы
Скрываемся от жара,
Ее, надеюсь, мимо
Пройдет такая кара?»*

15

*«Ее порубят, лада,
На здание такое,
Где б жирные говьяда
Кормились на жаркое;*

16

*Иль даже выйдет проще,
О жизнь моя, о лада,
И будет в этой роще
Свиной пастися стадо».*

17

*«О друг ты мой единый! —
Спросила тут невеста, —
Ужель для той скотины
Иного нету места?»*

18

*«Есть много места, лада,
Но наш приют тенистый
Затем изгадить надо,
Что в нем свежо и чисто!»*

19

*«Но кто же люди эти, —
Воскликнула невеста, —
Хотящие, как дети,
Чужое гадить место?»*

20

*«Чужим они, о лада,
Не многое считают:
Когда чего им надо,
То тащут и хватают».*

21

*«Иль то матерьялисты, —
Невеста вновь спросила, —
У коих трубочисты
Суть выше Рафаила?»*

22

*«Им имена суть многи,
Мой ангел серебристый,
Они ж и демагоги,
Они ж и анархисты.*

23

*Толпы их все грызутся,
Лишь свой откроют форум,
И порознь все клянутся
In verba вожакорум.*

24

*В одном согласны все лишь:
Коль у других именье*

Отымешь и разделишь,
Начнется вожделенье.

25

Весь мир желают сгладить
И тем внести равенство,
Что всё хотят загадить
Для общего блаженства!»

26

«Поведай, шуток кроме, —
Спросила тут невеста, —
Им в сумасшедшем доме
Ужели нету места?»

27

«О свет ты мой желанный!
Душа моя ты, лада!
Уж очень им пространный
Построить дом бы надо!

28

Вопрос: каким манером
Такой им дом построить?
Дозволить инженерам —
Премного будет стоить;

29

*А земству предоставитъ
На их же издивенье,
То значило б оставить
Постройку без движенья!»*

30

*«О друг, что ж делать надо,
Чтоб не погибнуть краю?»
«Такое средство, лада,
Мне кажется, я знаю:*

31

*Чтоб русская держава
Спаслась от их затеи,
Повесить Станислава
Всем вожакам на шею!*

32

*Тогда пойдет все гладко
И станет все на место!»
«Но это средство гадко!» —
Воскликнула невеста.*

33

*«Ничуть не гадко, лада,
Напротив, превосходно:
Народу без наклада,
Казне ж весьма доходно».*

34

*«Но это средство скверно!» —
Сказала дева в гневе.
«Но это средство верно!» —
Жених ответил деве.*

35

*«Как ты безнравствен, право! —
В сердцах сказала дева, —
Ступай себе направо,
А я пойду налево!»*

36

*И оба, вздевши длани,
Расстались рассержёны,
Она в сребристой ткани,
Он в мурмолке червленной.*

37

*«К чему ж твоя баллада?» —
Иная спросит дева.
— О жизнь моя, о лада,
Ей-ей, не для припева!*

38

*Нет, полн иного чувства,
Я верю реалистам:*

*Искусство для искусства
Равняю с птичьим свистом:*

39

*Я, новому ученью
Отдавшись без раздела,
Хочу, чтоб в пенопенье
Всегда сквозило дело.*

40

*Служите ж делу, струны!
Уймите праздный ропот!
Российская коммуна,
Прими мой первый опыт!*

Июнь 1871

...Особенной любовью Есенина пользовался А. К. Толстой, даже во всех своих оперных, костюмерных балладах на былинные русские темы. Помнится, однажды завязался у нас по этому поводу дружеский спор.

– Нет! – кричал Есенин. – Не прав Чехов, когда говорит, что Толстой как надел боярскую шубу на маскараде, так и забыл ее снять, выйдя на улицу. Это не шуба, это душа у него боярская. Он своей Руси не выдумывал.

Была, должно быть, такая.

Широкого он сердца человек! Ему бы тройку, да вожжи в руки, да в лунную ночь с откоса, по Волге, – так, чтобы только колокольчики да снежная пыль кругом!

Есть такая штучка у Толстого, «Сватовство»:

*По вешнему по складу
Мы песню завели,
Ой ладо, диди-ладо!
Ой ладо, лель-люли!*

– так я за эту штучку сердце отдам! А «Алеша Попович»! А «Садко»! Помнишь, там на дне, у царя водяного, готов Садко от всех сокровищ отказаться

*...за крик перепелки во ржи,
За скрип новгородской телеги!*

А то, что он был выдумщик и мечтатель, это совсем не плохо. Поэту надо тосковать по несбыточному. Без этого он не поэт.

Вс. Рождественский

СВАТОВСТВО

*По вешнему по складу
Мы песню завели,
Ой ладо, диди-ладо!
Ой ладо, лель-люли!*

2

*Поведай, песня наша,
На весь на русский край,
Что месяцев всех краше
Веселый месяц май!*

3

*В лесах, в полях отрада,
Все вербы расцвели —
Ой ладо, диди-ладо!
Ой ладо, лель-люли!*

4

*Затем так бодр и весел
Владимир, старый князь,
На подлокотни кресел
Сидит облокотясь.*

5

*И с ним, блестя нарядом,
В красе седых кудрей,
Сидит княгиня рядом
За пряжей за своей;*

6

*Кружась, жужжит и пляшет
Ее веретено,
Черемухою пашет
В открытое окно;*

7

*И тут же молодые,
Потупившие взгляд,
Две дочери княжие
За пальцами сидят;*

8

*Сидят они так тихо,
И взоры в ткань ушли,
В груди ж поется лихо:
Ой ладо, лель-люли!*

9

*И вовсе им не шьется,
Хоть иглы изломай!
Так сильно сердце бьется
В веселый месяц май!*

10

*Когда ж берет из мочки
Княгиня волокно,*

*Украдкой обе дочери
Косятся на окно.*

11

*Но вот, забыв о пряже,
Княгиня молвит вдруг:
«Смотри, два гостя, княже,
Подъехали сам-друг!*

12

*С коней прыгнули смело
У самого крыльца,
Узнать я не успела
Ни платья, ни лица!»*

13

*А князь смеется: «Знаю!
Пусть входят молодцы,
Не дальнего, чай, краю
Залетные птенцы!»*

14

*И вот их входит двое,
В лохмотьях и тряпьях,
С пеньковой бородою,
В пеньковых волосах;*

15

*Вошедши, на икону
Крестятся в красный кут,
А после по поклону
Хозяевам кладут.*

16

*Князь просит их садиться,
Он хитрость их проник,
Заране веселится
Обману их старик.*

17

*Но он обычай знает
И речь заводит сам:
«Отколе, – вопрошает, —
Пожаловали к нам?»*

18

*«Мы, княже-господине,
Мы с моря рыбаки,
Сейчас завязли в тине
Среди Днепра-реки!*

19

*Двух рыбок златоперых
Хотели мы поймать,
Да спрятались в кокорях,
Пришлось подождать!»*

20

*Но князь на это: «Братья,
Неправда, ей-же-ей!
Не мокры ваши платья,
И с вами нет сетей!»*

21

*Днепра ж светлы стремнины,
Чиста его вода,
Не видано в нем тины
От веку никогда!»*

22

*На это гости: «Княже,
Коль мы не рыбаки,
Пожалуй, скажем глаже:
Мы брынские стрелки!»*

23

*Стреляем зверь да птицы
По дебрям по лесным,
А ноне две куницы
Пушистые следим;*

24

*Трущобой шли да дромом,
Досель удачи нет,*

*Но нас к твоим хоромам
Двойной приводит след!»*

25

*А князь на это: «Что вы!
Трущобой вы не шли,
Лохмотья ваши новы
И даже не в пыли!»*

26

*Куниц же бьют зимою,
А ноне месяц май,
За зверью за иною
Пришли ко мне вы, чай!»*

27

*«Ну, княже, – молвят гости, —
Тебя не обмануть!
Так скажем уж попросту,
Кто мы такие суть:»*

28

*Мы бедные калики,
Мы старцы-гусляры,
Но петь не горемыки,
Где только есть пирь!»*

29

*Мы скрозь от Новаграда
Сюда с припевом шли:
Ой ладо, диди-ладо!
Ой ладо, лель-люли!*

30

*И если бы две свадьбы
Затеял ты сыграть,
Мы стали распевать бы
Да струны разбирать!»*

31

*«Вот это, – князь ответил, —
Другой выходит стих,
Но гуслей не заметил
При вас я никаких;*

32

*А что с припевом шли вы
Сквозь целый русский край,
Оно теперь не диво,
В веселый месяц май!*

33

*Теперь в ветвях березы
Поют и соловьи,
В лугах поют стрекозы,
В полях поют ручьи,*

34

*И много, в небе рея,
Поет пернатых стай —
Всех месяцев звончее
Веселый месяц май!*

35

*Но строй гусярный, други,
Навряд ли вам знаком:
Вы носите кольчуги,
Вы рубитесь мечом!*

36

*В мешке не спрятать шила,
Вас выдал речи звук:
Пленкович ты Чурило,
А ты Степаныч Дюк!»*

37

*Тут с них лохмотья спали
И, светлы как заря,
Два славные предстали
Пред ним богатыря;*

38

*Их бороды упали,
Смеются их уста,*

*Подобная едва ли
Встречалась красота;*

39

*Их кровь от сил избытка
Играет горячо,
Корсунская накидка
Надета на плечо;*

40

*Коты из аксамита
С камением цветным,
А бёрга вкрест обвиты
Обором золотным;*

41

*Орлиным мечут оком
Не взоры, но лучи;
На поясе широком
Крыжатые мечи.*

42

*С притворным со смущеньем
Глядят на них княжны,
Как будто превращеньем
И впрямь удивлены;*

43

*И взоры тотчас тихо
Склонили до земли,
А сердце скачет лихо:
Ой ладо, лель-люли!*

44

*Княгиня ж молвит: «Знала
Я это наперед,
Недаром куковала
Кукушка у ворот,*

45

*И снилось мне с полночи,
Что, голову подняв
И в лес уставя очи,
Наш лаёт волкодав!»*

46

*Но, вид приняв суровый,
Пришельцам молвит князь:
«Ответствуйте: почто вы
Вернулись, не спросясь?»*

47

*Указан был отселе
Вам путь на девять лет —
Каким же делом смели
Забывать вы мой запрет?»*

48

«Не будь, о княже, гневен!
Твой двор чтоб видеть вновь,
Армянских двух царевен
Отвергли мы любовь!

49

Зане твоих издавна
Мы любим дочерей!
Отдай же их, державный,
За нас, богатырей!»

50

Но, вид храня суровый,
А сам в душе смеясь:
«Мне эта весть не нова, —
Ответил старый князь. —

51

От русской я державы
Велел вам быть вдали,
А вы ко мне лукаво
На промысел пришли!

52

Но рыб чтоб вы не смели
Ловить в моем Днепру,

*Все глубли я и мели
Оцепами запру!*

53

*Чтоб впредь вы не дерзали
Следить моих кунци,
Ограду я из стали
Поставлю круг грани;*

54

*Ни неводом вам боле,
Ни сетью не ловить —
Но будет в вашей воле
Добром их приманить!*

55

*Коль быть хотят за вами,
Никто им не мешай!
Пускай решают сами
В веселый месяц май!»*

56

*Услыша слово это,
С Чурилой славный Дюк
От дочек ждут ответа,
Сердец их слышен стук.*

57

Что дочери им сказали —
Кто может, отгадай!
Мы слов их не слышали
В веселый месяц май!

58

Мы слов их не слышали,
Нам свист мешал дроздов,
Нам иволги мешали
И рокот соловьев!

59

И звонко так в болоте
Кричали журавли,
Что мы, при всей охоте,
Расслышать не могли!

60

Такая нам досада,
Расслышать не могли!
Ой ладо, диди-ладо!
Ой ладо, лель-люли!

Июнь 1871

Земля наша богата, порядка в ней лишь нет...

БЛАГОРАЗУМИЕ

*Поразмыслив аккуратно,
Я избрал себе дорожку
И иду по ней без шума,
Понемножку, понемножку!*

*Впрочем, я ведь не бесстрастен,
Я не холоден душою,
И во мне ведь закипает
Ретивое, ретивое!*

*Если кто меня обидит,
Не спущу я, как же можно!
Из себя как раз я выйду,
Осторожно, осторожно!*

*Без ума могу любить я,
Но любить, конечно, с толком,
Я готов и правду резать,
Тихомолком, тихомолком!*

Если б брат мой захлебнулся,

*Я б не стал махать руками,
Тотчас кинулся бы в воду,
С пузырями, с пузырями!*

*Рад за родину сразиться!
Пусть услышу лишь картечь я,
Грудью лягу в чистом поле,
Без увечья, без увечья!*

*Послужу я и в синклите,
Так чтоб ведали потомки;
Но уж если пасть придется —
Так соломки, так соломки!*

*Кто мне друг, тот друг мне веч-
но,
Все родные сердцу близки,
Всем союзникам служу я,
По-австрийски, по-австрийски!*

Конец 1853 или начало 1854

A. M. ЖЕМЧУЖНИКОВУ

*Вхожу в твой кабинет,
Ищу тебя, бездельник,
Тебя же нет как нет,
Знать, нынче понедельник.*

*Пожалуй приезжай
Ко мне сегодня с братом:
Со мной откушать чай
И утку с кресс-салатом.*

*Венгерское вино
Вас ждет (в бутылке ль, в штофе
ль —
Не знаю), но давно
Заказан уж картофель.*

*Я в городе один,
А мать живет на даче,
Из-за таких причин
Жду ужину удачи.*

*Армянский славный край
Лежит за Араратом,
Пожалуй приезжай
Ко мне сегодня с братом!*

*Исполнен вечным идеалом,
Я не служить рожден, а петь!
Не дай мне, Феб, быть генералом,
Не дай безвинно поглупеть!*

*О Феб всесильный! на параде
Услышь мой голос свысока:
Не дай постичь мне, бога ради,
Святой поэзии носка!*

5 октября 1856

ВЕСЕННИЕ ЧУВСТВА НЕОБУЗДАННОГО ДРЕВНЕГО

*Дождусь ли той истории,
Когда придет весна
И молодой цикории
Засветит желтизна!*

*Уже любовной жаждою
Вся грудь моя горит,
И вспрыгнуть щепка каждая
На щепку норовит.*

Земля цветами новыми

*Покрылася опять,
Пошли быки с коровами
В зеленый луг гулять,*

*И, силой обаятельной
За стадом их влеком,
Готов я бессознательно
Сам сделаться быком!*

Февраль 1859

БУНТ В ВАТИКАНЕ

*Взбунтовались кастраты,
Входят в папины палаты:
«Отчего мы не женаты?
Чем мы виноваты?»*

*Говорит им папа строго:
«Это что за синагога?
Не боитесь вы бога?
Прочь! Долой с порога!»*

*Те к нему: «Тебе-то ладно,
Ты живешь себе прохладно,
А вот нам так безотраднo,
Очень уж досадно!*

Ты живешь себе на воле,

Чай, натер себе мозоли,
А скажи-ка: таково ли
В наше горькой доле?»

Говорит им папа: «Дети,
Было прежде вам глядети,
Потеряв же вещи эти,
Надобно терпети!

Жалко вашей мне утраты;
Я, пожалуй, в виде платы,
Прикажу из лучшей ваты
Вставить вам заплаты!»

Те к нему: «На что нам вата?
Это годно для халата!
Не мягка, а жестковата
Вещь, что нам нужна-то!»

Папа к ним: «В раю дам место,
Будет каждому невеста,
В месяц по два пуда теста.
Посудите: вес-то!»

Те к нему: «Да что нам в тесте,
Будь его пудов хоть двести,
С ним не вылепишь невесте
То, чем жить с ней вместе!»

«Эх, нелегкая пристала! —
Молвил папа с пьедестала, —
Уж коль с воза что упало,
Так пиши, пропало!»

Эта вещь, – прибавил папа, —
Пропади хоть у Приапа,
Нет на это эскулапа,
Эта вещь – не шляпа!

Да и что вы в самом деле?
Жили б вы в моей капелле,
Под начальством Антонелли,
Да кантаты пели!»

«Нет, – ответственуют кастра-
ты, —
Пий ты этакий девятый,
Мы уж стали сиповаты,
Поючи кантаты!»

А не хочешь ли для дива
Сам пронеть нам «Casta diva»?
Да не грубо, а пискливо,
Тонко особливо?»

Испугался папа: «Дети,
Для чего ж мне тонко пети?»

Да и как мне разумеги
Предложенья эти?»

Те к нему: «Проста наука,
В этом мы тебе порука,
Чикнул раз, и вся тут штука —
Вот и бритва! Ну-ка!»

Папа ж думает: «Оно-де
Было б даже не по моде
Щеголять мне в среднем роде!»
Шлет за Де-Мероде.

Де-Мероде ж той порою,
С королем готовясь к бою,
Занимался под горою
Папской пехтурою:

Все в подрясниках шелковых,
Ранцы их из шкурок новых,
Шишек полные еловых,
Сам в чулках лиловых.

Подбегает Венерати:
«Вам, – кричит, – уж не до рати!
Там хотят, совсем некстати,
Папу холощати!»

Искушенный в ратном строе,
Де-Мерод согнулся втрое,
Видит, дело-то плохое,
Молвит: «Что такое?»

Повторяет Венерати:
«Вам теперь уж не до рати,
Там хотят, совсем не кстати,
Папу холощати!»

Вновь услышав эту фразу,
Де-Мероде понял сразу,
Говорит: «Оно-де с глазу;
Слушаться приказу!»

Затрубили тотчас трубы,
В войске вспыхнул жар сугубый,
Так и смотрят все, кому бы
Дать прикладом в зубы?

Де-Мероде, в треуголке,
В рясе только что с иголки,
Всех везет их в одноколке
К папиной светелке.

Лишь вошли в нее солдаты,
Испугались кастраты,
Говорят: «Мы виноваты!

Будем петь без платы!»

*Добрый папа на свободе
Вновь печется о народе,
А кастратам Де-Мероде
Молвит в этом роде:*

*«Погодите вы, злодеи!
Всех повешу за... я!»
Папа ж рек, слегка краснея:
«Надо быть умнее!» (Вариант для дам:)*

...

*А кастратам Де-Мероде
Молвит в этом роде:
«Всяк, кто в этот бунт замешан,
Заслужил бы быть повешен!»*

*Папа ж рек, совсем утешен:
«Я один безгрешен!»
И конец настал всем спорам;
Прежний при дворе декорум,
И пищат кастраты хором
Вплоть *ad finem seculorum!*..[38]*

Февраль – март 1864

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО ОТ ГОСТОМЫСЛА ДО ТИМАШЕВА

Вся земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет.

Нестор, Летопись, стр. 8

1

*Послушайте, ребята,
Что вам расскажет дед.
Земля наша богата,
Порядка в ней лишь нет.*

2

*А эту правду, детки,
За тысячу уж лет
Смекнули наши предки:
Порядка-де, вишь, нет.*

3

*И стали все под стягом,
И молвят: «Как нам быть?
Давай пошлем к варягам:
Пускай придут княжить.*

4

*Ведь немцы тороваты,
Им ведом мрак и свет,
Земля ж у нас богата,
Порядка в ней лишь нет».*

5

*Посланцы скорым шагом
Отправились туда
И говорят варягам:
«Придите, господа!*

6

*Мы вам отсыплем злата,
Что киевских конфет;
Земля у нас богата,
Порядка в ней лишь нет».*

7

*Варягам стало жутко,
Но думают: «что ж тут?
Попытка ведь не шутка —
Пойдем, коли зовут!»*

8

*И вот пришли три брата,
Варяги средних лет,
Глядят – земля богата,
Порядка ж вовсе нет.*

9

«Ну, – думают, – команда!
Здесь ногу сломит черт,
Es ist ja cine Schande,
Wir mssen wieder fort» [39]

10

Но братец старший Рюрик
«Постой, – сказал другим, —
Fortgeh'n wer'ungeberlich,
Vielleicht ist's nicht so schlimm [40]

11

Хоть вшивая команда,
Почти одна лишь шваль;
Wir bringen's schon zustande,
Versuchen wir einmal» [41]

12

И стал княжить он сильно,
Княжил семнадцать лет,
Земля была обильна,
Порядка ж нет как нет!

13

За ним княжил князь Игорь,
А правил им Олег,

*Das war ein grober Krieger [42]
И умный человек.*

14

*Потом княжила Ольга
А после Святослав;
So ging die Reihenfolge [43]
Языческих держав.*

15

*Когда ж вступил Владимир
На свой отцовский трон,
Da endigte fer immer
Die alte Religion [44]*

16

*Он вдруг сказал народу:
«Ведь наши боги дрянь,
Пойдем креститься в воду!»
И сделал нам Иордань.*

17

*«Перун уж очень гадок!
Когда его спихнем,
Увидите, порядок
Какой мы заведем!»*

18

*Послал он за попами
В Афины и Царьград,
Попы пришли толпами,
Крестятся и кадят,*

19

*Поют себе умильно
И полнят свой кисет;
Земля, как есть, обильна,
Порядка только нет.*

20

*Умре Владимир с горя,
Порядка не создав.
За ним княжить стал вскоре
Великий Ярослав.*

21

*Оно, пожалуй, с этим
Порядок бы и был;
Но из любви он к детям
Всю землю разделил.*

22

*Плоха была услуга,
А дети, видя то,
Давай тузить друг друга:
Кто как и чем во что!*

23

Узнали то татары:
«Ну, – думают, – не трусь!»
Надели шаровары,
Приехали на Русь.

24

«От вашего, мол, спора
Земля пошла вверх дном,
Постойте ж, мы вам скоро
Порядок заведем».

25

Кричат: «Давайте дани!»
(Хоть вон святых неси.)
Тут много всякой дряни
Настало на Руси.

26

Что день, то брат на брата
В орду несет извет;
Земля, кажись, богата —
Порядка ж вовсе нет.

27

Иван явился Третий;
Он говорит: «Шалишь!

*Уж мы теперь не дети!»
Послал татарам шиш.*

28

*И вот земля свободна
От всяких зол и бед
И очень хлебородна,
А все ж порядка нет.*

29

*Настал Иван Четвертый,
Он Третьему был внук;
Калач на царстве тертый
И многих жен супруг.*

30

*Иван Васильич Грозный
Ему был имярек
За то, что был серьезный,
Солидный человек.*

31

*Приемами не сладок,
Но разумом не хром;
Такой завел порядок,
Хоть покати шаром!*

32

*Жить можно бы беспечно
При этакoм царе;
Но ах! ничто не вечно —
И царь Иван умре!*

33

*За ним царить стал Федор,
Отцу живой контраст;
Был разумом не бодор,
Трезвонить лишь горазд.*

34

*Борис же, царский шурин,
Не в шутку был умен,
Брюнет, лицом не дурен,
И сел на царский трон.*

35

*При нем пошло все гладко,
Не стало прежних зол,
Чуть-чуть было порядка
В земле он не завел.*

36

*К несчастью, самозванец,
Откуда ни возьмись,
Такой задал нам танец,
Что умер царь Борис.*

37

*И, на Бориса место
Взобравшись, сей нахал
От радости с невестой
Ногами заболтал.*

38

*Хоть был он парень бравый
И даже не дурак,
Но под его державой
Стал бунтовать поляк.*

39

*А то нам не по сердцу;
И вот однажды в ночь
Мы задали им перцу
И всех прогнали прочь.*

40

*Взошел на трон Василий,
Но вскоре всей землей
Его мы попросили,
Чтоб он сошел долой.*

41

*Вернулись поляки,
Казачков привели;*

*Пошел сумбур и драки:
Поляки и казаки,*

42

*Казаки и поляки
Нас паки бьют и паки;
Мы ж без царя как раки
Горюем на мели.*

43

*Прямые были страсти —
Порядка ж ни на грош.
Известно, что без власти
Далёко не уйдешь.*

44

*Чтоб трон поправить царский
И вновь царя избрать,
Тут Минин и Пожарский
Скорей собрали рать.*

45

*И выгнала их сила
Поляков снова вон,
Земля же Михаила
Взвела на русский трон.*

46

*Свершилось то летом;
Но был ли уговор —
История об этом
Молчит до этих пор.*

47

*Варшава нам и Вильна
Прислали свой привет;
Земля была обильна —
Порядка ж нет как нет.*

48

*Сев Алексей на царство,
Тогда роди Петра.
Пришла для государства
Тут новая пора.*

49

*Царь Петр любил порядок,
Почти как царь Иван,
И так же был не сладок,
Порой бывал и пьян.*

50

*Он молвил: «Мне вас жалко,
Вы сгинете вконец;
Но у меня есть палка,
И я вам всем отец!..»*

51

*Не далее как к святкам
Я вам порядок дам!»
И тотчас за порядком
Уехал в Амстердам.*

52

*Вернувшись оттуда,
Он гладко нас обрил,
А к святкам, так что чудо,
В голландцев нарядил.*

53

*Но это, впрочем, в шутку,
Петра я не виню:
Больному дать желудку
Полезно ревеню.*

54

*Хотя силён уж очень
Был, может быть, прием;
А все ж довольно прочен
Порядок стал при нем.*

55

*Но сон объял могильный
Петра во цвете лет,*

*Глядишь, земля обильна,
Порядка ж снова нет.*

56

*Тут кротко или строго
Царило много лиц,
Царей не слишком много,
А более цариц.*

57

*Бирон царил при Анне;
Он сущий был жандарм,
Сидели мы как в ванне
При нем, da Gott erbarm! [45]*

58

*Веселая царица
Была Елисавет:
Поет и веселится,
Порядка только нет.*

59

*Какая ж тут причина
И где же корень зла,
Сама Екатерина
Постигнуть не могла.*

60

*«Madame, при вас на диво
Порядок расцветет, —
Писали ей учтиво
Вольтер и Дидерот, —*

61

*Лишь надобно народу,
Которому вы мать,
Скорее дать свободу,
Скорей свободу дать».*

62

*«Messieurs, – им возразила
Она, – vous me comblez» [46],
И тотчас прикрепила
Украинцев к земле.*

63

*За ней царить стал Павел,
Мальтийский кавалер,
Но не совсем он правил
На рыцарский манер.*

64

*Царь Александр Первый
Настал ему взамен,
В нем слабы были нервы,
Но был он джентльмен.*

65

Когда на нас в азарте
Стотысячную рать
Надвинул Бонапарте,
Он начал отступать.

66

Казалось, ну, ниже
Нельзя сидеть в дыре,
Ан глядь: уж мы в Париже,
С *Louis le Desire*.

67

В то время очень сильно
Расцвел России цвет,
Земля была обильна,
Порядка ж нет как нет.

68

Последнее сказанье
Я б написал мое,
Но чаю наказанье,
Боюсь *monsieur Veillot*.

69

Ходить бывает склизко
По камешкам иным,

*Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим.*

70

*Оставим лучше троны,
К министрам перейдем.
Но что я слышу? стоны,
И крики, и содом!*

71

*Что вижу я! Лишь в сказках
Мы зрим такой наряд;
На маленьких салазках
Министры все катят.*

72

*С горы со криком громким
In cogroge [47], сполна,
Скользя, свои к потомкам
Уносят имена.*

73

*Се Норов, се Путятин,
Се Панин, се Метлин,
Се Брок, а се Замятнин,
Се Корф, се Головнин.*

74

*Их много, очень много,
Припомнить всех нельзя,
И вниз одной дорогой
Летят они, скользя.*

75

*Я грешен: летописный
Я позабыл свой слог;
Картине живописной
Противостать не мог.*

76

*Лиризм, на все способный,
Знать, у меня в крови;
О Нестор преподобный,
Меня ты вдохнови.*

77

*Поуспокой мне совесть,
Мое усердье зря,
И дай мою мне повесть
Окончить не хитря.*

78

*Итак, начавши снова,
Столбец кончаю свой
От рождества Христова
В год шестьдесят восьмой.*

79

*Увидя, что всё хуже
Идут у нас дела,
Зело изрядна мужа
Господь нам ниспосла.*

80

*На утешенье наше
Нам, аки свет зари,
Свой лик яви Тимашев —
Порядок водвори.*

81

*Что аз же многогрешный
На бранных сих листах
Не дописах поспешно
Или переписах,*

82

*То, спереди и сзади
Читая во все дни,
Исправи правды ради,
Писанья ж не кляни.*

83

*Составил от былинок
Рассказ немудрый сей*

*Худый смиренный инок,
Раб божий Алексей.*

1868

* * *

*Как-то Карп Семенович
Сорвался с балкона,
И на нем суконные
Были панталоны.*

*Ах, в остережение
Дан пример нам оный:
Братья, без медления
Снимем панталоны!*

22 декабря 1869

* * *

*Боюсь людей передовых,
Страшуся милых нигилистов;
Их суд правдив, их натиск лих,
Их гнев губительно неистов;*

*Но вместе с тем бывает мне
Приятно, в званье ретрограда,
Когда хлестнет их по спине
Моя былина иль баллада.*

С каким достоинством глядят

Они, подпрыгнувши невольно,
И, потираясь, говорят:
Нисколько не было нам больно!

Так в хату впершийся индюк,
Метлой пугнутый неучливой,
Распустит хвост, чтоб скрыть
испуг,
И забулдыкает спесиво.

Начало 1873

СОН ПОПОВА

1

Приснился раз, бог весть с какой
причины,
Советнику Попову странный сон:
Поздравить он министра в имене-
нины
В приемный зал вошел без панта-
лон;
Но, впрочем, не забыто ни единой
Регалии; отлично выбрит он;
Темляк на шпаге; всё по циркуля-
ру —
Лишь панталон забыл надеть он
пару.

2

И надо же случиться на беду,
Что он тогда лишь свой заметил
промах,
Как уж вошел. «Ну, – думает, – уй-
ду!»
Не тут-то было! Уж давно в хоро-
мах
Народу тьма; стоит он на виду,
В почетном месте; множество
знакомых
Его увидеть могут на пути —
«Нет, – он решил, – нет, мне нель-
зя уйти!

3

А вот я лучше что-нибудь придви-
ну
И скрою тем досадный мой изъян;
Пусть верхнюю лишь видят поло-
вину,
За нижнюю ж ответит мне
Иван!»
И вот бочком прокрался он к ка-
мину
И спрятался по пояс за экран.
«Эх, – думает, – недурно ведь, ка-
нальство!

Теперь пусть входит высшее начальство!»

4

Меж тем тесней все становился
круг
Особ чиновных, чающих карьеры;
Невнятный в зале раздавался
звук,
И все принять свои старались меры,
Чтоб сразу быть замеченными.
Вдруг
В себя втянули животы курьеры,
И экзекутор рысью через зал,
Придерживая шпагу, пробежал.

5

Вошел министр. Он видный был
мужчина,
Изящных форм, с приветливым
лицом,
Одет в визитку: своего, мол, чина
Не ставлю я пред публикой ребром.
Внушается гражданством дисциплина,
А не мундиром, шитым серебром.

Все зло у нас от глупых форм из-
бытка,
Я ж века сын – так вот на мне ви-
зитка!

6

Не ускользнул сей либеральный
взгляд
И в самом сне от зоркости Попо-
ва.
Хватается, кто тонет, говорят,
За паутинку и за куст терновый.
«А что, – подумал он, – коль мой
наряд
Понравится? Ведь есть же, право
слово,
Свободное, простое что-то в нем!
Кто знает? Что ж? Быть мо-
жет! Подождем!»

7

Министр меж тем стан изгибал
приятно:
«Всех, господа, всех вас благодарю!
Прошу и впредь служить так ак-
куратно
Отечеству, престолу, алтарю!
Ведь мысль моя, надеюсь, вам по-

нятна?

*Я в переносном смысле говорю:
Мой идеал полнейшая свобода —
Мне цель народ – и я слуга народа!*

8

*Прошло у нас то время, госпо-
да, —*

*Могу сказать: печальное то вре-
мя, —*

*Когда наградой пота и труда
Был произвол. Его мы свергли бре-
мя.*

*Народ воскрес – но не вполне – да,
да!*

*Ему вступить должны помочь
мы в стремя,*

*В известном смысле сгладить все
следы*

*И, так сказать, вручить ему браз-
ды.*

9

*Искать себе не будем идеала,
Ни основных общественных начал
В Америке. Америка отстала:
В ней собственность царит и ка-
питал.*

*Британия строй жизни запятнала
Законностью. А я уж доказал:
Законность есть народное стеснение,
Гнуснейшее меж всеми преступленьем!*

10

*Нет, господа! России предстоит,
Соединив прошедшее с грядущим,
Создать, коль смею выразиться,
вид,
Который называется присущим
Всем временам: и, став на свой
гранит,
Имущим, так сказать, и неимущим
Открыть родник взаимного труда.
Надеюсь, вам понятно, господа?»*

11

*Раздался в зале шепот одобренья,
Министр поклоном легким отвечал,
И тут же, с видом, полным снисхожденья,*

Он обходить обширный начал зал:
«Как вам? Что вы? Здорова ли Ев-
генья
Семеновна? Давно не заезжал
Я к вам, любезный Сидор Тимофе-
ич!
Ах, здравствуйте, Ельпидифор
Сергеич!»

12

Стоял в углу, плюгав и одинок,
Какой-то там коллежский реги-
стратор.
Он и к тому, и тем не пренебрег:
Взял под руку его: «Ах, Анטיפа-
тор
Васильевич! Что, как ваш кобе-
лек?
Здоров ли он? Вы ездите в теа-
тор?
Что вы сказали? Все болит жи-
вот?
Ах, как мне жаль! Но ничего,
пройдет!»

13

Переходя налево и направо,
Свои министр так перлы расто-

чал;
Иному он подмигивал лукаво,
На консоле другого приглашал
И ласково смотрел и величаво.
Вдруг на Попова взор его упал,
Который, скрыт экраном лишь по
пояс,
Исхода ждал, немного беспокоясь.

14

«Ба! Что я вижу! Тит Евсеич
здесь!
Так, так и есть! Его мы точ-
ность знаем!
Но отчего ж он виден мне не весь?
И заслонен каким-то попугаем?
Престранная выходит это смесь!
Я любопытством очень подстре-
каем
Увидеть ваши ноги. Да, да, да!
Я вас прошу, пожалуйста сюда!»

15

Колеблясь меж надежды и сомне-
нья:
Как на его посмотрят туалет,
Попов наружу вылез. В изумленье
Министр приставил к глазу свой

лорнет.

«Что это? Правда или наваждение?»

Никак, на вас штанов, любезный, нет?»

*И на чертах изящно-благородных
Гнев выразил ревнитель прав на-
родных.*

16

«Что это значит? Где вы рождены?»

В Шотландии? Как вам пришла охота

Там, за экраном, снять с себя штаны?»

Иль начитались, верно, Вальтер Скотта?»

Иль классицизмом вы заражены?»

И римского хотите патриота

*Изобразить? Иль, боже упаси,
Собой бюджет представить на*

Руси?»

17

И был министр еще во гневе краше,

Чем в милости. Чреватый от гро-

мов
Взор заблестел. Он продолжал:
«Вы наше
Доверье обманули. Много слов
Я тратить не люблю». – «Ва-ва-
ва-ваше
Превосходительство! – шептал
Попов. —
Я не съмал... Свидетели курьеры,
Я прямо так приехал из кварте-
ры!»

18

«Вы, милостивый, смели, госу-
дарь,
Приехать так? Ко мне? На по-
здравленье?
В день ангела? Безнравственная
тварь!
Теперь твое я вижу направленье!
Вон с глаз моих! Иль нету – секре-
тарь!
Пишите к прокурору отношенья:
«Советник Тит Евсеев сын Попов
Все ниспровергнуть власти был
готов.

19

Но, строгому благодаря надзору
Такого-то министра – имярек —
Отечество спаслось от заговору
И нравственность не сгинула на-
век.

Под стражей ныне шлетя к про-
курору

Для следствия сей вредный чело-
век,

Дерзнувший снять публично пан-
талоны,

Да поразят преступника законы!

20

Иль нет, постойте! Коль отдать
под суд,

По делу выйти может послабле-
нье,

Присяжные-бесштанники спасут
И оправдают корень возмущенья!

Здесь слишком громко нравы во-
пиют —

Пишите прямо в Третье отделе-
ние:

Советник Тит Евсеев сын Попов
Все ниспровергнуть власти был
готов.

21

Он поступил законам так про-
тивно,
На общество так явно поднял
меч,
Что пользу можно б админи-
стративно
Из неглиже из самого извлечь.
Я жертвую агентам по две грив-
ны,
Чтобы его – но скрашиваю речь —
Чтоб мысли там внушить ему
иные.
Затем ура! Да здравствует Рос-
сия!»

22

Министр кивнул мизинцем. Сто-
рож
Внезапно взяли под руки Попова.
Стыдливостью его не дорожа,
Они его от Невского, Садовой,
Средь смеха, крика, чуть не мяте-
жа,
К Цепному мосту привели, где но-
вый
Стоит, на вид весьма красивый,
дом,
Своим известный праведным су-

дом.

23

*Чиновник по особым порученьям,
Который их до места проводил,
С заботливым Попова попеченьем
Сдал на руки дежурному. То был
Во фраке муж, с лицом, пылав-
шим рвением,
Со львиной физьономией, носил
Мальтийский крест и множе-
ство медалей,
И в душу взор его влезал всё далее!*

24

*В каком полку он некогда служил,
В каких боях отличен был как во-
ин,
За что свой крест мальтийский
получил
И где своих медалей удостоен —
Неведомо. Ехидно попросил
Попова он, чтобы тот был споко-
ен,
С улыбкой указал ему на стул
И в комнату соседнюю скользнул.*

25

Один оставшись в небольшой го-
стиной,
Попов стал думать о своей судь-
бе:
«А казус вышел, кажется, причин-
ный!
Кто бы это мог вообразить себе?
Попался я в огонь, как сноп овин-
ный!
Ведь искони того еще не бе,
Чтобы меня кто в этом виде
встретил,
И как швейцар проклятый не за-
метил!»

26

Но дверь отверзлась, и явился в
ней
С лицом почтенным, грустию по-
крытым,
Лазоревый полковник. Из очей
Катились слезы по его ланитам.
Обильно их струящийся ручей
Он утирал платком, узором ши-
тым,
И про себя шептал: «Так! Это он!
Таким он был едва лишь из пелён!»

27

О юноша! – он продолжал, взды-
хая
(Попову было с лишним сорок
лет), —
Моя душа для вашей не чужая!
Я в те года, когда мы ездим в
свет,
Знал вашу мать. Она была свя-
тая!
Таких, увы! теперь уж боле нет!
Когда б она досель была к вам
близко,
Вы б не упали нравственно так
низко!

28

Но, юный друг, для набожных сер-
дец
К отверженным не может быть
презренья,
И я хочу вам быть второй отец,
Хочу вам дать для жизни настав-
ленье —
Заблудших так приводим мы овец
Со дна трущоб на чистый путь
спасенья.
Откройте мне, равно как на ду-
ху:

Что привело вас к этому греху?

29

Конечно, вы пришли к нему не сами,
Характер ваш невинен, чист и
прям!
Я помню, как детёй за мотылька-
ми
Порхали вы средь кашки по лугам!
Нет, юный друг, вы ложными дру-
зьями
Завлечены! Откройте же их нам!
Кто вольнодумцы? Всех их назо-
вите
И собственную участь облегчи-
те!

30

Что слышу я? Ни слова? Иль пу-
стить
Уже успело корни в вас упорство?
Тогда должны мы будем присту-
пить
Ко строгости, увы! и непокор-
ство,
Сколь нам ни больно, в вас искоре-
нить!

О юноша! Как сердце ваше черство!

В последний раз: хотите ли всю рать

Завлекших вас сообщников назвать?»

31

*К нему Попов достойно и наивно:
«Я, господин полковник, я бы вам
Их рад назвать, но мне, ей-богу,
дивно...*

Возможно ли сообщничество там,

Где преступленье чисто негативно?

*Ведь панталон-то не надел я сам!
И чем бы там меня вы ни пугали —*

Другие мне, клянусь, не помогали!»

32

*«Не мудрствуйте, надменный
санкюлот!*

*Свою вину не умножайте ложью!
Сообщников и гнусный ваш комплот*

*Повергните к отечества подно-
жью!
Когда б вы знали, что теперь вас
ждет,
Вас проняло бы ужасом и дро-
жью!
Но дружбу вы чтоб ведали мою,
Одуматься я время вам даю!*

33

*Здесь, на столе, смотрите, вам
готово
Достаточно бумаги и чернил:
Пишите же – не то, даю вам сло-
во:
Чрез полчаса вас изо всех мы
сил...»
Тут ужас вдруг такой объял По-
пова,
Что страшную он подлость со-
вершил:
Пошел строчить (как люди в
страхе гадки!)
Имен невинных многие десятки!*

34

*Явились тут на нескольких ли-
стах:*

Какой-то Шмидт, два брата Шу-
лаковы,
Зерцалов, Палкин, Савич, Розен-
бах,
Потанчиков, Гудим-Бодай-Корова,
Делаверганж, Шульгин, Стражен-
ко, Драг,
Грай-Жеребец, Бабков, Ильин, Баг-
ровый,
Мадам Гриневич, Глазов, Рыбин,
Штих,
Бурдюк-Лишай – и множество
других.

35

Попов строчил сплеча и без огляд-
ки,
Попались в список лучшие друзья;
Я повторю: как люди в страхе
гадки —
Начнут как бог, а кончат как сви-
нья!
Строчил Попов, строчил во все
лопатки,
Такая вышла вскоре ектенья,
Что, прочитав, и сам он ужаснул-
ся,
Вскричал: фуй! фуй! Задрогал – и

проснулся.

36

Небесный свод сиял так юн и нов,
Весенний день глядел в окно так
весел,
Висела пара форменных штанов
С мундиром купно через спинку
кресел;
И в радости уверился Попов,
Что их Иван там с вечера пове-
сил —
Одним скачком покинул он кро-
вать
И начал их в восторге надевать.

37

«То был лишь сон! О, счастье! о,
радость!
Моя душа, как этот день, ясна!
Не сделал я Бодай-Корове гадость!
Не выдал я агентам Ильина!
Не наклепал на Савича! О, сла-
дость!
Мадам Гриневич мной не предана!
Страженко цел, и братья Шула-
ковы
Постыдно мной не ввержены в

оковы!»

38

Но ты, никак, читатель, восста-
ешь

На мой рассказ? Твое я слышу
мнение:

Сей анекдот, пожалуй, и хорош,
Но в нем сквозит дурное направ-
ление.

Всё выдумки, нет правды ни на
грош!

Слыхал ли кто такое обвиненье,
Что, мол, такой-то – встречен
без штанов.

Так уж и власти свергнуть он го-
тов?

39

И где такие виданы министры?
Кто так из них толпе кадить бы
мог?

Я допущу: успехи наши быстры,
Но где ж у нас министр-дема-
гог?

Пусть проберут все списки и реги-
стры,
Я пять рублей бумажных дам в

залог;
Быть может, их во Франции
немало,
Но на Руси их нет и не бывало!

40

И что это, помилуйте, за дом,
Куда Попов отправлен в наказа-
нье?
Что за допрос? Каким его судом
Стращают там? Где есть такое
зданье?
Что за полковник выскочил? Во
всем,
Во всем заметно полное незнание
Своей страны обычаев и лиц,
Встречаемое только у девиц.

41

А наконец, и самое вступленье:
Ну есть ли смысл, я спрашиваю, в
том,
Чтоб в день такой, когда на по-
здравленье
К министру все съезжаются гур-
том,
С Поповым вдруг случилось по-
мраченье

*И он таким оделся бы шутом?
Забуться может галстук, орден,
пряжка —
Но пара брюк – нет, это уж на-
тяжка!*

42

*И мог ли он так ехать? Мог ли в
зал
Войти, одет как древние герои?
И где резон, чтоб за экран он
стал,
Никем не зрим? Возможно ли та-
кое?
Ах, батюшка-читатель, что при-
стал?
Я не Попов! Оставь меня в покое!
Резон ли в этом или не резон —
Я за чужой не отвечаю сон!*

Лето 1873

ВЕЛИКОДУШИЕ СМЯГЧАЕТ СЕРДЦА

Вонзил кинжал убийца нечестивый
В грудь Деларю.
Тот, шляпу сняв, сказал ему
учтиво:
«Благодарю».
Тут в левый бок ему кинжал
ужасный
Злодей вогнал,
А Деларю сказал: «Какой прекрасный
У вас кинжал!»
Тогда злодей, к нему зашедши
справа,
Его пронзил,
А Деларю с улыбкою лукавой
Лишь погрозил.
Истыкал тут злодей ему, прон-
зая,
Все телеса,
А Деларю: «Прошу на чашку чая
К нам в три часа».
Злодей пал ниц и, слез проливши
много,

Дрожал как лист,
А Деларю: «Ах, встаньте, ради Бо-
га!
Здесь пол нечист».
Но все у ног его в сердечной муке
Злодей рыдал,
А Деларю сказал, расставив руки:
«Не ожидал!
Возможно ль? Как?! Рыдать с та-
кою силой? —
По пустякам?!
Я вам аренду выхлопочу, ми-
лый, —
Аренду вам!
Через плечо дадут вам Станисла-
ва
Другим в пример.
Я дать совет царю имею право:
Я камергер!
Хотите дочь мою просватать,
Дуню?
А я за то
Кредитными билетами отслюню
Вам тысяч сто.
А вот пока вам мой портрет на
память, —
Приязни в знак.
Я не успел его еще обрамить, —

Примите так!»
Тут едок стал и даже горче перца
Злодея вид.
Добра за зло испорченное сердце
Ах! не простит.
Высокий дух посредственность
тревожит,
Тьме страшен свет.
Портрет еще простить убийца
может,
Аренду ж – нет.
Зажглась в злодее зависти отра-
ва
Так горячо,
Что, лишь надел мерзавец Стани-
слава
Через плечо, —
Он окунул со злобою безбожной
Кинжал свой в яд
И, к Деларю подкравшись осто-
рожно, —
Хватить друга в зад!
Тот на пол лег, не в силах в
страшных болях
На кресло сесть.
Меж тем злодей, отняв на антре-
солях
У Дуни честь, —

*Бежал в Тамбов, где был, как гу-
бернатор,
Весьма любим.
Потом в Москве, как ревностный
сенатор,
Был всеми чтим.
Потом он членом сделался сове-
та
В короткий срок...
Какой пример для нас являет это,
Какой урок!*

1⁸⁷³

Из Козьмы Пруткова

* * *

Здесь есть мебели из карельской березы, семеро детей мал мала меньше, красивая гувернантка, губернёр малого размера, беззаботный отец семейства, бранящий всех и все наподобие тебя, брат его с поваром, готовящие всякий день какие-нибудь новые кушанья, диакон *bon vivant* [48], краснеющий поп, конторщики с усами разных цветов, добрый управитель и злая управительница, скрывающаяся постоянно в своем терему, снигири, подорожники, сороки, волки, похищающие свиней среди бела дня на самом селе, весьма красивые крестьянки, более или менее плутоватые приказчики, рябые и с чистыми лицами, колокол в два пуда, обои, представляющие Венеру на синем фоне с звездами, баня, павлины, индейки, знахари, старухи, слывущие ведьмами, кладбище в сосновом лесу с ледяными сосульками, утром солнце, печи, с треском освещающие комнату, старый истопник Павел, бывший прежде молодым человеком, кобзари, слепые, старый

настройщик фортепьянов, поющий «Хвала, хвала тебе, герой» [49] и «Славься сим, Екатерина» [50] и «Mon coeur n'est pas pour vous, car il est pour un autre» [51]. Источник цитаты не установлен.», экипаж, называющийся беда на колесах, другой, кажется, называющийся ферзик, старинная карета Елисавет Петровны, крысы, горностаи, ласочки, волчьи ямы, ветчина, щипцы, ночник, вареники, наливка, Семеновка, маленькие ширмы, балконы, 500 луковиц цветочных, старые тетради, Андрейка и чернослив, пляшущие медведи, числом четыре, очень старая коровница, пол из некрашенных сосновых досок, Улинский (?), Гапки, Оксаны, Ганны, Домахи, пьяные столяры, таковые же башмачники, загоны в лесу, пасеки, бисер, вилочки, экраны, сбруя медная, серые лошади, мед в кадках, землемеры, заячьи следы, два пошире, а два поменьше, бортовая ель перед церковью, Тополевка с Заикевичем, свиньи на улицах, огород с прутиками, означающими четыре стороны света, волшебный фонарь, курицы, моченые яблоки, сумерки с постепенно замирающими сельскими звуками, вдали выстрелы, собачий лай, ночью петухи,

ни с того ни с другого кричащие во все горло, пасмурные дни, изморозь, иней на деревьях, внезапно показывающееся солнце, два старых турецких пистолета, рабочие столики, чай на длинном столе, игра в кольцо, которое повешено на палочке и которое надлежит за- деть за крючок, вбитый в стену, сушеные ка- раси, клюква, преждевременно рождающиеся младенцы, к неимоверному удивлению их от- цов, кн. Голицын, брат Павла, живущий в тридцати верстах, наступающий праздник Рождества, литографическая машина, совер- шенно испорченный орган, также испорчен- ный, сумасшедший механик, множество мух, оживших от теплоты. Множество старых ка- лендарей, начиная от 1824 года, биллиард, стоящий в кладовой и вовсе не годный к упо- треблению, сухие просвиры, живописные пригорки, песчаные, поросшие сосником, чу- маки с обозами, вечерницы, мельницы, сук- новальни, старый фонарь, старые картузы, модели молотильных машин, портрет кн. Ко- чубея, портрет графини Канкриной, рапиры, трости из бамбука, курильница в виде древ- ней вазы, алебастровая лампа, старая дробь,

огромный диван с двумя шкапчиками, два мохнатых щенка, сушеные зайцы, клетка без птиц и разбитое кругленькое зеркало, – приезжай, Николаюшка, и все увидишь собственными глазами.

Очень прошу тебя устроить, чтобы редакция «Русского вестника» прислала мне журналы: Черниговской губернии, Стародубского уезда, на станцию Елёнку.

А. К. Толстой – Н. М. Жемчужникову [52]

Конец ноября – начало декабря 1858 г. Погорельцы

* * *

...Жемчужников был не менее Григоровича изящен, душист, свеж и бодр, несмотря на всю слабость здоровья. Я бывал у него довольно часто, и меня поражала его неизменная ласковость ко мне, чисто отеческая заботливость к каждому стихотворению, которое я печатал при его содействии в «Вестнике Европы».

Он подарил мне «Кузьму Пруткова» и рассказал происхождение этой книги:

– Мы – я и Алексей Константинович Толстой – были тогда молоды и непристойно про-

казливы. Жили вместе и каждый день сочиняли по какой-нибудь глупости в стихах. Потом решили собрать и издать эти глупости, приписав их нашему камердинеру Кузьме Пруткову, и так и сделали, и что же вышло? Обидели старика так, что он не мог простить нам этой шутки до самой смерти! Хотели мило пошутить, а обидели кровно...

И. А. Бунин

...Репортер одной из газет задал Алексею Михайловичу Жемчужникову [53] вопрос:— Чем вы объясняете эту изумительную популярность, которую приобрели все ваши шутки, афоризмы и пр., подписанные псевдонимом «Кузьма Прутков»? — Да как вам сказать? Думаю потому, что все наши шутки носили на себе незлобивый характер, смеялись мы искренно, личностей не задевали. Алеша (гр. А. Толстой) был парень очень остроумный, брат Володя тоже... бывало, иной раз оба они начнут острить, так ведь откуда что берется? Так и сыплют, так и сыплют остротами. В книжке нашей, которую мы выпустили, наверно, десятой доли не собрано тех острот, которые на своем веку изрекли они оба. Это

прямо-таки был фонтан остроумия; бывало, говоришь им: «да заткни фонтан, дай ему отдохнуть», а они еще больше, еще больше... Да, родной мой!.. – вздохнул наш собеседник: – чудное было время, невозвратное время...

...Когда мы уже все написали, мы не знали, каким псевдонимом подписать эту общую нашу пьесу. Служил у нас тогда камердинером Кузьма Фролов, прекрасный старик, мы все его очень любили. Вот мы с братом Владимиром и говорим ему: «Знаешь что, Кузьма, мы написали книжку, а ты дай нам для этой книжки свое имя, как будто ты ее сочинил... А все, что мы выручим от продажи этой книжки, мы отдадим тебе». Он согласился. «Что ж, говорит, я, пожалуй, согласен, если вы так очинно желаете... А только, говорит, дозвольте вас, господа, спросить: книга-то умная аль нет?» Мы все так и прыснули со смеха. «О, нет! говорим: книга глупая, преглупая». Смотрим, наш Кузьма нахмурился. «А коли, говорит, книга глупая, так я, говорит, не желаю, чтобы мое имя под ей было подписано. Не надо мне, говорит, и денег ваших»... А? Как вам это понравится? Когда брат Алексей (гр. А.

Толстой) услышал этот ответ Кузьмы, так он чуть не умер от хохота и подарил ему 50 руб. «На, говорит, это тебе за остроумие». Ну, вот мы тогда втроем и порешили взять себе псевдоним не Кузьмы Фролова, а Кузьмы Пруткова. С тех пор мы и начали писать всякие шутки, стишки, афоризмы под одним общим псевдонимом Кузьмы Пруткова.

Вот вам и происхождение нашего псевдонима...

ЭПИГРАММА № 1

*«Вы любите ли сыр?» – спросили
раз ханжу,
Люблю, – он отвечал, – я вкус в
нем нахожу.*

ПИСЬМО ИЗ КОРИНФА

Греческое стихотворение

Я недавно приехал в Коринф...
Вот ступени, а вот колоннада!
Я люблю здешних мраморных
нимф
И истмийского шум водопада!

Целый день я на солнце сижу,
Трусь елеем вокруг поясицы,
Между камней паросских слезу
За извивом слепой медяницы;

Померанцы растут предо мной,
И на них в упоенье гляжу я;
Дорог мне возделенный покой,
«Красота, красота!» – все твержу
я...

1854

ИЗ ГЕЙНЕ

*Вянет лист, проходит лето,
Иней серебрится.
Юнкер Шмидт из пистолета
Хочет застрелиться.*

*Погоди, безумный! снова
Зелень оживится...
Юнкер Шмидт! Честное слово,
Лето возвратится.*

1⁸⁵⁴

ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ ИСПАНЦЕМ

*Тихо над Альямброй,
Дремлет вся натура,
Дремлет замок Памбра,
Спит Эстремадура!*

*Дайте мне мантилью,
Дайте мне гитару,
Дайте Инезилью,
Кастаньетов пару.*

*Дайте руку верную,
Два вершка булату,*

Ревность непомерную,
Чашку шоколаду.

Закурю сигару я,
Лишь взойдет луна...
Пусть дуэнья старая
Смотрит из окна.

За двумя решетками
Пусть меня клянет,
Пусть шевелит четками,
Старика зовет.

Слышу на балконе
Шорох платья... чу!
Подхожу я к донне,
Сбросил епанчу.

Погоди, прелестница,
Поздно или рано
Шелковую лестницу
Выну из кармана!

О сеньора милая!
Здесь темно и серо...
Страсть кипит унылая
В вашем кавальеро.

Здесь, перед бананами, —
Если не наскучу, —
Я между фонтанами
Пропляшу качучу.

И на этом месте,
Если вы мне рады, —
Будем петь мы вместе
Ночью серенады.

Будет в нашей власти
Толковать о мире,
О вражде, о страсти,
О Гвадалквивире,

Об улыбках, взорах,
Вечном идеале,
О тореадорах
И об Эскурьяле...

Тихо над Альямброй,
Дремлет вся натура,
Дремлет замок Памбра,
Спит Эстремадура

На взморье, у самой заставы,
Я видел большой огород:
Растет там высокая спаржа,
Капуста там скромно растет.

Там утром всегда огородник
Лениво проходит меж гряд;
На нем неопрятный передник,
Угрюм его пасмурный взгляд.

Польет он из лейки капусту,
Он спаржу небрежно польет,
Нарежет зеленого луку
И после глубоко вздохнет.

Намедни к нему подъезжает
Чиновник на тройке лихой;
Он в теплых высоких галошах,
На шее лорнет золотой.

«Где дочка твоя?» – вопрошает
Чиновник на тройке лихой;
Он в теплых, высоких галошах,
На шее лорнет золотой.

«Где дочка твоя?» – вопрошает
Чиновник, прищурясь в лорнет;
Но, дико взглянув, огородник

Махнул лишь рукою в ответ.

*И тройка назад поскакала,
Сметая с капусты росу;
Стоит огородник угрюмо
И пальцем копает в носу.*

ОСАДА ПАМБЫ

Романсеро с испанского

*Девять лет дон Педро Гомец,
По прозванию: Лев Кастильи,
Осаждает замок Памбу,
Молоком одним питаюсь.*

*И все войско дон Педро —
Девять тысяч кастильянцев —
Все, по данному обету,
Не касаются мясного,
Ниже хлеба не скупают,
Пьют одно лишь молоко...*

*Всякий день они слабеют,
Силы тратя попустому,
Всякий день дон Педро Гомец
О своем бессилье плачет,
Закрываясь епанчою.*

Настает уж год десятый, —
Злые мавры торжествуют,
А от войска дона Педро
Налицо едва осталось
Девятнадцать человек!

Их собрал дон Педро Гомец
И сказал им: «Девятнадцать!
Разовьем свои знамена,
В трубы громкие взыграем
И, ударивши в литавры,
Прочь от Памбы мы отступим!

Хоть мы крепости не взяли,
Но поклясться можем смело
Перед совестью и честью,
Не нарушили ни разу
Нами данного обета:
Целых девять лет не ели,
Ничего не ели ровно,
Кроме только молока!»

Ободренные сей речью,
Девятнадцать кастильянцев,
Все, качаяся на седлах,
В голос слабо закричали:
«Sancto Jago Compostello!»[54]
Честь и слава дону Педру!

Честь и слава Льву Кастильи!»

*А каплан его Диего
Так сказал себе сквозь зубы:
«Если б я был полководцем,
Я б обет дал есть лишь мясо,
Запивая сантуринским!»
И, услышав то, дон Педро
Произнес со громким смехом:
«Подарить ему барана —
Он изрядно подшутил!»*

1854

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ГРЕК

*Люблю тебя, дева, когда золоти-
стый
И солнцем облитый ты держишь
лимон,
И юноши зрю подбородок пуши-
стый
Меж листьев аканфа и белых ко-
лонн!*

*Красивой хламиды тяжелые
складки
Упали одна за другой:
Так в улье шумящем вокруг ране-*

ной матки
Снует озабоченный рой.

1⁸⁵⁴

ИЗ ГЕЙНЕ

*Фриц Вагнер, студьозус из Иены,
Из Бонна Иеронимус Кох
Вошли в кабинет мой с азар-
том, —
Вошли, не очистив сапог.*

*«Здорово, наш старый товарищ!
Реши поскорее наш спор:
Кто доблестней, Кох или Ваг-
нер?» —
Спросили с бряцанием шпор.*

*«Друзья! Вас и в Иене и в Бонне
Давно уже я оценил.
Кох логике славно учился,
А Вагнер искусно чертил».*

*Ответом моим недовольны,
«Решай поскорее наш спор!» —
Они повторяли с азартом
И с тем же бряцанием шпор.*

*Я комнату взглядом окинул
И, будто узором прельщен,
«Мне нравятся очень обои» —
Сказал им и выбежал вон.*

*Понять моего каламбура
Из них ни единый не мог,
И долго стояли в раздумье
Студьозусы Вагнер и Кох.*

1⁸⁵⁴

ЗВЕЗДА И БРЮХО

Б^{асня}

*На небе вечерком светила
Звезда.
Был постный день тогда:
Быть может, пятница, быть мо-
жет, среда.
В то время по саду гуляло чье-то
Брюхо
И рассуждало так с собой,
Бурча и жалобно и глухо:
«Какой
Хозяин мой
Противный и несносный!
Затем что день сегодня постный,
Не станет есть, мошенник, до*

звезды!
Не только есть! Куды!
Не выпьет и ковша воды!
Нет, право, с ним наш брат не
сладит...
Знай бродит по саду, ханжа,
На мне ладони положа...
Совсем не кормит, – только гла-
дит!»
Меж тем ночная тень мрачней
кругом легла.
Звезда, прищурившись, глядит на
край окольный:
То спрячется за колокольней,
То выглянет из-за угла,
То вспыхнет ярче, то сожмется...
Над животом исподтишка сме-
ется.
Вдруг Брюху ту Звезду случилось
увидать,
Ан хватать!
Она уж кубарем несется
С небес долой
Вниз головой
И падает, не удержав полета,
Куда ж? в болото!
Как Брюху быть! кричит: ахти да
ах!

И ну ругать Звезду в сердцах!
Но делать нечего! другой не ока-
залось...
И Брюхо, сколько ни ругалось,
Осталось
Хоть вечером, а натоцах.

Читатель! басня эта
Нас учит не давать без крайно-
сти обета
Поститься до звезды,
Чтоб не нажить себе беды.
Но если уж пришло тебе хотенье
Поститься для душеспасенья,
То мой совет —
Я говорю тебе из дружбы —
Спасайся! слова нет!
Но главное: не отставай от
службы!
Начальство, день и ночь пекуще-
сь о нас,
Коли сумеешь ты прийти к нему
по нраву,
Тебя, конечно, в добрый час
Представит к ордену святого
Станислава.
Из смертных не один уж в жизни
испытал,

Как награждают нрав почти-
тельный
и скромный.
Тогда в день постный, в день ско-
ромный,
Сам будучи степенный генерал,
Ты можешь быть и с бодрым ду-
хом,
И с сытым брюхом,
Ибо кто ж запретит тебе всегда,
езде
Быть при звезде?

1854

К МОЕМУ ПОРТРЕТУ

(Который будет издан вскоре при полном
собрании моих сочинений)

Когда в толпе ты встретишь че-
ловека,
Который наг; [55]
Чей лоб мрачней туманного Каз-
бека,
Неровен шаг;
Кого власы подъяты в беспорядке,
Кто, вопия,
Всегда дрожит в нервическом

припадке, —
Знай, – это я!
Кого язвят со злостью, вечно но-
вой
Из рода в род;
С кого толпа венец его лавровый
Безумно рвет;
Кто ни пред кем спины не клонит
гибкой, —
Знай – это я:
В моих устах спокойная улыбка,
В груди – змея!..

1856

ПАМЯТЬ ПРОШЛОГО

(Как будто из Гейне)

Помню я тебя ребенком, —
Скоро будет сорок лет! —
Твой передничек измятый,
Твой затянутый корсет...

Было так тебе неловко!..
Ты сказала мне тайком:
«Распусти корсет мне сзади, —
Не могу я бегать в нем!»

Весь исполненный волненья,

Я корсет твой развязал, —
Ты со смехом убежала,
Я ж задумчиво стоял...

1860

* * *

В борьбе суровой с жизнью душной
Мне любо сердцем отдохнуть,
Смотреть, как зреет хлеб насущ-
ный
Иль как мостят широкий путь.

Уму легко, душе отрадно,
Когда увесистый, громадный,
Блестящий искрами гранит
В куски под молотом летит!

Люблю подчас подсесть к стару-
хам,
Смотреть на их простую тканьь,
Люблю я слушать русским ухом
На сходках уличную брань!

Вот собрались. — Эй, ты, не меш-
кай!
— Да ты-то что ж? Небось устал!
— А где Ермил? — Ушел с тележ-
кой!

– Эх, чтоб его! – Да чтоб провал...!
– Где тут провал? – Вот я те, ле-
ший!
– Куда полез? Знай, благо пеший!
– А где зипун? – Какой зипун?
– А мой. – Как твой? – Эх, старый
лгун?
– Смотри задавят! – Тише, тише!
– Бревно несут! – Эй вы, на крыше!
– Вороны! – Митька! Амельян!
– Слепой! – Свинья! – Дурак! – Бол-
ван!

*И все друг друга с криком вящим
Язвят в колене восходящем.*

*Ну, что же, родные?
Довольно ругаться!
Пора нам за дело
Благое приняться!
Подымаемте дружно
Чугунную бабу!*

*Всё будет досужно,
Лишь песня была бы!
Вот дуются жилы,
Знать, чуют работу!
И сколько тут силы!*

*И сколько тут поту!
На славу терпенье,
А нега на сором!*

*И дружное пенье
Вдруг грянуло хором:
«Как на сытном-то на рынке
Утонула баба в крынке,
Звали Мишку на поминки,
Хоронить ее на рынке,
Ой, дубинушка, да бухни!
Ой, зеленая, сама пойдет!
Да бум!
Да бум!
Да бум!»*

*Вот поднялась стопудовая баба,
Всё выше, выше, медленно, не
вдруг...
– Тащи, тащи! Эй, Федька, дер-
жишь слабо!
– Тащи еще! – Пускай! – И баба:
бух!*

*Раздался гул, и, берег потрясая,
На три вершка ушла в трясину
свая!
Эх бабобитье! Всем по нраву!*

*Вот этак любо работать!
Споём, друзья, ещё на славу!*

*И пенье грянуло опять:
«Как на сытном-то на рынке
Утонула баба в крынке» и пр.
Тащи! Тащи! – Тащи ещё, ребята!
Дружней тащи! Ещё, и дело взя-
то!
Недаром в нас могучий русский
дух!
Тащи ещё! – Пускай! – И баба: бух!
Раздался гул, и, берег потрясая,
На два вершка ушла в трясину
свая!*

Начало 1860-х гг.

Князь Серебряный

Повесть времен Иоанна Грозного

Путешествие на долгих было для Гоголя уже как бы началом плана, который он предполагал осуществить впоследствии. Ему хотелось совершить путешествие по всей России, от монастыря к монастырю, ездя по проселочным дорогам и останавливаясь отдыхать у помещиков. Это ему было нужно, во-первых, для того, чтобы видеть живописнейшие места в государстве, которые большею частью были избираемы старинными русскими людьми для основания монастырей: во-вторых, для того, чтобы изучить проселки русского царства и жизнь крестьян и помещиков во всем его разнообразии; в-третьих, наконец, для того, чтобы написать географическое сочинение о России самым увлекательным образом. Он хотел написать его так, «чтоб была слышна связь человека с той почвой, на которой он родился». Обо всем этом говорил Гоголь у А. О. Смирновой, в присутствии гр. А. К. Толстого (известного поэта), который был знаком с ним издавна, но потом

не видал его лет шесть или более. Он нашел в Гоголе большую перемену. Прежде Гоголь в беседе с близкими знакомыми выражал много добродушия и охотно вдавался во все капризы своего юмора и воображения; теперь он был очень скуп на слова, и все, что ни говорил, говорил, как человек, у которого неотступно пребывала в голове мысль, что «с словом надобно обращаться честно», или который исполнен сам к себе глубокого почтения. В тоне его речи отзывалось что-то догматическое, так, как бы он говорил своим собеседникам: «Слушайте, не пророните ни одного слова». Тем не менее беседа его была исполнена души и эстетического чувства. Он попотчевал графа двумя малороссийскими колыбельными песнями, которыми восхищался как редкими самородными перлами: 1) «Ой, спы, дятя, без сповыття» и т. д., 2) «Ой, ходыть сон по улоньци» и т. д. Вслед за тем Гоголь попотчевал графа лакомством другого сорта: он продекламировал с свойственным ему искусством великорусскую песню, выражая голосом и мимикою патриархальную величавость русского характера, которою исполнена

эта песня: «Пантелей государь ходит по двору, Кузьмич гуляет по широкому» и т. д. [56]...

Гр. А. К. Толстой по записи Кулиша.

Записки о жизни Гоголя, II, 232.

At nunc patientia servilis tantumque sanguinis domi perditum fatigant animum et moestitia restringunt, neque aliam defensionem ab iis, quibus ista noscentur, exegerim, quam ne oderim tam segniter pereuntes.

Tacitus. Annales. Liber XVI [57]

Предисловие

Представляемый здесь рассказ имеет целью не столько описание каких-либо событий, сколько изображение общего характера целой эпохи и воспроизведение понятий, верований, нравов и степени образованности русского общества во вторую половину XVI столетия.

Оставаясь верным истории в общих ее чертах, автор позволил себе некоторые отступления в подробностях, не имеющих исторической важности. Так, между прочим, казнь Вяземского и обоих Басмановых, случившаяся на деле в 1570 году, помещена, для сжатости

рассказа, в 1565 год. Этот умышленный анахронизм едва ли навлечет на себя строгое порицание, если принять в соображение, что бесчисленные казни, последовавшие за низвержением Сильвестра и Адашева, хотя много служат к личной характеристике Иоанна, но не имеют влияния на общий ход событий.

В отношении к ужасам того времени автор оставался постоянно ниже истории. Из уважения к искусству и к нравственному чувству читателя он набросил на них тень и показал их, по возможности, в отдалении. Тем не менее он сознается, что при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук и он бросал перо в негодовании, не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования. Это тяжелое чувство постоянно мешало необходимой в эпическом сочинении объективности и было отчасти причиной, что роман, начатый более десяти лет тому назад, окончен только в настоящем году. Последнее обстоятельство послужит, быть может, некоторым извинением для тех неровностей сло-

га, которые, вероятно, не ускользнут от читателя.

В заключение автор полагает нелишним сказать, что чем вольнее он обращался со второстепенными историческими происшествиями, тем строже он старался соблюдать истину и точность в описании характеров и всего, что касается до народного быта и до археологии.

Если удалось ему воскресить наглядно физиономию очерченной им эпохи, он не будет сожалеть о своем труде и почтет себя достигшим желанной цели.

1862

ГЛАВА 1. Опричники

Лета от сотворения мира семь тысяч семьдесят третьего, или по нынешнему счислению 1565 года, в жаркий летний день, 23 июня, молодой боярин князь Никита Романович Серебряный подъехал верхом к деревне Медведевке, верст за тридцать от Москвы.

За ним ехала толпа ратников и холопей.

Князь провел целых пять лет в Литве. Его посылал царь Иван Васильевич к королю Жигимонту подписать мир на многие лета после бывшей тогда войны. Но на этот раз царский выбор вышел неудачен. Правда, Никита Романович упорно отстаивал выгоды своей земли и, казалось бы, нельзя и желать лучшего посредника, но Серебряный не был рожден для переговоров. Отвергая тонкости посольской науки, он хотел вести дело начистоту и, к крайней досаде сопровождавших его дьяков, не позволял им никаких изворотов. Королевские советники, уже готовые на уступки, скоро воспользовались простодушием князя, вывели от него наши слабые стороны и увеличили свои требования. Тогда он не вытерпел:

среди полного сейма ударил кулаком по столу и разорвал окончательную грамоту, приготовленную к подписанию. «Вы-де и с королем вашим вьюны да оглядчики! Я с вами говорю по совести; а вы всё норовите, как бы меня лукавством обойти! Так-де чинить неповадно!» Этот горячий поступок разрушил в один миг успех прежних переговоров, и не миновать бы Серебряному опалы, если бы, к счастью его, не пришло в тот же день от Москвы повеление не заключать мира, а возобновить войну. С радостью выехал Серебряный из Вильно, сменил бархатную одежду на блестящие бахтерцы и давай бить литовцев, где только бог посылал. Показал он свою службу в ратном деле лучше, чем в думном, и прошла про него великая хвала от русских и литовских людей.

Наружность князя соответствовала его нраву. Отличительными чертами более приятного, чем красивого лица его были простосердечие и откровенность. В его темно-серых глазах, осененных черными ресницами, наблюдатель прочел бы необыкновенную, бессознательную и как бы невольную решительность, не позволявшую ему ни на миг задум-

маться в минуту действия. Неровные взъерошенные брови и косая между ними складка указывали на некоторую беспорядочность и непоследовательность в мыслях. Но мягко и определительно изогнутый рот выражал честную, ничем не поколебимую твердость, а улыбка – беспритязательное, почти детское добродушие, так что иной, пожалуй, почел бы его ограниченным, если бы благородство, дышащее в каждой черте его, не ручалось, что он всегда постигнет сердцем, чего, может быть, и не сумеет объяснить себе умом. Общее впечатление было в его пользу и рождало убеждение, что можно смело ему довериться во всех случаях, требующих решимости и самоотвержения, но что обдумывать свои поступки не его дело и что соображения ему не даются.

Серебряному было лет двадцать пять. Роста он был среднего, широк в плечах, тонок в поясе. Густые русые волосы его были светлее загорелого лица и составляли противоположность с темными бровями и черными ресницами. Короткая борода, немного темнее волос, слегка отеняла губы и подбородок.

Весело было теперь князю и легко на сердце возвращаться на родину. День был светлый, солнечный, один из тех дней, когда вся природа дышит чем-то праздничным, цветы кажутся ярче, небо голубее, вдали прозрачными струями зыблется воздух, и человеку делается так легко, как будто бы душа его сама перешла в природу, и трепещет на каждом листе, и качается на каждой былинке.

Светел был июньский день, но князю, после пятилетнего пребывания в Литве, он казался еще светлее. От полей и лесов так и веяло Русью.

Без лести и кривды радел Никита Романович к юному Иоанну. Твердо держал он свое крестное целование, и ничто не пошатнуло бы его крепкого стоятельства за государя. Хотя сердце и мысль его давно просились на родину, но если бы теперь же пришло ему повеление вернуться на Литву, не увидя ни Москвы, ни родных, он без ропота поворотил бы коня и с прежним жаром кинулся бы в новые битвы. Впрочем, не он один так мыслил. Все русские люди любили Иоанна всею землею. Казалось, с его праведным царствием настал

на Руси новый золотой век, и монахи, перечитывая летописи, не находили в них государя, равного Иоанну.

Еще не доезжая деревни, князь и люди его слышали веселые песни, а когда подъехали к околице, то увидели, что в деревне праздник. На обоих концах улицы парни и девки составили по хороводу, и оба хоровода несли по березке, украшенной пестрыми лоскутьями. На головах у парней и девок были зеленые венки. Хороводы пели то оба вместе, то чередуясь, разговаривали один с другим и перекидывались шуточной бранью. Звонко раздавался между песнями девичий хохот, и весело пестрели в толпе цветные рубахи парней. Стаи голубей перелетали с крыши на крышу. Все двигалось и кипело; веселился православный народ.

У околицы старый стремянный князя с ним поравнялся.

– Эхва! – сказал он весело, – вишь, как они, батюшка, тетка их подкурятина, справляют Аграфену Купальницу-то! Уж не поотдохнуть ли нам здесь? Кони-то заморились, да и нам-то, поемши, веселее будет ехать. По сытому

брюху, батюшка, сам знаешь, хоть обухом бей!

– Да, я чай, уже не далеко до Москвы! – сказал князь, очевидно не желавший остановиться.

– Эх, батюшка, ведь ты сегодня уж разов пять спрашал. Сказали тебе добрые люди, что будет отсюда еще поприщ за сорок. Вели отдохнуть, князь, право, кони устали!

– Ну добро, – сказал князь, – отдыхайте!

– Эй, вы! – закричал Михеич, обращаясь к ратникам, – долой с коней, сымай котлы, раскладывай огонь!

Ратники и холопы были все в приказе у Михеича; они спешили и стали развязывать вьюки. Сам князь слез с коня и снял служилую бронь. Видя в нем человека роду честного, молодые прервали хороводы, старики сняли шапки, и все стояли, переглядываясь в недоумении, продолжать или нет веселие.

– Не чинитесь, добрые люди, – сказал ласково Никита Романович, – кричат соколам не помеха!

– Спасибо, боярин, – отвечал пожилой крестьянин. – Коли милость твоя нами не брезга-

ет, просим покорно, садись на завалину, а мы тебе, коли соизволишь, медку поднесем; уважь, боярин, выпей на здоровье! Дуры – продолжал он, обращаясь к девушкам, – чего испугались? Аль не видите, это боярин с своею челядью, а не какие-нибудь опричники! Вишь ты, боярин, с тех пор как настала на Руси опричина, так наш брат всего боится; житья нету бедному человеку! И в праздник пей, да не допивай; пой, да оглядывайся. Как раз нагрянут, ни с того ни с другого, словно снег на голову!

– Какая опричина? Что за опричники? – спросил князь.

– Да провал их знает! Называют себя царскими людьми. Мы-де люди царские, опричники! А вы-де земщина! Нам-де вас грабить да обдирать, а вам-де терпеть да кланяться. Так-де царь указал!

Князь Серебряный вспыхнул.

– Царь указал обижать народ! Ах они оканные! Да кто они такие? Как вы их, разбойников, не перевяжете!

– Перевязать опричников-то! Эх, боярин! видно, ты издалека едешь, что не знаешь

опричнины! Попытайся-ка что с ними сделать! Ономясь наехалю их человек десять на двор к Степану Михайлову, вон на тот двор, что на запоре; Степан-то был в поле; они к старухе: давай того, давай другого. Старуха все ставит да кланяется. Вот они: давай, баба, денег! Заплакала старуха, да нечего делать, отперла сундук, вынула из тряпицы два алтына, подает со слезами: берите, только живую оставьте. А они говорят: мало! Да как хватит ее один опричник в висок, так и дух вон! Приходит Степан с поля, видит: лежит его старуха с разбитым виском; он не вытерпел. Давай ругать царских людей: бога вы не боитесь, окаянные! Не было б вам на том свету ни дна ни покрывки! А они ему, сердечному, петлю на шею, да и повесили на воротах!

Вздрогнул от ярости Никита Романович. Закипело в нем ретивое.

– Как, на царской дороге, под самую Московой, разбойники грабят и убивают крестьян! Да что же делают ваши сотские да губные старосты? Как они терпят, чтобы станичники себя царскими людьми называли?

– Да, – подтвердил мужик, – мы-де люди

царские, опричники; нам-де все вольно, а вы-де земщина! И старшие у них есть; знаки носят: метлу да собачью голову. Должно быть, и вправду царские люди.

– Дурень! – вскричал князь, – не смей станничников царскими людьми величать! «Ума не приложу, – подумал он. – Особые знаки? Опричники? Что это за слово? Кто эти люди? Как приеду на Москву, обо всем доложу царю. Пусть велит мне сыскать их! Не спущу им, как бог свят, не спущу!»

Между тем хоровод шел своим чередом.

Молодой парень представлял жениха, молодая девка невесту; парень низко кланялся родственникам своей невесты, которых также представляли парни и девки.

– Государь мой, тещюшка, – пел жених вместе с хором, – упари мне пива!

– Государыня теща, напеки пирогов!

– Государь свояк, оседлай мне коня!

Потом, взявшись за руки, девки и парни кружились вокруг жениха и невесты, сперва в одну, потом в другую сторону. Жених выпил пиво, съел пироги, изъездил коня и выгоняет свою родню.

– Пошел, тесть, к черту!

– Пошла, теща, к черту!

– Пошел, свояк, к черту!

При каждом стихе он выталкивал из хоровода то девку, то парня. Мужики хохотали.

Вдруг раздался пронзительный крик. Мальчик лет двенадцати, весь окровавленный, бросился в хоровод.

– Спасите! спрячьте! – кричал он, хватаясь за полы мужиков.

– Что с тобой, Ваня? Чего орешь? Кто тебя избил? Уж не опричники ль?

В один миг оба хоровода собрались в кучу; все окружили мальчика; но он от страха едва мог говорить.

– Там, там, – произнес он дрожащим голосом, – за огородами, я пас телят... они наехали, стали колоть телят, рубить саблями, пришла Дунька, стала просить их, они Дуньку взяли, потащили, потащили с собой, а меня...

Новые крики перебили мальчика. Женщины бежали с другого конца деревни.

– Беда, беда! – кричали они, – опричники! бегите, девки, прячьтесь в рожь! Дуньку и Аленку схватили, а Сергевну убили насмерть!

В то же время показались всадники, человек с пятьдесят, сабли наголо. Впереди скакал чернобородый детина в красном кафтане, в рысьей шапке с парчовым верхом. К седлу его привязаны были метла и собачья голова.

– Гойда! Гойда! – кричал он, – колите скот, рубите мужиков, ловите девок, жгите деревню! За мной, ребята! Никого не жалеть!

Крестьяне бежали куда кто мог.

– Батюшка! Боярин! – вопили те, которые были ближе к князю, – не выдавай нас, сирот! Оборои горемычных!

Но князя уже не было между ними.

– Где ж боярин? – спросил пожилой мужик, оглядываясь на все стороны. – И след простыл! И людей его не видать! Ускакали, видно, сердечные! Ох, беда неминуемая, ох, смерть нам настала!

Детина в красном кафтане остановил коня.

– Эй ты, старый хрен! здесь был хоровод, куда девки разбежались?

Мужик кланялся молча.

– На березу его! – закричал черный. – Любит молчать, так пусть себе молчит на березе!

Несколько всадников сошли с коней и на-

кинули мужику петлю на шею.

– Батюшки, кормильцы! Не губите старика, отпустите, родимые! Не губите старика!

– Ага! Развязал язык, старый хрыч! Да поздно, брат, в другой раз не шути! На березу его!

Опричники потащили мужика к березе. В эту минуту из-за избы раздалось несколько выстрелов, человек десять пеших людей бросились с саблями на душегубцев, и в то же время всадники князя Серебряного, вылетев из-за угла деревни, с криком напали на опричников. Княжеских людей было вполвину менее числом, но нападение совершилось так быстро и неожиданно, что они в один миг опрокинули опричников. Князь сам рукоятью сабли сшиб с лошади их предводителя. Не дав ему опомниться, он спрыгнул с коня, придавил ему грудь коленом и стиснул горло.

– Кто ты, мошенник? – спросил князь.

– А ты кто? – отвечал опричник, хрипя и сверкая глазами.

Князь приставил ему пистольное дуло ко лбу.

– Отвечай, окаянный, или застрелю как со-

баку!

– Я тебе не слуга, разбойник, – отвечал черный, не показывая боязни, – а тебя повесят, чтобы не смел трогать царских людей!

Курок пистолы щелкнул, но кремь осекся, и черный остался жив.

Князь посмотрел вокруг себя. Несколько опричников лежали убитые, других княжеские люди вязали, прочие скрылись.

– Скрутите и этого! – сказал боярин, и, глядя на зверское, но бесстрашное лицо его, он не мог удержаться от удивления. «Нечего сказать, молодец! – подумал князь. – Жаль, что разбойник!»

Между тем подошел к князю стремянный его, Михеич.

– Смотри, батюшка, – сказал он, показывая пук тонких и крепких веревок с петлями на конце, – вишь, они какие осылы возят с собою! Видно, не впервой им душегубствовать, тетка их подкурятина!

Тут ратники подвели к князю двух лошадей, на которых сидели два человека, связанные и прикрученные к седлам. Один из них был старик с кудрявою, седою головой и

длинною бородой. Товарищ его, черноглазый молодец, казался лет тридцати.

– Это что за люди? – спросил князь. – Зачем вы их к седлам прикрутили?

– Не мы, боярин, а разбойники прикрутили их к седлам. Мы нашли их за огородами, и стража к ним была приставлена.

– Так отвяжите их и пустите на волю!

Освобожденные пленники потягивали онемелые члены, но, не спеша воспользоваться свободой, остались посмотреть, что будет с побежденными.

– Слушайте, мошенники, – сказал князь связанным опричникам, – говорите, как вы смели называться царскими слугами? Кто вы таковы?

– Что, у тебя глаза лопнули, что ли? – отвечал один из них. – Аль не видишь, кто мы? Известно кто! Царские люди, опричники!

– Окаянные! – вскричал Серебряный, – коли жизнь вам дорога, отвечайте правду!

– Да ты, видно, с неба свалился, – сказал с усмешкой черный детина, – что никогда опричников не видал? И подлинно с неба свалился! Черт его знает, откуда выскочил, про-

валиться бы тебе сквозь землю!

Упорство разбойников взорвало Никиту Романовича.

– Слушай, молодец, – сказал он, – твоя дерзость мне было пришлась по нраву, я хотел было пощадить тебя. Но если ты сейчас же не скажешь мне, кто ты таков, как бог свят, велю тебя повесить!

Разбойник гордо выпрямился.

– Я Матвей Хомяк! – отвечал он, – стремянный Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского; служу верно господину моему и царю в опричниках. Метла, что у нас при седле, значит, что мы Русь метем, выметаем измену из царской земли; а собачья голова – что мы грызем врагов царских. Теперь ты ведаешь, кто я; скажи ж и ты, как тебя называть, величать, каким именем помянуть, когда придется тебе шею свернуть?

Князь простил бы опричнику его дерзкие речи. Бесстрашие этого человека в виду смерти ему нравилось. Но Матвей Хомяк клеветал на царя, и этого не мог снести Никита Романович. Он дал знак ратникам. Привыкшие слушаться боярина и сами раздраженные

дерзостью разбойников, они накинули им петли на шеи и готовились исполнить над ними казнь, незадолго перед тем угрожавшую бедному мужику.

Тут младший из людей, которых князь велел отвязать от седел, подошел к нему.

– Дозволь, боярин, слово молвить.

– Говори!

– Ты, боярин, сегодня доброе дело сделал, вызволил нас из рук этих собачьих детей, так мы хотим тебе за добро добром заплатить. Ты, видно, давно на Москве не бывал, боярин. А мы так знаем, что там деется. Послушай нас, боярин. Коли жизнь тебе не постыла, не вели вешать этих чертей. Отпусти их, и этого беса, Хомяка, отпусти. Не их жаль, а тебя, боярин. А уж попадутся нам в руки, вот те Христос, сам повешу их. Не миновать им осила, только бы не ты их к черту отправил, а наш брат!

Князь с удивлением посмотрел на незнакомца. Черные глаза его глядели твердо и пронизательно; темная борода покрывала всю нижнюю часть лица, крепкие и ровные зубы сверкали ослепительною белизной. Судя по его одежде, можно было принять его за по-

садского или за какого-нибудь зажиточного крестьянина, но он говорил с такою уверенностью и, казалось, так искренно хотел предостеречь боярина, что князь стал пристальнее вглядываться в черты его. Тогда показалось князю, что на них отпечаток необыкновенного ума и сметливости, а взгляд обнаруживает человека, привыкшего повелевать.

– Ты кто, молодец? – спросил Серебряный, – и зачем вступаешься за людей, которые самого тебя прикрутили к седлу?

– Да, боярин, кабы не ты, то висеть бы мне вместо их! А все-таки послушай мово слова, отпусти их; жалеть не будешь, как приедешь на Москву. Там, боярин, не то, что прежде, не те времена! Кабы всех их перевешать, я бы не прочь, зачем бы не повесить! А то и без этих довольно их на Руси останется; а тут еще человек десять ихних ускакало; так если этот дьявол, Хомяк, не воротится на Москву, они не на кого другого, а прямо на тебя покажут!

Князя, вероятно, не убедили бы темные речи незнакомца, но гнев его успел простыть. Он рассудил, что скорая расправа с злодеями

немного принесет пользы, тогда как, предав их правосудию, он, может быть, откроет всю шайку этих загадочных грабителей. Расспросив подробно, где имеет пребывание ближний губной староста, он приказал старшему ратнику с товарищами проводить туда пленных и объявил, что поедет далее с одним Михеичем.

– Власть твоя посылать этих собак к губному старосте, – сказал незнакомец, – только поверь мне, староста тотчас велит развязать им руки. Лучше бы самому тебе отпустить их на все четыре стороны. Впрочем, на то твоя боярская воля.

Михеич слушал всё молча и только почесывал за ухом. Когда незнакомец кончил, старый стремянный подошел к князю и поклонился ему в пояс.

– Батюшка боярин, – сказал он, – оно тово, может быть, этот молодец и правду говорит: неравно староста отпустит этих разбойников. А уж коли ты их, по мягкосердечию твоему, от петли помиловал, за что бог и тебя, батюшка, не оставит, то дозвожь, по крайности, перед отправкой-то, на всяк случай, влепить им

по полсотенке плетей, чтоб вперед-то не душегубствовали, тетка их подкурятина!

И, принимая молчание князя за согласие, он тотчас велел отвезть пленных в сторону, где предложенное им наказание было исполнено точно и скоро, несмотря ни на угрозы, ни на бешенство Хомяка.

– Это самое питательное дело!.. – сказал Михеич, возвращаясь с довольным видом к князю. – Оно, с одной стороны, и безобидно, а с другой – и памятно для них будет!

Незнакомец, казалось, сам одобрял счастливую мысль Михеича. Он усмехался, поглаживая бороду, но скоро лицо его приняло прежнее суровое выражение.

– Боярин, – сказал он, – уж коли ты хочешь ехать с одним только стремянным, то дозвожь хоть мне с товарищем к тебе примкнуться; нам дорога одна, а вместе будет веселее; к тому ж не ровен час, коли придется опять работать руками, так восемь рук больше четырех вымолотят.

У князя не было причин подозревать своих новых товарищей. Он позволил им ехать с собою, и, после краткого отдыха, все четверо пу-

стились в путь.

ГЛАВА 2. Новые товарищи

Дорогой Михеич несколько раз пытался выведать от незнакомцев, кто они таковы, но те отшучивались или отделивались разными изворотами.

– Тьфу, тетка их подкурятина! – сказал наконец сам про себя Михеич, – что за народ! Словно вьюны какие! Думаешь, вот поймал их за хвост, а они тебе промеж пальцев!

Между тем стало темнеть; Михеич подъехал к князю.

– Боярин, – сказал он, – хорошо ли мы сделали, что взяли с собой этих молодцов? Они что-то больно увертливы, никак от них толку не добьешься. Да и народ-то плечистый, не хуже Хомяка. Уж не лихие ли люди?

– А хоть и лихие, – отвечал беззаботно князь, – всё же они постоят за нас, коли неравно попадутся нам еще опричники!

– А провал их знает, постоят ли, батюшка! Ворон ворону глаз не выклюет; а я слышал, как они промеж себя поговаривали черт знает на каком языке, ни слова не понять, а, ка-

жись, было по-русски! Берегись, боярин, береженого коня и зверь не вредит!

Темнота усиливалась. Михеич замолчал. Боярин также молчал. Слышен был только лошадиный топ да изредка чуткое фырканье.

Ехали лесом. Один из незнакомцев затаил песню, другой стал подтягивать.

Песнь эта, раздающаяся ночью, среди леса, после всех дневных происшествий, странно подействовала на князя: ему сделалось грустно. Он вспомнил о прошедшем, вспомнил об отъезде своем из Москвы, за пять лет назад, и в воображении очутился опять в той церкви, где перед отъездом слушал молебен и где сквозь торжественное пение, сквозь шепот толпы, его поразили нежный и звучный голос, которого не заглушил ни стук мечей, ни гром литовских пицалей. «Прости, князь, говорил ему украдкой этот голос, я буду за тебя молиться!..» Между тем незнакомцы продолжали петь, но слова их не соответствовали размышлениям боярина. В песни говорилось про широкое раздолье степей, про матушку-Волгу, про разгульное бурлацкое житье. Голоса то сходились, то расходились, то текли ров-

ным током, как река широкая, то бурными волнами вздымались и опускались, и наконец, взлетев высоко, высоко, царили в небесах, как орлы с распростертыми крыльями.

Грустно и весело в тихую летнюю ночь, среди безмолвного леса, слушать размашистую русскую песню. Тут и тоска бесконечная, безнадежная, тут и сила непобедимая, тут и роковая печать судьбы, железное предназначение, одно из основных начал нашей народности, которым можно объяснить многое, что в русской жизни кажется непонятным. И чего не слышно еще в протяжной песни среди летней ночи и безмолвного леса!

Пронзительный свист прервал мысли боярина. Два человека выпрыгнули из-за деревьев и взяли лошадь его под уздцы. Двое других схватили его за руки. Сопротивление стало невозможно.

– Ах мошенники! – вскричал Михеич, которого также окружили неизвестные люди, – ах тетка их подкурятина! Ведь подвели же, окаянные!

– Кто едет? – спросил грубый голос.

– Бабушкино веретено! – отвечал младший

из новых товарищей князя.

– В дедушкином лапте! – сказал грубый голос.

– Откуда бог несет, земляки?

– Не тряси яблони! Дай дрожжам взойти, сам-четверт урожая! – продолжал спутник князя.

Руки, державшие боярина, тотчас опустились, и конь, почувствовав свободу, стал опять фыркать и шагать между деревьями.

– Вишь, боярин, – сказал незнакомец, равняясь с князем, – ведь говорил я тебе, что вчетвером веселее ехать, чем сам-друг! Теперь дай себя только до мельницы проводить, а там простимся. В мельнице найдешь ночлег и корм лошадям. Дотудова будет версты две, не боле, а там скоро и Москва!

– Спасибо, молодцы, за услугу. Коли придется нам когда встретиться, не забуду я, что долг платежом красен!

– Не тебе, боярин, а нам помнить услуги. Да вряд ли мы когда и встретимся. А если бы привел бог, так не забудь, что русский человек добро помнит и что мы всегда тебе верные холопы!

– Спасибо, ребята, а имени своего не скажете?

– У меня имя не одно, – отвечал младший из незнакомцев. – Покамест я Ванюха Перстень, а там, может, и другое прозвание мне найдется.

Вскоре они приблизились к мельнице. Несмотря на ночное время, колесо шумело в воде. На свист Перстня показался мельник. Лица его нельзя было разглядеть за темнотою, но, судя по голосу, он был старик.

– Ах ты, мой кормилец! – сказал он Перстню, – не ждал я тебя сегодня, да еще с проезжими! Что бы тебе с ними уж до Москвы доехать? А у меня, родимый, нет ни овса, ни сена, ни ужина!

Перстень сказал что-то мельнику на непонятном условном языке. Старик отвечал такими же непонятными словами и прибавил вполголоса:

– И рад бы, родимый, да гостя жду; такого гостя, боже сохрани, какой сердитый!

– А камора за ставом? – сказал Перстень.

– Вся завалена мешками!

– А кладовая? Слышь ты, брат, чтоб сейчас

отыскалось место, овес лошадям и ужин боярину! Мы ведь знаем друг друга, меня не морочь!

Мельник, ворча, повел приезжих в камору, стоявшую шагах в десяти от мельницы и где, несмотря на мешки с хлебом и мукою, было очень довольно места.

Пока он сходил за лучиной, Перстень и товарищ его простились с боярином.

– А скажите, молодцы, – спросил Михеич, – где ж отыскать вас, если б, неравно, по сегодняшнему делу, князю понадобились свидетели?

– Спроси у ветра, – отвечал Перстень, – откуда он? Спроси у волны перебежной, где живет она? Мы что стрелы острые с тетивы летим: куда вонзится калена стрела, там и дом ее! В свидетели, – продолжал он, усмехаясь, – мы его княжеской милости не годимся. А если б мы за чем другим понадобились, приходи, старичина, к мельнику; он тебе скажет, как отыскать Ванюху Перстня!

– Вишь ты, тетка твоя подкурятина! – проворчал себе под нос Михеич, – какие кудрявые речи выговаривает!

– Боярин, – сказал Перстень, удаляясь, – послушай меня, не хвались на Москве, что хотел повесить слугу Малюты Скуратова и потом отодрал его как сидорову козу!

– Вишь, что наладил, – проворчал опять Михеич, – отпусти разбойника, не вешай разбойника, да и не хвались, что хотел повесить! Затвердила сорока Якова, видно с одного поля ягода! Не беспокойся, брат, – прибавил он громко, – наш князь никого не боится; наплевать ему на твою Скурлатова; он одному царю ответ держит!

Мельник принес зажженную лучину и воткнул ее в стену. Потом принес щей, хлеба и кружку браги. В чертах его была странная смесь добродушия и плутовства; волосы и борода были совсем седые, а глаза ярко-серого цвета; морщины во всех направлениях раскали лицо его.

Поужинав и помолившись богу, князь и Михеич расположились на мешках; мельник пожелал им доброй ночи, низко поклонился, погасил лучину и вышел.

– Боярин, – сказал Михеич, когда они остались одни, – сдается мне, что напрасно мы

здесь остановились. Лучше было ехать до Москвы.

– Чтобы тревожить народ божий среди ночи? Слезать с коней да отмыкать рогатки на каждой улице?

– Да что, батюшка, лучше отмыкать рогатки, чем спать в чертовой мельнице. И угораздило же их, окаянных, привести именно в мельницу! Да еще на Ивана Купала. Тьфу ты пропасть.

– Да что тебе здесь худо, что ли?

– Нет, батюшка, не худо; и лежать покойно, и щи были добрые, и лошадям овес засыпан; да только то худо, что хозяин, вишь, мельник.

– Что ж с того, что он мельник?

– Как что, что мельник? – сказал с жаром Михеич. – Да разве ты не знаешь, князь, что нет мельника, которому бы нечистый не приходился сродни? Али ты думаешь, он сумеет без нечистого плотину насыпать? Да, черта с два! Тетка его подкурятина!

– Слышал я про это, – сказал князь, – мало ли что люди говорят. Да теперь не время разбирать, бери, что бог послал.

Михеич немного помолчал, потом зевнул,

еще помолчал и спросил уже заспанным голосом:

– А как ты думаешь, боярин, что за человек этот Матвей Хомяк, которого ты с лошади сшиб?

– Я думаю, разбойник.

– И я тоже думаю. А как ты думаешь, боярин, что за человек этот Ванюха Перстень?

– Я думаю, тоже разбойник.

– И я так думаю. Только этот разбойник будет почище того разбойника. А тебе как покажется, боярин, который разбойник будет почище, Хомяк или Перстень?

И, не дожидаясь ответа, Михеич захрапел. Вскоре уснул и князь.

ГЛАВА 3. Колдовство

Месяц взошел на небо, звезды ярко горели. Полуразвалившаяся мельница и шумящее колесо были озарены серебряным блеском.

Вдруг раздался конский топот, и вскоре повелительный голос закричал под самой мельницей:

– Эй, колдун!

Казалось, новый приезжий не привык дожидаться, ибо, не слыша ответа, он закричал еще громче:

– Эй, колдун! Выходи, не то в куски изрублю!

Послышался голос мельника:

– Тише, князь, тише, батюшка, теперь мы не одни, остановились у меня проезжие; а вот я сейчас к тебе выйду, батюшка, дай только сундук запереть.

– Я те дам сундук запирать, чертова кочерга! – закричал тот, которого мельник назвал князем. – Разве ты не знал, что я буду сегодня! Как смел ты принимать проезжих! Вон их отсюда!

– Батюшка, не кричи, бога ради не кричи, всё испортишь! Я тебе говорил уже, дело боится шуму, а проезжих прогнать я не властен. Да они же нам и не мешают; они спят теперь, коли ты, родимый, не разбудил их!

– Ну, добро, старик, только смотри, коли ты меня морочишь, лучше бы тебе на свет не родиться. Еще не выдуманно, не придумано такой казни, какую я найду тебе!

– Батюшка, умиლოსердись! что ж мне делать, старику? Что увижу, то и скажу; что после случится, в том один бог властен! А если твоя княжеская милость меня казнить собирается, так лучше я и дела не начну!

– Ну, ну, старик, не бойся, я пошутил.

Проезжий привязал лошадь к дереву. Он был высокого роста и, казалось, молод. Месяц играл на запонках его однорядки. Золотые кисти мурмолки болтались по плечам.

– Что ж, князь, – сказал мельник, – выучил ты слова?

– И слова выучил, и ласточкино сердце ношу на шее.

– Что ж, боярин, и это не помогает?

– Нет, – отвечал с досадой князь, – ничего

не помогает! Намедни я увидел ее в саду. Лишь узнала она меня, побледнела, отвернулась, убежала в светлицу!

– Не прогнеvisь, боярин, не руби невинной головы, а дозвожь тебе слово молвить.

– Говори, старик.

– Слушай, боярин, только я боюсь говорить...

– Говори! – закричал князь и топнул ногой.

– Слушай же, батюшка, уж не любит ли она другого?

– Другого? Кого ж другого? мужа? старика?

– А если... – продолжал мельник, запинаясь, – если она любит не мужа?...

– Ах ты леший! – вскричал князь, – да как это тебе на ум взбрело? Да если б я только подумал про кого, я б у них у обоих своими руками сердце вырвал!

Мельник отшатнулся в страхе.

– Колдун, – продолжал князь, смягчая свой голос, – помоги мне! Одолела меня любовь, змея лютая! Уж чего я не делал! Целые ночи перед иконами молился! Не вымолил себе покою. Бросил молиться, стал скакать и рыскать по полям с утра до ночи, не одного доброго ко-

ня заморил, а покоя не выездил! Стал гулять по ночам, выпивал ковши вина крепкого, не запил тоски, не нашел себе покоя в похмелье! Махнул на все рукой и пошел в опричники. Стал гулять за царским столом вместе со страдниками, с Грязными, с Басмановыми! Сам хуже их злодействовал, разорял села и слободы, увозил жен и девок, а не залил кровью тоски моей! Боятся меня и земские и опричники, жалует царь за молодечество, проклинаят народ православный. Имя князя Афанасья Вяземского стало так же страшно, как имя Малюты Скуратова! Вот до чего довела меня любовь, погубил я душу мою! Да что мне до нее! Во дне адовом не будет хуже здешнего! Ну, старик, чего смотришь мне в глаза? Али думаешь, я помешался? Не помешался Афанасий Иванович; крепка голова, крепко тело его! Тем-то и ужасна моя мука, что не может извести меня!

Мельник слушал князя и боялся. Он опасался его буйного нрава, опасался за жизнь свою.

— Что ж ты молчишь, старик? али нет у тебя зелья, али нет корня какого приворотить

ее? Говори, высчитывай, какие есть чародейные травы? Да говори же, колдун!

– Батюшка, князь Афанасий Иванович, как тебе сказать? Всякие есть травы. Есть колюка-трава, собирается в Петров пост. Обкуришь ею стрелу, промаху не дашь. Есть тирлич-трава, на Лысой горе, под Киевом, растет. Кто ее носит на себе, на того век царского гнева не будет. Есть еще плакун-трава, вырежешь из корня крест да повесишь на шею, все тебя будут как огня бояться!

Вяземский горько усмехнулся.

– Меня уж и так боятся, – сказал он, – не надо мне плакуна твоего. Называй другие травы.

– Есть еще адамова голова, коло болот растет, разрешает роды и подарки приносит. Есть голубец болотный; коли хочешь идти на медведя, выпей взвару голубца, и никакой медведь тебя не тронет. Есть ревенка-трава; когда станешь из земли выдергивать, она стонет и ревет, словно человек, а наденешь на себя, никогда в воде не утонешь.

– А боле нет других?

– Как не быть, батюшка, есть еще коче-

дыжник, или папоротник; кому удастся сорвать цвет его, тот всеми кладами владеет. Есть иван-да-марья; кто знает, как за нее взяться, тот на первой кляче от лучшего скакуна удерет.

– А такой травы, чтобы молодушка полюбила постылого, не знаешь?

Мельник замялся.

– Не знаю, батюшка, не гневайся, родимый, видит бог, не знаю!

– А такой, чтобы свою любовь перемочь, не знаешь?

– И такой не знаю, батюшка; а вот есть разрыв-трава; когда дотронешься ею до замка али до двери железной, так и разорвет на куски!

– Пропадай ты с своими травами! – сказал гневно Вяземский и устремил мрачный взор свой на мельника.

Мельник опустил глаза и молчал.

– Старик! – вскричал вдруг Вяземский, хватая его за ворот, – подавай мне ее! Слышишь? Подавай ее, подавай ее, леший! Сейчас подавай!

И он тряс мельника за ворот обеими рука-

ми.

Мельник подумал, что настал последний час его.

Вдруг Вяземский выпустил старика и повалился ему в ноги.

– Сжался надо мной! – зарыдал он, – излечи меня! Я задарю тебя, озолочу тебя, пойду в кабалу к тебе! Сжался надо мной, старик!

Мельник еще более испугался.

– Князь, боярин! Что с тобой? Опомнись! Это я, Давыдыч, мельник!.. Опомнись, князь!

– Не встану, пока не излечишь!

– Князь! князь! – сказал дрожащим голосом мельник, – пора за дело. Время уходит, вставай! Теперь темно, не видал я тебя, не знаю, где ты! Скорей, скорей за дело!

Князь встал.

– Начинай, – сказал он, – я готов.

Оба замолчали. Все было тихо. Только колесо, освещенное месяцем, продолжало шуметь и вертеться. Где-то в дальнем болоте кричал дергач. Сова завывала порой в гущине леса.

Старик и князь подошли к мельнице.

– Смотри, князь, под колесо, а я стану на-

шептывать.

Старик прилег к земле и, еще задыхаясь от страха, стал шептать какие-то слова. Князь смотрел под колесо. Прошло несколько минут.

– Что видишь, князь?

– Вижу, будто жемчуг сыплется, будто червонцы играют.

– Будешь ты богат, князь, будешь всех на Руси богаче!

Вяземский вздохнул.

– Смотри еще, князь, что видишь?

– Вижу, будто сабли трутся одна о другую, а промеж них как золотые гривны!

– Будет тебе удача в ратном деле, боярин, будет счастье на службе царской! Только смотри, смотри еще, говори, что видишь?

– Теперь сделалось темно, вода помутилась. А вот стала краснеть вода, вот почервонела, словно кровь. Что это значит?

Мельник молчал.

– Что это значит, старик?

– Довольно, князь. Долго смотреть не годится, пойдем!

– Вот потянулись багровые нитки, словно

жилы кровавые; вот будто клещи растворяются и замыкаются, вот...

– Пойдем, князь, пойдем, будет с тебя!

– Постой, – сказал Вяземский, отталкивая мельника, – вот словно пила зубчатая ходит взад и вперед, а из-под нее словно кровь брызжет!

Мельник хотел оттащить князя.

– Постой, старик, мне дурно, мне больно в суставах... Ох, больно!

Князь сам отскочил. Казалось, он понял свое видение.

Долго оба молчали. Наконец Вяземский сказал:

– Хочу знать, любит ли она другого!

– А есть ли у тебя, боярин, какая вещица от нее?

– Вот что нашел я у калитки!

Князь показал голубую ленту.

– Брось под колесо!

Князь бросил.

Мельник вынул из-за пазухи глиняную сулею.

– Хлебни! – сказал он, подавая сулею князю.

Князь хлебнул. Голова его стала ходить кругом, в очах помутилось.

– Смотри теперь, что видишь?

– Ее, ее.

– Одною?

– Нет, не одну! Их двое: с ней русый молодец в кармазинном кафтане, только лица его не видно. Постой! Вот они сплываются... все ближе, ближе... Анафема! они целуются! Анафема! Будь ты проклят, колдун, будь проклят, проклят!

Князь бросил мельнику горсть денег, оторвал от дерева узду коня своего, вскочил в седло, и застучали в лесу конские подковы. Потом топот замер в отдаленье, и лишь колесо в ночной тиши продолжало шуметь и вертеться.

ГЛАВА 4. Дружина Андреевич и его жена

Если бы читатель мог перенестись лет за триста назад и посмотреть с высокой колокольни на тогдашнюю Москву, он нашел бы в ней мало сходства с теперешнею. Берега Москвы-реки, Яузы и Неглинной покрыты были множеством деревянных домов с тесовыми или соломенными крышами, большую часть почерневшими от времени. Среди этих темных крыш резко белели и краснели стены Кремля, Китай-города и других укреплений, возникших в течение двух последних столетий. Множество церквей и колоколен подымали свои золоченые головы к небу. Подобные большим зеленым и желтым пятнам, виднелись между домами густые рощи и покрытые хлебом поля. Через Москву-реку пролегали зыбкие живые мосты, сильно дрожавшие и покрывавшиеся водою, когда по ним проезжали возы или всадники. На Яузе и на Неглинной вертелись десятками мельничные колеса, одно подле другого. Эти рощи, поля и мельницы среди самого города придавали то-

гдашней Москве много живописного. Особенно весело было смотреть на монастыри, которые, с белыми оградами и пестрыми кучами цветных и золоченых голов, казались отдельными городами.

Надо всю эту путаницей церковей, домов, рощ и монастырей гордо воздымались кремлевские церкви и недавно отделанный храм Покрова богоматери, который Иоанн заложил несколько лет тому назад в память взятия Казани и который мы знаем ныне под именем Василия Блаженного. Велика была радость москвитян, когда упали наконец леса, закрывавшие эту церковь, и предстала она во всем своем причудливом блеске, сверкая золотом и красками и удивляя взор разнообразием украшений. Долго не переставал народ дивиться искусному зодчему, благодарить бога и славить царя, даровавшего православным зрелище, дотоле не виданное. Хороши были и прочие церкви московские. Не щадили москвитяне ни рублей, ни трудов на благолепие домов божиих. Везде видны были дорогие цвета, позолота и большие наружные иконы во весь рост человеческий. Любили

православные украшать дома божии, но зато мало заботились о наружности своих домов; жилища их почти все были выстроены прочно и просто, из сосновых или дубовых брусьев, не обшитых даже тесом, по старинной русской пословице: не красна изба углами, а красна пирогами.

Один дом боярина Дружины Андреевича Морозова, на берегу Москвы-реки, отличался особенною красотою. Дубовые бревна были на подбор круглы и ровны; все углы рублены в лапу, дом возвышался в три жилья, не считая светлицы. Навесная кровля над крутым крыльцом поддерживалась пузатыми, вычурными столбами и щеголяла мелкою резьбою. Ставни были искусно расписаны цветами и птицами, а окна пропускали свет божий не сквозь тусклые бычачьи пузыри, как в большей части домов московских, но сквозь чистую, прозрачную слюду. На широком дворе стояли службы, кладовые, сушилы, голубятня и летняя опочивальня боярина. Ко двору примыкали с одной стороны домовая каменная церковь, с другой – просторный сад, окруженный дубовым частоколом, из-за которого

подымались красивые качели также с узором и живописью. Словом, дом выстроен был на славу. Да и было на кого строить!

Боярин Дружина Андреевич, телом дородный, нрава крутого, несмотря на свои преклонные лета, недавно женился на первой московской красавице. Все дивились, когда вышла за него двадцатилетняя Елена Дмитриевна, дочь окольного Плещеева-Очина, убитого под Казанью. Не такого жениха прочили ей московские свахи. Но Елена была на выданье, без отца и матери; а красота девушки, при нечестивых нравах новых царских любимцев, бывала ей чаще на беду, чем на радость.

Морозов, женившись на Елене, сделался ее покровителем, а все знали на Москве, что нелегко обидеть ту, которую брал под свою защиту боярин Дружина Андреевич!

Много любимцев царских до замужества Елены старались ей понравиться, но никто так не старался, как князь Афанасий Иванович Вяземский. И подарки дорогие присылал он к ней, и в церквах становился супротив нее, и на бешеном коне мимо ворот скакал, и

в кулачном бою ходил один на стену. Не было удачи Афанасью Ивановичу! Свахи приносили ему назад его подарки, а при встрече с ним Елена отворачивалась. Оттого ли она отворачивалась, что не нравился ей Афанасий Иванович, или в сердце девичьем была уже другая зазнобушка, только как ни бился князь Вяземский, а все получал отказы. Наконец осерчал Афанасий Иванович и пошел бить челом в своей неудаче царю Ивану Васильевичу. Царь обещал сам заслать свах к Елене Дмитриевне. Узнав о том, Елена залилась слезами. Пошла с мамкою в церковь, стала на колени перед божьею матерью, плачет и кладет земные поклоны.

В церквѣ народу не было; но когда встала Елена и оглянулась, за нею стоял боярин Морозов в бархатном зеленом кафтане, в парчовом терлике нараспашку.

— О чем ты плачешь, Елена Дмитриевна? — спросил Морозов.

Узнав боярина, Елена обрадовалась.

Он был когда-то в дружбе с ее родителями, да и теперь навещал ее и любил как родную. Елена его почитала как бы отца и поверяла

ему все свои мысли; одной лишь не поверила; одну лишь схоронила от боярина; схоронила себе на горе, ему на погибель!

И теперь, на вопрос Морозова, она не сказала ему той заветной мысли, а сказала лишь, что я-де плачу о том, что приедут царские свахи, приневолят меня за Вяземского!

– Елена Дмитриевна, – сказал боярин, – полно, вправду ли не люб тебе Вяземский? Подумай хорошенько. Знаю, доселе он был тебе не по сердцу; да ведь у тебя, я чаю, никого еще нет на мысли, а до той поры сердце девицье – воск: стерпится, слюбится?

– Никогда, – отвечала Елена, – никогда не полюблю его. Скорей сойду в могилу!

Боярин посмотрел на нее с участием.

– Елена Дмитриевна, – сказал он, помолчав, – есть средство спасти тебя. Послушай. Я стар и сед, но люблю тебя как дочь свою. Поразмысли, Елена, согласна ль ты выйти за меня, старика?

– Согласна! – вскричала радостно Елена и повалилась Морозову в ноги. Тронуло боярина нежданное слово, обрадовался он восторгу Елены, не догадался, старый, что то был вос-

торг утопающего, который хватается за куст терновый.

Ласково поднял он Елену и поцеловал в чело.

– Дитятко, – сказал он, – целуй же мне крест, что не обесчестишь ты седой головы моей! Клянись здесь, пред спасителем!

– Клянусь, клянусь! – прошептала Елена.

Боярин велел позвать священника, и вскоре совершился обряд обручения; когда же явились к Елене царские свахи, она уже была невестою Дружины Андреевича Морозова.

Не по любви вышла Елена за Морозова; но она целовала крест быть ему верною и твердо решилась сдержать свою клятву, не погрешить против господина своего ни словом, ни мыслию.

И зачем бы не любить ей Дружины Андреевича? Правда, не молод был боярин; но господь благословил его и здоровьем, и дородством, и славою ратною, и волею твердою, и деревнями, и селами, и широкими угожьями за Москвой-рекой, и кладовыми, полными золота, парчи и мехов дорогих. Лишь одним не благословил господь Дружину Андреевича:

не благословил его милостью царскою. Как узнал Иван Васильевич, что опоздали его свахи, опалился на Морозова, повершил наказать боярина; велел позвать его ко столу своему и посадил не только ниже Вяземского, но и ниже Годунова, Бориса Федоровича, еще не вошедшего в честь и не имевшего никакого сана.

Не снес боярин такого бесчестия; встал из-за стола: невместно-де Морозову быть меньше Годунова! Тогда опалился царь горшею злобою и выдал Морозова головою Борису Федоровичу. Понес боярин ко врагу повинную голову, но обругал Годунова жестоко и назвал щенком.

И, узнав о том, царь вошел в ярость великую, приказал Морозову отойти от очей своих и отпустить седые волосы, доколе не сымется с него опала. И удалился от двора боярин; и ходит он теперь в смиренной одежде, с бородою нечесаною, падают седые волосы на крутое чело. Грустно боярину не видать очей государевых, но не опозорил он своего роду, не сел ниже Годунова!

Дом Морозова был чаша полная. Слуги боя-

лись и любили боярина. Всяк, кто входил к нему, был принимаем с радушием. И свои и чужие хвалились его ласкою; всех дарил он и словами приветными, и одежей богатою, и советами мудрыми. Но никого так не ласкал, никого так не дарил он, как свою молодую жену, Елену Дмитриевну. И жена отвечала за ласку ласкою, и каждое утро, и каждый вечер долго стояла на коленях в своей образной и усердно молилась за его здравие.

Виновата ли была Елена Дмитриевна, что среди приветливых речей Дружины Андреевича, среди теплой молитвы перед иконами внезапно представлялся воображению ее молодой витязь, летящий на коне с поднятым шестопером, и перед ним бегущие в беспорядке литовские полки?

Виновата ли была Елена Дмитриевна, что образ этого витязя преследовал ее везде, и дома, и в церкви, и днем, и ночью, и с упреком говорил ей: «Елена! Ты не сдержала своего слова, ты не дождалась моего возврата, ты обманула меня!..»

Тысяча пятьсот шестьдесят пятого года, июня двадцать четвертого, в день Ивана Ку-

палы все колокола московские раскачались с самого утра и звонили без умолку. Все церкви были полны. По окончании обедни народ рассыпался по улицам. Молодые и старые, бедные и богатые несли домой зеленые ветки, цветы, березки, украшенные лентами. Все было пестро, живо и весело. Однако к полуденной поре улицы стали пустеть. Мало-помалу народ начал расходиться, и вскоре на Москве нельзя было бы встретить ни одного человека. Воцарилась мертвая тишина. Православные покоились в своих опочивальнях, и не было никого, кто бы гневил бога, гуляя по улицам, ибо бог и человеку, и всякой твари велел покоиться в полуденную пору; а грешно идти против воли божией, разве уж принудит неотложное дело.

Итак, все спали; Москва казалась необитаемым городом. Только на Балчуге, в недавно выстроенном кружечном дворе, или кабаке слышны были крики, ссоры и песни. Там, несмотря на полдень, пировали ратники, почти все молодые, в богатых нарядах. Они расположились внутри дома, и на дворе, и на улице. Все были пьяны; иной, лежа на голой

земле, проливал на платье чарку вина, другой силился хриплым голосом подтягивать товарищам, но издавал лишь глухие, невнятные звуки. Оседланные кони стояли у ворот. К каждому седлу привязана была метла и собачья голова.

В это время два всадника показались на улице. Один из них, в кармазинном кафтане с золотыми кистями и в белой парчовой шапке, из-под которой вились густые русые кудри, обратился к другому всаднику.

– Михеич, – сказал он, – видишь ты этих пьяных людей?

– Вижу, боярин, тетка их подкурятина! Вишь, бражники, как расходились!

– А видишь ты, что у лошадей за седлами?

– Вижу: метлы да песьи морды, как у того разбойника. Стало, и в самом деле царские люди, коль на Москве гуляют! Наделали ж мы дела, боярин, наварили каши!

Серебряный нахмурился.

– Поди, спроси у них, где живет боярин Морозов!

– Эй, добрые люди, господа честные! – закричал Михеич, подъезжая к толпе, – где жи-

вет боярин Дружина Андреич Морозов?

– А на что тебе знать, где эта собака живет?

– У моего боярина, князя Серебряного, есть грамота к Морозову от воеводы князя Пронского, из большого полку.

– Давай сюда грамоту!

– Что ты, что ты, тетка твоя под... что ты? В уме ли? Как дать тебе князеву грамоту?

– Давай грамоту, старый сын, давай ее! Посмотрим, уж не затеял ли этот Морозов измены, уж не хочет ли известить государя!

– Ах ты мошенник! – вскричал Михеич, забывая осторожность, с которою начал было говорить, – да разве мой господин знается с изменниками!

– А, так ты еще ругаться! Долой его с лошади, ребята, в плети его!

Тут сам Серебряный подскакал к опричникам.

– Назад! – закричал он так грозно, что они невольно остановились.

– Если кто из вас, – продолжал князь, – хоть пальцем тронет этого человека, я тому голову разрублю, а остальные будут отвечать государю!

Опричники смутились; но новые товарищи подошли из соседних улиц и обступили князя. Дерзкие слова посыпались из толпы; многие вынули сабли, и несдобровать бы Никите Романовичу, если бы в это время не послышался вблизи голос, поющий псалом, и не остановил опричников как будто волшебством. Все оглянулись в сторону, откуда раздавался голос. По улице шел человек лет сорока, в одной полотняной рубахе. На груди его звенели железные кресты и вериги, а в руках были деревянные четки. Бледное лицо его выражало необыкновенную доброту, на устах, осененных реденькою бородой, играла улыбка, но глаза глядели мутно и неопределенно.

Увидев Серебряного, он прервал свое пение, подошел поспешно к нему и посмотрел ему прямо в лицо.

– Ты, ты! – сказал он, как будто удивляясь, – зачем ты здесь, между ними?

И, не дожидаясь ответа, он начал петь: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых!»

Опричники посторонились с видом почтения, но он, не обращая на них внимания,

опять стал смотреть в глаза Серебряному.

– Микитка, Микитка! – сказал он, качая головой, – куда ты заехал?

Серебряный никогда не видал этого человека и удивился, что он называет его по имени.

– Разве ты знаешь меня? – спросил он.

Блаженный засмеялся.

– Ты мне брат! – отвечал он, – я тотчас узнал тебя. Ты такой же блаженный, как и я. И ума-то у тебя не боле моего, а то бы ты сюда не приехал. Я все твое сердце вижу. У тебя там чисто, чисто, одна голая правда; мы с тобой оба юродивые! А эти, – продолжал он, указывая на вооруженную толпу, – эти нам не родня! У!

– Вася, – сказал один из опричников, – не хочешь ли чего? Не надо ль тебе денег?

– Нет, нет, нет! – отвечал блаженный, – от тебя ничего не хочу! Вася ничего не возьмет от тебя, а подай Микитке, чего он просит!

– Божий человек, – сказал Серебряный, – я спрашивал, где живет боярин Морозов?

– Дружинка-то? Этот наш! Этот праведник! Только голова у него непоклонная! у, какая

непоклонная! А скоро поклонится, скоро поклонится, да уж и не подыметесь!

– Где он живет? – повторил ласково Серебряный.

– Не скажу! – ответил блаженный, как будто рассердившись, – не скажу, пусть другие скажут. Не хочу посылать тебя на недоброе дело!

И он поспешно удалился, затянув опять свой прерванный псалом.

Не понимая его слов и не тратя времени на догадки, Серебряный снова обратился к опричникам.

– Что ж, – спросил он, – скажете ли вы наконец, как найти дом Морозова?

– Ступай все прямо, – отвечал грубо один из них. – Там, как поворишь налево, там тебе и будет гнездо старого ворона.

По мере того как князь удалялся, опричники, усмиренные появлением юродивого, опять начинали буяннить.

– Эй! – закричал один, – отдай Морозову поклон от нас да скажи, чтобы готовился скоро на виселицу; больно зажился!

– Да и на себя припаси веревку! – крикнул

вдогонку другой.

Но князь не обратил внимания на их ругательства.

«Что хотел сказать мне блаженный? – думал он, потупя голову. – Зачем не указал он мне дом Морозова, да еще прибавил, что не хочет посылать меня на недоброе дело?»

Продолжая ехать далее, князь и Михеич встретили еще много опричников. Иные были уже пьяны, другие только шли в кабак. Все смотрели нагло и дерзко, а некоторые даже делали вслух такие грубые замечания насчет всадников, что легко можно было видеть, сколь они привыкли к безнаказанности.

ГЛАВА 5. Встреча

Проезжая верхом по берегу Москвы-реки, можно было поверх частокола видеть весь сад Морозова.

Цветущие липы осеняли светлый пруд, доставлявший боярину в постные дни обильную пищу. Далее зеленели яблони, вишни и сливы. В некошеной траве пролегали узенькие дорожки. День был жаркий. Над алыми цветами пахучего шиповника кружились золотые жуки; в липах жужжали пчелы; в траве трещали кузнечики; из-за кустов красной смородины большие подсолнечники подымали широкие головы и, казалось, нежились на полуденном солнце.

Боярин Морозов уже с час, как отдыхал в своей опочивальне. Елена с сенными девушками сидела под липами на дерновой скамье, у самого частокола. На ней был голубой аксамитный летник с яхонтовыми пуговицами. Широкие кисейные рукава, собранные в мелкие складки, перехватывались повыше локтя алмазными запястьями, или зарукавниками. Такие же серьги висели по самые плечи; голо-

ву покрывал кокошник с жемчужными наклонами, а сафьянные сапожки блестели золотом нашивкой.

Елена казалась весела. Она смеялась и шутила с девушками.

– Боярыня, – сказала одна из них, – примерь еще вот эти запястья, они повиднее.

– Будет с меня примерять, девушки, – отвечала ласково Елена, – вот уж битый час вы меня наряжаете да укручиваете, будет с меня!

– Вот еще только монисто надень! Как наденешь монисто, будешь, право слово, ни дать ни взять, святая икона в окладе!

– Полно, Пашенька, стыдно грех такой говорить!

– Ну, коли не хочешь наряжаться, боярыня, так не поиграть ли нам в горелки или в камешки? Не хочешь ли рыбку покормить или на качелях покачаться? Или уж не спеть ли тебе чего?

– Спой мне, Пашенька, спой мне ту песню, что ты намедни пела, как вы ягоды собирали!

– И, боярыня, лапушка ты моя, что ж в той песне веселого! То грустная песня, не праздничная.

– Нужды нет; мне хочется ее послушать, спой мне, Пашенька!

– Изволь, боярыня, коли твоя такая воля, спою; только ты после не пеняй на меня, если неравно тебе сгрустнется! Ну те ж, подруженьки, подтягивайте!

Девушки уселись в кружок, и Пашенька затянула жалобным голосом:

*Ах, кабы на цветы да не морозы,
И зимой бы цветы расцветали;
Ах, кабы на меня да не кручина,
Ни о чем бы я не тужила,
Не сидела б я, подпершися,
Не глядела бы я во чисто поле...*

...

*Я по сеням шла, по новым шла,
Подняла шубку соболиную,
Чтоб моя шубка не прошумела,
Чтоб мои пуговики не прозвякнули,
Не услышал бы свекор-батюшка,
Не сказал бы своему сыну,
Своему сыну, моему мужу!*

Пашенька посмотрела на боярыню. Две слезы катились из очей ее.

– Ах я глупенькая! – сказала Пашенька, –

чего я наделала. Вот на свою голову послушалась боярыни! Да и можно ли, боярыня, на такие песни набиваться!

– Охота ж тебе и знать их! – подхватила Дуняша, быстроглазая девушка с черными бровями. – Вот я так спою песню, не твоей чета, смотри, коли не развеселю боярыню!

И, вскочив на ноги, Дуняша уперла одну руку в бок, другую подняла кверху, перегнулась на сторону и, плавно подвигаясь, запела:

*Пантелей-государь ходит по дво-
ру,
Кузмич гуляет по широкому,
Кунья на нем шуба до земли,
Соболья на нем шапка до верху,
Божья на нем милость до веку.
Сужена-то смотрит из-под поло-
гу,
Бояре-то смотрят из города,
Боярыни-то смотрят из терема.
Бояре-то молвят: чей-то такой?
Боярыни молвят: чей-то госпо-
дин?
А сужена молвит: мой дорогой!*

Кончила Дуняша и сама засмеялась. Но Елене стало еще грустнее. Она крепилась,

крепилась, закрыла лицо руками и зарыдала.

– Вот тебе и песня! – сказала Пашенька. – Что нам теперь делать! Увидит Дружина Андреич заплаканные глазки боярыни, на нас же осердится: не умеете вы, дескать, глупые, и занять ее!

– Девушки, душечки! – сказала вдруг Елена, бросаясь на шею к Пашеньке, – пособите порыдать, помогите поплакать!

– Да что с тобой случилось, боярыня? С чего ты вдруг раскручинилась?

– Не вдруг, девушки! Мне с самого утра грустно. Как начали к заутрене звонить да увидела я из светлицы, как народ божий весело спешит в церковь, так, девушки, мне стало тяжело... и теперь еще сердце надрывается... а тут еще день выпал такой светлый, такой солнечный, да еще все эти уборы, что вы на меня надели... скиньте с меня запястья, девушки, скиньте кокошник, заплетите мне косу по-вашему, по-девичьи!

– Что ты, боярыня, грех какой! Заплеть тебе косу по-девичьи! Боже сохрани! Да неравно узнает Дружина Андреич!

– Не узнает, девушки! Я опять кокошник

надену!

– Нет, боярыня, грешно! Власть твоя, а мы этого на душу не возьмем!

«Неужели, – подумала Елена, – грешно и вспоминать о прошлом!»

– Так и быть, – сказала она, – не сниму кокошник, только подойди сюда, моя Пашенька, я тебе заплету косу, как, бывало, мне заплетали!

Пашенька, краснея от удовольствия, стала на колени перед боярыней. Елена распустила ей волосы, разделила их на равные делянки и начала заплетать широкую русскую косу в девяносто прядей. Много требовалось на то умения. Надо было плесть как можно слабее, чтобы коса, подобно решетке, закрывала весь затылок и потом падала вдоль спины, суживаясь неслышно. Елена прилежно принялась за дело. Перекладывая пряди, она искусно перевивала их жемчужными нитками.

Наконец коса поспела. Боярыня ввязала в кончик треугольный косник и насадила на него дорогие перстни.

– Готово, Пашенька, – сказала она, радуясь своей работе, – встань-ка да пройдишь передо

мною. Ну, смотрите, девушки, не правда ли, эта коса красивее кокошника? – Все в свою пору, боярыня, – отвечали, смеясь, девушки, – а вот Дуняша не прочь бы и от кокошника!

– Полноте вы, пересмешницы! – отвечала Дуняша. – Мне бы хотя век косы не расплетать! А вот знаю я таких, что глаз не сводят с боярского ключника!

Девушки залились звонким смехом, а иные смешались и покраснели. Видно, ключник был в самом деле молодец.

– Нагнись, Пашенька, – сказала боярыня, – я тебе повяжу еще ленту с поднизями... Девушки, да ведь сегодня Иван Купала, сегодня и русалки косы заплетают!

– Не сегодня, боярыня, а в семик и троицын день заплетают русалки косы. На Ивана Купала они бегают с распущенными волосами и отманивают людей от папоротника, чтобы кто не сорвал его цвета.

– Бог с ними, – сказала Пашенька, – мало ли что бывает в Иванов день, не приведи бог увидеть!

– А ты боишься русалок, Пашенька?

– Как их не бояться! Сегодня и в лес ходить

страшно, все равно что в троицын день или на русальную неделю. Девушку зачекотят, молодца любовью иссушат!

– Говоришь, а сама не знаешь! – перебила ее другая девушка. – Какие под Москвой русалки! Здесь их нет и заводу. Вот на Украине, там другое дело, там русалок гибель. Сказывают, не одного доброго молодца с ума свели. Стоит только раз увидеть русалку, так до смерти все по ней тосковать будешь; коли женатый – бросишь жену и детей, коли холостой – забудешь свою ладушку!

Елена задумалась.

– Девушки, – сказала она, помолчав, – что, в Литве есть русалки?

– Там-то их самая родина; что на Украине, что в Литве – то все одно...

Елена вздохнула. В эту минуту послышался конский топот, и белая шапка Серебряного показалась над частоколом.

Увидя мужчину, Елена хотела скрыться; но, бросив еще взгляд на всадника, она вдруг стала как вкопанная. Князь также остановил коня. Он не верил глазам своим. Тысяча мыслей в одно мгновение втеснялись в его голо-

ву, одна другой противореча. Он видел перед собой Елену, дочь Плещеева-Очина, ту самую, которую он любил и которая клялась ему в любви пять лет тому назад. Но каким случаем она попала в сад к боярину Морозову?

Тут только Никита Романович заметил на голове Елены жемчужный кокошник и побледнел.

Она была замужем!

«Брежу ли я? – подумал он, вперив в нее неподвижный, как будто испуганный взгляд, – во сне ли это вижу?»

– Девушки! – упрашивала Елена, – отойдите, я позову вас, отойдите немного, оставьте меня одну! Боже мой, боже мой! Пресвятая богородица! Что мне делать! Что сказать мне!

Серебряный между тем оправился.

– Елена Дмитриевна, – произнес он решительно, – отвечай мне единым словом: ты замужем? Это не обман? Не шутка? Ты точно замужем?

Елена в отчаянье искала слов и не находила их.

– Отвечай мне, Елена Дмитриевна, не морочь меня долее, теперь не святки!

– Выслушай меня, Никита Романович! – прошептала Елена.

Князь задрожал.

– Нечего мне слушать, – сказал он, – я все понял. Не трать речей понапрасну, прости, боярыня!

И он рванул коня назад.

– Никита Романыч! – вскричала Елена, – молю тебя Христом и пречистою его матерью, выслушай меня! Убей меня после, но сперва выслушай!

Она не в силах была продолжать; голос ее замер, колени опустились на дерновую скамью; она протянула умоляющие руки к Серебряному.

Судорога пробежала по всем членам князя, но жалость зашевелилась в его сердце. Он остановился.

Елена, задыхаясь от слез, стала рассказывать, как преследовал ее Вяземский, как наконец царь взялся ее сосватать за своего любимца и как она в отчаянии отдалась старому Морозову. Прерывая рассказ свой рыданиями, она винулась в невольной измене, говорила, что должна бы скорей наложить на себя руки,

чем выйти за другого, и проклинала свое малодушие.

– Ты не можешь меня любить, князь, – говорила она, – не написано тебе любить меня! Но обещай мне, что не проклянешь меня; скажи, что прощаешь меня в великой вине моей.

Князь слушал, нахмуря брови, но не отвечал ничего.

– Никита Романыч, – прошептала Елена боязливо, – ради Христа, вымолви хоть словечко!

И она устремила на него глаза, полные страха и ожидания, и вся душа ее обратилась в красноречивый умоляющий взор.

Сильная борьба происходила в Серебряном.

– Боярыня, – сказал он наконец, и голос его дрожал, – видно, на то была воля божия... и ты не так виновата... да, ты не виновата... не за что прощать тебя, Елена Дмитриевна, я не кляню тебя, – нет – видит бог, не кляню – видит бог, я... я по-прежнему люблю тебя! Слова эти вырвались у князя сами собою.

Елена вскрикнула, зарыдала и кинулась к частоколу.

В тот же миг князь поднялся на стременах и схватился за кольца ограды. Елена с другой стороны уже стояла на скамье. Без размышления, без самосознания, они бросились друг к другу, и уста их соединились...

Поцеловала Елена Дмитриевна молодого боярина! Обманула жена лукавая мужа старого! Забыла клятву, что дала перед господом! Как покажется она теперь Дружине Андреичу? Догадается он обо всем по глазам ее. И не таков он муж, чтоб простил ее! Не дорога жизнь боярину, дорога ему честь его! Убьет он, старый, убьет и жену, и Никиту Романыча!

ГЛАВА 6. Прием

Морозов знал князя еще ребенком, но они давно потеряли друг друга из виду. Когда Серебряный отправился в Литву, Морозов воеводствовал где-то далеко; они не видались более десяти лет, но Дружина Андреевич мало переменился, был бодр по-прежнему, и князь с первого взгляда везде бы узнал его, ибо старый боярин принадлежал к числу тех людей, которых личность глубоко врезывается в памяти. Один рост и дородность его уже привлекали внимание. Он был целою головою выше Серебряного. Темно-русые волосы с сильною проседью падали в беспорядке на умный лоб его, рассеченный несколькими шрамами. Окладистая борода, почти совсем седая, покрывала половину груди. Из-под темных навислых бровей сверкал пронизательный взгляд, а вокруг уст играла приветливая улыбка, сквозь которую просвечивало то, что в просторечии называется: себе на уме. В его приемах, в осанистой поступи было что-то львиное, какая-то особенно спокойная важность, достоинство, неторопливость и уверен-

ность в самом себе. Глядя на него, всякий сказал бы: хорошо быть в ладу с этим человеком! И вместе с тем всякий подумал бы: нехорошо с ним поссориться! Действительно, всматриваясь в черты Морозова, легко было догадаться, что спокойное лицо его может в минуту гнева сделаться страшным, но приветливая улыбка и открытое, неподдельное радушие скоро изглаживали это впечатление.

– Здравствуй, князь, здравствуй, гость дорогой! Добро пожаловать! – сказал Морозов, вводя Серебряного в большую брусяную избу с изразцовой лежанкою, с длинными дубовыми лавками, с драгоценным оружием на стенах и со множеством золотой и серебряной посуды, красиво установленной на широких полках. – Здравствуй, здравствуй, князь! Вот какого гостя мне бог подарил! А ведь помню я тебя, Никитушка, еще маленького! Ох, удал же ты был, нечего сказать! Как, бывало, начнут ребята в городки играть, беда той стороне, что супротив тебя! Разлетишься, словно сокол ясный, да как расходится в тебе кровь молодая, так, бывало, разозлишься, словно медвежонок, прости, Никита Романыч, грубое

слово! Так и начнешь валять, кого направо, кого налево, смотреть даже весело! Ну да и вышел же молодец из тебя, князь! Слышал я про дела твои в Литовской земле! Катал же ты их, супостатов, как прежде ребят катал!

И Морозов весело улыбался, и львиное лицо его сияло радушием.

– А помнишь ли, Никитушка, – продолжал он, обняв князя одною рукой за плеча, – помнишь ли, как ты ни в какой игре обмана не терпел? Бороться ли с кем начнешь али на кулачках биться, скорей дашь себя на землю свалить, чем подножку подставишь или что против уговора сделаешь. Все, бывало, снесешь, а уж лукавства ни себе, ни другим не позволишь!

Князю сделалось неловко в присутствии Морозова.

– Боярин, – сказал он, – вот грамота к тебе от князя Пронского.

– Спасибо, князь. После прочту; время терпит; теперь дай угостить тебя! Да где же Елена Дмитриевна? Эй, кто там! Скажите жене, что у нас гость дорогой, князь Никита Романыч Серебряный, чтобы сошла попотчевать!

Тихо и плавно вошла Елена с подносом в руках. На подносе были кубки с разными винами. Елена низко поклонилась Серебряному, как будто в первый раз его видела! Она была как смерть бледна.

– Князь, – сказал Морозов, – это моя хозяйка, Елена Дмитриевна! Люби и жалуй ее. Ведь ты, Никита Романыч, нам, почитай, родной. Твой отец и я, мы были словно братья, так и жена моя тебе не чужая. Кланяйся, Елена, проси боярина! Кушай, князь, не брезгай нашей хлебом-солью! Чем богаты, тем и рады! Вот романея, вот венгерское, вот мед малиновый, сама хозяйка на ягодах сытила!

Морозов низко кланялся.

Князь отвечал обоим поклонами и осушил кубок. Елена не взглянула на Серебряного. Длинные ресницы ее были опущены. Она дрожала, и кубки на подносе звенели один о другой.

– Что с тобой, Елена? – сказал вдруг Морозов, – уж не больна ли ты? Лицо твое словно снег побелело! Оленушка, – прибавил он шепотом, – уж не опять ли проезжал Вяземский? Так! должно быть, этот окаянный проезжал

мимо саду! Не кручинься, Елена. В том нет твоей вины. Без меня не ходи лучше в сад; да утешься, мое дитяtko, я не дам тебя никому в обиду! Улыбнись скорей, будь веселее, а то гость заметит! Извини, Никита Романыч, извини, захлопотался, говорил вот жене, чтобы велела тебе кушать подать поскорее. Ведь ты не обедал, князь.

– Благодарю, боярин, обедал.

– Нужды нет, Никита Романыч, еще раз пообедаешь! Ступай, Елена, ступай, похлопочи! А ты, боярин, закуси чем бог послал, не обидь старика опального! И без того мне горя довольно!

Морозов указал на свои длинные волосы.

– Вижу, боярин, вижу и очам веры нейму! Ты под опалою! За что? Прости вопрос нескромный.

Морозов вздохнул.

– За то, что держусь старого обычая, берегу честь боярскую да не кланяюсь новым людям!

При этих словах лицо его омрачилось и глаза приняли суровое выражение.

Он рассказал о ссоре своей с Годуновым,

горько жалуясь на несправедливость царя.

– Многое, князь, многое стало на Москве не так, как было, с тех пор как учинил государь на Руси опричнину!

– Да что это за опричнина, боярин? Встречал я опричников, только в толк не возьму!

– Прогневили мы, видно, бога, Никита Романыч; помрачил он светлые царские очи! Как возложили клеветники измену на Сильвестра да на Адашева, как прогнал их от себя царь, прошли наши красные дни! Зачал вдруг Иван Васильич на нас мнение держать, на нас, верных слуг своих! Зачал толковать про измены, про заговоры, чего и в мысль человеку не вместится! А новые-то люди обрадовались, да и давай ему шептать на бояр, кто понасердке, кто чая себе милости, и ко всем стал он приклонять слух свой. У кого была какая вражда, тот и давай доводить на недруга, будто он слова про царя говорил, будто хана или короля подымает. И в том они, окаянные, не бояся Страшного суда божия, и крест накриве целовали, и руки в письмах лживили! Много безвинных людей вожено в темницы, Никита Романыч, и с очных ставок пытано.

Кто только хотел, тот и сказывал за собою государево слово. Прежде бывало, коли кто донес на тебя, тот и очищай сам свою улику; а теперь какая у него ни будь рознь в словах, берут тебя и пытаются по одной язычной молвке! Трудное настало время, Никита Романыч! Такой ужас от царя, какого искони еще не видано! После пыток пошли казни. И кого же казнили!.. Но ты, князь, уже, может, слышал про это?

– Слышал, боярин, но глухо. Не скоро вести доходят до Литвы. Впрочем, чему удивиться. Царь волен казнить своих злодеев!

– Кто против этого, князь. На то он царь, чтобы карать и миловать. Только то больно, что не злодеев казнили, а всё верных слуг государевых: окольников Адашева (Алексеева брата) с малолетним сыном; трех Сатиных; Ивана Шишкина с женою да с детьми; да еще многих других безвинных.

Негодование выразилось на лице Серебряного.

– Боярин, в этом, знать, не царь виновен, а наушники его!

– Ох, князь! Горько вымолвить, страшно

подумать! Не по одним наветам наушническим стал царь проливать кровь неповинную. Вот хоть бы Басманов, новый кравчий царский, бил челом государю на князя Оболенского-Овчину в каком-то непригожем слове. Что ж сделал царь? За обедом своею рукою вонзил князю нож в сердце!

– Боярин! – вскричал Серебряный, вскакивая с места, – если бы мне кто другой сказал это, я назвал бы его клеветником. Я бы сам наложил руки на него!

– Никита Романыч, стар я клеветать. И на кого же? На государя моего!

– Прости, боярин. Но что же думать о такой перемене? Уж не обошли ли царя?

– Должно быть, князь. Но садись, слушай далее. В другой раз Иван Васильевич, упившись, начал (и подумать срамно!) с своими любимцами в личинах плясать. Тут был боярин князь Михаило Репнин. Он заплакал с горести. Царь давай и на него личину надевать. «Нет! – сказал Репнин, – не бывать тому, чтобы я посрамил сан свой боярский!» – и растоптал личину ногами. Дней пять спустя убит он по царскому указу во храме божием!

– Боярин! Это бог нас карает!

– Да будет же над нами его святая воля, князь. Но слушай далее. Казням не было конца. Что день, то кровь текла и на Лобном месте, и в тюрьмах, и в монастырях. Что день, то хватали боярских холопей и возили в застенок. Многие винулись с огня и говорили со страху на бояр своих. Те же, которые, не хотя отдать души во дно адово, очищали бояр, тех самих предавали смерти. Многие потерпели в правде, многие прияли венец мученический, Никита Романыч! Временем царь как будто приходил в себя, и каялся, и молился, и плакал, и сам назывался смертным убойцею и сыроядцем. Рассылал вклады в разные монастыри и приказывал панихиды по убитым. Каялся Иван Васильевич, но не долго, и что же придумал? Слушай, князь. Просыпаюсь я раз утром, вижу великое смятенье. Рассыпался народ по улицам, кто бежит к Кремлю, кто от Кремля. Все голоса: «Уезжает государь, неведомо куда!» Так меня холодом и обдало! Надеваю платье, сажусь на конь; со всех мест бояре спешат ко Кремлю, кто верхом, кто сам о себе, словно простой человек, даже никто о

чести своей не думает! Добрались до Иверских ворот, видим, ратники выезжают; народ перед ними так и раздается. За ратниками сани, в них царь с царицею и с царевичем. За царскими санями многое множество саней, а в них все пожитки, вся казна, весь обиход царский; за санями окольниковыи, и дворяне, и приказные, и воинские, и всяких чинов люди – все выезжают из Кремля. Бросились мы было к царским саням, да не допустили нас ратники, говорят: не велел государь! И потянулся поезд вдоль по Москве, и выехал за посады.

Воротились мы в дома и долго ждали, не передумает ли царь, не вернется ли? Проходит неделя, получает высокопреосвященный грамоту; пишет государь, что я-де от великой жалости сердца, не хотя ваших изменных дел терпеть, оставляю мои государства и еду-де куда бог укажет путь мне! Как пронеслася эта весть, зачался вопль на Москве: «Бросил нас батюшка-царь! Кто теперь будет над нами государить!»

Нечего правды таить, грозен был Иван Васильевич, да ведь сам бог поставил его над

нами, и, видно, по божьей воле, для очищения грехов наших, карал он нас. Собрались мы в Думе и порешили ехать все с своими головами за государем, бить ему челом и плакаться. Узнали мы, что остановился царь в Александровой слободе, а будет та слобода отсюда за восемьдесят с лишком верст. Помолвившись богу, поехали. Как завидели издали Слободу, остановились; еще раз помолились: страшно стало; не то страшно, что прикажет царь смерти предать, а то, что не допустит пред свои очи. Только ничего не случилось. Допустил нас царь. Как вошли мы, так, веришь ли, боярин, не узнали Ивана Васильича! И лицо-то будто не его; и волосы, и борода, почитай, совсем вылезли. Что с ним случилось, и царь, и не царь! Долго говорил он с нами; корил нас в небывалых изменах, высчитывал нам наши вины, которых мы не ведали за собою, и наконец сказал, что я-де только по упросу богомольцев моих, епископов, беру паки мои государства, но и то на уговоре. Пожаловал нас к руке и отпустил.

— А какой же уговор он прочил себе? — спросил Серебряный.

– А вот увидишь, князь; слушай: прошло недели три, прибыл Иван Васильич на Москву. Настала радость великая; такая радость, что и в светлое Христово воскресенье не бывает такой. Вот созвал он в Думу и нас и духовенство. А когда собралися мы, объявил нам, что я-де с тем только принимаю государство, чтобы казнить моих злодеев, класть мою опалу на изменников, имать их остатки и животы, и чтобы ни от митрополита, ни от властей не было мне бездельной докуки о милости. Беру-де себе, говорит, опасную стражу и беру на свой особый обиход разные города и пригородки и на самой Москве разные улицы. И те города и улицы и свою особную стражу называю, говорит, опричниной, а все достальное – то земщина. А боярам-де и митрополиту со властями в мой домовый особый обиход не вступаться. И на том, говорит, беру мои государства! С этого дня начал он новых людей набирать, да все таких, чтобы не были знатного роду, да чтобы целовали крест не вести хлеба-соли с боярами. Отдал им всю землю, все дома и все добро, что отрезал на свой обиход; а старых вотчинников, тысяч примерно

с двенадцать, выгнал из опричнины, словно животину. Право, Никита Романыч, ведь своими глазами видел, а доселе не верится! Ездят теперь по святой Руси их дьявольские, кровоядные полки с метлами да с песьими головами; топчут правду, выметают не измену, но честь русскую; грызут не врагов государевых, а верных слуг его, и нет на них нигде ни суда, ни расправы!

– Да зачем же вы согласились на этот договор? – заметил Серебряный.

– Что ты, князь? Разве царю можно указывать? Разве он не от бога?

– Вестимо, от бога. Да ведь он сам же спрашивал вас? Зачем вы не сказали ему, что не хотите опричнины?

– А кабы он опять уехал? Что бы тогда? Без государя было оставаться, что ли? А народ что бы сказал?

Серебряный задумался.

– Так, – проговорил он, немного помолчав, – нельзя было быть без государя. Только теперь-то чего вы ждете? Зачем не скажете ему, что от опричнины вся земля гибнет? Зачем смотрите на все да молчите?

– Я-то, князь, не молчу, – отвечал Морозов с достоинством. – Я никогда не таил моей мысли; оттого-то я теперь и под опалой. Позови меня царь к себе, я не стану молчать, только он не позовет меня. Наших теперь уже нет у него в приближении. Посмотри-ка, кем окружил он себя? Какие древние роды около него? Нет древних родов! Всё подлые страдники, которых отцы нашим отцам в холопство б не пригожались! Бери хоть любого на выдержку: Басмановы, отец и сын, уж не знаю, который будет гнуснее; Малюта Скуратов, невесть мясник, невесть зверь какой, вечно кровью обрызган; Васька Грязной, – ему всякое студное дело нипочем! Борис Годунов, – этот и отца и мать продаст, да еще и детей даст в придачу, лишь бы повыше взобраться; всадит тебе нож в горло, да еще и поклонится. Один только и есть там высокого роду, князь Афанасий Вяземский. Опозорил он и себя, и нас всех, окаянный! Ну да что про него!

Морозов махнул рукой. Другие мысли заняли старика. Задумался и Серебряный. Задумался он о страшной перемене в царе и забыл на время об отношениях, в которые судьба

поставила его к Морозову.

Между тем слуги накрыли на стол.

Несмотря ни на какие отговорки, Дружина Андреевич принудил своего гостя отведать многочисленных блюд: студеней разного рода, жарких, похлебок, кулебяк и буженины. А когда поставили перед ними разные напитки, Морозов налил себе и князю по стопе малвазии, встал из-за стола, откинул назад свои опальные волосы и сказал, подняв высоко стопу:

– Во здравие великого государя нашего, царя Ивана Васильевича!

– Просвети его бог! Открой ему очи! – отвечал Серебряный, осушая стопу, и оба перекрестились.

Елена не показывалась во время стола и не присутствовала при разговоре бояр.

Многое еще рассказывал Морозов про дела государственные, про нападения крымцев на рязанские земли, расспрашивал Серебряного о литовской войне и горько осуждал Курбского за бегство его к королю. Князь отвечал подробно на все вопросы и наконец рассказал про схватку свою с опричниками в деревне

Медведевке, про ссору с ними в Москве и про встречу с юродивым, не решившись, впрочем, упомянуть о темных словах последнего.

Морозов выслушал его с большим вниманием.

– Плохо, князь, – сказал он, почесывая крутой лоб свой, – больно плохо. Что они грабеж в той деревне чинили, тому нечего дивиться: деревня-то, вишь, моя; а которая вотчина опального боярина, ту теперь всякому вольно грабить. Дело знамое, что можно взять, берут, чего же не поднимут, то огнем палят; рогатый живот насмерть колют. Это теперь их обычай. А юродивого-то я знаю. Он подлинно божий человек. Не тебя одного он при первой встрече по имени назвал; он всякого словно насквозь видит. Его и царь боится. Сколько раз он Ивана Васильевича в глаза уличал. Побольше бы таких святых людей, так, пожалуй, и опричины-то не было бы! Скажи, князь, – продолжал Морозов, – когда хотел ты здравствовать государю?

– Завтра, чем свет, как выйдет его милость из опочивальни.

– Что ты, князь? Теперь уж смерклось, а те-

бе с лишком сто верст ехать!

– Как? Разве царь не в Кремле?

– Нет, князь, не в Кремле. Прогневили мы господа, бросил нас государь, воротился в Александрову слободу, живет там с своими поплечниками, не было б им ни дна ни покрышки!

– Коли так, то прости, боярин, надо спешить. Я еще и дома не был. Осмотрюсь немного, а завтра чем свет отправлюсь в Слободу.

– Не езд, князь!

– Отчего, боярин?

– Не снести тебе головы, Никита Романыч.

– На то божья воля, боярин; что будет, то будет!

– Послушай, Никита Романыч, ведь ты меня забыл, а я помню тебя еще маленького. Отец твой покойный жил со мной рука в руку, душа в душу. Умер он, царствие ему небесное; некому остеречь тебя, некому тебе совета подать, а не завидна твоя доля, видит бог, не завидна! Коли поедешь в Слободу, пропал ты, князь, с головою пропал.

– Что ж, боярин, видно, мне так на роду на-

писано!

– Никитушка, останься, я тебя схороню. Никто тебя не сыщет, холопи мои тебя не выдадут, ты будешь у меня в доме как сын родной!

– Боярин, вспомни, что ты сам говорил про Курбского. Нечестно русскому боярину прятаться от царя своего.

– Никита Романыч, Курбский – изменник. Он ушел ко врагу государеву; а я кто же? Разве я враг государев?

– Прости, боярин, прости необдуманное слово, но чему быть, того не миновать!

– Кабы ты, Никитушка, остался у меня, может, и простыл бы гнев царский, может, мы с высокопреосвященным и уладили б твое дело, а теперь ты попадешь как смола на уголья!

– Жизнь наша в руке божией, боярин. Непригоже стараться продлить ее хитростью боле, чем богу угодно. Спасибо за хлеб-соль, – прибавил Серебряный, вставая, – спасибо за дружбу (при этих словах он невольно смутился), но я поеду. Прости, Дружина Андреич!

Морозов посмотрел на князя с грустным

участием, но видно было, что внутри души своей он его одобряет и что сам не поступил бы иначе, если бы был на его месте.

– Да будет же над тобой благословение божие, Никита Романыч! – сказал он, подымаясь со скамьи и обнимая князя, – да умягчит господь сердце царское. Да вернешься ты невредим из Слободы, как отрок из печи пламенной, и да обниму тебя тогда, как теперь обнимаю, от всего сердца, от всей души!

Пословица говорится: пешего до ворот, конного до коня провожают. Князь и боярин расстались на пороге сеней. Было уже темно. Проезжая вдоль частокола, Серебряный увидел в саду белое платье. Сердце его забилося. Он остановил коня. К частоколу подошла Елена.

– Князь, – сказала она шепотом, – я слышала твой разговор с Дружиной Андреичем, ты едешь в Слободу... Боже сохрани тебя, князь, ты едешь на смерть!

– Елена Дмитриевна! Видно, так угодно господе, чтобы приял я смерть от царя. Не на радость вернулся я на родину, не судил мне господь счастья, не мне ты досталась, Елена

Дмитриевна! Пусть же надо мной воля божия!

– Князь, они тебя замучат! Мне страшно подумать! Боже мой, ужели жизнь тебе вовсе постыла?

– Пропадай она! – сказал Серебряный и махнул рукой.

– Пресвятая богородица! Коли ты себя не жалеешь, пожалей хоть других! Пожалей хоть меня, Никита Романыч! Вспомни, как ты любил меня!

Месяц вышел из-за облак. Лицо Елены, ее жемчужный кокошник, ожерелье и алмазные серьги, ее глаза, полные слез, озарились чудесным блеском. Еще плакала Елена, но уже готова была сквозь слезы улыбнуться. Одно слово князя обратило бы ее печаль в беспредельную радость. Она забыла о муже, забыла всю осторожность. Серебряный прочел в ее глазах такую любовь, такую тоску, что невольно поколебался. Счастье было для него навеки потеряно. Елена принадлежала другому, но она любила одного Серебряного. Для чего бы ему не остаться, не отложить поездки в Слободу? Не сам ли Морозов его упраши-

вал?

Так мыслил князь, и очаровательные картины рисовались в его воображении, но чувство чести, на миг уснувшее, внезапно пробудилось.

«Нет, – подумал он, – да будет мне стыдно, если я хотя мыслию оскорблю друга отца моего! Один бесчестный платит за хлеб-соль обманом, один трус бежит от смерти!»

– Мне нельзя не ехать! – сказал он решительно. – Не могу хорониться один от царя моего, когда лучшие люди гибнут. Прости, Елена!

Слова эти как нож вонзились в сердце боярыни. Она в отчаянии ударилась оземь.

– Расступись же подо мной, мать сыра-земля! – простонала она, – не жилища я на белом свете! Наложу на себя руки, изведу себя отравой! Не переживу тебя, Никита Романыч! Я люблю тебя боле жизни, боле свету божьего, я никого, кроме тебя, не люблю и любить не буду!

Сердце Серебряного надрывалось. Он хотел утешить Елену; но она рыдала все громче. Люди могли ее услышать, подсмотреть князя

и донести боярину. Серебряный это понял и, чтобы спасти Елену, решился от нее оторваться.

– Елена, прости! – сказал он, – прости, душа, радость дней моих! Уйми свои слезы, боги милостив, авось мы еще увидимся!

Облака задернули месяц; ветер потряс вершины лип, и благовонным дождем посыпались цветы на князя и на Елену. Закачались старые ветви, будто желая сказать: на кого нам цвести, на кого зеленеть! Пропадет даром добрый молодец, пропадет и его любовница!

Оглянувшись последний раз на Елену, Серебряный увидел за нею, в глубине сада, темный человеческий образ. Почудилось ли то князю, или слуга какой проходил по саду, или уж не был ли то сам боярин Дружина Андреевич?

ГЛАВА 7. Александрова слобода

Дорога от Москвы до Троицкой лавры, а от лавры до Александровой слободы представляла самую живую картину. Беспреданно скакали по ней царские гонцы; толпы людей всех сословий шли пешком на богомолье; отряды опричников спешили взад и вперед; сокольники отправлялись из Слободы в разные деревни за живыми голубями; купцы тащились с товарами, сидя на возах или провожая верхом длинные обозы. Проходили толпы скоморохов с гудками, волынками и балайками. Они были одеты пестро, вели с собою ручных медведей, пели песни или просили у богатых проезжих.

– Пожалейте, государи, нас, – говорили они на все голоса, – вам господь дал и вотчины, и всякое достояние, а нам указал питаться вашей подачей, так не оставьте нас, скудных людей, государи!

– Отцы наши, батюшки! – пели иные протяжно, сидя у самой дороги, – дай вам господи доброе здоровье! Донеси вас бог до Сергия Троицы!

Другие прибавляли к этим словам разные прибаутки, так что иной проезжий в награду за веселое слово бросал им целый корабленник.

Нередко у скоморохов случались драки с толпами оборванных нищих, которые из городов и монастырей спешили в Слободу поживиться царскою милостыней.

Проходили также слепые гусяры и сказочники, с гусями на плечах и держась один за другого.

Все это шумело, пело, ругалось. Лошади, люди, медведи – ржали, кричали, ревели. Дорога шла густым лесом. Несмотря на ее многолюдность, случалось иногда, что вооруженные разбойники нападали на купцов и обирали их дочиста.

Разбои в окрестностях Москвы особенно умножились с тех пор, как опричники вытеснили целые села хлебопашцев, целые посады мещан. Лишась жилищ и хлеба, люди эти пристали к шайкам станичников, укрепились в засеках и, по множеству своему, сделались не на шутку опасны. Опричники, поймав разбойников, вешали их без милосердия;

зато и разбойники не оставались у них в долгу, когда случалось им поймать опричника. Впрочем, не одни разбойники грабили на дорогах. Скоморохи и нищие, застав под вечер плохо оберегаемый обоз, часто избавляли разбойников от хлопот. Купцам было всего хуже. Их грабили и разбойники, и скоморохи, и нищие, и пьяные опричники. Но они утешались пословицей, что наклад с барышом угол об угол живут, и не переставали ездить в Слободу, говоря: «Бог милостив, авось доедем». И неизвестно, как оно случалось, но только на поверку всегда выходило, что купцы оставались в барышах.

В Троицкой лавре Серебряный исповедался и причастился. То же сделали его холопи. Архимандрит, прощаясь с Никитой Романовичем, благословил его как идущего на верную смерть.

Верстах в трех от Слободы стояла на заставе воинская стража и останавливала проезжих, спрашивая каждого: кто он и зачем едет в неволю? Этим прозванием народ, в насмешку, заменил слово «слобода», значившее в прежнее время свободу. Серебряный и холопи

его также выдержали подробный допрос о цели их приезда. Потом начальный человек отобрал от них оружие, и четыре опричника сели на конь проводить приезжих. Вскоре показались вдали крашенные главы и причудливые, золоченые крыши царского дворца. Вот что говорит об этом дворце наш историк, по свидетельству чужеземных современников Иоанна.

«В сем грозно увеселительном жилище Иоанн посвящал большую часть времени церковной службе, чтобы непрестанною деятельностью успокоить душу. Он хотел даже обратить дворец в монастырь, а любимцев своих в иноков: выбрал из опричников 300 человек, самых злейших, назвал их братиею, себя игуменом, князя Афанасия Вяземского келарем, Малюту Скуратова параклисиархом; дал им тафьи, или скуфейки, и черные рясы, под коими носили они богатые, золотом блестящие кафтаны с собольею опушкою; сочинил для них устав монашеский и служил примером в исполнении оногo. Так описывают сию монастырскую жизнь Иоаннову. В четвертом часу утра он ходил на колокольню с

царевичами и Малютою Скуратовым благовестить к заутрене, братья спешили в церковь; кто не являлся, того наказывали осмидневным заключением. Служба продолжалась до шести или семи часов. Царь пел, читал, молился столь ревностно, что на лбу всегда оставались у него знаки крепких земных поклонов. В восемь часов опять собирались к обедне, а в десять садились за братскую трапезу, все кроме Иоанна, который, стоя, читал вслух душеспасительные наставления. Между тем братья ели и пили досыта; всякий день казался праздником: не жалели ни вина, ни меду; остаток трапезы выносили из дворца на площадь для бедных. Игумен, то есть царь, обедал после, беседовал с любимцами о законе, дремал или ехал в темницу пытаться какого-нибудь несчастного. Казалось, что сие ужасное зрелище забавляло его: он возвращался с видом сердечного удовольствия; шутил, говаривал тогда веселее обыкновенного. В восемь часов шли к вечерне; в десятом Иоанн уходил в спальню, где трое слепых рассказывали ему сказки; он слушал их и засыпал, но ненадолго: в полночь вставал, и день

его начинался молитвою! Иногда докладывали ему в церкви о делах государственных; иногда самые жестокие повеления давал Иоанн во время заутрени или обедни. Единообразие сей жизни он прерывал так называемыми объездами, посещал монастыри, и ближние и дальние, осматривал крепости на границе, ловил диких зверей в лесах и пустынях; любил в особенности медвежью травлю; между тем везде и всегда занимался делами: ибо земские бояре, мнимоуполномоченные правители государства, не смели ничего решить без его воли!»

Въехав в Слободу, Серебряный увидел, что дворец, или монастырь, государев отделен от прочих зданий глубоким рвом и валом. Трудно описать великолепие и разнообразие этой обители. Ни одно окно не походило на другое, ни один столб не равнялся с другим узорами или краской. Множество глав венчали здание.

Они теснились одна возле другой, громоздились одна на другую, и сквозили, и пузырились. Золото, серебро, цветные изразцы, как блестящая чешуя, покрывали дворец сверху

донизу. Когда солнце его освещало, нельзя было издали догадаться, дворец ли это, или куст цветов исполинских, или то жар-птицы слетелись в густую стаю и распустили на солнце свои огненные перья?

Недалеко от дворца стоял печатный двор, с принадлежащею к нему словолитней, с жилищем наборщиков и с особым помещением для иностранных мастеров, выписанных Иоанном из Англии и Германии. Далее тянулись бесконечные дворцовые службы, в которых жили ключники, подключники, сытники, повара, хлебники, конюхи, псары, сокольники и всякие дворовые люди на всякий обиход.

Немалым богатством сияли слободские церкви. Славный храм богородицы покрыт был снаружи яркою живописью; на каждом кирпиче блестел крест, и церковь казалась одетою в золотую сетку.

Очаровательный вид этот разогнал на время черные мысли, которые не оставляли Серебряного во всю дорогу. Но вскоре неприятное зрелище напомнило князю его положение. Они проехали мимо нескольких висе-

лиц, стоявших одна подле другой. Тут же были срубы с плахами и готовыми топорами. Срубы и виселицы, скрашенные черною краской, были выстроены крепко и прочно, не на день, не на год, а на многие лета.

Как ни бесстрашен бывает человек, он никогда не равнодушен к мысли, что его ожидает близкая смерть, не славная смерть среди стука мечей или грома орудий, но темная и постыдная, от рук презренного палача. Видно, Серебряный, проезжая мимо места казней, не умел подавить внутреннего волнения, и оно невольно отразилось на впечатлительном лице его; вожатые посмотрели на князя и усмехнулись.

– Это наши качели, боярин, – промолвил один из них, указывая на виселицы, – видно, они приглянулись тебе, что ты с них глаз не сводишь!

Михеич, ехавший позади, не сказал ничего, но только посвистел и покачал головою.

Подъехав к валу, князь и товарищи его спешили и привязали лошадей к столбам, в которые нарочно для того были ввинчены кольца. Приезжие вошли на огромный двор,

наполненный нищими. Они громко молились, распевали псалмы и обнажали свои отвратительные язвы. Царский дворецкий, стоя на ступенях крыльца, раздавал им от имени Иоанна яства и денежные дачи. Время от времени по двору прохаживались опричники. Другие сидели на скамьях и играли в шахматы или в зернь. Так называли тогда игру в кости. Иные, собравшись в кружок, бросали свайку и громко смеялись, когда проигравший несколько раз сряду вытаскивал из земли глубоко всаженную *редьку*. Одежда опричников представляла разительную противоположность с лохмотьями нищих: царские телохранители блистали золотом. На каждом из них была бархатная или парчовая тафья, усаженная жемчугом и дорогими камнями, и все они казались живыми украшениями волшебного дворца, с которым составляли как бы одно целое.

Один из опричников особенно привлек внимание Серебряного. То был молодой человек лет двадцати, необыкновенной красоты, но с неприятным, наглым выражением лица. Одет он был богаче других, носил, в против-

ность обычаю, длинные волосы, бороды не имел вовсе, а в приемах выказывал какую-то женоподобную небрежность. Обращение с ним товарищей также было довольно странно. Они с ним говорили как с равным и не оказывали ему особенной почтительности; но когда он подходил к какому-нибудь кружку, то кружок раздвигался, а сидевшие на лавках вставали и уступали ему место. Казалось, его берегли или, может быть, опасались. Увидя Серебряного и Михеича, он окинул их надменным взглядом, подозвал провожатых и, казалось, осведомился об имени приезжих. Потом он прищурился на Серебряного, усмехнулся и шепнул что-то товарищам. Те также усмехнулись и разошлись в разные стороны. Сам он взошел на крыльцо и, облокотясь на перилы, продолжал насмешливо глядеть на Никиту Романовича. Вдруг между нищими сделалось волнение. Густая толпа отхлынула прямо на князя и чуть не сбила его с ног. Нищие с криком бежали от дворца; ужас изображался на их лицах. Князь удивился, но вскоре понял причину общего испуга. Огромный медведь скоком преследовал нищих. В одно

мгновение двор опустел, и князь остался один, глаз на глаз с медведем. Мысль о бегстве не пришла ему в голову. Серебряный не раз ходил на медведя один на один. Эта охота была его забавой. Он остановился, и в то мгновение, как медведь, прижав уши к затылку, подвалился к нему, загребая его лапами, князь сделал движение, чтобы выхватить саблю. Но сабли не было! Он забыл, что отдал ее опричникам перед въездом в неволю. Молодой человек, глядевший с крыльца, захохотал.

– Так, так, – сказал он, – ищи своей сабли!

Один удар медвежьей лапы свалил князя на землю, другой своротил бы ему череп, но, к удивлению своему, князь не принял второго удара и почувствовал, что его обдала струя теплой крови.

– Вставай, боярин! – сказал кто-то, подавая ему руку.

Князь встал и увидел не замеченного им прежде опричника, лет семнадцати, с окровавленной саблей в руке. Медведь с разрубленной головою лежал на спине и, махая лапами, издыхал у ног его.

Опричник, казалось, не гордился своею победой. Кроткое лицо его являло отпечаток глубокой грусти. Уверившись, что медведь не сломал князя, и не дожидаясь спасибо, он хотел отойти.

– Добрый молодец! – сказал ему Серебряный, – назовись по имени-прозвищу, чтобы знал я, за кого богу помолиться!

– Что тебе до моего прозвища, боярин! – отвечал опричник. – Не люблю я его, бог с ним!

Такой странный ответ удивил Серебряного, но избавитель его уже удалился.

– Ну, батюшка, Никита Романыч, – сказал Михеич, обтирая полою кафтана медвежьей кровью с князя, – набрался ж я страху! Уж я, батюшка, кричал медведю: гу! гу! чтобы бросил он тебя да на меня бы навалился, как этот молодец, дай бог ему здоровья, череп ему раскроил. А ведь все это затеял вон тот голобородый с маслеными глазами, что с крыльца смотрит, тетка его подкурятина! Да куда мы заехали, – прибавил Михеич шепотом, – виданное ли это дело, чтобы среди царского двора медведей с цепей спускали?

Замечание Михеича было основательно,

но Слобода имела свои обычаи, и ничто не происходило в ней обыкновенным порядком.

Царь любил звериный бой. Несколько медведей всегда кормились в железных клетках на случай травмы. Но время от времени Иоанн или опричники его выпускали зверей из клеток, драли ими народ и потешались его страхом. Если медведь кого увечил, царь награждал того деньгами. Если же медведь задирает кого до смерти, то деньги выдавались его родным, а он вписывался в синодик для поминовения по монастырям вместе с прочими жертвами царской потехи или царского гнева.

Вскоре вышли из дворца два стольника и сказали Серебряному, что царь видел его из окна и хочет знать, кто он таков? Передав царю имя князя, стольники опять возвратились и сказали, что царь-де спрашивает тебя о здоровье и велел-де тебе сегодня быть у его царского стола.

Эта милость не совсем обрадовала Серебряного. Иоанн, может быть, не знал еще о ссоре его с опричниками в деревне Медведевке. Может быть также (и это случалось часто), царь

скрывал на время гнев свой под личиною милости, дабы внезапное наказание, среди пира и веселья, показалось виновному тем ужаснее. Как бы то ни было, Серебряный приготовился ко всему и мысленно прочитал молитву.

Этот день был исключением в Александровой слободе. Царь, готовясь ехать в Суздаль на богомолье, объявил заране, что будет обедать вместе с братией, и приказал звать к столу, кроме трехсот опричников, составлявших его всегдашнее общество, еще четыреста, так что всех званых было семьсот человек.

ГЛАВА 8. Пир

В огромной двусветной палате, между узорчатыми расписными столбами, стояли длинные столы в три ряда. В каждом ряду было по десяти столов, на каждом столе по двадцати приборов. Для царя, царевича и ближайших любимцев стояли особые столы в конце палаты. Гостям были приготовлены длинные скамьи, покрытые парчой и бархатом; государю – высокие резные кресла, убранные жемчужными и алмазными кистями. Два льва заменяли ножки кресел, а спинку образовал двуглавый орел с поднятыми крыльями, золоченый и раскрашенный. В середине палаты стоял огромный четвероугольный стол с поставом из дубовых досок. Крепки были толстые доски, крепки точеные столбы, на коих покоился стол; им надлежало поддерживать целую гору серебряной и золотой посуды. Тут были и тазы литые, которые четыре человека с трудом подняли бы за узорчатые ручки, и тяжелые ковши, и кубки, усыпанные жемчугом, и блюда разных величин с чеканными узорами. Тут были и чары

сердоликовые, и кружки из строфокамиловых яиц, и турьи рога, оправленные в золото. А между блюдами и ковшами стояли золотые кубки странного вида, представлявшие медведей, львов, петухов, павлинов, журавлей, единорогов и строфокамилов. И все эти тяжелые блюда, суды, ковши, чары, черпала, звери и птицы громоздились кверху клинообразным зданием, которого конец упирался почти в самый потолок.

Чинно вошла в палату блестящая толпа царедворцев и разместилась по скамьям. На столах в это время, кроме солонок, перечниц и уксусниц, не было никакой посуды, а из яств стояли только блюда холодного мяса на постном масле, соленые огурцы, сливы и кислое молоко в деревянных чашах.

Опричники уселись, но не начинали обеда, ожидая государя. Вскоре стольники попарно вошли в палату и стали у царских кресел; за стольниками шествовали дворецкий и кравчий.

Наконец загремели трубы, зазвенели дворцовые колокола, и медленным шагом вошел сам царь, Иван Васильевич.

Он был высок, строен и широкоплеч. Длинная парчовая одежда его, испещренная узорами, была окаймлена вдоль разреза и вокруг подола жемчугом и дорогими каменьями. Драгоценное перстяное ожерелье украшалось финифтевыми изображениями спасителя, богоматери, апостолов и пророков. Большой узорный крест висел у него на шее на золотой цепи. Высокие каблуки красных сафьянных сапогов были окованы серебряными скобами. Страшную перемену увидел в Иоанне Никита Романович. Правильное лицо все еще было прекрасно; но черты обозначались резче, орлиный нос стал как-то круче, глаза горели мрачным огнем, и на челе явились морщины, которых не было прежде. Всего более поразили князя редкие волосы в бороде и усах. Иоанну было от роду тридцать пять лет; но ему казалось далеко за сорок. Выражение лица его совершенно изменилось. Так изменяется здание после пожара. Еще стоят хоромы, но украшения упали, мрачные окна глядят зловещим взором, и в пустых покоях поселилось недоброе.

Со всем тем, когда Иоанн взирал милости-

во, взгляд его еще был привлекателен. Улыбка его очаровывала даже тех, которые хорошо его знали и гнушались его злодеяниями. С такою счастливою наружностью Иоанн соединял необыкновенный дар слова. Случалось, что люди добродетельные, слушая царя, убеждались в необходимости ужасных его мер и верили, пока он говорил, справедливости его казней.

С появлением Иоанна все встали и низко поклонились ему. Царь медленно прошел между рядами столов до своего места, остановился и, окинув взором собрание, поклонился на все стороны; потом прочитал вслух длинную молитву, перекрестился, благословил трапезу и опустился в кресла. Все, кроме кравчего и шести стольников, последовали его примеру.

Множество слуг, в бархатных кафтанах фиалкового цвета, с золотым шитьем, стали перед государем, поклонились ему в пояс и по два в ряд отправились за кушаньем. Вскоре они возвратились, неся сотни две жареных лебедей на золотых блюдах.

Этим начался обед.

Серебряному пришлось сидеть недалеко от царского стола, вместе с земскими боярами, то есть с такими, которые не принадлежали к опричнине, но, по высокому сану своему, удостоились на этот раз обедать с государем. Некоторых из них Серебряный знал до отъезда своего в Литву. Он мог видеть с своего места и самого царя, и всех бывших за его столом. Грустно сделалось Никите Романовичу, когда он сравнил Иоанна, оставленного им пять лет тому назад, с Иоанном, сидящим ныне в кругу новых любимцев.

Никита Романович обратился с вопросом к своему соседу, одному из тех, с которыми он был знаком прежде.

– Кто этот отрок, что сидит по правую руку царя, такой бледный и пасмурный?

– Это царевич Иоанн Иоаннович, – отвечал боярин и, оглянувшись по сторонам, прибавил шепотом:

– Помилуй нас господи! Не в деда он пошел, а в батюшку, и не по младости исполнено его сердце свирепства; не будет нам утехи от его царствованья!

– А этот молодой черноглазый, в конце сто-

да, с таким приветливым лицом? Черты его мне знакомы, но не припомню, где я его видел?

– Ты видел его, князь, пять лет тому, рындою при дворе государя; только далеко ушел он с тех пор и далеко уйдет еще; это Борис Федорович Годунов, любимый советник царский. Видишь, – продолжал боярин, понижая голос, – видишь возле него этого широкоплечего, рыжего, что ни на кого не смотрит, а убирает себе лебеда, нахмурия брови? Знаешь ли, кто это? Это Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, по прозванию Малюта. Он и друг, и поплечник, и палач государев. Здесь же, в монастыре, он сделан, прости господи, параклисиархом. Кажется, государь без него ни шагу; а скажи только слово Борис Федорыч, так выйдет не по Малютину, а по Борисову! А вон там, этот молоденький, словно красная девица, что царю наряжает вина, это Федор Алексеич Басманов.

– Этот? – спросил Серебряный, узнавая женоподобного юношу, которого наружность поразила его на царском дворе, а неожиданная шутка чуть не стоила ему жизни.

– Он самый. Уж как царь-то любит его; кажется, жить без него не может; а случись дело какое, у кого совета спросят? Не у него, а у Бориса!

– Да, – сказал Серебряный, взглядываясь в Годунова, – теперь припоминаю его. Не ездил ли он у царского саадака?

– Так, князь. Он точно был у саадака. Кажется, должность незнатная, как тут показать себя? Только случилось раз, затеяли на охоте из лука стрелять. А был тут ханский посол Девлет-Мурза. Тот, что ни пустит стрелу, так и всадит ее в татарскую шляпу, что поставили на шесте, ступней во сто от царской ставки. Дело-то было уж после обеда, и много ковшей уже прошло кругом стола. Вот встал Иван Васильевич, да и говорит: «Подайте мне мой лук, и я не хуже татарина попаду!» А татарин-то обрадовался: «Попади, бачка-царь! – говорит, – моя пошла тысяча лошадей табун, а твоя что пошла?» – то есть, по-нашему, во что ставишь заклад свой? «Идет город Рязань!» – сказал царь и повторил: «Подайте мой лук!» Бросился Борис к коновязи, где стоял конь с саадаком, вскочил в седло, только

видим мы, бьется под ним конь, вздымается на дыбы, да вдруг как пустится, закусив удила, так и пропал с Борисом. Через четверть часа вернулся Борис, и колчан и налучье изорваны, лук пополам, стрелы все рассыпались, сам Борис с разбитой головой. Соскочил с коня, да и в ноги царю: «Виноват, государь, не смог коня удержать, не соблюл твоего саадака!» А у царя, вишь, меж тем хмель-то уж выходить начал. «Ну, говорит, не быть же тебе, неучу, при моем саадаке, а из чужого лука стрелять не стану!» С этого дня пошел Борис в гору, да посмотри, князь, куда уйдет еще! И что это за человек, – продолжал боярин, глядя на Годунова, – никогда не суется вперед, а всегда тут; никогда не прямит, не перечит царю, идет себе окольным путем, ни в какое кровавое дело не замешан, ни к чьей казни не причастен. Кругом его кровь так и хлещет, а он себе и чист и бел как младенец, даже и в опричнину не вписан. Вон тот, – продолжал он, указывая на человека с недоброю улыбкой, – то Алексей Басманов, отец Федора, а там, подале, Василий Грязной, а вон там отец Левкий, чудовский архимандрит; прости

ему господи, не пастырь он церковный, угодник страстей мирских!

Серебряный слушал с любопытством и с горестью.

– Скажи, боярин, – спросил он, – кто этот высокий кудрявый, лет тридцати, с черными глазами? Вот уж он четвертый кубок осушил, один за другим, да еще какие кубки! Здоров он пить, нечего сказать, только вино ему будто не на радость. Смотри, как он нахмурился, а глаза-то горят словно молонья. Да что он, с ума сошел? Смотри, как скатерть поясом порет!

– Этого-то, князь, ты, кажись бы, должен знать; этот был из наших. Правда, переменялся он с тех пор, как, всему боярству на срам, в опричники пошел! Это князь Афанасий Иванович Вяземский. Он будет всех их удалее, только не вынести ему головы! Как прикачнулась к его сердцу зазнобушка, сделался он сам не свой. И не видит ничего, и не слышит, и один с собою разговаривает, словно помешанный, и при царе держит такие речи, что индо страшно. Но до сих пор ему все с рук сходило; жалеет его государь. А говорят, он по любви и

в опричники-то вписался.

И боярин нагнулся к Серебряному, желая, вероятно, рассказать ему подробнее про Вяземского, но в это время подошел к ним стольник и сказал, ставя перед Серебряным блюдо жаркого:

– Никита-ста! Великий государь жалует тебя блюдом с своего стола.

Князь встал и, следуя обычаю, низко поклонился царю. Тогда все, бывшие за одним столом с князем, также встали и поклонились Серебряному, в знак поздравления с царскою милостью. Серебряный должен был каждого отблагодарить особым поклоном.

Между тем стольник возвратился к царю и сказал ему, кланяясь в пояс:

– Великий государь! Никита-ста принял блюдо, челом бьет!

Когда съели лебедей, слуги вышли попарно из палаты и возвратились с тремя сотнями жареных павлинов, которых распущенные хвосты качались над каждым блюдом, в виде опахала. За павлинами следовали кулебяки, курники, пироги с мясом и с сыром, блины всех возможных родов, кривые пирожки и

оладыи. Пока гости кушали, слуги разносили ковши и кубки с медами: вишневым, можжевеловым и черемховым. Другие подавали разные иностранные вина: романею, рейнское и мушкатель. Особые стольники ходили взад и вперед между рядами, чтобы смотреть и вскалывать в столы.

Напротив Серебряного сидел один старый боярин, на которого царь, как поговаривали, держал гнев. Боярин предвидел себе беду, но не знал какую и ожидал спокойно своей участи. К удивлению всех, кравчий Федор Басманов из своих рук поднес ему чашу вина.

– Василий-су! – сказал Басманов, – великий государь жалует тебя чашею!

Старик встал, поклонился Иоанну и выпил вино, а Басманов, возвратясь к царю, донес ему:

– Василий-су выпил чашу, челом бьет!

Все встали и поклонились старику; ожидали себе и его поклона, но боярин стоял неподвижно. Дыхание его сперлось, он дрожал всем телом. Внезапно глаза его налились кровью, лицо посинело, и он грянулся оземь.

– Боярин пьян, – сказал Иван Васильевич, –

вынести его вон! – Шепот пробежал по собранию, а земские бояре переглянулись и потушили очи в свои тарелки, не смея вымолвить ни слова.

Серебряный содрогнулся. Еще недавно не верил он рассказам о жестокости Иоанна, теперь же сам сделался свидетелем его ужасной мести.

«Уж не ожидает ли и меня такая же участь?» – подумал он. Между тем старика вынесли, и обед продолжался, как будто ничего не случилось. Гусли звучали, колокола гудели, царедворцы громко разговаривали и смеялись. Слуги, бывшие в бархатной одежде, явились теперь все в парчовых доломанах. Эта перемена платья составляла одну из роскошей царских обедов. На столы поставили сперва разные студени; потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с инбирем, бескостных куриц и уток с огурцами. Потом принесли разные похлебки и трех родов уху: курячью белую, курячью черную и курячью шафранную. За ухою подали рябчиков со сливами, гусей со пшеном и тетерок с шафраном.

Тут наступил прогул, в продолжение которого разносили гостям меды, смородинный, княжий и боярский, а из вин: аликант, бастр и малвазию.

Разговоры становились громче, хохот раздавался чаще, головы кружились. Серебряный, всматриваясь в лица опричников, увидел за отдаленным столом молодого человека, который несколько часов перед тем спас его от медведя. Князь спросил об нем у соседей, но никто из земских не знал его. Молодой опричник, облокотясь на стол и опустив голову на руки, сидел в задумчивости и не участвовал в общем веселье. Князь хотел было обратиться с вопросом к проходившему слуге, но вдруг услышал за собой:

– Никита-ста! Великий государь жалует тебя чашею!

Серебряный вздрогнул. За ним стоял, с наглою усмешкой, Федор Басманов и подавал ему чашу.

Не колеблясь ни минуты, князь поклонился царю и осушил чашу до капли. Все на него смотрели с любопытством, он сам ожидал неминуемой смерти и удивился, что не чув-

ствует действий отравы. Вместо дрожи и холода благотворная теплота пробежала по его жилам и разогнала на лице его невольную бледность. Напиток, присланный царем, был старый и чистый бастр. Серебряному стало ясно, что царь или отпустил вину его, или не знает еще об обиде опричнины.

Уже более четырех часов продолжалось веселье, а стол был только во полустоле. Отличились в этот день царские повара. Никогда так не удавались им лимонные кальи, верченые почки и караси с бараниной. Особенное удивление возбуждали исполинские рыбы, пойманные в Студеном море и присланные в Слободу из Соловецкого монастыря. Их привезли живых, в огромных бочках; путешествие продолжалось несколько недель. Рыбы эти едва умещались на серебряных и золотых тазах, которые вносили в столовую несколько человек разом. Затейливое искусство поваров выказалось тут в полном блеске. Осетры и шевриги были так надрезаны, так посажены на блюда, что походили на петухов с простертыми крыльями, на крылатых змеев с разверстыми пастьями. Хороши и вкусны были

также зайцы в лапше, и гости, как уже ни на-
грузились, но не пропустили ни перепелов с
чесночною подливкой, ни жаворонков с лу-
ком и шафраном. Но вот, по знаку стольни-
ков, убрали со столов соль, перец и уксус и
сняли все мясные и рыбные яства. Слуги вы-
шли по два в ряд и возвратились в новом
убранстве. Они заменили парчовые долома-
ны летними кунтушами из белого аксамита
с серебряным шитьем и собольею опушкой.
Эта одежда была еще красивее и богаче двух
первых. Убранные таким образом, они внесли
в палату сахарный кремль, в пять пудов весу,
и поставили его на царский стол. Кремль этот
был вылит очень искусно. Зубчатые стены и
башни, и даже пешие и конные люди были
тщательно отделаны. Подобные кремли, но
только поменьше, пуда в три, не более, укра-
сили другие столы. Вслед за кремлями внесли
около сотни золоченых и крашеных деревьев,
на которых вместо плодов висели пряники,
коврижки и сладкие пирожки. В то же время
явились на столах львы, орлы и всякие пти-
цы, литые из сахара. Между городами и пти-
цами возвышались груды яблоков, ягод и во-

лошских орехов. Но плодов никто уже не трогал, все были сыты. Иные допивали кубки романеи, более из приличия, чем от жажды, другие дремали, облокотясь на стол; многие лежали под лавками, все без исключения распоясались и расстегнули кафтаны. Нрав каждого обрисовался яснее.

Царь почти вовсе не ел. В продолжение стола он много рассуждал, шутил и милостиво говорил с своими окольными. Лицо его не изменилось в конце обеда. То же можно было сказать и о Годунове. Борис Федорович, казалось, не отказывался ни от лакомого блюда, ни от братины крепкого вина; он был весел, занимал царя и любимцев его умным разговором, но ни разу не забывался. Черты Бориса являли теперь, как и в начале обеда, смесь проницательности, обдуманного смирения и уверенности в самом себе. Окинув быстрым взором толпу пьяных и сонных царедворцев, молодой Годунов неприметно улыбнулся, и презрение мелькнуло на лице его.

Царевич Иоанн пил много, ел мало, молчал, слушал и вдруг перебивал говорящего нескромною или обидною шуткой. Более всех

доставалось от него Малюте Скуратову, хотя Григорий Лукьянович не похож был на человека, способного сносить насмешки. Наружность его вселяла ужас в самых неробких. Лоб его был низок и сжат, волосы начинались почти над бровями; скулы и челюсти, напротив, были несоразмерно развиты, череп, спереди узкий, переходил без всякой постепенности в какой-то широкий котел к затылку, а за ушами были такие выпуклости, что уши казались впалыми. Глаза неопределенного цвета не смотрели ни на кого прямо, но страшно делалось тому, кто нечаянно встречал их тусклый взгляд. Казалось, никакое великодушное чувство, никакая мысль, выходящая из круга животных побуждений, не могла проникнуть в этот узкий мозг, покрытый толстым черепом и густою щетиной. В выражении этого лица было что-то неумолимое и безнадежное. Глядя на Малюту, чувствовалось, что всякое старание отыскать в нем человеческую сторону было бы напрасно. И подлинно, он нравственно уединил себя от всех людей, жил посреди их особняком, отказался от всякой дружбы, от всяких приятельных отношений, перестал

быть человеком и сделал из себя царскую собаку, готовую растерзать без разбора всякого, на кого Иоанну ни вздумалось бы натравить ее.

Единственную светлую стороной Малюты казалась горячая любовь его к сыну, молодому Максиму Скуратову; но то была любовь дикого зверя, любовь бессознательная, хотя и доходившая до самоотвержения. Ее усугубляло любочестие Малюты. Происходя сам от низкого сословия, будучи человеком *худородным*, он мучился завистью при виде блеска и знатности и хотел, по крайней мере, возвысить свое потомство, начиная с сына своего. Мысль, что Максим, которого он любил тем сильнее, что не знал другой родственной привязанности, будет всегда стоять в глазах народа ниже тех гордых бояр, которых он, Малюта, казнил десятками, приводила его в бешенство. Он старался золотом достичь почестей, недоступных ему по рождению, и с сугубым удовольствием предавался убийствам: он мстил ненавистным боярам, обогащался их добычею и, возвышаясь в милости царской, думал возвысить и возлюбленного сына. Но

независимо от этих расчетов кровь была для него потребностью и наслаждением. Много душегубств совершил он своими руками, и летописи рассказывают, что иногда, после казней, он собственноручно рассекал мертвые тела топором и бросал их псам на съедение. Чтобы довершить очерк этого лица, надобно прибавить, что, несмотря на свою умственную ограниченность, он, подобно хищному зверю, был в высшей степени хитер, в боях отличался отчаянным мужеством, в сношениях с другими был мнителен, как всякий раб, попавший в незаслуженную честь, и что никто не умел так помнить обиды, как Малюта Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский.

Таков был человек, над которым столь неосторожно издевался царевич.

Особенный случай подал Иоанну Иоанновичу повод к насмешкам. Малюта, мучимый завистью и любочестием, издавна домогался боярства; но царь, уважавший иногда обычаи, не хотел унижить верховный русский сан в лице своего худородного любимца и оставлял происки его без внимания. Скуратов решился напомнить о себе Иоанну. В этот са-

мый день, при выходе царя из опочивальни, он бил ему челом, исчислил все свои заслуги и в награждение просил боярской шапки. Иоанн выслушал его терпеливо, засмеялся и назвал собакой. Теперь, за столом, царевич напоминал Малюте о неудачной его челобитне. Не напомнил бы о ней царевич, если бы знал короче Григорья Лукьяновича!

Малюта молчал и становился бледнее. Царь с неудовольствием замечал неприязненные отношения между Малютой и сыном. Чтобы переменить разговор, он обратился к Вяземскому.

– Афанасий, – сказал он полуласково, полунасмешливо, – долго ли тебе кручиниться! Не узнаю моего доброго опричника! Аль вконец заела тебя любовь – змея лютая?

– Вяземский не опричник, – заметил царевич. – Он вздыхает, как красная девица. Ты б, государь-батюшка, велел надеть на него сарафан да обрить ему бороду, как Федьке Басманову, или приказал бы ему петь с гусярами. Гусли-то ему, я чай, будут сподручнее сабли!

– Царевич! – вскричал Вяземский, – если бы тебе было годков пять поболее да не был бы

ты сынок государев, я бы за бесчестие позвал тебя к Москве на Троицкую площадь, мы померялись бы с тобой, и сам бог рассудил бы, кому владеть саблей, кому на гусях играть!

– Афонька! – сказал строго царь. – Не забывай, перед кем речь ведешь!

– Что ж, батюшка, господин Иван Васильевич, – отвечал дерзко Вяземский, – коли повинен я перед тобой, вели мне голову рубить, а царевичу не дам порочить себя.

– Нет, – сказал, смягчаясь, Иван Васильевич, который за молодечество прощал Вяземскому его выходки, – рано Афоне голову рубить! Пусть еще послужит на царской службе. Я тебе, Афоня, лучше сказку скажу, что рассказывал мне прошлою ночью слепой Филька:

«В славном Ростове, в красном городе, проживал добрый молодец, Алеша Попович. Полюбилась ему пуще жизни молодая княгиня, имени не припомню. Только была она, княгиня, замужем за старым Тугарином Змиевичем, и как ни бился Алеша Попович, всё только отказы от нее получал. „Не люблю-де тебя, добрый молодец; люблю одного мужа мово,

милого, старого Змиевича“. – „Добро, – сказал Алеша, – полюбишь же ты и меня, белая лебе-душка!“ Взял двенадцать слуг своих добрых, вломился в терем Змиевича и увез его молодую жену. „Исполать тебе, добрый молодец, – сказала жена, – что умел меня любить, умел и мечом добыть; и за то я тебя люблю пуще жизни, пуще свету, пуще старого поганого мужа мово Змиевича!“

– А что, Афоня, – прибавил царь, пристально смотря на Вяземского, – как покажется тебе сказка слепого Фильки?

Жадно слушал Вяземский слова Ивана Васильевича. Запали они в душу его, словно искры в снопы овинные, загорелась страсть в груди его, запылала очи пожаром.

– Афанасий, – продолжал царь, – я этими днями еду молиться в Суздаль, а ты ступай на Москву к боярину Дружине Морозову, спроси его о здоровье, скажи, что я-де прислал тебя снять с него мою опалу... Да возьми, – прибавил он значительно, – возьми с собой, для почета, поболее опричников!

Серебряный видел с своего места, как Вяземский изменился в лице и как дикая ра-

дость мелькнула на чертах его, но не слышал он, о чем шла речь между князем и Иваном Васильевичем.

Кабы догадался Никита Романович, чему радуется Вяземский, забыл бы он близость государеву, сорвал бы со стены саблю острую и рассек бы Вяземскому буйную голову. Погубил бы Никита Романович и свою головушку, но спасли его на этот раз гусли звонкие, колокола дворцовые и говор опричников, не узнал он, чему радуется Вяземский.

Наконец Иоанн встал. Все царедворцы зашумели, как пчелы, потревоженные в улье. Кто только мог, поднялся на ноги, и все поочередно стали подходить к царю, получать от него сушеные сливы, которыми он наделял братию из собственных рук.

В это время сквозь толпу пробрался опричник, не бывший в числе пировавших, и стал шептать что-то на ухо Малюте Скуратову. Малюта вспыхнул, и ярость изобразилась на лице его. Она не скрылась от зоркого глаза царя. Иоанн потребовал объяснения.

– Государь! – вскричал Малюта, – дело неслыханное! Измена, бунт на твою царскую

милость!

При слове «измена» царь побледнел и глаза его засверкали.

– Государь, – продолжал Малюта, – намерен ли послать я круг Москвы объезд, для того, государь, так ли московские люди соблюдают твой царский указ? Как вдруг неведомый боярин с холопями напал на объезжих людей. Многих убили до смерти, и больно изувечили моего стремянного. Он сам здесь, стоит за дверьми, жестоко избитый! Прикажешь призвать?

Иоанн окинул взором опричников и на всех лицах прочел гнев и негодование. Тогда черты его приняли выражение какого-то странного удовольствия, и он сказал спокойным голосом:

– Позвать!

Вскоре расступилась толпа, и в палату вошел Матвей Хомяк с повязанною головой.

ГЛАВА 9. Суд

Не смысл Хомяк крови с лица, замарал ею нарочно и повязку и одежду: пусть-де увидит царь, как избили слугу его!

Подойдя к Иоанну, он упал ниц и ожидал на коленях позволения говорить.

Все любопытно смотрели на Хомяка. Царь первый прервал молчание.

– На кого ты просишь, – спросил он, – как было дело? Рассказывай по ряду!

– На кого прошу, и сам не ведаю, надежда православный царь! Не сказал он мне, собака, своего роду-племени! А бью челом твоей царской милости, в бою моем и в увечье, что бил меня своим великим огурством незнаемый человек!

Общее внимание удвоилось. Все притаили дыхание. Хомяк продолжал:

– Приехали мы, государь, объездом в деревню Медведевку, как вдруг они, окаянные, откуда ни возьмись, напустились на нас напуском, грянули как снег на голову, перекололи, перерубили человек с десятеро, достальных перевязали; а боярин-то их, разбойник,

хотел было нас всех перевешать, а двух станичников, что мы было объездом захватили, велел свободить и пустить на волю!

Замолчал Хомяк и поправил на голове своей кровавую повязку. Недоверчивый ропот пробежал между опричниками. Рассказ казался невероятным. Царь усомнился.

– Полно, правду ли ты говоришь, детинушка, – сказал он, пронзая Хомяка насквозь орлиным оком, – не закачено ль у тебя в голове? Не у браги ль ты добыл увечья?

– Готов на своей правде крест целовать, государь; кладу голову порукой в речах моих!

– А скажи, зачем не повесил тебя неведомый боярин?

– Должно быть, раздумал; никого не повесил; велел лишь всех нас плетью избить!

Ропот опять пробежал по собранию.

– А много ль вас было в объезде?

– Пятьдесят человек, я пятьдесят первый!

– А много ль ихних было?

– Нечего греха таить, ихних было помене, примерно человек двадцать или тридцать.

– И вы дали себя перевязать и пересечь, как бабы! Что за оторопь на вас напала? Руки

у вас отсохли аль душа ушла в пяты? Право, смеху достойно! И что это за боярин средь бело дня напал на опричников? Быть того не может. Пожалуй, и хотели б они извести опричину, да жжется! И меня, пожалуй, съели б, да зуб неймет! Слушай, коли хочешь, чтоб я взял тебе веру, назови того боярина, не то повинися во лжи своей. А не назовешь и не повинишься, несдобровать тебе, детинушка!

– Надёжа-государь! – отвечал стремянный с твердостью, – видит бог, я говорю правду. А казнить меня твоя воля; не боюсь я смерти, боюсь кривды, и в том шлюсь на целую рать твою!

Тут он окинул глазами опричников, как бы призывая их в свидетели. Внезапно взор его встретился со взором Серебряного.

Трудно описать, что произошло в душе Хомяка. Удивление, сомнение и, наконец, злобная радость изобразились на чертах его.

– Государь, – сказал он, вставая, – коли хочешь ведать, кто напал на нас, порубил товарищей и велел избить нас плетьюми, прикажи вон этому боярину назваться по имени, по изотчеству!

Все глаза обратились на Серебряного. Царь сдвинул безволосые брови и пристально в него вглядывался, но не говорил ни слова. Никита Романович стоял неподвижно, спокойный, но бледный.

– Никита! – сказал наконец царь, медленно выговаривая каждое слово, – подойди сюда. Становись к ответу. Знаешь ты этого человека?

– Знаю, государь.

– Нападал ты на него с товарищи?

– Государь, человек этот с товарищи сам напал на деревню...

Хомяк прервал князя. Чтобы погубить врага, он решился не щадить самого себя.

– Государь, – сказал он, – не слушай боярина. То он на меня сором лает, затем что я малый человек, и в том промеж нас правды не будет; а прикажи снять допрос с товарищей или, пожалуй, прикажи пытать нас обоих накрепко, и в том будет промеж нас правда.

Серебряный презрительно взглянул на Хомяка.

– Государь, – сказал он, – я не запираюсь в своем деле. Я напал на этого человека, велел

его с товарищи бить плетьюми, затем велел бить...

– Довольно! – сказал строго Иван Васильевич. – Отвечай на допрос мой. Ведал ли ты, когда напал на них, что они мои опричники?

– Не ведал, государь.

– А когда хотел повесить их, сказались они тебе?

– Сказались, государь.

– Зачем же ты раздумал их вешать?

– Затем, государь, чтобы твои судьи сперва допросили их.

– Отчего ж ты с самого почину не отослал их к моим судьям?

Серебряный не нашелся отвечать.

Царь впери́л в него испытующий взор и старался проникнуть в самую глубь души его.

– Не затем, – сказал он, – не затем раздумал ты вешать их, чтобы передать их судьям, а затем, что сказались они тебе людьми царскими. И ты, – продолжал царь с возрастающим гневом, – ты, ведая, что они мои люди, велел бить их плетьюми?

– Государь...

– Довольно! – загремел Иоанн. – Допрос

окончен. Братия, – продолжал он, обращаясь к своим любимцам, – говорите, что заслужил себе боярин князь Никита? Говорите, как мыслите, хочу знать, что думает каждый!

Голос Иоанна был умерен, но взор его говорил, что он в сердце своем уже решил участь князя и что беда ожидает того, чей приговор окажется мягче его собственного.

– Говорите ж, люди, – повторял он, возвышая голос, – что заслужил себе Никита?

– Смерть! – отвечал царевич.

– Смерть! – повторили Скуратов, Грязной, отец Левкий и оба Басмановы.

– Так; пусть же примет он смерть! – сказал Иоанн хладнокровно. – Писано бо: приемшие нож ножом погибнут. Человеки, возьмите его!

Серебряный молча поклонился Иоанну. Несколько человек тотчас окружили его и вывели из палаты.

Многие последовали за ними посмотреть на казнь; другие остались. Глухой говор раздавался в палате. Царь обратился к опричникам. Вид его был торжествен.

– Братия! – сказал он, – прав ли суд мой?

– Прав, прав! – раздалось между ближними опричниками.

– Прав, прав! – повторили отдаленные.

– Неправ! – сказал один голос.

Опричники взволновались.

– Кто это сказал? Кто вымолвил это слово?

Кто говорит, что неправ суд государев? – слышалось отовсюду.

На всех лицах изобразилось удивление, все глаза засверкали негодованием. Лишь один, самый свирепый, не показывал гнева. Малюта был бледен как смерть.

– Кто говорит, что неправ суд мой? – спросил Иоанн, стараясь придать чертам своим самое спокойное выражение. – Пусть, кто говорил, выступит пред лицо мое!

– Государь, – произнес Малюта в сильном волнении, – между добрыми слугами твоими теперь много пьяных, много таких, которые говорят, не помня, не спрашаючи разума! Не вели искать этого бражника, государь! Протрезвится, сам не поверит, какую речь пьяным делом держал!

Царь недоверчиво взглянул на Малюту.

– Отец параклисиарх! – сказал он, усмеха-

сь, – давно ль ты умилился сердцем?

– Государь! – продолжал Малюта, – не вели...

Но уже было поздно.

Сын Малюты выступил вперед и стоял почитительно перед Иоанном. Максим Скуратов был тот самый опричник, который спас Серебряного от медведя.

– Так это ты, Максимушка, охаиваешь суд мой, – сказал Иоанн, посматривая с недоброю улыбкой то на отца, то на сына. – Ну, говори, Максимушка, почему суд мой тебе не по сердцу?

– Потому, государь, что не выслушал ты Серебряного, не дал ему очиститься перед тобою и не спросил его даже, за что он хотел повесить Хомяка?

– Не слушай его, государь, – умолял Малюта, – он пьян, ты видишь, он пьян! Не слушай его! Пошел, бражник, вишь, как нарезался! Пошел, уноси свою голову!

– Максим не пил ни вина, ни меду, – заметил злобно царевич. – Я все время на него смотрел, он и усов не омочил!

Малюта взглянул на царевича таким

взглядом, от которого всякий другой задрожал бы. Но царевич считал себя недоступным Малютиной мести. Второй сын Грозного, наследник престола, вмещал в себе почти все пороки отца, а злые примеры все более и более заглушали то, что было в нем доброго. Иоанн Иоаннович уже не знал жалости.

– Да, – прибавил он, усмехаясь, – Максим не ел и не пил за обедом. Ему не по сердцу наше житье. Он гнушается батюшкиной опричниной!

В продолжение этого разговора Борис Годунов не спускал глаз с Иоанна. Он, казалось, изучал выражение лица его и тихо, никем не замеченный, вышел из столовой.

Малюта повалился государю в ноги.

– Батюшка, государь Иван Васильевич! – проговорил он, хватаясь за полы царской одежды, – сего утра я, дурак глупый, деревенщина необтесанный, просил тебя пожаловать мне боярство. Где был разум мой? Куда девался смысл человеческий? Мне ли, смраднему рабу, носить шапку боярскую? Забудь, государь, дурацкие слова мои, вели снять с меня кафтан золоченый, одень в рогожу, только от-

пусти Максиму вину его! Молод он, государь, глуп, не смыслит, что говорит! А уж если казнить кого, так вели меня казнить, не давай я, дурак, напиваться сыну допьяна! Дозволь, государь, я снесу на плаху глупую голову! Прикажи, тотчас сам на себя руки наложу!

Жалко было видеть, как исказилось лицо Малюты, как отчаянье написалось на чертах, никогда не отражавших ничего, кроме зверства.

Царь засмеялся.

– Не за что казнить ни тебя, ни сына твоего! – сказал он, – Максим прав!

– Что ты, государь? – вскричал Малюта, – как Максим прав? – И радостное удивление его выразилось было глупою улыбкой, но она тотчас исчезла, ибо ему представилось, что царь над ним издевается.

Эти быстрые перемены на лице Малюты были так необыкновенны, что царь, глядя на него, опять принялся смеяться.

– Максим прав, – повторил он наконец, принимая свой прежний степенный вид, – я исторопился. Того быть не может, чтобы Серебряный вольною волей что-либо учинил на

меня. Помню я Никиту еще до литовской войны. Я всегда любил его. Он был мне добрый слуга. Это вы, окаянные, – продолжал царь, обращаясь к Грязному и к Басмановым, – это вы всегда подбиваете меня кровь проливать! Мало еще было вам смертного убийства? Нужно было извести моего доброго боярина? Что стоите, звери! Бегите, остановите казнь! Только нет, и не ходите! Поздно! Я чаю, уж слетела с него голова! Вы все заплатите мне за кровь его!

– Не поздно, государь, – сказал Годунов, возвращаясь в палату. – Я велел подождать казнить Серебряного. На милость образца нет, государь; а мне ведомо, что ты милостив, что иной раз и присудишь и простишь виноватого. Только уже Серебряный положил голову на плаху, палач, снём кафтан, засуча рукава, ждет твоего царского веления!

Лицо Иоанна прояснилось.

– Борис, – сказал он, – подойди сюда, добрый слуга мой. Ты один знаешь мое сердце. Ты один ведаешь, что я кровь проливаю не ради потехи, а чтоб измену вывести. Ты меня не считаешь за сыроядца. Подойди сюда, Фе-

дорыч, я обниму тебя.

Годунов наклонился. Царь поцеловал его в голову.

– Подойди и ты, Максим, я тебя к руке пожалую. Хлеб-соль ешь, а правду режь! Так и напередки чини. Выдать ему три сорока соборлей на шубу!

Максим поклонился в землю и поцеловал царскую руку.

– Какое идет тебе жалованье? – спросил Иоанн.

– Против рядовых людей обычное, государь.

– Я сравняю тебя с начальными людьми. Будет тебе идти корм и всякий обиход противу начальных людей. Да у тебя, я вижу, что-то на языке мотается, говори без зазору, проси чего хочешь! – Государь! не заслужил я твоей великой милости, недостоин одежи богатой, есть постарше меня. Об одном прошу, государь. Пошли меня воевать с Литвой, пошли в Ливонскую землю. Или, государь, на Рязань пошли, татар колотить!

Что-то вроде подозрения выразилось в глазах Иоанна.

– Что тебе так воевать захотелось, молодец? Аль постыла жизнь слободская?

– Постыла, государь.

– Что так? – спросил Иоанн, глядя пристально на Максима.

Малюта не дал отвечать сыну.

– Государь, – сказал он, – хотелось бы, вишь, ему послужить твоей милости. Хотелось бы и гривну на золотой цепочке получить из царских рук твоих. Горяча в нем кровь, государь. Затем и просится на татар да немцев.

– Не затем он просится, – подхватил царевич, – а затем, чтобы на своем поставить: не хочу-де быть опричником, так и не буду! Пусть-де выйдет по-моему, а не по-цареву!

– Вот как! – сказал Иоанн насмешливо. – Так ты, Максимушка, меня осилить хочешь? Вишь, какой богатырь! Ну где мне, убогому, на тебя! Что ж, не хочешь быть опричником, я, пожалуй, велю тебя в зорники вписать!

– Эх, государь! – поспешил сказать Малюта, – куда твоя милость ни велит вписать Максима, везде готов он служить по указу твоему! Да поди домой, Максим, поздно; ска-

жи матери, чтобы не ждала меня; у нас дело в тюрьме: Колычевых пытаем. Поди, Максим, поди!

Максим удалился. Царь велел позвать Серебряного.

Опричники ввели его с связанными руками, без кафтана, ворот рубахи отстегнут. За князем вошел главный палач, Терешка, засуча рукава, с блестящим топором в руках. Терешка вошел, потому что не знал, прощает ли царь Серебряного или хочет только изменить род его казни.

– Подойди сюда, князь! – сказал Иоанн. – Мои молодцы исторопились было над тобой. Не прогневайся. У них уж таков обычай, не посмотря в святцы, да бух в колокол! Того не разочтут, что казнить человека всегда успеешь, а слетит голова, не приставишь. Спасибо Борису. Без него отправили б тебя на тот свет; не у кого было б и про Хомяка спросить. Поведай-ка, за что ты напал на него?

– За то, государь, что сам он напал на безвинных людей среди деревни. Не знал я тогда, что он слуга твой, и не слыхивал до того про опричину. Ехал я от Литвы к Москве об-

ратным путем, когда Хомяк с товарищи на-
грянули на деревню и стали людей резать!

– А кабы знал ты, что они мои слуги, побил
бы ты их тогда?

Царь пристально посмотрел на Серебряно-
го. Князь на минуту задумался.

– И тогда побил бы, государь, – сказал он
простодушно, – не поверил бы я, что они по
твоему указу душегубствуют!

Иоанн вперил в князя мрачный взор и дол-
го не отвечал. Наконец он прервал молчание.

– Добрый твой ответ, Никита! – сказал он,
одобрительно кивнув головой. – Не для того
поставил я на Руси опричнину, чтобы слуги
мои побивали людей безвинных. Поставлены
они, аки добрые псы, охранять от пыхающих
волков овцы моя, дабы мог сказать я на
Страшном суде божием по пророческому сло-
веси: се аз и дети, яже дал ми бог! Добрый
твой ответ. Скажу на весь мир: ты да Борис,
вы одни познали меня. Другие не так мыслят;
называют меня кровопийцею, а не ведают то-
го, что, проливая кровь, я заливаюсь слезами!
Кровь видят все; она красна, всякому бросает-
ся в глаза; а сердечного плача моего никто не

зрит; слезы бесцветно падают мне на душу, но, словно смола горячая, проедают, прожигают ее насквозь по вся дни! (И царь при этих словах поднял взор свой кверху с видом глубокой горести.) Яко же древле Рахиль, – продолжал он (и глаза его закатились под самый лоб), – яко же древле Рахиль, плачуще о детях своих, так я, многогрешный, плачу о моих озорниках и злодеях. Добрый твой ответ, Никита. Отпускаю тебе вину твою. Развяжите ему руки. Убирайся, Терешка, ты нам не надобен... Или нет, погоди маленько!

Иоанн обратился к Хомяку.

– Отвечай, – сказал он грозно, – что вы неистовым своим обычаем в Медведевке чинили?

Хомяк взглянул искоса на Терешку, потом на Серебряного, потом почесал затылок.

– Потравились маленько с мужиками! – отвечал, он полухитро, полудерзко, – нечего греха таить; в том виноваты, государь, что с твоими с опальниками потравились. Ведь деревня-то, государь, боярина Морозова!

Грозное выражение Иоанна смягчилось. Он усмехнулся.

– Что ж, – сказал он, – доволен ты княжескими шелепугами? Я чай, будет с тебя? Пожалуй, так уж и быть, и тебя прощу. Убирайся, Терешка, видно, уж день такой выпал!

При милостивом обращении Иоанна к Серебряному шепот удовольствия пробежал между земскими боярами. Чуткое ухо царя услышало этот шепот, а подозрительный ум объяснил его по-своему. Когда Хомяк и Терешка вышли из палаты, Иоанн устремил свой пронизательный взор на земских бояр.

– Вы! – сказал он строго, – не думайте, глядя на суд мой, что я вам начал мирволить! – И в то же время в беспокойной душе его зародилась мысль, что, пожалуй, и Серебряный припишет его милосердие послаблению. В эту минуту он пожалел, что простил его, и захотел поправить свою ошибку.

– Слушай! – произнес он, глядя на князя, – я помиловал тебя сегодня за твое правдивое слово и прощенья моего назад не возьму. Только знай, что, если будет на тебе какая новая вина, я взыщу с тебя и старую. Ты же тогда, ведая за собою свою неправду, не захоти уходить в Литву или к хану, как иные чинят,

а дай мне теперь же клятву, что, где бы ты ни был, ты везде будешь ожидать наказания, какое захочу положить на тебя.

– Государь! – сказал Серебряный, – жизнь моя в руке твоей. Хорониться от тебя не в моем обычае. Обещаю тебе, если будет на мне какая вина, ожидать твоего суда и от воли твоей не уходить!

– Целуй же мне на том крест! – сказал важно Иоанн, и, приподымая висевший у него на груди узорный крест, он подал его Серебряному, с косвенным взглядом на земских бояр.

Среди общего молчания слышно было бряцание золотой цепи, когда Иоанн выпустил из рук изображение спасителя, к которому, перекрестившись, приложился Серебряный.

– Теперь ступай! – сказал Иоанн, – и молись милостивой троице и всем святым угодникам, чтобы сохранили тебя от новой, хотя бы и легкой вины!

– Вы же, – прибавил он, глядя на земских бояр, – вы, слышавшие наш уговор, не ждите нового прощенья Никите и не помыслите печаловаться мне о нем, если он в другой раз заслужит гнев мой!

Облекши таким образом возможность будущего произвола над Серебряным в подобие нравственного права, Иоанн выразил на лице своем удовлетворение.

– Ступайте все, – сказал он, – каждый к своему делу! Земским ведать приказы по-прежнему, а опричникам, избранным слугам и полчанам моим, помнить свое крестное целование и не смущаться тем, что я сегодня простил Никиту: несть бо в сердце моем лицепрятия ни к ближним, ни к дальним!

Стали расходиться. Каждый побрел домой, унося с собою кто страх, кто печаль, кто злобу, кто разные надежды, кто просто хмель в голове. Слобода покрылась мраком, месяц зарождался за лесом. Страшен казался темный дворец, с своими главами, теремками и гребнями. Он издали походил на чудовище, свернувшееся клубом и готовое вспрыгнуть. Одно незакрытое окно светилось, словно око чудовища. То была царская опочивальня. Там усердно молился царь.

Молился он о тишине на святой Руси, молился о том, чтоб дал ему господь побороть измену и непокорство, чтобы благословил его

окончить дело великого поту, сравнять сильных со слабыми, чтобы не было на Руси одного выше другого, чтобы все были в равенстве, а он бы стоял один надо всеми, аки дуб во чистом поле!

Молится царь и кладет земные поклоны. Смотрят на него звезды в окно косячатое, смотрят светлые, притуманившись, – притуманившись, будто думая: «Ах ты гой еси, царь Иван Васильевич! Ты затеял дело не в добрый час, ты затеял, нас не спрашаючи: не расти двум колосьям в уровень, не сравнять крутых гор со пригорками, не бывать на земле безбожнице!»

ГЛАВА 10. Отец и сын

Была уже ночь, когда Малюта, после пытки Колычевых, родственников и друзей сведенного митрополита, вышел наконец из тюрьмы. Густые тучи, как черные горы, нависли над Слободой и грозили непогодой. В доме Малюты все уже спали. Не спал один Максим. Он вышел навстречу к отцу.

– Батюшка, – сказал Максим, – я ждал тебя; мне нужно переговорить с тобою.

– О чем? – спросил Малюта и невольно отворотил взгляд. Григорий Лукьянович никогда не дрожал перед врагом, но в присутствии Максима ему было неловко.

– Я завтра еду, – продолжал Максим, – прости, батюшка!

– Куда? – спросил Малюта и этот раз устремил тусклый взгляд свой на Максима.

– Куда глаза глядят, батюшка; земля не клином сошлась, места довольно!

– Да что, ты с ума спятил али дурь на себя напустил? И подлинно дурь напустил! Что ты сегодня за обедом наделал? Как у тебя язык повернулся царю перечить? Знаешь ли, кто

он и кто ты?

– Знаю, батюшка; и знаю, что он мне за то спасибо сказал. А все же мне нельзя оставаться.

– Ах ты самодур! Да откуда у тебя своя воля взялась? Что случилось с тобой сегодня? Отчего ты теперь уезжать вздумал, когда царь тебя пожаловать изволил, с начальными людьми сравнял? Отчего именно теперь?

– Мне давно тяжело с вами, батюшка; ты сам знаешь; но я не доверял себе; с самого детства только и слышал отовсюду, что царева воля – божья воля, что нет тяжелее греха, как думать иначе, чем царь. И отец Левкий, и все попы слободские мне на духу в великий грех ставили, что я к вам не мыслю. Поневоле иногда раздумье брало, прав ли я один противу всех вас? Поневоле уезжать откладывал. А сегодня, – продолжал Максим, и румянец живо заиграл на лице его, – сегодня я понял, что я прав! Как услышал князя Серебряного, как узнал, что он твой объезд за душегубство разбил и не заперся перед царем в своем правом деле, но как мученик пошел за него на смерть, – тогда забилося к нему сердце мое,

как ни к кому еще не бивалось, и вышло из мысли моей колебание, и стало мне ясно как день, что не на вашей стороне правда!

– Так вот кто тебя с толку сбил! – вскричал Малюта, и без того озлобленный на Серебряного, – так вот кто тебя с толку сбил! Попадись он мне только в руки, не скорою смертью издохнет он у меня, собака!

– Господь сохранит его от рук твоих! – сказал Максим, делая крестное знамение, – не попустит он тебя все доброе на Руси погубить! Да, – продолжал, одушевляясь, сын Малюты, – лишь увидел я князя Никиту Романыча, понял, что хорошо б жить вместе с ним, и захотелось мне попроситься к нему, но совестно подойти было: очи мои на него не подымутся, пока буду эту одежду носить!

Малюта слушал сына, и два чувства спорили в нем между собою. Ему хотелось закричать на Максима, затопать на него ногами и привести его угрозами к повиновению, но невольное уважение сковывало его злобу. Он понимал чутьем, что угроза теперь не подействует, и в низкой душе своей начал искать других средств, чтоб удержать сына.

– Максимушка! – сказал он, принимая заискивающий вид, насколько позволяло зверское лицо его, – не в пору ты уезжать затеял! Твое слово понравилось сегодня царю. Хоть и напугал ты меня порядком, да заступились, видно, святые угодники за нас, умягчили сердце батюшки-государя. Вместо чтоб казнить, он похвалил тебя, и жалованья тебе прибавил, и собольею шубой пожаловал! Посмотри, коли ты теперь в гору не пойдешь! А покамест чем тебе здесь не житье?

Максим бросился в ноги Малюты.

– Не житье мне здесь, батюшка, не житье! Не по силам дома оставаться! Невмоготу слышать вой да плач по вся дни, невтерпеж видеть, что отец мой...

Максим остановился.

– Ну? – сказал Малюта.

– Что отец мой – палач! – произнес Максим и опустил взор, как бы испугавшись, что мог сказать отцу такое слово.

Но Малюта не смутился этим названием.

– Палач палачу рознь! – произнес он, покосившись в угол избы. – Ино рядовой человек, ино начальный; ино простых воров казнить,

ино бояр, что подтачивают царский престол и всему государству шатанье готовят. Я в разбойный приказ не вступаю; мой топор только и сечет, что изменничьи боярские головы!

– Замолчи, отец! – сказал, вставая, Максим, – не возмущай мне сердца такою речью! Кто из тех, кого погубил ты, умышлял на царя? Кто из них замутил государство? Не по винам, а по злобе своей сечешь ты боярские головы! Кабы не ты, и царь был бы милостивее. Но вы ищете измены, вы пытками вымучиваете изветы, вы, вы всей крови заводчики! Нет, отец, не гневи бога, не клевети на бояр, а скажи лучше, что без разбора хочешь вконец извести боярский корень!

– Да ты-то с чего за них заступаешься? – сказал с злобною усмешкой Малюта. – Или тебе весело видеть, что ты как ни статен, как ни красен собой, а все остаешься между ними последний? А чем любой из них не по плечу тебе? Чем гордятся они перед нами? Из другой, что ли, земли господь их вылепил? Коли богатством гордятся, так дайте срок, государи! Царь не забывает верных слуг своих; а как

дойдут до смертной казни Колычевой, так животы их никому другому, а нам же достанутся. Довольно я над ними, окаянными, в застенке-то промучился; жиловаты, собаки, нечего сказать!

Злоба кипела в сердце Малюты, но он еще надеялся убедить Максима и скривил рот свой в ласковую улыбку. Не личила такая улыбка Малюте, и, глядя на нее, Максиму сделалось страшно.

Но Малюта этого не заметил.

– Максимушка, – сказал он, – на кого же я денежки-то копил? На кого тружусь и работаю? Не уезжай от меня, останься со мною. Ты еще молод, не поспел еще в ратный строй. Не уезжай от меня! Вспомни, что я тебе отец! Как посмотрю на тебя, так и прояснится на душе, словно царь меня похвалил или к руке пожаловал, а обидь тебя кто, – так, кажется, и съел бы живого!

Максим молчал, Малюта постарался придать лицу своему самое нежное выражение.

– Ужели ты, Максимушка, вовсе не любишь меня? ужели ничего ко мне в сердце не шелохнется?

– Ничего, батюшка!

Малюта подавил свою злобу.

– А царь что скажет, когда узнает про твой отъезд, коли подумает, что ты от него уехал?

– От него-то я и еду, батюшка. Меня страх берет. Знаю, что бог велит любить его, а как посмотрю иной раз, какие дела он творит, так все нутро во мне перевернется. И хотелось бы любить, да сил не хватает. Как уеду из Слободы да не будет у меня безвинной крови перед очами, тогда, даст бог, снова царя полюблю. А не удастся полюбить, и так ему послужу, только бы не в опричниках!

– А что будет с матерью твоею? – сказал Малюта, прибегая к последнему средству. – Не пережить ей такого горя! Убьешь ты старуху! Посмотри, какая она, голубушка, хвора!

– Премилостивый бог не оставит матери моей, – ответил со вздохом Максим. – Она простит меня.

Малюта начал ходить по избе взад и вперед. Когда остановился он перед Максимом, ласковое выражение, к которому он приневолил черты свои, совершенно исчезло. Грубое лицо его являло одну непреклонную волю.

– Слушай, молокосос, – сказал он, переменив приемы и голос, – доселе я упрашивал тебя, теперь скажу вот что: нет тебе на отъезд моего благословения. Не пущу тебя ехать. А не уймешься, завтра же заставлю своими руками злодеев царских казнить. Авось, когда сам окровавишься, бросишь быть белоручкой, перестанешь отцом гнушаться!

Побледнел Максим от речи Малюты и не отвечал ничего. Знал он, что крепко слово Григория Лукьяновича и что не переломить его отцовской воли.

– Вишь, – продолжал Малюта, – разговаривался я с тобой; скоро ночь глубокая, пора к царю, ключи от тюрьмы отнести. Вот и дождь полил! Подай мне терлик. Смотри пожалуй, какой стал прыткий! ехать хочу, не житье мне здесь! Дай ему воли – пожалуй, и меня на свой лад переиначит! Нет, брат, рано крыльшки распустил! Я и не таких, как ты, унижал! Я те научу слушаться! Эх, погода, погода! Подай мне шапку. А молонья-то, молонья! Ишь как небо раззевается! словно вся Слобода загорелась. Заволоки окно да ступай спать, авось к утру выкинешь дурь из головы. А уж

до твоего Серебряного я доберусь! Уж я ему-то припомню!

Малюта вышел. Оставшись один, Максим задумался. Все было тихо в доме; лишь на дворе гроза шумела да время от времени ветер, ворвавшись в окно, качал цепи и кандалы, висевшие на стене, и они, ударяя одна о другую, звенели зловецим железным звоном. Максим подошел к лестнице, которая вела в верхнее жильё, к его матери. Он наклонился и стал прислушиваться. Все молчало в верхнем жильё. Максим тихонько взошел по крутым ступеням и остановился перед дверью, за которою покоилась мать его.

– Господи боже мой! – сказал Максим про себя. – Ты зришь мое сердце, ведаешь мои мысли! Ты знаешь, господи, что я не по гордости моей, не по духу строптивому ослушаюсь батюшки! Прости меня, боже мой, аще преступаю твою заповедь! И ты, моя матушка, прости меня! Покидаю тебя без ведома твоего, уезжаю без благословения; знаю, матушка, что надорву тебя сердцем, но ты б не отпустила меня вольною волей! Прости меня, государыня-матушка, не увидишь ты меня боле!

Максим припал к порогу светлицы и облобызал его. Потом он несколько раз перекрестился, сошел с лестницы и вышел на двор. Дождь лил так сердито, как бы злился на весь люд божий. На дворе не было живой души. Максим вошел в конюшню, конюхи спали. Он сам вывел из стойла любимого коня и оседлал его. Большая цепная собака, прикованная у входа, вылезла из конуры и стала визжать и рваться, как бы чуя с ним разлуку. То был косматый пес из породы пастушьих волкодавов. Длинная жесткая шерсть дымчато-бурого цвета падала ему в беспорядке на черную морду, так что почти вовсе не было видно умных глаз его.

Максим погладил собаку, а она положила ему свои черные лапы на плеча и стала лизать его лицо.

– Прощай, Буян, – сказал Максим, – стереги дом наш, служи верно матери! – Он вскочил в седло, выехал в ворота и ускакал от родительского дома.

Еще не доскакал он до земляного вала, как услышал громкий лай и увидел Буяна, который прыгал вокруг коня, радуясь, что сорвал-

ся с цепи и что может сопутствовать своему господину.

ГЛАВА 11. Ночное шествие

Пока Малюта разговаривал с сыном, царь продолжал молиться. Уже пот катился с лица его; уже кровавые знаки, напечатленные на высоком челе прежними земными поклонами, яснее обозначились от новых поклонов; вдруг шорох в избе заставил его обернуться. Он увидел свою мамку, Онуфревну.

Стара была его мамка. Взял ее в Верх еще блаженной памяти великий князь Василий Иоаннович; служила она еще Елене Глинской. Иоанн родился у нее на руках; у нее же на руках благословил его умирающий отец. Говорили про Онуфревну, что многое ей известно, о чем никто и не подозревает. В малолетство царя Глинские боялись ее; Шуйские и Бельские старались всячески угождать ей.

Много сокрытого узнавала Онуфревна посредством гаданья и никогда не ошибалась. В самое величие князя Телепнева – Иоанну тогда было четыре года – она предсказала князю, что он умрет голодною смертью. Так и

сбылось. Много лет протекло с тех пор, а еще свежо было в памяти стариков это предсказанье.

Теперь Онуфьевне добивал чуть ли не десятый десяток. Она согнулась почти вдвое; кожа на лице ее так сморщилась, что стала походить на древесную кору, и как на старой коре пробивается мох, так на бороде Онуфьевны пробивались волосы седыми клочьями. Зубов у нее давно уже не было, глаза, казалось, не могли видеть, голова судорожно шаталась.

Онуфьевна опиралась костлявою рукой на клюку. Долго смотрела она на Иоанна, вбирая в себя пожелтевшие губы, как будто бы что-то жевала или бормотала.

– Что? – сказала наконец мамка глухим, дребезжащим голосом, – молишься, батюшка? Молись, молись, Иван Васильич! Много тебе еще отмаливаться! Еще б одни старые грехи лежали на душе твоей! Господь-то милостив; авось и простил бы! А то ведь у тебя что ни день, то новый грех, а иной раз и по два и по три на день придется!

– Полно, Онуфьевна, – сказал царь, вставая, – сама не знаешь, что говоришь!

– Не знаю, что говорю! Да разве я из ума выжила, что ли?

И безжизненные глаза старухи внезапно заблестали.

– Да что ты сегодня за столом сделал? За что отравил боярина-то? Ты думал, я и не знаю! Что? чего брови-то хмуришь? Вот погоди, как пробьет твой смертный час; погоди только! Уж привяжутся к тебе грехи твои, как тысячи тысяч пудов; уж потянут тебя на дно адаво! А дьяволы-то подскочат, да и подхватят тебя на крючья!

Старуха опять принялась сердито жевать.

Усердная молитва приготовила царя к мыслям набожным. Раздражительное воображение не раз уже представляло ему картину будущего возмездия, но сила воли одолевала страх загробных мучений. Иоанн уверял себя, что страх этот и даже угрызения совести возбуждаемы в нем врагом рода человеческого, чтоб отвлечь помазанника божия от высоких его начинаний. Хитростям дьявола царь противопоставил молитву; но часто изнемогал под жестоким напором воображения. Тогда отчаяние схватывало его как железными когтями.

Неправость дел его являлась во всей наготe, и страшно зияли перед ним адские бездны. Но это продолжалось недолго. Вскоре Иоанн негодовал на свое малодушие. В гневе на самого себя и на духа тьмы, он опять, назло аду и наперекор совести, начинал дело великой крови и великого поту, и никогда жестокость его не достигала такой степени, как после невольного изнеможенья.

Теперь мысль об аде, оживленная наступающею грозой и пророческим голосом Онуфьевны, проняла его насквозь лихорадочною дрожью. Он сел на постель. Зубы его застучали один о другой.

– Ну, что, батюшка? – сказала Онуфьевна, смягчая свой голос, – что с тобой случилось? Захворал, что ли? Так и есть, захворал! Напугала же я тебя! Да нужды нет, утешься, батюшка, хоть и велики грехи твои, а благость-то божия еще больше! Только покайся, да вперед не греши. Вот и я молюсь, молюсь о тебе и денно и ночью, а теперь и того боле стану молиться. Что тут говорить? Уж лучше сама в рай не попаду, да тебя отмолю!

Иоанн взглянул на свою мамку, – она как

будто улыбалась, но неприветлива была улыбка на суровом лице ее.

– Спасибо, Онуфревна, спасибо; мне легче; ступай себе с богом!

– То-то легче! Как обнадежишь тебя, куда и страх девался; уж и гнать меня вздумал: ступай, мол, с богом! А ты на долготерпение-то божие слишком не рассчитывай, батюшка. На тебя и у самого у господа терпения-то не станет. Отречется он от тебя, посмотри, а сатана-то обрадуется, да шарх! и войдет в тебя. Ну вот, опять дрожать начал! Не худо б тебе сбитеньку испить. Испей сбитеньку, батюшка! Бывало, и родитель твой на ночь сбитень пивал, царствие ему небесное! И матушка твоя, упокой господи душу ее, любила сбитень. В сбитне-то и опоили ее проклятые Шуйские!

Старуха как будто забылась. Глаза ее померкли; она опять принялась жевать губами, непрерывно шатавая головой.

Вдруг что-то застучало в окно. Иван Васильевич вздрогнул.

Старуха перекрестилась дрожащею рукой.

– Вишь, – сказала она, – дождь полил! И молонья блистать начинает! А вот и гром, ба-

тюшка, помилуй нас господи!

Гроза усиливалась все более и скоро разыгралась по небу непрерывными перекатами, беспрестанною молнией.

При каждом ударе грома Иоанн вздрагивал.

– Вишь, какой у тебя озноб, батюшка! Вот погоди маленько, я велю тебе сбитеньку заварить...

– Не надо, Онуфревна, я здоров...

– Здоров! Да на тебе лица не видать. Ты б на постелю-то лег, одеялом-то прикрылся бы. И чтой-то у тебя за постель, право! Доски голые. Охота тебе! Царское ли это дело? Ведь это хорошо монаху, а ты не монах какой!

Иоанн не отвечал. Он к чему-то прислушивался.

– Онуфревна, – сказал он вдруг с испугом, – кто там ходит в сенях? Я слышу шаги чьи-то!

– Христос с тобой, батюшка! кому теперь ходить. Послышалось тебе.

– Идет, идет кто-то! Идет сюда! Посмотри, Онуфревна!

Старуха отворила дверь, холодный ветер пахнул в избу. За дверью показался Малюта.

– Кто это? – спросил царь, вскакивая.

– Да твой рыжий пес, батюшка, – отвечала мамка, сердито глядя на Малюту, – Гришка Скуратов; вишь, как напугал, проклятый!

– Лукьяныч! – сказал царь, обрадованный приходом любимца, – добро пожаловать; откуда?

– Из тюрьмы, государь; был у розыску, ключи принес! – Малюта низко поклонился царю и покосился на мамку.

– Ключи! – проворчала старуха, – уж припекут тебя на том свете раскаленными ключами, сатана ты этакой! Ей-богу, сатана! И лицо-то дьявольское! Уж кому другому, а тебе не миновать огня вечного! Будешь, Гришка, лизать сковороды горячие за все клеветы свои! Будешь, проклятый, в смоле кипеть, помяни мое слово!

Молния осветила грозящую старуху, и страшна была она с поднятою клюкой, с сверкающими глазами.

Сам Малюта несколько струсил; но Иоанна ободрило присутствие любимца.

– Не слушай ее, Лукьяныч, – сказал он, – знай свое дело, не смотри на бабьи толки. А

ты ступай себе, старая дура, оставь нас!

Глаза Онуфьевны снова засверкали.

– Старая дура? – повторила она, – я старая дура? Вспомняете вы меня на том свете, оба вспомняете! Все твои поплечники, Ваня, все примут мзду свою, еще в сей жизни примут, и Грязной, и Басманов, и Вяземский; комуждо воздается по делам его, а этот, – продолжала она, указывая клюкою на Малюту, – этот не примет мзды своей: по его делам нет и муки на земле; его мука на дне адовом; там ему и место готово; ждут его дьяволы и радуются ему! И тебе есть там место, Ваня, великое, теплое место!

Старуха вышла, шаркая ногами и стуча клюкой. Иоанн был бледен. Малюта не говорил ни слова. Молчание продолжалось довольно долго.

– Что ж, Лукьяныч, – сказал наконец царь, – винятся Колычевы?

– Нет еще, государь. Да уж повинятся, у меня не откашляются!

Иоанн вошел в подробности допроса. Разговор о Колычевых дал его мыслям другое направление.

Ему показалось, что он может заснуть. Отослав Малюту, он лег на постель и забылся.

Его разбудил как будто внезапный толчок.

Изда слабо освещалась образными лампадами. Луч месяца, проникая сквозь низкое окно, играл на расписанных изразцах лежанки. За лежанкой кричал сверчок. Мышь грызла где-то дерево.

Среди этой тишины Ивану Васильевичу опять сделалось страшно.

Вдруг ему почудилось, что приподымается половица и смотрит из-под нее отравленный боярин.

Такие видения случались с Иоанном нередко. Он приписывал их адскому мороченью. Чтобы прогнать призрак, он перекрестился.

Но призрак не исчез, как то случилось прежде. Мертвый боярин продолжал смотреть на него исподлобья. Глаза старика были так же навывкате, лицо так же сине, как за обедом, когда он выпил присланную Иоанном чашу.

«Опять наваждение! – подумал царь, – но не поддамся я прелести сатанинской, сокру-

пу хитрость дьявольскую. Да воскреснет бог, и да расточатся врази его!»

Мертвец медленно вытянулся из-под полу и приблизился к Иоанну.

Царь хотел закричать, но не мог. В ушах его страшно звенело.

Мертвец наклонился перед Иоанном.

– Здрав буди, Иване! – произнес глухой нечеловеческий голос, – се кланяюся тебе, иже погубил еси мя безвинно!

Слова эти отозвались в самой глубине души Иоанна. Он не знал, от призрака ли их слышит или собственная его мысль выразилась осязательным для уха звуком.

Но вот приподнялась другая половица; из-под нее показалось лицо окольного Данилы Адашева, казненного Иоанном четыре года тому назад.

Адашев также вытянулся из-под полу, поклонился царю и сказал:

– Здрав буди, Иване, се кланяюся тебе, иже казнил еси мя безвинно!

За Адашевым явилась боярыня Мария, казненная вместе с детьми. Она поднялась из-под полу с пятью сыновьями. Все поклонились.

лись царю, и каждый сказал:

– Здрав буди, Иване! се кланяюся тебе!

Потом показались князь Курлятев, князь Оболенский, Никита Шереметев и другие казенные или убитые Иоанном.

Изба наполнилась мертвецами. Все они низко кланялись царю, все говорили:

– Здрав буди, здрав буди, Иване, се кланяемся тебе!

Вот поднялись монахи, старцы, инокини, все в черных ризах, все бледные и кровавые.

Вот показались воины, бывшие с царем под Казанью.

На них зияли страшные раны, но не в бою добытые, а нанесенные палачами.

Вот явились девы в растерзанной одежде и молодые жены с грудными младенцами. Дети протягивали к Иоанну окровавленные ручки и лепетали:

– Здрав буди, здрав буди, Иване, иже погубил еси нас безвинно!

Изба все более наполнялась призраками. Царь не мог уже различить воображения от действительности.

Слова призраков повторялись стократно-

ми отголосками. Отходные молитвы и панихидное пение в то же время раздавались над самыми ушами Иоанна. Волосы его стояли дыбом.

– Именем бога живого, – произнес он, – если вы бесы, насланные вражьей силою, – стиньте! Если вы вправду души казненных мною – дожидайтесь Страшного суда божия! Господь меня с вами рассудит!

Взвыли мертвецы и закружились вокруг Иоанна, как осенние листья, гонимые вихрем. Жалобнее раздалось панихидное пение, дождь опять застучал в окно, и среди шума ветра царю слышались как будто звуки труб и голос, взывающий:

– Иване, Иване! на суд, на суд!

Царь громко вскрикнул. Спальники вбежали из соседних покоев в опочивальню.

– Вставайте! – закричал царь, – кто спит теперь! Настал последний день, настал последний час! Все в церковь! Все за мною!

Царедворцы засуетились. Раздался благовест. Только что уснувшие опричники услышали знакомый звон, вскочили с полатей и спешили одеться.

Многие из них пировали у Вяземского. Они сидели за кубками и пели удалые песни. Услышав звон, они вскочили и надели черные рясы поверх богатых кафтанов, а головы накрыли высокими шляками.

Вся Слобода пришла в движение. Церковь божией матери ярко осветилась. Встревоженные жители бросились к воротам и увидели множество огней, блуждающих во дворце из покоя в покой. Потом огни образовали длинную цепь, и шествие потянулось змеею по наружным переходам, соединявшим дворец со храмом божиим.

Все опричники, одетые однолично в шляпки и черные рясы, несли смоляные свечки. Блеск их чудно играл на резных столбах и на стенных украшениях. Ветер раздувал рясы, а лунный свет вместе с огнем отражался на золоте, жемчуге и дорогих каменьях.

Впереди шел царь, одетый иноком, бил себя в грудь и взывал, громко рыдая:

– Боже, помилуй мя, грешного! Помилуй мя, смрадного пса! Помилуй мою скверную голову! Упокой, господи, души побитых мною безвинно!

У преддверия храма Иоанн упал в изнеможении.

Светочи озарили старуху, сидевшую на ступенях. Она протянула к царю дрожащую руку.

– Встань, батюшка! – сказала Онуфревна, – я помогу тебе. Давно я жду тебя. Войдем, Ваня, помолимся вместе!

Двое опричников подняли царя под руки. Он вошел в церковь.

Новые шествия, также в черных рясах, также в высоких шлыках, спешили по улицам с зажженными светочами. Храмовые врата поглощали все новых и новых опричников, и исполинские лики святых смотрели на них, негодуя, с высоты стен и глав церковных.

Среди ночи, дотоле безмолвной, раздалось пение нескольких сот голосов, и далеко слышны были звон колокольный и протяжные псалмы.

Узники в темницах вскочили, гремя цепями, и стали прислушиваться.

– Это царь заутреню служит! – сказали они. – Умягчи, боже, его сердце, вложи ми-

лость в душу его!

Маленькие дети в слободских домах, спавшие близ матерей, проснулись в испуге и подняли плач. Иная мать долго не могла унять своего ребенка.

– Молчи! – говорила она наконец, – молчи, не то Малюта услышит!

И при имени Малюты ребенок переставал плакать, в испуге прижимался к матери, и среди ночного безмолвия раздавались опять лишь псалмы опричников да непрерывный звон колокольный.

ГЛАВА 12. Клевета

Солнце взошло, но не радостное утро настало для Малюты. Возвратясь домой, он не нашел сына и догадался, что Максим навсегда бросил Слободу. Велика была ярость Григорья Лукьяныча. Во все концы поскакала погоня. Конюхов, проспавших отъезд Максима, Малюта велел тотчас вкинуть в темницу.

Нахмуря брови, стиснув зубы, ехал он по улице и раздумывал, доложить ли царю или скрыть от него бегство Максима.

Конский топот и веселая молвь слышала-

лись за его спиною. Малюта оглянулся. Царевич с Басмановым и толпою молодых удальцов возвращался с утренней прогулки. Рыхлая земля размокла от дождя, кони ступали в грязи по самые бабки. Завидев Малюту, царевич пустил своего аргамака вскачь и обрызгал грязью Григорья Лукьяновича.

– Кланяюсь тебе земно, боярин Малюта! – сказал царевич, останавливая коня. – Встретили мы тотчас твою погоню. Видно, Максиму солоно пришлось, что он от тебя тягу дал. Али ты, может, сам послал его к Москве за боярскою шапкой, да потом раздумал?

И царевич захохотал.

Малюта, по обычаю, слез с коня. Стоя с обнаженной головой, он всею ладонью стирал грязь с лица своего. Казалось, ядовитые глаза его хотели пронзить царевича.

– Да что он грязь-то стирает? – заметил Басманов, желая подслужиться царевичу, – добро на ком другом, а на нем не заметно!

Басманов говорил вполголоса, но Скуратов его услышал. Когда вся толпа, смеясь и разговаривая, ускакала за царевичем, он надел шапку, влез опять на коня и шагом поехал ко

дворцу.

«Добро! – думал он про себя, – дайте срок, государи, дайте срок!» И побледневшие губы его кривились в улыбку, и в сердце, уже раздраженное сыновним побегом, медленно созревало надежное мщение неосторожным оскорбителям.

Когда Малюта вошел во дворец, Иван Васильевич сидел один в своем покое. Лицо его было бледно, глаза горели. Черную рясу заменил он желтым становым кафтаном, стеганным полосами и подбитым голубою бахтой. Восемь шелковых завязок с длинными кистями висели вдоль разреза. Посох и колпак, украшенный большим изумрудом, лежали перед царем на столе. Ночные видения, непрерывная молитва, отсутствие сна не истощили сил Иоанновых, но лишь привели его в высшую степень раздражительности. Все испытанное ночью опять представилось ему обмороченьем дьявола. Царь стыдился своего страха.

«Враг имени Христова, – думал он, – упорно перечит мне и помогает моим злодеям. Но не дам ему надо мною тешиться! Не утрашу-

ся его наваждений! Покажу ему, что не по плечу он себе борца нашел!»

И решился царь карать по-прежнему изменников и предавать смерти злодеев своих, хотя были б их тысячи.

И стал он мыслию пробегать подданных и между ними искать предателей.

Каждый взгляд, каждое движение теперь казалось ему подозрительным.

Он припоминал разные слова своих приближенных и в словах этих искал ключа к разговорам. Самые родные не избежали его подозрений.

Малюта застал его в состоянии, похожем на лихорадочный бред.

– Государь, – сказал, помолчав, Григорий Лукьянович, – ты велишь пытать Колычевых про новых изменников. Уж положишься на меня. Я про все заставлю Колычевых с пыток рассказать. Одного только не сумею: не сумею заставить их назвать твоего наибольшего супротивника!

Царь с удивлением взглянул на любимца.

В глазах Малюты было что-то необыкновенное.

– Оно, государь, дело такое, – продолжал Скуратов, и голос его изменился, – что и глаз видит, и ухо слышит, а вымолвить язык не поворотится...

Царь смотрел на него вопрошающим оком.

– Вот ты, государь, примерно, уже много воров казнил, а измена все еще на Руси не вывелась. И еще ты столько же казнишь и вдесятеро более, а измены всё не избудешь!

Царь слушал и не догадывался.

– Оттого, государь, не избыть тебе измены, что ты рубишь у нее сучья да ветви, а ствол-то самый и с корнем стоит здоровехонек!

Царь все еще не понимал, но слушал с возрастающим любопытством.

– Видишь, государь, как бы тебе сказать. Вот, примерно, вспомни, когда ты при смерти лежал, дай бог тебе много лет здравствовать! а бояре-то на тебя, трудного, заговор затеяли. Ведь у них был тогда старшой, примерно, братец твой Володимир Андреич!

«А! – подумал царь, – так вот что значили мои ночные видения! Враг хотел помрачить разум мой, чтоб убоился я сокрушить замыслы брата. Но будет не так. Не пожалею и бра-

та!»

– Говори, – сказал он, обращаясь грозно к Малюте, – говори, что знаешь про Володимира Андреича!

– Нет, государь, моя речь теперь не про Володимира Андреича. В нем я уже того не чаю, чтобы он что-либо над тобой учинил. И бояре к нему теперь уже не мыслят. Давно перестал он подыскиваться под тобою царства. Моя речь не про него.

– Про кого же? – спросил царь с удивлением, и черты его судорожно задвигались.

– Видишь, государь: Володимир-то Андреич раздумал государство мутить, да бояре-то не раздумали. Они себе на уме; не удалось, мол, его на царство посадить, так мы посадим...

Малюта замялся.

– Кого? – спросил царь, и глаза его запылали.

Малюта позеленел.

– Государь! Не все пригоже выговаривать. Наш брат думай да гадай, а язык держи за зубами.

– Кого? – повторил Иоанн, вставая с места.

Малюта медлил ответом.

Царь схватил его за ворот обеими руками, придвинул лицо его к своему лицу и впился в него глазами.

Ноги Малюты стали подкашиваться.

– Государь, – сказал он вполголоса, – ты на него не гневайся, ведь он не сам вздумал!

– Говори! – произнес хриплым шепотом Иоанн и стиснул крепче ворот Малюты.

– Ему-то и на ум бы не взбрело, – продолжал Малюта, избегая царского взора, – ну, а должно быть, подбили его. Кто к нему поближе, тот и подбил. А он, грешный человек, подумал себе: немного позже, немного ране, все тем же кончится.

Царь начал догадываться. Он сделался бледнее. Пальцы его стали разгибаться и выпускать ворот Малюты.

Малюта оправился. Он понял, что настала пора для решительного удара.

– Государь! – сказал он вдруг резко, – не ищи измены далеко. Супротивник твой сидит супротив тебя, он пьет с тобой с одного ковша, ест с тобой с одного блюда, платье носит с одного плеча!

Замолчал Скуратов и, полный ожидания, решился устремить на царя кровавые глаза свои.

Замолчал и царь. Руки его опустились. Понял он наконец Малюту.

В это мгновение раздались на дворе радостные крики.

Еще в самое то время, как начался разговор между царем и Скуратовым, царевич с своими окольными въехал на двор, где ожидали его торговые люди черных сотен и слобод, пришедшие от Москвы с хлебом-солью и с челобитьем.

Увидев царевича, они все стали на колени.

– Чего вы просите, аршинники? – спросил небрежно царевич.

– Батюшка! – отвечали старшины, – пришли мы плакаться твоей милости! Будь нам заступником! Умилосердись над нашими головами! Разоряют нас совсем опричники, заедают и с женами и с детьми!

– Вишь, дурачье! – сказал царевич, обращаясь с усмешкой к Басманову. – Они б хотели и жен и товар про себя одних держать! Да чего вы расхныкались? Ступайте себе домой; я, по-

жалуй, попрошу батюшку за вас, дураков!

– Отец ты наш, дай бог тебе многие лета! – закричали торговые люди.

Царевич сидел на коне. Возле него был Басманов. Просители стояли перед ними на коленях. Старший держал золотое блюдо с хлебом-солью.

Малюта все видел из окна.

– Государь, – шепнул он царю, – должно быть, его подбил кто-нибудь из тех, что теперь с ним. Посмотри, вот уже народ ему на царстве здороваает!

И как чародей пугается недоброй силы, которую сам он вызвал, так Малюта испугался выражения, которое слова его вызвали на чертах Иоанна.

С лица царя исчезло все человеческое. Таким страшным никогда не видывал его Малюта.

Прошло несколько мгновений. Вдруг Иоанн улыбнулся.

– Гриша, – сказал он, положив обе руки на плеча Скуратова, – как бишь ты сейчас говорил? Я рублю сучья да ветки, а ствол-то стоит здоровешенек? Гриша, – продолжал царь,

медленно выговаривая каждое слово и смотря на Малюту с какой-то страшной доверчивостью, – берешься ли ты вырвать с корнем измену?

Злобная радость скривила рот Малюты.

– Для твоей милости берусь, – прошептал он, дрожа всем телом.

Выражение Иоанна мгновенно изменилось. Улыбка исчезла, и черты приняли холодную, непреклонную неподвижность. Лицо его казалось высеченным из мрамора.

– Не надо медлить! – сказал он отрывисто и повелительно. – Никто чтобы не знал об этом. Он сегодня будет на охоте. Сегодня же пусть найдут его в лесу. Скажут, он убился с коня. Знаешь ты Поганую Лужу?

– Знаю, государь.

– Там чтоб нашли его! – Царь указал на дверь.

Малюта вышел и в сенях вздохнул свободнее.

Царь долго оставался неподвижен. Потом он медленно подошел к образам и упал пред ними на колени.

Изю всех слуг Малютиных самый удалый и

расторопный был стремянный его Матвей Хомяк. Он никогда не уклонялся от опасности, любил буйство и наездничество и уступал в зверстве лишь своему господину. Нужно ли было поджечь деревню или подкинуть грамоту, по которой после казнили боярина, требовалось ли увести жену чью-нибудь, всегда посылали Хомяка. И Хомяк поджигал деревни, подкидывал грамоты и вместо одной жены привозил их несколько.

К Хомяку обратился и теперь Григорий Лукьянович. Что они толковали вместе, того никто не услышал. Но в это самое утро, когда гончие царевича дружно заливались в окрестностях Москвы, а внимание охотников, стоявших на лазах, было поглощено ожиданием, и каждый напрягал свое зрение, и ни один не заботился о том, что делали его товарищи, – в это время по глухому проселку скакали, удаляясь от места охоты, Хомяк и Малюта, а промеж них со связанными руками, прикрученный к седлу, скакал кто-то третий, которого лицо скрывал черный башлык, надвинутый до самого подбородка. На одном из поворотов проселка примкнули к ним двадцать

вооруженных опричников, и все вместе продолжали скакать, не говоря ни слова.

Охота меж тем шла своим чередом, и никто не заметил отсутствия царевича, исключая двух стремянных, которые теперь издыхали в овраге, пронзенные ножами.

Верст тридцать от Слободы, среди дремучего леса, было топкое и непроходимое болото, которое народ прозвал Поганую Лужей. Много чудесного рассказывали про это место. Дровосеки боялись в сумерки подходить к нему близко. Уверяли, что в летние ночи над водою прыгали и резвились огоньки, души людей, убитых разбойниками и брошенных ими в Поганую Лужу.

Даже среди белого дня болото имело вид мрачной таинственности. Большие деревья, лишенные снизу ветвей, поднимались из воды, мутной и черной. Отражаясь в ней, как в туманном зеркале, они принимали чудный вид уродливых людей и небывалых животных. Не слышно было вблизи болота человеческого голоса. Стаи диких уток прилетали иногда плескаться на его поверхности. В камыше раздавался жалобный крик водяной ку-

рочки. Черный ворон пролетал над вершинами деревьев, и зловещее карканье его повторялось отголосками. Иногда слышны были далеко-далеко стук топора, треск надрубленного дерева и глухое падение.

Но когда солнце опускалось за вершины, когда над болотом подымался прозрачный пар, стук топора умолкал, и прежние звуки заменялись новыми. Начиналось однообразное кваканье лягушек, сперва тихое и отрывистое, потом громкое, слитым хором.

Чем более сгущалась темнота, тем громче кричали гады. Голоса их составляли как бы один непрерывный и продолжительный гул, так что ухо к нему привыкало и различало сквозь него и дальний вой волков, и вопли филина. Мрак становился гуще; предметы теряли свой прежний вид и облекались в новую наружность. Вода, древесные ветви и туманные полосы сливались в одно целое. Образы и звуки смешивались вместе и ускользали от человеческого понятия. Поганая Лужа сделалась достоянием силы нечистой.

К сему-то проклятому месту, но не в темную ночь, а в утро солнечное, Малюта и

опричники его направляли бег свой.

В то самое время, как они торопились и погоняли коней, другие молодцы, недоброго вида, собирались в дремучем лесу недалеко от Поганой Лужи.

ГЛАВА 13. Ванюха Перстень и его товарищи

На широкой поляне, окруженной древними дубами и непроходимым ломом, стояло несколько земляных куреней; а между ними на опрокинутых пнях, на вывороченных корнях, на кучах сена и сухих листьев лежало и сидело множество людей разных возрастов, в разных одеждах. Вооруженные молодцы беспрестанно выходили из глубины леса и присоединялись к товарищам. Много было между ними разнообразия. Сермяги, ферязи и зипуны, иные в лохмотьях, другие блестящие золотом, виднелись сквозь ветви деревьев. У иных молодцов были привешены к бедрам сабли, другие мотали в руках кистени или опирались на широкие бердыши. Немало было тут рубцов, морщин, всклоченных голов и бород нечесаных.

Удалое товарищество разделилось на разные кружки. В самой середине поляны варили кашу и жарили на прутьях говядину. Над трескучим огнем висели котлы; дым отделялся сизым облаком от зеленого мрака, окружавшего поляну как бы плотной стеной. Кашевары покашливали, терли себе глаза и отворачивались от дыму.

Немного подалее старик, с седою кудрявою головой, с длинною бородой, рассказывал молодежи какую-то сказку. Он говорил стоя и опершись на топор, насаженный на длинную палку. В этом положении старику было ловчее рассказывать, чем сидя. Он мог и выпрямиться, и обернуться во все стороны, и в приличном месте взмахнуть топором, и при свистнуть по-молодецки. Ребята слушали его с истинным наслаждением. Они уши поразвесили и рты пораззевали. Кто присел на землю, кто взобрался на сучок, кто просто расставил ноги и выпучил глаза; но большая часть лежала на животах, упершись локтями оземь, а подбородком о ладони: оно-де сподручнее.

Далее двое молодцов тузили друг друга по

голове кулаками. Игра состояла в том, что кто-де из нас первый попросит пощады. И ни одному не хотелось просить ее. Уже оба противника побагровели, как две свеклы, но дюжие кулаки не переставали стучать о головы, словно молоты о наковальни.

– Эй, не будет ли с тебя, Хлопко? – спросил тот, который казался послабее.

– Небось, брат Андрюшка! когда будет, скажу. А вот тебе так сейчас плохо придется!

И кулаки продолжали стучать.

– Смотрите, братцы, вот Андрюшка тотчас свалится, – говорили зрители.

– Нет, не свалится! – отвечали другие. – Зачем ему свалиться, у него голова здорова!

– А вот увидишь, свалится!

Но Андрюшке и подлинно не хотелось свалиться. Он изловчился и, вместо чтобы ударить противника по макушке, хватил его кулаком в висок.

Хлопко опрокинулся.

Многие из зрителей захохотали, но большая часть изъявила негодование.

– Не честно! не честно! – закричали они. – Андрюшка слукавил! Отодрать Андрюшку!

И Андрюшку тотчас же отодрали.

– Откуда молодцов бог несет? – спросил старый сказочник у нескольких парней, которые подошли к огню и робко озирались во все стороны.

Их привел ражий детина с широким ножом за поясом; на парнях не было оружия, они казались новичками.

– Слышь, вы, соколики! – сказал, обращаясь к ним, ражий детина, – дедушка Коршун спрашивает, откуда вас бог принес? Отвечайте дедушке!

– Да оно, тово, вот как будет. Я-то из-под Москвы! – отвечал один из парней, немного запинаясь.

– А зачем из гнездышка вылетел? – спросил Коршун, – нешто морозомхватило али чересчур жарко стало?

– Стало быть, жарко! – отвечал парень. – Как опричники избу-то запалили, так сперва стало жарко, а как сгорела-то изба, так и морозомхватило на дворе!

– Вот оно как. Ты парень не глупый. Ну, а ты чего пришел?

– А родни искать!

Разбойники захохотали.

– Вишь, что выдумал! Какой тебе родни?

– Да как убили опричники матушку да ба-
тюшку, сестер да братьев, скучно стало одно-
му на свете; думаю себе: пойду к добрым лю-
дям; они меня накормят, напоят, будут мне
братьями да отцами! Встретил в кружале вот
этого молодца, догадался, что он ваш, да и по-
просил взять с собою.

– Добрый ты парень! – сказали разбойни-
ки, – садись с нами, хлеб да соль, мы тебе бу-
дем братьями!

– А этот чего стоит, повеся нос, словно
несолоно хлебал? Эй ты, плакса, что губы на-
дул? Откуда ты?

– С-под Коломны! – отвечал, лениво воро-
чая языком, дюжий молодой парень, стояв-
ший с печальным видом позади других.

– Что ж, и тебя опричники обидели, что
ли?

– Нявесту взяли! – отвечал парень нехотя и
протяжно.

– А ну-ка, расскажи!

– Да что тут рассказывать! Наехали, да и
взяли!

– Ну, а потом?

– Что ж, потом? Потом ничаво!

– Зачем же ты не отбил невесты?

– Где ж ее было отбивать? Как наехали, так и взяли.

– А ты на них так и смотрел, разиня рот?

– Нет, опосля, как удрали-то, так уж так осерчал, что боже сохрани.

Разбойники опять захохотали.

– Да ты, брат, видно, тяжел на подъем!

Парень скроил глупое лицо и не отвечал.

– Эй ты, пареная репа! – сказал один разбойник, – взяли у тебя невесту, так из-за этого еще нечего киснуть! другую найдешь!

Парень смотрел, разиня рот, и не говорил ни слова.

Лицо его разбойникам показалось забавным.

– Слышь ты, с тобой говорят! – сказал один из них, толкая его под бок.

Парень молчал.

Разбойник толкнул его крепче.

Парень посмотрел на него так глупо, что все опять принялись хохотать.

Несколько человек подошли к нему и ста-

ли толкать его. Парень не знал, сердиться ли ему или нет; но один толчок сильнее других вывел его из сонного хладнокровия.

– Полно вам пхаться! – сказал он, – что я вам, куль муки, что ль, дался? Перестаньте, осерчаю!

Разбойники пуще стали смеяться.

Парню и в самом деле хотелось рассердиться, только лень и природная сонливость превозмогали его гнев. Ему казалось, что не стоит сердиться из-за безделицы, а важной-то причины не было!

– Серчай же, дурень! – сказали разбойники, – что ж ты не серчаешь?

– А ну-тка, толкните-ка ящю!

– Вишь, какой лакомый! На, вот тебе!

– А ну-тка крепчае!

– Вот тебе!

– Ну тяперь держитесь! – сказал парень, рассердясь наконец не на шутку.

Он засучил рукава, плюнул в кулаки и принялся катать правого и виноватого. Разбойники не ожидали такого нападения. Те, которые были поближе, в один миг опрокинулись и сшибли с ног товарищей. Вся ватага

отхлынула к огню; котел упал, и щи разлились на уголья.

– Тише, ты, тише, сатана! Чего расходился! Говорят тебе, тише! – кричали разбойники.

Но парень уже ничего не слышал. Он продолжал махать кулаками вправо и влево и каждым ударом сшибал по разбойнику, а иногда и по два.

– Вишь, медведь! – говорили те, которые успевали отскочить в сторону.

Наконец парень образумился. Он перестал драться и остановился посреди опрокинутых и разбитых горшков, почесывая затылок, как будто желая сказать: «Что ж это я, в самом деле, наделал!»

– Ну, брат, – сказали разбойники, поднимаясь на ноги и потирая ребра, – кабы ты тогда в пору осерчал, не отбили бы у тебя невесты! Вишь, какой Илья Муромец!

– Да как тебя зовут, молодца? – спросил старый разбойник.

– А Митькою!

– Ну Митька! Ай да Митька!

– Вот уж Митька!

– Ребята! – сказал, подбегая к ним, один мо-

лодец, – атаман опять начал рассказывать про свое житье на Волге. Все бросили и песни петь, и сказки слушать, сидят вокруг атамана. Пойдем поскорее, а то места не найдем!

– Пойдем, пойдем слушать атамана! – раздалось между разбойниками.

На срубленном пне, под тенью огромного дуба, сидел широкоплечий детина среднего роста, в богатом зипуне, шитом золотом. Голову его покрывала мисюрка, или железная круглая шапка, вроде тафьи, называвшаяся также и наплешником. К шапке приделана была бармица, или стальная кольчатая сеть, защищавшая от сабельных ударов затылок, шею и уши. Широкоплечий детина держал в руке чекан, молот, заостренный с задней стороны и насаженный на топорище. В этом убранстве трудно было бы узнать старого нашего знакомца, Ванюху Перстня. Глаза его бегали во все стороны. Из-под коротких черных усов сверкали зубы столь ослепительной белизны, что они, казалось, освещали все лицо его.

Разбойники молчали и слушали.

– Так вот, братцы, – говорил Перстень, – это

еще не диковина, остановить обоз или боярина ограбить, когда вас десятеро на одного. А вот была бы диковина, кабы один остановил да ограбил человек пятьдесят или боле!

– Эх, хватил! – отозвались разбойники, – малого захотел! Небось ты остановишь!

– Моя речь не про меня, а знаю я молодца, что и один обозы останавливал!

– Уж не опять ли твой волжский богатырь!

– Да не кто другой. Вот, примерно, тянулось раз судишко на бичеве из-под Астрахани вверх по матушке-Волге. На судишке-то народу было немало: всё купцы молодцы с пищалями, с саблями, кафтаны нараспашку, шапки набекрень, не хуже нашего брата. А грузу-то: золота, каменьев самоцветных, жемчугу, вещиц астраханских и всякой дряни; еще, али полно! Берег-то высокий, бичевник-то узенький, а среди Волги остров: скала голая, да супротив течения, словно ножом угол вышел, такой острый, что боже упаси.

Вот проведал мой молодец, с чем бог несет судно. Не сказал никому ни слова, пошел с утра, засел в кусты, в ус не дует. Проходит час, проходит другой, идут, понатужившись, ля-

мочники, человек двенадцать, один за другим, налегли на ремни, да и кряхтят, высунув языки. Судишко-то, видно, не легонько, да и быстрина-то народу не под силу!

Вот мой молодец и прожди, чтоб они скалу-то остру миновали саженой на полсотни. Да как выскочит из-за кустов, да как хватит саблей поперек бичевы, так и перерубил пополам, а лямочники-то как шли, сердечные, так и шлепнулись оземь носами. Тут он кого кистенем, кого кулаком, а кто вскочил да давай бог ноги! Понесло судно назад по течению, прямо на скалу. Всполошились купцы, никто и стрелять не думает, думают только, как бы миновать угол, чтобы судна-то не разбить! А мой молодец одной рукой поймай бичеву, а другой ухватись за дерево, да и останови судно:

«Эй вы, аршинники, купцы! удалые молодцы! Бросайте в воду сабли да пищали, честью прошу, не то бичеву пуцу, так вас и с грузом поминай как звали!»

Купцы навели было на богатыря стволики, да тотчас и опустили; думают: как же это? убьем его, так некому и бичевы подержать!

Нечего делать, побросали оружие в воду, да только не всё, думают, как взойдешь, молодец, на палубу грабить судно, так мы тут тебе и карачун! Да мой богатырь не промах.

«Добро, говорит, купчики голубчики, пошло оружие ко дну, ступайте ж и вы, куда кому угодно! А сказать другими словами: прыгайте с судна вниз головами!»

Они было замялись, а он, ребяташки, зацепил бичеву за дерево, схватил пицаль, да и пустил по ним пулю.

Тут все, сколько ни было их, попрыгали в воду, словно лягушки.

А он кричит:

«Не плыть сюда, приставай к тому берегу, не то всех, как уток, перестреляю!»

Что, ребята, каков богатырь?

– Молодец! – сказали разбойники, – вот уж подлинно молодец! Да что ж он с судном-то сделал?

– С судном-то? А намотал на руку бичеву, словно нитку с бумажным змеем, да и вытащил судно на мель.

– Да что ж, он ростом с Полкана, что ли?

– Нет, не с Полкана. Ростом-то он не боле

мово, да плечики будут поширше!

– Шире твоих! Что ж это, на что ж он похож выходит!

– Да похож на молодца: голова кудластая, борода черная, сутуловат маленько, лицо плоское, да зато глаза посмотреть – страх!

– Воля твоя, атаман, ты про него говоришь, как про чудо какое, а нам что-то не верится. Уж молодцеватее тебя мы не видывали!

– Не видывали лучше меня! Да что вы, дураки, видели! Да знаете ли, – продолжал Перстень с жаром, – знаете ли, что я перед ним ничего! Дрянь, просто дрянь, да и только!

– Да как же зовут твоего богатыря?

– Зовут его, братцы, Ермаком Тимофеичем!

– Вишь, какое имя! Что ж, он один, что ли, без шайки промышляет?

– Нет, не один. Есть у него шайка добрая, есть и верные есаулики. Только разгневался на них царь православный. Послал на Волгу дружину свою разбить их, голубчиков, а одному есаулику, Ивану Кольцу, головушку велел отсечь да к Москве привезти.

– Что ж, поймали его?

– Поймали было царские люди Кольцо,

только проскользнуло оно у них промеж пальцев, да и покатилося по белу свету. Где оно теперь, сердечное, бог весть, только, я чаю, скоро опять на Волгу перекатится! Кто раз побывал на Волге, тому не ужиться на другой сторонушке!

Замолчал атаман и задумался.

Задумались и разбойники. Опустили они буйные головы на груди могучие и поглаживали молча усы длинные и бороды широкие. О чем думали удальцы разудалые, сидя на поляне, среди леса дремучего? О молодости ли своей погибшей, когда были еще честными воинами и мирными поселянами? О матушке ли Волге серебряной? или о дивном богатыре, про которого рассказывал Перстень? или думали они о хоромах высоких среди поля чистого, о двух столбиках с перекладиной, о которых в минуту грусти думала в то время всякая лихая, забубенная голова?

– Атаман! – вскричал один разбойник, подбегая к Перстню и весь запыхавшись, – верст пять отсюда, по Рязанской дороге едут человек двадцать вершников с богатым оружием, все в золоченых кафтанах! Аргамаки и бахма-

ты под ними рублей во сто каждый или боле!

– Куда едут? – спросил Перстень, вскакивая.

– Вот только что поворотили к Поганой Луже. Я как увидел, так напрямик сюда и прибежал болотом да лесом.

– Ну, ребята, – вскричал Перстень, – полно бобы на печи разводить! двадцать человек чтобы шли за мной!

– Ты, Коршун, – продолжал он, обращаясь к старому разбойнику, – возьми двадцать других, да засядьте у кривого дуба, отрежьте им дорогу, коли мы, неравно, опоздаем. Ну, живо за сабли!

Перстень взмахнул чеканом и сверкнул очами. Он походил на грозного полководца среди послушного войска.

Прежнее свободное обращение разбойников исчезло и уступило место безусловной покорности.

В один миг сорок станичников отошли от толпы и разделились на два отряда.

– Эй, Митька! – сказал Коршун молодому парню из-под Коломны, – на тебе посошок, ступай с нами, да понатужься, авось осерча-

ешь!

Митька скроил глупую рожу, взял хладнокровно из рук старика огромную дубину, взвалил ее на плеча и пошел, переваливаясь, за своим отрядом ко кривому дубу.

Другой отряд, предводимый Перстнем, поспешил к Поганой Луже, на переём неизвестным всадникам.

ГЛАВА 14. Оплеуха

В то самое время, как Малюта и Хомяк, сопровождаемые отрядом опричников, везли незнакомца к Поганой Луже, Серебряный сидел в дружеской беседе с Годуновым за столом, уставленным кубками.

– Скажи, Борис Федорыч, – говорил Серебряный, – что случилось с царем сею ночью? с чего поднялась вся Слобода на полунощницу? Аль то у вас часто бывает?

Годунов пожал плечами.

– Великий государь наш, – сказал он, – часто жалеет и плачет о своих злодеях и часто молится за их души. А что он созвал нас на молитву ночью, тому дивиться нечего. Сам Василий Великий во втором послании к Гри-

горию Назианзину говорит: что другим утро, то трудящимся в благочестии полунощь. Среди ночной тишины, когда ни очи, ни уши не допускают в сердце вредительного, пристойно уму человеческому пребывать с богом!

– Борис Федорыч! Случалось мне видеть и прежде, как царь молился; оно было не так. Все теперь стало иначе. И опричнины я в толк не возьму. Это не монахи, а разбойники. Немного дней, как я на Москву вернулся, а столько неистовых дел наслышался и насмотрелся, что и поверить трудно. Должно быть, обошли государя. Вот ты, Борис Федорыч, близок к нему, он любит тебя, что б тебе сказать ему про опричнину?

Годунов улыбнулся простоте Серебряного.

– Царь милостив ко всем, – сказал он с приторным смирением, – и меня жалует не по заслугам. Не мне судить о делах государских, не мне царю указывать. А опричнину понять нетрудно: вся земля государева, все мы под его высокою рукою; что возьмет государь на свой обиход, то и его, а что нам оставит, то наше; кому велит быть около себя, те к нему близко, а кому не велит, те далеко. Вот и вся

опричина.

– Так, Борис Федорыч, когда ты говоришь, оно выходит гладко, а на деле не то. Опричники губят и насилуют земщину хуже татар. Нет на них никакого суда. Вся земля от них гибнет! Ты бы сказал царю. Он бы тебе поверил!

– Князь Никита Романыч, много есть зла на свете. Не потому люди губят людей, что одни опричники, другие земские, а потому, что и те и другие люди! Положим, я бы сказал царю; что ж из того выйдет? Все на меня подымутся, и сам царь на меня ж опалится!..

– Что ж? Пусть опалится, а ты сделал по совести, сказал ему правду!

– Никита Романыч! Правду сказать недолго, да говорить-то надо умеючи. Кабы стал я перечить царю, давно бы меня здесь не было, а не было б меня здесь, кто б тебя вчера от плахи спас?

– Что дело, то дело, Борис Федорыч, дай бог тебе здоровья, пропал бы я без тебя!

Годунов подумал, что убедил князя.

– Видишь ли, Никита Романыч, – продолжал он, – хорошо стоять за правду, да один в поле не воевода. Что б ты сделал, кабы, при-

мерно, сорок воров стали при тебе резать безвинного?

– Что б сделал? А хватил бы саблю по всем по сорока и стал бы крошить их, доколе б души богу не отдал!

Годунов посмотрел на него с удивлением.

– И отдал бы душу, Никита Романыч, – сказал он, – на пятом, много на десятом воре; а достальные все-таки б зарезали безвинного. Нет; лучше не трогать их, князь; а как станут они обдирать убитого, тогда крикнуть, что Степка-де взял на себя более Мишки, так они и сами друг друга перережут!

Серебряному был такой ответ не по сердцу. Годунов заметил это и переменял разговор.

– Вишь, – сказал он, глядя в окно, – кто это сюда скачет, сломя шею? Смотри, князь, никак, твой стремянный?

– Вряд ли! – отвечал Серебряный, – он отпросился у меня сегодня верст за двадцать на богомолье...

Но, взглядевшись пристальнее во всадника, князь в самом деле узнал Михеича. Старик был бледен как смерть. Седла под ним не было; казалось, он вскочил на первого коня, по-

павшегося под руку, а теперь, вопреки приличию, влетел на двор, под самые красные окна.

– Батюшка Никита Романыч! – кричал он еще издали, – ты пьешь, ешь, прохлаждаешься, а кручинушки-то не ведаешь? Сейчас встрел я, вон за церковью, Малюту Скуратова да Хомяка; оба верхом, а промеж них, руки связаны, кто бы ты думал? Сам царевич! сам царевич, князь! Надели они на него черный башлык, проклятые, только ветром-то сдуло башлык, я и узнал царевича! Посмотрел он на меня, словно помощи просит, а Малюта, тетка его подкурятина, подскочил, да опять и нахлобучил ему башлык на лицо!

Серебряный вспрянул с места.

– Слышишь, слышишь, Борис Федорыч! – вскричал он, сверкая глазами. – Али ждать еще, чтоб воры перессорились меж собой! – И он бросился с крыльца.

– Давай коня! – крикнул он, вырывая узду из рук Михеича.

– Да это, – сказал Михеич, – конь-то не по тебе, батюшка, это конь плохой, да и седла-то на нем нетути... да и как же тебе на таком коне к царю ехать?...

Но князь уже вскочил и полетел не к царю, а в погоню за Малютой...

Есть старинная песня, может быть, современная Иоанну, которая описывает по-своему приводимое здесь событие:

*Когда зачиналась каменна
Москва,
Зачинался царь Иван, государь Ва-
сильевич.
Как ходил он под Казань-город,
Под Казань-город, под Астрахань;
Он Казань-город мимоходом взял,
Полонил царя и с царицею;
Выводил измену из Пскова,
Из Пскова и из Новгорода.*

*Как бы вывести измену из камен-
ной Москвы!
Что возговорит Малюта, злодей
Скурлатович:
«Ах ты гой еси, царь Иван Васи-
льевич!
Не вывести тебе изменушки дове-
ку!
Сидит супротивник супротив те-
бя,
Ест с тобой с одного блюда,*

Пьет с тобой с одного ковша,
Платье носит с одного плеча!»
И тут царь догадается,
На царевича осердится.

«Ах вы гой еси, князья и бояре!
Вы берите царевича под белы ру-
ки,
Надевайте на него платье черное,
Поведите его на то болото жид-
кое,
На тое ли Лужу Поганую,
Вы предайте его скорой смерти!»
Все бояре разбежались,
Один остался Малюта-злодей,
Он брал царевича за белы руки,
Надевал на него платье черное,
Повел на болото жидкое,
Что на ту ли Лужу Поганую.

Проведал слуга Никиты Романы-
ча,
Садился на лошадь водовозную,
Скоро скакал к Никите Романы-
чу:
«Гой еси, батюшка Никита Рома-
ныч!
Ты пьешь, ешь, прохлаждаешься,

*Над собой кручинушки не ведаешь!
Упадает звезда поднебесная,
Угасает свеча воску ярого,
Не становится млада царевича!»*

*Никита Романыч испугается,
Садится на лошадь водовозную,
Скоро скачет на болото жидкое,
Что на ту ли Лужу Поганую.
Он ударил Малюту по щеке:
«Ты, Малюта, Малюта Скурлато-
вич!
Не за свой ты кус принимаешься,
Ты этим кусом подавишься!..»*

Песня эта, может быть и несходная с действительными событиями, согласна, однако, с духом того века. Не полно и не ясно доходили до народа известия о том, что случалось при царском дворе или в кругу царских приближенных, но в то время, когда сословия еще не были разъединены правами и не жили врозь одно другого, известия эти, даже искаженные, не выходили из границ правдоподобия и носили на себе печать общей жизни и общих понятий.

Таков ли ты был, князь Никита Романо-

вич, каким воображаю тебя, – про то знают лишь стены кремлевские да древние дубы подмосковные! Но таким ты предстал мне в час тихого мечтания, в вечерний час, когда поля покрывались мраком, вдали замирал шум хлопотливого дня, а вблизи все было безмолвно, и лишь ветер шелестил в листьях, и лишь жук вечерний пролетал мимо. И грустно и больно сказывалась во мне любовь к родине, и ясно выступала из тумана наша горестная и славная старина, как будто взамен зрения, заграждаемого темнотою, открывалось во мне внутреннее око, которому столетия не составляли преграды. Таким предстал ты мне, Никита Романович, и ясно увидел я тебя, летящего на коне в погоню за Малютой, и перенесся я в твое страшное время, где не было ничего невозможного!

Забыл Серебряный, что он без сабли и пистолей, и не было ему нужды, что конь под ним стар. А был то добрый конь в свое время; прослужил он лет двадцать и на войне и в походах; только не выслужил себе покою на старости; выслужил упряжь водовозную, сено гнилое да удары палочные!

Теперь почувал он на себе седока могучего и вспомнил о прежних днях, когда носил богатырей в грозные сечи, и кормили его отборным зерном, и поили медвяною сытой. И раздул он красные ноздри, и вытянул шею, и летит в погоню за Малютой Скуратовым.

Скачет Малюта во дремучем лесу с своими опричниками. Он торопит их к Поганой Луже, поправляет башлык на царевиче, чтоб не узнали опричники, кого везут на смерть. Кабы узнали они, отступились бы от Малюты, схоронились бы больший за меньшего. Но думают опричники, что скачет простой человек меж Хомяка и Малюты, и только дивятся, что везут его казнить так далеко.

Торопит Малюта опричников, серчает на коней, бьет их плетью по крутым бедрам.

– Ах вы волчья сыть, травяные мешки! Не одумался бы царь, не послал бы за нами погони!

Скачет злодей Малюта во дремучем лесу, смотрят на него пташки, вытянув шейки, летят над ним черные вороны – уже близко Поганая Лужа!

– Эй, – говорит Малюта Хомяку, – никак,

стучат за нами чужие подковы?

– Нет, – отвечает Хомяк, – то от наших коней топот в лесу раздается.

И пуще торопит Малюта опричников, и чаще бьет коней по крутым бедрам.

– Эй, – говорит он Хомяку, – никак, кто-то кричит за нами?

– Нет, – отвечает Хомяк, – то нашу молвь отголоски разносят.

И сердает Малюта на коней.

– Ах вы волчья сыть, травяные мешки! Ой, не было б за нами погони!

Вдруг слышит Малюта за собою:

– Стой, Григорий Лукьяныч!

Серебряный был у Скуратова за плечами. Не выдал его старый конь водовозный.

– Стой, Малюта! – повторил Серебряный и, нагнав Скуратова, ударил его в щеку рукою могучею.

Силен был удар Никиты Романовича. Раздалася пощечина, словно выстрел пищальный; загудел сыр-бор, посыпались листья; бросились звери со всех ног в чащу; вылетели из дупел пучеглазые совы; а мужики, далеко оттоле дравшие лыки, посмотрели друг на

друга и сказали, дивясь:

– Слышь, как треснуло! Уж не старый ли дуб надломился над Поганою Лужей?

Малюта свалился с седла. Бедный старый конь Никиты Романовича споткнулся, покатился и испустил дух.

– Малюта! – вскричал князь, вскочив на ноги, – не за свой ты кус принимаешься! Ты этим кусом подавишься!

И, вырвав из ножен саблю Малюты, он замахнулся разрубить ему череп.

Внезапно другая сабля свистнула над головою князя. Матвей Хомяк прилетел господину на помощь. Завязался бой меж Хомяком и Серебряным. Опричники напали с голыми саблями на князя, но деревья и лом защитили Никиту Романовича, не дали всем вдруг окружить его.

«Вот, – думал князь, отбивая удары, – придется живот положить, не спася царевича! Кабы дал бог хоть с полчаса подержаться, авось подоспела бы откуда-нибудь подмога!»

И лишь только он подумал, как пронзительный свист раздался в лесу; ему отвечали громкие окрики. Один опричник, уже занес-

ший саблю на князя, упал с раздробленною головой, а над трупом его явился Ванюха Перстень, махая окровавленным чеканом. В тот же миг разбойники, как стая волков, бросились на Малютиных слуг, и пошла между ними рукопашная. Хотел бы Малюта со своими дать дружный напуск на врагов, да негде было разогнаться, все пришел лес да валежник. Многие легли на месте; но другие скоро оправились. Крикнули: гой-да! и потоптали удалую вольницу. Сам Перстень, раненный в руку, уже слабее разил чеканом, как новый свист раздался в лесу.

– Стойте дружно, ребята! – закричал Перстень, – то дедушка Коршун идет на прибавку!

И не успел он кончить речи, как Коршун со своим отрядом ударил на опричников, и зачался меж ними бой великий, свальный, самый красный.

Трудно было всадникам стоять в лесу против пеших. Кони вздымались на дыбы, падали навзничь, давили под собой седоков. Опричники отчаялись насмерть. Сабля Хомяка свистела, как вихорь, над головой его свер-

кала молния.

Вдруг среди общей свалки сделалось колебанье. Дюжий Митька буравил толпу и лез прямо на Хомяка, валяя без разбору и чужих и своих. Митька узнал похитителя невесты. Подняв обеими руками дубину, он грянул ею в своего недруга. Хомяк отшатнулся, удар пал в конскую голову, конь покатился мертвый, дубина переломилась.

– погоди! – сказал Митька, наваливаясь на Хомяка, – ты теперь не уйдешь!

Кончилась битва. Не с кем было более драться, все опричники легли мертвые, один Малюта спасся на лихом аргамаке.

Стали разбойники считать своих и многих недосчитались. Было и между ними довольно урону.

– Вот, – сказал Перстень, подходя к Серебряному и стирая пот с лица, – вот, боярин, где довелось свидеться!

Серебряный, с первым появлением разбойников, бросился к царевичу и отвел его коня в сторону; царевич был привязан к седлу. Серебряный саблею разрезал веревки, помог царевичу сойти и снял платок, которым рот его

был завязан. Во все время сечи князь от него не отходил и заслонял его собою.

– Царевич, – сказал он, видя, что станичники уже принялись грабить мертвых и ловить разбежавшихся коней, – битва кончена, все твои злодеи полегли, один Малюта ушел, да я чаю, и ему несдобровать, когда царь велит сыскать его!

При имени царевича Перстень отступил назад.

– Как? – сказал он, – это сам царевич? Сын государев? Так вот за кого бог привел постоять! Так вот кого они, собаки, связамши везли!

И атаман повалился Иоанну Иоанновичу в ноги.

Весть о его присутствии быстро разнеслась меж разбойников. Все бросили выворачивать карманы убитых и пришли бить челом царевичу.

– Спасибо вам, добрые люди! – сказал он ласково, без обычного своего высокомерия, – кто б вы ни были, спасибо вам!

– Не на чем, государь! – отвечал Перстень. – Кабы знал я, что это тебя везут, я бы

привел с собою не сорок молодцов, а сотенки две; тогда не удрал бы от нас этот Скурлатыч; взяли б мы его живьем да при тебе бы вздернули. Впрочем, есть у нас, кажись, его стреманный; он же мне старый знакомый, а на безрыбье и рак рыба. Эй, молодец, у тебя он, что ли?

– У меня! – отвечал Митька, лежа на животе и не выпуская из-под себя своей жертвы.

– Давай его сюда, небось не уйдет! А вы, ребяташки, разложите-ка огоньку для допросу да приготовьте веревку, аль, пожалуй, хоть чумбур отрежь.

Митька встал. Из-под него поднялся здоровый детина; но лишь только он обернулся лицом к разбойникам, все вскрикнули от удивления.

– Хлопко! – раздалось отовсюду, – да это Хлопко! это он Хлопка притиснул вместо опричника.

Митька смотрел, разиня рот.

Хлопко насилиу дышал.

– Ишь, – проговорил наконец Митька, – так это я, должно быть, тебя придавил! Чаво ж ты молчал?

– Где ж мне было говорить, коли ты у меня на горле сидел, тюлень этакий! Тьфу!

– Да чаво ж ты подвернулся?

– Чаво! чаво! Как ты, медведь, треснул коня по лбу, так седок-то на меня и свалился, а ты, болван, вместо чтобы на него, да на меня и сел, да и давай душить сдуру, знай обрадовался!

– Ишь! – сказал Митька, – вот што! – и почесал затылок.

Разбойники захохотали. Сам царевич улыбнулся. Хомяка нигде не могли найти.

– Нечего делать, – сказал Перстень, – видно, не доспел ему час, а жаль, право! Ну, так и быть, даст бог, в другой раз не свернется! А теперь дозвожь, государь, я тебя с ребятами до дороги провожу. Совестно мне, государь! Не приходилось бы мне, худому человеку, и говорить с твоею милостью, да что ж делать, без меня тебе отселе не выбратся!

– Ну, ребята, – продолжал Перстень, – соберайтесь оберегать его царскую милость. Вот ты, боярин, – сказал он, обращаясь к Серебряному, – ты бы сел на этого коня, а я себе, пожалуй, вот этого возьму. Тебе, дядя Коршун, я

чай, пешему будет сподручнее, а тебе, Митька, и подавно!

– Ништо! – сказал Митька, ухватясь за гриву одного коня, который от этого покачнулся на сторону, – и я сяду!

Он занес ногу в стремя, но, не могши попасть в него, взвалился на коня животом, проехал так несколько сажень рысью и наконец уже взобрался на седло.

– Эхва! – закричал он, болтая ногами и подкидывая локти.

Вся толпа двинулась из лесу, окружая царевича. Когда показалось наконец поле, а вдаль запестрела крыша Александровой слободы, Перстень остановился.

– Государь, – сказал он, соскакивая с коня, – вот твоя дорога, вон и Слобода видна. Не пристало нам доле с твоею царскою милостью оставаться. К тому ж там пыль по дороге встает; должно быть, идут ратные люди. Прости, государь, не взыщи; поневоле бог свел!

– погоди, молодец! – сказал царевич, который, по миновании опасности, начал возвращаться к своим прежним приемам. – погоди, молодец! Скажи-ка наперед, какого ты бояр-

ского рода, что золоченый зипун носишь?

– Государь, – ответил скромно Перстень, – много нас здесь бояр без имени-прозвища, много князей без роду-племени. Носим что бог послал!

– А знаешь ли, – продолжал строго царевич, – что таким князьям, как ты, высокие хоромы на площади ставят и что ты сам своего зипуна не стоишь? Не сослужи ты мне службы сегодня, я велел бы тем ратникам всех вас перехватать да к Слободе привести. Но ради сегодняшнего дела я твое прежнее воровство на милость кладу и батюшке-царю за тебя слово замолвлю, коли ты ему повинную принесешь!

– Спасибо на твоей ласке, государь, много тебе благодарствую; только не пришло еще мне время нести царю повинную. Тяжелы мои грехи перед богом, велики виновности перед государем; вряд ли простит меня батюшка-царь, а хоча бы и простил, так не придется бросать товарищей!

– Как? – сказал удивленный царевич, – ты не хочешь оставить воровства своего, когда я сам тебе мой упрямый обещаю? Видно, гра-

бить-то по дорогам прибыльнее, чем честно жить?

Перстень погладил черную бороду и лукавою усмешкой выказал два ряда ровных и белых зубов, от которых загорелое лицо его показалось еще смуглее.

– Государь! – сказал он, – на то щука в море, чтобы карась не дремал! Не привычен я ни к ратному строю, ни к торговому делу. Прости, государь; вон уж пыль сюда подвигается; пора назад; рыба ищет где глубже, а наш брат – где место покрепче!

И Перстень исчез в кустах, уводя за собою коня. Разбойники один за другим пропали меж деревьев, а царевич сам-друг с Серебряным поехали к Слободе и вскоре встретились с отрядом конницы, которую вел Борис Годунов.

Что делал царь во все это время? Послушаем, что говорит песня и как она выражает народные понятия того века.

*Что возговорит грозный царь:
«Ах вы гой еси, князья мои и бояре!
Надевайте платье черное,*

*Собирайтесь ко заутрене,
Слушать по царевиче панихиду,
Я всех вас, бояре, в котле сварю!»*

*Все бояре испугались,
Надевали платье черное,
Собирались ко заутрене,
Слушать по царевиче панихиду.
Приехал Никита Романович,
Нарядился в платье цветное,
Привел с собой млада царевича
И поставил за дверьми северны.*

*Что возговорит грозный царь:
«Ах ты гой еси, Никита Романо-
вич!
Что в глаза ль ты мне насмеха-
ешься?
Как упала звезда поднебесная,
Что угасла свеча воску ярого,
Не стало у меня млада царевича».*

*Что возговорит Никита Романо-
вич:
«Ах ты гой еси, надёжа, право-
славный царь!
Мы не станем по царевиче пани-
хиду петь,*

*А станем мы петь молебен за-
здравный!»*

*Он брал царевича за белу руку,
Выводил из-за северных дверей.*

*Что возговорит грозный царь:
«Ты, Никита, Никита Романович!
Еще чем мне тебя пожаловать?
Или тебе полцарства дать?
Или золотой казны сколько на-
добно?»*

*«Ах ты гой еси, царь Иван Васи-
льевич!
Не сули мне полцарства, ни золо-
той казны,
Только дай мне злодея Скурлато-
ва:
Я сведу на то болото жидкое,
Что на ту ли Лужу Поганую!»
Что возговорит царь Иван Васи-
льевич:
«Еще вот тебе Малюта-злодей,
И делай с ним, что хочешь ты!»*

Так гласит песня; но не так было на деле. Летописи показывают нам Малюту в чести у Ивана Васильевича еще долго после 1565 го-

да. Много любимцев в разные времена пали жертвою царских подозрений. Не стало ни Басмановых, ни Грязного, ни Вяземского, но Малюта ни разу не испытал опалы. Он, по предсказанию старой Онуфьевны, не приял своей муки в этой жизни и умер честною смертью. В обиходе монастыря св. Иосифа Волоцкого, где погребено его тело, сказано, что он убит на государском деле под Найдюю.

Как оправдался Малюта в клевете своей — мы не знаем.

Может быть, Иоанн, когда успокоилась встревоженная душа его, приписал поступок любимца обманутому усердию; может быть, не вполне отказался от подозрений на царевича. Как бы то ни было, Скуратов не только не потерял доверия царского, но с этой поры стал еще драгоценнее Иоанну. Доселе одна Русь ненавидела Малюту, теперь стал ненавидеть его и самый царевич; Иоанн был отныне единственною опорой Малюты. Общая ненависть ручалась царю за его верность.

Намек на Басманова также не прошел даром. В Иоанновом сердце остался зародыш подозрения и хотя не тотчас пустил в нем кор-

ни, но значительно охладил расположение его к своему кравчему, ибо царь никогда не прощал тому, кого однажды опасался, хотя бы впоследствии и сам признал свое опасение напрасным.

ГЛАВА 15. Поцелуйный обряд

Пора нам возвратиться к Морозову. Смущенные Елены в присутствии Серебряного не ускользнуло от пронизательности боярина. Правда, сначала он подумал, что встреча с Вяземским тому причиной, но впоследствии новое подозрение зародилось в душе его.

Простившись с князем и проводив его до сеней, Морозов возвратился в избу. Навислые брови его были грозно сдвинуты; глубокие морщины бороздили чело; его бросало в жар, ему было душно. «Елена теперь спит, – подумал он, – она не будет ждать меня; пройдуся я по саду, авось освежу свою голову».

Морозов вышел; в саду было темно. Подходя к ограде, он увидел белую ферьязь. Он стал всматриваться.

Внезапно любовные речи поразили его слух. Старик остановился. Он узнал голос же-

ны. За оградой рисовался на звездном небе неопределенный образ всадника. Незнакомец нагнулся к Елене и что-то говорил ей. Морозов притаил дыхание, но порыв ветра потряс вершины деревьев и умчал слова и голос незнакомца. Кто был этот незнакомец? Ужели Вяземский успел своею настойчивостью склонить к себе Елену? Загадочно женское сердце! Ему нравится сегодня, что вчера возбуждало его ненависть! Или уж не Серебряный ли назначил свидание жене его? Кто знает? Быть может, князь, которого он принял как сына, нанес ему в тот же день кровавое оскорбление, ему, лучшему другу отца его; ему, который готов был подвергнуть опасности собственную жизнь, чтобы скрыть Серебряного от царского гнева!

«Но нет, – подумал Морозов, – это не Серебряный! Это какой-нибудь опричник, новый любимец царский. Им не в диковину бесчестить столбового боярина. А жена-то, змея подколотная! Уж ее ли не любил я! Ее ли не держал как дочь родную! И не вольною ли волей вышла она за меня? Не благодарила ль меня, лукавая? Не клялась ли мне в верной

сти? Нет, не надейся, Дружина Андреич, на верность женскую! Женская верность – терем высокий, дверь дубовая да запоры железные! Поторопился, Дружина Андреич, вручать девке честь свою! Обуяло тебя, старого, сердце пылкое! Провела тебя жена, молодая змея; посмеются над тобою люди московские!»

Так думал Морозов и мучился догадками. Ему хотелось ринуться вперед. Но всадник мог ускакать, и боярин не узнал бы врага своего. Он решил повременить.

Как нарочно, в эту ночь ветер не переставал шуметь, а месяц не выходил из-за облак. Морозов не узнал ни лица, ни голоса всадника. Он только расслышал, что боярыня сказала ему сквозь слезы:

– Я люблю тебя боле жизни, боле солнца красного! Я никого, кроме тебя, не любила и любить не могу и не буду.

Вскоре Елена прошла мимо Морозова, не заметив его. Медленно последовал за нею Дружина Андреич.

На другой день он не показал и виду, что подозревает Елену. Он был с нею по-прежнему приветлив и ласков. Но временам лишь,

когда она того не примечала, боярин забывался, сдвигал брови и грозно смотрел на Елену. Страшную думу думал тогда Дружина Андреевич. Он думал, как бы сыскать ему своего недруга.

Прошло дня четыре. Морозов сидел в брусняной избе за дубовым столом. На столе лежала разогнутая книга, оболоченная червчатым бархатом, с серебряными застежками и жуками. Но боярин думал не о чтении. Глаза его скользили над пестрыми заголовками и узорными травами страницы, а воображение бродило от жениной светлицы к садовой ограде.

Накануне этого дня Серебряный возвратился из Слободы и, по данному обещанию, посетил Морозова.

Елена в этот день сказалаь больною и не вышла из светлицы. Морозов ни в чем не изменил своего обращения с Никитой Романовичем. Но, поздравляя его с счастливым возвратом и потчужя прилежно дорогого гостя, он не переставал вникать в выражение его лица и старался уловить на нем признаки предательства. Серебряный был задумчив, но прост и откровенен по-прежнему; Морозов не узнал

ничего.

И вот о чем думал он теперь, сидя за столом перед разогнутою книгой.

Размышления его перервал вошедший слуга, но, увидя нахмуренный лоб Морозова, он почтительно остановился. Морозов спросил его взглядом.

– Государь, – сказал слуга, – едут царские люди. Впереди всех князь Афанасий Иванович Вяземский; уж они близко; прикажешь встречать?

В то же время слышался звон бубна, в который бил кожаную плетью, или вощагой, передовой холоп, чтобы разгонять народ и очищать дорогу господину.

– Вяземский едет ко мне? – сказал Морозов. – Что он, рехнулся? Да может, он едет мимо. Ступай к воротам и подожди! А если он поворотит сюда, скажи ему, что мой дом не кружало, что опричников я не знаю и с ними хлеба-соли не веду! Ступай!

Слуга колебался.

– Что еще? – спросил Морозов.

– Боярин, твоя надо мной воля, а этого не скажу Вяземскому!

– Ступай! – закричал Морозов и топнул ногой.

– Боярин! – сказал, вбегая, дворецкий, – князь Вяземский с опричниками подъезжает к нашим воротам! Князь говорит, я-де послан от самого государя.

– От государя? Он тебе сказал – от государя? Настежь ворота! Подайте золотое блюдо с хлебом-солью! Вся дворня чтобы шла навстречу посланным государя!

Между тем ближе и ближе слышались звон и бряцанье бубна; человек двадцать всадников, а впереди Афанасий Иванович на статном караковом жеребце, в серебряной сбруе, въехали шагом на двор Морозова. На князе был белый атласный кафтан. Из-за низко вырезанного ворота виднелось жемчужное ожерелье рубахи. Жемчужные запястья плотно стягивали у кистей широкие рукава кафтана, небрежно подпоясанного малиновым шелковым кушаком с выпущенною в два конца золотою бахромой, с заткнутыми по бокам узорными перчатками. Бархатные малиновые штаны заправлены были в желтые сафьянные сапоги, с серебряными скобами на

каблуках, с голенищами, шитыми жемчугом и спущенными в частых складках до половины икор. Поверх кафтана надет был внакидку шелковый легкий опашень золотистого цвета, застегнутый на груди двойною алмазною запоной. Голову князя покрывала белая парчовая мурмолка с гибким алмазным пером, которое качалось от каждого движения, играя солнечными лучами. Черные кудри Афанасия Ивановича, выбегая из-под шапки, смешивались с его бородой, короткой и кудрявою. Легкий ус образовывал над верхнею губой не черную полосу, но лишь темную тень. Стан Вяземского был высок и строен; вид молод и весел.

Согласно роскошному обычаю того времени, пешие конюхи вели за ним под уздцы шесть верховых коней в полном убранстве; из них один был вороной, один буланый, один железно-серый, а три совершенно белой масти. На головах коней качались цветные перья, на хребтах их пестрели звериные кожи или парчовые чепраки и чалдары, усаженные дорогими камнями, и все шестеро звенели на ходу множеством серебряных бубен-

чиков или золотыми прорезными яблоками, подобранными в согласный звон и висевшими по обеим сторонам налобников длинными гроздами.

При появлении Дружины Андреевича Вяземский и все опричники сошли с коней.

Морозов с золотым блюдом медленно шел к ним навстречу, а за ним шли знакомцы, держальники и холопы боярские.

– Князь, – сказал Морозов, – ты послан ко мне от государя. Спешу встретить с хлебом-солью тебя и твоих! – И сивые волосы боярина пали ему на глаза от низкого поклона.

– Боярин, – ответил Вяземский, – великий государь велел тебе сказать свой царский указ: «Боярин Дружина! царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси слагает с тебя гнев свой, сымает с главы твоей свою царскую опалу, милует и прощает тебя во всех твоих виновностях; и быть тебе, боярину Дружине, по-прежнему в его, великого государя, милости, и служить тебе и напередки великому государю, и писаться твоей чести по-прежнему ж!»

Изговоря речь, Вяземский заложил одну

руку за кушак, другою погладил бороду, приосанился и, устремив на Морозова орлиные глаза, ожидал его ответа.

При начале речи Морозов опустился на колени. Теперь держальники подняли его под руки. Он был бледен.

– Да благословит же святая троица и московские чудотворцы нашего великого государя! – произнес он дрожащим голосом, – да продлит прещедрый и премилостивый бог без счету царские дни его! не тебя ожидал я, князь, но ты послан ко мне от государя, войди в дом мой. Войдите, господа опричники! Прошу вашей милости! А я пойду отслужу благодарственный молебен, а потом сяду с вами пировать до поздней ночи.

Опричники вошли.

Морозов подозвал холопа.

– Садись на коня, скачи к князю Серебряному, отвези ему поклон и скажи, что прошу отпраздновать сегодняшний день: царь-де пожаловал меня милостию великою, изволил-де снять с меня свою опалу!

Отдав это приказание и проводив в сени гостей, Морозов отправился через двор в до-

мовую церковь; перед ним шли знакомцы и держальники, а за ним многочисленные холопы. В доме остался лишь дворецкий да сколько нужно было людей для прислуги опричникам.

Подали разные закуски и наливки, но обед был еще впереди.

Вскоре приехал Серебряный, также сопровождаемый знакомцами и холопами, ибо в тогдaшнее время ездить боярину в важных случаях одиночеством или малолюдством считалось порухою чести.

Стол уже был накрыт в большой избе, слуги стояли по местам, все ожидали хозяина.

Дружина Андреевич, отслушав молебен, вошел в добром платье, в парчовом кафтане, с собольей шапкою в руках. Сивые кудри его были ровно подстрижены, борода тщательно расчесана. Он поклонился гостям, гости ему поклонились, и все сели за стол.

Зачался почестный пир, зазвенели кубки и братины, и вместе с ними зазвенел еще другой звон, несовместный со звуками веселого пира. Зазвенели под кафтанами опричников невидимые доспехи.

Но Морозов не услышал зловещего звона. Другие мысли занимали его. Внутреннее чувство говорило Морозову, что ночной его оскорбитель пирует с ним за одним столом, и боярин придумал наконец средство его открыть. Средство это, по мнению его, было надежно.

Уже много кубков осушили гости; пили они про государя, и про царицу, и про весь царский дом; пили про митрополита и про все русское духовенство; пили про Вяземского, про Серебряного и про ласкового хозяина; пили про каждого из гостей особенно. Когда все здоровья были выпиты, Вяземский встал и предложил еще здоровье молодой боярыни.

Того-то и ожидал Морозов.

– Дорогие гости, – сказал он, – непригоже без хозяйки пить про хозяйку! Сходите, – продолжал он, обращаясь к слугам, – сходите за боярыней, пусть сойдет потчевать из своих рук дорогих гостей!

– Ладно, ладно! – зашумели гости, – без хозяйки и мед не сладок!

Через несколько времени явилась Елена в богатом сарафане, сопровождаемая двумя

сенными девушками; она держала в руках золотой поднос с одною только чаркой. Гости встали. Дворецкий наполнил чарку тройным зеленчаком, Елена прикоснулась к ней губами и начала обносить ее кругом гостей, кланяясь каждому, малым обычаем, в пояс. По мере того как гости выпивали чарку, дворецкий наполнял ее снова.

Когда Елена обошла всех без изъятия, Морозов, пристально за ней следивший, обратился к гостям.

– Дорогие гости, – сказал он, – теперь, по старинной русской обыкности, прошу вас, уважили б вы дом мой, не наложили б охулы на мое хозяйство, прошу вас, дорогие гости, не побрезгали бы вы поцеловать жену мою! Дмитриевна, становись в большом месте и отдавай все поцелуи, каждому поочередно!

Гости благодарили хозяина. Елена с трепетом стала возле печи и опустила глаза.

– Князь, подходи! – сказал Морозов Вяземскому. – Нет, нет, по обычаю! – закричали гости, – пусть хозяин поцелует первый хозяйку! Пусть будет по обычаю, как от предков повелось!

– Пусть же будет по обычаю, – сказал Морозов и, подойдя к жене, он сперва поклонился ей в ноги. Когда они поцеловались, губы Елены горели как огонь; как лед были холодны губы Дружины Андреевича.

За Морозовым подошел Вяземский.

Морозов стал примечать.

Глаза Афанасья Ивановича сверкали словно уголья, но лицо Елены осталось неподвижно. Она при муже, при Серебряном не боялась нахального князя.

«Не он», – подумал Морозов.

Вяземский положил земной поклон и поцеловал Елену; но как поцелуй его длился дольше, чем было нужно, она отвернулась с приметною досадой.

«Нет, не он!» – повторил про себя Морозов.

За Вяземским подошли поочередно несколько опричников. Они все кланялись, большим обычаем, в землю и потом целовали Елену; но Дружина Андреевич ничего не мог прочесть на лице жены своей, кроме беспокойства. Несколько раз длинные ресницы ее подымались, и взор, казалось, со страхом искал кого-то между гостями.

«Он здесь!» – подумал Морозов.

Вдруг ужас овладел Еленой. Глаза ее встретились с глазами мужа, и, с свойственной женскому сердцу сметливостию, она отгадала его мысли. Под этим тяжелым, неподвижным взором ей показалось невозможным поцеловать Серебряного и не быть в тот же миг уличенною. Все обстоятельства их встречи у садовой ограды, в первый приезд Серебряного, живо представились ее памяти. Теперешнее ее положение и ожидающий ее поцелуй показались ей божьим наказанием за ту преступную встречу, за тот преступный поцелуй. Смертельный холод пробежал по ее членам.

– Я нездорова... – прошептала она, – отпусти меня, Дружина Андреич...

– Останься, Елена, – сказал спокойно Морозов, – подожди; ты не можешь теперь уйти; это невидано, неслыхано; надо кончить обряд!

И он проникал жену насквозь испытующим взглядом.

– Ноги не держат меня!.. – произнесла Елена.

– Что? – сказал Морозов, будто не расслы-

шан, – угорела? эка невидаль! Прошу вас, государи, подходите, не слушайте жены! Она еще ребенок; больно застенчива, ей в новинку обряд! Да к тому еще угорела! Подходите, дорогие гости, прошу вас!

«Да где же Серебряный?» – подумал Дружина Андреевич, пробегая глазами гостей.

Князь Никита Романович стоял в стороне. От него не скрылось необыкновенное внимание, с каким Морозов всматривался в жену и в каждого подходившего к ней гостя. Он прочел в лице Елены страх и беспокойство. Никита Романович, всегда решительный, когда совесть его ни в чем не укоряла, теперь не знал, что делать. Он боялся, подойдя к Елене, умножить ее смущение, боялся, оставаясь позади других, возбудить подозрение мужа. Если бы мог он сказать ей хоть одно слово неслышимо, он ободрил бы ее и возвратил бы ей, может быть, потерянную силу, но Елену окружали гости, муж не спускал с нее глаз; надо было на что-нибудь решиться.

Серебряный подошел, поклонился Елене, но не знал, смотреть ли ей в глаза или нарочно не встречать ее взора. Это колебание выда-

ло князя. С своей стороны, Елена не выдержала пытки, которой подвергал ее Морозов.

Елена обманула мужа не по легкомыслию, не по внушению сердца испорченного. Она обманула его потому, что сама обманулась, думая, что может полюбить Дружину Андреевича. Когда ночью у садовой ограды она уверяла Серебряного в любви своей, слова вырывались у нее невольно; она не торговалась выражениями, и если бы тогда она увидела за собой мужа, то призналась бы ему во всем чистосердечно. Но воображение Елены было пылко, а нрав робок. После ночного свидания с Серебряным ее не переставали мучить угрызения совести. К ним присоединилось еще смертельное беспокойство об участи Никиты Романовича. Сердце ее раздиралось противоположными ощущениями; ей хотелось пасть к ногам мужа и просить у него прощения и совета; но она боялась его гнева, боялась за Никиту Романовича.

Эта борьба, эти мучения, страх, внушаемый ей мужем, добрым и ласковым, но неумолимым во всем, что касалось его чести, — все это разрушительно потрясло ее те-

лесные силы. Когда губы Серебряного прикоснулись к губам ее, она задрожала как в лихорадке, ноги под ней подкосились, а из уст вырвались слова:

– Пресвятая богородица! пожалей меня!

Морозов подхватил Елену.

– Эх! – сказал он, – вот женское-то здоровье! Посмотреть, так кровь с молоком, а немного угару, так и ноги не держат. Да ничего, пройдет! Подходите, дорогие гости!

Голос и приемы Морозова ни в чем не изменились. Он так же казался спокойен, так же был приветлив и доброхотен.

Серебряный остался в недоумении, в самом ли деле он проник его тайну?

Когда кончился обряд и Елена, поддерживаемая девушками, удалилась в светлицу, гости, по приглашению Морозова, опять сели за стол.

Дружина Андреевич всех нудил и потчевал с прежнею заботливостью и не забывал ни одной из мелочных обязанностей, доставлявших в те времена хозяину дома славу доброго хлебосола.

Уже было поздно. Вино горячило умы, и

странные слова проскакивали иногда среди разговора опричников.

– Князь, – сказал один из них, наклонясь к Вяземскому, – пора бы за дело!

– Молчи! – отвечал шепотом Вяземский, – старик услышит!

– Хоть и услышит, не поймет! – продолжал громко опричник с настойчивостью пьяного.

– Молчи! – повторил Вяземский.

– Я те говорю, князь, пора! Ей-богу, пора! Вот я знак подам!

И опричник двинулся встать. Вяземский сильною рукою пригвоздил его к скамье.

– Уймись, – сказал он ему на ухо, – не то вонжу этот нож тебе в горло!

– Ого, да ты еще грозишь! – вскричал опричник, вставая со скамьи, – вишь, ты какой! Я говорил, что нельзя тебе верить! Ведь ты не наш брат! Уж я бы вас всех, князей да бояр, что наше жалованье заедаете! Да погоди, посмотрим, чья возьмет. Долой из-под кафтана кольчугу-то! Вымай саблю! Посмотрим, чья возьмет!

Слова эти были произнесены неверным языком, среди общего говора и шума; но неко-

торые из них долетели до Серебряного и возбудили его внимание. Морозов их не слышал. Он видел только, что между гостями вспыхнула ссора.

– Дорогие гости! – сказал он, вставая из-за стола, – на дворе уж темная ночь! Не пора ли на покой? Всем вам готовы и перины мягкие, и подушки пуховые!

Опричники встали, благодарили хозяина, раскланялись и пошли в приготовленные для них на дворе опочивальни.

Серебряный также хотел удалиться.

Морозов остановил его за руку.

– Князь, – сказал он шепотом, – обожди меня здесь!

И, оставя Серебряного, Дружина Андреевич отправился на половину жены.

ГЛАВА 16. Похищение

Во время обеда вокруг дома происходило нечто необыкновенное.

С наступлением сумерек новые опричники стали являться по одному возле садовой ограды, возле забора, окружавшего двор, и наконец на самом дворе.

Люди Морозова не обратили на них внимания.

Когда настала ночь, дом был со всех сторон окружен опричниками.

Стремянный Вяземского вышел из застольной, будто бы напоить коня. Но, не дойдя конюшни, он оглянулся, посмотрел на все стороны, подошел к воротам и просвистал как-то особенно. Кто-то к нему подкрался.

– Все ли вы? – спросил стремянный.

– Все, – отвечал тот.

– Много ли вас?

– Пятьдесят.

– Добро, ожидайте знака.

– А скоро ли? Ждать надоело.

– Про то знает князь. Да слышь ты, Хомяк, князь не велит ни жечь, ни грабить дома!

– Не велит! Да что, он мне господин, что ли?

– Видно, господин, коли Григорий Лукьяныч велел быть тебе сегодня у него в приказе.

– Служить-то я ему послужу, да только ему, а не Морозову. Помогу князю увезти боярыню, а потом уж и мне никто не указывай!

– Смотри, Хомяк, князь не шутит!

– Да что ты, с ума спятил? – сказал Хомяк, злобно усмехаясь. – Князь князем, а я сам по себе. Коли мне хочется погулять, кому какое дело?

В то самое время, как разговор этот происходил у ворот, Морозов, остановив Серебряного, вошел на половину Елены.

Боярыня еще не ложилась. На голове ее уже не было кокошника. Густая, полураспушенная коса упала на ее белые плечи. Летник был на груди расстегнут. Елена готовилась раздеться, но склонила голову на плечо и забылась. Мысли ее блуждали в прошедшем. Она вспоминала первое знакомство с Серебряным, свои надежды, отчаянье, предложение Морозова и данную клятву. Ей живо представилось, как в радуницу, перед самой

свадьбой, она, по обычаю сирот, пошла на могилу матери, поставила под крестом чашу с красными яйцами, мысленно христосовалась с матерью и просила благословения на любовь и союз с Морозовым.

Она верила в то время, что переможет первую любовь свою, верила, что будет счастлива за Морозовым; а теперь... Елена вспомнила о поцелуйном обряде, и ее обдало холодом. Боярин вошел, не примеченный ею, и остановился на пороге. Лицо его было сурово и грустно. Несколько времени смотрел он молча на Елену. Она была еще так молода, так неопытна, так неискусна в обмане, что Морозов почувствовал невольную жалость.

– Елена! – сказал он, – отчего ты смутилась во время обряда?

Елена вздрогнула и устремила на мужа глаза, полные страха. Ей хотелось пасть к его ногам и сказать всю правду, но она подумала, что, может быть, он еще не подозревает Серебряного, и побоялась навлечь на него мщение мужа.

– Отчего смутилась ты? – повторил Морозов.

– Мне понездоровилось... – отвечала Елена шепотом.

– Так. Тебе нездоровилось, но не телом, а душой. Болезнь твоя душевная. Ты погубишь свою душу, Елена!

Боярыня дрожала.

– Когда сего утра, – продолжал Морозов, – Вяземский с опричниками приехали в дом наш, я читал Священное писание. Знаешь ли, что говорится в Писании о неверных женах?

– Боже мой! – произнесла Елена.

– Я читал, – продолжал Морозов, – о наказании за прелюбодеяние...

– Господи! – умоляла боярыня, – будь милостив, Дружина Андреич, пожалей меня, я не столько виновна, как ты думаешь... Я не изменила тебе...

Морозов грозно сдвинул брови.

– Не лги, Елена. Не мудрствуй. Не умножай греха своего лукавою речью. Ты не изменила мне, потому что для измены нужна хотя краткая верность, а ты никогда не была мне верна...

– Дружина Андреич, пожалей меня!

– Ты никогда не была мне верна! Когда нас

венчали, когда ты своею великою неправдой целовала мне крест, ты любила другого... Да, ты любила другого! – продолжал он, возвышая голос.

– Боже мой, боже мой! – прошептала Елена, закрыв лицо руками.

– Дмитриевна! А Дмитриевна! Зачем не сказала ты мне, что любишь его!

Елена плакала и не отвечала ни слова.

– Когда я тебя увидел в церкви, беззащитную сироту, в тот день, как хотели выдать тебя насильно за Вяземского, я решился спасти тебя от постылого мужа, но хотел твоей клятвы, что не посрамишь ты седых волос моих. Зачем ты дала мне клятву? Зачем не призналась во всем? Словами ты была со мною, а сердцем и мыслию с другим! Если бы знал я про любовь твою, разве я взял бы тебя? Я бы схоронил тебя где-нибудь в глухом поместье, далеко от Москвы, или свез бы в монастырь; но не женился бы на тебе, видит бог, не женился бы! Лучше было отойти от мира, чем достаться постылому. Зачем ты не отошла от мира? Зачем защитилась моим именем, как стеной каменною, а потом насмехалась мне с

твоим любовником? Вы думали: Морозов стар, Морозов слаб, нам легко его одурачить!

– Нет, господин мой! – взрыдала Елена и упала на колени, – я никогда этого не думала! Ни в уме, ни в помышлении того не было! Да он же в ту пору был в Литве...

При слове *он* глаза Морозова засверкали, но он овладел собою и горько усмехнулся.

– Так. Вы не в ту пору спознались, но позже, когда он вернулся. Вы спознались ночью, в саду у ограды, в тот самый вечер, когда я принял и обласкал его как сына. Скажи, Елена, ужели в самом деле вы думали, что я не угадаю вашего замысла, дам себя одурачить, не сумею наказать жену вероломную и злодея моего, ее сводчика? Ужели чаял этот молокосос, что гнусное его дело сойдет ему с рук? Аль не читал он, что в книгах Левит написано: человек аще прелюбы содеет с мужнею женой, смертию да умрут прелюбодей и прелюбодейца!

Елена с ужасом взглянула на мужа. В глазах его была холодная решительность.

– Дружина Андреич! – сказала она в испуге, – что ты хочешь сделать?

Боярин вынул из-под опашня длинную пистоллю.

– Что ты делаешь? – вскричала боярыня и отступила назад.

Морозов усмехнулся.

– Не бойся за себя! – сказал он холодно, – тебя я не убью. Возьми свечу, ступай передо мною!

Он осмотрел пистоллю и подошел к двери. Елена не двигалась с места. Морозов оглянулся.

– Свети мне! – повторил он повелительно.

В эту минуту послышался на дворе шум. Несколько голосов говорили вместе. Слуги Морозова звали друг друга. Боярин стал прислушиваться. Шум усиливался. Казалось, множество людей врывалось в подклети. Раздался выстрел.

Елене представилось, что Серебряный убит по воле Морозова. Негодованье возвратило ей силы.

– Боярин! – вскричала она, и взор ее загорелся, – меня, меня убей! Я одна виновна!

Но Морозов не обратил внимания на слова ее. Он слушал, наклоня голову, и лицо его вы-

ражало удивление.

– Убей меня! – просила в отчаянье Елена, – я не хочу, я не могу пережить его! Убей меня! Я обманула тебя, я насмеялась тебе! Убей меня!

Морозов посмотрел на Елену, и если бы кто увидел его в это мгновение, тот не решил бы, жалость или негодование преобладали в его взоре.

– Дружина Андреич! – раздался голос снизу, – измена! Предательство! Опричники врываються к жене твоей! Остерегись, Дружина Андреич!

То был голос Серебряного. Узнав его, Елена в неизъяснимой радости бросилась к двери. Морозов оттолкнул жену; задвинул запор и укрепил дверь на железный крюк.

Поспешные шаги послышались на лестнице, потом стук сабель, потом проклятия, борьба, громкий крик и падение. Дверь затрещала от ударов.

– Боярин! – кричал Вяземский, – отопри, не то весь дом раскидаю по бревнам!

– Не верю, князь! – отвечал с достоинством Морозов. – Еще не видано на Руси, чтобы

гость бесчестил хозяина, чтобы силой врывается в терем жены его. Хмелен был мед мой; он вскружил тебе голову, князь, поди выспись; завтра всё забудем. Не забуду лишь я, что ты гость мой.

– Отопри! – повторил князь, напирая дверь.

– Афанасий Иваныч! вспомни, кто ты? Вспомни, что ты не разбойник, но князь и боярин!

– Я опричник! слышишь, боярин, я опричник! Нет у меня чести! Полюбилась мне жена твоя, слышишь, боярин! Не боюсь студного дела; всю Москву пуцу на дым, а добуду Елену!

Внезапно изба ярко осветилась. Морозов увидел в окно, что горят крыши людских служб. В то же время дверь, потрясенная новыми ударами, повалилась с треском, и Вяземский явился на пороге, озаренный пожаром, с переломленной саблей в руке.

Белая атласная одежда его была истерзана; по ней струилась кровь. Видно было, что он не без боя достиг до светлицы.

Морозов выстрелил в Вяземского почти в

упор, но рука изменила боярину; пуля удари-
лась в косяк; князь бросился на Морозова.

Недолго продолжалась между ними борьба. От сильного удара рукоятью сабли Морозов упал навзничь. Вяземский подбежал к боярыне, но лишь только кровавые руки его коснулись ее одежды, она отчаянно вскрикнула и лишилась чувств. Князь схватил ее на руки и помчался вниз по лестнице, метя ступени ее распущенною косой.

У ворот дожидались кони. Вскочив в седло, князь полетел с полумертвою боярыней, а за ним, гремя оружием, полетели его холопы.

Ужас был в доме Морозова. Пламя охватило все службы. Дворня кричала, падая под ударами хищников. Сенные девушки бегали с воплем взад и вперед. Товарищи Хомяка грабили дом, выбегали на двор и бросали в одну кучу дорогую утварь, деньги и богатые одежды. На дворе, над грудой серебра и золота, заглушая голосом шум, крики и треск огня, стоял Хомяк в красном кафтане.

– Эх, весело! – говорил он, потирая руки, – вот пир так пир!

– Хомяк! – вскричал один опричник, –

дворня увезла Морозова по реке. Догнать аль не надо?

– Черт с ним! Не до него теперь! Эй, вы! Все на двор, не то скоро задохнемся!

– Хомяк, – сказал другой, – что велишь делать с Серебряным?

– Не трогать его ни пальцем! Приставить к нему сторожевых, чтоб глаз с него не сводили. Отвезем его милость к Слободе с почетом. Ведь видели вы, как он князь Афанасья Иваныча хватил? Как наших саблей крошил?

– Видели, видели!

– А будете в том крест целовать перед государем?

– Будем, будем! Все будем крест целовать!

– Ну ж, смотрите! Теперь чтоб никто не смел его обидеть, а как приедем домой, так уж Григорий Лукьяныч припомнит ему свою оплеуху, а я мои плети!

Долго еще шумели и грабили опричники, и когда поехали они, навьючив лошадей тяжелою добычей, то еще долго после их отъезда видно было зарево над местом, где недавно стоял дом Дружины Андреевича; и Москва-река, протекая мимо, до самого утра играла ог-

ненными струями, как растопленным золотом.

ГЛАВА 17. Заговор на кровь

Соседние люди, узнав о нападении опричников и видя зарево над двором Морозова, спешили запираить ворота и гасить огонь.

– Господи! – говорили, крестясь, те из них, мимо которых скакал Вяземский с своими холопами, – господи, помилуй нас! пронеси беду мимо!

И лишь топот коней удалялся и бряцанье броней замирало в пустых улицах, жители говорили: «Слава богу, миновала беда!» И опять крестились.

Между тем князь продолжал скакать и уже далеко оставил за собою холопей. Он положил на мысль еще до рассвета достичь деревни, где ожидала его подстава, а оттуда перевезть Елену в свою рязанскую вотчину. Но не проскакал князь и пяти верст, как увидел, что сбился с дороги.

В то же время он почувствовал, что раны, на которые он сторяча не обратил внимания, теперь причиняют ему нестерпимую боль.

– Боярыня! – сказал он, останавливая коня, – мои холопы отстали... надо обождать!

Елена понемногу приходила в себя. Открыв глаза, она увидела сперва зарево, потом стала различать лес и дорогу, потом почувствовала, что лежит на хребте коня и что держат ее сильные руки. Мало-помалу она начала вспоминать события этого дня, вдруг узнала Вяземского и вскрикнула от ужаса.

– Боярыня, – сказал Афанасий Иванович с горькой усмешкой, – я тебе страшен? Ты клянешь меня? Не меня кляни, Елена Дмитриевна! Кляни долю свою! Напрасно хотела ты миновать меня. Не миновать никому судьбы, не объехать конем суженого! Видно, искони, боярыня, было тебе на роду написано, чтобы досталась ты мне!

– Князь! – прошептала Елена, дрожа от ужаса, – коли нет в тебе совести, вспомни боярскую честь свою, вспомни хоть стыд...

– Нет у меня чести, нет стыда! Все, все отдал я за тебя, Елена Дмитриевна!

– Князь, вспомни суд божий, не погуби души своей!

– Поздно, боярыня! – отвечал Вяземский со

смехом. – Я уже погубил ее! Или ты думаешь, кто платит за хлеб-соль, как я, тот может спасти душу? Нет, боярыня! Этою ночью я потерял ее навеки! Вчера еще было время, сегодня нет для меня надежды, нет уж мне прощения в моем окаянстве! Да и не хочу я райского блаженства мимо тебя, Елена Дмитриевна!

Вяземский слабел все более. Он видел свое изнеможение, но тщетно крепился. Бред отуманил его рассудок.

– Елена, – сказал он, – я истекаю кровью, – холопы мои далеко... помощи взять неоткуда, может быть, чрез краткий час я отойду в пламень вечный... полюби меня, полюби на один час... чтоб не даром отдал я душу сатане!.. Елена! – продолжал он, собирая последние силы, – полюби меня, прилука моего сердца, погубительница души моей!..

Князь хотел сжать ее в кровавых объятиях, но силы ему изменили, поводья выпали из рук, он зашатался и свалился на землю. Елена удержалась за конскую гриву. Не чуя седока, конь пустился вскачь. Елена хотела остановить его, конь бросился в сторону, помчался лесом и унес с собою боярыню.

Долго мчались они в темном бору. Сначала Елена силилась удержать коня, но вскоре руки ее ослабли, она, ухватясь за гриву, отдалась на божью волю. Конь мчался без остановки. Сучья цеплялись за платье Елены, ветви хлестали ее в лицо. Когда неслась она через поляны, освещенные месяцем, ей казалось, что в белом тумане двигаются русалки и манят ее к себе. Она слышала отдаленный однообразный шум. Вот мелькнул огонек, вот как будто серебристый призрак махнул крыльями... вдруг конь остановился, и Елена лишилась чувств.

Она очнулась на мягкой траве. Вокруг нее разливалась приятная свежесть. Воздух был напитан древесным запахом; шум еще продолжался, но в нем не было ничего страшного. Он, как старая знакомая песня, убаюкивал и усыплял Елену.

Она с трудом раскрыла глаза. Большое колесо, движимое водою, шумя, вертелось перед нею, и далеко летели вокруг него брызги. Отражая луну, они напомнили ей алмазы, которыми девушки украшали ее в саду в тот день, когда приехал Серебряный.

– Уж не в саду ли я у себя? – подумала Елена. – Ужель опять в саду? Девушки! Пашенька! Дуняша! Где вы?

Но вместо свежего девичья лица седая сморщенная голова нагнулась над Еленой; белая как снег борода почти коснулась ее лица.

– Вишь, как господь тебя соблюл, боярыня, – сказал незнакомый старик, любопытно вглядываясь в черты Елены, – ведь возьми конь немного левее, прямо попала бы в плёс; ну да и конь-то привычный, – продолжал он про себя, – место ему знакомо; слава богу, не в первый раз на мельнице!

Появление старика испугало было Елену; она вспомнила рассказы про леших, и странно подействовали на нее морщины и белая борода незнакомца, но в голосе его было что-то добродушное; Елена, переменив внезапно мысли, бросилась к нему в ноги.

– Дедушка, дедушка! – вскричала она, – оборони меня, укрой!

Мельник тотчас смекнул, в чем дело: конь, на котором прискакала Елена, принадлежал Вяземскому. По всем вероятностям, она была боярыня Морозова, та самая, которую он пы-

тался приворожить к князю. Он никогда ее не видал, но много узнал о ней через Вяземского. Она не любила князя, просила о помощи, стало быть, она, вероятно, спаслась от князя на его же коне.

Старик вмиг сообразил все эти обстоятельства.

– Господь с тобою, боярыня! – сказал он, – как мне оборонить тебя? Силен князь Афанасий Иваныч, длинны у него руки, погубит он меня, старика!

Елена со страхом посмотрела на мельника.

– Ты знаешь... – сказала она, – ты знаешь, кто я?

– Мало ли что я знаю, матушка Елена Дмитриевна! Много на моем веку нажурчала мне вода, нашептали деревья! Знаю я довольно; не обо всем говорить пригоже!

– Дедушка, коли все тебе ведомо, ты, стало быть, знаешь, что Вяземский не погубит тебя, что он лежит теперь на дороге, изрубленный. Не его боюсь, дедушка, боюсь опричников и холопей княжеских... ради пречистой богородицы, дедушка, укрой меня!

– Ох-ох-ох! – сказал старик, тяжело взды-

хая, – лежит Афанасий Иваныч на дороге изрубленный! Но не от меча ему смерть написана. Встанет князь Афанасий Иваныч, прискачет на мельницу, скажет: где моя боярыня-душа, зазноба ретива сердца мово? А какую дам я ему отповедь? Не таков он человек, чтобы толковать с ним. Изрубит в куски!

– Дедушка, вот мое ожерелье! Возьми его! Еще больше дам тебе, коли спасешь меня!

Глаза мельника заблестали. Он взял жемчужное ожерелье из рук боярыни и стал любоваться им на месяце.

– Боярыня, лебедушка моя, – сказал он с довольным видом, – да благословит тебя щедрый господь и московские чудотворцы! Нелегко мне укрыть тебя от княжеских людей, коль, неравно, они сюда наедут! Только уж послужу тебе своею головою, авось бог нас помилует!

Еще не успел старик договорить, как в лесу послышался конский топот.

– Едут, едут! – вскричала Елена. – Не выдавай меня, дедушка!

– Добро, боярыня, сюда ступай за мною!

Мельник поспешно повел Елену в мельни-

цу.

– Притаись здесь, за мешками, – сказал он, запер за нею дверь и побежал к коню.

– Ах, бог ты мой, как бы коня-то схоронить, чтоб не догадались!

Он взял его за узду, отвел на другую сторону мельницы, где была у него пасека, и привязал в кустах за ульями.

Между тем топот коней и людские голоса раздавались ближе. Мельник заперся в камере и задул лучину.

Вскоре показались на поляне люди Вяземского. Двое из холопей шли пешие и несли на сплетенных ветвях бесчувственного князя. У мельницы они остановились.

– Полно, сюда ли мы заехали? – спросил старший из всадников.

– Сюда конь убежал! – отвечал другой. – Я след видел! Да здесь же и знахарь живет. Пусть посмотрит князя!

– Опустите на землю его милость, да с бережением! Что, кровь не унимается?

– Не дает бог легче, – отвечали холопы, – вот уж третий раз князь на ходу очнется, да и опять обомрет! Коли мельник не остановит

руды, так и не встать князю, истечет до капли!

– Да где он, колдун проклятый? Ведите его проворней!

Опричники стали стучать в мельницу и в камору. Долго стук их и крики оставались без ответа. Наконец в каморе послышался кашель, из прорубленного отверстия высунулась голова мельника.

– Кого это господь принес в такую пору? – сказал старик, кашляя так тяжело, как будто бы готовился выкашлять душу.

– Выходи, колдун, выходи скорее, кровь унять! Боярин князь Вяземский посечен саблей!

– Какой боярин? – спросил старик, притворяясь глухим.

– Ах ты бездельник! Еще спрашивает: какой? Ломайте двери, ребята!

– Пойдите, кормильцы, пойдите! Сам выйду, зачем ломать? Сам выйду!

– Ага, небось услышал, глухой тетерев!

– Не взыщи, батюшка, – сказал мельник, вылезая, – виноват, родимый, туг на ухо, иного сразу не пойму! Да к тому ж, нечего греха

таить, как стали вы, родимые, долбить в дверь да в стену, я испужался, подумал, оборони боже, уж не станичники ли! Ведь тут, кормильцы, их самые засеки и притоны. Живешь в лесу со страхом, все думаешь: что коли, не дай бог, навернутся!

– Ну, ну, разговорился! Иди сюда, смотри: вишь, как кровь бежит. Что, можно унять?

– А вот посмотрим, родимые! Эх, батюшки-светы! Да кто ж это так секанул-то его? Вот будь на полвершка пониже, как раз бы висок рассек! Ну, соблюл его бог! А здесь-то? Плечо мало не до кости прорубано! Эх, должно быть, ловок рубиться, кто так хватил его милость!

– Можно ль унять кровь, старик?

– Трудно, кормилец, трудно. Сабля-то была наговорная!

– Наговорная? Слышите, ребята, я говорил, наговорная. А то как бы ему одному семерых посесть!

– Так, так! – отозвались опричники, – вестимо, наговорная; куды Серебряному на семерых!

Мельник все слушал и примечал.

– Ишь как руда точится! – продолжал он, –

ну как ее унять? Кабы сабля была не наговорная, можно б унять, а то теперь... оно, пожалуй, и теперь можно, только я боюсь. Как стану нашептывать, язык у меня отыметя!

– Нужды нет, нашептывай!

– Да! нужды нет! Тебе-то нет нужды, родимый, а мне-то будет какво!

– Истома! – сказал опричник одному холопу, – подай сюда кошель с морозовскими червонцами. На тебе, старик, горсть золотых! Коль уймешь руду, еще горсть дам; не уймешь – дух из тебя вышибу!

– Спасибо, батюшка, спасибо! награди тебя господь и все святые угодники! Нечего делать, кормильцы, постараюсь, хоть на свою голову, горю пособить. Отойдите, родимые, дело глаза боится!

Опричники отошли. Мельник нагнулся над Вяземским, перевязал ему раны, прочитал «Отче наш», положил руку на голову князя и начал шептать:

«Ехал человек стар, конь под ним кар, по ристаням, по дорогам, по притонным местам. Ты, мать, руда жильная, жильная, телесная, остановись, назад воротись. Стар человек те-

бя запирает, на покой согревает. Как коню его воды не стало, так бы тебя, руда-мать, не бывало. Пух земля, одна семья, будь по-моему! Слово мое крепко!»

По мере того как старик шептал, кровь текла медленнее и с последним словом совсем перестала течь. Вяземский вздохнул, но не открыл глаз.

– Подойдите, отцы родные, – сказал мельник, – подойдите без опасенья; унялась руда, будет жив князь; только мне худо... вот уж теперь замечаю, язык костенеет!

Опричники обступили князя. Месяц освещал лицо его, бледное как смерть, но кровь уже не текла из ран.

– И впрямь унялась руда! Вишь, старичина, не ударил лицом в грязь!

– На тебе твои золотые! – сказал старший опричник. – Только это еще не все. Слушай, старик. Мы по следам знаем, что этой дорогой убежал княжеский конь, а может, на нем и боярыня ускакала. Коли ты их видел, скажи!

Мельник вытаращил глаза, будто ничего не понимал.

– Видел ты коня с боярыней?

Старик стал было колебаться, сказать или нет? Но тот же час он сделал следующий расчет:

Кабы Вяземский был здоров, то скрыть от него боярыню было б ой как опасно, а выдать ее куда как выгодно! Но Вяземский оправится ль, нет ли, еще бог весть! А Морозов не оставит услуги без награды. Да и Серебряный-то, видно, любит не на шутку боярыню, коль порубил за нее князя. Стало быть, думал мельник, Вяземский меня теперь не обидит, а Серебряный и Морозов, каждый скажет мне спасибо, коль я выручу боярыню.

Этот расчет решил его сомнения.

– И слухом не слышал, и видом не видал, родимые! – сказал он, – и не знаю, про какого коня, про какую боярыню говорите!

– Эй, не соврал бы ты, старик!

– Будь я анафема! Не видать мне царствия небесного! Вот пусть меня тут же громом хлопнет, коли я что знаю про коня либо про боярыню!

– А вот давай лучину, посмотрим, нет ли следов на песке!

– Да нечего смотреть! – сказал один оприч-

ник. – Хотя бы и были следы, наши кони их затоптали. Теперь ничего не увидим!

– Так нечего и смотреть. Отворяй, старик, камору, князя перенести!

– Сейчас, родимые, сейчас. Эх, стар я, кормильцы, а то бы сбегал на постоялый двор, притащил бы вам браги да вина зеленчатого!

– А дома разве нет?

– Нет, родимые. Куда мне, убогому! Нет ни вина, харчей, ни лошадям вашим корма. Вот на постоялом дворе, там все есть. Там такое вино, что хоть бы царю на стол. Тесненько вам будет у меня, государи честные, и перекусить-то нечего; да ведь вы люди ратные, и без ужина обойдетесь! Кони ваши травку пощиплют... вот одно худо, что трава-то здесь такая... иной раз наестся конь, да так его разорет, что твоя гора! Покачается, покачается, да и лопнет!

– Черт тебя дери, боровик ты старый! Что ж ты хочешь, чтоб наши кони перелопались?

– Оборони бог, родимые! Коней можно привязать, чтоб не ели травы; одну ночку не беда, и так простоят! А вас, государи, прошу покорно, уважьте мою камору; нет в ней ни

сена, ни соломы, земля голая. Здесь не то, что постоялый двор. Вот только, как будете спать ложиться, так не забудьте перед сном прочесть молитву от ночного страха... оно здесь нечисто!

– Ах ты чертов кум этакий! Провались ты и с своею каморой! Вишь, чем потчевать вздумал! Ребята, едем на постоялый двор! Далеко ль дотудова, старик?

– Блиско, родимые, совсем близко. Вот ступайте этою тропюю; как выедете на большую дорогу, повернете влево, проедете не более версты, тут вам будет и постоялый двор!

– Едем! – сказали опричники.

Вяземский все еще был в обмороке. Холопи подняли его и осторожно понесли на носилках. Опричники сели на коней и поехали вслед.

Лишь только удалилась толпа и не стало более слышно в лесу человеческого голоса, старик отпер мельницу.

– Боярыня! Ушли! – сказал он. – Пожалуй в камору. Ах ты, сотик мой забрушенный, как притаилась-то! Пожалуй в камору, лебедушка моя, там тебе будет лучше!

Он настлал свежего моху в углу каморы, зажег лучину и поставил перед Еленой деревянную чашку с медовыми сотами и краюху хлеба.

– Ешь на здоровье, боярыня! – сказал он, низко кланяясь, – вот я тебе сейчас винца принесу.

Сбегав еще раз в мельницу, он вынес из нее большую сулею и глиняную кружку.

– Во здравие твое, боярыня!

Старик, как хозяин, первый опорожнил кружку. Вино его развеселило.

– Выпей, боярыня! – сказал он, – теперь некого тебе бояться! Они ищут постоянного двора! Найдут ли, не найдут ли, а уж сюда не вернуться; не по такой дороге я их послал, хе-хе! Да что ты, боярыня, винца не отведаешь? А впрочем, и не отведай! Это вино дрянь! Плюнь на него; я тебе другого принесу!

Мельник опять сбегал на мельницу и этот раз воротился с баклагою под мышкой и с серебряным кубком в руках.

– Вот вино так вино! – сказал он, нагибая баклагу над кубком. – Во здравие твое, боярыня! Это вино и с кубком подарил мне добрый

человек... зовут его Перстнем... хе-хе! Здесь много живет добрых людей в лесу: все они со мной в дружбе! Ешь, боярыня! Да что же ты сотов не ешь? Это соты не простые. Таких сотов за сто верст не найдешь. А почему они не простые? Потому что я пчелиное дело знаю лучше любого ведуна. Я не так, как другие! Я кажинное лето самый лучший улей в болото бросаю водяному дедушке: на тебе, дедушка, кушай! Хе-хе! А он, боярыня, дай бог ему здоровья, мою пасеку бережет. Ведь от него-то на земле и пчелы пошли. Как заездил он коня да бросил в болото, так от этого-то коня и пчелы отроились; а рыбаки-то, вишь, закинули невод да вместо рыбы и вытащили пчел... Эх, боярыня! мало ешь, мало пьешь! А вот посмотри, коли не заставлю тебя винца испить... слушай, боярыня! Во здравие... хе-хе! Во здравие князя... князя, то есть, не того, а Серебряного! Дай бог ему здоровья, вишь, как порубил того-то, то есть Вяземского-то! А боярин-то Дружина Андреич, хе-хе! Во здравие его, боярыня! Поживешь у меня денька два в похоронках, а потом куда хошь ступай, хошь к Дружине Андреичу, хошь к Серебряному,

мне какое дело! Во здравие твое!

Чудно и болезненно отозвались в груди Елены слова пьяного мельника. Самые сокровенные мысли ее казались ему известны; он как будто читал в ее сердце; лучина, воткнутая в стену, озаряла его сморщенное лицо ярким светом; серые глаза его были отуманены хмелем, но, казалось, проникали Елену насквозь. Ей опять сделалось страшно, она стала громко молиться.

– Хе-хе! – сказал мельник, – молись, молись, боярыня, я этого не боюсь... меня молитвой не испугаешь, ладаном не выкуришь... я сам умею причитывать... я не какой-нибудь такой... меня и водяной дед знает, и лесовой дед... меня знают русалки... и ведьмы... и кикиморы... меня все знают... меня... меня... вот хошь, я их позову? Шикалу! Ликалу!

– Господи! – прошептала Елена.

– Шикалу! Ликалу! Что? нейдут? Постой, я их приведу! Буду, буду!

Старик встал и, шатаясь и приплясывая, вышел из каморы. Елена в ужасе заперла за ним дверь. Долго мельник разговаривал за дверью сам с собою.

– Меня все знают! – повторял он хвастливым, но уже неверным голосом, – и лесовой дед... и водяной дед... и русалки... и кикиморы... я не какой-нибудь такой!.. меня все знают! Буду, буду!

Слышно было, как старик плясал и притопывал ногами. Потом голос его стал слабеть, он лег на землю, и вскоре раздался его храпение, которое во всю ночь сливалось с шумом мельничного колеса.

ГЛАВА 18. Старый знакомый

На другой день после разорения морозовского дома пожилой ратник пробирался на вороной лошади в дремучем лесу. Он беспрестанно снимал шапку и к чему-то прислушивался.

– Тише, Галка, полно те фыркать, – говорил он, трепля лошадь по крутой шее, – вишь, какая неугомонная, ничего расслушать не даст. Фу ты пропасть, никак и места не спознаю! Все липа да орешник, а когда в ту пору ночью ехали, кажись, смолою попахивало!

И всадник продолжал путь свой.

– Постой, Галка! – сказал он вдруг, натянув

поводья, – вот теперь опять как будто слышу! Да стой ты смирно, эк тебя разбирает! И вправду слышу! Это уж не лист шумит, это мельничное колесо! Вишь, она, мельница, куда запряталась! Только уж постой! Теперь от меня не уйдешь, тетка твоя подкурятина!

И Михеич, как будто опасаясь опять сбиться с дороги, пустился во всю прыть по направлению шума.

– Ну, слава ти, господи, – сказал он, когда между деревьями стал виднеться поросший мхом сруб с вертящимся колесом, – насилу-то догнал; а то ведь чуть было не уморился: то впереди шум, то за самую спиной, ничего не разберешь! Вот она и мельница! Вон с той стороны мы в ту пору с боярином подъехали, когда станичники-то дорогу указывали. Да как же это опять будет? В ту пору колесо было справа, а теперь слева; в ту пору камора стояла окном к мельнице, а дверью к лесу, а теперь стоит окном к лесу, а дверью к мельнице! Тьфу ты, уж этот мне мельник! Вишь, как глаза отводит! Недаром же я и колесил целый день круг этого места; кабы не боярина выручать, ни за что бы сюда не приехал!

Михеич слез с своей Галки, привязал ее к дереву, подошел с некоторою боязнию к мельнице и постучался в дверь.

– Хозяин, а хозяин!

Никто не отвечал.

– Хозяин, а хозяин!

Внутри мельницы было молчание: только жернова гудели да шестерни постукивали.

Михеич попытался толкнуть дверь; она была заперта.

«Да что он, седой черт, спит али притаился?» – подумал Михеич и стал изо всей мочи стучать в дверь и руками и ногами. Ответу не было. Михеич начал горячиться.

– Эй ты, хрен! – закричал он, – вылезай, не то огоньку подложу!

Раздался кашель, и сквозь небольшое отверстие над дверью показалась белая борода и лицо, изрытое морщинами, среди которых светились два глаза ярко-серого цвета. Михеичу стало неловко в присутствии мельника.

– Здравствуй, хозяин! – сказал он ласковым голосом.

– Господь с тобою! – отвечал мельник, – чего тебе, добрый человек?

– Аль не узнал меня, хозяин? Ведь я у тебя ономнясь с боярином ночевал.

– С князем-то? Как не узнать, узнал! Что ж, батюшка, с чем бог принес?

– Да что ж ты, хозяин, забился, как филин в дупло! Или меня впусти, или сам выйди; так говорить несподручно!

– Постой, батюшка, дай только хлебушка подсыпать, вот я к тебе сейчас выйду!

«Да! – подумал Михеич, – посмотрел бы я, какого ты, чертов кум, хлеба подсыпешь? Я чай, кости жидовские ведьмам на муку перемалываешь! Тут и завозу быть не может; вишь, какая глушь, и колеи-то все травой заросли!»

– Ну вот, батюшка, я к тебе и вышел, – сказал мельник, тщателью запирая за собою дверь.

– Насилу-то вышел! Довольно ты поломался, хозяин.

– Да что, куманек, живу ведь не на базаре, в лесу. Всякому отпирать не приходится; далеко ли до беды: видно, что человек, а почему знать, хлеб ли святой у него под полой или камень булыжник!

«Вишь, мухомор! – подумал Михеич, – прикидывается, что разбойников боится, а я чай, нет лешего, с которым бы детей не крестил!»

– Ну, батюшка, что тебе до меня? Ты мне расскажи, а я послушаю!

– Да вот что, хозяин: беда случилась, хуже смерти пришлось; схватили окаянные опричники господина моего, повезли к Слободе с великою крепостью, сидит он теперь, должно быть, в тюрьме, горем крутит, горе мыкает; а за что сидит, одному богу ведомо; не сотворил никакого дурна ни перед царем, ни перед господом; постоял лишь за правду, за боярина Морозова да за боярыню его, когда они лукавством своим, среди веселья, на дом напали и дотла разорили.

Глаза мельника приняли странное выражение.

– Ох-ох-ох! – сказал он – худо, кормилец; худо, кормилец; худо карасю, когда в шум заплывет. Худо князю твоему в темнице сидеть, хуже Морозову без жены молодой, еще хуже Вяземскому от чужой жены!

Михеич удивился.

– Да ты почем знаешь, что Вяземский Мо-

розова жену увез? Я тебе ничего про это не сказывал!

– Эх, куманек, не то одно ведомо, что сказывается; иной раз далеко в лесу стукнет, близко отзовется; когда под колесом воды убыло, знать есть засуха и за сто верст, и будет хлебу недород велик, а наш брат, старик, живи себе молча; слушай, как трава растет, да мотай себе за ухо!

– Что ж, хозяин, уж не знаешь ли, как помочь боярину? Я вот все думал да гадал, раскидывал умом-разумом, ничего не придумал. Пойду, говорю, к доброму человеку, попрошу совета. Да, признаться, и тот молодец на уме все мотался, что проводил-то нас до тебя. Говорил мне тогда: коли понадобится, говорит, боярину, приходи, говорит, на мельницу, спроси у дедушки, где Ванюха Перстень, а я, говорит, рад боярину служить; за него, говорит, и живот положу! Вот я к тебе и приехал, хозяин; сделай божескую милость, научи, как боярина вызволить. А научишь, уж не забудет тебя князь Никита Романыч, да и я, горемычный, буду вечным слугою твоим.

«Провалиться бы тебе сквозь землю, тетка

твоя подкурятина, – прибавил мысленно Михеич, – вот кому довелось кланяться!»

– Что ж, батюшка, почему не попытаться горю пособить. Плохо дело, что и говорить, да ведь ухватом из поломя горшки вымаются, а бывает инольды, и зернышко из-под жернова цело выскочит; всяко бывает, какое кому счастье!

– Оно так, хозяин, при счастье и петушок яичко снесет, а при несчастье и жук забодает, только бью тебе челом, научи уму-разуму, что мне теперь делать?

Мельник опустил голову и стал как будто прислушиваться к шуму колеса.

Прошло несколько минут. Старик покачал головой и заговорил, не обращая внимания на Михеича:

«Ходит, ходит колесо кругом, что было высоко, то будет низко, что было низко, будет высоко; слышу, далеко звонит колокол, невесть на похороны, невесть на свадьбу; а кого венчать, кого хоронить, не слышать, вода шумит, не видать за великим дымом!

Слетаются вороны издалека, кличут друг друга на богатый пир, а кого клевать, кому

очи вымать, и сами не чуют, летят да кричат! Наточен топор, наряжен палач; по дубовым доскам побегут, потекут теплой крови ручьи; слетят головы с плеч, да неведомо чьи!»

Михеич струсил.

– Что ты, дедушка, говоришь такое, да еще и причитываешь, словно по покойнике?

Мельник, казалось, не слышал Михеича. Он уже ничего не говорил, но только бормотал себе что-то под нос. Губы его без умолку шевелились, а серые глаза смотрели тускло, как будто ничего не видели.

– Дедушка, а дедушка! – и Михеич дернул его за рукав.

– А? – отозвался мельник и обратился к Михеичу, будто теперь только его заметил.

– Что ты бормочешь, дедушка?

– Эх, куманек! Много слышится, мало скаывается. Ступай теперь путем-дорогой мимо этой сосны. Ступай все прямо; много тебе будет поворотов и вправо и влево, а ты все прямо ступай; верст пять проедешь, будет в стороне избушка, в той избушке нет живой души. Подожди там до ночи, придут добрые люди, от них больше узнаешь. А обратным пу-

тем заезжай сюда, будет тебе работа; залетела жар-птица в западню; отвезешь ее к царю Далмату, а выручку пополам!

И, не дожидаясь ответа, старик вошел в мельницу и запер за собою дверь.

– Дедушка! – закричал ему вслед Михеич, – да скажи мне толком, про каких ты людей говоришь, про какую птицу?

Но мельник не отозвался на голос Михеича, и сколько тот ни прислушивался, он ничего не мог услышать, кроме шума воды и стука колес.

«Вишь, тетка его подкурятина! – подумал Михеич, – куда вздумал посылать! Верст пять будет избушка, в ней жди до ночи, а там черт знает кто придет, больше скажет. Послал бы я тебя самого туда, хрен этакий! Кабы не боярин, уж я бы дал тебе! Вишь, какой, в самом деле! Тьфу! Ну, Галка, нечего делать, давай искать чертовой избушки!»

И, сев на коня, Михеич присвистнул и пустился рысцой по направлению, указанному мельником.

ГЛАВА 19. Русский человек добро ПОМНИТ

Было уже поздно, когда Михеич увидел в стороне избушку, черную и закоптевшую, похожую больше на полуистлевший гриб, чем на человеческое жилище. Солнце уже зашло. Полосы тумана стлались над высокою травой на небольшой расчищенной поляне. Было свежо и сыро. Птицы перестали щебетать, лишь иные время от времени зачинали сонную песнь и, не окончив ее, засыпали на ветвях. Мало-помалу и они замолкли, и среди общей тишины слышно было лишь слабое журчанье невидимого ручья да изредка жужжание вечерних жуков.

– Вишь, куда заехали, – сказал Михеич, оглядываясь кругом, – и подлинно тут живой души нет! Подожду, посмотрю, кто такой придет, какого даст совета? Ну, а коли, не дай бог, кто-нибудь такой придет, что... тьфу! С нами крестная сила! Дал бы я карачуна этому мельнику, кабы не боярина выручать.

Михеич слез с своей Галки, стреножил ее путами, снял узду и пустил лошадку на волю

божию.

– Щипли себе травку, – сказал он, – а я войду в избу, коли дверь не заперта, посмотрю, нет ли чего перекусить! Хозяйство, может, хоть и недоброе, да ведь и голод не тетка!

Он толкнул ногой низенькую косую дверь; странно раздался в этом безлюдном месте ее продолжительный скрип, почти похожий на человеческий плач. Когда наконец, повернувшись на петлях, она ударилась в стену, Михеич нагнулся и вошел в избу. Его обдало темнотой и запахом остывшего дыма. Пошарив кругом, он оцупал на столе краюху хлеба и принялся убирать ее за обе щеки. Потом подошел к очагу, порылся в золе, нашел там горячие уголья, раздул их не без труда и зажег лучину, валявшуюся на лавке. Между печью и стеною были укреплены полати. На них лежало разное платье, между прочим один парчовый кафтан, шитый хоть бы на боярина. На стене висела мисюрка с богатою золотою насечкой. Но более всего привлек внимание Михеича стоявший на косяке образ, весь почерневший от дыма. Он примирил его с неизвестными хозяевами.

Михеич несколько раз на него перекрестился, потом погасил лучину, влез на полати, растянулся, побряхтел и заснул богатырским сном. Он спал довольно сладко, когда внезапный удар кулаком в бок свалил его с полатей.

– Это что? – вскричал Михеич, проснувшись уже на голой земле, – кто это дерется? смотри, тетка твоя...

Перед ним стоял детина со включенною бородой, с широким ножом за поясом и готовился попотчевать его новым ударом кулака.

– Не замай! – сказал ему другой дюжий парень, у которого только что ус пробивался, – что он тебе сделал? А? – При этом он оттер товарища плечом, а сам уставился на Михеича и выпучил глаза.

– Ишь, сядой! – заметил он с каким-то почтительным удивлением.

– Да ты, тюлень, чего ввязался! – закричал на него первый, – что он тебе, отец али сват?

– А то он мне, что старик. Ишь, сядой, потому старик. Я те говорю, не тронь, осерчаю!

Громкий смех раздался между людьми, вошедшими толпою в избу.

– Эй, Хлопко, – сказал один из них, – берегись! Коли Митька осерчает, плохо будет! С ним, брат, не связывайся!

– Леший с ним свяжется! – отвечал Хлопко, отходя в сторону. – Жили, жили в лесу, да и нажили медведя!

Другие молодцы, все вооруженные, обступили Михеича и смотрели на него не слишком ласково.

– Откуда кожан залетел? – спросил один из них, глядя ему прямо в глаза.

Михеич между тем успел оправиться.

«Эге! – подумал он, – да это они-то и есть, станичники-то!»

– Здравствуйте, добрые люди! А где у вас тот, что зовут Ванюхой Перстнем?

– Так тебе атамана надо? Чего ж ты прежде не говорил? Сказал бы сразу, так не отведал бы тумака!

– А вот и атаман! – прибавил другой, указывая на Перстня, который только что вошел в сопровождении старого Коршуна.

– Атаман! – закричали разбойники, – вот пришел человек, про тебя спрашивает!

Перстень окинул быстрым оком Михеича

и тотчас узнал его.

– А, это ты, товарищ! – сказал он, – добро пожаловать! Ну, что его княжеская милость, как здравствует с того дня, как мы вместе Малютиных опричников щелкали? Досталось им от нас на Поганой Луже! Жаль только, что Малюта Лукьяныч ускользнул да что этот увалень, Митька, Хомяка упустил. Несдобровать бы им у меня в руках! Что, я чай, батюшка-царь куда как обрадовался, как царевича-то увидал! Я чай, не нашел, чем пожаловать князь Никиту Романыча!

– Да! – отвечал со вздохом Михеич, – жалует царь, да не жалует псарь! Батюшка-государь Иван Васильич, дай бог ему здоровья, так миловал господина моего. Только, видно, не угодил Никита Романыч опричникам окаянными. Правда, не за что им и любить нас. Перво в Медведевке мы их плетьюми отшлепали, да вдругорь на Поганой Луже Малюте оплеуху дали, да вот вчера на Москве боярин таки порубил их порядком. А они, окаянные, навалились на него многолюдством, опрокинули, связали, да и повезли к Слободе. Оно бы все ничего, да этот Малюта, песий сын, обне-

сет нас перед государем, выместит на князе свою оплеуху!

– Гм! – сказал Перстень, садясь на скамью, – так царь не велел повесить Малюту? Как же так? Ну, про то знает его царская милость. Что ж ты думаешь делать?

– Да что, батюшка Иван, не знаю, как и величать твое здоровье по изотчеству...

– Величай Ванюхой, и дело с концом!

– Ну, батюшка Ванюха, я и сам не знаю, что делать. Авось ты чего не пригадаешь ли? Ведь один-то ум хорош, а два лучше! Вот и мельник ни к кому другому, а к тебе послал: ступай, говорит, к атаману, он поможет; уж я, говорит, по приметам вижу, что ему от этого будет всякая удача и корысть богатая! Ступай, говорит, к атаману!

– Ко мне! Так и сказал, ко мне?

– К тебе, батюшка, к тебе. Ступай, говорит, к атаману, отдай от меня поклон, скажи, чтобы во что б ни стало выручил князя. Я-де, говорит, уж вижу, что ему от этого будет корысть богатая, по приметам, дескать, вижу. Пусть, во что б ни стало, выручит князя! Я-де, говорит, этой службы не забуду. А не выручит

атаман князя, всякая, говорит, будет напасть на него; исчахнет, говорит, словно былинка; совсем, говорит, пропадет!

– Вот что! – сказал Перстень, потупя голову и как будто задумавшись. – Ужель и вправду исчахну?

– Да, батюшка, и руки и ноги, говорит, отсохнут; а на голове такая, говорит, пойдет дрянь, что не приведи господи!

Перстень поднял голову и пристально взглянул на Михеича.

– А еще ничего не сказал мельник?

– Как же, батюшка! – продолжал Михеич, поглядывая сбоку на дымящийся горшок щей, который разбойники поставили на стол, – еще мельник сказал так: скажи, дескать, атаману, чтоб он тебя накормил и напоил хорошенько, примерно, как бы самого меня. А главное, говорит, чтоб выручил князя. Вот что, батюшка, мельник сказал.

И Михеич посматривал на атамана, изведывая, какое впечатление произвели его слова?

Но Перстень взглянул на него еще пристальнее и вдруг залился самым громким, са-

мым веселым смехом.

– Эх, старина, старина! Так тебе и вправду мельник сказал, что коли не выручу князя, так вот и пропаду?

– Да, батюшка, – отвечал стремянный, немного запинаясь, – и руки и ноги...

– Хитер же ты, брат! – перебил Перстень, ударив его по плечу и продолжая смеяться, – только меня-то напрасно надувать вздумал! Садись с нами, – прибавил он, придвигаясь к столу, – хлеб да соль! На тебе ложку, повечеряем; а коли можно помочь князю, я и без твоих выдумок помогу. Только как и чем помочь? Ведь князь-то в тюрьме сидит?

– В тюрьме, батюшка.

– В той самой, что на площади, у Малютина дома?

– Да уж ни в какой другой. Эта будет покрепче!

– А ключи ведь у кого? У Малюты?

– Да как были мы в Слободе, так, бывало, видели, как он хаживал в тюрьму пытаться людей. Ключи, бывало, всегда с ним. А к ночи, бывало, он их к царю относит, а уж царь, всем ведомо, под самое изголовье кладет.

– Ну так вишь ли! – сказал Перстень, опуская ложку в щи, – какой тут бес твоему князю поможет? Ну говори сам: какой бес ему поможет?

Михеич почесал затылок.

– Так ты видишь, что нельзя помочь?

– Вижу, – отвечал Михеич и ложку бросил. – Стало, и мне не жить на белом свете! Пойду к господину, сложу старую голову подле его головы, стану ему на том свете служить, коль на этом заказано!

– Ну, ну, уж и отходную затянул! Еще, может, князь твой и не в тюрьме. Тогда и плакать нечего; а коли в тюрьме, так дай подумать... Слободу-то я хорошо знаю; я туда прошедшего месяца медведя водил, и дворец знаю, все высмотрел; думал себе: когда-нибудь пригодится!.. Постой, дай поразмыслить...

Перстень задумался.

– Нашел! – вскричал он вдруг и вскочил с места. – Дядя Коршун! Нас с тобой князь от смерти спас – спасем и мы его; теперь наша очередь! Хочешь идти со мной на трудное дело?

Старый разбойник нахмурился и покачал кудрявою головой.

– Что, Коршун, нешто не хочется тебе?

– Да что ты, атаман, с ума, что ли, спятил? Аль не слышал, где сидит князь? Аль не слышал, что ключи днем у Малюты, а ночью у царя под изголовьем? Что тут делать? Плетью обуха не перешибешь. Пропал он, так и пропал! Нешто из-за него и нам пропадать? Легче ему, что ли, будет, когда с нас шкуру сдерут?

– Оно так, Коршун, да ведь недаром пословица говорится: долг платежом красен! Ведь не спаси нас в то время князь, где бы мы теперь были? Висели бы где-нибудь на березе, ветер бы нас покачивал! А каково-то ему теперь? Я чай, думает себе: вот, я в ту пору ребятушек вызволил из беды, теперь и они меня вызволят! А как бросим мы его, да как поведают его казнить, – тьфу! скажет, – чтой-то за люди были, воровать-разбойничать умеют, а добра-то не помнят! Только, скажет, кровь неповинную проливают, а христианина спасти не их дело! Я, скажет, за них господу богу и доброго слова не замолвлю! Пусть себе, скажет, и на этом свету и на том пропадают! Вот

что скажет князь!

Коршун еще более нахмурил брови. Внутренняя борьба отразилась на суровом лице его. Заметно было, что Перстень удачно тронул живую струну в очерствелом его сердце.

Но недолго продолжалась эта борьба. Старик махнул рукою.

– Нет, брат, – сказал он, – пустое затеваешь; своя рубаха ближе к телу! Не пойду!

– Ну нет так нет! – сказал Перстень. – Подождем утра, авось что другое придумаем, утро вечера мудренее! А теперь, ребяташки, пора бы и соснуть! Кто может богу молиться, молись, а кто не может, так ложись!

Атаман посмотрел искоса на Коршуна. Видно, знал он что-нибудь за стариком, ибо Коршун слегка вздрогнул и, чтоб никто того не заметил, стал громко зевать, а потом напевать себе что-то под нос.

Разбойники встали. Иные тотчас влезли на полати; другие еще долго молились перед образом. Из числа последних был Митька. Он усердно клал земные поклоны, и если б одежда и вооружение не обличали ремесла его, никто бы по добродушному лицу Митьки не

узнал в нем разбойника.

Не таков был старый Коршун. Когда все улеглись, Михеич увидел при слабом мерцании огня, как старик слез с лежанки и подошел к образу. Несколько раз он перекрестился, что-то пробормотал и наконец сказал с сердцем:

– Нет, не могу! А чаял, будет легче сегодня!

Долго слышал Михеич, как Коршун ворочался с боку на бок, ворчал что-то про себя, но не мог заснуть. Перед рассветом он разбудил атамана.

– Атаман, – сказал он, – а атаман!

– Чего тебе, дядя?

– Пожалуй, я пойду с тобой; веди куда знаешь!

– Что так?

– Да так, спать не могу. Вот уж которую ночь не спится.

– А назад не попятишься?

– Уж сказал иду, так не попячусь!

– Ну, ладно, дядя Коршун, спасибо! Теперь только бы еще одного товарища, а более не надо! Много ли ночи осталось?

– Уж, слышно, птахи заиграли.

– Ну, так уже вволю полежано, и вставать пора, Митька! – сказал Перстень, толкая под бок Митьку.

– А? – отвечал, раскрыв глаза, парень.

– Хочешь идти с нами?

– Кудь?

– Тебе что за дело? Спрашивают тебя, хочешь ли идти со мной да с дедушкой Коршунном?

– А для ча? – отвечал Митька, зевая, и свесил ноги с полатей.

– Ну, за это люблю. Иди куда поведут, а не спрашивай: кудь? Расшибут тебе голову, не твое дело, про то мы будем знать, а тебе какая нужда! Ну, смотри ж, взялся за гуж, не говори: не дуж; попятисься назад, раком назову!

– Ня назовешь! – отвечал Митька и стал обертывать ноги онучами.

Разбойники начали одеваться.

В чем состояла выдумка Перстня и удачно ли он исполнил ее, – узнаем из следующих глав.

ГЛАВА 20. Веселые люди

В глубокой и темной тюрьме, которой мокрые стены были покрыты плесенью, сидел князь Никита Романович, скованный по рукам и ногам, и ожидал себе смерти. Не знал он наверно, сколько прошло дней с тех пор, как его схватили, ибо свет ниоткуда не проникал в подземелье; но время от времени доходил до слуха его отдаленный благовест, и, соображаясь с этим глухим и слабым звоном, он рассчитал, что сидит в тюрьме более трех дней. Брошенный ему хлеб был уже давно съеден, оставленный ковш с водою давно выпит, и голод и жажда начинали его мучить, как непривычный шум привлек его внимание. Над головой его отпирали замок. Заскрипела первая, наружная дверь темницы. Шум раздался ближе. Загремел другой замок, и вторая дверь заскрипела. Наконец отперли третью дверь, и слышались шаги, спускающиеся в подземелье. Сквозь щели последней двери блеснул огонь, ключ с визгом повернулся, несколько засовов отодвинулось, ржавые петли застонали, и яркий, нестерпимый

свет ослепил Серебряного.

Когда он опустил руки, которыми невольно закрыл глаза, перед ним стояли Малюта Скуратов и Борис Годунов. Сопровождавший их палач держал высоко над ними смоляный светоч.

Малюта, скрестив руки, глядел, улыбаясь, в лицо Серебряному, и зрачки его, казалось, сжимались и расширялись.

– Здравствуй, батюшка-князь! – проговорил он таким голосом, которого никогда еще не слыхивал Никита Романович, голосом протяжно-вкрадчивым и зловеще-мягким, напоминающим кровожадное мяуканье кошки, когда она подходит к мышеловке, в которой сидит пойманная мышь.

Серебряный невольно содрогнулся, но вид Годунова подействовал на него благотворно.

– Борис Федорович, – сказал он, отворачиваясь от Малюты, – спасибо тебе, что ты посетил меня. Теперь и умереть будет легче!

И он протянул к нему скованную руку. Но Годунов отступил назад, и на холодном лице его ни одна черта не выразила участия к князю.

Рука Серебряного, гремя цепью, опять упала к нему на колени.

– Не думал я, Борис Федорович, – сказал он с упреком, – что ты отступишься от меня. Или ты только пришел на мою казнь посмотреть?

– Я пришел, – ответил спокойно Годунов, – быть у допроса твоего вместе с Григорьем Лукьяновичем. Отступаться мне не от чего; я никогда не мыслил к тебе и только, ведая государево милосердие, остановил в ту пору заслуженную тобою казнь!

Сердце Серебряного болезненно сжалось, и перемена в Годунове показалась ему тяжелее самой смерти.

– Время милосердия прошло, – продолжал Годунов хладнокровно, – ты помнишь клятву, что дал государю? Покорись же теперь его святой воле, и если признаешься нам во всем без утайки, то минуешь пытку и будешь казнен скорою смертью. Начнем допрос, Григорий Лукьянович!

– Погоди, погоди маленько! – отвечал Малюта, улыбаясь. – У меня с его милостью особые счета! Укороти его цепи, Фомка, – сказал он палачу.

И палач, воткнув светоч в железное кольцо, вделанное в стену, подтянул руки Серебряного к самой стене, так что он не мог ими двинуть.

Тогда Малюта подступил к нему ближе и долго смотрел на него, не изменяя своей улыбки.

– Батюшка, князь Никита Романыч! – заговорил он наконец, – не откажи мне в милости великой!

Он стал на колени и поклонился в землю Серебряному.

– Мы, батюшка-князь, – продолжал он с насмешливою покорностью, – мы перед твоею милостью малые люди; таких больших бояр, как ты, никогда еще своими руками не казнили, не пытавали и к допросу-то приступить робость берет! Кровь-то, вишь, говорят, не одна у нас в жилах течет...

И Малюта остановился, и улыбка его сделалась ядовитее, и глаза расширились более, и зрачки запрыгали чаще.

– Дозволь, батюшка-князь, – продолжал он, придавая своему голосу умоляющее выражение, – дозволь перед допросом, для смелого

сти-то, на твою боярскую кровь посмотреть!

И он вынул из-за пояса нож и подполз на коленях к Серебряному.

Никита Романович рванулся назад и взглянул на Годунова.

Лицо Бориса Федоровича было неподвижно.

– А потом, – продолжал, возвышая голос, Малюта, – потом дозвожь мне, худородному, из княжеской спины твоей ремней выкроить! Дозвожь мне, холопу, боярскую кожу твою на конский чепрак снять! Дозвожь мне, смрадному рабу, вельможным мясом твоим собак моих накормить!

Голос Малюты, обыкновенно грубый, теперь походил на визг шакала, нечто между плачем и хохотом.

Волосы Серебряного стали дыбом. Когда в первый раз Иоанн осудил его на смерть, он твердо шел на плаху; но здесь, в темнице, скованный цепями, изнуренный голодом, он не в силах был вынести этого голоса и взгляда.

Малюта несколько времени наслаждался произведенным им действием.

– Батюшка-князь, – взвизгнул он вдруг,

бросая нож свой и подымаясь на ноги, – дозвожь мне прежде всего тебе честно долг заплатить!

И, стиснув зубы, он поднял ладонь и замахнулся на Никиту Романовича.

Кровь Серебряного отхлынула к сердцу, и к негодованию его присоединился тот ужас омерзения, какой производит на нас близость нечистой твари, грозящей своим прикосновением.

Он устремил отчаянный взор свой на Годунова. В эту минуту, подъятая рука Малюты остановилась на воздухе, схваченная Борисом Федоровичем.

– Григорий Лукьянович, – сказал Годунов, не теряя своего спокойствия, – если ты его ударишь, он расшибет себе голову об стену, и некого будет нам допрашивать. Я знаю этого Серебряного.

– Прочь! – заревел Малюта, – не мешай мне над ним потешиться! не мешай отплатить ему за Поганую Лужу!

– Опомнись, Григорий Лукьянович! мы отвечаем за него государю!

И Годунов схватил Малюту за обе руки.

Но как дикий зверь, почуявший кровь, Малюта ничего уже не помнил. С криком и проклятиями вцепился он в Годунова и старался опрокинуть его, чтобы броситься на свою жертву. Началась между ними борьба; светоч, задетый одним из них, упал на землю и погас под ногою Годунова.

Малюта пришел в себя.

– Я скажу государю, – прохрипел он, задыхаясь, – что ты стоишь за его изменника!

– А я, – ответил Годунов, – скажу государю, что ты хотел убить его изменника без допроса, потому что боишься его показаний!

Нечто вроде рычания вырвалось из груди Малюты, и он бросился из темницы, позвав с собою палача.

Между тем как они ощупью взбирались по лестнице, Серебряный почувствовал, что ему отпускают цепи и что он опять может двигаться.

– Не отчаивайся, князь! – шепнул ему на ухо Годунов, крепко сжимая его руку, – главное – выиграть время!

И он поспешил вслед за Малютой, заперев предварительно за собою дверь и тщательно

задвинув засовы.

– Григорий Лукьянович, – сказал он Скуратову, догнав его у выхода и подавая ему ключи в присутствии стражи, – ты не запер тюрьмы. Этак делать не годится; неравно, подумают, ты заодно с Серебряным!

В то самое время, как описанное происходило в тюрьме, Иоанн сидел в своем тереме, мрачный и недовольный. Незнакомое ему чувство мало-помалу им овладело. Чувство это было невольное уважение к Серебряному, которого смелые поступки возмущали его самодержавное сердце, а между тем не подходили под собственные его понятия об измене. Доселе Иоанн встречал или явное своеволие, как в боярах, омрачавших своими раздорами время его малолетства, или гордое непокорство, как в Курбском, или же рабскую низкопоклонность, как во всех окружавших его в настоящее время. Но Серебряный не принадлежал ни к одному из этих разрядов. Он разделял убеждения своего века в божественной неприкосновенности прав Иоанна; он умственно подчинялся этим убеждениям и, более привыкший действовать, чем мыслить,

никогда не выходил преднамеренно из повиновения царю, которого считал представителем божией воли на земле. Но несмотря на это, каждый раз, когда он сталкивался с явной несправедливостью, душа его вскипала негодованием, и врожденная прямота брала верх над правилами, принятыми на веру. Он тогда, сам себе на удивление и почти бессознательно, действовал наперекор этим правилам, и на деле выходило совсем не то, что они ему предписывали. Эта благородная непоследовательность противоречила всем понятиям Иоанна о людях и приводила в замешательство его знание человеческого сердца. Откровенность Серебряного, его неподкупное прямодушие и неспособность преследовать личные выгоды были очевидны для самого Иоанна. Он понимал, что Серебряный его не обманет, что можно на него вернее положиться, чем на кого-либо из присяжных опричников, и ему приходило желание приблизить его к себе и сделать из него свое орудие; но вместе с тем он чувствовал, что орудие это, само по себе надежное, может неожиданно ускользнуть из рук его, и при одной

мысли о такой возможности расположение его к Серебряному обращалось в ненависть. Хотя подвижная впечатлительность Иоанна и побуждала его иногда отказываться от кровавых дел своих и предаваться раскаянию, но то были исключения; в обыкновенное же время он был проникнут сознанием своей непогрешимости, верил твердо в божественное начало своей власти и ревниво охранял ее от посторонних посягательств; а посягательством казалось ему всякое, даже молчаливое осуждение. Так случилось и теперь. Мысль простить Серебряного мелькнула в душе его, но тотчас же уступила место убеждению, что Никита Романович принадлежит к числу людей, которых не должно терпеть в государстве.

«Аще, – подумал он, – целому стаду, идущу одесную, единая овца идет ошую, пастырь ту овцу изъемлет из стада и закланию предает!» Так подумал Иоанн и решил в сердце своем участь Серебряного. Казнь ему была назначена на следующий день; но он велел снять с него цепи и послал ему вина и пицци от своего стола. Между тем, чтобы разогнать впечат-

ления, возбужденные в нем внутреннею борьбою, впечатления непривычные, от которых ему было неловко, он вздумал проехаться в чистом поле и приказал большую птичью охоту.

Утро было прекрасное. Сокольничий, подсокольничий, начальные люди и все чины сокольничья пути выехали верхами, в блестящем убранстве, с соколами, кречетами и челигами на рукавицах и ожидали государя в поле.

Недаром искони говорилось, что полевая потеха утешает сердца печальные, а кречетья добыча веселит весельем радостным старого и малого. Сколь ни пасмурен был царь, когда выехал из Слободы с своими опричниками, но при виде всей блестящей толпы сокольников лицо его прояснилось. Местом сборища были заповедные луга и перелески верстах в двух от Слободы по Владимирской дороге.

Сокольничий, в красном бархатном кафтане с золотою нашивкой и золотою перевязью, в парчовой шапке, в желтых сапогах и в нарядных рукавицах, слез с коня и подошел к Иоанну, сопровождаемый подсокольничим,

который нес на руке белого кречета, в клубучке и в колокольцах.

Поклонившись до земли, сокольничий спросил:

– Время ли, государь, веселью быть?

– Время, – отвечал Иоанн, – начинай веселье!

Тогда сокольничий подал царю богатую рукавицу, всю испещренную золотыми притчами, и, приняв кречета от подсокольничего, посадил его государю на руку.

– Честные и доброхвальные охотники! – сказал сокольничий, обращаясь к толпе опричников, – забавляйтесь и утешайтесь славною, красною и премудрою охотой, да исчезнут всякие печали и да возрадуются сердца ваши!

Потом, обратясь к сокольникам:

– Добрые и прилежные сокольники, – сказал он, – напускайте и добывайте!

Тогда вся пестрая толпа сокольников рассеялась по полю. Иные с криком бросились в перелески, другие поскакали к небольшим озерам, разбросанным как зеркальные осколки между кустами. Вскоре стаи уток подня-

лись из камышей и потянулись по воздуху.

Охотники пустили соколов. Утки бросились было обратно к озерам, но там встретили их другие соколы, и они в испуге разметались, как стрелы, по всем направлениям.

Соколы, дермлиги и разные челиги, ободряемые криками поддатней, нападали на уток, кто вдогонку, кто наперехват, кто прямым боем, сверху вниз, падая, как камень, на спину добычи.

Отличились в этот день и Бедряй, и Смеляй, сибирские челиги, и Арбаси Анпрас, соколы-дикомыты, и Хорьяк, и Худяк, и Малец, и Палец. Досталось от них и уткам и тетеревам, которых рядовые сокольники выпугивали бичами из зарослей. Чуден и красносмотрителен был лет разнопородных соколов. Тетерева беспрестанно падали, кувыркаясь в воздухе. Несколько раз утки в отчаянье бросались лошадям под ноги и были схвачены охотниками живьем. Не обошлось и без наклада. Молодик Гамаюн, бросившись с высоты на старого косача, летевшего очень низко, ударился грудью оземь и убился на месте.

Астрец и Сородум, два казанские розмытя,

улетели из виду охотников, несмотря ни на свист поддатней, ни на голубиные крылья, которыми они махали.

Но всех славнее и удивительнее выказал себя царский кречет, честник, по прозванию Адраган. Два раза напускал его царь, и два раза он долго оставался в воздухе, бил без промаху всякую птицу и, натешившись вдоволь, спускался опять на золотую рукавицу царя. В третий раз Адраган пришел в такую ярость, что начал бить не только полевую птицу, но и самих соколов, которые неосторожно пролетали мимо него. Сокол Смышляй и соколий челиг Кружок упали на землю с подрезанными крыльями. Тщетно царь и все бывшие при нем сокольники манили Адрагана на красное сукно и на птичьи крылья. Белый кречет чертил в небе широкие круги, подымался на высоту невидимую и подобно молнии стремился на добычу; но вместо того чтоб опускаться за нею на землю, Адраган после каждой новой победы опять взмывал кверху и улетал далеко.

Сокольник, потеряв надежду достать Адрагана, поспешил подать царю другого кре-

чета. Но царь любил Адрагана и припечалился, что пропала его лучшая птица. Он спросил у сокольничего, кому из рядовых указано держать Адрагана? Сокольничий отвечал, что указано рядовому Тришке.

Иоанн велел позвать Тришку. Тришка, чуя беду, явился бледный.

– Человече, – сказал ему царь, – так ли ты блюдешь честника? На что у тебе вабило, коли ты не умеешь наманить честника? Слушай, Тришка, отдаю в твои руки долю твою: коли достанешь Адрагана, пожалую тебя так, что никому из вас такого времени не будет; а коли пропадет честник, велю, не прогневайся, голову с тебя снять, – и то будет всем за страх; а я давно замечаю, что нет меж сокольников доброго строения и гибнет птичья потеха!

При последних словах Иоанн покосился на самого сокольничего, который, в свою очередь, побледнел, ибо знал, что царь ни на кого не косится даром.

Тришка, не теряя времени, вскочил на конь и поскакал искать Адрагана, молясь своему заступнику, святому угоднику Трифону,

чтоб указал он ему потерянного кречета.

Охота меж тем шла своим чередом. Уже не по один час тешился государь, и уже много всякой добычи было ввязано в торока, как новое зрелище обратило на себя внимание Иоанна.

По Владимирской дороге тащились двое слепых, один средних лет, другой старик с седою кудрявою головой и длинною бородой. На них были белые, изношенные рубахи, а на полотенцах, перекинутых через плечи крестнакрест, висели с одной стороны мешок для сбирания милостыни, а с другой – изодраный кафтан, скинутый по случаю жары. Остальные пожитки, как-то: гусли, балалайки и торбу с хлебом, – они взвалили на дюжего молодого парня, служившего им вожатым. Сначала тот из слепых, который был помоложе, держался за плечо вожатого, а сам тащил за собою старика. Только молодой парень, видно, зазевался на охоту и забыл про товарищей. Слепые отстали от зрячего. Держась один за другого, они щупали землю высокими палками и часто спотыкались. Глядя на них, Иван Васильевич не мог удержаться от

смеха. Он подъехал к ним ближе. В это время передний слепой остутился, упал в лужу и потянул за собою товарища. Оба встали покрытые грязью, отплевываясь и браня вожака того, который смотрел, разиня рот, на блестящих опричников. Царь громко смеялся.

– Кто вы, молодцы? – спросил он. – Откуда и куда идете?

– Проваливай! – отвечал младший слепой, не снимая шапки, – много будешь знать, скоро состаришься.

– Дурень! – закричал один опричник, – аль не видишь, кто перед тобой!

– Сам ты дурень, – отвечал слепой, выкашив на опричника белки свои, – где мне видеть, коли глаз нетути. Вот ты – дело другое; у тебя без двух четыре, так видишь ты и дале и шире; скажи, кто передо мной, так буду знать!

Царь приказал молчать опричнику и ласково повторил вопрос свой.

– Мы люди веселые, – отвечал слепой, – исходили деревни и села, идем из Мурома в Слободу, бить баклуши, добрых людей тешить, кого на лошадь посадить, кого спешить!

– Вот как! – сказал царь, которому нравились ответы слепого, – так вы муромцы, кашники, вертячие бобы! А есть еще у вас богатыри в Муроме?

– Как не быть! – отвечал слепой, не запинаясь, – этот товар не переводится; есть у нас дядя Михей: сам себя за волосы на вершок от земли подымает; есть тетка Ульяна: одна ходит на таракана.

Все опричники засмеялись. Царю давно уже не было так весело.

«Вот и вправду веселые люди, – подумал он, – видно, что не здешние. Надоели мне уже мои сказочники. Всё одно и то же наладили, да уж и скоморохи мне наскучили. С тех пор как пошутил я с одним неосторожно, стали все меня опасаться; смешного слова не добьешься; точно будто моя вина, что у того дурака душа не крепко в теле сидела!»

– Слушай, молодец: что, сказки сказывать умеешь?

– Какова сказка, – отвечал слепой, – и кому сказывать. Вот мы ономясь рассказали старицкому воеводе сказку про козу косматую, да на свою шею: коза-то, вишь, вышла сама

воеводша, так он нас со двора и велел согнать, накостылявши затылок. Вперед не расскажем.

Трудно описать хохот, который раздался между опричниками. Старицкий воевода был в немилости у царя. Насмешка слепого пришла как нельзя более кстати.

– Слушайте, человеки, – сказал царь, – ступайте в Слободу, прямо во дворец, там ждите моего приезда, царь-де вас прислал. Да чтоб вас накормили и напоили, а приеду домой, послушаю ваших сказок!

При слове «царь» слепые оробели.

– Батюшка-государь! – сказали они, упав на колени, – не взыщи за нашу грубую, мужицкую речь! Не вели нам головы сечь, по неведению согрешили!

Царь усмехнулся испугу слепых и поехал опять в поле продолжать охоту, а слепые с вожатым побрели по направлению Слободы.

Пока толпа опричников могла их видеть, они держались один за другого и беспрестанно спотыкались, но лишь только поворот дороги скрыл их из виду, младший слепой остановился, оглянулся во все стороны и сказал

товарищу:

– А что, дядя Коршун, устал небось спотыкаться? Ведь пока дело-то недурно идет; что-то будет даде? Да чего ты так брови-то понасупил, дядя? Аль жаль тебе, что дело затеяли?

– Не то, – отвечал старый разбойник, – уж взялся идти, небось оглядываться не стану; да только вот сам не знаю, что со мной случилось; так тяжело на сердце, как отродясь еще не бывало, и о чем ни задумаю, все опять то же да то же на ум лезет!

– А что тебе лезет на ум?

– Слушай, атаман. Вот уж двадцать лет минуло с той поры, как тоска ко мне прикачнулась, привалилася, а никто ни на Волге, ни на Москве про то не знает; никому я ни слова не вымолвил; схоронил тоску в душе своей, да и ношу двадцать лет, словно жернов на шее. Пытался было раз говеть в великий пост, хотел попу все на духу рассказать, да молиться не смог – и говеть бросил. А вот теперь опять оно меня и душит и давит; кажется, вот как вымолвлю, так будет легче. Тебе-то сказать и не так тяжело, как попу: ты ведь и сам такой же, как я.

Глубокая грусть изображалась на лице Коршуна. Перстень слушал и молчал. Оба разбойника сели на краю дороги.

– Митька, – сказал Перстень вожатому, – садись-ка поодаль да гляди в оба; коли кого дозришь, махни нам; да смотри не забудь: ты глух и нем; слова не вырони!

– Добро, – сказал Митька, – нябось ня вырону!

– Типун тебе на язык, дурень этакий, нишкни! И с нами не говори. Привыкай молчать; не то как раз при ком-нибудь языком брякнешь, тогда и нас и тебя поминай как звали!

Митька отошел шагов на сто и лег на брюхо, уперев локти в землю, а подбородок в руки.

– Ведь добрый парень, – сказал Перстень, глядя ему вслед, – а глуп, хоть кол на голове теши. Пусти его только, разом проврется! Да нечего делать, лучше его нет; он, по крайней мере, не выдаст; постоит и за себя и за нас, коли, не дай бог, нам круто придется. Ну что, дядя, теперь никто нас не услышит: говори, какая у тебя кручина? Эх, не вовремя она тебя

навестила!

Старый разбойник опустил кудрявую голову и провел ладонью по лбу. Хотелось ему говорить, да начать было трудно.

– Вишь, атаман, – сказал он, – довольно я людей перегубил на своем веку, что и говорить! Смолоду полюбилась красная рубашка! Бывало, купец ли заартачится, баба ли запищит, хвачу ножом в бок – и конец. Даже и теперь, коли б случилось кого отправить – рука не дрогнет! Да что тут! не тебя уверять стать; я чай, и ты довольно народу на тот свет спровадил; не в диковинку тебе, так ли?

– Ну, что ж с того? – отвечал Перстень с приметным неудовольствием.

– Да то, что ни ты, ни я, мы не бабы, не красные девицы; много у нас крови на душе; а ты мне вот что скажи, атаман: приходилось ли тебе так, что как вспомнишь о каком-нибудь своем деле, так тебя словно клещами за сердце схватит и холодом и жаром обдаст с ног до головы, и потом гложет, гложет, так что хоть бы на свет не родиться?

– Полно, дядя, о чем спрашивать вздумал, не такое теперь время.

– Вот, – продолжал Коршун, – я много уж и позабыл дел своих, одного не могу забыть. Тому будет полсорока годов, жили мы на Волге, ходили на девяти стругах; атаманом был у нас Данило Кот; о тебе еще и помину не было, меня уже знали в шайке и тогда уже величали Коршуном. Разбивали мы и суда богатые, и пристани грабили, а что, бывало, добудем, то всегда поровну делим, и никакого спору Данило Кот не терпел. Кажется, чего бы лучше? Житье привольное, всегда сыты, одеты. Бывало, как нарядимся в цветные кафтаны, как заломим шапки, да ударим в весла, да затянем удалую, так в деревнях и городах народ на берег и валит, на молодцов посмотреть, на соколов ясных полюбоваться! А мы себе гребем да поем, во всю глотку заливаемся, из пищалей на ветер постреливаем, красным девкам подмигиваем. А иной раз, как посядем с копьями да с рогатинами, так струги наши словно лесом поросли! Хорошо было житье, да подбил меня бес проклятый. Думаю себе раз: что ж? я ведь больше других работаю, а корысть идет мне со всеми ровная! И положил себе на мысль: пойти одному на промы-

сел, зашибить добычи, да не отдавать в артель, а взять на себя одного. Оделся нищим, почитай как теперь, повесил на шею торбу, всунул засапожник за онучу, да и побрел себе по дороге к посаду, не проедет ли кто? Жду себе, жду: ни обозу, ни купца, никого не видать. Разобрала меня досада. Добро ж, говорю, не дает бог корысти, так теперь кто б ни прошел, будь он хоть отец родной, дочиста оберу! Только лишь подумал, идет по дороге баба убогая, несет что-то в лукошке, лукошко холстом обернуто. Лишь только поравнялась она со мной, я и выскочил из-за куста. Стой, говорю, баба! Давай лукошко! Она мне в ноги: что хочешь бери, а лукошко не тронь! Эге, думаю я, так у тебя, видно, казна там спрятана, да и ухватился рукой за лукошко. А баба голосить, ругать меня, кусать за руку. Я уж был больно сердит, что день даром пропал, а тут осерчал еще пуще. Бес толкнул меня под бок, я вытащил засапожник, да и всадил бабе в горло. Как только свалилась она, страх меня взял. Ударился было бежать, да одумался и воротился за лукошком. Думаю себе: уж убил бабу, так пусть же недаром! Взял лукошко, не рас-

крывая, да и пустился лесом. Отошел не более, как на песий брех, ноги стали подкашиваться, думаю себе: сяду, отдохну да посмотрю, много ли казны добыл? Развернул лукошко, гляжу: ан там лежит малый ребенок, чуть живой, и еле дышит. «Ах ты бесенок! – подумал я, – так вот зачем баба не хотела лукошка отдавать! Так из-за тебя, проклятого, я грех на душу взял!»

Коршун хотел было продолжать, да замолчал и задумался.

– Что ж ты с ребенком сделал? – спросил Перстень.

– Что ж его было, нянчить, что ли? Что сделал? Вестимо что!

Старик опять замолчал.

– Атаман, – сказал он вдруг, – как подумаю об этом, так сердце и защежит. Вот особенно сегодня, как нарядился нищим, то так живо все припоминаю, как будто вчера было. Да не только то время, а не знаю с чего стало мне вдруг памятно и такое, о чем я давно уж не думал. Говорят, оно не к добру, когда ни с того ни с другого станешь вдруг вспоминать, что уж из памяти вышиб!..

Старик тяжело вздохнул.

Оба разбойника молчали. Вдруг свистнули над ними крылья, – и бурый коршун упал кувырком к ногам старика. В то же время кречет Адраган плавно нырнул в воздухе и пронесся мимо, не удостоив спуститься на свою жертву.

Митька махнул рукою. Вдали показались сокольники.

– Дядя! – сказал поспешно Перстень, – забудь прошлое; мы ведь теперь не разбойники, а слепые сказочники. Вон скачут царские люди, тотчас будут здесь. Живо, дядя, приосанься, закидай их прибаутками!

Старый разбойник покачал головою.

– Несдобровать мне, – сказал он, показывая на убитого коршуна. – Это меня срезал белый кречет. Вишь, и нет уж его. Убил, да и пропал!

Перстень пристально посмотрел на него и с досадою почесал затылок.

– Слушай, дядя, – сказал он, – кто тебя знает, что с тобою сегодня случилось! Только я тебя неволить не буду. Говорят, сердце вещун. Пожалуй, твое сердце и недаром чует беду. Оставься, я один пойду в Слободу.

– Нет, – отвечал Коршун, – я не к тому вел речь. Уж если такая моя доля, чтобы в Слободе голову положить, так нечего оставаться. Видно, мне так на роду написано. А вот к чему я речь вел. Знаешь ли, атаман, на Волге село Богородицкое?

– Как не знать, знаю.

– А около того села, верстах в пяти, место, что зовут Попов Круг?

– И Попов Круг знаю.

– А на Поповом Кругу дуб старый, помнишь?

– И дуб помню; только нет уже того дуба, срубили его.

– Дуб-то срубили, да пень оставили.

– Так что ж с того?

– А вот что. Я-то уж никогда Волги-матушки не увижу, а ты, еще статья может, вернешься на родимую сторонушку. Так когда будешь на Волге, ступай на Попов Круг. Отыщи пень старого дуба. Как отыщешь пень, сосчитай полдевяносто ступней на закат солнечный. Сосчитаешь ступни, начинай рыть землю в том месте. Там, – продолжал Коршун, понизив голос, – я в былое время закопал каз-

ну богатую. Довольно там лежит корабленников золотых, и червонцев, и рублей серебряных. Откроешь клад, все будет твое. Не брать мне с собою казны на тот свет. А как иной раз подумаешь, что будешь там ответ держать за все, что здесь делал, так в ночное время индо мороз по коже дерет! Ты бы, атаман, как не будет меня, велел по мне панихиду отслужить. Оно все вернее. Да не жалей денег на панихиду. Заплати хорошенько попу; пусть отслужит как следует, ничего не пропустит. А зовут меня, ты знаешь, Амеляном. Это так только люди Коршуном прозвали; а крестили ведь меня Амеляном; так пусть поп отслужит панихиду по Амеляне; а ты уж заплати ему хорошенько, не пожалей денег, атаман; я тебе казну оставляю богатую, на всю жизнь твою станет!

Коршуна прервали подскакавшие сокольники.

– Эй вы, убогие! – закричал один из них, – говорите, куда полетел крик?

– И рад бы сказать, родимые, – отвечал Перстень, – да вот уж сорок годов глаза запошило!

– Как так?

– Да пошел раз в горы, с камней лыки драть, вижу, дуб растет, в дупле жареные цыплята пищат. Я влез в дупло, съел цыплят, потолстел, вылезти не могу! Как тут быть? Сбегал домой за топором, обтесал дупло, да и вылез; только тесамши-то, видно, щепками глаза засорил; с тех пор ничего не вижу: иной раз щи хлебаю, ложку в ухо сую; чешется нос, а я скребу спину!

– Так это вы, – сказал, смеясь, сокольник, – те слепые, что с царем говорили! Бояре еще и теперь вам смеются. Ну, ребята, мы днем потешали батюшку-государя, а вам придется ночью тешить его царскую милость. Сказывают, хочет государь ваших сказок послушать!

– Дай бог здоровья его царской милости, – подхватил Коршун, внезапно переменяв приемы, – почему не послушать! Коли до ночи не свихнем языков, можем скрозь до утра рассказывать!

– Добро, добро, – сказали сокольники, – в другой раз побалюаем с вами. Теперь едем кречета искать, товарища выручать. Не найдет Трифон Адрагана, быть ему без головы;

батюшка-царь не шутит!

Сокольники поскакали в поле. Перстень и Коршун опять уцепились за Митьку и побрели по дороге в Слободу.

Не дошли они до первого подворья, как увидели двух песенников, которые брянчали на балалайках и пели во все горло:

*Как у нашего соседа
Весела была беседа!*

Когда разбойники с ними поравнялись, один из песенников, крепкий детина с павлиньим пером на шапке, нагнулся к Перстню.

– Уж дней пять твой князь в тюрьме! – сказал он шепотом, продолжая перебирать лады. – Я все разузнал. Завтра ему карачун. Сидит он в большой тюрьме, против Малютина дома. С которого конца петуха пускать?

– Вот с того! – отвечал Перстень, мигнув на сторону, противоположную тюрьме.

Рыжий песенник щелкнул всеми пальцами по животу балалайки и, отвернувшись от Перстня, будто и не с ним говорил, продолжал тонким голосом:

Как у нашего соседа

ГЛАВА 21. Сказка

Иван Васильевич, утомленный охотою, удалился ранее обыкновенного в свою опочивальню.

Вскоре явился Малюта с тюремными ключами.

На вопрос царя Малюта ответил, что нового ничего не случилось, что Серебряный повинился в том, что стоял за Морозова на Москве, где убил семерых опричников и рассек Вяземскому голову.

– Но, – прибавил Малюта, – не хочет он виться в умысле на твое царское здравие и на Морозова также показывать не хочет. После заутрени учиним ему пристрастный допрос, а коли он и с пытки и с огня не покажет на Морозова, то и ждать нечего, тогда можно и покончить с ним.

Иоанн не отвечал. Малюта хотел продолжать, но в опочивальню вошла старая мамка Онуфревна.

– Батюшка, – сказала она, – ты утром при-

слал сюда двух слепых: сказочники они, что ли; ждут здесь в сенях.

Царь вспомнил свою встречу и приказал позвать слепых.

– Да ты их, батюшка, знаешь ли? – спросила Онуфревна.

– А что?

– Да полно, слепые ли они?

– Как? – сказал Иоанн, и подозрение мигом им овладело.

– Послушай меня, государь, – продолжала мамка, – берегись этих сказочников; чуется мне, что они недоброе затеяли; берегись их, батюшка, послушай меня.

– Что знаешь ты про них? Говори! – сказал Иоанн.

– Не спрашивай меня, батюшка. Мое знанье словами не сказывается; чуется мне, что они недобрые люди, а почему чуется, не спрашивай. Даром я никого еще не остерегала. Кабы послушалась меня покойная матушка твоя, она, может, и теперь бы здравствовала еще!

Малюта поглядел со страхом на мамку.

– Ты чего на меня смотришь? – сказала

Онуфревна. – Ты только безвинных губишь, а
лихого человека распознать, видно, не твое
дело. Чутья-то у тебя на это не хватит, рыжий
пес!

– Государь, – воскликнул Малюта, – доз-
воль мне попытать этих людей. Я тотчас
узнаю, кто они и от кого подосланы!

– Не нужно, – сказал Иоанн, – я их сам по-
пытаю. Где они?

– Тут, батюшка, за дверью, – отвечала
Онуфревна, – в сенях стоят.

– Подай мне, Малюта, кольчугу со стены;
да ступай, будто домой, а когда войдут они,
вернись в сени, притаись с ратниками за
этою дверью. Лишь только я кликну, вбегайте
и хватайте их. Онуфревна, подай сюда посох.

Царь вздел кольчугу, надел поверх нее чер-
ный стихарь, лег на постель и положил воз-
ле себя тот самый посох, или осён, которым
незадолго перед тем пронзил ногу гонцу кня-
зя Курбского.

– Теперь пусть войдут! – сказал он.

Малюта положил ключи под царское изго-
ловье и вышел вместе с мамкою. Иконные
лампады слабо освещали избу. Царь с видом

усталости лежал на одре.

– Войдите, убогие, – сказала мамка, – царь велел!

Перстень и Коршун вошли, осторожно передвигая ноги и щупая вокруг себя руками.

Одним быстрым взглядом Перстень обозрел избу и находившиеся в ней предметы.

Налево от двери была лежанка; в переднем углу стояла царская кровать; между лежанкой и кроватью было проделано в стене окно, которое никогда не затворялось ставнем, ибо царь любил, чтобы первые лучи солнца проникали в его опочивальню. Теперь сквозь окно это смотрела луна, и серебряный блеск ее играл на пестрых изразцах лежанки.

– Здравствуйте, слепые, муромские калашники, вертячие бобы! – сказал царь, пристально, но неприметно вглядываясь в черты разбойников.

– Много лет здравствовать твоей царской милости! – отвечали Перстень и Коршун, кланяясь земно. – Заступи, спаси и помилуй ты мати божия, что жалеешь ты нас, скудных, убогих людей, по земли ходящих, по воды бродящих, света божия не видящих! Сохрани

тебя святой Петр и Павел, Иоанн Златоуст, Кузьма со Демьяном, хутынские чудотворцы и все святые угодники! Создай тебе господи, о чем ты молишь и просишь! Вечно бы тебе в золоте ходилось, вкусно елось и пилось, сладко спалось! А супостатам твоим вечно бы икалось и голодалось; каждый бы день их дугою корчило, бараньим рогом корбило!

– Спасибо, спасибо, убогие! – сказал Иоанн, продолжая вглядываться в разбойников. – Что ж вы, давно, знать, ослепли?

– Смолоду, батюшка-государь, – отвечал Перстень, кланяясь и сгибая колени, – оба смолоду ослепли! И не припомним, когда солнышко божее видели!

– А кто же вас научил песни петь и сказки сказывать?

– Сам господь, батюшка, сам господь сподобил, еще в стародавние времена!

– Как так? – спросил Иоанн.

– Старики наши рассказывают, – отвечал Перстень, – и гусяры о том поют. В стародавние то было времена, когда возносился Христос-бог на небо, расплакались бедные, убогие, слепые, хромые, вся, значит, нищая бра-

тия: куда ты, Христос-бог, полетаешь? На кого нас оставляешь? Кто будет нас кормить-пить? И сказал им Христос, царь небесный:

«Дам вам, говорит, гору золотую, реку медвяную, сады-винограды, яблони кудрявы; будете сыты да пьяны, будете обуты-одеты!» Тут возговорил Иван Богослов: «Ай же ты спас милосердый! Не давай им ни горы золотые, ни реки медвяные, ни садов-виноградов, ни яблонь кудрявых. Не сумеют они ими владети; наедут к ним сильные богатые, добро-то у них отымут. А ты дай им, Христос, царь небесный, дай-ко-се имя твое Христовое, дай-ко-се им те песни сладкие, сказаньица великие про стару старину да про божьих людей. Пойдут нищие по земли ходити, сказаньица великие говорити, всякий их приобует-приоденет, хлебом-солью напитает». И рече Христос, царь небесный: «Ин пусть будет по-твоему, Иване! Пусть же им будут песни сладкие, гусли звонкие, сказанья великие; а кто их напоит-накормит, от темныя ночи оборонит, тому я дам в раю место; не заперты в рай тому двери!»

– Аминь! – сказал Иоанн. – Какие же вы знаете сказки?

– Всякие знаем, батюшка-царь, какие твоя милость послушать соизволит. Могу сказать тебе о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове, о семи Семионах, о змие Горынице, о гусях-самогудах, о Добрыне Никитиче, об Акундине...

– Что же, – перебил Иоанн, – разве ты один сказки сказываешь? А старик-то зачем с тобою пришел?

Перстень спохватился, что Коршун почти все время молчал, и чтобы вызвать его из неестественной для сказочника утрюмости, он вдруг переменял приемы и начал говорить прибаутками.

– Старик-то? – сказал он, наступая неприемно на ногу Коршуна. – Это, вишь, мой товарищ, Амелька Гудок; борода у него длинна, да ум короток; когда я речь веду скоромную, не постную, несую себе околесную, он мне поддакивает, потакает да присвистывает, похваляет да помалчивает. Так ли, дядя, белая борода, утиная поступь, куриные ножки; не сбить-ся бы нам с дорожки!

– Вестимо, так! – подхватил Коршун, опомнясь. – Наша чара полна зелена вина, а уж налил по край, так пей до дна! Вот как, дядя пе-

тушиный голосок, кротовое око; пошли ходить, заберемся далёко!

– Ай люли тарарах, пляшут козы на горах! – сказал Перстень, переминая ногами, – козы пляшут, мухи падут, а у бабушки Ефросиньи в левом ухе звенит!..

– Ай люлюшеньки люли! – перебил Коршун, также переминая ногами, – ай люлюшеньки люли, сидит рак на мели; не горюет рак, а свистит в кулак; как прибудет вода, так пройдет беда!

– Эх, батюшка-государь, – закончил Перстень с низким поклоном, – не смотри на нас искоса; это не сказка, а только присказка!

– Добро! – сказал Иоанн, зевая, – люблю молодцов за обычай: начинайте сказку про Добрыню, убогие; авось я, слушая вас, сосну!

Перстень еще раз поклонился, откашлялся и начал:

– «Во гриднице княженецкой, у Владимира князя киевского, было пированье почестный стол, был пир про князей, бояр и могучих богатырей. А и был день к вечеру, а и был стол во полустоле, и послышалось всем за диво: затрубила труба ратная. Возговорил Владимир

князь киевский, солнышко Святославъевич:
„Гой еси вы, князья, бояре, сильны могучие
богатыри! Пошлите опровергать двух могучих
богатырей: кто смеловал стать перед Киевом?
Кто смеловал трубить ко стольному князю
Владимиру?“

Зашумели буйны молодцы посередь двора;
зазвенели мечи булатные по крутым бедрам;
застучали палицы железные у красна крыль-
ца, закидали шапки разнорядь по поднебе-
сью. Надевают могучи богатыри сбрую рат-
ную, садятся на добрых коней, выезжают во
чисто поле...»

– Погоди-ка! – сказал Иоанн, с намерением
придать более правдоподобия своему жела-
нию слушать рассказчика, – я эту сказку
знаю. Расскажи лучше про Акундина!

– Про Акундина? – сказал Перстень с заме-
шательством, вспомнив, что в той сказке ве-
личается опальный Новгород. – Про Акунди-
на, батюшка-государь, сказка-то нехорошая,
мужицкая; выдумали ту сказку глупые мужи-
ки новгородские; да я, батюшка-царь, как буд-
то и забыл-то ее...

– Рассказывай, слепой! – сказал Иоанн

строго, – рассказывай всю, как есть, и не смей пропустить ни единого слова!

И царь внутренне усмехнулся трудному положению, в которое он ставил рассказчика.

Перстень хотя досадовал на себя, что сам предложил эту сказку, но, не зная, до какой степени она уже известна Иоанну, решился, очертя голову, начать свой рассказ, ничего не выкидывая.

– «Как во старом было городе, – начал он, – в Новегороде, как во том ли во Новегороде, со посадской стороны, жил Акундин-молодец, а и тот ли Акундин, молодой молодец, ни пива не варил, ни вина не курил, ни в торгу не торговал; а ходил он, Акундин, со повольницей, и гулял он, Акундин, по Волхву по реке на суденышках. Садится он, Акундин, на суденышко оснащенное, кладет весельца кленовые во замки дубовые, а сам садится на корму. Поплыло суденышко по Волхв по реке, и прибыло суденышко ко круту бережку. Как во ту пору по круту бережку идет калечище переходнее. Берет калечище Акундина за белы руки, ведет его, Акундина, на высок курган, а становивши его на высок курган, говорил такие ре-

чи: „Погляди-ка, молодой молодец, на город Ростиславль, на Оке-реке, а поглядевши, поведай, что деется в городе Ростиславле?“ Как глянул Акундин в город во Ростиславль, а там беда великая: исконные слуги молода князя рязанского, Глеба Олеговича, стоят посередь торго, хотят войной город отстоять, да силы не хватит. А по Оке-реке плывет чудовище невиданное, змей Тугарин. Длиною-то был тот змей Тугарин во триста сажень, хвостом бьет рать рязанскую, спиною валит круты берега, а сам все просит стару дань. В ту пору калечище берет Акундина за его белы руки, молвит таково слово: „Ты гой еси, добрый молодец, назовись по имени по изотчеству!“ На те ли речи спросные говорит Акундин: „Родом я из Новагорода, зовут меня Акундин Акундиныч“.

«Тебя-то, Акундин Акундиныч, я ждал ровно тридцать лет и три года; спознай своего дядюшку родимого Замятню Путятича; а и ведьмой-то брат, Акундин Путятич, был тебе родимый батюшка! А и вот тебе меч-кладенец твоего родимого батюшки, Акундина Путятича!» Не домолвивши речи вестные, стал Замятня

Путятич кончатся, со белым светом расста-
вятся; и, кончаяся, учал отповедь чинить: «А
и гой ты еси, мое милое детище, Акундин
Акундиныч! Как и будешь ты во славном во
Новегороде, и ты ударь челом ему, Новугоро-
ду, и ты скажи, скажи ему, Новугороду: а и
дай же то, боже, тебе ли, Новугороду, век ве-
ковать, твоим ли детушкам славы добывать!
Как и быть ли тебе, Новугороду, во могуче-
стве, а твоим детушкам во богатстве...»

– Довольно! – перебил с гневом царь, забы-
вая в эту минуту, что цель его была только
следить за рассказчиком. – Начинай другую
сказку!

Перстень, как будто в испуге, согнул коле-
ни и поклонился до земли.

– Какую же сказку соизволишь, батюш-
ка-государь? – спросил он с притворным, а
может быть, и с настоящим страхом. – Не рас-
сказать ли тебе о Бабе-яге? О Чуриле Пленко-
виче? О Иване Озере? Или не велишь ли тво-
ей милости что-нибудь божественное расска-
зать?

Иоанн вспомнил, что он не должен запуги-
вать слепых, а потому еще раз зевнул и спро-

сил уже сонным голосом:

– А что же ты знаешь божественное, убогий?

– Об Алексее божьем человеке, батюшка, о Егории Храбром, об Иосифе Прекрасном или, пожалуй, о Голубиной книге...

– Ну, – сказал Иоанн, которого глаза, казалось, уже смыкались, – расскажи о Голубиной книге. Оно нам, грешным, и лучше будет на ночь что-нибудь божественное послушать!

Перстень вторично откашлялся, выпрямился и начал нараспев:

– «Как из тучи было из грозныя, из грозныя тучи страховитыя, подымалась погода божия; во той ли во погоде божией выпадала с небес книга Голубиная. Ко той ли ко книге Голубиной съезжалось сорок царей и царевичей, сорок королей и королевичей, сорок князей со князевичам, сорок попов со поповичам, много бояр, люду ратного, люду ратного, разного, мелких христиан православных. Из них было пять царей набольших: был Исай-царь, Василей-царь, Костянтин-царь, Володимер-царь Володимерыч, был премудрый царь Давид Евсиевич.

Как проговорил Володимир-царь: «Кто из нас, братцы, горазд в грамоте? Прочел бы эту книгу Голубиную? Сказал бы нам про божий свет: Отчего началось солнце красное? Отчего начался млад светёл месяц? Отчего начались звезды частыя? Отчего начались зори светлыя? Отчего зачались ветры буйныя? Отчего зачались тучи грозныя? Отчего да взялись ночи темныя? Отчего у нас пошел мир-народ? Отчего у нас на земли цари пошли? Отчего зачались бояры-князья? Отчего пошли крестьяне православные?»

На то все цари приумолкнули. Им ответ держал премудрый царь, премудрый царь Давид Евсиевич: «Я вам, братцы, про то скажу, про эту книгу Голубиную: эта книга не малая; сорока сажен долина ее, поперечина двадцати сажен; приподнять книгу, не поднять будет; на руцех держать, не сдержать будет; по строкам глядеть, все не выгядеть; по листам ходить, все не выходить, а читать книгу – ее некому, а писал книгу Богослов Иван, а читал книгу Исай-пророк, читал ее по три годы, прочел в книге только три листа; уж мне честь книгу – не прочесть, божию! Сама книга рас-

печатывалась, сами листы расстилались, сами слова прочитались. Я скажу вам, государи, не выходя, скажу вам, братцы, не по грамоте, не по грамоте, всё по памяти, про старое, про стародавнее, по-старому, по-писаному:

Началось у нас солнце красное от светлого лица божия; млад светёл месяц от груди его; звезды частые от очей божиих; зори светлыя от риз его; буйны ветры-то – дыханье божее; тучи грозныя – думы божи; ночи темныя от опашня его! Мир-народ у нас от Адамия; от Адамовой головы цари пошли; от мощей его князи со боярами; от колен крестьяне православные; от того ж начался и женский пол!

Ему все цари поклонилися: «Спасибо, светсударь, премудрый царь, мудрейший царь, Давид Евсиевич! Ты еще, сударь, нам про то скажи, про то скажи, ты поведай нам:

Который царь над царями царь? Кая земля всем землям мати? Которо море всем морям мати? Котора река всем рекам мати? Кая гора всем горам мати? Который город всем городам мати?»

Здесь Перстень украдкою посмотрел на Ивана Васильевича, которого, казалось, все

более клонило ко сну. Он время от времени, как будто с трудом, открывал глаза и опять закрывал их; но всякий раз незаметно бросал на рассказчика испытующий, пронизательный взгляд.

Перстень перемигнулся с Коршуном и продолжал:

– «Им ответ держал премудрый царь, премудрый царь Давид Евсиевич: „Я вам, братцы, и про то скажу, про то скажу, вам поведаю: в Голубиной книге есть написано: у нас Белый царь будет над царями царь; он верует веру крещеную, крещеную, богомольную; он в мать божию богородицу и в троицу верует неразделимую. Ему орды все преклонилися, все языци ему покорилися; область его надо всей землей, над вселенною; всех выше его рука царская, благоверная, благочестивая; и все к царю Белому приклонятся, потому Белый царь над царями царь! Свято-Русь-земля всем землям мати; на ней строят церкви апостольские, богомольные, соборные. Окиян-море всем морям мати; выходила из него церковь соборная; что во той ли во церкви во соборныя почивают мощи попа римского, попа

римского Климения; обошло то море окол всей земли; все реки к морю собегалися, все к окиян-морю приклонилися. Ердань-река всем рекам мати; во славной матушке во Ердань-реке окрестился сам Иисус Христос, небесный царь. А Фавор-гора всем горам мати; как на славныя на Фавор-горы преобразился на ней сам Исус Христос, показал славу ученикам своим. Ерусалим-город всем городам мати; что стоит тот город посреди земли, а в том городе церковь соборная; пребывает во церкви господень гроб, почивают в нем ризы самого Христа, фимиамы-ладаны рядом курятся, свечи горят неугасимые...“

Здесь Перстень опять взглянул на Иоанна. Глаза его были закрыты, дыхание ровно. Грозный, казалось, почивал.

Атаман тронул Коршуна локтем. Старик подался шага на два вперед. Перстень продолжал нараспев:

– «Ему все цари поклонилися: „Спасибо, свет-сударь, премудрый царь, Давид Евсиевич! Ты еще, сударь, нам про то скажи: котора рыба всем рыбам мать? Котора птица птицам есть мать? Который зверь над зверями зверь?»

Который камень всем камням отец? Которо древо древам всем мать? Кая трава всем травам матери?»

Им ответ держал премудрый царь: «Я еще вам, братцы, про то скажу: у нас Кит-рыба всем рыбам мать: на трех на китах земля стоит; Естрафиль-птица всем птицам матери; что живет та птица на синем море; когда птица вострепенется, все синё море всколебается, потопляет корабли гостиные, побивает суда поморские; а когда Естрафиль вострепещется, во втором часу после полунощи, запоют петухи по всей земли, осветится в те поры вся земля...»

Перстень покосился на Иоанна. Царь лежал с сомкнутыми глазами; рот его был раскрыт, как у спящего. В то же время, как будто в лад словам своим, Перстень увидел в окно, что дворцовая церковь и крыши ближних строений осветились дальним заревом.

Он тихонько толкнул Коршуна, который подался еще одним шагом ближе к Ивану Васильевичу.

– «У нас Индра-зверь, – продолжал Перстень, – над зверями зверь, и он ходит, зверь,

по подземелью, яко солнышко по поднебесью; он копает рогом сыру мать-землю, выкопает ключи всё глубокие; он пускает реки, ручьявиночки, прочищает ручьи и проточины, дает людям питанияйца, питанияйца, обмыванийца. Алатырь-камень всем камням отец; на белом Алатыре на камени сам Исус Христос опочив держал, царь небесный беседовал со двунадесяти со апостолам, утверждал веру христианскую; утвердил он веру на камени, распуцал он книги по всей земле. Кипарис-древо всем древам мати; из того ли из древа кипарисного был вырезан чуден поклонен крест; на тем на кресте, на животворящим, на распятые был сам Исус Христос, сам Исус Христос, сам небесный царь, промежду двух воров, двух разбойников. Плакун-трава всем травам мати. Когда Христос-бог на распятые был, тогда шла мати божия, богородица, ко своему сыну ко распятому; от очей ея слезы наземь капали, и от тех от слез, от пречистых, зародилася, выростала мати плакун-трава; из того плакуна, из корени у нас режут на Руси чудны кресты, а их носят старцы иноки, мужие их носят благоверные».

Здесь Иван Васильевич глубоко вздохнул, но не открыл очей. Зарево пожара делалось ярче. Перстень стал опасаться, что тревога подымется прежде, чем они успеют достать ключи. Не решаясь сам тронуться с места, чтобы царь не заметил его движения по голо-су, он указал Коршуну на пожар, потом на спящего Иоанна и продолжал:

– «Ему все цари поклонилися: „Спасибо, свет-сударь, премудрый царь, мудрейший царь Давид Евсиевич! Ты горазд сказать по памяти, говоришь будто по грамоты!“ Тут воз-говорит Володимер-царь: „Ты еси, премудрый царь, Давид Евсиевич! Ты скажи еще, ты поведай мне: ночеса мне мало спалося, мало спалося, много сиделось: кабы два зверья схо-дилися, один белый зверь, другой серый зверь, промежду собой подиралися; кабы бе-лый зверь одолеть хочет?“ Что ответ держал премудрый царь, премудрый царь Давид Ев-сиевич: „Ах ты гой еси, Володимер-царь, Воло-димер Володимерыч! То не два зверья сходи-лися, промежду собой подиралися; и то было у нас на сырой земли, на сырой земли, на свя-той Руси; сходилися правда со кривдою; это

белая зверь – то-то правда есть, а серая зверь – то-то кривда есть; правда кривду передалила, правда пошла к богу на небо, а кривда осталась на сырой земле; а кто станет жить у нас правдою, тот наследует царство небесное; а кто станет жить у нас кривдою, отрешен на муки на вечные...”

Здесь послышалось легкое храпение Иоанна. Коршун протянул руку к царскому изголовью, Перстень же придвинулся ближе к окну, но, чтобы внезапным молчанием не прервать сна Иоаннова, он продолжал рассказ свой тем же однообразным голосом:

– «Ему все цари поклонилися: „Спасибо, свет-сударь, премудрый царь, премудрый царь Давид Евсиевич! Ты еще, сударь, нам про то скажи: каким грехам прощенье есть, а каким грехам нет прощенья?“ Им ответ держал премудрый царь, премудрый царь Давид Евсиевич: „Кабы всем грехам прощенье есть, трем грехам тяжкое покаяние: кто спознался с кумою крестовья, кто бранит отца с матерью, кто...”

В это мгновение царь внезапно открыл глаза. Коршун отдернул руку, но уже было

поздно: взор его встретился со взором Иоанна. Несколько времени оба неподвижно глядели друг на друга, как бы взаимно скованные обаятельною силой.

– Слепые! – сказал вдруг царь, быстро вскакивая, – третий грех: когда кто нарядится нищим и к царю в опочивальню войдет!

И он ударил острым посохом Коршуна в грудь. Разбойник схватился за посох, закачался и упал.

– Гей! – закричал царь, выдергивая острие из груди Коршуна.

Опричники вбежали, гремя оружием.

– Хватайте их обоих! – сказал Иоанн.

Как ярый пес, Малюта бросился на Перстня, но с необычайною ловкостью атаман ударил его кулаком под ложку, вышиб ногою оконницу и выскочил в сад.

– Оцепите сад! Ловите разбойника! – заревел Малюта, согнувшись от боли и держась обеими руками за живот. Между тем опричники подняли Коршуна.

Иоанн в черном стихаре, из-под которого сверкала кольчуга, стоял с дрожащим посохом в руке, вперив грозные очи в раненого

разбойника. Испуганные слуги держали зажженные свечи. Сквозь разбитое окно виден был пожар. Слобода приходила в движение, вдали гудел набатный колокол.

Коршун стоял, насупив брови, опустив глаза, поддерживаемый опричниками; кровь широкими пятнами пестрила его рубаху.

– Слепой! – сказал царь, – говори, кто ты и что умышлял надо мною?

– Нечего мне таить! – отвечал Коршун. – Я хотел добыть ключи от твоей казны, а над тобой ничего не умышлял!

– Кто подослал тебя? Кто твои товарищи?

Коршун бесстрашно взглянул на Иоанна.

– Надёжа, православный царь! Был я молод, певал я песню: «Не шуми, мати сыра-дуброва». В той ли песне царь спрашивает у добра молодца, с кем разбой держал? А молодец говорит: «Товарицей у меня было четверо: уж как первый мой товарищ черная ночь; а второй мой товарищ...»

– Будет! – прервал его Малюта, – посмотрим, что ты запоешь, как станут тебя с дыбов рвать, на козел подымать! Да кой прах! – продолжал он, взглядываясь в Коршуна, – я где-то

уже видал эту кудластую голову!

Коршун усмехнулся и отвесил поклон Малюте.

– Виделись мы, батюшка, Малюта Скурлатич, виделись, коли припомнишь, на Поганой Луже...

– Хомяк! – перебил его Малюта, обернувшись к своему стремянному, – возьми этого старика, потолкуй с ним, попроси его рассказать, зачем приходил к его царской милости. Я сейчас сам в застенок приду!

– Пойдем, старина! – сказал Хомяк, ухватя Коршуна за ворот, – пойдем-ка вдвоем, потолкуем ладком!

– Постой! – сказал Иоанн. – Ты, Малюта, побереги этого старика: он не должен на пытке кончиться. Я придумаю ему казнь примерную, еще небывалую, неслыханную; такую казнь, что самого тебя удивлю, отец параклисиарх!

– Благодарю же царя, пес! – сказал Малюта Коршуну, толкая его, – доведется тебе, должно быть, пожить еще. Мы сею ночью тебе только суставы повывернем!

И вместе с Хомяком он вывел разбойника

из опочивальни.

Между тем Перстень, пользуясь общим смятением, перелез через садовый частокол и прибежал на площадь, где находилась тюрьма. Площадь была пуста; весь народ повалил на пожар.

Пробираясь осторожно вдоль тюремной стены, Перстень споткнулся на что-то мягкое и, нагнувшись, ощупал убитого человека.

– Атаман! – шепнул, подходя к нему, тот самый рыжий песенник, который остановил его утром, – часового-то я зарезал! Давай проворней ключи, отопрем тюрьму, да и прощай; пойду на пожар грабить с ребятами! А где Коршун?

– В руках царя! – отвечал отрывисто Перстень.

– Все пропало! Сбирай ребят, да и тягу! Тише; кто это?

– Я! – отвечал Митька, отделяясь от стены.

– Убирайся, дурень! Уноси ноги! Все выбирайтесь из Слободы! Сбор у кривого дуба!

– А князь-то? – спросил Митька протяжно.

– Дурень! Слышишь, все пропало! Дедушку схватили, ключей не добыли!

- А нешто тюрьма на запоре?
- Как не на запоре? Кто отпер?
- А я!
- Что ты, болван? Говори толком.

– Что ж говорить? Прихожу, никого нет; часовой лежит, раскидавши ноги. Я говорю: дай, мол, испробую, крепка ль дверь? Понапер в нее плечиком; а она, как была, так с заклепами и соскочи с петель!

– Ай да дурень! – воскликнул радостно Перстень. – Вот, правду говорят: дураками свет стоит! Ах, дурак, дурак! Ах, губошлеп, губошлеп ты этакий!

И Перстень, схватив Митьку за виски, поцеловал его в обе щеки, причем Митька протянул, чмокая, и свои толстые губы, а потом хладнокровно утерся рукавом.

– Иди же за мной, такой-сякой сын, право! А ты, балалайка, здесь погоди. Коли что будет, свистни!

Перстень вошел в тюрьму. За ним ввалился и Митька.

За первую дверью были еще две другие двери, но те, как менее крепкие, еще легче поддались от богатырского натиска Митьки.

– Князь! – сказал Перстень, входя в подземелье, – вставай!

Серебряный подумал, что пришли вести его на казнь.

– Ужели теперь утро? – спросил он, – или тебе, Малюта, до рассвета не терпится?

– Я не Малюта! – отвечал Перстень. – Я тот, кого ты от смерти спас. Вставай, князь! Время дорого. Вставай, я выведу тебя!

– Кто ты? – сказал Серебряный, – я не знаю твоего голоса!

– И немудрено, боярин; где тебе помнить меня! Только вставай! Нам некогда мешкать!

Серебряный не отвечал. Он подумал, что Перстень один из Малютиных палачей, и принял слова его за насмешку!

– Аль ты не веришь мне, князь? – продолжал атаман с досадою. – Вспомни Медведевку, вспомни Поганую Лужу: я Ванюха Перстень!

Запылала радость в груди Серебряного. Зыграло его сердце и забилося любовью к свободе и к жизни. Запестрели в его мыслях и леса, и поля, и новые славные битвы, и явился ему, как солнце, светлый образ Елены.

Уже он вспрянул с земли, уже готов был

следовать за Перстнем, как вдруг вспомнил данную царю клятву, и кровь его отхлынула к сердцу.

– Не могу! – сказал он, – не могу идти за тобою. Я обещал царю не выходить из его воли и ожидать, где бы я ни был, суда его!

– Князь! – отвечал удивленный Перстень, – мне некогда толковать с тобою. Люди мои ждут; каждый миг может нам головы стоять; завтра тебе казнь, теперь еще время, вставай, ступай с нами!

– Не могу! – повторил мрачно Серебряный, – я целовал ему крест на моем слове!

– Боярин! – вскричал Перстень, и голос его изменился от гнева, – издеваешься ты, что ли, надо мною? Для тебя я зажег Слободу, для тебя погубил своего лучшего человека, для тебя, может быть, мы все наши головы положим, а ты хочешь остаться? Даром мы сюда, что ли, пришли? Скоморохи мы тебе, что ли, дались? Да я бы посмотрел, кто бы стал глумиться надо мной! Говори в последний раз, идешь или нет?

– Нет! – отвечал решительно Никита Романович и лег на сырую землю.

– Нет? – повторил, стиснув зубы, Перстень, – нет? Так не бывать же по-твоему! Митька, хватай его насильно! – И в тот же миг атаман бросился на князя и замотал ему рот кушаком.

– Теперь не заспоришь! – сказал он злобно.

Митька загреб Никиту Романовича в охапку и, как малого ребенка, вынес из тюрьмы.

– Живо! Идем! – сказал Перстень.

В одной улице попались им опричники.

– Кого несете? – спросили они.

– Слободского на пожаре бревном пришибло! – отвечал Перстень. – Несем в скудельницу!

При выходе из Слободы их остановил часовой. Они хотели пройти мимо; часовой разинул рот крикнуть; Перстень хватил его кистенем, и он свалился, не пикнув.

Разбойники вынесли князя из Слободы без дальнейшего препятствия.

ГЛАВА 22. Монастырь

Мы оставили Максима ненастной ночью, на выезде из Александровой слободы. Косматый Буян лаял и прыгал вокруг него и радовался, что удалось ему сорваться с цепи.

Максим, покидая родительский дом, не успел определить себе никакой цели. Он хотел только оторваться от ненавистной жизни царских любимцев, от их нечестивого веселья и ежедневных казней. Оставляя за собою страшную Слободу, Максим вверился своей судьбе. Сначала он торопил коня, чтобы не догнали его отцовские холопы, если бы вздумалось Малюте послать за ним погоню. Но вскоре он повернул на проселочную дорогу и поехал шагом.

К утру гроза утихла. На востоке заалело, и Максим яснее стал различать предметы. По сторонам дороги росли кудрявые дубы; промеж них виднелись кусты орешника. Было свежо; дождевые капли бежали с деревьев и лениво хлопали по широким листьям. Вскоре мелкие птички запорхали и защебетали в зелени; дятел застучал в сухое дерево, и верши-

ны дубов озолотились восходящим солнцем. Природа оживлялась все более; конь ступал бодрее. Раскинулась перед Максимом родная Русь; весело мог бы он дышать в ее вольном пространстве; но грусть легла ему на сердце, широкая русская грусть. Задумался он о покинутой матери, о своем одиночестве, обо многом, в чем и сам не отдавал себе отчета; задумался и затянул, в раздумье, протяжную песню...

Чудны задушевные русские песни! Слова бывают ничтожны; они лишь предлог; не словами, а только звуками выражаются глубокие, необъятные чувства.

Так, глядя на зелень, на небо, на весь божий мир, Максим пел о горемычной своей доле, о золотой волюшке, о матери сырой дуброве. Он приказывал коню нести себя в чуждальнюю сторону, что без ветру сушит, без морозу знобит. Он поручал ветру отдать поклон матери. Он начинал с первого предмета, попадавшегося на глаза, и высказывал все, что приходило ему на ум; но голос говорил более слов, а если бы кто услышал эту песню, запала б она тому в душу и часто, в минуту

грусти, приходила бы на память...

Наконец, когда тоска стала глубже забирать Максима, он подобрал поводья, поправил шапку, свистнул, крикнул и полетел во всю конскую прыть.

Вскоре забелели перед ним стены монастыря. Обитель была расположена по скату горы, поросшей дубами. Золотые главы и узорные кресты вырезывались на зелени дубов и на синеве неба.

Навстречу Максиму попался отряд монастырских служек в шишаках и кольчугах. Они ехали шагом и пели псалом: «Возлюблю тя, господи, крепосте моя». Услыша священные слова, Максим остановил коня, снял шапку и перекрестился.

Небольшая речка протекала под горою. Несколько мельниц вертели на ней свои колеса. На берегу паслись коровы пестрыми кучами.

Все вокруг монастыря дышало такою тишиною, что вооруженный объезд казался излишним. Даже птицы на дубах щебетали как будто вполголоса, ветер не шелестел в листьях, и только кузнечики, притаясь в траве,

трещали без умолку. Трудно было подумать, чтобы недобрые люди могли возмутить это спокойствие.

«Вот где отдохну я! – подумал Максим. – За этими стенами проведу несколько дней, пока отец перестанет искать меня. Я на исповеди открою настоятелю свою душу, авось он даст мне на время убежище».

Максим не ошибся. Престарелый игумен, с длинною седою бородой, с кротким взглядом, в котором было совершенное неведение дел мирских, принял его ласково. Двое служек взяли под уздцы усталого коня. Третий вынес хлеба и молока для Буяна; все радушно хлопотали около Максима. Игумен предложил ему отобедать, но Максим захотел прежде всего исповедаться.

Старик взглянул на него испытующим взором, насколько позволяли его добродушные глаза, и, не говоря ни слова, повел его через обширный двор к низкой, одноглавой церкви. Они шли мимо могильных крестов и длинного ряда келий, обсаженных цветами. Попадавшиеся им навстречу братья кланялись молча. Надгробные плиты звенели от

шагов Максима; высокая трава пробивалась между плитами и закрывала вполовину надписи, полные смирения; все напоминало о бренности жизни, все вызывало на молитву и созерцание. Церковь, к которой игумен вел Максима, стояла среди древних дубов, и столетние ветви их почти совсем закрывали узкие продольные окна, пропускавшие свет сквозь пыльную слюду, вставленную в мелкие свинцовые оконницы. Когда они вошли, их обдало прохладой и темнотою. Лишь сквозь одно окно, менее других заслоненное зеленью, косые столбы света падали на стенное изображение Страшного суда. Остальные части церкви казались от этого еще мрачнее; но кое-где отсвечивали ярким блеском серебряные яблоки паникадил, венцы на образах да шитые серебром кресты, тропари и кондаки на черном бархате, покрывающем гробницы князей Воротынских, основателей монастыря. Позолота на прорезных травах иконостаса походила местами на уголья, тлеющие под золою и готовые вспыхнуть. Пахло сыростью и ладаном. Мало-помалу глаз Максима стал привыкать к полумраку и различать

другие подробности храма: над царскими дверьми виден был спаситель в силах, с херувимами и серафимами, а над ним шестнадцать владычных праздников. Большой местный образ Иоанна Предтечи представлял его крылатым и держащим на блюде отсеченную главу свою. На боковых дверях были написаны грубо и неискусно притча о блудном сыне, прение смерти и живота да исход души праведного и грешного. Мрачные эти картины глубоко подействовали на Максима; все понятия о смирении духа, о безусловной покорности родительской власти, все мысли, в которых он был воспитан, оживились в нем снова. Он усомнился, прав ли был, что уехал от отца против его воли? Но совесть отвечала ему, что он прав; а между тем она не была спокойна. Картина Страшного суда потрясла его воображение. Когда тень дубовых листьев, колеблемых ветром снаружи окна, трепетала на стене подвижною сеткой, ему казалось, что грешники и диаволы, писанные в человеческий рост, дышат и движутся...

Благоговейный ужас проник его сердце. Он пал ниц перед игуменом.

– Отец мой, – сказал он, – должно быть, я великий грешник!

– Молись, – отвечал кротко старик, – велико милосердие божие; много поможет тебе раскаяние, сын мой!

Максим собрался с силами.

– Тяжело мое преступление, – начал он дрожащим голосом. – Отец мой, слушай! Страшно мне вымолвить: оскудела моя любовь к царю, сердце мое от него отвратилось!

Игумен с удивлением взглянул на Максима,

– Не отвергай меня, отец мой! – продолжал Максим, – выслушай меня! Долго боролся я сам с собою, долго молился пред святыми иконами. Искал я в своем сердце любви к царю – и не обрел ее!

– Сын мой! – сказал игумен, глядя с участием на Максима, – должно быть, сатанинское наваждение помрачило твой рассудок; ты клеветешь на себя. Того быть не может, чтобы ты возненавидел царя. Много тяжких преступников исповедовал я в этом храме: были и церковные тати, и смертные убойцы, а не бывало такого, кто повинился бы в нелюбви к

государю!

Максим побледнел.

– Стало, я преступнее церковного татя и смертного убойцы! – воскликнул он. – Отец мой, что мне делать? Научи, вразуми меня, душа моя делится надвое!

Старик смотрел на исповедника и все более дивился.

Правильное лицо Максима не являло ни одной порочной или преступной черты. То было скромное лицо, полное добродушия и отваги, одно из тех русских лиц, которые еще ныне встречаются между Москвой и Волгой, в странах, отдаленных от больших дорог, куда не проникло городское влияние.

– Сын мой, – продолжал игумен, – я тебе не верю; ты клеветешь на себя. Не верю, чтобы сердце твое отворотилось от царя. Этого быть не может. Подумай сам: царь нам более чем отец, а пятая заповедь велит чтить отца. Скажи мне, сын мой, ведь ты следуешь заповеди?

Максим молчал.

– Сын мой, ты чтить отца своего?

– Нет! – произнес Максим едва внятно.

– Нет? – повторил игумен и, отступив на-

зад, осенился крестным знамением.

– Ты не любишь царя? Ты не чтишь отца?
Кто же ты таков?

– Я... – сказал молодой опричник, – я Максим Скуратов, сын Скуратова-Бельского!

– Сын Малюты?

– Да! – сказал Максим и зарыдал.

Игумен не отвечал. Он горестно стоял перед Максимом. Неподвижно смотрели на них мрачные лики угодников. Грешники на картине Страшного суда жалобно подымали руки к небу, но все молчало. Спокойствие церкви прерывали одни рыдания Максима, щебетанье ласточек под сводами да изредка полугромкое слово среди тихой молитвы, которую читал про себя игумен.

– Сын мой, – сказал наконец старик, – поведай мне все по ряду, ничего не утай от меня: как вошла в тебя нелюбовь к государю?

Максим рассказал о жизни своей в Слободе, о последнем разговоре с отцом и о ночном своем отъезде.

Он говорил медленно, с расстановкой, и часто собирался с мыслями, дабы ничего не забыть и ничего не утаить от духовного отца

своего.

Окончив рассказ, он опустил глаза и долго не смел взглянуть на игумена, ожидая своего приговора.

– Все ли ты поведал мне? – сказал игумен. – Не тяготит ли еще что-нибудь душу твою? Не помыслил ли ты чего на царя? Не задумал ли ты чего над святою Русью?

Глаза Максима заблестали.

– Отец мой, скорей дам отсечь себе голову, чем допущу ее замыслить что-нибудь против родины! Грешен я в нелюбви к государю, но не грешен в измене!

Игумен накрыл его эпитрахилью.

– Очищается раб божий Максим! – сказал он, – отпускаются ему грехи его вольные и невольные!

Тихая радость проникла в душу Максима.

– Сын мой, – сказал игумен, – твоя исповедь тебя очистила. Святая церковь не поставляет тебе в вину, что ты бросил Слободу. Бежать от соблазна волен и должен всякий. Но бойся прельститься на лесть врага рода человеческого. Бойся примера Курбского, который из высокого русского боярина учинился

ныне сосуд дьяволу! Премилостивый бог, – продолжал со вздохом старик, – за великие грехи наши попустил ныне быть времени трудному. Не нам суемудрием человеческим судить о его неисповедимом промысле. Когда господь наводит на нас глады и телесные скорби, что нам остается, как не молиться и покоряться его святой воле? Так и теперь: настал над нами царь немилостивый, грозный. Не ведаем, за что он нас казнит и губит; ведаем только, что он послан от бога, и держим поклонную голову не пред Иваном Васильевичем, а перед волею пославшего его. Вспомним пророческое слово: «Аще кая земля оправдится перед богом, поставляет им царя и судью праведна и всякое подает благодеяние; аще же которая земля прегрешит пред богом, и поставляет царя и судей не праведна, и наводит на тое землю вся злая!» Остаешься у нас, сын мой; поживи с нами. Когда придет тебе пора ехать, я вместе с братиею буду молиться, дабы, где ты ни пойдешь, бог везде исправил путь твой! А теперь, – продолжал добродушно игумен, снимая с себя эпитрахиль, – теперь пойдём к трапезе. После духовной пи-

щи не отвергнем телесной. Есть у нас изрядные щуки, есть и караси; отведай нашего троюгу, выпей с нами меду черемхового во здравие государя и высокопреосвященного владыки!

И в дружеском разговоре старик повел Максима к трапезе.

ГЛАВА 23. Дорога

Тихо и однообразно протекала монастырская жизнь.

В свободное время монахи собирали травы и составляли целебные зелья. Другие занимались живописью, вырезывали из кипариса кресты иль иконы, красили и золотили деревянные чаши.

Максим полюбил добрых иноков. Он не замечал, как текло время. Но прошла неделя, и он решился ехать. Еще в Слободе слышал Максим о новых набегах татар на рязанские земли и давно уже хотел вместе с рязанцами испытать над врагами ратной удачи. Когда он поведал о том игумену, старик опечалился.

– Куда тебе ехать, сын мой? – сказал он. – Мы все тебя любим, все к тебе привыкли. Кто

знает, может, и тебя посетит благодать божия, и ты навсегда останешься с нами! Послушай, Максим, не уезжай от нас!

– Не могу, отец мой! Давно уже судьба зовет меня в дальнюю сторону. Давно слышу звон татарского лука, а иной раз как задумаюсь, то будто стрела просвистит над ушами. На этот звон, на этот свист меня тянет и манит!

И не стал игумен долее удерживать Максима, отслужил ему напутный молебен, благословил его, и грустно простилась с ним братия.

И снова очутился Максим на коне, среди зеленого леса. Как прежде, Буян прыгал вокруг коня и весело смотрел на Максима. Вдруг он залаял и побежал вперед. Максим уже схватился за саблю в ожидании недоброй встречи, как из-за поворота показался всадник в желтом кафтане с черным двоеглавым орлом на груди.

Всадник ехал рысью, весело посвистывал и держал на пестрой рукавице белого кречета в клубочке и колокольцах.

Максим узнал одного из царских соколь-

НИКОВ.

– Трифон! – вскричал он.

– Максим Григорьич! – отвечал весело сокольник, – доброго здоровья! Как твоя милость здравствует? Так вот где ты, Максим Григорьич! А мы в Слободе думали, что ты и невесть куда пропал! Ну ж как батюшка-то твой осерчал! Упаси господи! Смотреть было страшно! Да еще многое рассказывают про твоего батюшку, про царевича да про князя Серебряного. Не знаешь, чему и верить. Ну, слава богу, добро, что ты сыскался, Максим Григорьич! Обрадуется же твоя матушка!

Максим досадовал на встречу с сокольником. Но Трифон был добрый малый и при случае умел молчать. Максим спросил его, давно ли он из Слободы?

– Да уже будет с неделю, как Адраган с поля улетел! – отвечал сокольник, показывая своего кречета. – Да ведь ты, пожалуй, и не знаешь, Максим Григорьич! Ну уж набрался я было страху, как царь на меня раскручинился! Да сжалился надо мной милосердый бог и святой мученик Трифон! Проявил надо мною свое чудо! – Сокольник снял шапку и перекре-

стился. – Вишь, Максим Григорьич; выехал государь будет тому с неделю, на птичью потеху. Напускал Адрагана раза два; как на беду, третий-то раз дурь нашла на Адрагана. Стал он бить соколов, сбил Смышляя и Кружка, да и давай тягу! Не успел бы ты десяти просчитать, как он у тебя и с глаз долой. Я было скакать за ним, да куды! Пропал, будто и не бывало. Вот доложил сокольничий царю, что пропал Адраган. Царь велел меня позвать, да и говорит, что ты-де, Тришка, мне головой за него отвечаешь; достанешь – пожалую тебя, не достанешь – голову долой. Как быть! Батюшка-царь ведь не шутит! Поехал я искать Адрагана; шесть ден промучился; стало мне уж вокруг шеи неловко; думаю, придется проститься с головой. Стал я плакать; плакал, плакал, да с горя и заснул в лесу. Лишь только заснул, явилось мне, сонному, видение: сияние разлилось меж деревьев, и звон пошел по лесу. И, слыша тот звон, я, сонный, сам себе говорю: то звонят Адрагановы колокольцы. Гляжу, передо мной сидит на белом коне, весь облитый светом, молодой ратник и держит на руке Адрагана: «Трифоне! – сказал рат-

ник, – не здесь ищи Адрагана. Встань, ступай к Москве, к Лазареву урочищу. Там стоит сосна, на той сосне сидит Адраган». Проснулся я, и сам не знаю с чего, стало мне попятно, что ратник был святой мученик Трифон. Вскочил я на коня и поскакал к Москве. Что ж, Максим Григорьич, поверишь ли? как приехал на то урочище, вижу: в самом деле сосна, и на ней сидит мой Адраган, точь-в-точь как говорил святой!

Голос сокольника дрожал, и крупные слезы катились из глаз его.

– Максим Григорьич! – прибавил он, утирая слезы, – теперь хоть все животы свои продам без остатку, хоть сам в вековечную кабалу пойду, а построю часовню святому угоднику! На том самом месте построю, где нашел Адрагана. И образ велю на стене написать точь-в-точь как явился мне святой: на белом коне, высоко подняв руку, а на ней белый кречет. Заповедую и детям и внукам славить его, служить ему молебны и ставить писанные свечи, что не захотел он моей гибели, спас от плахи раба своего! Вишь, – продолжал сокольник, глядя на кречета, – вот он, Адраган,

цел-целехонек! Дай-ка я сниму с тебя клобучок! Чего кричишь? Небось полетать хочется! Нет, брат, погоди! Довольно, налетался, не пущу!

И Трифон дразнил кречета пальцем.

– Вишь, злобный какой! Так и хватает! А кричит-то как! Я чай, за версту слышно!

Рассказ сокольника запал в душу Максима.

– Возьми ж и мое приношение! – сказал он, бросая горсть золотых в шапку Трифона. – Вот все мои деньги; они мне не нужны, а тебе еще много придется собирать на часовню.

– Да наградит тебя бог, Максим Григорьич! С твоими деньгами уж не часовню, а целую церковь выстрою! Как приду домой, в Слободу, отслужу молебен и выну просвиру во здравие твое! Вечно буду твоим холопом, Максим Григорьич! Что хочешь приказывай!

– Слушай, Трифон! Сослужи мне службу нетрудную: как приедешь в Слободу, никому не заикнись, что меня встретил; а дня через три ступай к матушке, скажи ей, да только ей одной, чтобы никто не слышал, скажи, что сын-де твой, дал бог, здоров, бьет тебе челом.

– Только-то, Максим Григорьич?

– Еще, слушай, Трифон, я еду в далекий путь. Может, не скоро вернусь. Так, коли тебе не в труд, наведывайся от поры до поры к матери, да говори ей каждый раз: я-де, говори, слышал от людей, что сын твой, помощью божией, здоров, а ты-де о нем не кручинься! А буде матушка спросит: от каких людей слышал? и ты ей говори: слышал-де от московских людей, а им-де другие люди сказывали, а какие люди, того не говори, чтоб и концов не нашли, а только бы ведала матушка, что я здравствую.

– Так ты, Максим Григорьич, и вправду не вернешься в Слободу?

– Вернусь ли, нет ли, про то бог знает; ты же никому не сказывай, что меня встретил.

– Уж положишься на меня, Максим Григорьич, не скажу никому! Только коли ты едешь в дальний путь, так я не возьму твоих денег. Меня бог накажет.

– Да на что мне деньги? Мы не в басурманской земле!

– Воля твоя, Максим Григорьич, а мне взять не можно. Добро бы ты ехал домой. А то, что ж я тебя оберу на дороге, как станишник

какой! Воля твоя, хоть зарежь, не возьму!

Максим пожал плечами и вынул из шапки Трифона несколько золотых.

– Коли ты не берешь, – сказал он, – авось кто другой возьмет, а мне их не надо.

Он простился с сокольником и поехал далее.

Уже солнце начинало заходить. Длинные тени деревьев становились длиннее и застилали поляны. Подле Максима ехала его собственная тень, словно темный великан. Она то бежала по траве, то, когда лес спирал дорогу, всползала на кусты и деревья. Буян казался на тени огромным баснословным зверем. Мало-помалу и Буян, и конь, и Максим исчезли и с травы и с деревьев; наступили сумерки; кое-где забелел туман; вечерние жуки поднялись с земли и, жужжа, стали чертить воздух. Месяц показался из-за лесу; там и сям по темнеющему небу зажглись звезды; вдали засеребрилось необозримое поле.

Родина ты моя, родина! Случалось и мне в позднюю пору проезжать по твоим пустыням! Ровно ступал конь, отдыхая от слепней и дневного жару; теплый ветер разносил запах

цветов и свежего сена, и так было мне сладко, и так было мне грустно, и так думалось о прошедшем, и так мечталось о будущем. Хорошо, хорошо ехать вечером по безлюдным местам, то лесом, то нивами, бросить поводья и задуматься, глядя на звезды!

Уже с добрый час ехал Максим, как вдруг Буян поднял морду на ветер и замахал хвостом. Послышался запах дыма. Максим вспомнил о ночлеге и понудил коня. Вскоре увидел он покачнувшуюся на сторону избу. Трубы на ней не было; дым выходил прямо из крыши. В низеньком окне светился огонь. Внутри слышался однообразный напев. Максим подъехал к окну. Он увидел всю внутренность бедного хозяйства. Пылающая лучина освещала домашнюю утварь; все было дряно и ветхо. В потолочине торчал наискось гибкий шест, и на конце его висела люлька. Женщина лет тридцати, бледная, хвора, качала люльку и потихоньку пела. Подле нее сидел, согнувшись, мужичок с реденькою бородкой и плел лапти. Двое детей ползали у ног их.

Максиму показалось, что женщина в пес-

ни поминает его отца. Сначала он подумал, что ослышался, но вскоре ясно поразило его имя Малюты Скуратова. Полный удивления, он стал прислушиваться.

– Спи, усни, мое дитяtko! – пела женщина.

*Спи, усни, мое дитяtko,
Покуль гроза пройдет,
Покуль беда минет!
Баю-баюшки-баю,
Баю, мое дитяtko!
Скоро минет беда наносная,
Скоро царь велит отсечь голову
Злому псу Малюте Скурлатову!
Баю-баюшки-баю,
Баю, мое дитяtko!*

Вся кровь Максима бросилась ему в лицо. Он слез с коня и привязал его к плетню.

Голос продолжал:

*Как и он ли, злой пес Малюта,
Задушил святого старца,
Святого старца Филиппа!
Баю-баюшки-баю,
Баю, мое дитяtko!*

Максим не выдержал и толкнул дверь ногою. При виде богатой одежды и золотой саб-

ли опричника хозяева оробели.

– Кто вы? – спросил Максим.

– Батюшка! – отвечал мужичок, кланяясь и заикаясь от страха, – меня-то, не взыщи, меня зовут Федотом, а хозяйку-то, не взыщи, батюшка, хозяйку зовут Марьею!

– Чем вы живете, добрые люди?

– Лыки дерем, родимый, лапти плетем да решета делаем. Купцы проедут и купят.

– А, знать, мало проезжают?

– Малость, батюшка, совсем малость! Иной раз, придется, и есть нечего. Того и смотри, с голоду али с наготы помрешь. А лошадки-то нет у нас товар в город отвезти. Другой год волки съели.

Максим поглядел с участием на мужика и его хозяйку и высыпал свои червонцы на стол.

– Бог с вами, бедные люди! – сказал он и схватился за дверь, чтобы выйти.

Хозяева повалились ему в ноги.

– Батюшка, родимый, кто ты? Поведай нам, кто ты? За кого нам богу молиться?

– Молитесь не за меня, за Малюту Скуратова. Да скажите, далеко ль до Рязанской доро-

ги?

– Да это она и есть, сокол ты наш, она-то и есть, Рязанская-то. Мы на самом кресте живем. Вот прямо пойдет Муромская, а налево Владимирская, а сюда вправо на Рязань! Да не ездят теперь, родимый ты наш, не ездят теперь, не такая пора; больно стали шалить на дороге. Вот вчера целый обоз с вином ограбили. А теперь еще, говорят, татары опять проявились. Переночуй у нас, батюшка ты наш, отец ты наш, сокол ты наш, сохрани бог, долго ль до беды!

Но Максиму не хотелось остаться в избе, где недавно еще проклинали отца его. Он уехал искать другого ночлега.

– Батюшка, – кричали ему вслед хозяева, – вернись, родимый, послушай нашего слова! Несдобровать тебе ночью на этой дороге!

Но Максим не послушался и поехал далее.

Не много верст проехал он, как вдруг Буян бросился к темному кусту и стал лаять так зло, так упорно, как будто чуял скрытого врага.

Тщетно отсвистывал его Максим. Буян бросался на куст, возвращался весь оцетинен-

ный и снова рвался вперед.

Наскучив отзывать его, Максим выхватил саблю и поскакал прямо на куст. Несколько человек с поднятыми дубинами выскочили к нему навстречу, и грубый голос крикнул:

– Долой с коня!

– Вот тебе! – сказал Максим, отвешивая удар тому, который был ближе.

Разбойник зашатался.

– Это тебе не в почет! – продолжал Максим и хотел отвесить ему второй удар; но сабля встретила плашмя дубину другого разбойника и разлетелась напопы.

– Эге, посмотри-ка на его сбрую! Да это опричник! Хватай его живьем! – закричал грубый голос.

– И впрямь опричник! – завизжал другой, – вот потешимся над ним с ребятами!

– Ай да Хлопко! уж ты и рад тешиться!

И в тот же миг все вместе навалились на Максима и стащили его с коня.

ГЛАВА 24. Бунт станичников

Версты полторы от места, где совершилось нападение на Максима, толпы вооруженных людей сидели вокруг винных бочек с выбитыми днами. Чарки и берестовые черпала ходили из рук в руки. Пылающие костры освещали резкие черты, всклокоченные бороды и разнообразные одежды. Были тут знакомые нам лица: и Андрюшка, и Васька, и рыжий песенник; но не было старого Коршуна. Часто поминали его разбойники, хлебая из черпал и осушая чарки.

– Эх, – говорил один, – что-то с нашим дедушкой теперь!

– Вестимо что! – отвечал другой, – рвут его с дыбов, а может, на виске потряхивают.

– А ведь не выдаст старый черт; я чай, словечка не выронит!

– Вестимо, не выронит, не таковский; этого хоть на ключья разорви, не выдаст!

– А жаль седой бороды! Ну да и атаман-то хорош! Сам небось цел, а старика-то выдал!

– Да что он за атаман! Разве это атаман, чтобы своих даром губить из-за какого-то

князя!

– Да вишь ты, они с князем-то в дружбе. И теперь, вишь, в одном курене сидят. Ты про князя не говори, неравно, атаман услышит, сохрани бог!

– А что ж, коль услышит! Я ему в глаза скажу, что он не атаман. Вот Коршун, так настоящий атаман! Небось был у Перстня как бельмо на глазу, так вот его нарочно и выдал!

– А что, ребята, ведь, может, и в самом деле он нарочно выдал Коршуна!

Глухой ропот пробежал меж разбойников.

– Нарочно, нарочно выдал! – сказали многие.

– Да что это за князь? – спросил один. – Зачем его держат? Выкупа за него ждет атаман, что ли?

– Нет, не выкупа! – отвечал рыжий песенник. – Князя, вишь, царь обидел, хотел казнить его; так князь-то от царя и ушел к нам; говорит: я вас, ребятушки, сам на Слободу поведу; мне, говорит, ведомо, где казна лежит. Всех, говорит, опричников перережем, а казною поделимся!

– Вот как! Так что ж он не ведет нас? Уж

третьи сутки здесь даром стоим!

– Оттого не ведет, что атаман у нас баба!

– Нет, этого не говори, Перстень не баба!

– А коли не баба, так и хуже того. Стало быть, он нас морочит!

– Стало, – сказал кто-то, – он хочет царскую казну на себя одного взять, а нам чтоб понюхать не досталось!

– Да, да, Перстень продать нас хочет, как Коршуна продал!

– Да не на таковских напал!

– А старика-то выручить не хочет!

– Да что он нам! Мы и без него дедушку выручим!

– И без него казну возьмем; пусть князь один ведет нас!

– Теперь-то и самая пора: царь, слышно, на богомолье; в Слободе и половины опричников не осталось!

– Зажжем опять Слободу!

– Перережем всех слободских!

– Долой Перстня! Пусть князь ведет нас!

– Пусть князь ведет! Пусть князь ведет! – слышалось отовсюду.

Подобно грому прокатились слова от тол-

пы до толпы, пронеслися до самых отдаленных костров, и все поднялось и закипело, и все обступили курень, где Серебряный сидел в жарком разговоре с Перстнем.

– Воля твоя, князь, – говорил атаман, – сердись не сердись, а пустить тебя не пущу! Не для того я тебя из тюрьмы вызволил, чтоб ты опять голову на плаху понес!

– В голове своей я один волен! – отвечал князь с досадою. – Незачем было меня из тюрьмы вызволять, коли я теперь в неволе сижу!

– Эх, князь, велико дело время. Царь может одуматься, царь может преставиться; мало ли что может случиться; а минует беда, ступай себе с богом на все четыре стороны! Что ж делать, – прибавил он, видя возрастающую досаду Серебряного, – должно быть, тебе на роду написано пожить еще на белом свете. Ты норовом крут, Никита Романыч, да и я крепко держусь своей мысли; видно, уж нашла коса на камень, князь!

В это мгновение голоса разбойников раздались у самого куреня.

– В Слободу, в Слободу! – кричали пьяные

удальцы.

- Пустим красного гуся в Слободу!
- Пустим целое стадо гусей!
- Выручим Коршуна!
- Выручим дедушку!
- Выкатим бочки из подвалов!
- Выгребем золото!
- Вырежем опричнину!
- Вырежем всю Слободу!
- Где князь? Пусть ведет нас!
- Пусть ведет князь!
- А не хочет, так на осину его!
- На осину! На осину!
- Перстня туда же!
- На осину и Перстня!

Перстень вскочил с места.

– Так вот что они затевают! – сказал он. – А я уж давно прислушиваюсь, что они там голосят. Вишь, как расходились, вражьи дети! Теперь их сам черт не уымет! Ну, князь, нечего делать, вышло по-твоему; не держу тебя доле: вольному воля, ходячему путь! Выйди к ним, скажи, что ведешь их на Слободу!

Серебряный вспыхнул.

– Чтоб я повел вас на Слободу? – сказал

он. – Да скорей вы меня на ключья разорвете!

– Эх, князь, притворись хоть для виду. Народ, ты видишь, нетрезвый, завтра образумятся!

– Князь! – кричали голоса, – тебя зовут, выходи!

– Выйди, князь! – повторил Перстень, – свалятся в курень, хуже будет!

– Добро ж! – сказал князь, выходя из куреня, – посмотрим, как они меня заставят вести их на Слободу!

– Ага! – закричали разбойники, – вылез!

– Веди на Слободу!

– Атаманствуй над нами, не то тебе петлю на шею!

– Так, так! – ревели голоса.

– Бьем тебе челом! – кричали другие, – будь нам атаманом, не то повесим!

– Ей-богу, повесим!

Перстень, зная горячий нрав Серебряного, поспешил также выйти.

– Что вы, братцы, – сказал он, – белены, что ль, объелись? Чего вы горла-то дерете? Поведет вас князь, куда хотите; поведет чем свет; а теперь дайте выпасться его милости, да и

сами ложитесь; уже вволю повеселились!

– Да ты что нам указываешь! – захрипел один, – разве ты нам атаман!

– Слышь, братцы, – закричали другие, – он не хочет сдать атаманства! Так на осину его! На осину, на осину!

Перстень окинул взором всю толпу и везде встретил враждебные лица.

– Ах вы дураки, дураки! – сказал он. – Да разве я держусь вашего атаманства? Поставьте над собой кого знаете, а я и сам не хочу; наплевать мне на вас.

– Хорошо! – закричал кто-то.

– Красно говорит! – прибавил другой.

– Наплевать мне на вас! – продолжал Перстень, – мало, что ли, таких, как вы? Эка честь над вами атаманствовать! Да захочу, пойду на Волгу, не таких наберу!

– Нет, брат, дудки. От себя не пустим; еще, пожалуй, продашь, как Коршуна продал!

– Не пустим, не пустим; оставайся с нами; слушайся нового атамана!

Дикие крики заглушили голос Перстня.

Разбойник огромного роста подошел к Серебряному с чаркой в руке.

– Батька! – сказал он, ударив его широкою лапой по плечу, – пробазарил ты свою голову, стал нашим братом; так выпьем вместе да поцелуемся!

Бог знает, что бы сделал Серебряный. Пожалуй, вышиб бы он чарку из рук разбойника и разорвала б его на клочья пьяная толпа; но, к счастью, новые крики отвлекли его внимание.

– Смотрите, смотрите! – раздалось в толпе, – опричника поймали! Опричника ведут! Смотрите, смотрите!

Из глубины леса шло несколько людей в изодранных одеждах, с дубинами в руках. Они вели с собой связанного Максима. Разбойник, которого он ударил саблей, ехал на Максимовом коне. Впереди шел Хлопко, при- свистывая и приплясывая. Раненый Буян тащился сзади.

– Гей, братцы, – пел Хлопко, щелкая пальцами.

Гости съехались ко вдовушкам во дворики, Заходили по головушкам топорики!..

И Хлопко опрокидывался навзничь, бил в ладоши и кружился, словно кубарь.

Глядя на него, рыжий песенник не вытерпел, схватил балалайку и пустился вприсядку помогать товарищу.

Оба стали наперерыв семенить ногами и кривляться вокруг Максима.

– Вишь, дьяволы! – сказал Перстень Серебряному. – Ведь они не просто убьют опричника, а замучат медленною смертью; я знаю обоих: уж коли эти пустились, значит, плохо дело; несдобровать молодцу!

В самом деле, поимка опричника была для всей шайки настоящим праздником. Они собрались выместить на Максиме все, что пертерпели от его товарищей.

Несколько человек с зверскими лицами тотчас занялись приготовлениями к его казни.

В землю вколотили четыре кола, укрепили на них поперечные жерди и накалили гвоздей.

Максим смотрел на все спокойным оком. Не страшно было ему умирать в муках; грустно было умереть без меча, со связанными руками, и не слышать в предсмертный час ни бранного окрика, ни ржания коней, а слы-

шать лишь дикие песни да пьяный смех своих мучителей.

«Обмануло меня вещее, – подумал он, – не такого я чаял себе конца. Да будет же надомной божья воля!»

Тут он заметил Серебряного, узнал его и хотел к нему подойти. Но рыжий песенник схватил его за ворот.

– Постлана постель, – сказал он, – сымай кафтан, ложись, что ли!

– Развяжите мне руки! – отвечал Максим, – не могу перекреститься!

Хлопко ударом ножа разрезал веревки, которыми руки Максима были спутаны.

– Крестись, да недолго! – сказал он, и когда Максим помолился, Хлопко и рыжий сорвали с него платье и стали привязывать его руки и ноги к жердям.

Тут Серебряный выступил вперед.

– Ребята! – сказал он голосом, который привык раздаваться в ратном строю, – слушайте!

И звонкие слова резко пронеслись по толпе и, несмотря на шум и крики, долетели до самых отдаленных разбойников.

– Слушайте! – продолжал князь. – Все ли

вы хотите, чтоб я был над вами старшим? Может, есть меж вами такие, что не хотят меня?

– Э! – закричал кто-то, – да ты, никак, на попятный двор!

– Слышь ты, с нами не шути!

– Дают атаманство, так бери!

– Принимай честь, пока цел!

– Подайте ж мне атаманский чекан! – сказал Серебряный.

– Дело! – закричали разбойники. – Так-то лучше подобру-поздорову!

Князю подали чекан Перстня.

Никита Романович подошел прямо к рыжему песеннику.

– Отвязывай опричника! – сказал он.

Рыжий посмотрел на него с удивлением.

– Отвязывай тотчас! – повторил грозно Серебряный.

– Вишь ты! – сказал рыжий, – да ты за него, что ль, стоишь? Смотри, у самого крепка ль голова?

– Окаянный! – вскричал князь, – не рассуждай, когда я приказываю!

И, взмахнув чеканом, он разрубил ему череп.

Рыжий повалился, не пикнув.

Поступок Серебряного смутил разбойников. Князь не дал им опомниться.

– Отвязывай ты! – сказал он Хлопку, подняв чекан над его головой.

Хлопко взглянул на князя и поспешил отвязать Максима.

– Ребята! – продолжал Никита Романович, – этот молодец не из тех, что вас обидели; я его знаю; он такой же враг опричнине, как и вы. Сохрани вас бог тронуть его хоть пальцем! А теперь нечего мешкать: берите оружие, стройтесь по сотням, я веду вас!

Твердый голос Серебряного, повелительная осанка и неожиданная решительность сильно подействовали на разбойников.

– Эге, – сказали некоторые вполголоса, – да этот не шутит!

– И впрямь атаман! – говорили другие, – хоть кого перевернет!

– С ним держи ухо востро, не разговаривай! Вишь, как уходил песенника!

Так рассуждали разбойники, и никому не приходило более в голову трепать Серебряного по плечу или с ним целоваться.

– Исполать тебе, князь! – прошептал Перстенъ, с почтением глядя на Никиту Романовича. – Вишь ты, как их приструнил! Только не давай им одуматься, веди их по дороге в Слободу, а там что бог даст!

Трудно было положение Серебряного. Став в главе станичников, он спас Максима и выиграл время; но все было бы вновь потеряно, если б он отказался вести буйную ватагу. Князь обратился мыслию к богу и предался его воле.

Уже начали станичники готовиться к походу, и только поговаривали, что недостает какого-то Федьки Поддубного, который с утра ушел с своим отрядом и еще не возвращался.

– А вот и Федька! – сказал кто-то, – эвот идет с ребятами!

Поддубный был сухощавый детина, кривой на один глаз и со множеством рубцов на лице.

Зипун его был изодран. Ступал он тяжело, сгибая колени, как человек, через силу уставший.

– Что? – спросил один разбойник.

– Я чай, опять досталось? – прибавил дру-

гой.

– Досталось, да не нам! – сказал Поддубный, садясь к огню. – Вот, ребяташки, много у меня лежало грехов на душе, а сегодня, кажись, половину сбыл!

– Как так?

Поддубный обернулся к своему отряду.

– Давайте сюда языка, братцы!

К костру подвели связанного детину в полосатом кафтане. На огромной голове его торчала высокая шапка с выгнутыми краями. Сплюснутый нос, выдававшиеся скулы, узенькие глаза свидетельствовали о нерусском его происхождении.

Один из товарищей Поддубного принес копье, саадак и колчан, взятые на пленном.

– Да это татарин! – закричала толпа.

– Татарин, – повторил Поддубный, – да еще какой! Насилу с ним справились, такой здоровяк! Кабы не Митька, как раз ушел бы!

– Рассказывай, рассказывай! – закричали разбойники.

– А вот, братцы, пошли мы с утра по Рязанской дороге, остановили купца, стали обшаривать; а он нам говорит: «Нечего, говорит,

братцы, взять с меня! Я, говорит, еду от Рязани, там всю дорогу заложила татарва, ободрали меня дочиста, не с чем и до Москвы дотащиться».

– Вишь, разбойники! – сказал один из толпы.

– Что ж вы с купцом сделали? – спросил другой.

– Дали ему гривну на дорогу и отпустили, – ответил Поддубный. – Тут попался нам мужик, рассказал, что еще вчера татары напали на деревню и всю выжгли. Вскоре мы сами перешли великую сакму: сметили, по крайнему счету, с тысячу лошадей. А там идут другие мужики с бабами да с детьми, воют да голосят: и наше-де село выжгла татарва, да еще и церковь ограбили, порубили святые иконы, из риз поделали чепраки...

– Ах они окаянные! – вскричали разбойники, – да как еще их, проклятых, земля держит!

– Попа, – продолжал Поддубный, – к лошадиному хвосту привязали...

– Попа? Да как их, собачьих детей, громом не убило!

– А бог весть!

– Да разве у русского человека рук нет на проклятую татарву!

– Вот то-то и есть, что рук-то мало; все полки распущены, остались мужики, да бабы, да старики; а басурманам-то и любо, что нет ратных людей, что некому поколотить их порядком!

– Эх, дал бы я им!

– И я бы дал!

– Да как вы языка-то достали?

– А вот как. Слышим мы лошадиный топ по дороге. Я и говорю ребятам: схоронимся, говорю, в кусты, посмотрим, кто такой едет? Схоронились, видим: скачет человек тридцать, вот в этаких шапках, с копьями, с колчанами, с луками. Братцы, говорю я, ведь это они, сердечные! Жаль, что нас маленько, а то можно б поколотить! Вдруг у одного отторочился какой-то мешок и упал на землю. Тот остановился, слез с коня подымать мешок да вторачивать, а товарищи его меж тем ускакали. Братцы, говорю я, что бы нам навалиться на него? Ну-тка, робятушки, за мной, разом! И, сказавши, бросились все на татарина. Да куды! Тот только повел плечами, так всех нас

и стряхнул. Мы опять на него, он нас опять стряхнул, да и за копьё. Тут уж Митька говорит: посторонитесь, братцы, говорит, не мешайте! Мы дали ему место, а он вырвал у татарина копьё, взял его за шиворот, да и пригнул к земле. Тут мы ему рукавицу в рот, да и связали, как барана.

– Ай да Митька! – сказали разбойники.

– Да, этот хоть быка за рога свалит! – заметил Поддубный.

– Эй, Митька! – спросил кто-то, – свалишь ты быка?

– А для ча! – ответил Митька и отошел в сторону, не желая продолжать разговора.

– Что ж было в мешке у татарина? – спросил Хлопко.

– А вот смотрите, ребята!

Поддубный развязал мешок и вынул кусок ризы, богатую дарохранительницу, две-три панагии да золотой крест.

– Ах он собака! – закричала вся толпа, – так это он церковь ограбил!

Серебряный воспользовался негодованием разбойников.

– Ребята! – сказал он, – видите, как прокля-

тая татарва ругается над Христовою верой? Видите, как басурманское племя хочет святую Русь извести? Что ж, ребята, разве уж и мы стали басурманами? Разве дадим мы святые иконы на поругание? Разве попустим, чтобы нехристи жгли русские села да резали наших братьев?

Глухой ропот пробежал по толпе.

– Ребята, – продолжал Никита Романович, – кто из нас богу не грешен! Так искупим же теперь грехи наши, заслужим себе прощение от господа, ударим все, как мы есть, на врагов церкви и земли Русской!

Сильно подействовали на толпу слова Серебряного. Проняла мужественная речь не одно зачерствелое сердце, не в одной косматой груди расшевелила любовь к родине. Старые разбойники кивнули головой, молодые взглянули друг на друга. Громкие восклицания вырвались из общего говора.

– Что ж! – сказал один, – ведь и вправду не приходится отдавать церквей божиих на поругание!

– Не приходится, не приходится! – повторил другой.

– Двух смертей не бывать, одной не миновать! – прибавил третий, – лучше умереть в поле, чем на виселице!

– Правда! – отозвался один старый разбойник, – в поле и смерть красна!

– Эх, была не была! – сказал, выступая вперед, молодой сорвиголова. – Не знаю, как другие, а я пойду на татарву!

– И я пойду! и я! и я! – закричали многие.

– Говорят про вас, – продолжал Серебряный, – что вы бога забыли, что не осталось в вас ни души, ни совести. Так покажите ж теперь, что врут люди, что есть у вас и душа и совесть. Покажите, что коли пошло на то, чтобы стоять за Русь да за веру, так и вы постойте не хуже стрельцов, не хуже опричников!

– Постойм! постойм! – закричали все разбойники в один голос.

– Не дадим поганым ругаться над святою Русью!

– Ударим на нехристей!

– Веди нас на татарву!

– Веди нас, веди нас! Постойм за святую веру!

– Ребята! – сказал князь, – а если поколо-

тим поганых да увидит царь, что мы не хуже опричников, отпустит он нам вины наши, скажет: не нужна мне боле опричина; есть у меня и без нее добрые слуги!

– Пусть только скажет, – закричали разбойники, – уж послужим ему нашими головами!

– Не по своей же я охоте в станичники пошел! – сказал кто-то.

– А я разве по своей? – подхватил другой.

– Так ляжем же, коли надо, за Русскую землю! – сказал князь.

– Ляжем, ляжем! – повторили разбойники.

– Что ж, ребята, – продолжал Серебряный, – коли бить врагов земли Русской, так надо выпить про русского царя!

– Выпьем!

– Берите ж чарки и мне чару подайте!

Князю поднесли стопу; все разбойники налили себе чарки.

– Да здравствует великий государь наш, царь Иван Васильевич всея Руси! – сказал Серебряный.

– Да здравствует царь! – повторили разбойники.

– Да живет земля Русская! – сказал Серебря-

ный.

– Да живет земля Русская! – повторили разбойники.

– Да сгинут все враги святой Руси и православной Христовой веры! – продолжал князь.

– Да сгинет татарва! Да сгинут враги русской веры, – кричали наперерыв разбойники.

– Веди нас на татарву! Где они, басурманы, что жгут наши церкви?

– Веди нас, веди нас! – раздавалось отовсюду.

– В огонь татарина! – закричал кто-то.

– В огонь его! В поломя! – повторили другие.

– Пойдите, ребята! – сказал Серебряный, – спросим его наперед порядком. Отвечай, – сказал князь, обращаясь к татарину, – много ль вас? Где вы станом стоите?

Татарин сделал знак, что не понимает.

– Пой, князь, – сказал Поддубный, – мы ему развяжем язык! Давай-ка, Хлопко, огоньку. Так. Ну что, будешь говорить?

– Буду, бачка! – вскрикнул обожженный татарин.

– Много ль вас?

– Многа, бачка, многа!

– Сколько?

– Десять тысяча, бачка; теперь десять тысяча, а завтра пришла сто тысяча!

– Так вы только передовые! Кто ведет вас?

– Хан тащил!

– Сам хан?

– Не сама! Хан пришла завтра; теперь пришла ширинский князь Шихмат!

– Где его стан?

Татарин опять показал знаками, что не понимает.

– Эй, Хлопке, огоньку! – крикнул Поддубный.

– Близка стан, бачка, близка! – поспешил отвечать татарин, – не больше отсюда, как десяти верста!

– Показывай дорогу! – сказал Серебряный.

– Не можно, бачка! Не можно теперь видеть дорога! Завтра можно, бачка!

Поддубный поднес горячую головню к связанным рукам татарина.

– Найдешь дорогу?

– Нашла, бачка, нашла!

– Хорошо, – сказал Серебряный, – теперь

перекусите, братцы, накормите татарина, да тотчас и в поход! Покажем врагам, что значит русская сила!

ГЛАВА 25. Приготовление к битве

В шайке началось такое движение, беготня и крики, что Максим не успел сказать и спасибо Серебряному. Когда наконец станичники выстроились и двинулись из лесу, Максим, которому возвратили коня и дали оружие, поравнялся с князем.

– Никита Романыч, – сказал он, – отплатил ты мне сегодня за медведя!

– Что ж, Максим Григорьевич, – ответил Серебряный, – на то на свете живем, чтоб помогать друг другу!

– Князь, – подхватил Перстень, ехавший также верхом возле Серебряного, – смотрел я на тебя и думал: эх, жаль, что не видит его один низовой молодец, которого оставил я на Волге! Хоть он и худой человек, почитай мне ровня, а полюбил бы ты его, князь, и он тебя полюбил бы! Не в обиду тебе сказать, а схожи вы нравом. Как заговорил ты про святую Русь да загорелись твои очи, так я и вспомнил Ер-

мака Тимофеича. Любит он родину, крепко любит ее, нужды нет, что станичник. Не раз говаривал мне, что совестно ему землю даром бременить, что хотелось бы сослужить службу родине. Эх, кабы теперь его на татар! Он один целой сотни стоит. Как крикнет: за мной, ребята! так, кажется, сам станешь и выше и сильнее, и ничто тебя уже не остановит, и все вокруг тебя так и валится. Похож ты на него, ей-богу похож, Никита Романыч, не в укор тебе сказать!

Перстень задумался. Серебряный ехал осторожно, вглядываясь в темную даль; Максим молчал. Глухо раздавались по дороге шаги разбойников; звездная ночь безмолвно раскинулась над спящею землей. Долго шла толпа по направлению, указанному татаринном, которого вели под саблей Хлопко и Поддубный.

Вдруг принесли издали какие-то странные, мерные звуки.

То был не человеческий голос, не рожок, не гусли, а что-то похожее на шум ветра в тростнике, если бы тростник мог звенеть, как стекло или струны.

– Что это? – спросил Никита Романыч, останавливая коня.

Перстень снял шапку и наклонил голову почти до самой луки.

– погоди, князь, дай порасслушать!

Звуки лились мерно и заунывно, то звонкими серебряными струями, то подобные шуму колеблемого леса, – вдруг замолкли, как будто в порыве степного ветра.

– Кончил! – сказал Перстень, смеясь. – Вишь, грудь-то какова! Я чай, с полчаса дул себе, не переводя духа!

– Да что это? – спросил князь.

– Чебузга! – отвечал Перстень. – Это у них, почитай, что у нас рожок или жалейка. Должно быть, башкирцы. Ведь тут разный сброд с ханом, и казанцы, и астраханцы, и всякая ногайская погань. Слышь, вот опять наигрывать стали!

Вдали начался как будто новый порыв вихря, обратился в длинные, грустно-приятные переливы и через несколько времени кончился отрывисто, подобно конскому фырканию.

– Ага! – сказал Перстень, – это колено вы-

шло покороче; должно быть, надорвался, собачий сын!

Но тут раздались новые звуки, гораздо звончее. Казалось, множество колокольцев звенели безостановочно.

– А вот и горло! – сказал Перстень. – Ведь издали подумаешь и невесть что; а они это горлом выделывают. Вишь, их разобрало, вражьих детей!

Грустные, заунывные звуки сменялись веселыми, но то была не русская грусть и не русская удаль. Тут отражалось дикое величие кочующего племени, и попрыски табунов, и богатырские набеги, и переходы народов из края в край, и тоска по неизвестной, первобытной родине.

– Князь, – сказал Перстень, – должно быть, близко стан; я чаю, за этим пригорком и огни будут видны. Дозволь, я пойду повысмотрю, что и как; мне это дело обычное, довольно я их за Волгой встречал; а ты бы пока ребятам дал вздохнуть да осмотреться.

– Ступай с богом, – сказал князь, и Перстень соскочил с коня и исчез во мраке.

Разбойники оправились, осмотрели ору-

жие и сели на землю, не изменя боевого порядка. Глубокое молчание царствовало в шайке. Все понимали важность начатого дела и необходимость безусловного повиновения. Между тем звуки чебузги лились по-прежнему, месяц и звезды освещали поле, все было тихо и торжественно, и лишь изредка легкое дуновение ветра волновало ковыль серебряными струями.

Прошло около часа; Перстень не возвращался. Князь стал уже терять терпение, но вдруг шагах в трех от него поднялся из травы человек. Никита Романович схватился за саблю.

– Тише, князь, это я! – произнес Перстень, усмехаясь. – Вот так точно подполз я и к татарам; все высмотрел, теперь знаю их стан не хуже своего куреня. Коли дозволишь, князь, я возьму десяток молодцов, пугну табун да переполошу татарву; а ты тем часом, коли рассудишь, ударь на них с двух сторон, да с добрым криком; так будь я татарин, коли мы их половины не перережем! Это я так говорю, только для почину; ночное дело мастера боится; а взойдет солнышко, так уж тебе указы-

вать, князь, а нам только слушаться!

Серебряный знал находчивость и сметливость Перстня и дал ему действовать по его мысли.

– Ребятушки, – сказал Перстень разбойникам, – повздорили мы немного, да кто старое помянет, тому глаз вон! Есть ли промеж вас человек десять охотников со мной вместе к стану идти?

– Выбирай кого знаешь, – отвечали разбойники, – мы все готовы!

– Спасибо же вам, ребятушки; а коли уж вы меня уважили, так я беру вот каких: ступай сюда, Поддубный, и ты, Хлопко, и ты, Дятел, и ты, Лесников, и ты, Решето, и Степка, и Мишка, и Шестопер, и Наковальня, и Саранча! А ты куда лезешь, Митька? Тебя я не звал; оставайся с князем, ты к нашему делу непригоден. Сымайте, ребята, сабли, с ними ползти неладно, будет с нас и ножей. Только, ребята, чур слушать моего слова, без меня ни на шаг! Пошли в охотники, так уж что укажу, то и делать. Чуть кто-нибудь не так, я ему тут же и карачун!

– Добро, добро! – отвечали выбранные

Перстнем, – как скажешь, так и сделаем. Уж пошли на святое дело, небось не повздорим!

– Видишь, князь, этот косогор? – продолжал атаман. – Как дойдешь до него, будут вам их костры видны. А мой совет – ждать вам у косогора, пока не услышите моего визга. А как пугну табун да послышится визг и крик, так вам и напускаться на нехристей; а им деться некуда; коней-то уж не будет; с одной стороны мы, с другой пришла речка с болотом.

Князь обещался делать все по распоряжению Перстня.

Между тем атаман с десятью удальцами пошли на звук чебузги и вскоре пропали в траве. Иной подумал бы, что они тут же и притаились; но зоркое око могло бы заметить колебание травы, независимое от ветра и не по его направлению.

Через полчаса Перстень и его товарищи были уже близко к татарским кибиткам.

Лежа в ковыле, Перстень приподнял голову.

Шагов пятьдесят перед ним горел костер и озарял несколько башкирцев, сидевших

кружком, с поджатыми под себя ногами. Кто был в пестром халате, кто в бараньем тулупе, а кто в изодранном кафтане из верблюжины. Воткнутые в землю копыя торчали возле них и докидывали длинные тени свои до самого Перстня. Табун из нескольких тысяч лошадей, вверенный страже башкирцев, пасся неподалеку густою кучей. Другие костры, шагах во сто подале, освещали бесчисленные войлочные кибитки.

Не зорко смотрели башкирцы за своим табуном. Пришли они от Волги до самой Рязани, не встретив нигде отпора; знали, что наши войска распущены, и не ожидали себе неприятеля; а от волков, думали, обережемся чебузгой да горлом. И четверо из них, уперев в верхние зубы концы длинных репейных дудок и набрав в широкие груди сколько могли ветру, дули, перебирая пальцами, пока хватало духа. Другие подтягивали им горлом, и огонь освещал их скулистые лица, побагровевшие от натуги.

Несколько минут Перстень любовался этою картиной, раздумывая про себя: броситься ли ему тотчас с ножом на башкирцев

и, не дав им опомниться, перерезать всех до одного? Или сперва разогнать лошадей, а потом уже начать резать?

И то и другое его прельщало. «Вишь, какой табун, – думал он, притаив дыхание, – коли пугнуть его умеючи, так он, с напуску, все их кибитки переломает; такого задаст переполоху, что они своих не узнают. А и эти-то вражьи дети хорошо сидят, больно хорошо! Вишь, как наявивают; можно к ним на два шага подползти!»

И не захотелось атаману отказаться от кровавой потехи над башкирцами.

– Решето, – шепнул он притаившемуся возле него товарищу, – что, у тебя в горле не першит? Сумеешь взвизгнуть?

– А ты-то что ж? – ответил шепотом Решето.

– Да как будто осип маненько.

– Пожалуй, я взвизгну. Пора, что ли?

– Постой, рано. Заползи-ка вон оттоль как можно ближе к табуну; ползи, пока не сметят тебя кони; а лишь начнут ушьми трясти, ты и гикни, да пострашнее, да и гони их прямо на кибитки!

Решето кивнул головой и исчез в ковыле.

– Ну, братцы, – шепнул Перстень остальным товарищам, – ползите за мной под нехристей, только чур осторожно. Вишь, их всего-то человек двадцать, а нас девятеро; на каждого из вас будет по два, а я на себя четырех беру. Как услышите, что Решето взвизгнуло, так всем разом и загикать да прямо на них! Готовы, что ли?

– Готовы! – отвечали шепотом разбойники.

Атаман перевел дыхание, оправился и начал потихоньку вытаскивать из-за пояса длинный нож свой.

ГЛАВА 26. Побратимство

Пока все это происходило у татарского стана, Серебряный, за полверсты оттуда, ожидал нетерпеливо условленного знака.

– Князь, – сказал ему Максим, не отходивший все время от него, – недолго нам ждать, скоро зачнется бой; как взойдет солнышко, так уже многих из нас не будет в живых, а мне бы хотелось попросить тебя...

– О чем, Максим Григорьич?

– Дело-то нетрудное, да не знаю, как тебе сказать, совестно мне...

– Говори, Максим Григорьич, было бы вмоготу!

– Видишь ли, князь, скажу тебе всю истину. Я ушел из Слободы тайно, против воли отца, без ведома матери. Невтерпеж мне стало служить в опричниках; такая нашла тошнота, что хоть в воду кинуться. Видишь ли, боярин, я один сын у отца у матери, брата у меня никогда не бывало. От покрова пошел мне девятнадцатый год, а поверишь ли, до сей поры не с кем было добрым словом перемолвиться. Живу промеж них один-одинешенек,

никто мне не товарищ, все чужие. Всяк только и думает, как бы другого извести, чтобы самому в честь попасть. Что ни день, то пытки да казни. Из церкви, почитай, не выходят, а губят народ хуже станичников. Было б им поболее казны да поместий, так, по ним, хоть вся Русь пропадай! Как царь ни грозен, а ведь и тот иногда слушает истину; так у них, хоть бы у одного, язык повернулся правду вымолвить! Все так ему и поддакивают, так и лезут выслужиться! Поверишь ли, князь, как увидел тебя, на сердце у меня повеселело, словно родного встретил! Еще и не знал я, кто ты таков, а уж полюбился ты мне, и очи у тебя не так глядят, как у них, и речь звучит иначе. Вот Годунов, пожалуй, и лучше других, а все не то, что ты. Смотрел я на тебя, как ты без оружия супротив медведя стоял; как Басманов, после отравы того боярина, и тебе чашу с вином поднес; как тебя на плаху вели; как ты с станичниками сегодня говорил. Так меня и тянуло к тебе, вот так бы и кинулся к тебе на шею! Не дивись, князь, моей глупой речи, — прибавил Максим, потупя очи, — я не набиваюсь к тебе на дружбу, знаю, кто ты и кто я; только что ж

мне делать, коли не могу слов удержать; сами рвутся наружу, сердце к тебе само так и мечется!

– Максим Григорьич, – сказал Серебряный и крепко сжал его руку, – и ты полюбился мне, как брат родной!

– Спасибо, князь, спасибо тебе! А коли уж на то пошло, то дай мне разом высказать, что у меня на душе. Ты, я вижу, не брезгаешь мной. Дозволь же мне, князь, теперь, перед битвой, по древнему христианскому обычаю, побрататься с тобой! Вот и вся моя просьба; не возьми ее во гнев, князь. Если бы знал я наверно, что доведется нам еще долгое время жить вместе, я б не просил тебя; уж помнил бы, что тебе непригоже быть моим названным братом; а теперь...

– Полно бога гневить, Максим Григорьич! – прервал его Серебряный, – чем ты не брат мне? Знаю, что мой род честнее твоего, да то дело думное и разрядное; а здесь, перед татарами, в чистом поле, мы равны, Максим Григорьич, да везде равны, где стоим пред богом, а не пред людьми. Побратаемся, Максим Григорьич!

И князь снял с себя крест-тельник на узорной золотой цепи и подал Максиму.

Максим также снял с шеи крест, простой, медный, на шелковом гайтане, поцеловал его и перекрестился.

– Возьми его, Никита Романыч; им благословила меня мать, когда еще мы были бедными людьми, не вошли еще в честь у Ивана Васильича. Береги его, он мне всего дороже.

Тогда оба еще раз перекрестились и, поменявшись крестами, обняли друг друга.

Максим просветлел.

– Теперь, – сказал он радостно, – ты мне брат, Никита Романыч! Что бы ни случилось, я с тобой неразлучен, кто тебе друг, тот друг и мне; кто тебе враг, тот и мне враг; буду любить твоею любовью, опаляться твоим гневом, мыслить твоею мыслию! Теперь мне и умирать веселее, и жить не горько; есть с кем жить, за кого умереть!

– Максим, – сказал Серебряный, глубоко тронутый, – видит бог, и я тебе всею душой учинился братом; не хочу разлучаться с тобою до скончания живота!

– Спасибо, спасибо, Никита Романыч, и не

след нам разлучаться! Коли, даст бог, останемся живы, подумаем хорошенько, поищем вместе, что бы нам сделать для родины, какую службу святой Руси сослужить? Быть того не может, чтобы все на Руси пропало, чтоб уж нельзя было и царю служить иначе, как в опричниках!

Максим говорил с непривычным жаром, но вдруг остановился и схватил Серебряного за руку.

Пронзительный визг раздался в отдалении. Воздух как будто задрожал, земля затряслась, смутные крики, невнятный гул принесли от татарского стана, и несколько коней, грива дыбом, проскакали мимо Серебряного и Максима.

– Пора! – сказал Серебряный, садясь в седло, и вынул саблю. – Чур меня слушаться, ребята, не сбиваться в кучу, не рассыпаться врозь, каждый знай свое место. С богом, за мной!

Разбойники вспрыгнули с земли.

– Пора, пора! – раздалось во всех рядах. – Слушаться князя!

И вся толпа двинулась за Серебряным и пе-

ревалилась через холм, заграждавший им до-толе неприятельские костры. Тогда новое неожиданное зрелище поразило их очи. Справа от татарского стана змеился по степи огонь, и неправильные узоры его, постепенно расширяясь и сливаясь вместе, ползли все ближе и ближе к стану.

– Ай да Перстень! – вскричали разбойники, – ай да наши! Вишь, зажгли степь, пустили огонь по ветру, прямо на басурманов!

Пожар рос с невероятною быстротой, вся степь по правую сторону стана обратилась в пылающее море, и вскоре огненные волны охватили крайние кибитки и озарили стан, похожий на встревоженный муравейник.

Татары, спасаясь от огня, бежали в беспорядке навстречу разбойникам.

– На них, ребята! – загремел Серебряный, – топчите их в воду, гоните в огонь!

Дружный крик отвечал князю, разбойники бросились на татар, и закипела резня.

...Когда солнце взошло, бой еще продолжался, но поле было усеяно убитыми татарами.

Теснимые с одной стороны пожаром, с дру-

гой – дружиной Серебряного, враги не успели опомниться и кинулись к топким берегам речки, где многие утонули. Другие погибли в огне или задохлись в дыму. Испуганные табуны с самого начала бросились на стан, переломали кибитки и привели татар в такое смятение, что они давили друг друга и резались между собою, думая отбивать неприятеля. Одна часть успела прорваться через огонь и рассеялась в беспорядке по степи. Другая, собранная с трудом самим ширинским мурзою Шихматом, переплыла через речку и построилась на другом берегу. Тысячи стрел сыпались оттуда на торжествующих русских. Разбойники, не имея другого оружия, кроме рукопашного, и видя стреляющих врагов, защищенных топкою речкой, не выдержали и смешались.

Напрасно Серебряный просьбами и угрозами старался удержать их. Уже отряды татар начали, под прикрытием стрел, обратно переплывать речку, грозя ударить Серебряному в тыл, как Перстень явился внезапно возле князя. Смуглое лицо его разгорелось, рубаха была изодрана, с ножа капала кровь.

– Стойте, други! стойте, ясные соколы! – за-

кричал он на разбойников. – Аль глаза вам запорошило? Аль не видите, к нам подмога идет?

В самом деле, на противоположном берегу подвигалась рать в боевом порядке; ее копыта и бердыши сверкали в лучах восходящего солнца.

– Да это те же татары! – сказал кто-то.

– Сам ты татарин! – возразил Перстень, негодуя. – Разве так идет орда? Разве бывает, чтоб татары шли пешие? А этого не видишь впереди на сером коне? Разве на нем татарская бронь?

– Православные идут! – раздалось между разбойниками. – Стойте, братцы, православные к нам на помощь идут!

– Видишь, князь, – сказал Перстень, – они, вражьи дети, и стреляют-то уж не так густо, значит, смекнули, в чем дело! А как схватится с ними та дружина, я покажу тебе брод, перейдем да ударим на них сбоку!

Новая рать подвигалась все ближе, и уже можно было распознать ее вооружение и одежду, почти столь же разнообразную, как и на разбойниках. Над головами ратников бол-

тались цепи, торчали косы и рогатины. Они казались наскоро вооруженными крестьянами, и только на передовых были одноцветные кафтаны, а в руках их светились бердыши и копья. Тут же ехало человек сто всадников, также в одноцветных кафтанах. Предводитель этой дружины был стройный молодой человек. Из-под сверкающего шлема висели у него длинные русые волосы. Он ловко управлял конем, и конь серебристо-серой масти то взвивался на дыбы, то шел, красуясь, ровным шагом и ржал навстречу неприятелю.

Туча стрел встретила вождя и дружину.

Между тем Никита Романович вместе с своими перешел речку вброд и врезался в толпу врагов, на которых в то же время наперла с другой стороны вновь пришедшая подмога.

Уже с час кипела битва.

Серебряный на мгновение отъехал к речке напоить коня и перетянуть подпруги. Максим увидел его и подскакал к нему.

– Ну, Никита Романыч, – сказал он весело, – видно, бог стоит за святую Русь. Смотри, коли

наша не возьмет!

– Да, – ответил Серебряный, – спасибо вон тому боярину, что подоспел к нам на прибавку. Вишь, как рубит вправо и влево! Кто он таков? Я как будто видал его где-то?

– Как, Никита Романыч, ты не признал его?

– А ты его разве знаешь?

– Мне-то как не знать его, бог с ним! Много грехов отпустится ему за нынешний день. Да ведь и ты знаешь его, Никита Романыч. Это Федька Басманов.

– Басманов? Этот! Неужто он!

– Он самый, и на себя не похож стал. Бывало, и подумать соромно, в летнике, словно девушка, плясывал; а теперь, видно, разобрало его: поднял крестьян и дворовых и напал на татар; должно быть, и в нем русский дух заговорил. А сила-то откуда взялась, подумаешь! Да как и не перемениться в этакый день, – продолжал Максим с одушевлением, и глаза его блистали радостью. – Поверишь ли, Никита Романыч, я сам себя не узнаю. Когда ушел я из Слободы, все казалось, что недолго уже доводится жить на свете. Тянуло померяться с

нехристями, только не с тем, чтобы побить их; на то, думал, найдутся лучше меня; а с тем, чтобы сложить голову на татарскую саблю. А теперь не то; теперь мне хочется жить! Слышишь, Никита Романыч, когда ветер относит бранный гул, как в небе жаворонки звенят? Вот так же весело звенит и у меня на сердце! Такая чуется сила и охота, что целый век показался бы короток. И чего не передумал я с тех пор, как заря занялась! Так стало мне ясно, так понятно, сколько добра еще можно сделать на родине! Тебя царь помирует; быть того не может, чтоб не помиловал. Пожалуй, еще и полюбит тебя. А ты возьми меня к себе; давай вместе думать и делать, как Адашев с Сильвестром. Все, все расскажу тебе, что у меня на мысли, а теперь прости, Никита Романыч, пора опять туда; кажись, Басманова окружили. Хоть он и худой человек, а надо выручить!

Серебряный посмотрел на Максима почти отеческим взором.

– Побереги себя, Максим, – сказал он, – не мечись в сечу даром; смотри, ты и так уж в крови!

– То, должно быть, вражья кровь, – ответил Максим, весело посмотрев на свою рубаху, – а на мне и царапины нет; твой крест соблюл меня!

В это время притаившийся в камышах татарин выполз на берег, натянул лук и пустил стрелу в Максима.

Зазвенел тугой татарский лук, спела тетива, провизжала стрела, угодила Максиму в белую грудь, угодила каленая под самое сердце. Закачался Максим на седле, ухватился за конскую гриву; не хочется пасть добру молодцу, но доспел ему час, на роду написанный, и свалился он на сырую землю, зацепя стремя ногою. Поволок его конь по чисту полю, и летит Максим, лежа навзничь, раскидав белые руки, и метут его кудри мать сыру-земли, и бежит за ним по полю кровавый след.

Придет в Слободу весть недобрая, разрыдается мать Максимова, что не стало ей на помин души поминщика и некому ее старых очей закрыть. Разрыдается слезами горячими, не воротить своего детища!

Придет в Слободу весть недобрая, заскрежет Малюта зубами, налетит на пленных

татар, насечет в тюрьмах копны голов и упьется кровью до жадной души: не воротить своего детища!

Забыл Серебряный и битву и татар, не видит он, как Басманов гонит нехристей, как Перстень с разбойниками перенимают бегущих; видит только, что конь волочит по полю его названного брата. И вскочил Серебряный в седло, поскакал за конем и, поймав его за узду, спрыгнул на землю и высвободил Максима из стремени.

– Максим, Максим! – сказал он, став на колени и приподымая его голову, – жив ли ты, названный брат мой? Открой очи, дай мне отповедь!

И Максим открыл туманные очи и протянул к нему руки.

– Прости, названный брат мой! Не довелось пожить нам вместе. Сделай же один, что хотели мы вдвоем сделать!

– Максим, – сказал Серебряный, прижимая губы к горячему челу умирающего, – не заповедаешь ли мне чего?

– Отвези матери последний поклон мой, скажи ей, что я умер, ее поминая...

– Скажу, Максим, скажу, – ответил Серебряный, едва удерживаясь от слез.

– А крест, – продолжал Максим, – тот, что на мне, отдай ей... а мой носи на память о брате твоём...

– Брат мой, – сказал Серебряный, – нет ли еще чего на душе у тебя? Нет ли какой зазнобы в сердце? Не стыдись, Максим, кого еще жаль тебе, кроме матери?

– Жаль мне родины моей, жаль святой Руси! Любил я ее не хуже матери, а другой зазнобы не было у меня!

Максим закрыл глаза. Лицо его горело, дыхание делалось чаще.

Через несколько мгновений он опять взглянул на Серебряного.

– Брат, – сказал он, – кабы мне напиться воды, да постуденее!

Река была недалеко, князь встал, зачерпнул в шлем воды и подал Максиму.

– Теперь как будто полегчало, – сказал умирающий, – приподыми меня, помоги перекреститься!

Князь приподнял Максима. Он повел кругом угасающим взором, увидел бегущих татар

и улыбнулся.

– Я говорил, Никита Романыч, что бог стоит за нас... смотри, как они рассыпались... а у меня уж и в глазах темнеет... ох, не хотелось бы умереть теперь!..

Кровь хлынула из уст его.

– Господи, прими мою душу! – проговорил Максим и упал мертвый.

ГЛАВА 27. Басманов

Люди Басманова и разбойники окружили Серебряного. Татары были разбиты наголову, многие отдались в плен, другие бежали. Максиму вырыли могилу и похоронили его честно. Между тем Басманов велел раскинуть на берегу речки свой персидский шатер, а дворецкий его, один из начальных людей рати, доложил Серебряному, что боярин бьет ему челом, просит не побрезгать походным обедом.

Лежа на шелковых подушках, Басманов, уже расчесанный и надушенный, смотрелся в зеркало, которое держал перед ним молодой стремянный, стоя на коленях. Вид Басманова являл странную смесь лукавства, надменно-

сти, изнеженного разврата и беспечной удали; и сквозь эту смесь проглядывало то недоброжелательство, которое никогда не покидало опричника при виде земского. Предполагая, что Серебряный должен презирать его, он, даже исполняя долг гостеприимства, придумывал заранее, как бы отомстить гостю, если тот, неравно, выкажет свое презрение. При входе Серебряного Басманов приветствовал его наклонением головы, но не тронулся с места.

– Ты ранен, Федор Алексеич? – спросил Серебряный простодушно.

– Нет, не ранен, – сказал Басманов, принимая эти слова за насмешку и решившись встретить ее бесстыдством, – нет, не ранен, а только уморился немного, да вот лицо как будто загорело. Как думаешь, князь, – прибавил он, продолжая смотреться в зеркало и поправляя свои жемчужные серьги, – как думаешь, скоро сойдет загар?

Серебряный не знал, что и отвечать.

– Жаль, – продолжал Басманов, – сегодня не успеем в баню; до вотчины моей будет верст тридцать, а завтра, князь, милости про-

сим, угощу тебя лучше теперешнего, увидишь мои хороводы: девки все на подбор, а парни – старшему двадцати не будет.

Говоря это, Басманов сильно картавил.

– Спасибо, боярин, я спешу в Слободу, – отвечал сухо Серебряный.

– В Слободу? Да ведь ты, никак, из тюрьмы убежал.

– Не убежал, Федор Алексеич, а увели меня насильно. Давши слово царю, я сам бы не ушел, и теперь опять отдаюсь на его волю.

– Тебе, стало, хочется на виселицу? Вольно-му воля, спасенному рай! А я уж не знаю, вернуться ли мне?

– Что так, Федор Алексеич?

– Да что! – сказал Басманов, предаваясь досаде или, может быть, желая только внушить Серебряному доверие, – служишь царю всею правдой, отдаешь ему и душу и плоть, а он, того и смотри, посадит тебе какого-нибудь Годунова на голову!

– Да тебя-то, кажется, жалует царь.

– Жалует! До сей поры и окольниковичим сделать не хочет! А уж кажется, я ли ему не холоп! Небось Годунов не по-моему служит.

Этот бережет себя, как бы земские про него худо не подумали. «Эй, Борис, ступай в застенок, боярина допрашивать!» – «Иду, государь, только как бы он не провел меня, я к этому делу не привычен, прикажи Григорию Лукьянычу со мной идти!» – «Эй, Борис, вон за тем столом земский боярин мало пьет, поднеси ему вина, разумеешь?» – «Разумею, государь, да только он на меня подозрение держит, ты бы лучше Федьку Басманова послал!» А Федька не отговаривается, куда пошлют, туда и идет. Поведи лишь царь очами, брата родного отравил бы и не спросил бы за что. Помнишь, как я тебе за столом чашу от Ивана Васильича-то поднес? Ведь я думал, она с ядом, ей-богу, думал!

Серебряный усмехнулся.

– А где ему, – продолжал Басманов, как бы подстрекаемый к большей наглости, – где ему найти слугу краше меня? Видал ли ты такие брови, как у меня? Чем эти брови не собольи? А волосы-то? Тронь, князь, пощупай, ведь шелк, право, ну шелк!

Отвращение выразилось на лице Серебряного. Басманов это заметил и продолжал, как

будто желая поддразнить своего гостя:

– А руки-то мои, посмотри, князь, чем они не девичьи? Только вот сегодня намозолил маленько. Такой уж у меня нрав, ни в чем себя не жалею!

– И подлинно не жалеешь, – сказал Серебряный, не в силах более сдержать своего негодования, – коли все то правда, что про тебя говорят...

– А что же про меня говорят? – подхватил Басманов, лукаво прищурясь.

– Да уж и того бы довольно, что ты сам рассказываешь; а то говорят про тебя, что ты перед царем, прости господи, как девушка, в летнике пляшешь!

Краска бросилась в лицо Басманова, но он призвал на помощь свое обычное бесстыдство.

– А что ж, – сказал он, принимая беспечный вид, – если и в самом деле пляшу?

– Тогда прости, – сказал Серебряный, – мне не только с тобой обедать, но и смотреть на тебя соромно!

– Ага! – вскричал Басманов, и поддельная беспечность его исчезла, и глаза засверкали,

и он уже забыл картавить, – ага! выговорил наконец! Я знаю, что вы все про меня думаете! Да мне, вот видишь ли, на всех вас наплевать!

Брови Серебряного сдвинулись, и рука опустилась было на крыж его сабли, но он вспомнил, с кем говорит, и только пожал плечами.

– Да что ты за саблю-то хватаешься? – продолжал Басманов. – Меня этим не напугаешь. Как сам примусь за саблю, так еще посмотрим, чья возьмет!

– Прости! – сказал Серебряный и приподнял завесу шатра, чтобы выйти.

– Слушай, – вскричал Басманов, хватая его за полу кафтана, – кабы на меня кто другой так посмотрел, я, видит бог, не спустил бы ему, но с тобой ссориться не хочу; больно хорошо татар рублишь!

– Да и ты, – сказал добродушно Серебряный, останавливаясь у входа и вспомнив, как дрожал Басманов, – да и ты не хуже меня рубил их. Что ж ты опять вздумал ломаться, словно баба какая!

Лицо Басманова опять сделалось беспечно.

– Ну, не сердись, князь! Я ведь не всегда та-

ков был; а в Слободе, сам знаешь, поневоле всему научишься!

– Грешно, Федор Алексеич! Когда сидишь ты на коне, с саблей в руке, сердце, глядя на тебя, радуется. И доблесть свою показал ты сегодня, любо смотреть было. Брось же свой бабий обычай, остриги волосы, как бог велит, сходи на покаяние в Киев или в Соловки, да и вернись на Москву христианином!

– Ну, не сердись, не сердись, Никита Романыч! Сядь сюда, пообедай со мной, ведь я не пес же какой, есть и хуже меня; да и не все то правда, что про меня говорят; не всякому слуху верь. Я и сам иногда с досады на себя наклеплю!

Серебряный обрадовался, что может объяснить поведение Басманова в лучшую сторону.

– Так это неправда, – поспешил он спросить, – что ты в летнике плясал?

– Эх, дался тебе этот летник! Разве я по своей охоте его надеваю? Иль ты не знаешь царя? Да и что мне, в святые себя прочить, что ли? Уж я и так в Слободе пощусь ему в угождение; ни одной заутрени не проспал; каж-

дую середу и пятницу по сту земных поклонов кладу; как еще лба не расшиб! Кабы тебе пришлось по целым неделям в стихаре ходить, небось и ты б для перемены летник надел!

– Скорей пошел бы на плаху! – сказал Серебряный.

– Ой ли? – произнес насмешливо Басманов, и, бросив злобный взгляд на князя, он продолжал с видом доверчивости: – А ты думаешь, Никита Романыч, мне весело, что по царской милости меня уже не Федором, а Федорой величают? И еще бы какая прибыль была мне от этого! А то вся прибыль ему, а мне один сором! Вот хоть намедни, еду вспольем мимо Дорогомиловской слободы, ан мужичье-то пальцами на меня показывают, а кто-то еще закричи из толпы: «Эвот царская Федора едет!» Я было напустился на них, да разбежались. Прихожу к царю, говорю, так и так, не вели, говорю, дорогомиловцам холопа твоего корить, вот уж один меня Федорой назвал. «А кто назвал?» – «Да кабы знал кто, не пришел бы докучать тебе, сам бы зарезал его». – «Ну, говорит, возьми из моих кладовых сорок со-

болей на душегрейку». – «А на что мне она! Небось ты не наденешь душегрейки на Годунова, а чем я хуже его?» – «Да что же тебе, Федя, пожаловать?» – «А пожалуй меня окольниковым, чтоб люди в глаза не корили!» – «Нет, говорит, окольниковым тебе не бывать; ты мне потешник, а Годунов советник; тебе казна, а ему почет. А что дорогомиловцы тебя Федорой назвали, так отписать за то всю Дорогомиловщину на мой царский обиход!» Вот тебе и потешник! Да с тех пор, как бросили Москву, и потехи-то не было. Всё постились да богу молились. Со скуки уж в вотчину отпросился, да и там надоело. Не век же зайцев да перепелов травить! Поневоле обрадовался, как весть про татар пришла. А ведь хорошо мы их отколотили, ей-богу, хорошо! Довольно и полону пригоним к Москве! Да я было и забыл про полон! Стреляешь ты из лука, князь?

– А что?

– Да так. После обеда привяжем татарина шагах во сто: кто первый в сердце попадет. А что не в сердце, то не в почет. Околеет, другого привяжем.

Открытое лицо Серебряного омрачилось.

– Нет, – сказал он, – я в связанных не стреляю.

– Ну так велим ему бежать: кто первый на бегу свалит.

– И того не стану, да и тебе не дам! Здесь, слава богу, не Александрова слобода!

– Не дашь? – вскричал Басманов, и глаза его снова загорелись, но, вероятно, не вошло в его расчет ссориться с князем, и, внезапно переменив приемы, он сказал ему весело: – Эх, князь! Разве не видишь, я шучу с тобой! И про летник ты поверил! Вот уж полчаса я потешаюсь, а ты, что ни скажу, все за правду примаешь! Да мне хуже, чем тебе, слободской обычай постыл! Разве ты думаешь, я лажу с Грязным, али с Вяземским, али с Малютой? Вот те Христос, они у меня как бельмо на глазу! Слушай, князь, – продолжал он вкрадчиво, – знаешь ли что? Дай мне первому в Слободу вернуться, я тебе выпрошу прощение у царя, а как войдешь опять в милость, тогда уж и ты сослужи мне службу. Стоит только шепнуть царю сперва про Вяземского, а там про Малюту, а там и про других, так посмотри, коли мы с тобой не останемся сам-друг у

него в приближении. А я уж знаю, что ему про кого сказать, да только лучше, чтоб он со стороны услышал. Я тебя научу, как говорить, ты мне спасибо скажешь!

Странно сделалось Серебряному в присутствии Басманова. Храбрость этого человека и полувысказанное сожаление о своей постыдной жизни располагали к нему Никиту Романовича. Он даже готов был подумать, что Басманов в самом деле перед этим шутил или с досады клепал на себя, но последнее предложение его, сделанное, очевидно, не в шутку, возбудило в Серебряном прежнее отвращение.

– Ну, – сказал Басманов, нагло смотря ему в глаза, – пополам, что ли, царскую милость? Что ж ты молчишь, князь? Аль не веришь мне?

– Федор Алексеич, – сказал Серебряный, стараясь умерить свое негодование и быть повежливее к угощавшему его хозяину, – Федор Алексеич, ведь то, что ты затеял, оно... как бы тебе сказать? ведь это...

– Что? – спросил Басманов.

– Ведь это скаредное дело! – выговорил Се-

ребряный и подумал, что, смягчив голос, он скрасил свое выражение.

– Скарредное дело! – повторил Басманов, перемогая злобу и скрывая ее под видом удивления. – Да ты забыл, про кого я тебе говорю. Разве ты мыслишь к Вяземскому или к Малюте?

– Гром божий на них и на всю опричнину! – сказал Серебряный. – Пусть только царь даст мне говорить, я при них открыто скажу все, что думаю и что знаю, но шептать не стану ему ни про кого, а кольми паче с твоих слов, Федор Алексеич!

Ядовитый взгляд блеснул из-под ресниц Басманова.

– Так ты не хочешь, чтоб я с тобой царскою милостью поделился?

– Нет, – отвечал Серебряный.

Басманов повесил голову, схватился за нее обеими руками и стал перекачиваться со стороны на сторону.

– Ох, сирота, сирота я! – заговорил он нараспев, будто бы плача, – сирота я горькая, горемычная! С тех пор как разлюбил меня царь, всяк только и норовит, как бы обидеть меня!

Никто не приласкает, никто не приголубит, все так на меня и плюют! Ой, житье мое, житье нерадостное! Надоело ты мне, собачье житье! Захлесну поясок за перекладинку, проде-ну в петельку головушку бесталанную!

Серебряный с удивлением смотрел на Басманова, который продолжал голосить и причитывать, как бабы на похоронах, и только иногда, украдкой, вскидывал исподлобья свой наглый взор на князя, как бы желая уловить его впечатление.

– Тьфу! – сказал наконец Серебряный и хотел было выйти, но Басманов опять поймал его за полу.

– Эй! – закричал он, – песенников!

Вошло несколько человек, вероятно ожидавших снаружи. Они загородили выход Серебряному.

– Братцы, – начал Басманов прежним плаксивым голосом, – затяните-ка песенку, да пожалобнее, затяните такую, чтобы душа моя встосковалась, надорвалась, да и разлучилась бы с телом!

Песенники затянули длинную, заунывную песню, вроде похоронной, в продолжение ко-

торой Басманов все переваливался со стороны на сторону и приговаривал:

– Протяжнее, протяжнее! Еще протяжнее, други! Отпевайте своего боярина, отпевайте! Вот так! Вот хорошо! Да что ж душа не хочет из тела вон! Или не настал еще час ее? Или написано мне еще на свете помяться? А коли написано, так надо маяться! А коли сказано жить, так надо жить! Плясовую! – крикнул он вдруг, без всякого перехода, и песенники, привыкшие к таким переменам, грянули плясовую.

– Живей! – кричал Басманов и, схватив две серебряные стопы, начал стучать ими одна о другую. – Живей, соколы! Живей, бесовы дети! Я вас, разбойники!

Вся наружность Басманова изменилась. Ничего женоподобного не осталось на лице его. Серебряный узнал того удальца, который утром бросался в самую сечу и гнал перед собою толпы татар.

– Вот этак-то получше! – проговорил князь, одобрительно кивнув головой.

Басманов весело на него взглянул.

– А ведь ты опять поверил мне, князь! Ты

подумал, я и вправду расхныкался! Эх, Никита Романыч, легко ж тебя провести! Ну, выпьем же теперь про наше знакомство. Коли проживем вместе, увидишь, что я не такой, как ты думал!

Беспечный разгул и бешеное веселье подействовали на Серебряного. Он принял кубок из рук Басманова.

– Кто тебя разберет, Федор Алексеич! Я никогда таких не видывал. Может, и вправду ты лучше, чем кажешься. Не знаю, что про тебя и думать, но бог свел нас на ратном поле, а потому: во здравие твое!

И он осушил кубок до дна.

– Так, князь! Так, душа моя! Видит бог, я люблю тебя! Еще одну стопу на погибель всех татар, что остались на Руси!

Серебряный был крепок к вину, но после второй стопы мысли его стали путаться. Напиток ли был хмельнее обыкновенного или подмешал туда чего-нибудь Басманов, но у князя голова заходила кругом; заходила кругом, и ничего не стало видно Никите Романовичу; слышалась только бешеная песня с припевом и топанием да голос Басманова:

– Живей, ребята! Во сне, что ли, поете? Кого хороните, воры!

Когда Серебряный пришел в себя, пение еще продолжалось, но он уже не стоял, а полусидел, полулежал на персидских подушках, Басманов старался, с помощью стремянного, напялить на него женский летник.

– Надевай же свой опашень, боярин, – говорил он, – на дворе уже сыреть начинается!

Песенники в это время, окончив колено, переводили дух. В глазах Серебряного еще рябило, мысли его еще не совсем прояснились, и он готов был вздеть летник, принимая его за опашень, как среди наставшей тишины слышалось протяжное завыванье.

– Это что? – спросил гневно Басманов.

– На Скуратова могиле пес воет! – ответил стремянный, выглянув из шатра.

– Подай сюда лук да стрелу, я научу его выть, когда мы с гостем веселимся.

Но при имени Скуратова Серебряный совершенно отрезвился.

– Постой, Федор Алексеич! – сказал он, вставая, – это Максимов Буян, не тронь его. Он зовет меня на могилу моего названного бра-

та; не в меру я с тобой загулялся; прости, пора мне в путь!

– Да надень же сперва опашень, князь.

– Не на меня шит, – сказал Серебряный, распознавая летник, который протягивал ему Басманов, – носи его сам, как доселе нашивал.

И, не дожидаясь ответа, он плюнул и вышел из шатра.

За ним посыпались проклятия, ругательства и богохульства Басманова; но, не обращая на них внимания, он подошел к могиле Максима, положил поклон своему названому брату и, сопровождаемый Буяном, присоединился к разбойникам, которые под начальством Перстня уже расположились на отдых вокруг пылающих костров.

ГЛАВА 28. Расставание

Едва занялась заря, как уж Перстень поднял Шайку.

– Ребятушки! – сказал он разбойникам, когда они собрались вокруг него и Серебряного. – Настал мне час расстаться с вами. Простите, ребятушки! Иду опять на Волгу. Не поминайте меня лихом, коли я в чем согрубил перед вами.

И Перстень поклонился в пояс разбойникам.

– Атаман! – заговорила в один голос вольница, – не оставляй нас! Куда мы пойдём без тебя!

– Идите с князем, ребятушки. Вы вашим вчерашним делом заслужили вины свои; можете опять учиниться, чем прежде были, а князь не оставит вас!

– Добрые молодцы, – сказал Серебряный, – я дал царю слово, что не буду уходить от суда его. Вы знаете, что я из тюрьмы не по своей воле ушел. Теперь должен я сдержать мое слово, понести царю мою голову. Хотите ль идти со мною?

– А простит ли он нас? – спросили разбойники.

– Это в божьей воле; не хочу вас обманывать. Может, простит, а может, и нет. Подумайте, потолкуйте меж собою, да и скажите мне, кто идет и кто остается.

Разбойники переглянулись, отошли в сторону и начали вполголоса советоваться. Через несколько времени они вернулись к Серебряному.

– Идем с тобой, коли атаман идет!

– Нет, ребяташки, – сказал Перстень, – меня не просите. Коли вы и не пойдете с князем, все ж нам дорога не одна. Довольно я погулял здесь, пора на родину. Да мы же и повздорили немного, а порванную веревку как ни вяжи, все узел будет. Идите с князем, ребяташки, или выберите себе другого атамана, а лучше послушайтесь моего совета, идите с князем; не верится мне после нашего дела, чтобы царь и его и вас не простил!

Разбойники опять потолковали и после краткого совещания разделились на две части. Большая подошла к Серебряному.

– Веди нас! – сказали они, – пусть будет с

нами, что и с тобой!..

– А другие-то что ж? – спросил Серебряный.

– Другие выбрали в атаманы Хлопко, мы с ним не хотим!

– Там все, что похуже, остались, – шепнул Перстень князю, – они и дрались-то вчера не так, как эти!

– А ты, – сказал Серебряный, – ни за что не пойдешь со мной?

– Нет, князь, я не то, что другие. Меня царь не простит, не таковы мои винности. Да признаться, и соскучился по Ермаке Тимофеиче; вот уж который год не видал его. Прости, князь, не поминай лихом!

Серебряный сжал руку Перстня и обнял его крепко.

– Прости, атаман, – сказал он, – жаль мне тебя, жаль, что идешь на Волгу; не таким бы тебе делом заниматься.

– Кто знает, князь, – ответил Перстень, и отважный взор его принял странное выражение, – бог не без милости, авось и не всегда буду тем, что теперь!

Разбойники стали приготовляться к походу.

Когда взошло солнце, на берегу речки уже не было видно ни шатра, ни людей Басманова. Федор Алексеевич поднялся еще ночью, чтобы первому принести царю известие об одержанной победе.

Прощаясь с товарищами, Перстень увидел возле себя Митьку.

– Прости ж и ты, губошлеп! – сказал он весело, – послужил ты вчера царю за четверых, не оставит он тебя своей милостью!

Но Митька, как бы в недоумении, почесал затылок.

– Ну что? – спросил Перстень.

– Ничаво! – отвечал лениво Митька, почесывая одною рукой затылок, другою поясницу.

– Ну, ничего так ничего! – И Перстень уже было отошел, как Митька, собравшись с духом, сказал протяжно:

– Атаман, а атаман!

– Что?

– Я в Слободу не хочу!

– Куда ж ты хочешь?

– А с тобой!

– Нельзя со мной; я на Волгу иду.

– Ну и я на Волгу!

– Зачем же не с князем?

Митька подвинул одну ногу вперед и устоялся, как бы в замешательстве, на свой лапоть.

– Опричников, что ли, боишься? – спросил насмешливо Перстень.

Митька стал почесывать то затылок, то бочка, то поясницу, но не отвечал ничего.

– Мало ты их видел? – продолжал Перстень, – съели они тебя, что ли?

– Нявесту взяли! – проговорил нехотя Митька.

Перстень засмеялся.

– Вишь, злопамятный! не хочет с ними хлеба-соли вести! Ну, примкнись к Хлопку.

– Не хочу, – сказал решительно Митька, – хочу с тобой на Волгу!

– Да я не прямо на Волгу!

– Ну и я не прямо!

– Куда ж ты?

– А куда ты, туда и я!

– Эх, пристал, как банный лист! Так знай же, что мне сперва надо в Слободе побывать!

– Зачем? – спросил Митька и выпучил гла-

за на атамана.

– Зачем! Зачем! – повторил Перстень, начиная терять терпение, – затем, что я там прошлого года орехи грыз, скорлупу забыл!

Митька посмотрел было на него с удивлением, но тотчас же усмехнулся и растянул рот до самых ушей, а от глаз пустил по вискам лучеобразные морщины и придал лицу своему самое хитрое выражение, как бы желая сказать: меня, брат, надуть не так-то легко; я очень хорошо знаю, что ты идешь в Слободу не за ореховою скорлупою, а за чем-нибудь другим! Однако он этого не сказал, а только повторил, усмехаясь:

– Ну и я с тобой!

– Что с ним будешь делать! – сказал Перстень, пожимая плечами. – Видно, уж не отвязаться от него, так и быть, иди со мной, душень, только после не пеняй на меня, коли тебя повесят!

– А хоча и повесят! – отвечал Митька равнодушно.

– Ладно, парень. Вот за это люблю! Прощайся же скорей с товарищами, да и в путь!

Заспанное лицо Митьки не оживилось, но

он тотчас же начал неуклюже подходить к товарищам и каждого, хотевшего и не хотевшего, чмокнул по три раза, кого добровольно, кого насильно, кого загребая за плечи, кого ухватив за голову.

– Атаман, – сказал Серебряный, – стало, мы с тобой по одной дороге?

– Нет, боярин. Где я пройду, там тебе не проехать. Я в Слободе буду прежде тебя, и если бы мы встретились, ты меня не узнавай; а впрочем, мы и не встретимся; я до твоего приезда уйду; надо только кое-какие дела покончить.

Серебряный догадался, что у Перстня было кое-что спрятано или зарыто в окрестностях Слободы, и не настаивал.

Вскоре два отряда потянулись по двум разным направлениям.

Большой шел за Серебряным вдоль речки по зеленому лугу, еще покрытому следами вчерашней битвы, и за ним, повеся голову и хвост, тащился Буян. Он часто подбегал к Серебряному, жалобно повизгивал и потом обращивался на свежий могильный холм, пока наконец не скрыли его из виду высокие ка-

мышы.

Другой, меньшый отряд пошел за Хлопко.

Перстень удалился в третью сторону, а за ним, не спеша и переваливаясь с боку на бок, последовал Митька.

Опустела широкая степь, и настала на ней прежняя тишина, как будто браный гул и не возмущал ее накануне. Только кой-где паслись разбежавшиеся татарские кони да валялись по пожарищу разбросанные доспехи. Вдоль цветущего берега речки жаворонки по-прежнему звенели в небесной синеве, лыски перекликались в густых камышах, а мелкие птички перепархивали, чирикавая, с тростника на тростник или, заливаясь песнями, садились на пернатые стрелы, вонзившиеся в землю во время битвы и торчавшие теперь на зеленом лугу, меж болотных цветов, как будто бы они были цветы и росли там уже бог знает сколько времени.

ГЛАВА 29. Очная ставка

С неделю после поражения татар царь принимал в своей опочивальне Басманова, только что прибывшего из Рязани. Царь знал уже о подробностях битвы, но Басманов думал, что объявит о ней первый. Он надеялся приписать себе одному всю честь победы и рассчитывал на действие своего рассказа, чтобы войти у царя в прежнюю милость.

Иван Васильевич слушал его со вниманием, перебирая четки и опустив взор на алмазное кольцо, которым был украшен указательный перст его; но когда Басманов, окончив рассказ и тряхнув кудрями, сказал с самодовольным видом:

– Что ж, государь, мы, кажется, постарались для твоей милости!

Иоанн поднял глаза и усмехнулся.

– Не пожалели себя, – продолжал вкрадчиво Басманов, – так уж и ты, государь, не пожалей наградить слугу твоего!

– А чего бы тебе хотелось, Федя? – спросил Иоанн, принимая вид добродушия.

– Да пожалуй меня хоть окольниковичим, что-

бы люди-то не корили.

Иоанн посмотрел на него пристально.

– А чем мне Серебряного пожаловать? – спросил он неожиданно.

– Опальника-то твоего? – сказал Басманов, скрывая свое смущение под свойственным ему бесстыдством, – да чем же, коли не виселицей? Ведь он ушел из тюрьмы да с своими станичниками чуть дела не испортил. Кабы не переполошил он татар, мы бы всех, как перепелов, накрыли.

– Полно, так ли? А я так думаю, что татары тебя в торока ввязали б, как в тот раз, помнишь? Ведь тебе уже не впервой, дело знакомое!

– Знакомое дело за тебя горе терпеть, – продолжал Басманов дерзко, – а вот это незнакомое, чтобы спасибо услышать. Небось тебе и Годунов, и Малюта, и Вяземский не по-моему служат, а наград ты для них не жалеешь.

– И подлинно не по-твоему. Где им плясать супротив тебя!

– Надёжа-государь, – ответил Басманов, теряя терпение, – коли не люб я тебе, отпусти меня совсем!

Басманов надеялся, что Иоанн удержит его; но отсутствие из Слободы, вместо того чтоб оживить к нему любовь Иоанна, охладило ее еще более; он успел от него отвыкнуть, а другие любимцы, особенно Малюта, оскорбленный высокомерием Басманова, воспользовались этим временем, чтоб отвратить от него сердце Иоанна.

Расчет Басманова оказался неверен. Заметно было, что царь забавляется его досадой.

– Так и быть, – сказал он с притворною горестью, – хоть и тошно мне будет без тебя, сироте одинокому, и дела-то государские, пожалуй, замутятся, да уж нечего делать, промаюсь как-нибудь моим слабым разумом. Ступай себе, Федя, на все четыре стороны! Я тебя насильно держать не стану.

Басманов не мог долее скрыть своей злобы. Избалованный прежними отношениями к Иоанну, он дал ей полную волю.

– Спасибо тебе, государь, – сказал он, – спасибо за твою хлеб-соль! Спасибо, что выгоняешь слугу своего, как негодного пса! Буду, – прибавил он неосторожно, – буду хвалиться на Руси твоею лаской! Пусть же другие послу-

жат тебе, как служила Федора! Много грехов взял я на душу на службе твоей, одного греха не взял, колдовства не взял на душу!

Иван Васильевич продолжал усмехаться, но при последних словах выражение его изменилось.

– Колдовства? – спросил он с удивлением, готовым обратиться в гнев, – да кто ж здесь колдует?

– А хоть бы твой Вяземский! – отвечал Басманов, не опуская очей перед царским взором. – Да, – продолжал он, не смущаясь грозным выражением Иоанна, – тебе, видно, одному неизвестно, что когда он бывает на Москве, то по ночам ездит в лес, на мельницу, колдовать; а зачем ему колдовать, коли не для того, чтоб известить твою царскую милость?

– Да тебе-то отчего оно ведомо? – спросил царь, пронзая Басманова испытующим оком.

На этот раз Басманов несколько струсил.

– Ведь я, государь, вчера только услышал от его же холопей, – сказал он поспешно. – Кабы услышал прежде, так тогда и доложил бы твоей милости.

Царь задумался.

– Ступай, – сказал он после краткого молчания, – я это дело разберу; а из Слободы погоди уезжать до моего приказа.

Басманов ушел, довольный, что успел заронить во мнительном сердце царя подозрение на одного из своих соперников, но сильно озабоченный холодностью государя.

Вскоре царь вышел из опочивальни в приемную палату, сел на кресло и, окруженный опричниками, стал выслушивать поочередно земских бояр, приехавших от Москвы и от других городов с докладами. Отдав каждому приказания, поговорив со многими обстоятельно о нуждах государства, о сношениях с иностранными державами и о мерах к предупреждению дальнейшего вторжения татар, Иоанн спросил, нет ли еще кого просящего приема?

– Боярин Дружина Андреевич Морозов, – отвечал один стольник, – бьет челом твоей царской милости, просит, чтобы допустил ты его пред твои светлые очи.

– Морозов? – сказал Иоанн, – да разве он не сторел на пожаре? Живуч старый пес! Что ж?

Я снял с него опалу, пусть войдет!

Стольник вышел; вскоре толпа царедворцев раздвинулась, и Дружина Андреевич, поддерживаемый двумя знакомцами, подошел к царю и опустился перед ним на колени.

Внимание всех обратилось на старого боярина.

Лицо его было бледно, дородства много побавилось, на лбу виден был шрам, нанесенный саблею Вяземского, но впалые очи являли прежнюю силу воли, а на сдвинутых бровях лежал по-прежнему отпечаток непреклонного упрямства.

Вопреки обычаю двора, одежда его была *смирная*.

Иоанн смотрел на Морозова, не говоря ни слова. Кто умел читать в царском взоре, тот прочел бы в нем теперь скрытую ненависть и удовольствие видеть врага своего униженным; но поверхностному наблюдателю выражение Иоанна могло показаться благосклонным.

– Дружина Андреевич, – сказал он важно, но ласково, – я снял с тебя опалу; зачем ты в смирной одежде?

– Государь, – отвечал Морозов, продолжая стоять на коленях, – не пригоже тому рядиться в парчу, у кого дом сожгли твои опричники и насильно жену увезли. Государь, – продолжал он твердым голосом, – бью тебе челом в обиде моей на оружничего твоего, Афоньку Вяземского!

– Встань, – сказал царь, – и расскажи дело по ряду. Коли кто из моих обидел тебя, не спущу я ему, будь он хотя самый близкий ко мне человек.

– Государь, – продолжал Морозов, не вставая, – вели позвать Афоньку. Пусть при мне даст ответ твоей милости!

– Что ж, – сказал царь, как бы немного подумав, – просьба твоя дельная. Ответчик должен ведать, что говорит истец. Позвать Вяземского. А вы, – продолжал он, обращаясь к знакомцам, отошедшим на почтительное расстояние, – подымите своего боярина, посадите его на скамью; пусть подождет ответчика!

Со времени нападения на дом Морозова прошло более двух месяцев. Вяземский успел оправиться от ран. Он жил по-прежнему в Слободе, но, не ведая ничего об участии Елены,

которую ни один из его рассыльных не мог отыскать, он был еще пасмурнее, чем прежде, редко являлся ко двору, отговариваясь слабостью, не участвовал в пирах, и многим казалось, что в приемах его есть признаки помешательства. Иоанну не нравилось удаление его от общих молитв и общего веселья; но он, зная о неудачном похищении боярыни, приписывал поведение Вяземского мучениям любви и был к нему снисходителен. Лишь после разговора с Басмановым поведение это стало казаться ему неясным. Жалоба Морозова представляла удобный случай выведать многое через очную ставку, и вот почему он принял Морозова лучше, чем ожидали царедворцы.

Вскоре явился Вяземский. Наружность его также значительно изменилась. Он как будто постарел несколькими годами, черты лица сделались резче, и жизнь, казалось, сосредоточилась в огненных и беспокойных глазах его.

– Подойди сюда, Афоня, – сказал царь. – Подойди и ты, Дружина. Говори, в чем твое челобитье. Говори прямо, рассказывай все как

было.

Дружина Андреевич приблизился к царю. Стоя рядом с Вяземским, но не удостоивая его взгляда, он подробно изложил все обстоятельства нападения.

– Так ли было дело? – спросил царь, обращаясь к Вяземскому.

– Так! – сказал Вяземский, удивленный вопросом Иоанна, которому давно все было известно. Лицо Ивана Васильевича омрачилось.

– Как отчаялся ты на это? – сказал он, устремив на Вяземского строгий взор, – разве я позволяю разбойничать моим опричникам?

– Ты знаешь, государь, – ответил Вяземский, еще более удивленный, – что дом разграблен не по моему указу, а что я увез боярыню, на то было у меня твое дозволение!

– Мое дозволение? – произнес царь, медленно выговаривая каждое слово. – Когда я дозволял тебе?

Тут Вяземский заметил, что напрасно хотел опереться на намек Ивана Васильевича, сделанный ему иносказательно во время пира, намек, вследствие которого он почел себя вправе увезти Елену силою. Не отгадывая еще

цели, с какою царь отказывался от своих поощрений, он понял, однако, что надобно изменить образ своей защиты. Не из трусости и не для сохранения своей жизни, которая, при переменчивом нраве царя, могла быть в опасности, решился Вяземский оправдаться. Он не потерял еще надежды добыть Елену, и все средства казались ему годными.

– Государь, – сказал он, – я виноват перед тобой, ты не дозволял мне увезти боярыню. Вот как было дело. Послал ты меня к Москве, снять опалу с боярина Морозова, а он, ты знаешь, издавна держит на меня вражду за то, что еще до свадьбы спознался я с женою его. Как прибыл я к нему в дом, он и порешил вместе с Никитой Серебряным известить меня. После стола они с холопями напали на нас предательским обычаем; мы же дали отпор, а боярыня-то Морозова, ведая мужнину злобу, побоялась остаться у него в доме и упросила меня взять ее с собою. Уехала она от него вольною волею, а когда я в лесу обеспамятовал от ран, так и досель не знаю, куда она девалась. Должно быть, нашел ее боярин и держит где-нибудь взаперти, а может быть, и со

свету сжил ее! Не ему, – продолжал Вяземский, бросив ревнивый взор на Морозова, – не ему искать на мне бесчестия. Я сам, государь, бью челом твоей милости на Морозова, что напал он на меня в доме своем вместе с Никитой Серебряным!

Царь не ожидал такого оборота. Клевета Вяземского была очевидна, но в расчет Иоанна не вошло ее обнаружить. Морозов в первый раз взглянул на врага своего.

– Лжешь ты, окаянный пес! – сказал он, окидывая его презрительно с ног до головы, – каждое твое слово есть негодная ложь; а я в своей правде готов крест целовать! Государь! вели ему, окаянному, выдать мне жену мою, с которою повенчан я по закону христианскому!

Иоанн посмотрел на Вяземского.

– Что скажешь ты на это? – спросил он, сохраняя хладнокровную наружность судьи.

– Я уже говорил тебе, государь, что увез боярыню по ее же упросу; а когда я на дороге истек кровью, холопи мои нашли меня в лесу без памяти. Не было при мне ни коня моего, ни боярыни, перенесли меня на мельницу, к

знахарю; он-то и зашептал кровь. Боле ничего не знаю.

Вяземский не думал, что, упоминая о мельнице, он усилит в Иоанне зародившееся подозрение и придаст вероятие наговору Басманова; но Иоанн не показал вида, что обращает внимание на это обстоятельство, а только записал его в памяти, чтобы воспользоваться им при случае; до поры же до времени затаил свои мысли под личиною беспристрастия.

– Ты слышал? – сказал он Вяземскому, – боярин Дружина готов в своих речах крест целовать? Как очистишься перед ним?

– Боярин волен говорить, – ответил Вяземский, решившийся во что бы ни стало вести свою защиту до конца, – он волен клепать на меня, а я ищу на нем моего увечья и сам буду в правде моей крест целовать.

По собранию пробежал ропот. Все опричники знали, как совершилось нападение, и сколь ни закоренели они в злодействе, но не всякий из них решился бы присягнуть ложно.

Сам Иоанн изумился дерзости Вяземского; но в тот же миг он понял, что может через нее погубить ненавистного Морозова и сохра-

нить при том вид строгого правосудия.

– Братия! – сказал он, обращаясь к собранию, – свидетельствуюсь вами, что я хотел узнать истину. Не в обычае моем судить, не услышав оправдания. Но в одном и том же деле две стороны не могут крест целовать. Один из противников солживит свою присягу. Я же, яко добрый пастырь, боронящий овцы моя, никого не хочу допустить до погубления души. Пусть Морозов и Вяземский судятся судом Божиим. От сего числа через десять ден назначаю им поле, здесь в Слободе, на Красной площади. Пусть явятся с своими стряпчими и поручниками. Кому бог даст одоление, тот будет чист и передо мною, а кто не вынесет боя, тот, хотя бы и жив остался, тут же примет казнь от рук палача!

Решение Иоанна произвело в собрании сильное впечатление. Во мнении многих оно равнялось для Морозова смертному приговору. Нельзя было думать, чтобы престарелый боярин устоял против молодого и сильного Вяземского. Все ожидали, что он откажется от поединка или, по крайней мере, попросит позволения поставить вместо себя наемного

бойца. Но Морозов поклонился царю и сказал спокойным голосом:

– Государь, пусть будет по-твоему! Я стар и хвор, давно не надевал служилой брони; но в божьем суде не сила берет, а правое дело! Уповаю на помощь господа, что не оставит он меня в правом деле моем, покажет пред твоею милостью и пред всеми людьми неправду врага моего!

Услыша царский приговор, Вяземский было обрадовался, и очи его уже запылали надеждой; но уверенность Морозова немного смутила его. Он вспомнил, что, по общепринятому понятию, в судном поединке бог неминуемо дарует победу правой стороне, и невольно усумнился в своем успехе.

Однако, подавив минутное смущение, он также поклонился царю и произнес:

– Да будет по-твоему, государь!

– Ступайте, – сказал Иоанн, – ищите себе поручников, а через десять ден, с восходом солнца, будьте оба на Красной площади, и горе тому, кто не выдержит боя!

Бросив на обоих глубокий необъяснимый взор, царь встал и удалился во внутренние

покои, а Морозов вышел из палаты, полный достоинства, в сопровождении своих знакомцев, не глядя на окружающих его опричников.

ГЛАВА 30. Заговор на железо

На следующий день Вяземский уехал к Москве.

Во всякое другое время, готовясь к поединку, он положился бы на свою силу и ловкость; но дело шло об Елене. Поединок был не простой; исход его зависел от суда божия, а князь знал свою неправость, и сколь ни показался бы ему Морозов презрителен в обыкновенной схватке, но в настоящем случае он опасался небесного гнева, страшился, что во время боя у него онемеют или отымутся руки. Опасение это было тем сильнее, что недавно зажившие раны еще причиняли ему боль и что по временам он чувствовал слабость и изнеможение. Князь не хотел ничем пренебрегать, чтоб упрочить за собою победу, и решился обратиться к знакомому мельнику, взять у него какого-нибудь зелья и сделать чрез колдовство удары свои неотразимыми.

Полный раздумья и волнений, ехал он по лесу шагом, наклоняясь время от времени на седле и разбирая тропинки, заросшие папоротником. После многих поворотов попал он на более торную дорогу, осмотрелся, узнал на деревьях заметы и пустил коня рысью. Вскоре послышался шум колеса. Подъезжая к мельнице, князь вместе с шумом стал различать человеческий говор. Он остановился, слез с седла и, привязав коня в орешнике, подошел к мельнице пешком. У самого сруба стоял чей-то конь в богатой сбруе. Мельник разговаривал с стройным человеком, но Вяземский не мог видеть лица его, потому что незнакомец повернулся к нему спиною, готовясь сесть в седло.

– Будешь доволен, боярин, – говорил ему мельник, утвердительно кивая головою, – будешь доволен, батюшка! Войдешь опять в царскую милость, и чтобы гром меня тут же прихлопнул, коли не пропадет и Вяземский, и все твои вороги! Будь спокоен, уж противу тирлича-травы ни один не устоит!

– Добро, – отвечал посетитель, взлезая на коня, – а ты, старый черт, помни наш уговор:

коли не будет мне удачи, повешу тебя как собаку!

Голос показался Вяземскому знаком, но колесо шумело так сильно, что он остался в недоумении, кто именно был говоривший.

– Как не быть удаче, как не быть, батюшка, – продолжал мельник, низко кланяясь, – только не сымай с себя тирлича-то; а когда будешь с царем говорить, гляди ему прямо и весело в очи; смело гляди ему в очи, батюшка, не показывай страху-то; говори ему шутки и прибаутки, как прежде говаривал, так будь я анафема, коли опять в честь не войдешь!

Всадник повернул коня и, не замечая Вяземского, проехал мимо его рысью.

Князь узнал Басманова, и ревнивое воображение его закипело. Занятый одною мыслью об Елене, он не обратил внимания на речи мельника, но, услышав свое имя, подумал, что видит в Басманове нового неожиданного соперника.

Мельник между тем, проводив глазами Басманова, присел на заваленку и принялся считать золотые деньги. Он весело ухмылялся, перекладывая их с ладони на ладонь, как

вдруг почувствовал на плече своем тяжелую руку.

Старик вздрогнул, вскочил на ноги и чуть не обмер от страха, когда глаза его встретились с черными глазами Вяземского.

– О чем ты, колдун, с Басмановым толковал? – спросил Вяземский.

– Ба... ба... батюшка! – произнес мельник, чувствуя, что ноги под ним подкашиваются, – батюшка, князь Афанасий Иваныч, как изволишь здравствовать?

– Говори! – закричал Вяземский, схватив мельника за горло и таща его к колесу, – говори, что вы про меня толковали? И он перегнул старика над самым шумом.

– Родимый! – простонал мельник, – все скажу твоей милости, все скажу, батюшка, отпусти лишь душу на покаяние.

– Зачем приезжал к тебе Басманов?

– За корнем, батюшка, за корнем! А я ведь знал, что ты тут, я знал, что ты все слышишь, батюшка; затем-то я и говорил погромче, чтобы ведомо тебе было, что Басманов хочет погубить твою милость!

Вяземский отшвырнул мельника от става.

Старик понял, что миновался первый порыв его гнева.

– Какой же ты, родимый, сердитый! – сказал он, поднимаясь на ноги. – Говорю тебе, я знал, что твоя милость близко; я с утра еще ожидал тебя, батюшка!

– Ну, что же хочет Басманов? – спросил князь смягченным голосом.

Мельник между тем успел совершенно оправиться.

– Да, вишь ты, – сказал он, придавая лицу своему доверчивое выражение, – говорит Басманов, что царь разлюбил его, что тебя, мол, больше любит и что тебе, да Годунову Борису Федорычу, да Малюте Скурлатову только и идет от него ласка. Ну, и пристал ко мне, чтобы дал ему тирлича. Дай, говорит, тирлича, чтобы мне в царскую милость войти, а их чтобы разлюбил царь и опалу чтобы на них положил! Что ты будешь с ним делать! Пристал с ножом к горлу, вынь да положи; не спорить мне с ним! Ну и дал я ему корешок, да и корешок-то, батюшка, дрянной. Так, завалящий корешишка дал ему, чтобы только жива оставил. Стану я ему тирлича давать, чтобы

супротив тебя его царь полюбил!

– Черт с ним! – сказал равнодушно Вяземский. – Какое мне дело, любит ли царь его или нет! Не за тем я сюда приехал. Узнал ли ты что, старик, про боярыню?

– Нет, родимый, ничего не узнал. Я и гонцам твоим говорил, что нельзя узнать. А уж как старался-то я для твоей милости! Семь ночей сряду глядел под колесо. Вижу, едет боярыня по лесу, сам-друг со старым человеком; сама такая печальная, а стар человек ее утешает, а боле ничего и не видно; вода замутилась, и ничего боле не видно!

– Со старым человеком? Стало быть, с Морозовым? С мужем своим?

– Нет, не должно быть: Морозов будет подроднее, да и одежда-то его другая. На этом простой кафтан, не боярский; должно быть, простой человек!

Вяземский задумался.

– Старик! – сказал он вдруг, – умеешь ты сабли заговаривать?

– Как не уметь, умею. Да тебе на что, ба-тюшка? Чтобы рубила сабля али чтоб тупилась от удара?

– Вестимо, чтобы рубила, леший!

– А то, бывает, заговаривают вражьи сабли, чтобы тупились али ломались о бронь...

– Мне не вражью саблю заговаривать, а свою. Я буду биться на поле, так надо мне во что бы ни стало супротивника убить, слышишь?

– Слышу, батюшка, слышу! Как не слышать! – И старик начал про себя думать: «С кем же это он будет биться? Кто его враги? Уж не с Басмановым ли? Навряд ли! Он сейчас о нем отзывался презрительно, а князь не такой человек, чтоб умел скрывать свои мысли. Разве с Серебряным?» Но мельник знал через Михеича, что Серебряный вкинут в тюрьму, а от посланных Вяземского, да и от некоторых товарищей Перстня слышал, что станичники освободили Никиту Романыча и увели с собой; стало быть, не с Серебряным. Остается один боярин Морозов. Он за похищение жены мог вызвать Вяземского. Правда, он больно стар, да и в судном поединке дозволяется поставить вместо себя другого бойца. «Стало быть, – расчел мельник, – князь будет биться или с Морозовым, или с наймитом его».

– Дозволь, батюшка, – сказал он, – воды зачерпнуть, твоего супостата посмотреть!

– Делай как знаешь, – возразил Вяземский и сел, в раздумье, на сваленный пенёк.

Мельник вынес из каморы бадью, опустил ее под самое колесо и, зачерпнув воды, поставил возле князя.

– Эх, эх! – сказал он, нагнувшись над бадьей и глядя в нее пристально, – видится мне твой супротивник, батюшка, только в толк не возьму! Больно он стар. А вот и тебя вижу, батюшка, как ты сходишься с ним...

– Что ж? – спросил Вяземский, тщетно стараясь увидеть что-нибудь в бадье.

– Ангелы стоят за старика, – продолжал мельник таинственно и как бы сам удивленный тем, что он видит, – небесные силы стоят за него; трудно будет заговорить твою саблю!

– А за меня никто не стоит? – спросил князь с невольною дрожью.

Мельник смотрел все пристальнее, глаза его сделались совершенно неподвижны; казалось, он, начав морочить Вяземского, был поражен действительным видением и ему представилось что-то страшное.

– И у твоей милости, – сказал он шепотом, – есть защитники... А вот теперь уж ничего не вижу, вода потемнела!

Он поднял голову, и Вяземский заметил, что крупный пот катился со лба его.

– Есть и у тебя защитники, батюшка, – прошептал он боязливо. – Можно будет заговорить твое оружие.

– На, – сказал князь, вынимая из ножен тяжелую саблю, – на, заговаривай!

Мельник перевел дух, разгреб руками яму и вложил в нее рукоять сабли. Затаптав землю, он утвердил лезвеё острием вверх и начал ходить кругом, причитывая вполголоса:

– «Выкатило солнышко из-за моря Хвалынского, восходил месяц над градом каменным, а в том граде каменном породила меня матушка и, рожая, приговаривала: будь ты, мое дитячко, цел-невредим – от стрел и мечей, от бойцов и борцов. Опоясывала меня матушка мечом-кладенцом. Ты, мой меч-кладенец, вертись и крутись, ты вертись и крутись, как у мельницы жернова вертятся, ты круши и кроши всяку сталь, и уклад, и железо, и медь; пробивай, прорубай всяко мясо и кость; а вра-

жьи удары чтобы прядали от тебя, как камни от воды, и чтобы не было тебе от них ни царапины, ни зазубрины! Заговариваю раба Афанасья, опоясываю мечом-кладенцом. Чур слову конец, моему делу венец!»

Он вытащил саблю и подал ее князю, отряхнув с рукояти землю и бережно обтерев ее полою.

– Возьми, батюшка, князь Афанасий Иванович. Будет она тебе служить, лишь бы супротивник твой свою саблю в святую воду не окунул!

– А если окунет?

– Что ж делать, батюшка! Против святой воды наговорное железо не властно. Только, пожалуй, и этому пособить можно. Дам я тебе голубца болотного, ты его в мешочке на шею повесишь, так у ворога своего глаза отведешь.

– Подавай голубец! – сказал Вяземский.

– Изволь, батюшка, изволь; для твоей княжеской милости и голубца не пожалею.

Старик сходил опять в камору и принес князю что-то зашитое в тряпице.

– Дорого оно мне досталось, – сказал он, как бы жалея выпустить из рук тряпицу, –

трудно его добывать. Как полезешь за ним не в урочный час в болото, такие на тебя нападут страхи, что господи упаси!

Князь взял зашитый предмет и бросил мельнику мошну с золотыми.

– Награди господь твою княжескую милость! – сказал старик, низко кланяясь. – Только, батюшка, дозвожь еще словцо тебе молвить: теперь уже до поединка-то в церковь не ходи, обедни не слушай; не то, чего доброго! и наговор-то мой с лезвея соскочит.

Вяземский ничего не отвечал и направился было к месту, где привязал коня, но вдруг остановился.

– А можешь ты, – сказал он, – наверно узнать, кто из нас жив останется?

Мельник замялся.

– Да, должно быть, ты, батюшка! Как тебе живу не остаться! Я тебе и прежде говаривал: не от меча твоей милости смерть написана! – Посмотри еще раз в бадью!

– Что ж еще смотреть, батюшка! Теперь ничего не увидишь, и вода-то уж помутилась.

– Зачерпни свежей воды! – сказал Вяземский повелительно.

Мельник повиновался нехотя.

– Ну, что там видно? – спросил князь нетерпеливо.

Старик с приметным отвращением нагнулся над бадьею.

– Ни тебя не видно, батюшка, ни супротивника твоего! – сказал он, бледнея, – видна площадь, народу полна; много голов на кольях торчит; а в стороне костер догорает и человеческие кости к столбу прикованы!

– Чьи головы на кольях торчат? – спросил Вяземский, пересиливая невольный страх.

– Не вижу, батюшка, все опять помутилось; один костер еще светится, да кости чьи-то висят у столба!

Мельник с усилием поднял голову и, казалось, с трудом отвел взор от бадьи. Его дергали судороги, пот катился с лица его; он, стоя и охая, дотащился до завалины и упал на нее в изнеможении.

Вяземский отыскал своего коня, сел в седло и, полный раздумья, поехал к Москве.

ГЛАВА 31. Божий суд

В отсутствие Вяземского Малюте было поручено важное дело. Царь приказал ему захватить ближайших слуг князя Афанасья Ивановича и пытаться их накрепко, ездил ли господин их на мельницу колдовать, и сколько раз он был на мельнице, и что именно замышляет противу его, государского, здоровья?

Большая часть слуг не созналась ни в чем, но некоторые не выдержали пытки и показали все то, что Малюта вложил им в уста. Показали они, что князь ездил на мельницу с тем, чтоб испортить государя, что он вымал царские следы и жег их на огне; а некоторые показали даже, что Вяземский мыслит ко князю Владимиру Андреевичу и хочет посадить его на царский престол. Сколь ни были нелепы эти показания, они тщательно записывались дьяками со слов истязаемых и прочитывались царю. Верил ли им Иван Васильевич или нет – бог весть! Но он строго приказал Малюте, по возвращении Вяземского, скрыть от него причину, по которой захвачены его слуги, а сказать, что взяты-де они по

подозрению в воровстве из царских кладовых.

В показаниях их, однако, было много противоречий, и Иоанн послал за Басмановым, чтобы заставить его повторить все, что он, по доносу своему, слышал от холопей Вяземского.

Басманова не нашли в Слободе. Он накануне уехал к Москве, и царь опалился, что осмелился он отлучиться вопреки его приказанию. Малюта воспользовался этим, чтобы взвести подозрение на самого Басманова.

– Кто знает, государь, – сказал Скуратов, – зачем он ослушался твоей милости? Быть может, он заодно с Вяземским и только для виду донес на него, чтобы вернее погубить тебя!

Царь велел Малюте пока молчать обо всем и, когда воротится Басманов, не показывать ему вида, что его отсутствие было замечено.

Между тем настал день, назначенный для судного поединка. Еще до восхода солнца народ столпился на Красной площади; все окна были заняты зрителями, все крыши ими усыпаны. Весть о предстоящем бое давно разнеслась по окрестностям. Знаменитые имена сто-

рон привлекли толпы из разных сел и городов, и даже от самой Москвы приехали люди всех сословий посмотреть, кому господь дарует одоление в этом деле.

– Ну-ка, брат, – говорил один щегольски одетый гусяр своему товарищу, дюжему молодому парню с добродушным, но глуповатым лицом, – ступай вперед, авось тебе удастся продраться до цепи. Эх, народу, народу-то! Дайте пройти, православные, дайте и нам, владимирцам, на суд божий посмотреть!

Но увещания его оставались безуспешны. Толпа была так густа, что и при добром желании не было бы возможности посторониться.

– Да ступай же, тюлень ты этакий! – повторил гусяр, толкая товарища в спину, – аль не сумеешь продраться?

– А для ча! – отвечал вялым голосом детина.

И, выставив вперед дюжее плечо свое, он принялся раздвигать толпу, словно железным клином. Раздались крики и ругательства, но оба товарища подвигались вперед, не обращая на них внимания.

– Правей, правей! – говорил старший, – че-

го стал влево забирать, дурень? Сверли туда, где копыя торчат!

Место, на которое указывал гусляр, было приготовлено для самого царя. Оно состояло из дощатого помоста, покрытого червленым сукном. На нем были поставлены царские кресла, а торчавшие там копыя и рогатины принадлежали опричникам, окружавшим помост. Другие опричники стояли у цепи, протянутой вокруг *поля*, то есть просторного места, приготовленного для конного или пешего боя, смотря по уговору бойцов. Они отгоняли народ бердышами и не давали ему напираться на цепь.

Подвигаясь вперед шаг за шагом, гусляр и дюжий парень добрались наконец до самого поля.

– Куда лезете! – закричал один опричник, замахнувшись на них бердышом.

Парень разинул рот и в недоуменье обернулся на своего товарища, но тот снял обеими руками свой поярковый грешневик, обвитый золотою лентой с павлиным пером, и, кланяясь раз за разом в пояс, сказал опричнику:

– Дозвольте, господа честные, владимир-

ским гусярам суд божий посмотреть! От самого от города Володимира пришли! Дозвольте постоять, господа честные!

И лукаво заискивающею улыбкой он выказывал из-под черной бороды свои белые зубы.

– Ну, так и быть! – сказал опричник, – назад уж не пролезете; стойте здесь; только чур вперед не подаваться, башку раскрою!

Внутри оцепленного места расхаживали поручники и стряпчие обеих сторон. Тут же стояли боярин и окольный, приставленные к полю, и два дьяка, которым вместе с ними надлежало наблюдать за порядком боя. Одни из дьяков держал развернутый судебник Володимира Гусева, изданный еще при великом князе Иоанне Васильевиче III, и толковал с товарищем своим о предвиденных случаях поединка.

– «А досудятся до поля, – читал он, указывая пальцем на одно место в судебнике, – а у поля, не стояв, помирятся...» – как дьяка прервали восклицания толпы.

– Царь едет! Царь едет! – говорили все, волнуясь и снимая шапки.

Окруженный множеством опричников,

Иван Васильевич подъехал верхом к месту поединка, слез с коня, взошел по ступеням помоста и, поклонившись народу, опустился на кресла с видом человека, готовящегося смотреть на занимательное зрелище.

Позади и около него разместились стоя царедворцы.

В то же время на всех слободских церквях зазвонили колокола, и с двух противоположных концов въехали во внутренность цепи Вяземский и Морозов, оба в боевых нарядах. На Морозове был дощатый доспех, то есть стальные бахтерцы из наборных блях, навешенных через ряд серебром. Наручи, рукавицы и поножи блестели серебряными разводами. Голову покрывал высокий шишак с серебром и чернью, и из-под венца его падала на плечи боярина кольчатая бармица, скрещенная на груди и укрепленная круглыми серебряными бляхами. У бедра его висел на узорном поясе, застегнутом крюком, широкий прямой тесак, которого крыж, ножновые обоймицы и наконечник были также серебряные.

К правой стороне седла привешен был

концом вниз золоченый шестопер, оружие и знак достоинства, в былые годы неразлучный с боярином в его славных битвах, но ныне, по тяжести своей, вряд ли кому по руке.

Под Морозовым был грудастый черно-пегий конь с подпалинами. Его покрывал бархатный малиновый чалдар, весь в серебряных бляхах. От кованого налобника падали по сторонам малиновые шелковые морхи, или кисти, перевитые серебряными нитками, а из-под шеи до самой груди висела такая же кисть, больше и гуще первых, называвшаяся наузом. Узда и поводья состояли из серебряных цепей с плоскими вырезными звеньями неравной величины.

Мерно шел конь, подымая косматые ноги в серебряных наколенниках, согнувши толстую шею, и когда Дружина Андреевич остановил его саженьях в пяти от своего противника, он стал трясти густою волнистою гривой, достававшею до самой земли, грызть удила и нетерпеливо рыть песок сильным копытом, выказывая при каждом ударе блестящие шипы широкой подковы. Казалось, тяжелый конь был подобран под статью дородного всад-

ника, и даже белый цвет его гривы согласовался с седою бородой боярина.

Вооружение Вяземского было гораздо легче. Еще страдая от недавних ран, он не захотел надеть ни зеркала, ни бахтерцов, хотя они и считались самою надежною броней, но предпочел им легкую кольчугу. Ее ожерелье, подол и зарукавья горели дорогими каменьями. Вместо шишака на князе была ерихонка, то есть низкий, изящно выгнутый шлем, имевший на венце и ушах золотую насечку, а на тулье высокий сноп из дрожащих золотых проволок, густо усыпанных во всю длину их яхонтовыми искрами. Сквозь полку шлема проходила отвесно железная золоченая стрела, предохранявшая лицо от поперечных ударов; но Вяземский, из удалства, не спустил стрелы, а напротив, поднял ее посредством щурепца до высоты яхонтового снопа, так что бледное лицо его и темная борода оставались совершенно открыты, а стрела походила на золотое перо, щегольски воткнутое в полку ерихонки. На поясе, плотно стянутом пряжкой поверх кольчуги и украшенном разными привесками, звенцами и бряцальцами, висе-

ла кривая сабля, вся в дорогих каменьях, та самая, которую заговорил мельник и на которую теперь твердо надеялся Вяземский. У бархатного седла фиолетового цвета с горошатыми серебряными гвоздями и с такими же коваными скобами прикреплен был булатный топорок с фиолетовым бархатным черенком в золотых поясках. Из-под нарядного подола кольчуги виднелась белая шелковая рубаша с золотым шитьем, падавшая на зарбасные штаны жаркого цвета, всунутые в зеленые сафьянные сапоги, которых узорные голенищи, не покрытые поножами, натянуты были до колен и перехватывались под сгибом и у щиколоток жемчужною тесьмою.

Конь Афанасья Ивановича, золотисто-буланый аргамак, был весь увешан, от головы до хвоста, гремучими цепями из дутых серебряных бубенчиков. Вместо чепрака или чалдара пардовая кожа покрывала его спину. На вороненом налобнике горели в золотых гнездах крупные яхонты. Сухие черные ноги горского скакуна не были вовсе подкованы, но на каждой из них, под бабкой, звенело по одному серебряному бубенчику.

Давно уже слышалось на площади звонкое ржание аргамака. Теперь, подняв голову, раздув огненные ноздри и держа черный хвост на отлете, он сперва легкою поступью, едва касаясь земли, двинулся навстречу коню Морозова; но когда князь, не съезжаясь с противником, натянул гремучие поводья, аргамак прыгнул в сторону и перескочил бы через цепь, если бы седок ловким поворотом не заставил его вернуться на прежнее место. Тогда он взвился на дыбы и, крутясь на задних ногах, норовил опрокинуться навзничь, но князь нагнулся на луку, отпустил ему поводья и вонзил в бока его острые кизилбашские стремяна. Аргамак сделал скачок и остановился как вкопанный. Ни один волос его черной гривы не двигался. Налитые кровью глаза косились по сторонам, и по золотистой шерсти разбегались надутые жилы узорною сеткой.

При появлении Вяземского, когда он въехал, гремя и блестя и словно обрызганный золотым и алмазным дождем, владимирский гусяр не мог удержаться от восторга; но удивление его относилось еще более к коню,

чем ко всаднику.

– Эх, конь! – говорил он, топая ногами и хватаясь в восхищении за голову, – экий конь! подумаешь. И не видывал такого коня! Ведь всякие перебивали, а небось такого бог не послал! Что бы, – прибавил он про себя, – что бы было в ту пору этому седоку, как он есть, на Поганую Лужу выехать! Слышь ты, – продолжал он весело, толкая локтем товарища, – слышь ты, дурень, который конь тебе боле по сердцу?

– А тот! – отвечал парень, указывая пальцем на морозовского коня.

– Тот? А зачем же тот?

– А затем, что поплотняе! – ответил парень лениво.

Гусляр залился смехом, но в это время раздался голос бирючей:

– Православные люди! – кричали они в разные концы площади, – начинается судный бой промеж оружничего царского, князь Афанасья Иваныча Вяземского и боярина Дружинны Андреича Морозова. Тягаются они в бесчестии своем, в бою, и увечье, и в увозе боярыни Морозовой! Православные люди! Моли-

тесь пресвятой троице, дабы даровала она одоление правой стороне!

Площадь затихла. Все зрители стали креститься, а боярин, приставленный ведать поединок, подошел к царю и проговорил с низким поклоном:

– Прикажешь ли, государь, начинаться полю?

– Начинайте! – сказал Иоанн.

Боярин, окольниковый, поручники, стряпчие и оба дьяка отошли в сторону.

Боярин подал знак.

Противники вынули оружие.

По другому знаку надлежало им скакать друг на друга, но, к изумлению всех, Вяземский закачался на седле и выпустил из рук поводья. Он свалился бы на землю, если б поручник и стряпчий не подбежали и не помогли ему сойти с коня. Подоспевшие конюхи успели схватить аргамака под уздцы.

– Возьмите его! – сказал Вяземский, озираясь померкшими очами, – я буду биться пешой!

Видя, что князь сошел с коня, Морозов также слез с своего черно-пегого и отдал его

конюхам.

Стряпчий Морозова подал ему большой кожанный щит с медными бляхами, приготовленный на случай пешего боя.

Стряпчий Вяземского поднес ему также щит, вороненый, с золотою насечкой и золотою бахромой.

Но Афанасий Иванович не имел силы вздеть его на руку. Ноги под ним подкосились, и он упал бы вторично, если б его не подхватили.

– Что с тобой, князь? – сказали в один голос стряпчий и поручник, с удивлением глядя ему в очи, – оправься, князь! У поля не стоять, все равно, что побиту быть!

– Сымите с меня бронь! – проговорил Вяземский, задыхаясь, – сымите бронь! Корень душит меня!

Он сбросил с себя ерихонку, разорвал ожерелье кольчуги и сдернул с шеи гайтан, на котором висела шелковая ладанка с болотным голубцом.

– Анафема тебе, колдун! – вскричал он, бросая гайтан далеко от себя, – анафема, что обманул меня!

Дружина Андреевич подошел к Вяземскому с голым тесаком.

– Сдавайся, пес, – сказал он, замахнувшись, – сознайся в своем окаянстве!

Поручники и стряпчие бросились между князя и Морозова.

– Нет! – сказал Вяземский, и отуманенный взор его вспыхнул прежнею злобою, – рано мне сдаваться! Ты, старый ворон, испортил меня! Ты свой тесак в святую воду окунул! Я поставлю за себя бойца, и тогда увидим, чья будет правда!

Между стряпчими обеих сторон зачался спор. Один утверждал, что суд окончен в пользу Морозова, другой, что суда вовсе не было, потому что не было боя.

Царь между тем заметил движение Вяземского и велел подать себе брошенную им ладанку. Осмотрев ее с любопытством и недоверчивостью, он подозревал Малюту.

– Схорони это! – шепнул он, – пока не спрошу! А теперь, – произнес он громко, – подвести ко мне Вяземского!

– Что, Афоня? – сказал он, усмехаясь двусмысленно, когда подошел к нему Вязем-

ский, – видно, Морозов тебе не под силу?

– Государь, – ответил князь, которого лицо было покрыто смертельною бледностью, – ворог мой испортил меня! Да к тому ж я с тех пор, как оправился, ни разу брони не надевал. Раны мои открылись; видишь, как кровь из-под кольчуги бежит! Дозволь, государь, бирюч кликнуть, охотника вызвать, чтобы вместо меня у поля стал!

Домогательство Вяземского было противно правилам. Кто не хотел биться сам, должен был объявить о том заранее. Вышедши раз на поединок, нельзя было поставить вместо себя другого. Но царь имел в виду гибель Морозова и согласился.

– Вели кричать бирюч, – сказал он, – авось кто поудалее тебя найдет! А не выйдет никто, Морозов будет чист, а тебя отдадут палачам!

Вяземского отвели под руки, и вскоре, по приказанию его, глашатаи стали ходить вдоль цепи и кричать громким голосом:

– Кто хочет из слободских, или московских, или иных людей выйти на боярина Морозова? Кто хочет биться за князя Вяземско-

го? Выходите, бойцы, выходите стоять за Вяземского!

Но площадь оставалась безмолвна, и ни один охотник не являлся.

– Выходите, охотники, добрые бойцы! – кричали бирючи, – выходите! Кто побьет Морозова, тому князь все свои вотчины отдаст, а буде побьет простой человек, тому князь пожалует всю казну, какая есть у него!

Никто не откликнулся; все знали, что дело Морозова свято, и царь, несмотря на ненависть свою к Дружине Андреевичу, уже готовился объявить его правым, как вдруг послышались крики:

– Идет охотник! Идет! – И внутри оцепленного места явился Матвей Хомяк.

– Гойда! – сказал он, свистнув саблю по воздуху. – Подходи, боярин, я за Вяземского!

При виде Хомяка Морозов, дожидавшийся доселе с голым тесаком, обратился с негодованием к приставам поединка.

– Не стану биться с наймитом! – произнес он гордо. – Невместно боярину Морозову меряться со стремянным Гришки Скуратова.

И, опустив тесак в ножны, он подошел к

месту, где сидел царь.

– Государь, – сказал он, – ты дозволил врагу моему поставить бойца вместо себя; дозвожь же и мне найти наймита против наймита, не то вели отставить поле до другого раза.

Как ни желал Иван Васильевич погубить Морозова, но просьба его была слишком справедлива. Царю не захотелось в божьем суде прослыть пристрастным.

– Кричи бирюч! – сказал он гневно, – а если не найдешь охотника, бейся сам или сознайся в своей кривде и ступай на плаху!

Между тем Хомяк прохаживался вдоль цепи, махая саблей и посмеиваясь над зрителями.

– Вишь, – говорил он, – много вас, ворон, собралось, а нет ни одного ясного сокола промеж вас! Что бы хоть одному выйти, мою саблю обновить, государя потешить! Молотимши, видно, руки отмахали! На печи лежа, бока отлежали!

– Ах ты черт! – проговорил вполголоса гусляр. – Уж я б тебе дал, кабы была при мне моя сабля! Смотри! – продолжал он, толкая под бок товарища, – узнаешь ты его?

Но парень не слышал вопроса. Он разинул рот и, казалось, впился глазами в Хомяка.

– Что ж? – продолжал Хомяк, – видно, нет между вами охотников? Эй вы, аршинники, калашники, пряжи, ткачихи? Кто хочет со мной померяться?

– А я? – раздался неожиданно голос парня, и, ухватясь обеими руками за цепь, он перекинул ее через голову и чуть не вырвал дубовых кольев, к которым она была приделана.

Он очутился внутри ограды и, казалось, сам был удивлен своею смелостью.

Выпучив глаза и разиня рот, он смотрел то на Хомяка, то на опричников, то на самого царя, но не говорил ни слова.

– Кто ты? – спросил его боярин, приставленный к полю.

– Я-то? – сказал он и, подумав немного, усмехнулся.

– Кто ты? – повторил боярин.

– А Митька! – ответил он добродушно и как бы удивляясь вопросу.

– Спасибо тебе, молодец! – сказал Морозов парню, – спасибо, что хочешь за правду постоять. Коли одолеешь врага моего, не пожалею

для тебя казны. Не все у меня добро разграблено; благодаря божьей милости, есть еще чем бойца моего наградить!

Хомяк видел Митьку на Поганой Луже, где парень убил под ним коня ударом дубины и, думая навалиться на всадника, притиснул под собою своего же товарища. Но в общей свалке Хомяк не разглядел его лица, да, впрочем, в Митькиной наружности и не было ничего примечательного. Хомяк не узнал его.

– Чем хочешь ты драться? – спросил представленный к полю боярин, глядя с любопытством на парня, у которого не было ни брони, ни оружия.

– Чем драться? – повторил Митька и обернулся назад, отыскивая глазами гусяра, чтобы с ним посоветоваться.

Но гусяр, видно, отошел на другое место, и сколько ни глядел Митька, он не мог найти его.

– Что ж, – сказал боярин, – бери себе саблю да бронь, становись к полю!

Митька стал озираться в замешательстве.

Царю показались приемы его забавными.

– Дать ему оружие! – сказал он. – Посмотр-

рим, как он умеет биться!

Митьке подали полное вооружение; но он, сколько ни старался, никак не мог пролезть в рукава кольчуги, а шлем был так мал для головы его, что держался на одной макушке.

В этом наряде Митька, совершенно растерянный, оборачивался то направо, то налево, все еще надеясь найти гусяра и спросить его, что ему делать?

Глядя на него, царь начал громко смеяться. Примеру его последовали сперва опричники, а потом и все зрители.

– Чаво вы горла дярете-то? – сказал Митька с неудовольствием, – я и без вашего колпака и без железной рубахи-то на энтова пойду!

Он указал пальцем на Хомяка и начал стаскивать с себя кольчугу.

Раздался новый хохот.

– С чем же ты пойдешь? – спросил боярин.

Митька почесал затылок.

– А нет у вас дубины? – спросил он протяжно, обращаясь к опричникам.

– Да что это за дурень? – вскричали они, – откуда он взялся? Кто его втолкнул сюда? Или ты, болван, думаешь, мы по-мужицки дубина-

ми бьемся?

Но Иван Васильевич забавлялся наружно-стью Митьки и не позволил прогнать его.

– Дать ему ослоп, – сказал он, – пусть бьется как знает!

Хомяк обиделся.

– Государь, не вели мужику на холопа твоего порухи класть! – воскликнул он. – Я твоей царской милости честно в опричниках служу и сроду еще на ослопах не бился!

Но царь был в веселом расположении духа.

– Ты бейся саблей, – сказал он, – а парень пусть бьется по-своему. Дать ему ослоп. Посмотрим, как мужик за Морозова постоит!

Принесли несколько дубин.

Митька взял медленно в руки одну за другой, осмотрел каждую и, перебрав все дубины, повернулся прямо к царю.

– А нет ли покрепчае? – произнес он вялым голосом, глядя вопросительно в очи Ивану Васильевичу.

– Принести ему оглоблю, – сказал царь, заранее потешаясь ожидающим его зрелищем.

Вскоре в самом деле явилась в руках Мить-

ки тяжелая оглобля, которую опричники вывернули насмех из стоявшего на базаре воза.

– Что, эта годится? – спросил царь.

– А для ча! – отвечал Митька, – пожалуй, годится.

И, схватив оглоблю за один конец, он для пробы махнул ею по воздуху так сильно, что ветер пронесся кругом и пыль закружилась, как от налетевшего вихря.

– Вишь, черт! – промолвили, переглянувшись, опричники.

Царь обратился к Хомяку.

– Становись! – сказал он повелительно и прибавил с усмешкой: – Погляжу я, как ты увернешься от мужицкого ослопа!

Митька между тем засучил рукава, плюнув в обе руки и сжавши ими оглоблю, потряхивал ею, глядя на Хомяка. Застенчивость его исчезла.

– Ну, ты! становись, што ли! – произнес он с решимостью. – Я те научу нявест красть!

Положение Хомяка, ввиду непривычного оружия и необыкновенной силы Митьки, было довольно затруднительно, а зрители очевидно принимали сторону парня и уже начи-

нали посмеиваться над Хомяком.

Замешательство стремянного веселило царя. Он уже смотрел на предстоящий бой с тем самым любопытством, какое возбуждали в нем представления скоморохов или медвежья травля.

– Зачинайте бой! – сказал он, видя, что Хомяк колеблется.

Тогда Митька поднял над головою оглоблю и начал кружить ее, подступая к Хомяку скоком.

Тщетно Хомяк старался улучшить мгновение, чтобы достать Митьку саблей. Ему осталось только поспешно сторониться или увертываться от оглобли, которая описывала огромные круги около Митьки и делала его недосягаемым.

К великой радости зрителей и к немалой потехе царя, Хомяк стал отступать, думая только о своем спасении; но Митька с медвежьей ловкостью продолжал к нему подсакивать, и оглобля, как буря, гудела над его головою.

– Я те научу нявест красть! – говорил он, входя постепенно в ярость и стараясь задеть

Хомяка по голове, по ногам и по чем ни пошло.

Участие зрителей к Митьке проявлялось одобрительными восклицаниями и наконец дошло до восторга.

– Так! Так! – кричал народ, забывая присутствие царя, – хорошенько его! Ай да парень! Отстаивай Морозова, стой за правое дело!

Но Митька думал не о Морозове.

– Я те научу нявест красть! – приговаривал он, кружа над собою оглоблю и преследуя Хомяка, который увивался от него во все стороны.

Несколько раз опричникам, стоявшим вдоль цепи, пришлось присесть к земле, чтоб избежать неминуемой смерти, когда оглобля, завывая, проносилась над их головами.

Вдруг раздался глухой удар, и Хомяк, пораженный вбок, отлетел на несколько сажен и грянулся оземь, раскинувши руки.

Площадь огласилась радостным криком.

Митька тотчас навалился на Хомяка и стал душиить его.

– Полно! Полно! – закричали опричники, а Малюта поспешно нагнулся к Ивану Василье-

вичу и сказал ему с озабоченным видом:

– Государь, вели оттащить этого дьявола! Хомяк у нас лучший человек во всей опричнине!

– Тащить дурака за ноги! – закричал царь, – окатить его водой, только чур жива оставить!

С трудом удалось опричникам оттащить Митьку, но Хомяка подняли уже мертвого, и когда внимание всех обратилось на посиневшее лицо его, рядом с Митькой очутился владимирский гуслиар и, дернув его за полу, сказал шепотом:

– Иди, дурень, за мной! Уноси свою голову! И оба исчезли в толпе народа.

ГЛАВА 32. Ладанка Вяземского

Иван Васильевич велел подозвать Морозова.

Площадь снова затихла. Все в ожидании устремили взоры на царя и притаили дыхание.

– Боярин Дружина! – сказал торжественно Иоанн, вставая с своего места, – ты божьим судом очистился предо мною. Господь бог, чрез одоление врага твоего, показал твою правду, и я не оставлю тебя моею милостью. Не уезжай из Слободы до моего приказа. Но это, – продолжал мрачно Иоанн, – только половина дела. Еще самый суд впереди. Привести сюда Вяземского!

Когда явился князь Афанасий Иванович, царь долго глядел на него невыразимым взглядом.

– Афоня, – сказал он наконец, – тебе ведомо, что я твердо держусь моего слова. Я положил, что тот из вас, кто сам собой или чрез бойца своего не устоит у поля, смерти предан будет. Боец твой не устоял, Афоня!

– Что ж, – ответил Вяземский с решимо-

стью, – вели мне голову рубить, государь!

Странная улыбка прозмеилась по устам Иоанна.

– Только голову рубить? – произнес он злобно. – Или ты думаешь, тебе только голову срубят? Так было бы, пожалуй, когда б ты одному Морозову ответ держал, но на тебе еще и другая кривда и другое окаянство. Малюта, подай сюда его ладанку!

И, приняв из рук Малюты гайтан, брошенный Вяземским, Иоанн поднял его за кончик.

– Это что? – спросил он, страшно глядя в очи Вяземского.

Князь хотел отвечать, но царь не дал ему времени.

– Раб лукавый! – произнес он грозно, и по жилам присутствующих пробежал холод, – раб лукавый! Я приблизил тебя ко престолу моему; я возвеличил тебя и осыпал милостями; а ты что учинил? Ты в смрадном сердце своем, аки аспид, задумал погубить меня, царя твоего, и чернокнижием хотел извести меня, и затем, должно быть, ты в опричнину просился? Что есть опричнина? – продолжал Иоанн, озираясь кругом и возвышая голос,

дабы весь народ мог услышать его. — Я, аки господин винограда, поставлен господом богом над народом моим, возделывать виноград мой. Бояре же мои, и Дума, и советники не захотели помогать мне и замыслили погубить меня; тогда взял я от них виноград мой и отдал другим делателям. И се есть опричнина! Званные мною на пир не пришли, и я послал на торжища и на исходища путей и повелел призывать елицех, какие обретутся. И се опять есть опричнина! Теперь спрашиваю всех: что заслужил себе гость, пришедший на пир, но не облекшийся в одеяние брачное? Как сказано о нем в Писании? «Связавше ему руце и нозе, возьмите его и вверзите во тьму кромешную: ту будет плач и скрежет зубов!»

Так говорил Иоанн, и народ слушал безмолвно это произвольное применение евангельской притчи, не сочувствуя Вяземскому, но глубоко потрясенный быстрым падением сильного любимца.

Никто из опричников не смел или не хотел вымолвить слова в защиту Вяземского. На всех лицах изображался ужас. Один Малюта в зверских глазах своих не выказывал ничего,

кроме готовности приступить сейчас же к исполнению царских велений, да еще лицо Басманова выражало злобное торжество, хотя он и старался скрыть его под личиною равнодушия.

Вяземский не почел нужным оправдываться. Он знал Иоанна и решился перенести терпеливо ожидавшие его мучения. Вид его остался тверд и достоин.

– Отведите его! – сказал царь. – Я положу ему казнь наравне с тем станичником, что забрался ко мне в опочивальню и теперь ожидает мзды своей. А колдуна, с которым спознался он, отыскать и привести в Слободу. Пусть на пристрастном допросе даст еще новые указания. Велика злоба князя мира сего, – продолжал Иоанн, подняв очи к небу, – он, подобно льву рыкающему, ходит вокруг, ищуще пожрати мя, и даже в синклите моем находит усердных слуг себе. Но я уповаю на милость божию и, с помощью господя, не дам укорениться измене на Руси!

Иоанн сошел с помоста и, сев на коня, отправился обратно ко дворцу, окруженный безмолвною толпою опричников.

Малюта подошел к Вяземскому с веревкой в руках.

– Не взъщи, князь! – сказал он с усмешкой, скручивая ему руки назад, – наше дело холопское!

И, окружив Вяземского стражей, он повел его в тюрьму.

Народ стал расходиться молча или толкуя шепотом обо всем случившемся, и вскоре опустела еще недавно многолюдная площадь.

ГЛАВА 33. Ладанка Басманова

Вяземский был подвергнут допросу, но никакие мучения не заставили его выговорить ни одного слова. С необыкновенною силою воли переносил он молча бесчеловечные истязания, которыми Малюта старался вынудить у него сознание в замысле на государя. Из гордости, из презрения или потому, что жизнь ему опротивела, он даже не попытался ослабить клевету Басманова, показав, что его самого он встретил на мельнице.

По приказанию царя мельника схватили и тайно привезли в Слободу, но к пытке его не приступали.

Басманов приписал успех своего доноса действию тирлича, который он всегда носил на себе, и тем более убедился в его чародейной силе, что Иоанн не показывал ни малейшего подозрения и что хотя по-прежнему посмеивался над Басмановым, но был к нему довольно ласков.

Погубив одного из своих соперников, видя рождающееся вновь расположение к себе Ивана Васильевича и не зная, что мельник уже сидит в слободской тюрьме, Басманов сделался еще высокомернее. Он, следуя данным ему наставлениям, смело глядел в очи царя, шутил с ним свободно и дерзко отвечал на его насмешки.

Иван Васильевич все сносил терпеливо.

Однажды, в один из своих обычных объездов, он с ближайшими любимцами, в том числе и с обоими Басмановыми, отслушав в соседнем монастыре раннюю обедню, зашел к настоятелю в келью и удостоил его принять угощение.

Царь сидел на скамье под образами, любимцы, исключая Скуратова, которого не было в объезде, стояли у стен, а игумен, низко

кланяясь, ставил на стол медовые соты, разное варенье, чаши с молоком и свежие яйца.

Царь был в добром расположении духа, он отвеживал от каждого блюда, милостиво шутил и вел душеспасительные речи. С Басмановым он был ласковее обыкновенного, и Басманов еще более убедился в неотразимой силе тирлича.

В это время послышался за оградой конский топот.

– Федя, – сказал Иоанн, – посмотри, кто там приехал?

Басманов не успел подойти к двери, как она отворилась, и у порога показался Малюта Скуратов.

Выражение его было таинственно, и в нем проглядывала злобная радость.

– Войди, Лукьяныч! – сказал приветливо царь. – С какою тебя вестью бог принес?

Малюта переступил через порог и, переглянувшись с царем, стал креститься на образа.

– Откуда ты? – спросил Иоанн, как будто он вовсе не ожидал его.

Но Малюта, не спеша ответом, сперва отве-

сил ему поклон, а потом подошел к игумену.

– Благослови, отче! – сказал он, нагибаясь, а между тем покосился на Федора Басманова, которого вдруг обдало недобрым предчувствием.

– Откуда ты? – повторил Иоанн, подмигнув неприметно Скуратову.

– Из тюрьмы, государь, колдуна пытал.

– Ну, что же? – спросил царь и бросил беглый взгляд на Басманова.

– Да все бормочет; трудно разобрать. Одно поняли мы, когда стали ему вертлюги ломать: «Вяземский, дескать, не один ко мне езживал; езживал и Федор Алексеевич Басманов, и корень-де взял у меня, и носит тот корень теперь на шее!»

И Малюта опять покосился на Басманова.

Басманов изменился в лице. Вся наглость его исчезла.

– Государь, – сказал он, делая необыкновенное усилие, чтобы казаться спокойным, – должно быть, он за то облыгает меня, что выдал я его твоей царской милости!

– А как стали мы, – продолжал Малюта, – прижигать ему подошвы, так он и показал,

что был-де тот корень нужен Басманову, чтоб твое государское здоровье испортить.

Иоанн пристально посмотрел на Басманова, который зашатался под этим взглядом.

– Батюшка-царь! – сказал он, – охота тебе слушать, что мельник говорит! Кабы я знался с ним, стал ли бы я на него показывать?

– А вот увидим. Расстегни-ка свой кафтан, посмотрим, что у тебя на шее?

– Да что же, кроме креста да образов, государь? – произнес Басманов голосом, уже потерявшим всю свою уверенность.

– Расстегни кафтан! – повторил Иван Васильевич.

Басманов судорожно отстегнул верхние пуговицы своей одежды.

– Изволь, – сказал он, подавая Иоанну цепь с образками.

Но царь, кроме цепи, успел заметить еще шелковый гайтан на шее Басманова.

– А это что? – спросил он, отстегивая самяхонтовую запонку его ворота и вытаскивая из-за его рубахи гайтан с ладанкой.

– Это, – проговорил Басманов, делая над собою последнее, отчаянное усилие, – это, госу-

дарь... материнское благословение.

– Посмотрим благословение! – Иоанн передал ладанку Грязному. – На, распори ее, Васюк.

Грязной распорол ножом оболочку и, развернув зашитый в нее кусок холстины, высыпал что-то на стол.

– Ну, что это? – спросил царь, и все с любопытством нагнулись к столу и увидели какие-то корешки, перемешанные с лягушечьи-ми костями.

Игумен перекрестился.

– Этим благословила тебя мать? – спросил насмешливо Иван Васильевич.

Басманов упал на колени.

– Прости, государь, холопа твоего! – вскричал он в испуге. – Видя твою нелюбовь ко мне, надрывался я сердцем и, чтоб войти к тебе в милость, выпросил у мельника этого корня. Это тирлич, государь! Мельник дал мне его, чтоб полюбил ты опять холопа твоего, а замысла на тебя, видит бог, никакого не было!

– А жабы кости? – спросил Иоанн, наслаждаясь отчаянием Басманова, коего наглость ему давно наскучила.

– Про кости я ничего не ведал, государь, видит бог, ничего не ведал!

Иван Васильевич обратился к Малюте.

– Ты говоришь, – сказал он, – что колдун показывает на Федьку; Федька-де затем к нему ездил, чтоб испортить меня?

– Так, государь! – И Малюта скривил рот, радуясь беде давнишнего врага своего.

– Ну что ж, Федюша, – продолжал с усмешкою царь, – надо тебя с колдуном оком к оку поставить. Ему допрос уж чинили; отведай же и ты пытки, а то скажут: царь одних земских пытается, а опричников своих бережет.

Басманов повалился Иоанну в ноги.

– Солнышко мое красное! – вскричал он, хватаясь за полы царского охабня, – светик мой, государь, не губи меня, солнышко мое, месяц ты мой, соколик мой, горностаек! Вспомни, как я служил тебе, как от воли твоей ни в чем не отказывался!

Иоанн отвернулся.

Басманов в отчаянье бросился к своему отцу.

– Батюшка! – завопил он, – упроси государя, чтобы даровал живот холопу своему!

Пусть наденут на меня уж не сарафан, а дурацкое платье! Я рад его царской милости шутком служить!

Но Алексею Басманову были равно чужды и родственное чувство, и сострадание. Он боялся участием к сыну навлечь опалу на самого себя.

– Прочь, – сказал он, отталкивая Федора, – прочь, нечестивец! Кто к государю не мыслит, тот мне не сын! Иди, куда шлет тебя его царская милость!

– Святой игумен, – зарыдал Басманов, тащась на коленях от отца своего к игумну, – святой игумен, умоли за меня государя!

Но игумен стоял сам не свой, потупя очи в землю, и дрожал всем телом.

– Оставь отца игумна! – сказал холодно Иоанн. – Коли будет в том нужда, он после по тебе панихиду отслужит.

Басманов обвел кругом умоляющим взором, но везде встретил враждебные или уstraшенные лица.

Тогда в сердце его произошла перемена.

Он понял, что не может избежать пытки, которая жестокостью равнялась смертной

казни и обыкновенно ею же оканчивалась; понял, что терять ему более нечего, и с этим убеждением возвратилась к нему его решимость.

Он встал, выпрямил стан и, заложив руку за кушак, посмотрел с наглою усмешкой на Иоанна.

– Надёжа-государь! – сказал он дерзко, потрянув головою, чтобы оправить свои растрепанные кудри, – надёжа-государь. Иду я по твоему указу на муку и смерть. Дай же мне сказать тебе последнее спасибо за все твои ласки! Не умышлял я на тебя ничего, а грехи-то у меня с тобою одни! Как поведут казнить меня, я все до одного расскажу перед народом! А ты, батька игумен, слушай теперь мою исповедь!..

Опричники и сам Алексей Басманов не дали ему продолжать. Они увлекли его из кельи на двор, и Малюта, посадив его, связанного, на конь, тотчас повез к Слободе.

– Ты зришь, отче, – сказал Иоанн игумну, – коликими я окружен и явными и скрытыми врагами! Моли бога за меня, недостойного, дабы даровал он добрый конец моим начина-

ниям, благословил бы меня, многогрешного, извести корень измены!

Царь встал и, перекрестившись на образа, подошел к игумну под благословение.

Игумен и вся братия с трепетом проводили его за ограду, где царские конюха дожидались с богато убранными конями; и долго еще, после того как царь с своими полчанами скрылся в облаке пыли и не стало более слышно звука конских подков, монахи стояли, потупя очи и не смея поднять головы.

ГЛАВА 34. Шутовской кафтан

В это самое утро к Морозову, который по воле царя остался в Слободе, явились два стольника с приглашением к царскому столу.

Когда Дружина Андреевич приехал во дворец, палаты уже были полны опричников, столы накрыты, слуги в богатых одеждах готовили закуску.

Боярин, осмотревшись, увидел, что, кроме его, нет ни одного земского, и понял, что царь оказывает ему особенную честь.

Вот зазвонили дворцовые колокола, затрубили трубы, и Иван Васильевич с благосклон-

ным, приветливым лицом вошел в палату в сопровождении чудовского архимандрита, Левкия, Василия Грязного, Алексея Басманова, Бориса Годунова и Малюты Скуратова.

Приняв и отдав поклоны, он сел за свой прибор, и все за столом его разместились по чинам. Осталось одно пустое место, ниже Годунова.

– Садись, боярин Дружина! – сказал ласково царь, указывая на пустое место.

Лицо Морозова побагровело.

– Государь, – ответил он, – как Морозов всю жизнь чинил, так и до смерти чинить будет. Стар я, государь, перенимать новые обычаи. Наложите опять опалу на меня, прогони от очей твоих – а ниже Годунова не сяду!

Все в изумлении переглянулись. Но царь, казалось, ожидал этого ответа. Выражение лица его осталось спокойно.

– Борис, – сказал он Годунову, – тому скоро два года, я боярина Дружину за такой же ответ выдал тебе головою. Но, видно, мне пора изменить мой обычай. Должно быть, уж не мы земским, а земские нам будут указывать! Должно быть, уж я и в домишке моем не хозя-

ин! Придется мне, убогому, забрать свою рухлядишку и бежать с людишками моими куда-нибудь подале! Прогонят они меня отсюда, калику перехожего, как от Москвы прогнали!

– Государь, – сказал смиренно Годунов, желая выручить Морозова, – не нам, а тебе о местах судить. Старые люди крепко держатся старого обычая, и ты не гневись на боярина, что помнит он разряды. Коли дозволишь, государь, я сяду ниже Морозова; за твоим столом все места хороши!

Он сделал движение, как бы готовясь встать, но Иоанн удержал его взглядом.

– Боярин подлинно стар! – сказал он хладнокровно, и умеренность его в виду явного непокорства исполнила всех ожиданием. Все чувствовали, что готовится что-то необыкновенное, но нельзя было угадать, как проявится царский гнев, коего приближение выказывала лишь легкая судорога на лице, напоминающая дрожание отдаленной зарницы.

Все груди были стеснены, как перед наступающей бурей.

– Да, – продолжал спокойно Иоанн, – боярин подлинно стар, но разум его молод не по

летам. Больно он любит шутить. Я тоже люблю шутить и в свободное от дела и молитвы время я не прочь от веселья. Но с того дня, как умер шут мой Ногтев, некому потешать меня. Дружине, я вижу, это ремесло по сердцу; я же обещал не оставить его моею милостию, а потому жалую его моим первым шутом. Подать сюда кафтан Ногтева и надеть на боярина!

Судороги на лице царя заиграли чаще, но голос остался по-прежнему спокоен. Морозов стоял как пораженный громом. Багровое лицо его побледнело, кровь отхлынула к сердцу, очи засверкали, а брови сначала заходили, а потом сдвинулись так грозно, что даже вблизи Ивана Васильевича выражение его показалось страшным. Он еще не верил ушам своим; он сомневался, точно ли царь хочет обесчестить всенародно его, Морозова, гордого боярина, коего заслуги и древняя доблесть были давно всем известны?

Он стоял молча, вперив в Иоанна неподвижный, вопрошающий взор, как бы ожидая, что он одумается и возьмет назад свое слово. Но Василий Грязной, по знаку царя,

встал из-за стола и подошел к Дружине Андреевичу, держа в руках пестрый кафтан, полупарчовый, полусермяжный, со множеством заплат, бубенчиков и колокольцев.

– Надевай, боярин! – сказал Грязной, – великий государь жалует тебя этим кафтаном с плеча выбылого шута своего Ногтева!

– Прочь! – воскликнул Морозов, отталкивая Грязного, – не смей, кромешник, касаться боярина Морозова, которого предкам твоим предки в псарях и в холопях служили!

И, обращаясь к Иоанну, он произнес дрожащим от негодования голосом:

– Государь, возьми назад свое слово! Вели меня смерти предать! В голове моей ты волён, но в чести моей не волён никто!

Иван Васильевич посмотрел на опричников.

– Правду я говорил, что Дружина любит шутить? Вы слышали? Я не волён жаловать его кафтаном!

– Государь! – продолжал Морозов, – именем господа бога молю тебя, возьми свое слово назад! Еще не родился ты, когда уже покойный батюшка твой жаловал меня! Когда я

вместе с Хабаром Симским разбил чуваш и черемис на Свияге, когда с князьями Одоевским и Мстиславским прогнал от Оки крымского царевича и татарский набег от Москвы отвратил! Много ран получил я, много крови пролил на службе батюшки твоего и на твоей, государь! Не берег я головы ни в ратном деле, ни в Думе боярской, спорил, в малолетство твое, за тебя и за матушку твою с Шуйскими и с Вольскими! Одною только честью дорожил я и никому в целую жизнь мою не дал запятнать ее! Ты ли теперь опозоришь мои седые волосы? Ты ли наругаешься над слугою родителя твоего? Вели казнить меня, государь, вели мне голову на плаху понести, и я с радостью пойду на мученья, как прежде на битвы хаживал!

Все молчали, потрясенные сильною речью Морозова; но среди общей тишины раздался голос Иоанна.

– Довольно болтать! – сказал он грозно, переходя от насмешливости к явному гневу, – твои глупые речи, старик, показали, что ты добрым будешь шутом. Надевай дурацкое платье! Вы! – продолжал царь, повернувшись

к опричникам, – помогите ему; он привык, чтоб ему прислуживали!

Если бы Морозов покорился или, упав к ногам царя, стал бы униженно просить о пощаде, быть может, и смягчился бы Иван Васильевич. Но вид Морозова был слишком горд, голос слишком решителен; в самой просьбе его слышалась непреклонность, и этого не мог снести Иоанн. Он ощущал ко всем сильным нравам неодолимую ненависть, и одна из причин, по коим он еще недавно, не отдавая себе отчета, отвратил сердце свое от Вяземского, была известная ему самостоятельность князя.

В один миг опричники сорвали с Морозова верхнюю одежду и напялили на него кафтан с колокольцами.

После последних слов Иоанна Морозов перестал противиться. Он дал себя одеть и молча смотрел, как опричники со смехом поправляли и обдергивали на нем кафтан. Мысли его ушли в глубь сердца; он сосредоточился в самом себе.

– А шапку-то позабыли? – сказал Грязной, надевая на голову Морозова пестрый колпак,

и, отступив назад, он поклонился ему до полу.

– Дружина Андреич! – сказал он, – бьем тебе челом на новой должности! Потешай нас, как покойный Ногтев потешал!

Тогда Морозов поднял голову и обвел глазами собрание.

– Добро! – сказал он громко и твердо, – принимаю новую царскую милость. Боярину Морозову неместно было сидеть рядом с Годуновым; но царскому шуту пристойно быть за царским столом с Грязными и Басмановыми. Раздвиньтесь, страдники! место новому скормороху! Пропустите шута и слушайте все, как он будет потешать Ивана Васильича!

Морозов сделал повелительный знак, и опричники невольно посторонились.

Гремя колокольцами, боярин подошел к столу и опустился на скамью, напротив Иоанна, с такою величественною осанкой, как будто на нем вместо шутовского кафтана была царская риза.

– Как же мне потешать тебя, государь? – спросил он, положив локти на стол, глядя прямо в очи Ивану Васильевичу. – Мудрен ты стал на потехи, ничем не удивишь тебя! Ка-

ких шуток не перешучено на Руси, с тех пор как ты государишь! Потешался ты, когда был еще отроком и конем давил народ на улицах; потешался ты, когда на охоте велел псарям князя Шуйского зарезать; потешался, когда выборные люди из Пскова пришли плакаться тебе на твоего наместника, а ты приказал им горячею смолою бороды палить!

Опричники хотели вскочить с своих мест и броситься на Морозова; царь удержал их знаком.

– Но, – продолжал Морозов, – то все было ребяческое веселье; оно скоро тебе надоело. Ты начал знаменитых людей в монахи постригать, а жен и дочерей их себе на потеху позорить. И это тебе прискучило. Стал ты выбирать тогда лучших слуг твоих и мукам предавать. Тут дело пошло повеселее, только ненадолго. Не все же ругаться над народом да над боярами. Давай и над церковью Христовою поглумимся! Вот и набрал ты всякой голи кабацкой, всякой скаредной сволочи, нарядил ее в рясы монашеские и сам монахом нарядился, и стали вы днем людей резать, а ночью акафисты петь. Сам ты, кровью обрыз-

ган, и пел, и звонил, и чуть ли обедню не служил. Эта потеха вышла изо всех веселейшая, такой, опричь тебя, никому и не выдумать!

Что же сказать тебе, государь? Как еще распотешить тебя? А разве вот что скажу: пока ты с своею опричниной в машкерах пляшешь, к заутрени звонишь да кровью упиваешься, наступит на тебя с заката Жигимонт, напрут с полуночи немцы да чудь, а с полудня и с восхода подыметя хан. Нахлынет орда на Москву, и не будет воевод отстаивать святыни господней! Запылают храмы божие с мощами святителей, настанут опять Батыевы времена. И будешь ты, царь всея Руси, в ноги кланяться хану и, стоя на коленях, стремя его целовать!

Морозов замолк.

Никто не прерывал его речи; всем она захватила дыханье. Царь слушал, наклонясь вперед, бледный, с пылающими очами, с пеною у рта. Судорожно сжимал он ручки кресел и, казалось, боялся проронить единое слово Морозова и каждое врезывал в памяти, чтобы за каждое заплатить ему особою муккой.

Все опричники были бледны; никто не решился взглянуть на царя. Годунов опустил глаза и не смел дышать, чтобы не привлечь на себя внимание. Самому Малюте было неловко.

Вдруг Грязной выхватил нож, подбежал к Иоанну и сказал, указывая на Морозова:

– Дозволь, государь, ему глотку заткнуть!

– Не смей! – проговорил царь почти шепотом и задыхаясь от волнения, – дай его милости до конца договорить!

Морозов гордо повел очами.

– Еще шуток хочешь, государь? Изволь, я тебя потешу! Оставался у тебя из верных слуг твоих еще один, древнего, боярского рода; его ты откладывал казнить, потому ли, что страшился божьего гнева или что не придумал еще достойной казни ему. Жил он далеко от тебя, под опалою, и мог бы ты забыть про него; но ты, государь, никого не забываешь! Послал ты к нему своего окаянного Вяземского, сжечь его дом и жену увезти. Когда ж он пришел к тебе просить суда на Вяземского, ты заставил их биться себе на потеху, чая, что Вяземский убьет старого слугу твоего. Но бог

не захотел его погибели, показал его правду.

Что же ты сделал тогда, государь? Тогда, – продолжал Морозов, и голос его задрожал, и колокольцы затряслись на одежде, – тогда тебе показалось мало бесчестия на слуге твоём, и ты порешил опозорить его еще неслыханным, небывалым позором! Тогда, – воскликнул Морозов, отталкивая стол и вставая с места, – тогда ты, государь, боярина Морозова одел в шутовской кафтан и велел ему, спашему Тулу и Москву, забавлять тебя вместе со скаредными твоими кромешниками!

Грозен был вид старого воеводы среди безмолвных опричников. Значение шутовской его одежды исчезло. Из-под густых бровей сверкали молнии. Белая борода величественно падала на грудь, приявшую некогда много вражьих ударов, но испещренную ныне яркими заплатами; а в негодующем взоре было столько достоинства, столько благородства, что в сравнении с ним Иван Васильевич показался мелок.

– Государь, – продолжал, возвышая голос, Морозов, – новый шут твой перед тобою. Слушай его последнюю шутку! Пока ты жив, уста

народа русского запечатаны страхом; но минует твое зверское царенье, и останется на земле лишь память дел твоих, и перейдет твое имя от потомков к потомкам на вечное проклятие, доколе не настанет Страшный суд господень! И тогда все сотни и тысячи избитых тобою, все сонмы мужей и жен, младенцев и старцев, все, кого ты погубил и измучил, все предстанут пред господом, вопия на тебя, мучителя своего! И в оный страшный день предстану и я перед вечным судьей, предстану в этой самой одежде и потребую обратно моей чести, что ты отнял у меня на земле! И не будет с тобою крошечников твоих заградить уста вопиющих, и услышит их судия, и будешь ты ввергнут в пламень вечный, уготованный диаволу и аггелом его!

Морозов замолчал и, бросив презрительный взор на царских любимцев, повернулся к ним спиною и медленно удалился.

Никто не подумал остановить его. Важно прошел он между рядами столов, и только когда замер звон его колокольцев, опричники очнулись от оцепенения; а Малюта, встав из-за стола, сказал Ивану Васильевичу:

– Прикажешь сейчас порешить его, государь, или пока в тюрьму посадить?

– В тюрьму! – произнес Иоанн, переводя дыханье. – Беречь его! Кормить его! Не пытаться, чтобы не издох до времени; ты отвечаешь за него головой!

Вечером у царя было особенное совещание с Малютой.

Колычевы, давно уже сидевшие в тюрьме и пытаемые Малютой, частью сознались во взводимой на них измене, частью были, по мнению Иоанна, достаточно уличены друзьями их и холопами, которые, не выдержав пытки, на них показывали.

Много и других лиц было замешано в это дело. Схваченные по приказанию царя и жестоко истязуемые, кто в Москве, кто в Слободе, они, в свою очередь, называли много имен, и число пытаемых росло с каждым днем и выросло наконец до трехсот человек.

Иван Васильевич, дорожа мнением иностранных держав, положил подождать отъезда бывших тогда в Москве литовских послов и учинить осужденным в один день общую казнь; а дабы действие ее было поразитель-

нее и устрасило бы мятежников на будущее время, казни сей надлежало совершиться в Москве, в виду всего народа.

В тот же самый день царь назначил казнить Вяземского и Басманова. Мельник как чародей осужден был к сожжению на костре, а Коршуну, дерзнувшему забраться в царскую опочивальню и которого берегли доселе на торжественный случай, Иоанн готовил исключительные, еще небывалые муки. Той же участи он обрек и Морозова.

О подробностях этой общей казни царь разговаривал до поздней ночи, и петухи уже два раза пропели, когда он отпустил Малюту и удалился в свою образную.

ГЛАВА 35. Казнь

По отъезде литовских послов, накануне дня, назначенного для торжественной казни, московские люди с ужасом увидели ее приготовления.

На большой торговой площади, внутри Китай-города, было поставлено множество виселиц. Среди их стояло несколько срубов с плахами. Немного подале висел на перекладине между столбов огромный железный котел. С другой стороны срубов торчал одинокий столб с приделанными к нему цепями, а вокруг столба работники наваливали костер. Разные неизвестные орудия виднелись между виселицами и возбуждали в толпе боязливые догадки, от которых сердце заранее сжималось.

Мало-помалу все пришедшие торговать на базар разошлись в испуге. Опустела не только площадь, но и окрестные улицы. Жители заперлись в домах и шепотом говорили о предстоящем событии. Слух о страшных приготовлениях разнесся по всей Москве, и везде воцарилась мертвая тишина. Лавки закрылись,

никто не показывался на улицах, и лишь время от времени проскакивали по ним гонцы, посылаемые с приказаниями от Арбата, где Иоанн остановился в любимом своем тереме. В Китай-городе не слышно было другого шума, кроме стука плотничьих топоров да говора опричников, распорядившихся работами.

Когда настала ночь, затихли и эти звуки, и месяц, поднявшись из-за зубчатых стен Китай-города, осветил безлюдную площадь, всю взъерошенную кольями и виселицами. Ни одного огонька не светилось в окнах; все ставни были закрыты; лишь кой-где тускло теплились лампы перед наружными образами церквей. Но никто не спал в эту ночь, все молились, ожидая рассвета.

Наконец роковое утро настало, и в небе слышалось усиленное карканье ворон и галок, которые, чуя близкую кровь, слетались отовсюду в Китай-город, кружились стаями над площадью и унизывали черными рядами церковные кресты, князьки и гребни домов и самые виселицы.

Тишину прервал отдаленный звон бубен и тулумбасов, который медленно приближался

к площади. Показалась толпа конных опричников, по пяти в ряд. Впереди ехали бубенщики, чтобы разгонять народ и очищать дорогу государю, но они напрасно трясли свои бубны и били вощгагами в тулумбасы: нигде не видно было живой души.

За опричниками ехал сам царь Иван Васильевич, верхом, в большом наряде, с колчаном у седла, с золоченым луком за спиною. Венец его шишака был украшен деисусом, то есть изображением на финифти спасителя, а по сторонам богородицы, Иоанна Предтечи и разных святых. Чепрак под ним блистал дорогими камнями, а на шее у вороного коня вместо науза болталась собачья голова.

Рядом с царем был виден царевич Иоанн, а позади ехала толпа ближайших царедворцев, по три в ряд. За ними шло с лишком триста человек осужденных на смерть. Скованные цепями, изнуренные пыткой, они с трудом передвигали ноги, повинувась понуждающим их опричникам.

Шествие заключал многочисленный отряд конницы.

Когда поезд въехал в Китай-город и все

войско, спешившись, разместилось у виселиц, Иоанн, не сходя с коня, посмотрел кругом и с удивлением увидел, что на площади не было ни одного зрителя.

– Сгонять народ! – сказал он опричникам. – Да никто не убоится! Поведайте людям московским, что царь казнит своих злодеев, безвинным же обещает милость.

Вскоре площадь стала наполняться народом, ставни отворились, и у окон показались бледные, боязливые лица.

Между тем костер, разложенный под котлом, запылал, и на срубы взошли палачи.

Иоанн велел вывести из числа осужденных некоторых, менее виновных.

– Человеки! – сказал он им громко и внятно, дабы все на площади могли его слышать, – вы дружбой вашею и хлебом-солью с изменщиками моими заслужили себе равную с нами казнь; но я, в умилении сердца, скорбя о погублении душ ваших, милую вас и дарую вам живот, дабы вы покаянием искупили вины ваши и молились за меня, недостойного!

По знаку царя прощенных отвели в сторону.

– Люди московские! – сказал тогда Иоанн, – вы узрите ныне казни и мучения; но караю злодеев, которые хотели предать врагам государство! Плачуще, предаю тела их терзанию, яко аз есмь судия, поставленный господом судити народы мои! И несть лицепрятия в суде моем, яко, подобно Аврааму, подъявшему нож на сына, я самых ближних моих на жертву приношу! Да падет же кровь сия на главу врагов моих!

Тогда из среды оставшихся осужденных вывели прежде всех боярина Дружину Андреевича Морозова.

Иоанн, в первом порыве раздражения, обрел было его на самые страшные муки; но, по непонятной изменчивости нрава, а может быть, и вследствие общей любви москвитян к боярину, он накануне казни отменил свои распоряжения и осудил его на менее жестокую смерть.

Думный дьяк государев, стоя у сруба, развернул длинный свиток и прочел громогласно:

– Бывший боярин Дружина! Ты хвалился замутировать государство, призвать крымского

хана и литовского короля Жигимонта и многие другие беды и тесноты на Руси учинить. Ты же дерзнул злыми, кусательными словами поносить самого государя, царя и великого князя всея Руси, и добрых слуг его на непокорство подымать. Заслужил ты себе истязания паче смерти; но великий государь, помня прежние доблести твои, от жалости сердца, повелел тебя, особно от других и минуя прочие муки, скорою смертью казнить, голову тебе отсечь, остатков же твоих на его государский обиход не отписывать!

Морозов, уже взошедший на сруб, перекрестился.

– Ведаю себя чистым пред богом и пред государем, – отвечивал он спокойно, – предаю душу мою господу Иисусу Христу, у государя же прошу единой милости: что останется после меня добра моего, то все пусть разделится на три части: первую часть – на церкви божии и на помин души моей; другую – нищей братии; а третью – верным слугам и холопам моим; а кабальных людей и рабов отпускаю вечно на волю! Вдове же моей прощаю, и вольно ей выйти за кого похочет!

С этими словами Морозов еще раз перекрестился и опустил голову на плаху.

Раздался глухой удар, голова Дружины Андреевича покатилась, и благородная кровь его обагрила доски помоста.

За ним опричники, к удивлению народа, вывели оружничего государева князя Вяземского, кравчего Федора Басманова и отца его Алексея, на которого Федор показал на пытке.

– Люди московские! – сказал Иоанн, указывая на осужденных, – се зрите моих и ваших злодеев! Они, забыв крестное свое целование, теснили вас от имени моего и, не страшась суда божия, грабили животы ваши и губили народ, который я же их поставил защищать. И се ныне примут, по делам своим, достойную мзду!

Вяземский и оба Басмановы, как обманувшие царское доверие, были осуждены на жестокие муки.

Дьяк прочел им обвинение в намерении извести царя чарами, в преступных сношениях с врагами государства и в притеснении народа именем Иоанновым.

Когда палачи, схватив Федора Басманова,

взвели его на помост, он обернулся к толпе зрителей и закричал громким голосом:

– Народ православный! хочу перед смертью покаяться в грехах моих! Хочу, чтобы все люди ведали мою исповедь! Слушайте, православные...

Но Малюта, стоявший сзади, не дал ему продолжать. Он ловким ударом сабли снес ему голову в тот самый миг, как он готовился начать свою исповедь.

Окровавленный труп его упал на помост, а отлетевшая голова подкатилась, звеня серьгами, под ноги царскому коню, который откачнулся, фыркая и косясь на нее испуганным оком. Басманов последнею наглостью избавился от ожидавших его мучений.

Отец его Алексей и Вяземский не были столько счастливы. Их, вместе с разбойником Коршуном, взвели на сруб, где ожидали их страшные снаряды. В то же время старого мельника потащили на костер и приковали к столбу.

Вяземский, измученный пыткой, не имея силы стоять на ногах, поддерживаемый под руки палачами, бросал дикие взгляды по сто-

ронам. В глазах его не было заметно ни страха, ни раскаянья. Увидев прикованного к столбу мельника и вокруг него уже вьющиеся струи дыма, князь вспомнил его последние слова, когда старик, заговорив его саблю, смотрел на бадью с водою; вспомнил также князь и свое видение на мельнице, когда он в лунную ночь, глядя под шумящее колесо, старался увидеть свою будущность, но увидел только, как вода почервонела, подобно крови, и как заходили в ней зубчатые пилы и стали отмыкаться и замыкаться железные клещи...

Мельник не заметил Вяземского. Углубленный в самого себя, он бормотал что-то себе под нос и с видом помешательства приплясывал на костре, гремя цепями.

– Шикалу! Ликалу! – говорил он, – слетелись вороны на богатый пир! Повернулося колесо, повернулося! Что было высоко, то стало низко! Шагадам! Подымися, ветер, от мельницы, налети на ворогов моих! Кулла! Кулла! Разметай костер, загаси огонь!

И в самом деле, как будто повинуюсь заклинаниям, ветер поднялся на площади, но, вместо того чтобы загасить костер, он раздул

подложенный под него хворост, и пламя, вырвавшись сквозь сухие дрова, охватило мельника и скрыло его от зрителей.

– Шагадам! Кулла! Кулла! – слышалось еще за облаком дыма, и голос замер в треске пылающего костра.

Наружность Коршуна почти вовсе не изменилась ни от пытки, ни от долгого томления в темнице. Сильная природа его устояла против приготовительного допроса, но в выражении лица произошла перемена. Оно сделалось мягче; глаза глядели спокойнее.

С той самой ночи, как он был схвачен в царской опочивальне и брошен в тюрьму, угрызения совести перестали терзать его. Он тогда же принял ожидающую его казнь как искупление совершенных им некогда злодейств, и, лежа на гнилой соломе, он в первый раз после долгого времени заснул спокойно.

Дьяк прочел перед народом вину Коршуна и ожидающую его казнь.

Коршун, взошедши на помост, перекрестился на церковные главы и положил один за другим четыре земных поклона народу, на

четыре стороны площади.

– Прости, народ православный! – сказал он, – прости меня в грехах моих, в разбое, и в воровстве, и в смертном убийстве! Прости во всем, что я согрешил перед тобою. Заслужил я себе смертную муку, отпусти мне вины мои, народ православный!

И, повернувшись к палачам, он сам проделал руки в приготовленные для них петли.

– Привязывайте, что ли! – сказал он, потрянув седою, кудрявою головой, и не прибавил боле ни слова.

Тогда, по знаку Иоанна, дьяк обратился к прочим осужденным и прочел им обвинение в заговоре против государя, в намерении отдать Новгород и Псков литовскому королю и в преступных сношениях с турецким султаном.

Их готовились повести, кого к виселицам, кого к котлу, кого к другим орудиям казни.

Народ стал громко молиться.

– Господи, господи! – раздавалось на площади, – помилуй их, господи! Приими скорее их души!

– Молитесь за нас, праведные! – кричали некоторые из толпы, – помяните нас, когда

приидете во царствие божие!

Опричники, чтобы заглушить эти слова, начали громогласно взывать:

– Гойда! Гойда! Да погибнут враги государевы!

Но в эту минуту толпа заколебалась, все головы обратились в одну сторону, и послышались восклицания:

– Блаженный идет! Смотрите, смотрите! Блаженный идет!

В конце площади показался человек лет сорока, с реденькою бородой, бледный, босой, в одной полотняной рубахе. Лицо его было необыкновенно кротко, а на устах играла странная, детски добродушная улыбка.

Вид этого человека посреди стольких лиц, являвших ужас, страх или зверство, резко от них отделялся и сильно на всех подействовал. Площадь затихла, казни приостановились.

Все знали блаженного, но никто еще не видел на лице его такого выражения, как сегодня. Против обыкновения, судорога подергивала эти улыбающиеся уста, как будто с кротостию боролось другое, непривычное чувство.

Нагнувшись вперед, гремя веригами и железными крестами, которыми он весь был обвешан, блаженный пробирался сквозь раздвигающуюся толпу и шел прямо на Иоанна.

– Ивашко! Ивашко! – кричал он издали, перебирая свои деревянные четки и продолжая улыбаться, – Ивашко! Меня-то забыл!

Увидев его, Иоанн хотел повернуть коня и отъехать в сторону, но юродивый стоял уже возле него.

– Посмотри на блаженного! – сказал он, хватаясь за узду царского коня. – Что ж не велишь казнить и блаженного? Чем Вася хуже других?

– Бог с тобой! – сказал царь, доставая горсть золотых из узорного мешка, висевшего на золотой цепочке у его пояса, – на, Вася, ступай, помолись за меня!

Блаженный подставил обе руки, но тотчас же отдернул их, и деньги посыпались на землю.

– Ай, ай! Жжется! – закричал он, дую на пальцы и потряхивая их на воздухе. – Зачем ты деньги в огне раскалил? Зачем в адовом огне раскалил?

– Ступай, Вася! – повторил нетерпеливо Иоанн, – оставь нас, тебе здесь не место!

– Нет, нет! Мое место здесь, с мучениками! Дай и мне мученический венчик! За что меня обходишь? За что обижаешь? Дай и мне такой венчик, какие другим раздаешь!

– Ступай, ступай! – сказал Иоанн с зарождающимся гневом.

– Не уйду! – произнес упорно юродивый, уцепясь за конскую сбрую, но вдруг засмеялся и стал пальцем показывать на Иоанна. – Смотрите, смотрите! – заговорил он, – что это у него на лбу? Что это у тебя, Ивашко? У тебя рога на лбу! У тебя козлиные рога выросли! И голова-то твоя стала песья!

Глаза Иоанна вспыхнули.

– Прочь, сумасшедший! – закричал он, и, выхватив копье из рук ближайшего опричника, он замахнулся им на юродивого.

Крик негодования раздался в народе.

– Не тронь его! – слышалось в толпе, – не тронь блаженного! В наших головах ты волен, а блаженного не тронь!

Но юродивый продолжал улыбаться полудетски, полубезумно.

– Пробори меня, царь Саул! – говорил он, отбирая в сторону висевшие на груди его кресты, – пробори сюда, в самое сердце! Чем я хуже тех праведных? Пошли и меня в царствие небесное! Аль завидно тебе, что не будешь с нами, царь Саул, царь Ирод, царь крошечный?

Копье задрожало в руке Иоанна. Еще единый миг, оно вонзилось бы в грудь юродивого, но новый крик народа удержал его на воздухе. Царь сделал усилие над собой и переломил свою волю, но буря должна была разразиться.

С пеной у рта, с сверкающими очами, с поднятым копьём, он стиснул коня ногами, налетел вскачь на толпу осужденных, так что искры брызнули из-под конских подков, и пронзил первого попавшегося ему под руку.

Когда он вернулся шагом на свое место, опустив окровавленный конец копья, причиники уже успели оттереть блаженного.

Иоанн махнул рукой, и палачи приступили к работе.

На бледном лице Иоанна показался румянец; очи его сделались больше, на лбу наду-

лись синие жилы, и ноздри расширились...

...Когда наконец, сытый душегубством, он повернул коня и, объехав вокруг площади, удалился, сам обрызганный кровью и окруженный окровавленным полком своим, вороны, сидевшие на церковных крестах и на гребнях кровель, взмахнули одна за другой крыльями и начали спускаться на груды истерзанных членов и на трупы, висящие на виселицах...

Бориса Годунова в этот день не было между приехавшими с Иоанном. Он еще накануне вызвался провожать из Москвы литовских послов.

На другой день после казни площадь была очищена и мертвые тела свезены и свалены в кремлевский ров.

Там граждане московские впоследствии соорудили несколько деревянных церквей, *на костях и на крови*, как выражаются древние летописи.

Прошли многие годы; впечатление страшной казни изгладилось из памяти народной, но долго еще стояли вдоль кремлевского рва те скромные церкви, и приходившие в них

молиться могли слышать панихиды за упокой измученных и избитых по указу царя и великого князя Иоанна Васильевича Четвертого.

ГЛАВА 36. Возвращение в Слободу

Поразив ужасом Москву, царь захотел явиться милостивым и великодушным. По приказанию его темницы были отперты, и заключенные, уже не чаявшие себе прощения, все освобождены. Некоторым Иоанн послал подарки. Казалось, давно кипевшая в нем и долго разгоравшаяся злоба разразилась последнею казнью и вылетела из души его, как пламенный сноп из горы огнедышащей. Рассудок его успокоился, он перестал везде отыскивать измену.

Не всякий раз после безвинной крови Иоанн предавался угрызениям совести. Они зависели также от других обстоятельств. Небесные знамения, внезапно ударивший гром, проявление народных бедствий устрашали его чуткое воображение и подвигали его иногда на всенародное покаяние; но когда не случалось ни знамений, ни голода, ни по-

жаров, внутренний голос его молчал и совесть дремала. Так и в настоящее время состояние души Иоанна было безмятежно. Он чувствовал после совершенных убийств какое-то удовлетворение и спокойствие, как голодный, насытившийся пищей. Более из привычки и принятого правила, чем от потребности сердца, он, возвращаясь в Слободу, остановился на несколько дней молиться в Троицкой лавре.

Во всю дорогу пристава, ехавшие перед ним, бросали горстями серебряные деньги нищим, а уезжая из Лавры, он оставил архимандриту богатый вклад на молебны за свое здоровье.

В Слободе между тем готовилось никем не ожидаемое событие.

Годунов, посланный вперед приготовить государю торжественный прием, исполнив свое поручение, сидел у себя в брусняной избе, облокотясь на дубовый стол, подперши рукою голову. Он размышлял о случившемся в эти последние дни, о казни, от которой удалось ему уклониться, о загадочном нраве грозного царя и о способах сохранить его милость, не

участвуя в делах опричнины, как вошедший слуга доложил, что у крыльца дожидается князь Никита Романович Серебряный.

Годунов при этом имени в удивлении встал со скамьи.

Серебряный был опальник государев, осужденный на смерть. Он ушел из тюрьмы, и всякое сношение с ним могло стоить головы Борису Федоровичу. Но отказать князю в гостеприимстве или выдать его царю было бы делом недостойным, на которое Годунов не мог решиться, не потеряв народного доверия, коим он более всего дорожил. В то же время он вспомнил, что царь находится теперь в милостивом расположении духа, и в один миг сообразил, как действовать в этом случае.

Не выходя на крыльцо встречать Серебряного, он велел немедленно ввести его в избу. Посторонних свидетелей не было, и, положив раз принять князя, Годунов не захотел показать ему неполное радушие.

– Здравствуй, князь, – сказал он, обнимая Никиту Романовича, – милости просим, садись; как же ты решился вернуться в Слободу,

Никита Романыч? Но дай сперва угостить тебя, ты, я чаю, с дороги устал.

По приказанию Годунова поставили на стол закуску и несколько кубков вина.

– Скажи, князь, – спросил Годунов заботливо, – видели тебя, как ты взошел на крыльцо?

– Не знаю, – отвечал простодушно Серебряный, – может быть, и видели; я не хоронился, прямо к твоему терему подъехал. Мне ведомо, что ты не тянешь к опричнине!

Годунов поморщился.

– Борис Федорыч, – прибавил Серебряный доверчиво, – я ведь не один; со мной пришло сотни две станичников из-под Рязани.

– Что ты, князь? – воскликнул Годунов.

– Они, – продолжал Серебряный, – за заставой остались. Мы вместе несем наши головы государю; пусть казнит нас или милует, как ему угодно!

– Слышал я, князь, слышал, как ты с ними татар разбил; но ведомо ли тебе, что с тех пор на Москве было?

– Ведомо, – отвечал Серебряный и нахмурился. – Я шел сюда и думал, что опричнине конец, а у вас дела хуже прежнего. Да простит

бог государю! А тебе грех, Борис Федорыч, что ты только молчишь да глядишь на все это!

– Эх, Никита Романыч, ты, я вижу, все тот же остался! Что ж бы я сказал царю? Послушался бы он меня, что ли?

– А хотя бы и не послушался, – возразил упрямо Серебряный, – все ж тебе говорить следует. От кого ж ему правду знать, коли не от тебя?

– А ты думаешь, он правды не знает? Ты думаешь, он и в самом деле всем тем изветам верит, по которым столько людей казнено?

И, сказав это, Годунов закусил было язык, но вспомнил, что говорит с Серебряным, которого открытое лицо исключало всякое подозрение в предательстве.

– Нет, – продолжал он вполголоса, – напрасно ты винишь меня, князь. Царь казнит тех, на кого злобу держит, а в сердце его не волен никто. Сердце царево в руке божией, говорит Писание. Вот Морозов попытался было прямить ему; что ж вышло? Морозова казнили, а другим не стало от того легче. Но ты, Никита Романыч, видно, сам не дорожишь головою, что, ведая московскую казнь, не убоял-

ся прийти в Слободу?

При имени Морозова Серебряный вздохнул. Он любил Дружину Андреича, хотя боярин и похитил его счастье.

– Что ж, Борис Федорыч, – ответил он Годунову, – чему быть, того не миновать! Да правду сказать, и жить-то мне надоело; не красно теперь житье на Руси!

– Послушай, князь, ты сам себя не бережешь; такой, видно, уж нрав у тебя; но бог тебя бережет. Как ты до сих пор ни лез в петлю, а все цел оставался. Должно быть, не написано тебе пропасть ни за что ни про что. Кабы ты с неделю тому вернулся, не знаю, что бы с тобой было, а теперь, пожалуй, есть тебе надежда; только не спеши на глаза Ивану Васильевичу; дай мне сперва увидеть его.

– Спасибо тебе, Борис Федорыч; да ты обо мне-то больно не хлопочи; а вот станичников, коли можно, вызволи из беды. Они хоть и худые люди, а вины свои хорошо заслужили!

Годунов взглянул с удивлением на Никиту Романовича. Он не мог привыкнуть к простоте князя, и равнодушие его к собственной

жизни показалось Годунову неестественным.

– Что ж ты, князь, – спросил он, – с горя, что ли, жить не хочешь?

– Пожалуй, что и с горя. К чему еще жить теперь? Веришь ли, Борис Федорыч, иной раз поневоле Курбский на ум приходит; подумаю про него, и самому страшно станет: так, кажется, и бросил бы родину и ушел бы к ляхам, кабы не были они враги наши.

– Вот то-то, князь! В теперешнее время нам только и есть, что две дороги: или делать, как Курбский, – бежать навсегда из родины, или так, как я, – оставаться около царя и искать его милости. А ты ни то, ни другое; от царя не уходишь, а с царем не мыслишь; этак нельзя, князь; надо одно из двух. Уж коли хочешь оставаться на Руси, так исполняй волю цареву. А если полюбит он тебя, так, пожалуй, и сам от опричнины отвратится. Вот, примерно, кабы нас было двое около него, один бы другого поддерживал; сегодня бы я заронил словечко, завтра ты; что-нибудь и осталось бы у него в памяти; ведь и капля, говорят, когда все на одно место капает, так камень насквозь долбит. А нахрапом, князь, ничего не

возьмешь!

– Кабы не был он царь, – сказал мрачно Серебряный, – я знал бы, что мне делать; а теперь ничего в толк не возьму; на него идти бог не велит, а с ним мыслить мне невмочь; хоть он меня на клочья разорви, с опричной хлеба-соли не поведу!

– погоди, князь, не отчаивайся. вспомни, что я тебе тогда говорил? оставим опричников; не будем перечить царю; они сами перегубят друг друга! Вот уж троих главных не стало: ни обоих Басмановых, ни Вяземского. дай срок, князь, и вся опричина до смерти перегрызется!

– А до того что будет? – сказал Серебряный.

– А до того, – ответил Годунов, не желая сразу настаивать на мысли, которую хотел заронить в Серебряном, – до того, коли царь тебя помилует, ты можешь снова на татар идти; за этими дело не станет!

В мыслях Серебряного нелегко укладывалось два впечатления разом, и надежда идти на татар вытеснила на время овладевшее им уныние.

– Да, – сказал он, – только нам одно и оста-

лось, что татар колотить! Кабы не ждать их в гости, а ударить бы на Крым всеми полками разом, да вместе с казаками, так, пожалуй, что и Крым взяли бы!

Он даже усмехнулся от удовольствия при этой мысли.

Годунов вступил с ним в разговор о его насильственном освобождении и о рязанском побоище. Уже начинало темнеть, а они всё еще сидели, беседуя за кубками.

Наконец Серебряный встал.

– Прости, боярин, – сказал он, – уже скоро ночь на дворе!

– Куда ты, Никита Романыч? Остаешься у меня, переночуй, завтра приедет царь, я доложу о тебе!

– Нельзя, Борис Федорыч, пора мне к своим! Боюсь, чтоб они с кем не повздорили. Кабы царь был в Слободе, мы прямо б к нему с повинною пришли, и пусть бы случилось, что богу угодно; а с здешними душегубцами не убережешься. Хоть мы и в сторонке, под самым лесом остановились, а все же может какой-нибудь объезд наехать!

– Ну, прости, Никита Романыч! Смотри ж

ты, не суйся царю на глаза, погоди, чтоб я прислал за тобой.

– Да постой, не туда ты идешь, князь, – прибавил Годунов, видя, что Серебряный направляется к красным сеням, и, взяв его за руку, он проводил его на заднее крыльцо.

– Прости, Никита Романыч, – повторил он, обнимая Серебряного, – бог не без милости, авось и уладится твое дело!

И, подождав, чтобы князь сел на коня и выехал заднею околицею, Годунов вернулся в избу, весьма довольный, что Серебряный не принял предложения переночевать у него в доме.

На другое утро царь с торжеством въехал в Слободу, как после одержанной победы. Опричники провожали его с криками «гойда! гойда!» от заставы до самого дворца.

Одна старая мамка Онуфревна приняла его с бранью.

– Зверь ты этакий! – сказала она, встречая его на крыльце, – как тебя еще земля держит, зверя плотоядного? Кровью от тебя пахнет, душегубец! Как смел ты к святому угоднику Сергию явиться после твоего московского де-

ла? Гром господень убьет тебя, окаянного, вместе с дьявольским полком твоим!

Но в этот раз увещания мамки не произвели никакого действия. На дворе не было ни грома, ни бури. Солнце великолепно сияло в безоблачном небе, и ярко играли краски и позолота на пестрых теремках и затейливых главах дворца. Иоанн не ответил ни слова и прошел мимо старухи во внутренние свои покои.

– Погоди, погоди! – продолжала она, глядя ему вослед и стуча о пол клюкою, – разразится гром божий над теремом твоим, выжжет он всю твою нечестивую Слободу!

И старуха удалилась в свою светлицу, медленно передвигая ноги и бросая сердитые взгляды на царедворцев, которые сторонились от нее с суеверным страхом.

В этот день, после обеда, Годунов, видя, что царь весел и доволен и, против обыкновения, готовится отдохнуть, последовал за ним в опочивальню. Расположение к нему Ивана Васильевича давало это право Годунову, особенно когда ему было о чем доложить, что не всякому следовало слышать.

В царской опочивальне стояли две кровати: одна, из голых досок, на которой Иван Васильевич ложился для наказания плоти, в минуты душевных тревог и сердечного раскаянья; другая, более широкая, была покрыта мягкими овчинами, пуховиком и шелковыми подушками. На этой царь отдыхал, когда ничто не тревожило его мыслей. Правда, это случалось редко, и последняя кровать большею частью оставалась нетронутою.

Надобно было хорошо знать Ивана Васильевича, чтобы не ошибиться в действительном расположении его духа. Не всегда во время мучений совести он был склонен на милосердие. Он часто приписывал угрызения свои наваждению сатаны, старающегося отвлечь его от преследования измены, и тогда, вместо того чтобы смягчить свое сердце, он, назло дьяволу, творя молитвы и крестные знамения, предавался еще большей жестокости. Не всегда также спокойствие, написанное на лице его, могло достоверно ручаться за внутреннюю безмятежность. Оно часто бывало одною личиною, и царь, одаренный редкою проницательностью и способностью угадывать чу-

жие мысли, любил иногда обманывать расчеты того, с кем разговаривал, и поражать его неожиданным проявление гнева в то самое время, когда он надеялся на милость.

Но Годунов успел изучить малейшие оттенки царского нрава и с необыкновенным чутьем отгадывал и объяснял себе неуловимые для других изменения лица его.

Подождав, чтобы Иоанн лег на пуховую постель, и не видя в его чертах ничего, кроме усталости, Борис Федорович сказал безо всяких приготовлений:

– Ведомо ли тебе, государь, что опальник твой сыскался?

– Какой? – спросил Иоанн, зевая.

– Никита Серебряный, тот самый, что Вяземского, изменника твоего, саблей посек и в тюрьму был посажен.

– А! – сказал Иоанн, – поймали воробья! Кто же взял его?

– Никто, государь. Он сам пришел и всех станичников привел, которые с ним под Рязанью татар разбили. Они вместе с Серебряным принесли твоей царской милости повинные головы.

– Опомнились! – сказал Иоанн. – Что ж, видел ты его?

– Видел, государь; он прямо ко мне приехал; думал, твоя милость в Слободе, и просил, чтоб я о нем сказал тебе. Я хотел было захватить его под стражу, да подумал, неравно Григорий Лукьяныч скажет, что я подыскиваюсь под него; а Серебряный не уйдет, коли он сам тебе свою голову принес.

Годунов говорил прямо, с открытым лицом, безо всякого замешательства, как будто в нем не было ни тени хитрости, ни малейшего участия к Серебряному. Когда он накануне проводил его задним крыльцом, он поступил так не с тем, чтобы скрыть от царя его посещение (это было бы слишком опасно), но чтобы кто из слободских не предупредил Иоанна и, как первый известитель, не настроил бы его против самого Годунова. Намек же на Вяземского, выставляющий Серебряного врагом казненного князя, был обдуман и приготовлен Борисом Федоровичем заранее.

Царь зевнул еще раз, но не отвечал ничего, и Годунов, улавливая каждую черту лица его, не прочел на нем никакого признака ни явно-

го, ни скрытого гнева. Напротив, он заметил, что царю понравилось намерение Серебряного предаться на его волю.

Иоанн, проливая кровь и заставляя всех трепетать, хотел вместе с тем, чтоб его считали справедливым и даже милосердным; душегубства его были всегда облечены в наружность строгого правосудия, и доверие к его великодушию тем более льстило ему, что такое доверие редко проявлялось.

Подождав немного, Годунов решился вызвать Ивана Васильевича на ответ.

– Как прикажешь, государь, – спросил он, – позвать к тебе Григорья Лукьяныча?

Но последние казни уже достаточно насытили Иоанна; несколько лишних голов не могли ничего прибавить к его удовлетворению, ни возбудить в нем уснувшую на время жажду крови.

Он пристально посмотрел на Годунова.

– Разве ты думаешь, – сказал он строго, – что я без убийства жить не могу? Иное злодеи, подрывающие государство, иное Никита, что Афоньку порубил. А из станичников посмотрю, кого казнить, кого помиловать.

Пусть все, и с Никитой, соберутся перед Красным крыльцом на дворе. Когда выйду из опочивальни, увижу, что с ними делать!

Годунов пожелал царю доброго отдыха и удалился с низким поклоном.

Все зависело теперь от того, в каком расположении проснется Иоанн.

ГЛАВА 37. Прощение

Извещенный Годуновым, Никита Романович явился на царский двор с своими ставниками.

Перераненные, оборванные, в разнообразных лохмотьях, кто в зипуне, кто в овчине, кто в лаптях, кто босиком, многие с подвязанными головами, все без шапок и без оружия, стояли они молча друг подле друга, дожидаясь царского пробуждения.

Не в первый раз видели молодцы Слободу; приходили они сюда и гусярами, и нищими, и поводитильщиками медведей. Некоторые участвовали и в последнем пожаре, когда Перстень с Коршуном пришли освободить Серебряного. Много было между ними знакомых нам лиц, но многих и не доставало. Недо-

ставало всех, которые, отстаивая Русскую землю, полегли недавно на рязанских полях, ни тех, которые после победы, любя раздолье кочующей жизни, не захотели понести к царю повинную голову. Не было тут ни Перстня, ни Митьки, ни рыжего песенника, ни дедушки Коршуна. Перстень, появившись в последний раз в Слободе в день судного поединка, исчез бог весть куда; Митька последовал за ним, песенника еще прежде уходил Серебряный, а Коршуна теперь под стеною кремлевскою терзали псы и клевали вороны...

Уже часа два дожидались молодцы, потупя очи и не подозревая, что царь смотрит на них из небольшого окна, сделанного над самым крыльцом и скрытого узорными теремками. Никто из них не говорил ни с товарищами, ни с Серебряным, который стоял в стороне, задумавшись и не обращая внимания на множество людей, толпившихся у ворот и у калиток. В числе любопытных была и государева мамка. Она стояла на крыльце, нагнувшись на клюку, и смотрела на все безжизненными глазами, ожидая появления Иоанна, быть может, с тем, чтобы своим при-

сутствием удержать его от новой жестокости.

Иван Васильевич, нагладевшись вдоволь из потаенного окна на своих опальников и насладившись мыслию, что они теперь стоят между жизнью и смертью и что нелегко у них, должно быть, на сердце, показался вдруг на крыльце в сопровождении нескольких стольников.

При виде царя, одетого в золотую парчу, опирающегося на узорный посох, разбойники стали на колени и преклонили головы.

Иоанн помолчал несколько времени.

– Здравствуйте, оборванцы! – сказал он наконец и, поглядев на Серебряного, прибавил: – Ты зачем в Слободу пожаловал? По тюрьме, что ли, соскучился?

– Государь, – ответил Серебряный скромно, – из тюрьмы ушел я не сам, а увели меня насильно станичники. Они же разбили ширинского мурзу Шихмата, о чем твоей милости, должно быть, уже ведомо. Вместе мы били татар, вместе и отдаемся на твою волю; казни или милуй нас, как твоя царская милость знает!

– Так это за ним вы тот раз в Слободу при-

ходили? – спросил Иоанн у разбойников. – Откуда ж вы знаете его?

– Батюшка-царь, – отвечали вполголоса разбойники, – он атамана нашего спас, когда его в Медведевке повесить хотели. Атаман-то и увел его из тюрьмы!

– В Медведевке? – сказал Иоанн и усмехнулся. – Это, должно быть, когда ты Хомяка и с объездом его шелепугами отшлепал? Я это дело помню. Я отпустил тебе эту первую вину, а был ты, по уговору нашему, посажен за новую вину, когда ты вдругорядь на моих людей у Морозова напал. Что скажешь на это?

Серебряный хотел отвечать, но мамка предупредила его.

– Да полно тебе вины-то его высчитывать! – сказала она Иоанну сердито. – Вместо чтоб пожаловать его за то, что он басурманов разбил, церковь Христову отстоял, а ты только и смотришь, какую б вину на нем найти. Мало тебе было терзанья на Москве, волк ты этакий!

– Молчи, старуха! – сказал строго Иоанн, – не твое бабье дело указывать мне!

Но, досадуя на Онуфреву, он не захотел

раздражать ее и, отвернувшись от Серебряного, сказал разбойникам, стоявшим на коленах:

– Где атаман ваш, висельники? Пусть выступит вперед!

Серебряный взялся отвечать за разбойников.

– Их атамана здесь нет, государь. Он тот же час после рязанской битвы ушел. Я звал его, да он идти не захотел.

– Не захотел! – повторил Иоанн. – Сдается мне, что этот атаман есть тот самый слепой, что ко мне в опочивальню со стариком приходил. Слушайте же, оборванцы! Я вашего атамана велю сыскать и на кол посадить!

– Уж самого тебя, – проворчала мамка, – на том свету черти на кол посадят!

Но царь притворился, что не слышит, и продолжал, глядя на разбойников:

– А вас, за то, что вы сами на мою волю отдались, я, так и быть, помилую. Выкатить им пять бочек меду на двор! Ну что? Довольна ты, старая дура?

Мамка зажевала губами.

– Да живет царь! – закричали разбойни-

ки. – Будем служить тебе, батюшка-государь! Заслужим твое прощение нашими головами!

– Выдать им, – продолжал Иоанн, – по доброду кафтани да по гривне на человека. Я их в опричину впишу. Хотите, висельники, мне в опричниках служить?

Некоторые из разбойников замялись, но большая часть закричала:

– Рады служить тебе, батюшка, где укажет твоя царская милость!

– Как думаешь, – сказал Иоанн с довольным видом Серебряному, – пригодны они в ратный строй?

– В ратный-то строй пригодны, – ответил Никита Романович, – только уж, государь, не вели их в опричину вписывать!

Царь подумал, что Серебряный считает разбойников недостойными такой чести.

– Когда я кого милую, – произнес он торжественно, – я не милую вполонину!

– Да какал ж это милость, государь! – вырвалось у Серебряного.

Иоанн посмотрел на него с удивлением.

– Они, – продолжал Никита Романович, немного запинаясь, – они, государь, ведь доб-

рое дело учинили; без них, пожалуй, татары на самую бы Рязань пошли!

– Так почему ж им в опричнине не быть? – спросил Иоанн, пронзая глазами Серебряного.

– А потому, государь, – выговорил Серебряный, который тщетно старался прибрать выражения поприличнее, – потому, государь, что они, правда, люди худые, а всё же лучше твоих кремешников!

Эта неожиданная и невольная смелость Серебряного озадачила Иоанна. Он вспомнил, что уже не в первый раз Никита Романович говорит с ним так откровенно и прямо. Между тем он, осужденный на смерть, сам добровольно вернулся в Слободу и отдавался на царский произвол. В строптивости нельзя было обвинить его, и царь колебался, как принять эту дерзкую выходку, как новое лицо привлекло его внимание.

В толпу разбойников незаметно втерся посторонний человек лет шестидесяти, опрятно одетый, и старался, не показываясь царю, привлечь внимание Серебряного. Уже несколько раз он из-за переднего ряда протягивал украдкою руку и силился поймать кня-

зя за полу, но, не достав его, опять прятался за разбойников.

– Это что за крыса? – спросил царь, указывая на незнакомца.

Но тот уже успел скрыться в толпе.

– Раздвиньтесь, люди! – сказал Иоанн, – достать мне этого молодца, что там сзади хоронится!

Несколько опричников бросились в толпу и вытащили виновного.

– Что ты за человек? – спросил Иоанн, глядя на него подозрительно.

– Это мой стремянный, государь! – поспешил сказать Серебряный, узнав своего старого Михеича, – он не видал меня с тех пор...

– Так, так, батюшка-государь! – подтвердил Михеич, заикаясь от страха и радости, – его княжеская милость правду изволит говорить!.. Не виделись мы с того дня, как схватили его милость! Дозволь же, батюшка-царь, на боярина моего посмотреть! Господи-светы, Никита Романыч! Я уже думал, не придется мне увидеть тебя!

– Что же ты хотел сказать ему? – спросил царь, продолжая недоверчиво глядеть на Ми-

хеича, – зачем ты за станичниками хоронился?

– Поопасывался, батюшка-государь Иван Васильич, опричников твоих поопасывался! Это ведь, сам знаешь, это ведь, государь, всё такой народ...

И Михеич закусил язык.

– Какой народ? – спросил Иоанн, стараясь придать чертам своим милостивое выражение. – Говори, старик, без зазора, какой народ мои опричники? Михеич поглядел на царя и успокоился.

– Да такого мы до литовского похода отродясь не видывали, батюшка! – проговорил он вдруг, ободренный милостивым выражением царского лица, – не в укор им сказать, ненадежный народ, тетка их подкурятина!

Царь пристально посмотрел на Михеича, дивясь, что слуга равняется откровенностью своему господину.

– Ну что ты на него глаза таращишь? – сказала мамка. – Съесть его, что ли, хочешь? Разве он не правду говорит? Разве видывали прежде на Руси кроmeshников?

Михеич, нашед себе подмогу, обрадовался.

– Так, бабуся, так! – сказал он. – От них-то все зло и пошло на Руси! Они-то и боярина оговорили! Не верь им, государь, не верь им! Песьи у них морды на сбруе, песий и брех на языке! Господин мой верно служил тебе, а это Вяземский с Хомяком наговорили на него. Вот и бабуся правду сказала, что таких сыроядцов и не видано на Руси!

И, озираясь на окружающих его опричников, Михеич придвинулся поближе к Серебряному. Хоть вы-де и волки, а теперь не съедите!

Когда царь вышел на крыльцо, он уже решил простить разбойников. Ему хотелось только продержат их некоторое время в недоумении. Замечания мамки пришлись некстати и чуть было не раздражили Иоанна, но, к счастью, на него нашла милостивая полоса, и вместо того, чтоб предаться гневу, он вздумал посмеяться над Онуфревной и уронить ее значение в глазах царедворцев, а вместе и подшутить над стремянным Серебряного.

– Так тебе не любя опричнина? – спросил он Михеича с видом добродушия.

– Да кому ж она любя, батюшка-государь? С того часу, как вернулись мы из Литвы, всё от нее пошли сыпаться беды на боярина моего. Не будь этих, прости господи, живодеров, мой господин был бы по-прежнему в чести у твоей царской милости.

И Михеич опять опасливо посмотрел на царских телохранителей, но тот же час подумал про себя: «Эх, тетка их подкурятина! Уж погублю свою голову, а очищу перед царем господина моего!»

– Добрый у тебя стремянный! – сказал царь Серебряному. – Пусть бы и мои слуги так ко мне мыслили! А давно он у тебя?

– Да я, батюшка Иван Васильевич, – подхватил Михеич, совершенно ободренный царскою похвалою, – я князю с самого с его сыздетства служу. И батюшке его покойному служил я, и отец мой деду его служил, и дети мои, кабы были у меня, его бы детям служили!

– А нет у тебя разве детушек, старичок? – спросил Иоанн еще милостивее.

– Было двое сыновей, батюшка, да обоих господь прибрал. Оба на твоём государском

деле под Полоцком полегли, когда мы с Никитой Романычем да с князем Пронским Полоцк выручали. Старшему сыну, Василью, вражий лях, налетев, саблей голову раскроил, а меньшему-то, Степану, из пищали грудь прострелили, сквозь самый наплечник, вот настолько повыше левого соска!

И Михеич пальцем показал на груди своей место, где в Степана попала пуля.

– Вишь! – проговорил Иоанн, покачивая головой и как будто принимая большое участие в сыновьях Михеича. – Ну, что ж делать, старичок, этих бог прибрал, других наживешь!

– Да откуда нажить-то их, батюшка? Хозяйка-то у меня померла, а из рукава-то новых детей не вытрусить!

– Что ж, – сказал царь, как бы желая утешить стремянного, – еще, даст бог, другую хозяйку найдешь!

Михеич ощущал немалое удовольствие в разговоре с царем.

– Да этого добра как не найти, – ответил он, ухмыляясь, – только не охоч я до баб, батюшка-государь, да уж и стар становлюсь таким делом заниматься!

– Баба бабе рознь! – заметил Иоанн и, схватив Онуфреву за душегрейку, – вот тебе хозяйка! – сказал он и выдвинул мамку вперед. – Возьми ее, старина, живи с ней в любви и в совете, да детей приживай!

Опричники, поняв царскую шутку, громко захохотали, а Михеич, в изумлении, посмотрел на царя, не смеется ли и он, но на лице Иоанна не было улыбки.

Безжизненные глаза мамки вспыхнули.

– Срамник ты! – закричала она на Иоанна, – безбожник! Я тебе дам ругаться надо мной! Срамник ты, тьфу! Еретик бессовестный!

Старуха застучала клюкою о крыльцо, и губы ее еще сердитее зажевали, а нос посинел.

– Полно ломаться, бабушка, – сказал царь, – я тебе доброго мужа сватаю; он будет тебя любить, дарить, уму-разуму научать! А свадьбу мы сегодня же после вечерни сыграем! Ну, какова твоя хозяйка, старичина?

– Умилосердись, батюшка-государь! – проговорил Михеич в совершенном испуге.

– Что ж? Разве она тебе не по сердцу?

– Какое по сердцу, батюшка! – простонал

Михеич, отступая назад.

– Стерпится – слюбится! – сказал Иоанн. – Да дам за ней доброе приданое!

Михеич с ужасом посмотрел на Онуфревну, которую царь все еще держал за душегрейку.

– Батюшка, Иван Васильевич! – воскликнул он вдруг, падая на колени, – вели меня казнить, только не вели такого сраму на себя принимать! Скорей на плаху пойду, чем жеманюсь на ее милости, тетка ее подкурятина!

Иван Васильевич немного помолчал и вдруг разразился громким продолжительным смехом.

– Ну, – сказал он, выпуская наконец Онуфревну, которая поспешила уйти, ругаясь и отплевываясь, – честь приложена, убытку бог избавил! Я хотел вашего счастья, а насильно венчать вас не буду! Служи по-прежнему боярину твоему, старичина, а ты, Никита, подойди сюда. Отпускаю тебе и вторую вину твою. А этих голоштанников в опричнину не впишу; мои молодцы, пожалуй, обидятся. Пусть идут к Жиздре, в сторожевой полк. Коли охочи они на татар, будет им с кем переве-

даться. Ты же, – продолжал он особенно милостивым голосом, без примеси своей обычной насмешливости и положив руку на плечо Серебряного, – ты оставайся у меня. Я помирю тебя с опричниной. Когда узнаешь нас покороче, перестанешь дичиться. Хорошо бить татар, но мои враги не одни татары; есть и хуже их. Этих-то научись грызть зубами и метлой выметать!

И царь потрепал Серебряного по плечу.

– Никита, – прибавил он благоволительно и оставляя свою руку на плече князя, – у тебя сердце правдивое, язык твой не знает лукавства; таких-то слуг мне и надо. Впишись в опричнину; я дам тебе место выбылого Вяземского! Тебе я верю, ты меня не продашь.

Все опричники с завистью посмотрели на Серебряного; они уже видели в нем новое возникающее светило, и стоявшие подале от Иоанна уже стали шептаться между собою и выказывать свое неудовольствие, что царь, без внимания к их заслугам, ставит им на голову опального пришельца, столбового боярина, древнего княжеского рода.

Но сердце Серебряного сжалось от слов

Иоанновых.

– Государь, – сказал он, сделав усилие над собою, – благодарствую тебе за твою милость; но дозвожь уж лучше и мне к сторожевому полку примкнуться. Здесь мне делать нечего, я к слободскому обычаю не привычен, а там я буду служить твоей милости, доколе сил хватит!

– Вот как! – сказал Иоанн и снял руку с плеча Серебряного, – это значит, мы не угодны его княжеской милости! Должно быть, с ворами оставаться честнее, чем быть моим оруженничим! Ну что ж, – продолжал он насмешливо, – я никому в дружбу не набиваюсь и никого насильно не держу. Свыклись вместе, так и служите вместе! Доброго пути, разбойничий воевода!

И, взглянув презрительно на Серебряного, царь повернулся к нему спиной и вошел во дворец.

ГЛАВА 38. Выезд из Слободы

Годунов предложил Серебряному остаться у него в доме до выступления в поход. Этот раз предложение было сделано от души, ибо Борис Федорович, наблюдавший за каждым словом и за каждым движением царя, заключил, что грозы более не будет и что Иоанн ограничится одною холодностью к Никите Романовичу.

Исполняя обещание, данное Максиму, Серебряный прямо с царского двора отправился к матери своего названного брата и отдал ей крест Максимов. Малюты не было дома. Старушка уже знала о смерти сына и приняла Серебряного как родного; но, когда он, окончив свое поручение, простился с нею, она не посмела его удерживать, боясь возвращения мужа, и только проводила до крыльца с благословениями.

Вечером, когда Годунов оставил Серебряного в опочивальне и удалился, пожелав ему спокойного сна, Михеич дал полную волю своей радости.

– Ну, боярин, – сказал он, – выпал же мне

наконец красный денек после долгого горя! Ведь с той поры, как схватили тебя, Никита Романыч, я словно света божьего не вижу! То и дело по Москве да по Слободе слоняюсь, не проведу ль чего про тебя? Как услышал сегодня, что ты с станичниками вернулся, так со всех ног и пустился на царский двор; ан царь-то уж на крыльце! Я давай меж станичников до тебя пробираться, да и не вытерпел, стал ловить тебя за полу, а царь-то меня и увидел. Ну, набрался же я страху! Ввек не забуду! Два молебна завтра отслужу, один за твое здоровье, а другой – что соблюл меня господь от этой ведьмы, не дал надо мною такому скверному делу совершиться!

И Михеич начал рассказывать все, что с ним было после разорения морозовского дома, и как он, известив Перстня и вернувшись на мельницу, нашел там Елену Дмитриевну и взялся проводить ее до мужниной вотчины, куда слуги Морозова увезли его во время пожара.

Серебряный нетерпеливо слушал многократные отступления Михеича.

– Ведь я, Никита Романыч, – говорил ста-

рик, – ведь я не слеп; хоть и молчу, а все вижу. Признаться, батюшка, не нравилось мне крепко, когда ты к Дружине Андреичу-то ездил, не выйдет добра из этого, думал я, да и совестно, правду сказать, за тебя было, когда ты с ним за одним столом сидел, из одного ковша пил. Ты меня, батюшка, понимаешь. Хоть ты, положим, и не виноват в этом; кто его знает, как оно к человеку приходит! Да против него-то грешно было. Ну, а теперь, конечно, дело другое; теперь ей некому ответа держать, царствие ему небесное! Да и молода она, голубушка, вдовой оставаться!

– Не кори меня, Михеич, – сказал Серебряный с неудовольствием, – а скажи, где она теперь и что ты про нее знаешь?

– Позволь, батюшка, погоди; дай мне все по порядку тебе доложить. Вот, изволишь ли видеть, как я от станичников-то на мельницу вернулся, мельник-то мне и говорит: залетела, говорит, жар-птица ко мне; отвези се, говорит, к царю Далмату! Я сначала не понял, что за птица и что за Далмат такой; только уже после, когда показал он мне боярыню-то, тогда уж смекнул, что он про нее говорил. Вот

и поехали мы с нею в вотчину Дружины Андреича. Сначала она ничего, молчит себе и очей не подымает; потом стала потихоньку про мужа спрашивать; а потом, батюшка, туда, сюда, да и про тебя спросила, только, вишь, не прямо, а так, как бы нехотя, отворотимшись. Известно, женское дело. Я ей все рассказал, что было мне ведомо, а она, сердечная, еще кручиннее прежнего стала, повесила головушку, да уже во всю дорогу ничего и не говорит. Вот как стали подъезжать к вотчине, поприщ этак будет за десять, она, вижу, зачинает беспокоиться. «Что ты, говорю, сударыня, беспокоиться изволишь?» Она, батюшка, в слезы. Я ее утешать. «Не кручинься, говорю, боярыня, Дружина Андреич здравствует!» А она, при имени Дружины-то Андреича, давай еще горше плакать. Я этак посмотрел на нее, да уж не знаю, что и говорить ей. «И князь Никита Романыч, говорю, хоча и в тюрьме, а должно быть, также здравствует!» Уж не знал, батюшка, что и сказать ей, чувствую, что не то говорю, а все же что-нибудь сказать надо. Только как назвал я тебя, батюшка, так она вдруг и останови коня. «Нет, говорит, дя-

ддюшка, не могу ехать в вотчину!» – «Что ты, боярыня, куда ж тебе ехать?» – «Дядюшка, говорит, видишь, золоченые кресты из-за лесу виднеются?» – «Вижу, сударыня». – «То, говорит, девичий монастырь; я узнаю те кресты, проводи меня туда, дядюшка!» Я было отговариваться, только она стоит на своем: проводи да проводи! – «Я, говорит, там с недельку обожду, богу помолюсь, а потом повещу Дружине Андреичу; он пришлет за мной!» Нечего было делать, проводил ее, батюшка; там и оставил на руках у игуменьи.

– Сколько будет до того монастыря? – спросил Серебряный.

– От мельницы было поприщ сорок, батюшка; от Москвы, пожалуй, будет подале. Да оно нам, почитай, по дороге приходится, коли мы на Жиздру походом.

– Михеич! – сказал Серебряный, – сослужи мне службу. Я прежде утра выступить не властен; надо моим людям царю крест целовать. Но ты сею же ночью поезжай одвуконь, не жалея ни себя, ни коней; попросись к боярыне, расскажи ей все; упроси ее, чтобы приняла меня, чтобы ни на что не решалась, не по-

видавшись со мною!

– Слушаю, батюшка, слушаю, да ты уж не опасаясь ли, чтоб она постриглась? Этого не будет, батюшка. Пройдет годок, поплачет она, конечно; без этого нельзя; как по Дружине Андреиче не поплакать, царствие ему небесное! А там, посмотри, и свадьбу сыграем. Не век же нам, батюшка, горе отбывать!

Михеич в эту же ночь отправился в монастырь, а Серебряный, лишь только занялась заря, пошел проститься с Годуновым.

Борис Федорович уже вернулся от заутрени, которую, по обычаю своему, слушал вместе с царем.

– Что ты так рано поднялся, князь? – спросил он Никиту Романовича. – Это хорошо нам, слободским, а ты мог бы и поотдохнуть после вчерашнего дня. Или тебе беспокойно у меня было?

Но тонкий взгляд Годунова показывал, что он знал причину бессонницы князя.

Приветливость Бориса Федоровича, его неподдельное участие к Серебряному, услуги, им столько раз оказанные, а главное, его совершенное несходство с другими царедворца-

ми привлекали к нему сильно Никиту Романовича. Он открылся ему в любви своей к Елене.

– Все это мне давно уже ведомо! – сказал, улыбаясь, Годунов. – Я догадался об этом еще в первый твой приезд в Слободу из того, как ты смотрел на Вяземского. А когда я нарочно завел с тобою речь о Морозове, ты говорил о нем неохотно, несмотря что был с ним в дружбе. Ты, князь, ничего не умеешь хоронить в себе. О чем ты ни подумаешь, все у тебя на лице так и напишется. Да и говоришь-то ты уж чересчур правдиво, Никита Романыч, позволь тебе сказать. Я за тебя вчера испугался, да и подосадовал-таки на тебя, когда ты напрямик отвечал царю, что не хочешь вписаться в опричнину.

– А что же мне было отвечать ему, Борис Федорыч?

– Тебе было поблагодарить царя и принять его милость.

– Да ты шутишь, Борис Федорыч, али вправду говоришь? Как же мне за это благодарить царя? Да ты сам разве вписан в опричнину?

– Я дело другое, князь. Я знаю, что делаю. Я царю не перечу; он меня сам не захочет вписать; так уж я поставил себя. А ты, когда поступил бы на место Вяземского да сделался бы оружничим царским, то был бы в приближении у Ивана Васильевича, ты бы этим всей земле послужил. Мы бы с тобой стали идти заодно и опричнину, пожалуй, подсекли бы!

– Нет, Борис Федорыч, не сумел бы я этого. Сам же ты говоришь, что у меня все на лице видно.

– Оттого, что ты не хочешь приневолить себя, князь. Вот кабы ты решился перемочь свою прямоту да хотя бы для виду вступил в опричнину, чего мы бы с тобой не сделали! А то, посмотри на меня; я один бьюсь, как щука об лед; всякого должен опасаться, всякое слово обдумывать; иногда просто голова кругом идет! А было бы нас двое около царя, и силы бы удвоились. Таких людей, как ты, немного, князь. Скажу тебе прямо: я с нашей первой встречи рассчитывал на тебя!

– Не гожусь я на это дело, Борис Федорыч. Сколько раз я ни пытался подладиться под чужой обычай, ничего не выходит. Вот ты, дай

бог тебе здоровья, ты на этом собаку съел. Правду сказать, сначала мне не по сердцу было, что ты иной раз думаешь одно, а говоришь другое; но теперь я вижу, куда ты гнешь, и понимаю, что по-твоему делать лучше. А я б и хотел, да не умею; не сподобил меня бог такому искусству. Впрочем, что теперь и говорить об этом? Сам знаешь, царь меня, по моему же упросу, в сторожевой полк посылает.

— Это ничего, князь. Ты опять татар побьешь, царь опять тебя пред свои очи пожалует. Оружничим тебе, конечно, уже не бывать, но если попросишься в опричнину, тебя впишут. А хотя бы и не случилось тебе татар побить, все же ты приедешь на Москву, когда Елене Дмитриевне вдовий срок минет. Того не опасайся, чтоб она постриглась; этого не будет, Никита Романыч; я лучше тебя человеческое сердце знаю; не по любви она за Морозова вышла, незачем ей и постригаться теперь. Дай только остыть крови и высохнуть слезам; я же буду, коли хочешь, твоим дружкой.

— Спасибо тебе, Борис Федорыч, спасибо.

Мне даже совестно, что ты уже столько сделал для меня, а я ничем тебе отплатить не могу. Кабы пришлось за тебя в пытку идти или в бою живот положить, я бы не задумался. А в опричнину меня не зови, и около царя быть мне также не можно. Для этого надо или совсем от совести отказаться, или твое уменье иметь. А я бы только даром душой кривил. Каждому, Борис Федорыч, господь свое указал: у сокола свой лет, у лебедя свой; лишь бы в каждом правда была.

– Так ты меня уж боле не винишь, князь, что и не прямою, а окольною дорогой иду?

– Грех было бы мне винить тебя, Борис Федорыч. Не говорю уже о себе; а сколько ты другим добра сделал! И моим ребятам без тебя, пожалуй, плохо пришлось бы. Недаром и любят тебя в народе. Все на тебя надежду полагают; вся земля начинает смотреть на тебя!

Легкий румянец пробежал по смуглому лицу Годунова, и в очах его блеснуло удовольствие. Примирить с своим образом действий такого человека, как Серебряный, было для него немалым торжеством и служило ему мериллом его обаятельной силы.

– В мою очередь, спасибо тебе, князь, – сказал он. – Об одном прошу тебя: коли ты не хочешь помогать мне, то, по крайней мере, когда услышишь, что про меня говорят худо, не верь тем слухам и скажи клеветникам моим все, что про меня знаешь!

– Уж об этом не заботься, Борис Федорыч! Я никому не дам про тебя и помыслить худо, не только что говорить. Мои станичники и теперь уже молятся о твоем здравии, а если вернутся на родину, то и всем своим ближним закажут. Дай только бог уцелеть тебе!

– Господь хранит ходящих в незлобии! – сказал Годунов, скромно опуская глаза. – А впрочем, всё в его святой воле! Прости же, князь; до скорого свидания; не забудь, что ты обещал позвать меня на свадьбу.

Они дружески обнялись, и у Никиты Романовича повеселело на сердце. Он привык к мысли, что Годунов нелегко ошибается в своих предположениях, и недавние опасения его насчет Елены рассеялись.

Вскоре он выехал в главе своего пешего отряда; но еще прежде, чем они оставили Слободу, случилось одно обстоятельство, которое,

по тогдашним понятиям, принадлежало к недобрым предзнаменованиям.

Близ одной церкви отряд был остановлен столплением нищих, которые теснились у паперти во всю ширину улицы и, казалось, ожидали богатой милостыни от какого-нибудь знатного лица, находившегося в церкви.

Подвигаясь медленно вперед, чтобы дать время толпе раздвинуться, Серебряный услышал панихидное пение и спросил, по ком идет служба? Ему отвечали, что то Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский справляет поминки по сыне Максиме Григорьевиче, убитом татарами. В то же время послышался громкий крик, и из церкви вынесли старушку, лишенную чувств; исхудалое лицо ее было облито слезами, а седые волосы падали в беспорядке из-под бархатной шапочки. То была мать Максима. Малюта, в смирной одежде, показался на крыльце, и глаза его встретились с глазами Серебряного; но в чертах Малюты не было на этот раз обычного зверства, а только какая-то тупая одурелость, без всякого выражения. Приказав положить старушку на паперти, он воротился в церковь дослуши-

вать панихиду, а станичники с Серебряным, снявши шапки и крестясь, прошли мимо церковных врат, и слышно им было, как в церкви торжественно и протяжно раздавалось: «Со святыми упокой!»

Это печальное пение и мысль о Максиме тяжело подействовали на Серебряного, но ему вспомнились успокоительные слова Годунова и скоро изгладили грустное впечатление панихиды. На изгибе дороги, входящей в темный лес, он оглянулся на Александрову слободу, и когда скрылись от него золоченые главы дворца Иоаннова, он почувствовал облегчение, как будто тяжесть свалилась с его сердца.

Утро было свежее, солнечное. Бывшие разбойники, хорошо одетые и вооруженные, шли дружным шагом за Серебряным и за всадниками, его сопровождавшими. Зеленый мрак охватывал их со всех сторон. Конь Серебряного, полный нетерпеливой отваги, срывал мимоходом листья с нависших ветвей, а Буян, не оставлявший князя после смерти Максима, бежал впереди, подымал иногда, нюхая ветер, косматую морду или на-

гибал ее на сторону и чутко навастривал ухо, если какой-нибудь отдаленный шум раздавался в лесу.

ГЛАВА 39. Последнее свидание

Несколько дней шел Серебряный с своим отрядом. На одном ночлеге, откуда был поворот к девичьему монастырю, он оставил людей своих и поехал один навстречу Михеичу, обещавшему привезти ему ответ от боярыни.

Всю ночь он ехал безостановочно. На заре, приближаясь к одному перекрестку, увидел он догорающий костер и сидящего близ него Михеича. Обе его лошади паслись неподалеку, оседланные.

Услышав конский топ, Михеич вскочил на ноги.

– Батюшка, князь Никита Романыч! – вскричал он, узнавая князя, – не ездь дале, батюшка! Вернись назад, нечего там тебе делать!

– Что случилось? – спросил Серебряный, и сердце его замерло.

– Все кончено, батюшка! Не судил нам гос-

подъ счастья!

Серебряный спрянул на землю.

– Говори! – сказал он, – что случилось с боярыней?

Старик молчал.

– Что случилось с Еленой Дмитриевной? – повторил в испуге Серебряный.

– Нет боле Елены Дмитриевны, батюшка! – сказал мрачно Михеич. – Есть только сестра Евдокия!

Серебряный зашатался и прислонился к дереву. Михеич смотрел на него горестно.

– Что ж делать, Никита Романыч! Видно, на то была божья воля. Не в счастливый мы, видно, век родились!

– Рассказывай все! – сказал Серебряный, оправившись. – Не жалей меня. Когда постриглась боярыня?

– Когда узнала о казни Дружины Андреича, батюшка; когда получили в монастыре синодик от царя, с именами всех казненных и с указом молиться за их упокой; накануне того самого дня, как я к ней приехал.

– Видел ты ее?

– Видел, батюшка.

Серебряный хотел что-то сказать и не мог.

– На самый краткий миг видел, – прибавил Михеич, – не хотела она меня допустить сперва.

– Что она велела сказать мне? – проговорил с трудом Серебряный.

– Чтобы ты за нее молился, батюшка.

– И боле ничего?

– Ничего, батюшка.

– Михеич, – произнес князь после краткого молчания, – проводи меня в монастырь; я хочу проститься с ней...

Старик покачал головой.

– Зачем тебе к ней, батюшка? Не смущай ее боле; она теперь все равно, что святая. Вернемся лучше к отряду и пойдем прямо к Жиздре!

– Не могу! – сказал Серебряный.

Михеич опять покачал головою и подвел к нему одного из своих коней.

– Садись же на этого, – сказал он, вздыхая, – твой больно заморился!

Они молча поехали к монастырю.

Дорога шла все время лесом. Вскоре послышалось журчанье воды, и ручей, пробирав-

шийся меж камышами, сверкнул сквозь густую зелень.

– Узнаешь ты это место, князь? – спросил грустно Михеич.

Серебряный поднял голову и увидел свежее пожарище. Кой-где земля была недавно изрыта, а остатки строения и сломанное водяное колесо показывали, что тут была мельница.

– Это когда они колдуна схватили, – заметил Михеич, – то и жилье его разорили; думали тут клад найти, тетка их подкурятина!

Серебряный бросил рассеянный взгляд на пожарище, и они молча поехали далее.

Через несколько часов лес начал редеть. Меж деревьями забелела каменная ограда, и на расчищенной поляне показался монастырь. Он не стоял, подобно иным обителям, на возвышенном месте. Из узких решетчатых окон не видно было обширных монастырских угодий, и взор везде упирался лишь в голые стволы и мрачную зелень сосен, опоясывавших тесным кругом ограду. Окрестность была глуха и печальна; монастырь, казалось, принадлежал к числу бедных.

Всадники сошли с коней и постучались в калитку.

Прошло несколько минут; послышалось бряцание ключей.

– Слава господу Иисусу Христу! – сказал тихо Михеич.

– Во веки веков, аминь! – отвечала сестра-вратница, отворяя калитку.

– Кого вам надобно, государи?

– Сестру Евдокию, – произнес вполголоса Михеич, боясь этим названием растравить душевную рану своего господина. – Ты меня знаешь, матушка; я недавно был здесь.

– Нет, государь, не знаю; я только сегодня ко воротам приставлена, а до меня была сестра Агния...

И монахиня посмотрела опасливо на приезжих.

– Нужды нет, матушка, – продолжал Михеич, – пусти нас. Доложи игуменье, что князь Никита Романыч Серебряный приехал.

Вратница окинула боязливым взглядом Серебряного, отступила назад и захлопнула за собою калитку.

Слышно было, как она поспешно удаля-

лась, приговаривая: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас!

«Что бы это значило? – подумал стряпанный, – зачем она боится моего боярина?»

Он посмотрел на князя и понял, что его пыльные доспехи, одежда, изорванная колючим кустарником, и встревоженное выражение лица испугали вратницу. В самом деле черты Никиты Романовича так изменились, что сам Михеич не узнал бы его, если бы не приехал с ним вместе.

Через несколько времени послышались опять шаги вратницы.

– Не взыщите, государи, – сказал она неверным языком сквозь калитку, – теперь игуменье нельзя принять вас; приходите лучше завтра, после заутрени!

– Я не могу ждать! – вскричал Серебряный, и, ударив ногою в калитку, он вышиб запоры и вошел в ограду.

Перед ним стояла игуменья, почти столь же бледная, как и он сам.

– Во имя Христа-спасителя, – сказала она дрожащим голосом, – остановитесь! Я знаю, зачем ты пришел... но господь карает душе-

губство, и безвинная кровь падет на главу твою!

– Честная мать! – отвечал Серебряный, не понимая ее испуга, но слишком встревоженный, чтобы удивляться, – честная мать,пусти меня к сестре Евдокии! Дай на один миг увидеть ее! Дай мне только проститься с ней!

– Проститься? – повторила игуменья, – ты в самом деле хочешь только проститься?

– Дай мне с ней проститься, честная мать, и я все мое имущество на твой монастырь отдам!

Игуменья взглянула на него недоверчиво.

– Ты вломился насильно, – сказала она, – ты называешься князем, а бог весть кто ты таков, бог весть зачем приехал... Знаю, что теперь ездят опричники по святым монастырям и предают смерти жен и дочерей тех праведников, которых недавно на Москве казнили!.. Сестра Евдокия была женою казненного боярина...

– Я не опричник! – вскричал Серебряный, – я сам отдал бы всю кровь мою за боярина Морозова! Пустименя к боярыне, честная мать,пусти меня к ней!

Должно быть, правда и искренность написались на чертах Серебряного. Игуменья успокоилась и посмотрела на него с участием.

– Погрешила же я перед тобою! – сказала она. – Но, слава Христу и пречистой его матери, вижу теперь, что ошиблась. Слава же Христу, пресущественной троице и всем святым угодникам, что ты не опричник! Напугала меня вратница; я уже думала, как бы только время выиграть, сестру Евдокию схоронить! Трудные у нас годы настали, государь! И в божьих обителях опальным укрыться нельзя. Слава же господу, что я ошиблась! Если ты друг или родственник Морозовых, я поведу тебя к Евдокии. Ступай за мною, боярин, сюда, мимо усыпальницы; ее келья в самом саду.

Игуменья повела князя через сад к одинокой келье, густо обсаженной шиповником и жимолостью. Там, на скамье, перед входом, сидела Елена в черной одежде и в покрывале. Косые лучи заходящего солнца ударяли на нее сквозь густые клены и позлащали над нею их увядающие ветви. Лето приходило к концу; последние цветы шиповника облета-

ли; черная одежда инокини была усеяна их алыми лепестками. Грустно следила Елена за медленным и однообразным падением желтых кленовых листьев, и только шорох приближающихся шагов прервал ее размышления. Она подняла голову, узнала игуменью и встала, чтоб идти к ней навстречу, но, увидев внезапно Серебряного, вскрикнула, схватилась за сердце и в изнеможении опустилась на скамью.

– Не пугайся, дитячко! – сказала ей ласково игуменья, – это знакомый тебе боярин, друг твоего покойного мужа, приехал нарочно проститься с тобой!

Елена не могла отвечать. Она только дрожала и, будто в испуге, смотрела на князя. Долго оба молчали.

– Вот, – проговорил наконец Серебряный, – вот как нам пришлось свидеться!

– Нам нельзя было свидеться иначе!.. – сказала едва внятно Елена.

– Зачем не подождала ты меня, Елена Дмитриевна? – сказал Серебряный.

– Если б я подождала тебя, – прошептала она, – у меня не достало бы силы... ты не пу-

стил бы меня... довольно и так греха на мне, Никита Романыч...

Настало опять молчание.

Сердце Серебряного сильно билось.

– Елена Дмитриевна! – сказал он прерывающимся от волнения голосом, – я навсегда прощаюсь с тобой, навсегда, Елена Дмитриевна... Дай же мне в последний раз взглянуть на тебя... дай на твои очи в последний раз посмотреть... откинь свое покрывало, Елена!

Елена исхудалою рукой подняла черную ткань, закрывавшую верхнюю часть ее лица, и князь увидел ее тихие глаза, красные от слез, и встретил знакомый кроткий взор, отуманенный бессонными ночами и душевным страданием.

– Прости, Елена! – вскричал он, падая ниц и кланяясь ей в ноги, – прости навсегда! Дай господь забыть мне, что могли мы быть счастливы!

– Нет, Никита Романыч, – сказала грустно Елена, – счастья нам не было написано. Кровь Дружины Андреича была бы между счастьем и нами. За меня он пошел под опалу, я же погрешила против него, я виновница его смер-

ти! Нет, Никита Романых, мы не могли быть счастливы. Да и кто теперь счастлив?

– Да, – повторил Серебряный, – кто теперь счастлив! Не милостив господь ко святой Руси; а все же не думал я, что нам заживо придется разлучиться навеки!

– Не навеки, Никита Романых, – улыбнулась грустно Елена, – а только здесь, в этой жизни. Так должно было быть. Не личила бы нам одним радость, когда вся земля терпит горе и скорбь великую!

– Зачем, – сказал с мрачным видом Серебряный, – зачем не сложил я голову на татарскую саблю! Зачем не казнил меня царь, когда я ему повинную принес! Что мне теперь осталось на свете?

– Неси крест свой, Никита Романых, как я мой крест несу. Твоя доля легче моей. Ты можешь отстаивать родину, а мне остается только молиться за тебя и оплакивать грех мой!

– Какая родина! Где наша родина! – вскричал Серебряный. – От кого нам ее отстаивать? Не татары, а царь губит родину! Мысли мои помешались, Елена Дмитриевна... Ты одна еще поддерживала мой разум; теперь все пе-

редо мной потемнело; не вижу боле, где ложь, где правда. Все доброе гибнет, все злое одолевает! Часто, Елена Дмитриевна, приходил мне Курбский на память, и я гнал от себя эти грешные мысли, пока еще была цель для моей жизни, пока была во мне сила; но нет у меня боле цели, а сила дошла до конца... рассудок мой путается... – Просвети тебя боже, Никита Романыч! Ужели оттого, что твое счастье погибло, ты сделаешься врагом государевым, пойдешь наперекор всей земле, которая держит пред ним поклонную голову? Вспомни, что бог посылает нам испытание, чтобы могли мы свидетелься на том свете! Вспомни всю жизнь свою и не солги против самого себя, Никита Романыч!

Серебряный опустил голову. Вскипевшее в нем негодование уступило место строгим понятиям долга, в которых он был воспитан и которые доселе свято хранил в своем сердце, хотя и не всегда был в силах им покоряться.

– Неси крест свой, Никита Романыч! – повторила Елена. – Иди, куда посылает тебя царь. Ты отказался вступить в опричнину, и совесть твоя чиста. Иди же на врагов земли

Русской; а я не перестану молиться за нас обоих до последнего моего часа!

– Прости же, Елена, прости, сестра моя! – воскликнул Серебряный, бросаясь к ней.

Она встретила спокойным взглядом его сокрушенный взгляд, обняла его, как брата, и поцеловала три раза, без страха и замешательства, ибо в этом прощальном лобзании уже не было того чувства, которое за два месяца, у ограды морозовского сада, кинуло ее в объятия князя невольно и бессознательно.

– Прости! – повторила она и, опустив покрывало, поспешно удалилась в свою келью.

Стали звонить к вечерне. Серебряный долго глядел вслед Елене. Он не слышал, что говорила ему игуменья, не почувствовал, как она взяла его за руку и проводила к ограде. Молча сел он на коня; молча поехал с Михеичем обратным путем по сосновому лесу. Звон монастырского колокола вызвал его наконец из оцепенения. Он только теперь понял всю тяжесть своего несчастья. Сердце его разрывалось от этого звона, но он стал прислушиваться к нему с любовью, как будто в нем звучало последнее прощание Елены, и когда

мерные удары, сливаясь в дальний гул, замерли наконец в вечернем воздухе, ему показалось, что все родное оторвалось от его жизни и со всех сторон охватило его холодное, безнадежное одиночество...

На другой день отряд Никиты Романовича продолжал свой путь, углубляясь все далее в темные леса, которые, с небольшими прогулами, соединялись с Брянским дремучим лесом. Князь ехал впереди отряда, а Михеич следовал за ним издали, не смея прерывать его молчание.

Ехал Серебряный, понуря голову, и среди его мрачных дум, среди самой безнадежности светило ему, как дальняя заря, одно утешительное чувство. То было сознание, что он в жизни исполнил долг свой, насколько позволило ему умение, что он шел прямою дорогой и ни разу не уклонился от нее умышленно. Драгоценное чувство, которое, среди скорби и бед, как неотъемлемое сокровище, живет в сердце честного человека и пред которым все блага мира, все, что составляет цель людских стремлений, – есть прах и ничто!

Одно это сознание давало Серебряному

возможность переносить жизнь, и он, проходя все обстоятельства своего прощания с Еленой, повторяя себе каждое ее слово, находил грустную отраду в мысли, что в самом деле было бы совестно радоваться в теперешнее время и что он не отчуждает себя от братьев, но несет вместе с ними свою долю общего бедствия.

Слова Годунова также пришли ему на память, и он горько усмехнулся, вспомнив, с какою уверенностью Годунов говорил о своем знании человеческого сердца. «Видно, – подумал он, – не все умеет угадывать Борис Федорыч! Государственное дело и сердце Ивана Васильевича ему ведомы; он знает наперед, что скажет Малюта, что сделает тот или другой опричник; но как чувствуют те, которые не ищут своих выгод, это для него потемки!»

И невольно вспомнил Серебряный о Максиме и подумал, что не так посудил бы названный брат его. Он не сказал бы ему: «Она не по любви вышла за Морозова, она будет ждать тебя!» Он сказал бы: «Спеши, брат мой! Не теряй ни мгновения; замори коня и останови ее, пока еще время!»

И при мысли о Максиме одиночество Никиты Романовича представилось ему еще безотраднее, ибо он ведал, что никто уже не сойдется с ним так близко, никто не пополнит своею душою его души, не поможет ему выяснить себе многое, что в честном сердце своем он признавал смутно, но чего, в тревоге событий, он не успел облечь в ясные очертания...

И будет его жизнь идти своим чередом, не спрашивая, укладываются или нет его лучшие стремления в ее тяжелые требования, и долго, может быть, она будет плести свой пестрый узор, где каждая подробность, взятая отдельно, не имеет понятного смысла, но где все явления держатся меж собою неразрывною цепью, истекая одно из другого со строгою последовательностью.

Понурил Серебряный голову, и бросил поводья, и ехал шагом в глухом бору, столь же мрачном, как и его думы. Мерные шаги разбойников прерывали тишину пустыни. Дикая жителя ее, белки и верхолазы, не привыкшие в этом безлюдном месте бояться человека, не прятались при виде ратников, а только взбирались на верхние сучья и любо-

пытно глядели оттуда на проходивших. Пестрые дятлы продолжали цепляться за мшистую кору древесных стволов, повертывали свои красные головы на прищельцев и опять принимались стучать в сухое дерево.

Один из ратников, возбужденный торжественностью природы, затянул вполголоса протяжную песню; другие стали ему подтягивать, и вскоре все голоса слились в один хор, который звучными переливами далеко раздавался под дремучим навесом деревьев...

Здесь можно бы кончить эту грустную повесть, но остается сказать, что было с другими лицами, которые, быть может, разделяли с Серебряным участие читателя. О самом Никите Романовиче услышим мы еще раз в конце нашего рассказа; но для этого надобно откинуть семнадцать тяжелых лет и перенестись в Москву в славный год завоевания Сибири.

ГЛАВА 40. Посольство Ермака

Много времени протекло с того дня, как Серебряный выехал из Слободы во главе прощенных станичников. Разные перемены произошли с тех пор на Руси. Но Иоанн по-прежнему то предавался подозрениям и казнил самых лучших, самых знаменитых граждан, то приходил в себя, каялся всенародно и посылал в монастыри богатые вклады и длинные синодики с именами убиенных, приказывая молиться за их упокой. Из прежних его любимцев не уцелело ни одного. Последний и главный из них, Малюта Скуратов, не испытав ни разу опалы, был убит при осаде Пайды, или Вейсенштейна, в Ливонии, и в честь ему Иоанн сжег на костре всех пленных немцев и шведов.

Сотни и тысячи русских, потеряв всякое терпение и надежду на лучшие времена, уходили толпами в Литву и Польшу.

Одно только счастливое событие произошло в течение этих лет: Иоанн постиг всю бесполезность разделения земли на две половины, из которых меньшая терзала большую,

и по внушению Годунова уничтожил ненавистную опричнину. Он возвратился на жительство в Москву, а страшный дворец в Александровой слободе запустел навсегда.

Между тем много бедствий обрушилось на нашу родину. Голод и мор опустошали города и селения. Несколько раз хан вторгнулся в наши пределы, и в один из своих набегов он сжег все посады под Москвою и большую часть самого города. Шведы нападали на нас с севера; Стефан Баторий, избранный сеймом после Жигимонта, возобновил литовскую войну и, несмотря на мужество наших войск, одолел нас своим умением и отнял все наши западные владения.

Царевич Иоанн, хотя разделял с отцом его злодейства, но почувствовал этот раз унижение государства и попросился у царя с войском против Батория. Иоанн увидел в этом замысел свергнуть его с престола, и царевич, спасенный когда-то Серебряным на Поганой Луже, не избежал теперь лютой смерти. В припадке бешенства отец убил его ударом острого посоха. Рассказывают, что Годунов, бросившийся между них, был жестоко изра-

нен царем и сохранил жизнь только благодаря врачебному искусству пермского гостя Строгонова.

После этого убийства Иоанн, в мрачном отчаянье, созвал Думу, объявил, что хочет идти в монастырь, и приказал приступить к выбору другого царя. Снисходя, однако, на усиленные просьбы бояр, он согласился остаться на престоле и ограничился одним покаянием и богатыми вкладами; а вскоре потом снова начались казни. Так, по свидетельству Одерборна, он осудил на смерть две тысячи триста человек за то, что они сдали врагам разные крепости, хотя сам Баторий удивлялся их мужеству.

Теряя свои владения одно за другим, теснимый со всех сторон врагами, видя внутреннее расстройство государства, Иоанн был жестоко поражен в своей гордости, и это мучительное чувство отразилось на его приемах и наружности. Он стал небрежен в одежде, высокий стан его согнулся, очи померкли, нижняя челюсть отвисла, как у старика, и только в присутствии других он делал усилие над собою, гордо выпрямлялся и подозрительно

смотрел на окольных, не замечает ли кто в нем упадка духа. В эти минуты он был еще страшнее, чем во дни своего величия. Никогда еще Москва не находилась под таким давлением уныния и боязни.

В это скорбное время неожиданная весть пришла от крайнего востока, и ободрила все сердца, и обратила общее горе в радость.

От отдаленных берегов Камы прибыли на Москву знатные купцы Строгоновы, родственники того самого гостя, который излечил Годунова. Они имели от царя жалованные грамоты на пустые места земли Пермской и жили на них владетельными князьями, независимо от пермских наместников, с своею управой и с своею дружиной, при единственном условии охранять границы от диких сибирских народов, наших недавних и сомнительных данников. Тревожимые в своих деревянных крепостях ханом Кучумом, они решились двинуться за Каменный Пояс и сами напасть на неприятельскую землю. Для успешнейшего исполнения этого замысла они обратились к нескольким разбойничьим, или, как они себя называли, казачьим атама-

нам, опустошавшим в то время с шайками своими берега Волги и Дона. Главнейшими из них были Ермак Тимофеев и Иван Кольцо, осужденный когда-то на смерть, но спасшийся чудесным образом от царских стрельцов и долгое время пропадавший без вести. Получив от Строгоновых дары и грамоту, которою они призывались на славное и честное дело, Ермак и Кольцо с тремя другими атаманами подняли знамя на Волге, собрали из удалой вольницы дружину и явились на зов Строгоновых. Сорок стругов были тотчас нагружены запасами и оружием, и небольшая дружина под воеводством Ермака, отслушав молебен, поплыла с веселыми песнями вверх по реке Чусовой к диким горам Уральским. Разбивая везде враждебные племена, перетаскивая суда из реки в реку, они добрались до берегов Иртыша, где разбили и взяли в плен главного воеводу сибирского, Маметкула, и овладели городом Сибирью на высоком и крутом обрыве Иртыша. Не довольствуясь этим завоеванием, Ермак пошел далее, покорил весь край до Оби и заставил побежденные народы целовать свою кровавую саблю во имя царя Ивана

Васильевича всея Руси. Тогда только он дал знать о своем успехе Строгоновым и в то же время послал любимого своего атамана Ивана Кольцо к Москве бить челом великому государю и кланяться ему новым царством.

С этою-то радостною вестью Строгоновы приехали к Иоанну, и вскоре после них прибыло Ермаково посольство. Ликованье в городе было неслыханное. Во всех церквах служили молебны, все колокола звонили, как в светлое Христово воскресенье. Царь, обласкав Строгоновых, назначил торжественный прием Ивану Кольцу.

В большой кремлевской палате, окруженный всем блеском царского величия, Иван Васильевич сидел на престоле в Мономаховой шапке, в золотой рясе, украшенной образами и дорогими каменьями. По правую его руку стоял царевич Федор, по левую Борис Годунов. Вокруг престола и дверей размещены были рынды, в белых атласных кафтанах, шитых серебром, с узорными топорами на плечах. Вся палата была наполнена князьями и боярами.

Воспрянув духом после известия, приве-

зенного Строгоновыми, Иоанн смотрел не так уже мрачно, и на устах его даже появлялась улыбка, когда он обращался к Годунову с каким-нибудь замечанием. Но лицо его сильно постарело, морщины сделались глубже, на голове осталось мало волос, а из бороды они вылезли вовсе.

Борис Федорович в последние годы пошел быстро в гору. Он сделался шурином царевича Федора, за которого вышла сестра его Ирина, и имел теперь важный сан конюшего боярина. Рассказывали даже, что царь Иван Васильевич, желая показать, сколь Годунов и невестка близки его сердцу, поднял однажды три перста кверху и сказал, дотрогиваясь до них другою рукой:

«Се Феодор, се Ирина, се Борис; и как руке моей было бы одинаково больно, который из сих перстов от нее бы ни отсекли, так равно тяжело было бы моему сердцу лишиться одного из трех возлюбленных чад моих».

Такая необыкновенная милость не родила в Годунове ни надменности, ни высокомерия. Он был по-прежнему скромн, приветлив к каждому, воздержан в речах, и только осанка

его получила еще более степенности и ту спокойную важность, которая была прилична его высокому положению.

Не без ущерба своему нравственному достоинству достиг, однако, Годунов такого влияния и таких почестей. Не всегда удавалось его гибкому нраву устранять себя от дел, не одобряемых его совестью. Так, он, видя в Малюте слишком сильного соперника и потеряв надежду уронить его в глазах Иоанна, вошел с ним в тесную дружбу и, чтобы связать сильнее их обоюдные выгоды, женился на его дочери. Двадцать лет, проведенных у престола такого царя, как Иоанн Грозный, не могли пройти даром Борису Федоровичу, и в нем уже совершился тот горестный переворот, который, по мнению современников, обратил в преступника человека, одаренного самыми высокими качествами.

Глядя на царевича Феодора, нельзя было удержаться от мысли, что слабы те руки, которым по смерти Иоанна надлежало поддерживать государство. Ни малейшей черты ни умственной, ни душевной силы не являло его добродушное, но безжизненное лицо. Он был

уже два года женат, но выражение его осталось детское. Ростом он был мал, сложением дрябл, лицом бледен и опухловат. Притом он постоянно улыбался и смотрел робко и запуганно. Недаром ходили слухи, что царь, жалая о старшем сыне, говаривал иногда Феодору: «Пономарем бы тебе родиться, Федя, а не царевичем!»

«Но бог милостив, – думали многие, – пусть царевич слаб; благо, что не пошел он ни в ба-тюшку, ни в старшего брата! А помогать ему будет шурин его, Борис Федорович. Этот не попустит упасть государству!»

Шепот, раздавшийся по дворне между придворными, был внезапно прерван звуками труб и звоном колоколов. В палату вошли, предшествуемые шестью стольниками, посланные Ермака, а за ними Максим и Никита Строгоновы с дядею их Семеном. Позади несли дорогие меха, разные странные утвари и множество необыкновенного, еще не виданного оружия.

Иван Кольцо, шедший во главе посольства, был человек лет под пятьдесят, среднего роста, крепкого сложения, с быстрыми, про-

ницательными глазами, с черною, густою, но короткою бородой, подернутою легкою проседью.

– Великий государь! – сказал он, приблизившись к ступеням престола, – казацкий твой атаман Ермак Тимофеев, вместе со всеми твоими опальными волжскими казаками, осужденными твоею царскою милостью на смерть, старались заслужить свои вины и бьют тебе челом новым царством. Прибавь, великий государь, к завоеванным тобою царствам Казанскому и Астраханскому еще и это Сибирское, доколе всевышний благоволит стоять миру!

И, проговорив свою краткую речь, Кольцо вместе с товарищами опустился на колени и преклонил голову до земли.

– Встаньте, добрые слуги мои! – сказал Иоанн. – Кто старое упомянет, тому глаз вон, и быть той прежней опале не в опалу, а в милость. Подойди сюда, Иван!

– И царь протянул к нему руку, а Кольцо поднялся с земли и, чтобы не стать прямо на червленое подножие престола, бросил на него сперва свою баранью шапку, наступил

на нее одною ногою и, низко наклонившись, приложил уста свои к руке Иоанна, который обнял его и поцеловал в голову.

– Благодарю преблагую и пресущест венную триицу, – сказал царь, подымая очи к небу, – зрю надо мною всемогущий промысел божий, яко в то самое время, когда теснят меня враги мои, даже ближние слуги с люто-стью умышляют погубить меня, всемилостивый бог дарует мне верх и одоление над погаными и славное приращение моих государств! – И, обведя торжествующим взором бояр, он прибавил с видом угрозы: – Аще господь бог за нас, никто же на ны! Имеющие уши слышати да слышат!

Но в то же время он почувствовал, что напрасно омрачает общую радость, и обратился к Кольцу, милостиво смягчая выражение очей.

– Как нравится тебе на Москве? Видывал ли ты где такие палаты и церкви? Или, может, ты уже прежде бывал здесь?

Кольцо улыбнулся скромно-лукавою улыбкой, и белизна зубов его как будто осветила его смуглое загорелое лицо.

– Где нам, малым людям, такие чудеса видеть! – сказал он, смиренно пожимая плечами. – Нам и во сне такой лепоты не снилось, великий государь! Живем на Волге по-мужицки, про Москву только слухом слышим, а в этом краю отродясь не бывывали!

– Поживи здесь, – сказал Иоанн благоволиительно, – я тебя изрядно велю угостить. А грамоту Ермака мы прочли и вразумели и уже приказали князю Болховскому да Ивану Глухову с пятьюстами стрельцов идти помогать вам.

– Премного благодарствуем, – отвечал Кольцо, низко кланяясь, – только не мало ли будет, великий государь?

Иоанн удивился смелости Кольца.

– Вишь ты, какой приткий! – сказал он, глядя на него строго. – Уж не прикажешь ли мне самому побежать к вам на прибавку? Ты думаешь, мне только и заботы, что ваша Сибирь? Нужны люди на хана и на Литву. Бери что дают, а обратным путем набирай охотников. Довольно теперь всякой голи на Руси. Вместо чтоб докучать мне по все дни о хлебе, пусть идут селиться на те новые земли! И ар-

хиерею вологодскому написали мы, чтоб отрядил десять попов обедни вам служить и всякие требы исполнять.

– И на этом благодарим твою царскую милость, – ответил Кольцо, вторично кланяясь. – Это дело доброе; только не пожалей уж, великий государь, поверх попов, и оружия дать нам сколько можно, и зелья огнестрельного поболее!

– Не будет вам и в этом оскудения. Есть Болховскому про то указ от меня.

– Да уж и пообносились мы больно, – заметил Кольцо, с заискивающею улыбкой и пожимая плечами.

– Небось некого в Сибири по дорогам грабить? – сказал Иоанн, недовольный настойчивостью атамана. – Ты, я вижу, ни одной статьи не забываешь для своего обихода, только и мы нашим слабым разумом обо всем уже подумали. Одежу поставят вам Строгоновы; я же положил мое царское жалованье начальным и рядовым людям. А чтоб и ты, господин советчик, не остался без одежды, жалую тебе шубу с моего плеча!

По знаку царя два стольника принесли до-

рогую шубу, покрытую золотою парчой, и надели ее на Ивана Кольцо.

– Язык-то у тебя, я вижу, остер, – сказал Иоанн, – а есть ли острая сабля?

– Да была недурна, великий государь, только поиступилась маленько о сибирские головы!

– Возьми из моей оружейной саблю, какая тебе боле приглянется, да смотри, выбирай по сердцу, которая покраще, впрочем, ты, я думаю, чиниться не будешь.

Глаза атамана загорелись от радости.

– Великий государь! – воскликнул он, – из всех твоих милостей эта самая большая! Грех было бы мне чиниться на твоём подарке! Уж выберу в твоей оружейной что ни на есть лучшее! Только, – прибавил он, немного подумав, – коли ты, государь, не жалеешь своей сабли, то дозвожь лучше отвезти ее от твоего царского имени Ермолаю Тимофеичу!

– Об нем не хлопочи, мы и его не забудем. А коли ты боишься, что я не сумею угодить на его милость, то возьми две сабли, одну себе, другую Ермаку.

– Исполать же тебе, государь! – воскликнул

Кольцо в восхищении. – Уж мы этими двумя саблями послужим твоему царскому здоровью!

– Но сабель не довольно, – продолжал Иоанн. – Нужны вам еще добрые брони. На тебя-то мы, примеривши, найдем, а на Ермака как бы за глаза не ошибиться. Какого он будет роста?

– Да, пожалуй, будет с меня, только в плечах пошире. Вот хоть бы с этого молодца, – сказал Кольцо, оборачиваясь на одного из своих товарищей, здорового детину, который, принеся огромную охапку оружия и свалив ее на землю, стоял позади его с разинутым ртом и не переставал дивиться то на золотую одежду царя, то на убранство рынд, окружавших престол. Он даже попытался вступить потихоньку с одним из них в разговор, чтоб узнать, не все ли они царевичи? Но рында посмотрел на него так сурово, что тот не возобновлял более вопроса.

– Принести сюда, – сказал царь, – большую броню с орлом, что висит в оружейной на первом месте. Мы примерим ее на этого пучеглазого!

Вскоре принесли тяжелую железную кольчугу с медною каймой вокруг рукавов и подола и с золотыми двуглавыми орлами на груди и спине.

Кольчуга была скована на славу и возбудила во всех одобрителный шепот.

– Надевай ее, тюлень! – сказал царь.

Детина повиновался, но, сколько ни силился, он не мог в нее пролезть и допихнул руки только до половины рукавов.

Какое-то давно забытое воспоминание мелькнули при этом виде в памяти Иоанна.

– Будет! – сказал Кольцо, следивший заботливо за детиной, – довольно паять царскую кольчугу-то! Пожалуй, разорвешь ее, медведь! Государь, – продолжал он, – кольчуга добрая, и будет Ермолаю Тимофеичу в самую пору; а этот потому пролезть не может, что ему кулаки мешают. Этаких кулаков ни у кого нет, кроме его!

– А ну-ка, покажи свой кулак? – сказал Иоанн, с любопытством вглядываясь в детину. Но детина смотрел на него в недоумении, как будто не понимая приказания.

– Слышь ты, дурень, – повторил Кольцо, –

покажи кулак его царской милости!

– А коли он мне за то голову срубит? – сказал детина протяжно, и на глупом лице его изобразилось опасение.

Царь засмеялся, и все присутствующие с трудом удержались от смеха.

– Дурак, дурак! – сказал Кольцо с досадою, – был ты всегда дурак и теперь дураком остался!

И, высвободив детину из кольчуги, он подтащил его к престолу и показал царю его широкую кисть, более похожую на медвежью лапу, чем на человеческую руку.

– Не взыщи, великий государь, за его простоту. Он в речах глуп, а на деле парень добрый. Он своими руками царевича Маметкула полонил.

– Как его зовут? – спросил Иоанн, все пристальнее вглядываясь в детину.

– А Митькою! – отвечал тот добродушно.

– Постой! – сказал Иоанн, узнавая вдруг Митьку, – ты, никак, тот самый, что в Слободе за Морозова бился и Хомяка оглоблей убил?

Митька глупо улыбнулся.

– Я тебя, дурня, сначала не признал, а те-

перь вспоминаю твою рожу!

– А я тебя сразу признал! – ответил Митька с довольным видом, – ты на высоком ослоне у самого поля сидел!

Этот раз все громко засмеялись.

– Спасибо тебе, – сказал Иоанн, – что не забыл ты меня, малого человека. Как же ты Маметкула-то в полон взял?

– Жовотом навалился! – ответил Митька равнодушно и не понимая, чему опять все захохотали.

– Да, – сказал Иоанн, глядя на Митьку, – когда этакий чурбан навалится, из-под него уйти нелегко. Помню, как он Хомяка раздавил. Зачем же ты ушел тогда с поля? Да и как ты из Слободы в Сибирь попал?

Атаман толкнул Митьку неприметно локтем, чтобы он молчал, но тот принял этот знак в противном смысле.

– А он меня с поля увел! – сказал он, тыкнув пальцем на атамана.

– Он тебя увел? – произнес Иван Васильевич, поглядывая с удивлением на Кольцо. – А как же, – продолжал он, взглядываясь в него, – как же ты сказал, что в первый раз в

этом краю? Да погоди-ка, брат, мы, кажется, с тобой старые знакомые. Не ты ли мне когда-то про Голубиную книгу рассказывал? Так, так, я тебя узнаю. Да ведь ты и Серебряного-то из тюрьмы увел. Как же это, божий человек, ты прозрел с того времени? Куда на богомолье ходил? К каким мощам прикладывался?

И, наслаждаясь замешательством Кольца, царь устремлял на него свой пронизательный, вопрошающий взгляд.

Кольцо опустил глаза в землю.

– Ну, – сказал наконец царь, – что было, то было; а что прошло, то травой поросло. Поведай мне только, зачем ты, после рязанского дела, не захотел принести мне повинной вместе с другими ворами?

– Великий государь, – ответил Кольцо, собирая все свое присутствие духа, – не заслужил я еще тогда твоей великой милости. Совестно мне было тебе на глаза показаться; а когда князь Никита Романыч повел к тебе товарищей, я вернулся опять на Волгу, к Ермаку Тимофеичу, не приведет ли бог какую новую службу тебе сослужить!

– А пока мою казну с судов воровал да послов моих кизилбашских на пути к Москве грабил?

Вид Ивана Васильевича был более насмешлив, чем грозен. Со времени дерзостной попытки Ванюхи Перстня, или Ивана Кольца, прошло семнадцать лет, а злопамятность царя не продолжалась так долго, когда она не была возбуждена прямым оскорблением его личного самолюбия.

Кольцо прочел на лице Иоанна одно желание посмеяться над его замешательством. Соображаясь с этим расположением, он потупил голову и погладил затылок, сдерживая на лукавых устах своих едва заметную улыбку.

– Всякого бывало, великий государь! – проговорил он вполголоса. – Виноваты перед твоею царскою милостью!

– Добро! – сказал Иоанн, – вы с Ермаком свои вины загладили, и все прошлое теперь забыто; а кабы ты прежде попался мне в руки, ну, тогда не прогневайся!..

Кольцо не отвечал ничего, но подумал про себя: «Затем-то и тогда и не пошел к тебе с повинною, великий государь!»

– Погоди-ка, – продолжал Иоанн, – здесь должен быть твой приятель!

– Эй! – сказал он, обращаясь к царедворцам, – здесь ли тот разбойничий воевода, как бишь его? Микита Серебряный?

Говор пробежал по толпе, и в рядах сделалось движение, но никто не отвечал.

– Слышите? – повторил Иоанн, возвышая голос, – я спрашиваю, тут ли тот Микита, что отпросился к Жиздре с ворами служить?

На вторичный вопрос царя выступил из рядов один старый боярин, бывший когда-то воеводою в Калуге.

– Государь, – сказал он с низким поклоном, – того, о ком ты спрашиваешь, здесь нет. Он в тот самый год, как пришел на Жиздру, тому будет семнадцать лет, убит татарами, и вся его дружина вместе с ним полегла.

– Право? – сказал Иоанн, – а я и не знал! Ну, – продолжал он, обращаясь к Кольцу, – на нет и суда нет, а я хотел вас свести да посмотреть, как вы поцелуетесь!

На лице атамана выразилась печаль.

– Жаль тебе, что ли, товарища? – спросил Иоанн с усмешкой.

– Жаль, государь! – отвечал Кольцо, не боясь раздражить царя этим признанием.

– Да, – сказал царь презрительно, – так оно и должно быть; свой своему поневоле брат!

Вправду ли Иоанн не ведал о смерти Серебряного или притворился, что не ведает, чтоб этим показать, как мало он дорожит теми, кто не ищет его милости, бог весть! Если же в самом деле он только теперь узнал о его участи, то пожалел ли о нем или нет, это также трудно решить; только на лице Иоанна не написано сожаления. Он, по-видимому, остался так же равнодушен, как и до полученного им ответа.

– Поживи здесь, – сказал он Ивану Кольцу, – а когда придет время Болховскому выступать, иди с ним обратно в Югорскую землю... Да я было и забыл, что Болховской свое колено от Рюрика ведет. С этими вельможными князьями управиться нелегко; пожалуй, и со мной захотят в разрядах считаться! Не все они, как тот Микита, в станичники просятся. Так чтобы не показалось ему обидным быть под рукою казацкого атамана, жалую ныне же Ермака князем Сибирским! Щелкалов, –

сказал он стоявшему поодаль думному дьяку, – изготовь к Ермаку милостивую грамоту, чтобы воеводствовать ему надо всею землей Сибирскою, а Маметкула чтобы к Москве за крепким караулом прислал. Да кстати, напиши грамоту и Строгоновым, что жалую-де их за добрую службу и радение: Семену Большую и Малую Соль на Волге, а Никите и Максиму торговать во всех тамошних городах и острожках беспошлинно.

Строгоновы низко поклонились.

– Кто из вас, – спросил вдруг Иоанн, – излечил Бориса в ту пору, как я его осном поранил?

– То был мой старший брат, Григорий Аникин, – отвечал Семен Строгонов. – Он волею божьею прошлого года умре!

– Не Аникин, а Аникьевич, – сказал царь с ударением на последнем слогe, – я тогда же велел ему быть выше гостя и полным отчеством называться. И вам всем указываю писаться с *вичем* и зваться не гостями, а именитыми людьми!

Царь занялся рассмотрением мягкой рухляди и прочих даров, присланных Ермаком,

и отпустил Ивана Кольцо, сказав ему еще несколько милостивых насмешек.

За ним разошлось и все собрание.

В этот день Кольцо вместе с Строгоновыми обедал у Бориса Федоровича за многолюдным столом.

После обычного осушения кубков во здравие царя, царевича, всего царского дома и высокопреосвященного митрополита Годунов поднял золотую братину и предложил здравье Ермака Тимофеевича и всех его добрых товарищей.

– Да живут они долго на славу Русской земли! – воскликнули все гости, вставая с мест и кланяясь Ивану Кольцу.

– Бьем тебе челом ото всего православного мира, – сказал Годунов с низким поклоном, – а в твоём лице и Ермаку Тимофеевичу, ото всех князей и бояр, ото всех торговых людей, ото всего люда русского! Приими ото всей земли великое челобитие, что сослужили вы ей службу великую!

– Да перейдут, – воскликнули гости, – да перейдут имена ваши к сыновьям, и ко внукам, и к поздним потомкам, на вечную славу,

на любовь и образец, на молитвы и поучение!

Атаман встал из-за стола, чтобы благодарить за честь, но выразительное лицо его внезапно изменилось от душевного волнения, губы задрожали, а на смелых глазах, быть может первый раз в жизни, навернулись слезы.

– Да живет Русская земля! – проговорил он тихо и, поклонившись на все стороны, сел опять на свое место, не прибавляя ни слова.

Годунов попросил атамана рассказать что-нибудь про свои похождения в Сибири, и Кольцо, умалчивая о себе, стал рассказывать с одушевлением про необыкновенную силу и храбрость Ермака, про его строгую справедливость и про христианскую доброту, с какою он всегда обходился с побежденными.

– На эту-то доброту, – заключил Кольцо, – Ермак Тимофеевич взял, пожалуй, еще более, чем на свою саблю. Какой острог или город ихний, бывало, ни завоюем, он тотчас всех там обласкает, да еще и одарит. А когда мы взяли Маметкула, так он уж не знал, как и чествовать его; с своих плеч шубу снял и надел на царевича. И прошла про Ермака молва по все-

му краю, что под его руку сдаваться не тяжело; и много разных князьков тогда же сами к нему пришли и ясак принесли. Веселое нам было житье в Сибири, – продолжал атаман, – об одном только жалел я: что не было с нами князя Никиты Романыча Серебряного; и ему бы по сердцу пришлось, и нам вместе было бы моготнее. Ты, кажется, Борис Федорыч, был в дружбе с ним. Дозволь же теперь про его память выпить!

– Царствие ему небесное! – сказал со вздохом Годунов, которому ничего не стоило выказать участие к человеку, столь уважаемому его гостем. – Царствие ему небесное! – повторил он, наливая стопу, – часто я о нем вспоминаю!

– Вечная ему память! – сказал Кольцо, и, осушив свою стопу, он опустил голову и задумался.

Долго еще разговаривали за столом, а когда кончился обед, Годунов и тут никого не отпустил домой, но пригласил каждого сперва отдохнуть, а потом провести с ним весь день. Угощения следовали одно за другим, беседа сменяла беседу, и только поздним вече-

ром, когда объезжие головы уже несколько раз проехали по улицам, крича, чтобы гасили кормы и огни, гости разошлись, очарованные радушием Бориса Федоровича.

* * *

Прошло более трех веков после описанных дел, и мало осталось на Руси воспоминаний того времени. Ходят еще в народе предания о славе, роскоши и жестокости грозного царя, поются еще кое-где песни про осуждение на смерть царевича, про нашествия татар на Москву и про покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем, которого изображения, вероятно, несходные, можно видеть доселе почти во всех избах сибирских; но в этих преданиях, песнях и рассказах – правда мешается с вымыслом, и они дают действительным событиям колеблющиеся очертания, показывая их как будто сквозь туман и дозволяя воображению восстанавливать по произволу эти неясные образы.

Правдивее говорят о наружной стороне того царствования некоторые уцелевшие здания, как церковь Василия Блаженного, коей пестрые главы и узорные теремки могут дать

понятие о причудливом зодчестве Иоаннова дворца в Александровой слободе; или церковь Трифона Напрудного, между Бутырскою и Крестовскою заставами, построенная сокольником Трифоном вследствие данного им обета и где доселе видно изображение святого угодника на белом коне, с кречетом на рукавице [58].

Слобода Александрова, после выезда из нее царя Ивана Васильевича, стояла в забвении, как мрачный памятник его гневной набожности, и оживилась только один раз, но и то на краткое время. В смутные годы самозванцев молодой полководец князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, в союзе с шведским генералом Делагарди, сосредоточил в ее крепких стенах свои воинские силы и заставил оттуда польского воеводу Сапегу снять долговременную осаду с Троицко-Сергиевской лавры.

Впоследствии, рассказывает предание, в одну жестокую зиму, в январе месяце, к ужасу жителей, нашла на Александрову слободу черная туча, спустилась над самым дворцом и разразилась над ним громовым ударом, от

которого запылали терема и вся Слобода обратилась в пепел. От жилища роскоши, разврата, убийств и святотатных богослужений не осталось и следа...

Да поможет бог и нам изгладить из сердец наших последние следы того страшного времени, влияние которого, как наследственная болезнь, еще долго потом переходило в жизнь нашу от поколения к поколению. Простим грешной тени царя Иоанна, ибо не он один несет ответственность за свое царствование; не он один создал свой произвол, и пытки, и казни, и наущничество, вошедшее в обязанность и в обычай. Эти возмутительные явления были подготовлены предыдущими временами, и земля, упавшая так низко, что могла смотреть на них без негодования, сама создала и усовершенствовала Иоанна, подобно тому как раболепные римляне времен упадка создавали Тивериев, Неронов и Калигул.

Лица, подобные Василию Блаженному, князю Репнину, Морозову или Серебряному, являлись нередко как светлые звезды на безотрадном небе нашей русской ночи, но, как и

самые звезды, они были бессильны разогнать ее мрак, ибо светились отдельно и не были сплочены, ни поддерживаемы общественным мнением. Простим же грешной тени Ивана Васильевича, но помянем добром тех, которые, завися от него, устояли в добре, ибо тяжело не упасть в такое время, когда все понятия извращаются, когда низость называется добродетелью, предательство входит в закон, а самая честь и человеческое достоинство почитаются преступным нарушением долга! Мир праху вашему, люди честные! Платя дань веку, вы видели в Грозном проявление божьего гнева и сносили его терпеливо; но вы шли прямою дорогой, не бояся ни опалы, ни смерти; и жизнь ваша не прошла даром, ибо ничто на свете не пропадает, и каждое дело, и каждое слово, и каждая мысль вырастает, как древо; и многое доброе и злое, что как загадочное явление существует поныне в русской жизни, таит свои корни в глубоких и темных недрах минувшего.

Конец 1840-х гг – 1861

Афанасий Фет. Графу А. К. Толстому в деревне Пустыньке

*В твоей Пустыньке подгородной,
У хлебосольства за столом,
Поклонник музыки благородный,
Камен мы русских помянем.*

*Почтим святое их наследство
И не забудем до конца,
Как на призыв их с малолетства
Дрожали счастьем в нас сердца.*

*Пускай пришла пора иная,
Пора печальная, когда
Гетера гонит площадная
Царицу мысли и труда;*

*Да не смутит души поэта
Гоненье на стыдливых муз,
И пусть в тени, вдали от света,
Свободней зреет их союз!*

1864 А. А. Фет

Иван Тургенев. Письмо к редактору по поводу смерти гр. А. К. Толстого

Буживаль (возле Парижа), 5 (17) октября 1875.

Любезнейший Михаил Матвеевич, третьего дня вечером получил я вашу телеграмму; горестной скорбью наполнила она мое сердце. Я знал и прежде, что Толстому не суждено было долго жить на земле: не далее как три месяца тому назад его доктор в Карлсбаде сказывал мне, что нашему бедному другу не просуществовать и года; но трудно сразу примириться даже с ожидаемой потерей, особенно с потерей такого человека, каков был Толстой. Я далек от намерения представить теперь же его полную оценку, определить его место и значение в современной русской словесности: это – дело будущих его биографов; мне хочется только высказать несколько мыслей, внушенных воспоминанием о симпатической личности отошедшего в вечность поэта.

– Я сказал: поэта. Да, он был им несомнен-

но, вполне всем существом своим; он был рожден поэтом, а это в наше время везде – и пуще всего в России – большая редкость. Одним этим словом определяется поколение, к которому он принадлежал (известно, что у нас в нынешнее время *молодых* поэтов не имеется), определяют также его убеждения, его сердечные наклонности, все его бескорыстные и искренние стремления. Положение Толстого в обществе, его связи открывали ему широкий путь ко всему тому, что так ценится большинством людей; но он остался верен своему призванию – поэзии, литературе; он не мог быть ничем иным, как только именно тем, чем создала его природа; он имел все качества, свойства, весь пошиб литератора в лучшем значении слова. Не будучи одарен той силой творчества, тем богатством фантазии, которые присущи первоклассным талантам, Толстой обладал в значительной степени тем, что одно дает жизнь и смысл художественным произведениям, а именно: собственной, оригинальной и в то же время очень разнообразной физиономией; он свободно, мастерской рукою распоряжался

родным языком, лишь изредка поддаваясь то искушениям виртуозности – желанию пощеголять архаическими, правда, иногда весьма счастливыми, оборотами, то другим, мгновенным соображениям, в сущности чуждым, как вообще всё политическое, его сердцу и уму. Он оставил в наследство своим соотечественникам прекрасные образцы драм, романов, лирических стихотворений, которые – в течение долгих лет – стыдно будет не знать всякому образованному русскому; он был создателем нового у нас литературного рода – исторической баллады, легенды; на этом поприще он не имеет соперников – и в последней из них, помещенной в октябрьском № «Вестника Европы» (в день известия о его смерти!), он достигает почти дантовской образности и силы. Наконец – и как бы в подтверждение сказанного выше о многосторонности его дарования – кто же не знает, что в его строго идеальной и стройной натуре была свежим ключом струя неподдельного юмора и что граф А. К. Толстой, автор «Смерти Иоанна Грозного» и «Князя Серебряного», был в то же время одним из творцов памятного всем

«Кузьмы Пруткова»?

Вот поэт, которого мы лишились и который при теперешнем направлении умов едва ли скоро будет заменен. И пусть те молодые люди, которым строки попадутся на глаза, нежимают плечами и не думают, что эта утрата преувеличена мною; смею уверить их, что проложить и оставить за собою след будет со временем в состоянии только тот, кто поймет и признает эту утрату...

Я попытался набросить несколько черт физиономии Толстого как поэта; что сказать о нем как о человеке?

Всем, знавшим его, хорошо известно, какая это была душа, честная, правдивая, доступная всяким добрым чувствам, готовая на жертвы, преданная до нежности, неизменно верная и прямая. «Рыцарская натура» – это выражение почти неизбежно приходило всем на уста при одной мысли о Толстом; я бы позволил себе употребить другой – в наше время несколько заподозренный, но прекрасный и в данном случае самый уместный эпитет. Натура гуманная, глубоко гуманная! – вот что был Толстой, и как у всякого истинного поэта, жизнь

которого неуклонно переливается в его творчество, эта гуманная натура Толстого сквозит и дышит во всем, что он написал.

Мне бы не хотелось кончить это письмо чем-нибудь касающимся до моей личности; но перед этой еще свежей могилой чувство благодарности заставляет умолкнуть все другие: граф А. К. Толстой был одним их главных лиц, способствовавших прекращению изгнания, на которое я был осужден в самом начале пятидесятых годов.

Мир праху твоему, незабвенный русский человек и русский поэт!

Я знаю, что вы глубоко сочувствуете нашему общему горю, и в силу этого сочувствия крепко и дружески жму вашу руку.

Преданный вам

Ив. Тургенев

1875

Примечания

Губернатис Анджело (1840–1913) – итальянский историк литературы, литературный критик.

[^^^]

2

Эта лекция была прочитана Губернатисом во Флоренции 28 марта 1874 г. Напечатана в журнале «La Rivista Europea», 1874, vol. 2, fasc. 3, maggio, «Il conte Alessio Tolstoi».

[^^^]

Стихотворная драма Губернатиса «Romolo» помещена в его журнале «La Rivista Europea», 1873, vol. 1, fasc. 1, dicembre.

[^^^]

В декабре 1835 г. Это были экзамены «из предметов, составляющих курс наук словесного факультета для получения ученого аттестата на право чиновников первого разряда» («Русская старина», 1900, № 12, стр. 686).

[^^^]

В начале 1837 г.

[^^^]

6

В мае 1841 г., когда вышел «Упырь».

[^^^]

В 1854 г., а первое стихотворение («Бор сосновый в стране одинокой стоит...») было напечатано еще в 1843 г.

[^^^]

В 1831 г.

[^^^]

Речь идет о придворном звании камер-юнкера, которое Толстой получил в 1843 г. С 1851 г. – церемониймейстер.

[^^^]

В отличие от «Царя Федора Иоанновича», «Царь Борис» был разрешен цензурой, но не был принят к постановке дирекцией императорских театров.

[^^^]

Толстой имеет в виду «Былину» (первоначальное заглавие «Змея Тугарина»), напечатанную в 1868 г. в ВЕ.

[^^^]

Письма А. К. Толстого Софье Андреевне Миллер переведены с французского языка.

[^^^]

Речь идет о тяжелых переживаниях Софьи Андреевны до ее встречи с Толстым: романе с кн. Вяземским, из-за которого ее брат был убит на дуэли с князем, затем неудачном браке с конногвардейским полковником Л. Ф. Миллером.

[^^^]

А. А. Перовский (1787 – 1836), брат матери А. К. Толстого, прозаик (псевдоним – Антоний Погорельский). Автор сказки «Черная курица», посвященной мальчику Алеше Толстому.

[^^^]

С. Л. Толстой – сын Л. Н. Толстого.

[^^^]

С. П. Хитрово – племянница С. А. Толстой.

[^^^]

А. В. Мещерский (1822 – 1900) – мемуарист, поэт, общественный деятель. Друг А. К. Толстого.

[^^^]

В. А. Инсарский (1814 – 1882) – мемуарист.

[^^^]

А. С. Суворин (1834 – 1912) – издатель, мемуарист.

[^^^]

А. В. Дружинин (1824 – 1864) – прозаик, критик, мемуарист.

[^^^]

Аюдаг – Медведь-гора.

[^^^]

Ю. А. Айхенвальд (1872 – 1928) – критик.

[^^^]

27 июля 1861 г. Толстой сообщил жене из Петергофа, что хочет написать Александру II о своей отставке в Крым, так как «говорить теперь невозможно». Александр II уехал в Крым 6 августа 1861 г. Указ об увольнении Толстого датирован 28 сентября. Этим определяется дата письма.

[^^^]

Л. А. Перовского.

[^^^]

Ср. с дошедшим до нас отрывком из другого недатированного письма Александру II, написанного позже: «Ваше величество, есть два вида преданности своему монарху: один состоит в том, чтобы всегда быть одного мнения с ним и скрывать от него все, могущее возбудить в нем неудовольствие, уменьшая в его представлении силу и значительность идей, стоящих в противоречии с его системой управления; подобная преданность, когда она не есть предательство, могла бы быть названа преданностью лакея или человека близорукого. Другой – истинный вид – преданности состоит в том, чтобы показывать монарху все вещи в их подлинном свете, предупреждать, когда надо, об опасности, какая она есть, и – в согласии с совестью и в меру разумения каждого – предлагать наилучший в данных обстоятельствах способ действия. Такова, государь, моя преданность Вам. Не занимая никакого официального положения, не принадлежа ни к какой партии, я имею возможность слышать все мнения, подводить им совокупный

итог и делать из них заключения, которые
Вашему величеству существенно было бы
знать...»

[^^^]

А. К. Толстого.

[^^^]

А. А. Фет (1812 – 1892) – поэт.

[^^^]

В. В. Розанов (1856 – 1919) – публицист, критик.

[^^^]

Краснорогский – псевдоним А. К. Толстого.

[^^^]

Сидящий или стоящий напротив (*франц.*).

[^^^]

Постоялый двор, гостиница (*итал.*).

[^^^]

Фреску (*итал.*).

[^^^]

Дворцом (*итал.*).

[^^^]

О боже! бедняжка! проклятая дорога! (*итал.*).

[^^^]

Синьор русский (*итал.*).

[^^^]

Книга большого формата – в лист, согнутый пополам (лат.).

[^^^]

Н. С. Лесков (1831 – 1895) – русский писатель.

[^^^]

До скончания веков (лат.).

[^^^]

Ведь это позор – мы должны убраться прочь
(нем.).

[^^^]

Уйти было бы неприлично, может быть, это не так уж плохо (нем.).

[^^^]

Мы справимся, давайте попробуем (нем.).

[^^^]

Это был великий воин(нем.).

[^^^]

Такова была последовательность (нем.).

[^^^]

Тогда пришел конец старой религии (нем.).

[^^^]

Помилуй бог! (нем.).

[^^^]

Господа, вы слишком добры ко мне (фр.).

[^^^]

В полном составе (лат.).

[^^^]

Человек, любящий пожить в свое удовольствие (франц.).

[^^^]

По-видимому, слова из песни об Отечественной войне 1812 г. См., например, «Гимн, петь на концерте... 7 дня 1814 года» Ф. Иванова, со словами, обращенными к Кутузову:

Хвала, хвала тебе, герой!

Попран – растерзан галл тобой!

[^^^]

Строка из хора «Гром победы, раздавайся...» Г.
Р. Державина.

[^^^]

«Мое сердце не для вас, потому что оно для другого» (франц.).

[^^^]

В. М. Жемчужников (1824 – 1909) – двоюродный брат А. К. Толстого, один из создателей Козьмы Пруткова. В письме ярко чувствуется та атмосфера, в которой братья Жемчужниковы и А. К. Толстой создавали произведения Козьмы Пруткова.

[^^^]

А. М. Жемчужников (1821 – 1908) – поэт, двоюродный брат А. К. Толстого.

[^^^]

Святой Иаков Компостельский! – Ред.

[^^^]

Вариант: на коем фрак. – Примеч. Козьмы
Пруткова.

[^^^]

Эту песню А. К. Толстой приводит в главе 5 «Князя Серебряного».

[^^^]

А тут рабское терпение и такое количество пролитой дома крови утомляет душу и сжимает ее печалью. И я не стал бы просить у читателей в свое оправдание ничего другого, кроме позволения не ненавидеть людей, так равнодушно погибающих. *Тацит. Летопись. Книга 16(лат.).*

[^^^]

С тех пор как это написано, церковь Трифона Напрудного так переделана, что ее узнать нельзя. Снаружи приделки, а внутренность переписана и перештукатурена в новом вкусе. Все это вследствие пожертвований *добрых дателей*, как объясняют причетники. (Прим. автора.)

[^^^]